

ПРОМЕТЕЙ



## Биографии. Статьи. Портреты

Л. Жуковский.	Прометей — друг человечества . . . . .	7
Георгий Кока.	Пушкин о полководцах двенадцатого года . . . . .	17
Евгения Таратута.	«На моей книжной полке» . . . . .	38
М. М. Шайбер.	Клаус Манн . . . . .	60
Петр Дудочкин.	Советский президент . . . . .	72
З. Шейнис.	«Папаша» . . . . .	82
Г. А. Багатурия.	Маркс о любви . . . . .	94
Л. Кокин.	Качели Николая Дубинина . . . . .	108
В. Листов.	Первый фильм Дзиги Вертова . . . . .	127

## Литературное наследство

Максим Горький.	О знании. (Стенограмма лекции, прочитанной 30 марта 1920 года в Рабоче-крестьянском университете) . . . . .	136
-----------------	---	-----



<b>Марина Цветаева.</b>	Наталья Гончарова. (Жизнь и творчество) . . . . .	144
<b>Д. Сарабьянов.</b>	Несколько слов о Наталии Гончаровой . . . . .	201
<b>Письма. Документы</b>		
<b>И. Дубинский-Мухадзе.</b>	Штрихи к портрету. Новые документы из архива Г. К. Орджоникидзе . . . . .	204
<b>И. М. Синельникова, А. Ф. Смирнов.</b>	«Исповедь» генерала Коммуны . . . . .	213
<b>Н. Г. Розенблюм.</b>	Первые петербургские гастроли Московского художе- ственного театра . . . . .	217
<b>Гастон Ларош.</b>	Русские во французском Сопротивлении . . . . .	221
<b>Д. А. Колесниченко.</b>	Джордж Кеннан и царская охранка. Новый архивный до- кумент . . . . .	226
<b>Г. Б. Кизельштейн.</b>	Молодые годы Г. В. Чичерина . . . . .	230
<b>Е. Л. Рудницкая.</b>	Неизвестное письмо Михаила Бакунина . . . . .	236
<b>Поиски. Находки. Гипотезы</b>		
<b>Н. Пирумова.</b>	Два портрета . . . . .	242
<b>С. А. Рейсер.</b>	Вокруг Чернышевского . . . . .	246

# Историко- биографический альманах серии „Жизнь замечательных людей“

Издательство  
ЦК ВЛКСМ  
„Молодая гвардия“  
Москва  
1969

<b>Евг. Брандис.</b>	Генрих Гейне и Дмитрий Лавренко . . . . .	250
<b>В. Порудоминский.</b>	Неизвестные страницы творчества Гаршина . . . . .	254
<b>Ю. Григорьев.</b>	«Две дороги». К истории рассказа В. М. Гаршина «Промисшествие» . . . . .	266
<b>Дневники.</b>		
<b>Воспоминания</b>		
<b>И. Шадр.</b>	Нет Ленина, есть Ленин! . . . . .	268
<b>С. А. Бодянский.</b>	Новороссийская республика. (Воспоминания участника событий) . . . . .	272
<b>Г. В. Краснов.</b>	Из записок А. С. Суворина о Некрасове . . . . .	285
<b>Наталья Яшвили.</b>	Мой дедушка, Петр Иванович Бартенев . . . . .	292
<b>Рудольф Целмс.</b>	Так сказал Уточкин . . . . .	302
<b>В. Соколов.</b>	Таран Нестерова. (Воспоминания очевидца) . . . . .	309
<b>Забывтые страницы</b>		
<b>А. Шлихтер.</b>	У колыбели молодой гвардии . . . . .	320
<b>Исторические очерки</b>		
<b>В. А. Дьяков.</b>	Глазами царского агента . . . . .	327

РЕДАКЦИОННАЯ  
КОЛЛЕГИЯ:

М. П. Алексеев,  
И. Л. Андроников,  
Д. С. Данин,  
Б. И. Жутовский,  
П. Л. Капица,  
Б. М. Кедров,  
Н. И. Конрад,  
Ю. Н. Коротков (редактор),  
Д. М. Кукин,  
Ф. Н. Петров,  
А. А. Сидоров,  
К. М. Симонов,  
С. Д. Сказкин,  
С. С. Смирнов,  
К. И. Чуковский

<b>В. Корецкий.</b>	Юрьев день . . . . .	340
<b>В. Б. Вилинбахов.</b>	Генерал «от пронунсименто» . . . . .	346
<b>Борис Бродский.</b>	Трагедия смельчака . . . . .	370
<b>История и историки</b>		
<b>Тит Ливий.</b>	Сицилийская смута . . . . .	380
<b>Повести.</b>		
<b>Рассказы</b>		
<b>Юрий Домбровский.</b>	Арест . . . . .	394
<b>Франц Эленс.</b>	Два рассказа . . . . .	400
<b>Библиографический листок</b>		
<b>Борис Яковлев.</b>	Под знаменем интернационализма . . . . .	410
<b>Б. Невская.</b>	Репортаж из оккупированного Парижа . . . . .	413
<b>Е. Старикова.</b>	«Как это было...» . . . . .	414
<b>А. Ефимов.</b>	Норберт Винер перед лицом моральных проблем . . . . .	418
<b>И. А. Рапопорт</b>	Лаборатория мысли . . . . .	420

Редактор-составитель С. Резник  
 Художник Ю. Соболев  
 Худож. редактор А. Степанова  
 Техн. редактор Л. Курлыкова

<b>В. Познанский.</b>	Смотреть и видеть . . . . .	423
<b>Смесь</b>		
<b>И. В. Шауров.</b>	В годы реакции . . . . .	427
<b>П. А. Шелест.</b>	Рождение изобретения . . . . .	432
<b>Ф. Г. Рябов.</b>	Энгельс, Шоу, Бебель и английские выборы 1892 года	438
<b>А. Сидорова.</b>	Летопись села Никольского в рисунках Егора Емельяновича Королева . . . . .	440
<b>Г. А. Остроухов.</b>	Катастрофа на Ходынском поле . . . . .	446
<b>Жужанна Зельдхейн.</b>	Венгерский роман о Пушкине и декабристах . . . . .	449
<b>Л. Ельницкий.</b>	Геракл и миф о Христе . . . . .	452
<b>Г. А. Могилевский.</b>	Крекшино . . . . .	458
<b>В. Белобородов.</b>	История одной акварели . . . . .	460
<b>Виктор Хохлачев.</b>	У истоков «Неравного брака» . . . . .	467
<b>К. В. Куракина.</b>	«Копилка курьезов» . . . . .	468
<b>Ратмир Тумановский</b>	Русские шуты . . . . .	471





Л. Жуковский

## Прометей— друг человечества

Древние греки слагали песни о титане Прометее — отважном, добром и мудром противнике богов, друге людей.

Ему приписывали разные подвиги.

Прометей, сын титанов Япета и Климены, пожалев людей, живущих во мраке и холоде, похитил достояние богов — огонь и, укрыв его внутри тростинки, принес людям. За это разгневанный Зевс — глава богов — велел приковать его к скалистой горе на Кавказе, и ежедневно орел Зевса клевал печень беззащитного титана, но потом Геракл, сын Зевса и смертной женщины, убил орла и освободил Прометея...

Это рассказывает Гезиод (VIII—VII века до н. э.) в поэмах «Теогония» и «Труды и дни». Он представляет титана ловким хитрецом, который и раньше обманывал Зевса, устроив так, чтобы люди приносили ему в жертву только несъедобные части животных, а мясо оставляли себе.

В других сказаниях Прометей — соперник богов, создает людей, объединяет их в общество и обучает их ремеслам и искусствам.

«Отец трагедии» Эсхил (VI—V века до н. э.) написал драматическую трилогию «Прометей-огненосец», «Прикованный Прометей» и «Освобожденный Прометей». Первая часть ее утрачена, от последней сохранились только фрагменты. Но полностью

Прометей, создающий и просвещающий людей. (Барельеф на саркофаге, эллинская эпоха.)





уцелела середина — «Прикованный Прометей» — одно из прекраснейших поэтических воплощений гордого свободолюбия.

Прометей у Эсхила — сын богини правосудия Фемиды, советник богов, помогавший им бороться с титанами. Но когда Зевс, победив титанов, решает уничтожить людей и заменить их более совершенными и послушными существами, Прометей встает против него. Он приносит людям огонь, похищенный в очаге бога-кузнеца Гефеста, обучает их мыслить, исследовать природу, познавать мир, творить. За это боги карают его. Посланные Зевсом грозные стражи Власть и Насилие помогают Гефесту приковать мятежника к скале. Но никакие муки не могут его сломить.

...Я б не променял  
Своих скорбей на рабское служение.  
...По правде, всех богов я ненавижу.

Трагедия Эсхила восхищала молодого Маркса. В предисловии к своей докторской диссертации, приведя гордые речи титана-богоборца, он писал: «Прометей — самый благородный святой и мученик в философском календаре».

Почти три тысячи лет живет герой, рожденный поэтическим воображением народа, воплотивший мечты о свободе и творчестве,

мятежное упорство, гордое сопротивление тирании и веру в человеческий разум.

Платон рассказывает о Прометее в диалоге «Протагор» устами философа Протагора — собеседника Сократа, рассказывает как братья-титаны Прометей и Эпиметей извлекали на свет созданные «вчера» в глубине земли бессмертными богами смертные существа — растения, животных и людей. Эпиметей позаботился о бессловесных тварях, а человек остался «наг и не обут и без постели и без оружия». Тогда Прометей похитил у богов огонь, а с ним «премудрое уменье Гефеста и Афины» — то есть уменье работать и уменье мыслить — и принес их в дар людям.

В «Метаморфозах» Овидия (I век до н. э. — I век н. э.) Прометей вылепливает людей из земли и воды по образу и подобию богов. Все живое, преклонив голову, обращает глаза к земле, и только человек поднимает голову вверх и смотрит на небо, на звезды.

В древней Элладе любили и чтили титана-богоборца. Его назвали другом людей — филантропом. Само понятие филантроп впервые возникло как характеристика Прометея. В мире жестоких, своекорыстных олимпийских богов, которые обманывали, развращали, убивали и мучили смертных, и в мире беспощадно воинственных героев, «богоравных» и в добле-



Прометей похищает огонь из кузницы Гефеста. (Барельеф на саркофаге.)

Прометей, приносящий огонь. (Терракотовый рельеф на могильном светильнике.)

стях и в пороках, он едва ли не единственный был добр, честен и деятельно человеколюбив.

Вместе с тем он олицетворение неустрашимо пытливой мысли, воплощенное дерзкое отрицание любых божественных авторитетов, неослабное стремление к свободе и свободному творчеству.

Современный философ-гуманист Бертран Рассел, характеризуя людей древней Эллады, пишет в своей «Истории западной философии»: «Именно сочетание интеллекта и страсти делало их великими... Их прототипом в мифологии является не Зевс Олимпийец, но Прометей, принесший с неба огонь и претерпевший за это вечные муки».

Один из истоков грузинской народной поэзии — сказание о герое Амирани, возникшее задолго до нашей эры. Герой помогал людям, не боясь богов, и за это был навеки прикован к Кавказским горам. Явная близость древнейших мифов свидетельствует об общих этнических и культурных корнях разных народов. Н. Марр предлагал ввести в лингвистике понятие «промееидных» языков.

Лукиан — греческий писатель-сатирик (II в. н. э.), в диалоге «Прометей, или Кавказ», используя фабулу «Прикованного Прометея» Эсхила, он беспощадно-саркастически обличает Зевса и всех олимпийцев. Маркс писал об этом:

«Богам Греции, которые были уже раз — в трагической форме — смертельно ранены в «Прикованном Прометее» Эсхила, пришлось еще раз — в комической форме — умереть в «Беседах» Лукиана. Почему таков ход истории? Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым»<sup>1</sup>.

А примерно через полвека после Лукиана неистовый Тертуллиан, теоретик и законодатель раннего христианства, провозгласил Прометея прямым предшественником и даже своеобразной ипостасью, вариантом Христа. Ведь и бессмертный титан, сорочич богов, также принес себя в жертву ради блага смертных людей, также принял жестокие муки за то, что спасал человечество.

Сопоставление Христа и Прометея встречается и у некоторых средневековых публицистов и в мистериях — религиозных драмах XVI—XVII веков. Но в ту эпоху абсолютной власти религии, когда сознанием огромного большинства людей управляла слепая вера в непогрешимость священного писания, папы и церковной администрации, когда и самые значительные умы

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч., т. I, стр. 418.



Прометей, создающий людей.  
Рядом с ним богиня Минерва.  
(Бронзовый медальон, Рим.)

Прометей, Гефест и Оксаниды.  
(Барельеф, позднеримская эпоха.)

Орел клюет Прометея.  
(Изображение на камне.  
VII—VI вв. до н. э. Найдено на  
о. Крит, хранится в Британском  
музее.)

были в плену схоластической догматики, образ Прометея потускнел и, казалось, навсегда отступил в безвозвратно ушедшее языческое прошлое.

Его возрождают просветители. Драма Вольтера «Пандора» завершается торжеством Прометея — победителя богов. Однако он не хочет заменить их; божественную власть он предпочитает осуществлять другим титанам, а сам довольствуется мирным счастьем любви в объятиях прелестной Пандоры, уподобляясь другому герою Вольтера — наивному Кандиду, который из многообразного опыта поражений и злоключений извлек лишь один бесспорный вывод: «Нужно возделывать свой сад». Теоретик движения «Бури и натиска» Гердер написал «Освобожденного Прометея», перелагая драму Эсхила в понятия и представления тех молодых, буйно чувствительных немецких литераторов, которые в 70-е годы XVIII века восставали и против всех идеалов и авторитетов феодальной абсолютистско-аристократической государственности, и против буржуазной филистерской идеологии конформизма, верноподданнического либерализма, а также против философии и эстетики умеренного просветительства.

Мировосприятие этого движения с наибольшей поэтической силой выразил, одна-

ко, другой Прометей — герой драматической поэмы Гёте, которая была написана в начале 70-х годов XVIII века, но опубликована лишь полвека спустя. Драма начинается перепалкой восставшего Прометея с холопом богов Меркурием:

Пусть я не бог.  
Но мною о себе других не меньше<sup>2</sup>.

Титан отвергает примирительные условия брата, благоразумного Эпиметея, который доказывает безрассудство и бесплодность мятежного одиночества и зовет к слиянию со всем целостным миром богов и людей.

Но мятеж Прометея не самоцель, не обычное штюрмерское самовыражение и самоутверждение своей единственности, гениальной стихийности. Это мятеж искателя общей истины, и прежде всего творца, художника и созидателя. И такой мятеж не бесплоден, а становится творчеством. Прометей ваяет людей и в этом находит себя и свой настоящий мир.

Союзницей Прометея оказывается Минерва — богиня мудрости, олицетворение разума. Она хотя и не отрекается от своего отца Зевса — то есть от законного миро-

<sup>2</sup> Перевод Вяч. Иванова.



порядка, но любит мятежника Прометея и помогает ему оживить созданные им изваяния, то есть помогает творить людей.

С античными мифами и трагедией Эсхила — первоисточниками сюжета Гёте обращается непочтительно, изменяя не только детали, но и существенные черты. Так, он превращает Прометея в сына Зевса и Юноны, сочиняет особую роль для его союзницы Минервы, Пандору представляет созданием Прометея, а судьбы всех других созданных им людей изображает, следуя уже не Гезиоду и не Эсхилу, а трактату Руссо «О происхождении неравенства...».

Руссоистские представления о том, как возникали собственность, войны, правовые и этические понятия, поэтически преобразованы в сценах, где люди строят жилища, дерутся из-за коз, — но обретают и принципиально иную сущность. То, что для Руссо было только порчей, только упадком, утратой первоначальной «естественной» невинности, социальным грехопадением людей, которые стали различать «мое» и «твое», Гёте воспринимает как противоречивое, но в конечном счете поступательное развитие, как необходимость такую же суровую, как необходимость смерти, но так же не отделимую от счастья жизни и любви.

В этой столько же штурмерской, сколько

и классической драме, в которой сплавлены просветительский культ разума и романтический бунтарский индивидуализм, вместе с тем уже есть и воистину реалистическое восприятие диалектики истории и диалектики человеческой психологии, ощущение и сознание единства противоречий.

Богоборческий античный миф становится для Гёте естественным воплощением молодого бунтарства, индивидуалистических мятежей «Бури и Натиска».

Вспоминая через много лет в «Поэзии и Правде» о своих юношеских замыслах, Гёте писал:

«Басня о Прометее не давала мне покоя. Величавое облачение древнего титана старался я выкроить по своему плечу и росту и, недолго раздумывая, затеял написать пьесу, в которой предположил изобразить распрю, возникшую между Зевесом и Прометеем по поводу того, когда последний, создав людей, оживил их при помощи Минервы и дал таким образом жизнь новому, третьему поколению существ. Властительные боги имели полное право обеспокоиться фактом этого создания, совершенно уничтожившим их значение в глазах как людей, так и титанов и низводившего их на степеня ненужных и лишних существ».

В 1820 году, когда рукопись «Проме-



Освобождение Прометея.  
VI век до н. э.

Справа — прикованный Прометей  
с Гераклом и Аполлоном.

Освобожденный Прометей  
с Гераклом и Кастором (Этрусски,  
изображения на зеркалах.)

тея», которую сам автор считал утерянной, была обнаружена и стала распространяться в списках, Гёте, к тому времени уже семидесятилетний тайный советник герцога, отставной министр, уставший от разочарований и неразрешимых сомнений, писал другу:

«Забавно, что пресловутый, мною самим отвергнутый и забытый «Прометей» как раз теперь опять возникает из небытия... Не давайте рукописи слишком большого распространения; как бы ее не напечатали! Она могла бы явиться вождем эвангелием для нашей революционной молодежи, и высокие комиссии в Берлине и Майнце, верно, соорудят весьма недовольную мину по поводу моих юношеских причуд. Замечательно, однако, что этот непокорный огонь, уже полвека тлеющий под поэтическим пеплом, вдруг, охватив подлинно горячие материалы, грозит вырваться губительным пламенем»<sup>3</sup>.

Впрочем, эти соображения, в которых осмотрительность консервативного государственного мужа сочетается с гордостью поэта, любящегося «непокорным огнем» своего творения, не помешали Гёте уже через десять лет включить «Прометея» в собрание сочинений.

О том, какое впечатление эта публикация произвела на современников, можно судить по отзыву Белинского: «Пробуждено со-

знание в людях — и падение Зевеса уже неизбежно... Глубоко знаменательный миф. необъятный, как вселенная, вечный, как разум!

«Прометей» Гёте в некотором смысле есть поэтический комментарий на Эсхилова «Прометея». Это та же древняя мысль, но высказанная яснее, определеннее, развитая подробнее, и вместе с тем мысль, получившая новую силу и новое значение вследствие всемирно-исторического развития... Достоверно можно сказать только то, что вопрос теперь вполне уяснился, и Прометей нашего времени заранее торжествуют победу и уже не боятся хищного коршуна»<sup>4</sup>.

Наивный, но благородный оптимизм Белинского отражает лишь одну из сторон многогранного, даже в этом незавершенном, фрагментарном виде «Прометея» Гёте. Ведь он не только мятежник, протестант, похититель огня и провозвестник свободы, но прежде всего творец, художник — ваятель и мыслитель, исследующий и направляющий свои живые творения. В этом Прометее уже явственны живые завязи то-

<sup>3</sup> Гёте, Собр. соч. в тринадцати томах. М., 1949, т. XIII, стр. 451.

<sup>4</sup> В. Г. Белинский, Полн. собр. соч. М., 1954, т. V, стр. 323.



го мировосприятия неутомимого созидателя, которое в полной мере воплотится много лет спустя во второй части «Фауста».

За просветительскими и штюмерскими перевоплощениями Прометея следовали романтические. Скорбно ироничный Джакомо Леопарди в «Споре Прометея» противопоставляет благородного титана-человеколюбца измелчавшим поколениям людей.

XIX век — пора нарастающих социальных революций, широкого распространения гуманистических идеалов и стремительного развития науки, век рождения марксизма и множества новых течений в искусстве и литературе — ознаменовался и новым возрождением Прометея. Белинский писал:

«Вот миф, которого одного достаточно, чтобы служить источником и почвой для развития величайшей художественной поэзии».

Байрон, которого Белинский называл «Прометеем XIX века» в 1816 году, то есть в то самое время, когда казалось, что под развалинами наполеоновской империи погребены все надежды просветителей, равно как и мечты революционеров — разрушителей Бастилии, идеалы свободы, равенства и братства, написал поэму «Прометей», исполненную гордой уверенности.

...Ты добр — в том твой небесный

грех

Иль преступление: ты хотел  
Несчастьям положить предел,  
Чтоб разум осчастливил всех!  
Разрушил Рок твои мечты,  
Но в том, что не смирился ты,  
Пример для всех людских сердец, —  
В том, чем была твоя свобода,  
Сокрыт величье образец  
Для человеческого рода!<sup>5</sup>

Последние строки поэмы патетически завершают изложение того, в чем именно видит поэт «образец для человеческого рода».

...награду обретать  
В глубинах самых горьких мук, —  
Торжествовать и презирать  
И Смерть в Победу обращать.

Другой великий англичанин, поэт революционной романтики, Перси Шелли, написал в 1820 году драматическую поэму «Раскованный Прометей», которую сам определил как «лирическую драму». (В докладе на I съезде советских писателей М. Горький назвал ее в числе наиболее значительных произведений мировой лите-

<sup>5</sup> Перевод В. Луговского.



ратуры, возникших под влиянием народного творчества.)

Прометей Шелли — герой и вождь революционной борьбы народов против монархической власти Юпитера. Именно так и называет английский поэт — прямой наследник французской революции ту силу, против которой восстает его герой, — «монархией, основанной на вере и страхе». И победа Прометея в драме Шелли — это вместе с тем и победа великой всенародной революции, которая сулит человечеству счастливую жизнь «без классов, без племен, без наций». Лиризм драмы, романтически преображающий античный сюжет, — это вдохновенная мечта, утопическая, иллюзорная, но благородная мечта о том, как человечество внезапно и решительно очищается от всякой скверны.

Исчезли ревность, зависть,  
 вероломство,  
 И ложный стыд, горчайший из всего,  
 Что портило восторг любви — забвеньё,  
 Суды и тюрьмы, все, что было в них,  
 Суды, что их спертым воздухом дышало,  
 Орудья пыток, цепи и мечи,  
 И скипетры, и троны, и тиары...

Подвиг и страдания великого человеколюбца по-разному вдохновляли разных поэтов. Леопарди, а позднее, уже в нашем

столетии, Вячеслав Иванов видели в нем олицетворение тщетности человеческих и даже сверхчеловеческих стремлений к добру и справедливости. Темой Прометея начинался и завершался творческий путь замечательного швейцарского писателя Карла Шпиттелера; его первая книга «Прометей и Эпиметей» (1881) изображает двух братьев — гордых индивидуалистов, которые восстают против консервативного общества. Эпиметей постепенно уступает, а Прометей остается трагически одиноким сверхчеловеком (эта книга очень нравилась Ницше) — и погибает. В последний год жизни Шпиттелер — нобелевский лауреат — вновь обратился к своему юношескому замыслу и написал поэму «Прометей страстотерпец» (1924). Одиноким герой остается себе, даже созная тщетность своих усилий и неизбежность гибели. С большой художественной выразительностью трагедийное восприятие судьбы Прометея запечатлено в коротких очерках — стихотворениях в прозе Кафки. А Карел Чапек в своих «Апокрифах» описал расправу с Прометеем как некое судилище, тождественное современному буржуазному суду, который ненавидит героя за то, что он «разгласил тайну открытия огня», и за то, что отдал огонь «не в руки избранных, а всем, кто к нему приходил», и т. п.



Освобождение Прометея. Фреска в «Вилле Памфили» (Помпеи).

Орел клюет Прометея. Второй «островной камень». Найден на Крите. VI в. до н. э.



Прометей многозначен, как и всякий художественный образ. Любой мифологии необходимо присуще художественное творчество. Мифы древних греков и римлян, так же как Веды и Библия, Коран и Эда, таят сокровища вечно живой поэзии.

Многозначность, емкость, способность по-разному волновать различных людей и возбуждать разноречивые толкования, способность изменяться в зависимости от времени и обстоятельств, — так же как изменяются люди, живущие долго и трудно, — все это неопровержимые объективные признаки бессмертия художественного образа. Это признаки живой реальности героев, созданных воображением гениальных писателей или рожденных коллективным гением народной фантазии, той реальности, которая делает их более жизнеспособными, чем действительно существовавшие герои, и для многих потомков более реальными, чем действительно происходившие события.

Многозначна и тридцативековая судьба Прометея, но в ней все же преобладают вполне определенные мотивы — именно те, которыми звучит поэма Тараса Шевченко «Кавказ»:

Спокін віку Прометея  
Там Орел карає,  
Що день божий добве ребра  
І серце розбиває.

Розбиває та не випе,  
Живучої крови,  
Воно знову оживає  
І сміється знову...

От Эсхила до Маркса и Шевченко, от Диогена до Леопарди и Кафки, от Платона до Гёте, Байрона, до сегодняшних и завтрашних ученых, поэтов, художников, для всех, кто ищет новые пути в науке и искусстве, в общественной жизни, кто отстаивает еще не признанные истины и оспаривает косные авторитеты, кто сопротивляется несправедным властям, защищает угнетенных и преследуемых, Прометей немеркнущий символ деятельного творческого человеколюбия, отваги, стойкости и целеустремленной воли.

Огонь Прометея зажигал очаги наших первобытных предков, теплился в светильниках древних мыслителей, польхал красногвардейскими кострами в октябрьском Петрограде.

Огнем Прометея сегодня пылают старые домны и новые электрические солнца, зажженные атомной энергией.

Неугасимый огонь Прометея клокочет в двигателях космических ракет и тихо освещает школьные парты.

Счастливы тот, кто зажегся однажды искрой этого священного огня.





Георгий Кока

(Ленинград)

## Пушкин о полководцах двенадцатого года

В 1835 году Пушкин написал стихотворение «Полководец», посвященное герою 1812 года генералу М. Б. Барклаю де Толли (1761—1818), и в 1836 году напечатал его в III книге своего журнала «Современник».

Главным источником суждений об этом стихотворении служит статья В. А. Мануйлова и Л. Б. Модзалевского «Полководец» Пушкина, опубликованная в 1939 году. С тех пор прошло почти три десятилетия. Многие в прежних оценках «Полководца» требует сейчас пересмотра или уточнения. Прежде всего следует устранить некоторые ошибочные положения, по недоразумению проникшие в литературу и принятые в свое время на веру.

### I. Барклай де Толли

В 1835 году Пушкин избрал генерала героем своего стихотворения, а полтора года спустя, 13 октября 1836 года, сказал о нем же в письме к Н. И. Гречу: «Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории».

Профессор Н. Л. Бродский в комментариях к «Евгению Онегину», которые ныне служат ходовым пособием по Пушкину, не согласился с мнением поэта и отметил, что «образ Барклая в стихотворении «Полководец» явно идеализирован». Мнение Бродского повторено в книге Б. С. Мей-

лаха «Пушкин и его эпоха», где говорится: «Как известно, поэт дает очень высокую, даже идеализированную оценку заслуг Барклая в Отечественной войне».

Бродский основал свое суждение на замечании Д. В. Давыдова, что «эта высокая личность... имела, однако, слабые стороны... малую природную сметливость к окружающим и подчиненным», а затем привел отзыв К. Клаузевица (1780—1831), известного немецкого военного писателя, участника войн с Наполеоном, который в книге «1812 год» писал: «Простой, честный, дельный, но умственно убогий Барклай был не способен просмотреть до дна обстановку в целом и был подавлен моральной потенцией французских побед... На его траурном и глубоко озбоченном лице каждый солдат мог прочесть, что положение армии и государства — отчаянное»<sup>2</sup>.

Замечание Давыдова, как мы увидим далее, не выражает его действительного отношения к полководцу, а мнение Клаузевица пристрастно и грубо ошибочно.

Научной биографии полководца, 150 лет со дня смерти которого исполняется в 1968 году, все еще не существует. Но есть достаточно данных, позволяющих справедливо дать этому человеку высокую оценку. В трудах военных историков, начиная с изданных еще в 20—30-х годах и середине XIX века и далее, в особенности в начале XX века, наконец, в сочинениях советских историков отмечены заслуги и мужество военачальника и не содержится сомнений в правильности его стратегической линии. Мнение о «траур-

Военная галерея Зимнего дворца.  
Картинка Г. Г. Чернецова, 1837.

ном» лице Барклая, на котором каждый солдат мог прочитать «отчаяние», опровергается свидетельством такого, например, очевидца, как Федор Глинка, который тогда же с восхищением писал как раз о «спокойном, светлом, безоблачном» в самые трудные минуты лице этого «необыкновенного человека». Глинка сравнивает полководца с Колумбом и с героем древности Катона, который «под бурями неколебим стоит»<sup>3</sup>.

Буря негодования против командующего бушевала в июле — августе 1812 года повсюду, во всех слоях общества и в войсках. Барклая, избежавшего решительного сражения с Наполеоном, несправедливо осуждали тогда в армии и в народе. Александр I, поставив Барклая во главе крупнейшей 1-й армии, сделал его ответственным перед страной за ход войны, но не дал ему прав главнокомандующего всеми вооруженными силами. Полководец оказался в ложном положении. Он проявил в это время мудрость стратега и необычайную твердость в осуществлении своих решений. Пушкину многое мог рассказать об этом А. П. Ермолов, бывший в 1812 году начальником штаба Барклая. Отлично знал положение дел и Д. В. Давыдов, в начале войны служивший адъютантом у П. И. Багратиона. И Давыдов и Ермолов, в 1812 году осуждавшие Барклая, впоследствии изменили свое мнение о нем.

Командующий хорошо знал, что его обвиняют в измене его же подчиненные. Чтобы пресечь возможность неповиновения, Барклай самым грубым образом, передав распоряжение через адъютанта, удалил из армии наиболее влиятельного из своих недругов, великого князя Константина, и отослал его в Петербург. Константин, числясь командиром 5-го корпуса, был по службе подчинен Барклаю и не мог не выполнить его распоряжения<sup>4</sup>. Этот неслыханный поступок по отношению к наследнику престола, перед которым все заискивали, был известен Пушкину<sup>5</sup>.

Другим эпизодом из множества, характеризующих личность полководца, было, например, его поведение на военном совете в Филях. Барклай, рискуя вновь вызвать на себя огонь обвинений в отсутствии патриотизма, первый предложил Кутузову оставить Москву. Как говорил впоследствии Ермолов, сам горячо возражавший против сдачи столицы, «все сказанное Барклаем на военном совете в Филях следовало бы отлить золотыми

буквами». Этот отзыв Ермолова записал Д. Давыдов.

«Барклай де Толли, — писал далее Давыдов, — с самого начала своего служения обращал на себя внимание своим изумительным мужеством, невозмутимым хладнокровием и отличным знанием дела». Он отметил, что «в сумрачном, постоянно угрюмом, хотя и скромном, бесстрашном, неутомимом и холодном, как мраморная статуя, Барклае проявилась впоследствии сильная раздражительность, недоверчивость и несправедливость в оценках чужих заслуг. Начало этих недостатков должно искать в тех ужасных гонениях, которым он подвергался в 1812 году»<sup>6</sup>.

Заслуги Барклая и его мужество отметили уже первые историки Отечественной войны. Одобрял действия своего предшественника и сам Кутузов<sup>7</sup>.

Барклай был не только стратегом, но и крупнейшим военным администратором. После долгих лет военно-полевой службы он был в 1810 году назначен военным министром. По отзыву историка Н. А. Данилова, деятельность М. Б. Барклая де Толли «представляется, несмотря на кратковременность, едва ли не наиболее блестящей и плодотворной за всю первую половину XIX века. Работы, исполненные им по отношению к коренным преобразованиям во всех областях военного управления, поистине изумительны... Идеи, положенные Барклаем в основание при выработке «Учреждения военного министерства» и «Учреждения для управления большой действующей армией», а также при реорганизации строевого управления, живут до настоящего времени». Эти реформы сыграли огромную роль в ходе Отечественной войны.

Еще до 1812 года Барклай проявил «глубокое понимание нужд России, выдающиеся административные способности, простой, ясный и здравый взгляд на вещи, непоколебимую энергию». Преобразования Барклая в области военной администрации шли в русле идей М. М. Сперанского<sup>8</sup>. Эта сторона деятельности полководца могла стать известной Пушкину со слов самого Сперанского, с которым поэт беседовал в 1834 году.

Замечательную подробность, известную, несомненно, и другим современникам, сообщил Н. И. Тургенев. «Военные сумеют оценить заслуги Барклая как генерала, — писал декабрист, — а люди беспристрастные отдадут дань уважения его неподкупности и прямоте его характера. Барклаю

де Толли не будет отдано должное, если я ограничу сказанным свою оценку этого замечательного человека. Все русские, знающие, какой ужасный вред приносили их родине военные поселения, должны быть признательны человеку, который один во всей империи осмелился порицать перед государем это бессмысленное и жестокое учреждение»<sup>9</sup>.

Тургенев знал, что Барклай противодействовал организации военных поселений, но мог лишь догадываться о его мотивах. обстоятельное «мнение» Барклая, представленное им царю 29 апреля 1817 года, было опубликовано много позже. Барклай разбивал проект положения об учреждении поселений, уже одобренный, по существу, и царем и всеильным Аракчеевым, по всем пунктам. Он считал эту затею несостоятельной не только в военном отношении, как полагал Тургенев. Барклай недвусмысленно заявил, что военные поселения явятся неслыханным бедствием для народа.

«Оба класса поселян, и казенных и военных, — писал Барклай, — подвергаются крайней степени стеснения, недостатком во всех необходимых для своего существования и угрожаются впоследствии самою нищетой». Примечательны общие рассуждения Барклая о положении крестьян, свидетельствующие о широте его воззрений: «Очень справедливо полагается основание состояния военных поселен на хлебопашестве, но известно, что хлебопашество, сельская экономия и сельская промышленность там только могут иметь хороший успех и желаемые последствия, где земледельцу дана совершенная свобода действовать в своем хозяйстве и распоряжаться своим временем так, как он для себя лучше находит... и где есть полная уверенность, что оседлость и приобретенное трудами имущество останется непременно потомственным наследством не в иной, а в его род, и что никакое самовластие не сильно лишит поселенца этих прав». Тем, кто сравнивал будущих поселен с барщинными крестьянами, Барклай отвечал: «Кому неизвестно, что и господские крестьяне под бичом барщины не в цветущем состоянии»<sup>10</sup>.

В «Слове о Барклае» участник Отечественной войны П. Глебов говорит, что Барклай преследовал тунаядцев и болтунов и не позволял никому над собой командовать: он не имел покровителей и не искал их<sup>11</sup>.

Действительно, всей своей карьерой незнатный и небогатый Барклай был обязан

только самому себе. Он не входил ни в одну из придворно-бюрократических клик.

Как видно, оценка Барклая Бродским противоречит фактам. Она опровергается показаниями историков и очевидцев и должна быть отброшена. Ученый напрасно остановился на Клаузевице, мнение которого о Барклае не подтверждается никем, и не обратил внимания, что этот автор пристрасно, несправедливо отозвался и о других русских деятелях<sup>12</sup>. Если верить Клаузевицу, а не Пушкину и русской военно-исторической науке, то общепринятое мнение, например, о Кутузове тоже придется признать ошибочным.

Факты рассеивают сомнения в исторической достоверности поэтического облика полководца. Поступки и подлинные черты характера, известные современникам, подтверждают справедливость всего, что сказано о нем в стихотворении Пушкина. Поэт и в данном случае не погрешил против истины и не преувеличил ни военных заслуг, ни моральной высоты своего героя.

## II. О политическом значении «Полководца»

Еще в дореволюционное время Н. О. Лернер сказал, что именно Пушкин «реабилитировал» Барклая. По словам ученого, о заслугах военачальника заговорили в русской печати раньше Пушкина только в 1833 году в журнале «Московский телеграф». Лернер добавил, что это выступление в защиту оклеветанного полководца вызвало донос С. С. Уварова и угрозу Николаю I закрыть журнал<sup>13</sup>. Мнение Лернера повторили Мануйлов и Модзалевский и развил В. М. Глинка<sup>14</sup>. «Создавая «Полководца», — писал Глинка, — поэт преследовал благородную цель реабилитации памяти давно умершего Барклая, о роли которого в 1812 году современная Пушкину печать начисто умалчивала. Единственная статья в «Московском телеграфе» 1833 года, выражавшая сходный взгляд на деятельность незаслуженно забытого военачальника, навлекла на журнал неприязности с цензурой и даже угрозу закрытия, о чем Пушкин, конечно, знал. Нужно было немало свойственной поэту самостоятельности во взгляде на историческую личность и смелости, чтобы выступить с этим стихотворением».

В 1948 году И. Л. Андроников в книге о Лермонтове рассказал, что и далее,

в 1834—1836 годах, когда был написан и напечатан «Полководец», заслуги Барклая для официальных историков оставались под запретом, и в реакционных монархических кругах на него возводили обвинения в бедствиях отечества, граничащие с обвинениями в измене<sup>15</sup>. Из этого естественно было сделать вывод, что Пушкин, восхваляя Барклая, совершил политически смелый поступок, направленный против казенно-бюрократических кругов, «ругавшихся» над полководцем. И этот вывод был сделан<sup>16</sup>.

Однако факты свидетельствуют, что дело было совсем не так.

В 1812 году над Барклаем «ругались» все, в том числе и «казенно-бюрократические реакционные круги». Но уже в самом начале 1813 года Александр I вызвал полководца для участия в новой военной кампании, и с этого времени ни о каких нападках на Барклая со стороны правящей верхушки и казенно-бюрократических кругов уже не могло быть и речи.

В отличие от общества, несправедливо осуждавшего тактику Барклая в 1812 году, правительство Александра I поощряло этого полководца. В мае 1813 года, вскоре после кончины Кутузова, Барклай вновь занял первенствующее положение в армии. Он одержал ряд побед и в 1814 году вступил в Париж. За кампании 1813—1815 годов Барклай был одарен всевозможными наградами, стал графом, князем, фельдмаршалом и получил высшие ордена России и союзных государств. Как будет показано далее, Николай I также проявил заинтересованность в славе именно этого полководца. Барклай был увековечен в грандиозных художественных памятниках того времени — портретной галерее генералов 1812—1814 годов в Зимнем дворце («Военная» галерея, или позднее «Галерея Двенадцатого года») и монументе перед Казанским собором на Невском проспекте в Петербурге. Торжественное открытие не вполне законченной галереи состоялось 25 декабря 1826 года. Памятники Кутузову и Барклаю в Петербурге открыты в 1837 году в тот же день (отмечающийся как годовщина изгнания из России французской армии).

Корни трагедии полководца были в отношении его в 1812 году не с властями, а с народом. Недоброжелательность к Барклаю в широких кругах общества оказалась стойкой. Время, этот «порядочный человек», сказало свое слово, но не так скоро.

Прямые обвинения в измене, впрочем, в печать никогда не проникали, даже в 1812 году, не говоря уж о периоде после 1834 года.

Еще в 1813—1814 годах был выпущен гравированный портрет Барклая со стихотворной надписью:

Отечеству, царю, законам чести  
 верный,  
 От Немана к Днепру — Российский  
 Ксенофон;  
 От Вислы ж к Рейну днесь гоня врагов  
 обратно,  
 С жезлом начальства он подъял труды  
 безмерны.  
 Покорствуя судьбе, знал счастье  
 превратно;<sup>17</sup>  
 По доблестям своим приял награду он<sup>17</sup>.

С. Глинка в 1814 году писал о Барклае:

За верность, мужество, терпенье  
 Царь-ангел наградил тебя.  
 Ты, землю русскую любя,  
 Сносил превратное сужденье

Кто самолюбие попрал,  
 Тот истинным героем стал<sup>18</sup>.

Но многие авторы в первые годы после войны были склонны умалчивать или очень глухо упоминать о заслугах Барклая в 1812 году. Так, во всех редакциях знаменитого стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812—1815), где воспеты подвиги пятнадцати военачальников, поэт не назвал среди них Барклая. Свою «забывчивость» (слова Пушкина) Жуковский исправил в 1839 году в стихотворении «Бородинская годовщина».

Справедливая, хотя и сдержанная по тону, оценка заслуг Барклая широко распространялась лишь в 20-е годы в исторических трудах Н. Ушакова, Д. Ахшарумова, Н. Окунева<sup>19</sup> и повторена в очерке «Взгляд на кампанию 1812 года», напечатанном в «Русском инвалиде» в 1831 году<sup>20</sup>.

В следующем, 1832 году вышел русский перевод «Истории Наполеона» Вальтера Скотта. Писатель сообщил здесь своим читателям о шотландском происхождении предков Барклая и дал ему очень высокую оценку. Он счел Барклая главным виновником поражения Наполеона<sup>21</sup>.

В 1833 году в «Московском телеграфе» появился обширный разбор книги Вальтера Скотта, написанный К. Полевым<sup>22</sup>. Это та самая статья, на которую ошибочно указал Лернер как на первое выступление в печати в защиту Барклая и повод для доноса Уварова на «Московский телеграф». Но источники, указанные самим Лернером<sup>23</sup>, свидетельствуют, что мнение о Барклае, высказанное в журнале, на самом деле не повлекло за собой никаких репрессий: они были вызваны другими причинами. Уваров отметил в статье большой отрывок, в котором усмотрел «самые неосновательные и для чести русских и для нашего правительства оскорбительные толки и злонамеренные иронические намеки». Однако в этом длинном отрывке Барклаю было уделено лишь несколько строк, явно не содержащих никаких «иронических намеков».

Приведем часть абзаца, заканчивающегося суждением Полевого о Барклае:

«Говорят об ожесточении крестьян, о народной войне; но ничего этого не было. Может быть, на всем пространстве пути французов, и с окрестностями Москвы, где прожили они довольно долго, несколько десятков и едва ли сотен мужиков оказали сопротивление фуражерам и мародерам; но разве это значит народная война? Русские дворяне и купцы сделали великие пожертвования, но не прежде, как при воззвании своего монарха. Из Москвы бежали, в Петербурге готовились к бегству, но сопротивления народного не было нигде. Как же было не заметить такого необыкновенного явления и не отдать всей справедливости бессмертному мужам, спасителям России: Александру, мужественному, непоколебимому противнику западного исполина, и мудрому, великому полководцу Барклаю де Толли? Кто мог остановить державную волю Александра, если бы он решился уступить Наполеону при начале кампании или в первые месяцы оной, при виде страшной грозы, готовой упасть и потом упавшей на его империю? Но как при объявлении войны, так и в минуты величайшей опасности Александр был и остался героем, достойным сыном и царем России; Барклай де Толли, который умел спасти армию и затруднил, изумлял Наполеона своею системою медления вследствие глубокого расчета, Барклай был другим хранителем России».

Несомненно, что Уваров мог усмотреть здесь крамолу не в прославлении заслуг

Барклая, которых царское правительство никогда не отрицало, а в рассуждениях Полевого о народной войне. Отрицая самый факт народной войны 1812 года, Полевой вступал в противоречие с доктриной Уварова и царя, толковавших о «воспламенении» народа, «преданного престолу». В другом месте отмеченного Уваровым отрывка говорилось: «Массы народные есть везде... За исключением религиозного чувства и некоторых местных обычаев, они



Портрет М. И. Кутузова. Гравюра С. Карделли с картины А. Орловского.

повсюду одинаковы и служат в корабле государственным вместо балласта, который по воле управляющих движущимся телом этого корабля, переносится в трюм, составляет иногда товар, иногда запас военный или общежительный и в случае нужды выбрасывается за борт». Эти-то циничные рассуждения о народе, а отнюдь не похвалы Барклаю могли быть расценены Уваровым как «иронические намеки, оскорбительные для чести русских». Они шли

вразрез с его идеей «православия, самодержавия и народности», провозглашенной как основа официальной идеологии николаевской России в том же 1833 году.

В 1835 году, когда был написан «Полководец» Пушкина, С. А. Маркевич в «Эн-

священной для каждого россиянина. Но несправедливость современников часто бывает уделом людей великих. Не многие испытали эту истину в такой степени, как Барклай де Толли. В 1812 году, когда он, следуя искусно соображенному плану, от-



Дж. Доу. Портрет М. И. Кутузова в Военной галерее Зимнего дворца.



Дж. Доу. Портрет М. Б. Барклая де Толли в Военной галерее Зимнего дворца.

циклопедическом лексиконе» Плюшара писал: «Барклай де Толли (после назначения Кутузова. — Г. К.) проявил редкий пример самоотвержения: пренебрегая мелочными расчетами самолюбия, он, как верный подданный своего государя, как ревностный сын отечества, продолжал службу свою с прежним усердием... Услуги, оказанные им отечеству, делают память его

ступал без потерь перед многочисленными полчищами неприятельскими, готовя им верную гибель, многие, весьма многие, не понимая его действий, обвиняли его в бедствиях отечества. Только неизменная доверенность монарха и внутреннее убеждение в правоте своих поступков поддерживали тогда Барклая»<sup>24</sup>.

В. А. Мануйлов и Л. Б. Модзалевский

отмечают, что Маркевич выступил «вслед за Пушкиным»<sup>25</sup>. Это не вполне точно. В действительности статья Маркевича прошла цензуру в конце 1835 года, то есть ранее публикации стихотворения. Свою оценку, которая поражает близостью идеям поэта, историк высказал независимо от Пушкина. Она суммировала взгляды, сложившиеся в военно-исторической литературе за двадцать лет со времени окончания войны.

Подобные взгляды были общераспространенными и никогда не встречали возражения со стороны правящих кругов. Это подтверждается и тем, что статья Маркевича тотчас же была перепечатана в таких далеких от оппозиции правительству изданиях, как «Русский инвалид»<sup>26</sup> и «Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений»<sup>27</sup>.

Наконец, в 1836 году появились «Записки о походе 1812 года...» С. Глинки, содержащие, также без всякой зависимости от «Полководца», напыщенные восхваления мужества и мудрости Барклая<sup>28</sup>. «Никто не может оспорить ни одной ветки из его бессмертных лавров», — восклицал Глинка.

Итак, распространенное мнение, что взгляд Пушкина на заслуги Барклая идеализирован и этим был неугоден властям, ошибочно. Оно сложилось только в итоге досадного искажения источников и должно быть отброшено.

Мнение народа, осудившего Барклая в 1812 году, нет оснований переносить на 1830-е годы и принимать за официальную точку зрения, с которой оно на деле никогда не совпадало.

Пушкин, не противореча официальной точке зрения на заслуги Барклая, создал свой образ полководца. Справедливая оценка действий Барклая, высказанная Пушкиным, уже сложилась в это время в исторической литературе и в этой части ничем не противоречила официальной историографии Отечественной войны.

### III. «Полководец» и официальная историография Отечественной войны

В коллективной монографии «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» отмечено, что стихотворение «Полководец» исследовано в качестве звена борьбы Пушкина против официозной реакционно-монархической трактовки Отечественной войны<sup>29</sup>.

Но в чем, собственно, состояла эта официозная, реакционно-монархическая трактовка? Это нужно уточнить.

В 30-х годах не оставалось и следа от попыток Александра I принизить значение Отечественной войны 1812 года и заслонить ее последующими событиями. Главного для самодержавия политического итога военных кампаний 1812—1815 годов — Священного союза — уже не существовало. События 1812 года были живы в памяти каждого, и выражения «Отечественная война», «народная война» употреблялись всеми. Но как понимать их? Кто воодушевлял народ и руководил народной войной? Вокруг этого-то и шла борьба мнений.

Одним из доказательств мощного подъема самосознания народа в 1812 году было выдвижение Кутузова на пост главнокомандующего. Это историческое событие имело не только первостепенное практическое значение, но и глубокий политический смысл. Александр I давно завидовал популярности старого генерала и не хотел этого назначения, но вынужден был склониться перед общим желанием. В этот момент сила общественного мнения была столь велика, что ей еще раньше царя подчинились Аракчеев и Шишков; именно они выступили перед царем ходатаями за Кутузова, хотя отлично знали недоброжелательное отношение к нему Александра I. Кутузов, облеченный после этого неограниченной властью, всецело опирался на доверие народа. Он, например, не только самостоятельно решил оставить Москву, но даже не счел нужным своевременно донести об этом царю, который, уединившись в Каменноостровском дворце, не только почти не влиял на важнейшие события в государстве, но и узнавал о них не намного раньше, чем рядовой петербургский обыватель. Ничего подобного во взаимоотношениях народа и самодержца в последующие десятилетия быть уже не могло. Невозможна была и самая формула назначения главнокомандующего «волею государя и желанием нации»<sup>30</sup>, появившаяся в печати в 1813 году.

У Николая I в отличие от его предшественника не было личных оснований для неприязненного отношения к Кутузову. Но и он не хотел примириться с тем, что тень гениального полководца затмевала монарха, подданный царя перерастал своего повелителя и выходил из его подчинения. Для правительства и его клевретов был неприемлем облик военного вож-



дя, избранного самим сражающимся народом и не нуждавшегося в поддержке престола. Чем ниже склонялись головы людей перед памятью героя, опиравшегося на доверие народа и взявшего на себя ответственность за его судьбу, тем большую

повелению», сообщалось, что Кутузов якобы противодействовал продолжению борьбы с Наполеоном в Европе. Это мнение, получившее широкую известность (в дальнейшем — по «Войне и миру» Л. Толстого), как показал С. Б. Окунь, ложно. Ми-



Дж. Доу. Портрет М. Б. Барклая де Толли, 1829. Фрагмент.



К. А. Зенф. Портрет Барклая де Толли. Гравюра, 1816.

недоброжелательность вызывало самое имя Кутузова в правительственных кругах.

Для того чтобы принизить Кутузова, правительство Николая I прибегало к любым средствам, не гнушаясь прямой фальсификацией исторических фактов. Так, в 1839 году в «Описании Отечественной войны 1812 года» А. И. Михайловского-Данилевского, изданном «по высочайшему.

хайловский в ранее изданных «Записках о войне 1813 года», обладающих достоверностью первоисточника, говорил иное: «Кутузов имел в виду быстро перенести войну в Германию»<sup>31</sup>.

Одним из таких средств была и попытка преувеличить роль других военачальников, послушных монарху, уравнивать с ними Кутузова и таким образом выдвинуть

самого монарха в центр событий. Разумеется, Николай I, всегда относившийся более чем сдержанно к деятельности своего предшественника, не мог питать никаких иллюзий насчет его военных заслуг. Всем было хорошо известно, что Александр I в кампании 1812 года играл ничтожную роль. Но неограниченная власть, которой пользовался тогда Кутузов, и его незатухающая слава представляли собой явную угрозу для самой идеи самодержавия. Чтобы отнять славу «спасителя России» от Кутузова, перед казенной историографией и была поставлена архинблагодарная задача — объявить Александра I не только «освободителем Европы» в 1813—1814 годах — этого теперь было мало, — но и «спасителем России» в 1812 году. Именно для этой цели Николай I в 1836 году поручил А. И. Михайловскому-Данилевскому написать историю Отечественной войны.

В конце 1837 года автор доставил рукопись Николаю I. В дневнике Михайловского-Данилевского от 21 февраля 1838 года говорится: «Сегодня обедал я у государя, сказал мне Киселев, и во весь обед речь шла о Вас. Государь только и говорил о Вашем сочинении. Движение народное, сказал он, выставлено прекрасно, также и общее воспламенение, но чувствуется адъютант Кутузова. Данилевский часто хвалит Кутузова там, где надобно было бы его критиковать... Потом вошел Чернышев... Государь, сказал он, поручил мне рассмотреть первую часть и назначить, что можно в ней печатать, на прочих же частях сам делает отметки. Он говорит, что Вы нападаете на Барклая».

12 апреля того же 1838 года Михайловский-Данилевский сообщил Чернышеву о внесенных им на основании указаний и отметок государя изменениях: «Я уничтожил все... что было бы слишком невыгодно для памяти некоторых генералов или слишком хвалебно для других»<sup>32</sup>.

Заинтересованность правительства в возвышении памяти Барклая и одновременной критике Кутузова очевидна. Далее мы еще раз убедимся, что обе тенденции были тесно связаны: заслуги Барклая прославлялись только для того, чтобы принизить Кутузова и тем самым расчистить почву для возвеличения царя.

Исправленный труд историка Николай I одобрил. «Я нашел в нем, — говорится в рескрипте о награждении автора ордемом, — описание бессмертных подвигов

императора Александра I, его твердости в деле спасения России»<sup>33</sup>.

Пушкин в «Полководце» воспел Барклая, ничего не сказав о Кутузове, — этого было достаточно, чтобы реакционные круги, не доискиваясь до истинного смысла этого произведения, сразу же попытались использовать его в своих целях.

28 августа 1836 года Уваров отверг сомнения сверхосторожного председателя цензурного комитета Дондукова-Корсакова и разрешил печатать «Полководца» без всяких замечаний<sup>34</sup>.

Книжка «Современника» была разрешена цензурой 30 сентября, а уже 12 октября Н. И. Греч обратился к Пушкину с восторженным письмом. Он приветствовал его как «истинного поэта, подборника добродетели, возносящегося светлым ликом и чистою душою над туманами предрассудков, поверий и страстей, в которых коснеет пресмыкающаяся долу прозаическая чернь. Честь Вам, слава и благодарность! Вы нашли истинное, действительное, единственное назначение поэзии!».

Пушкин ответил вежливо, но сдержанно. На следующий день, 13 октября, он писал Гречу: «Не знаю, можно ли вполне оправдать его (Барклая) в отношении военного искусства, но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения»<sup>35</sup>. Этими словами Пушкина подчеркивалось, что его привлек характер, а не военные заслуги Барклая и, следовательно, у него не могло быть намерения противопоставлять своего героя другим военачальникам.

Спустя два дня Булгарин перепечатал «Полководца» в «Северной пчеле», пояснив, что это стихотворение Пушкина превосходно «по предмету, по мыслям, по исполнению... Гений нашего поэта не слабеет, не вянет, а мужается и растет... Россия должна ждать от него много прекрасного и великого»<sup>36</sup>. Поразительно, с какой легкостью Булгарин в самый разгар борьбы с «Современником» отказался от своих постоянных выпадов против Пушкина и уверений в падении его поэтического таланта!

Эти факты в литературе о Пушкине не разъяснялись. Между тем в свете вышесказанного нетрудно понять, почему Греч и Булгарин с восторгом приветствовали новое, как им показалось, направление творчества поэта, осуждающего «прозаическую чернь»: ведь не правительство, а народ несправедливо отвергал заслуги Барклая! Слава этого героя в отличие от

Кутузова никакой опасности для самодержавия не представляла. Прославить Александра I как «спасителя России», приглушив славу Кутузова, было очень не просто. Нельзя было гнушаться ничем, и напоминание знаменитого поэта о заслугах другого полководца, которого всегда поддерживал Александр I, пришлось весьма кстати.

Некоторые исследователи, например И. Л. Андроников, придают особое значение тому, что Пушкин умолчал о заслугах Александра I, и утверждают, что «Полководец» именно этим был полемически направлен против официальной историографии Отечественной войны<sup>37</sup>. С этим нельзя согласиться. Ведь вожаки реакционного лагеря Булгарин и Греч не заметили этого умолчания. Видимо, они удовлетворились тем, что в первых строчках стихотворения говорится о другом царе — Николае I, и, главное, обрадовались возможности истолковать стихотворение с пользой для своей низкой интриги вокруг памяти Кутузова, то есть в интересах той же самой официальной историографии.

7 ноября Булгарин еще раз объявил: «В III книге «Современника» стихотворение самого издателя «Полководец» превосходно»<sup>38</sup>.

Но очень скоро события приняли драматический оборот.

В Петербурге появилась брошюра Л. И. Голенищева-Кутузова с критикой Пушкина. Автор восставал против преувеличения заслуг Барклая и объявления его «спасителем России» («Народ, таинственно спасаемый тобою...») — сказано у Пушкина). Он напомнил, что «многие разного рода писатели, и в прозе и в стихах, называли... избавителем России Кутузова». В подтверждение Голенищев приводит замысел Кутузова «впустить неприятеля войти в Москву» и его последующие действия, не связанные со стратегическими планами Барклая.

Известно, что Пушкин ответил Голенищеву-Кутузову «Объяснением», напечатанным в очередной, IV книге «Современника». Объяснение, заканчивающееся тремя строфами стихотворения «Перед гробницею святой...», написанного в 1831 году и оставшегося неопубликованным, вносило полную ясность в позицию Пушкина.

«Слава Кутузова, — писал Пушкин, — неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титул: спаситель России; его

памятник — скала Святой Елены! Имя его не только священо для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?

И мог ли Барклай де Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (не говорю уж о превосходстве военного гения). Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты; ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!»

О том же говорится и в стихотворении:

В твоём гробу восторг живет!  
Он русский глас нам издает;  
Он нам твердит о той године,  
Когда народной веры глас  
Воззвал к святой твоей седине:  
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Конечно, не Пушкин первый сказал о спасении России Кутузовым. Спасителем России Кутузова назвал народ<sup>39</sup>, «Спасителю моего отечества... Сограждане! вы знаете, кому из великих нашего времени принадлежит сие священное титул», — писал в 1823 году В. И. Панаев в «Похвальном слове светлейшему князю Кутузову». Это «титул» повторяли и поэты<sup>40</sup> и историки.

Говорили, будто сам император Александр I облек престарелого героя лестною, но тягостною обязанностью «спасителя отечества»<sup>41</sup>. В действительности дело было не так. Лишь однажды Александр сказал это очень сдержанно и как бы не от своего имени: «Москва и Петербург в один голос славили Кутузова, как единственного полководца, могшего спасти империю»<sup>42</sup>. В манифестах, рескриптах и других официальных документах эпитет «спаситель» при имени Кутузова не встречается. Это «священное титул» Александр сберегал для самого себя. Разделить это «титул», кроме как с богом, Александр в 1812 году соглашался и с дворянством: «Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем Отечества», — говорилось в манифесте от 6 июня 1812 года. В надгробном слове Кутузову архимандрит Фи-

ларет назвал полководца лишь «поспешником спасения».

Не следует полагать, что Пушкин, говоря о Кутузове: «Ты встал — и спас...», весь успех Отечественной войны считал тогда единоличной заслугой фельдмаршала. Необычайная распространенность «титла» «спаситель» во многих литературных произведениях о Кутузове (кроме, как мы видели, правительственных документов), создала поэтическую традицию, которую и продолжил здесь Пушкин.

Раздумывая о том же в 1830 году, Пушкин в X главе «Евгения Онегина» перечислил возможные причины победы: «Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог». Это упоминание говорит о том, что Пушкин высоко ценил военные заслуги Барклая задолго до возникновения замысла «Полководца».

В «Объяснении» Пушкин изложил свой взгляд на Отечественную войну как подлинно народную, выдвинувшую своего вождя. Народ и решил дело без помощи бога и царя, которые здесь даже не упомянуты.

Известно, что Пушкин далеко не всегда отвечал своим критикам. Но Голенищеву он ответил обширным «Объяснением», хотя мог удовлетвориться и короткой ссылкой на того же Маркевича. Видимо, он не только «объяснялся» здесь с Голенищевым, обидевшимся за своего родича, но, обращаясь к широкому общественным кругам, одновременно отбивался от главного врага — Булгарина, пытавшегося выставить поэта своим союзником. Это подтверждается и последними строками прозаического «Объяснения»: «Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было; а мнению стихотворца не может ни возвысить, ни унижить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию на ту ступень, на которой она явилась в 1813 году. Не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру». Эпитеты «низкая и преступная сатира» поражают: брошюра Голенищева написана нарочито сдержанно и корректно, подобных обвинений он Пушкину не предъявлял, и эти выражения в споре с Голенищевым кажутся неуместными. Но «низкими» и «преступными» были интриги вокруг памяти Кутузова и попытки правящих кругов принизить это священное имя.

После появления «Объяснения» уже не могло быть и речи о поддержке Пушкина Булгариным. Реакция последовала неза-

медлительно. IV книжка «Современника» вышла в свет в конце декабря (цензурное разрешение 22 декабря) 1836 года, а уже 11 января 1837 года в «Северной пчеле» (№ 7) под рубрикой «История» появилась ответная статья Ф. Булгарина «Правда о 1812 годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников»<sup>43</sup>. Впрочем, нельзя считать, что эта статья была направлена только против Пушкина; на этот раз Булгарин замахнулся шире.

Вначале он ополчился на авторов сочинений, которые проводят аналогии между Отечественной войной и Смутным временем. У Пушкина подобного сопоставления нет. Булгарин здесь имел в виду, вероятно, С. Глинку, который выпустил в 1836 году «Записки о 1812 годе...» с подзаголовком «Два года в двух эпохах. 1612—1812».

Булгарин объясняет неправильность сопоставления тем, что в 1612 году Россия «сиротствовала» и не имела «отца», то есть царя. Поэтому великая честь подвига спасения родины и выпала на долю «сынов» — Пожарского и Минина, а в 1812 году у России был законный царь Александр.

После этого Булгарин спрашивает: кто же «спас Россию в 1812 году»? По его мнению, этот простой вопрос «прозанки и поэты запутали своими возгласами, восторгами, неправильным употреблением эпитетов и даже искажением самих событий». Он переходит к Пушкину, которого вновь всячески расхваливает за «превосходное стихотворение «Полководец», выражающее дань благодарности чужеземному соотечественнику (а не чужеземцу), сыну России, хотя не славянской крови, но верному слуге престола Русского, следовательно, русскому гражданину, вождю русских сил, Русскому князю Барклаю де Толли дань благодарности за великую мысль... прежде истомить великана (Наполеона), чтобы уравнивать силы его со своими и, после этого, низвергнуть его».

С нескрываемым раздражением Булгарин далее рассказывает, как появился листок, «приложенный ко всем газетам 1836 года» (то есть брошюра Голенищева-Кутузова), с нападка на Пушкина за то, что он назвал Барклая спасителем русского народа. По мнению Булгарина, в стихотворении Пушкин допустил «поэтическую гиперболу, на которую не стоит обращать внимания», а в «Объяснении» на-

прасно «признал, что не Барклай, а Кутузов спас Россию».

Мы видели, что в 1812 и ближайших последующих годах Александр I не оспаривал народного мнения о спасении России Кутузовым, хотя и не разделял его. Теперь для клеветов самодержавия настало время категорически заявить о своей позиции.

Булгарин подробно разъясняет свою версию «спасения». Он рассказывает, что «великую мысль» Барклая, то есть его стратегический план отступления, одобрил Александр I. Он сообщил ее «главнейшим русским вождям», но этого нельзя было объявить народу, так как «Россия жаждала сразиться. Немыслящие роптали, злые клеветали на вождя. Поричали, проклинали того, который заслуживал благоговения. Герой принесен по необходимости в жертву отечеству. С терпением, постоянством, смиренном и мужеством христианина веков мученичества покорился герой судьбе своей», — Булгарин не скупится на похвалы Барклаю. Образ героя с ореолом христианского мученика, гонимого «немыслящей» и «злой» толпой, не был ничем опасен для самодержавия. Напротив, все это служило в подтверждение слов Булгарина, сказанных тут же: «Великие мужи могут совершать великие подвиги только при великих государях». Ведь оба государя в отличие от «немыслящего» народа всегда ценили Барклая по заслугам и отблагодарили его как только могли!]

А что же Кутузов? С беспримерной наглостью Булгарин повторяет старые упреки Кутузову за Бородинскую битву, не имевшую якобы «никаких последствий», кроме славы, «в которой Россия не нуждалась», и лицемерно восклицает: «не обвиняем полководца, а восхваляем его». Далее Булгарин цинично объясняет, что Кутузов следовал путем, «предначертанным в Совете царском». Сдачей Москвы, по его словам, «решалась политическая и стратегическая задача, давно предусмотренная и мудро рассчитанная». Эта ложь была ответом на доводы Голенищева, справедливо указавшего именно на это решение Кутузова, как на показатель его гения.

Теперь, когда роль Кутузова была сведена к исполнению замыслов Барклая и «давно предусмотренных» царских предначертаний, Булгарин уверенно отвечал на поставленный им вопрос.

«Ответ находится на медали 1812 года: «Бог!» Но кто исполнил волю Божию на

земле? Тот, который одобрил великую мысль Барклая, который избрал вождем Кутузова, ...и который приписал весь успех благодати божией — император Александр!.. Земные спасители России суть: император Александр Благословенный и верный ему народ русский. Кутузов и Барклай де Толли велики величием царя и русского народа; они первые сыны России, знаменитые полководцы, но — не спасители России! Россия спасла сама себя упованием на бога, верностью и доверенностью своему царю».

Еще раз повторив, что можно превозносить Кутузова, но нельзя говорить, что он «спаситель России, потому что это историческая ошибка!», Булгарин переходит к Александру I. Он рассказывает, как царь в 1813 году водил войска в атаку «под градом пуль», а в 1812 «был на своем месте»: не вождем войска, а «главой всего народа русского».

Статью Булгарина, одну из самых наглых фальсификаций, когда-либо использованных русским самодержавием в своих преступных целях<sup>44</sup>, Пушкин мог прочитать 11—12 января 1837 года. Наступали роковые «последние дни». Не знаем, намеревался ли он продолжать борьбу, или не пожелал на этот раз «оспоривать глупца».

Итак, два произведения Пушкина — поэтический «Полководец» и прозаическое «Объяснение», между которыми нет, конечно, никакого противоречия, — были встречены реакционной журналистикой поразному: «Объяснение» — хулой, «Полководец» — восторгами. Булгарин и Греч одобрили стихотворение за все — за «предмет», за «мысли», за «исполнение». Это не означает, разумеется, что в «мыслях» Пушкина и Булгарина было хоть что-нибудь общее. Напрашивается другой вывод. Видимо, несмотря на всю важность той или иной трактовки итогов войны и оценки ее героев, не эта проблема определила направленность стихотворения, хотя и пересеклась с ней в какой-то точке. Ни восхваление заслуг Барклая, ни умолчание об Александре I не дают основания для оценки стихотворения лишь как полемика выпада против официальной историографии. При таком подходе ускользает очень многое в его содержании, едва ли не все наиболее существенное, в том числе и пафос заключительного афористического шестистишия:

О люди! жалкий род, достойный слез  
и смеха!  
Жрецы минутного, поклонники успеха!  
Как часто мимо вас проходит человек,  
Над кем ругается слепой и буйный век,  
Но чей высокий лик в грядущем  
поколеньи  
Поэта приведет в восторг и в умиленье.

#### IV. Поэт и живописец

В поэтическом произведении на историческую тему исследователя привлекают не только реальные факты самой истории. Более важен весь сложный, во многом еще загадочный, ход преобразования цепи действительных событий в сюжет, деятеля истории — в героя стихотворения. Читателя волнует весь путь, каким поэт шаг за шагом придает своему персонажу поэтический облик. В «Полководце» на этом пути обнаруживается своеобразный этап: поэт здесь идет не только от событий жизни, но и от зримого образа героя, запечатленного живописцем Джорджем Доу (1781—1829). Полотно, о котором говорится в стихотворении, в 1829 году было помещено в «Галерею генералов 1812, 1813 и 1814 годов» («Военная галерея») в Зимнем дворце. Галерея была задумана еще в 1818 году, после блистательных европейских походов русской армии 1813—1815 годов, в которых на видную роль выдвинулся Александр I. Честолюбивый монарх брал реванш за поражение в кампании 1805 года и в особенности за свое униженное положение в 1812 году, когда он «дрожал»<sup>45</sup> в Каменноостровском дворце в Петербурге. Теперь Александр неотлучно был при армии и даже появлялся на полях сражений. Известно поэтическое восклицание Пушкина:

Ура, наш царь! Так! выпьем за царя.  
Он человек! Им властвует мгновенье.  
Он раб молвы, сомнений и страстей;  
Простим ему неправое гоненье:  
Он взял Париж, он основал Лицей<sup>46</sup>.

Пушкин «оправдывал» здесь обязательный тогда в публичном собрании тост за царя.

Современники замечали, что Александр I и его клеветы наиболее охотно вспоминают, не Отечественную войну 1812 года<sup>47</sup>, а кампании 1813—1814 годов и их политический итог — образование реакционного Священного союза монархов России, Австрии и Пруссии. «Государь не

любит вспоминать об Отечественной войне и говорить о ней», — писал декабрист Якушкин<sup>48</sup>.

Подобные взгляды отразились и в устройстве «Военной галереи». Посетители входили сюда с торца, со стороны дворцовой церкви, и двигались вдоль высоких стен, сплошь заполненных портретами генералов работы Дж. Доу и его русских помощников Голике и Полякова. Об этапах войн говорили названия мест побед, написанные на стенах. Из них только четыре относятся к 12-му году (Бородино, Тарутино, Клястицы, Красное), а восемь отмечают битвы на полях Центральной и Западной Европы.

По обе стороны от нынешнего главного входа в галерею через Гербовый и выхода в Георгиевский зал помещены огромные портреты «в рост», изображающие трех генералов, имевших высшее воинское звание фельдмаршала, и наследника престола великого князя Константина. Из участников Отечественной войны фельдмаршалами были Кутузов и Барклай, а в 1815 году звания русского фельдмаршала, как почетной награды, был удостоен также главнокомандующий союзной английской армии герцог Веллингтон.

Кутузов изображен в мундире, поверх которого накинута подбитая мехом шинель. Он стоит с повелительно вытянутой рукой под огромной елью, покрытой снегом. Вдали, на фоне снежной равнины, казачи преследуют отступающих французов.

Фон портрета Барклая — военный лагерь под Парижем, за взятие которого в 1814 году Барклай и получил звание фельдмаршала. В лавровых венках над портретом написаны золотом названия мест крупнейших сражений 1813 года — Кульм и Лейпциг.

Изображение Веллингтона, победителя под Ватерлоо в 1815 году, напоминает о последней из «наполеоновских» войн.

Трое фельдмаршалов, занявших почетные места в галерее по признаку своего высокого звания, олицетворяли три основных этапа борьбы с Наполеоном — кампании 1812, 1813—1814 и 1815 годов.

Всю торцовую стену против главного входа занимает огромный конный портрет Александра I. Справа и слева помещены конные же портреты двух других основателей Священного союза — австрийского императора Франца I и прусского короля Фридриха-Вильгельма III.

Так в галерее была последовательно проведена угодная властям версия истории

Отечественной войны, по которой великая народная эпопея 12-го года имела значение лишь одной из кампаний, приведших русского царя в Париж.

Вопреки ложной концепции, продиктованной правительством Александра I, галерея принадлежит к сокровищам русской художественной культуры XIX века. Эта единственная по грандиозности серия портретных изображений современников великой эпохи прочно объединена цельностью замысла, единством манеры художника и строгим архитектурным обрамлением. В то же время благодаря потрясающей изобретательности живописца галерея лишена монотонности и какой-либо нивелировки персонажей. Едва ли не каждый из 322 портретов являет собой нечто своеобразное не только в чертах, но и в экспрессии человеческого лица, по-новому схваченной художником, и дополняет неповторимыми индивидуальными особенностями коллективный образ участника героической эпопеи.

«Огненными чертами умеет ловить он под карандаш характеристическое выражение в лицах, — писал о Доу в 1820 году А. Бестужев, будущий декабрист и писатель А. Марлинский. — Кажется, дух Шекспира пролил особенную жизнь на все его произведения»<sup>49</sup>. Бестужев нашел у Доу меткую и вольную кисть. Сочувствием встретил художника — «за сходство и знание жизни» — и поэт Н. И. Гнедич. Он первый заметил, что «механический прием руки его совершенно особен: кисть широкая, смелая, грубая»<sup>50</sup>.

В первых строках «Полководца» есть совпадения с мнением Гнедича и Бестужева. Но стихотворение не было откликом на какие-либо литературные «источники», оно явилось итогом непосредственного созерцания поэтом самих полотен и размышлений над ними:

У русского царя в чертогах есть  
палата:  
Она не золотом, не бархатом богата;  
Не в ней алмаз венца хранится  
за стеклом;  
Но сверху донизу, во всю длину,  
кругом,  
Свою кистию свободной  
и широкой  
Ее разрисовал художник быстрокий.  
Тут нет ни сельских нимф,  
ни девственных мадонн,  
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых  
жен,

Ни плясок, ни охот: а все плащи  
да шпаги,  
Да лица, полные воинственной отваги.

К своей теме Пушкин подходит издалека. Сначала он говорит о месте галереи среди сокровищ царского «чертога» и собрания мировой живописи, о которой, впрочем, поэт отзывается здесь не очень почтительно, насмешливо рифмуя «девственных мадонн» и «полногрудых жен». Галерея для него всего важнее, и это слышится уже в свободной интонации первых же посвященных ей строк, где нет ни торопливости перечисления привычных живописных сюжетов, ни иронии.

Столь же «свободно и широко», как живописец на стенах галереи, Пушкин стихами воскресил в «Полководце» образы героев Отечественной войны. Его взор не остановился на огромных портретах монархов. Поэта привлекли только истинные вожди русских войск, и именно 1812 года.

...Толпою тесною художник поместил  
Сюда начальников народных наших сил,  
Покрытых славою чудесного похода  
И вечной памятью двенадцатого года.  
Нередко медленно меж ими я брожу  
И на знакомые их образы гляжу,  
И, мнится, слышу их воинственные  
клики.

Из них уж многих нет...

Пушкин углубляется в созерцание живописных полотен. Одно из них — портрет Ермолова — он ранее назвал в I главе «Путешествия в Арзрум». Можно полагать, что о Ермолове, который в царствование Николая I оказался не у дел, идет речь и в следующих строчках «Полководца»:

...другие, коих лики  
Еще так молоды на ярком полотне,  
Уже состарились и никнут в тишине  
Главою лавровой.

Только теперь, после широкого «разбега», поэт подводит к изображению своего героя. По имени он и здесь не назван; поэт словно приглашает читателя остановиться у полотна, всмотреться и угадать, о ком идет речь.

Но в сей толпе суровой  
Один меня влечет всех больше.  
С думой новой  
Всегда остановлюсь пред ним  
и не свожу







Надгробие М. И. Кутузова в Казанском соборе (ныне Музей истории религии и атеизма. Ленинград). Архитектор А. Н. Воронихин [?]. 1813—1814.

Непроницаемый для взгляда черни  
 дикой,  
 В молчанье шел один ты с мыслию  
 великой,  
 И, в имени твоём звук чуждый  
 не влюбля,  
 Своими криками преследуя тебя,  
 Народ, таинственно спасаемый тобою,  
 Ругался над твоей священной сединою.  
 И тот, чей острый ум тебя и постигал,  
 В угоду им тебя лукаво порицал...<sup>51</sup>  
 И долго, укреплен могущим убежденьем,  
 Ты был неколебим пред общим  
 заблуждёньем;  
 И на полупути был должен наконец  
 Безмолвно уступить и лавровый венец,  
 И власть, и замысел, обдуманый  
 глубоко, —  
 И в полковых рядах сокрыться одиноко.

Там, устарелый вождь, как ратник  
 молодой,  
 Свинца веселый свист слышавший  
 впервой,  
 Бросался ты в огонь, ища желанной  
 смерти, —  
 Вотще! —  
 . . . . .

Рассказ Пушкина о судьбе своего героя охватывает очень короткий, но самый важный период в жизни полководца. В августе 1813 года Барклай получил высшую воинскую награду — орден Георгия первой степени. Но поэт не придал значения знакам славы, которыми был осыпан Барклай за свои победы в 1813—1815 годах. Почетные звания и титулы, ордена, два великолепных монумента, из которых на одном изображена аллегория России в виде женской фигуры, оплакивающей полководца, — все это в глазах Пушкина не имеет большой цены.

Сочинения историков и патриотические вирши тоже появились не в 1812 году, а позднее, и, что самое важное, не в них было выражено «мнение народное».

Поэт обрывает рассказ на Бородинской битве, где Барклай сражался уже под началом Кутузова. Очевидцы рассказывали, как полководец бросался в самые опасные места, словно ища смерти.

Только зная ложную тенденцию, продиктованную правительством создателям галереи, можно оценить глубину трактовки этого образа своего героя. Замечательно, что поэт, имеющий свой, совершенно отличный от заданного художнику взгляд на полководца, высмотрел в самом полотне характерные черты личности героя и этим как бы взял живописца себе в союзники.

Замечательно и то, что Пушкин оценил Барклая как героя именно 1812 года не только в «Полководце». Год спустя, в 1836 году, он написал стихотворение «Художнику», связанное с посещением им мастерской русского скульптора (вероятно, Б. И. Орловского), где он увидел модели будущих памятников Кутузову и Барклаю. Парные монументы полководцев были задуманы как олицетворение двух этапов борьбы с Наполеоном, причем имя Кутузова, как и в галерее, связывалось с 1812 годом, Барклая — с низложением Наполеона в 1814 году. Но Пушкин и здесь обозначил каждого из них по-своему. «Вот начинатель Барклай, а вот соверши-

тель Кутузов», — писал он. В этом стихотворении Кутузов выступает как гений, решивший успех войны, а Барклай вновь в той же роли, что и в «Полководце»: зачинатель сопротивления, не преемник, а предшественник Кутузова.

«Полководец» является примером большого влияния изобразительного искусства на творчество Пушкина. Опираясь на создание художника, близкое ему по духу и глубоко им постигнутое, Пушкин придал «зримость» и центральной фигуре полководца и всей «тесной толпе» героев 12-го года. Это оказалось возможным потому, что Пушкина привлекли не только персонажи картин Доу, но и искусство живописца. В изображении героев исторической эпопеи во всем многообразии их положений и характеров, объединенном мощным и широким замыслом художника, Пушкин, как ранее Бестужев, мог найти «дух Шекспира». Как и посетитель торжественного картинного зала, читатель стихотворения подчиняется динамике образов, сменяющихся перед его мысленным взором, ощущает внутреннюю напряженность насыщенного событиями действия.

Поэт, «показывая» галерею и рассказывая о судьбе своего героя, позволяет следовать за ходом своих мыслей. Читатель «видит», как поэт, сначала закрепив взором и словом свое общее впечатление, затем останавливается на отдельных фрагментах, не спеша выбирает предмет для пристального наблюдения, всматривается в него, неторопливо размышляет и, лишь «сверив» свои мысли с увиденным на полотне, свободно развивает выношенные в душе мнения и убеждения.

#### V. «Гений с одного взгляда открывает истину».

Стихотворение «Полководец» во многих отношениях является совершенно своеобразным произведением, не имевшим аналогий в современной литературе. Но в нем проявились и некоторые из общих мотивов лирики Пушкина 30-х годов. Н. В. Измайлов справедливо сближает «Полководца» со стихотворениями этих лет на тему «об отношении выдающейся мыслящей личности к окружающему обществу, о месте этой личности в историческом процессе, о непонимании обществом значения и роли одинокой личности».

К сказанному должно добавить, что идеи «Полководца» слышны не только в лирике, но и в исторической прозе и письмах Пушкина этих лет. Его внимание все чаще



Надгробие М. Б. Барклай де Толли в Ийегеве (Эст. ССР). Скульптор В. И. Демут-Малиновский, архитектор А. Ф. Шедрин. 1823.

привлекают деятели, не получившие справедливой оценки современников или потомков. Пушкин с горячей, словно личной, заинтересованностью стремится отделить легенды от фактов и восстановить истинную роль каждого лица, несправедливо обойденного судьбой. Так, в «Историю Пугачева» он включил «Опровержение клеветы» (выражение Пушкина из перечня содержания 7-й главы) на И. И. Михельсона. О нем же Пушкин сказал и в письме к генералу Толю 26 января 1837 года (в канун дуэли): заслуги Михельсона «были затемнены клеветою; нельзя без негодования видеть, что должен он был претерпеть от зависти или неспособности своих сверстников и начальников». И далее: «Гений с одного взгляда открывает истину, а истина славнее царя, говорит священное писание».

Известно также заступничество Пушкина за Тредьяковского, которого И. Лажечников в романе «Ледяной дом» изобразил, по его

собственным словам, подлецом и педантом. Тогда же в письме к Лажечникову от 3 ноября 1835 года Пушкин заговорил и о фаворите Анны Иоанновны герцоге Курляндском Бироне. «О Бироне можно бы также потолковать, — пишет Пушкин. — Он имел несчастье быть немцем, на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты».

Эта оценка поражает своим несоответствием с привычными школьными представлениями о Бироне, но замечательно, что и тут Пушкин был прав. Историки А. Ловягин<sup>52</sup> и В. Строев<sup>53</sup>, работавшие в начале XX века, указали, что источники распространенной отрицательной оценки Бирона, как якобы всевластного «кровожадного злодея», исходившие из лагеря злейших личных врагов герцога, во главе с Минихом, пристрастны и необъективны. Лажечников не критически следовал этим мутным источникам и сложившейся на их основе вульгарной версии русской истории 30-х годов XVIII века, что и вызвало отповедь Пушкина.

Стремление верно оценить любой частный исторический факт и роль каждого исторического лица, так или иначе попавшего в орбиту интересов писателя, не смешивая правых с виноватыми, избегая нивелировки, опровергая фальсификаторов из всех лагерей, — неотъемлемая черта историзма Пушкина. Пафосом научности познания истории проникнуты и публицистика и художественное творчество Пушкина последних лет. Не шепетильность педанта, а правдивость гения, «который с одного взгляда открывает истину», сказалась в точности и меткости его оценок Исторические искания Пушкина неразрывно связаны не только с его реалистической эстетикой, но и с нравственными принципами. Можно думать, что Пушкин и сам сознавал это, сказав об «Истории» Карамзина, что это «создание великого писателя» есть и «подвиг честного человека».

В «Полководце» Пушкин прославляет не военные заслуги Барклая и правильность его стратегической линии — все это полагается несомненным и не требующим доказательства, — но его нравственный подвиг. Он говорит только о самом важном периоде в жизни полководца, когда история столкнула этого человека не с послушными служаками, которыми он привык и умел командовать, а с народом, отстаивающим

свою независимость, с его волей и мнением. Но «мнение» народа и его отказ своему вождю в доверии и поддержке в данном случае были несправедливы. Герой, преданный народу, отринут людьми лишь в силу трагического недоразумения, виной которому были заблужденья «черни дикой». Подобная совершенно новая трактовка старой проблемы «народа и вождя», поставленной теперь обоюдоостро, имела основание в самой русской действительности 30-х годов. Она отражала особенности социально-политической борьбы в годы последекабрьской реакции, когда передовые культурные и политические деятели были разобщены и не могли всколыхнуть пассивное общество, потерявшее своих прежних вожаков и неспособное распознать новых.

Автокомментарием к последней строфе «Полководца» может служить письмо Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 года: «Наша общественная жизнь — грустная вещь, ...это отсутствие общественного мнения... это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истинной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние».

Подобные идеи входили в круг социально-нравственных проблем, над которыми задумывались тогда лучшие умы — философы, писатели, художники (в лице, например, А. Иванова). Они не располагали тогда политической доктриной, открывавшей прямой путь к переустройству общества, но вопрос, как жить в этом обществе, так или иначе решался каждым. Борьба мнений шла вокруг нравственных категорий в их социальном аспекте. Не отвлеченные понятия добра, справедливости, благодарности, а принципы общественного поведения человека-гражданина волновали передовых людей 30-х годов.

Создания Пушкина, художника и мыслителя, — «Капитанская дочка» с ее многозначительным эпиграфом «Береги честь смолоду», публицистика, письма, «Полководец», воплотившие социально-нравственные идеи отдаленной эпохи, — тревожат умы и наших современников.

Б. И. Орловский. Памятник  
М. И. Кутузову на Невском  
проспекте в Ленинграде. Открыт  
в 1837 году.

Б. И. Орловский. Памятник  
М. Б. Барклаю де Толли на  
Невском проспекте в Ленинграде.  
Открыт в 1837 году.



## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> «Полководец» Пушкина». В сб. «Пушкин». Временник пушкинской комиссии. М.—Л., 1939, вып. 4—5, стр. 125—164.
- <sup>2</sup> Н. Л. Бродский «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителя, изд. V. М., «Просвещение», 1964, стр. 360; Б. С. Мейлах, Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 229.
- <sup>3</sup> «Записки русского офицера», 1815, ч. IV, стр. 42—46.
- <sup>4</sup> Этот эпизод рассказан в мемуарах В. И. Левенштерна («Русская старина», т. 104, 1900, декабрь, стр. 555—556).
- <sup>5</sup> См. письмо Пушкина П. А. Катенину 4 декабря 1825 года.
- <sup>6</sup> «Материалы для истории современных войн». Сочинения Д. Давыдова. Изд. IV, ч. II, 1860, стр. 65—66. Н. Л. Бродский (см. стр. 17) произвольно оборвал цитату и этим исказил мнение Давыдова. Об этом знали современники. См. в кн. Н. Ушакова «Деяния российских полководцев и генералов». СПб., 1822, ч. I, стр. 141.
- <sup>8</sup> Н. А. Данилов. Исторический очерк военного управления в России. В кн.: «Столетие военного министерства», 1802—1902, т. I, 1903, стр. 20, 208, 280.
- <sup>9</sup> «Записки изгнанника». СПб., 1907, стр. 9.
- <sup>10</sup> «Военный сборник». 1861, № 6, стр. 357.
- <sup>11</sup> «Современник», 1858, т. 67, стр. 130—156.
- <sup>12</sup> См. К. Клаузевиц, 1812 год. М., 1937, стр. 88—90.
- <sup>13</sup> Пушкин, Собрание сочинений под ред. С. А. Венгерова, П., Брокгауз и Ефрон, 1915, т. VI, стр. 474—476.
- <sup>14</sup> С осторожной поправкой: «едва ли не впервые в русской печати...» (ук. соч., стр. 139); В. М. Глинка, Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1949, стр. 39.
- <sup>15</sup> Повторено в кн. И. Л. Андроникова «Лермонтов. Новые изыскания». М., 1951, стр. 93.
- <sup>16</sup> См., напр., мнение Б. С. Мейлаха: «Кто же «ругался» над Барклаем и отказывал ему в каких-либо заслугах? Те же казенно-бюрократические круги» (в кн.: «Пушкин и его эпоха». М., 1958, стр. 230).
- <sup>17</sup> Ксенофонт был осужден афинянами за отступление его армии; правота его действий была доказана только впоследствии. Гравюра приведена в кн. Д. А. Ровинского «Подробное описание русских гравированных портретов», т. I, СПб., 1896, стр. 370—371.
- <sup>18</sup> «Русский вестник», 1814, кн. X, стр. 63.
- <sup>19</sup> Так, в «Рассуждении о больших военных действиях, битвах и сражениях, происходивших при вторжении в Россию в 1812 году» Б. П. Бутурлина (французский оригинал издан в 1829-м, русский перевод в 1833 г.), автор осуждает критиков Барклая (стр. 147) и одобряет все его действия и общий план отступления (стр. 57). «Победить неприятеля не иначе было возможно, — пишет Окунев, — как завлекая его внутрь России, на большие расстояния от всех его способов» (стр. 143).
- <sup>20</sup> В. В., Взгляд на кампанию 1812 года. «Русский инвалид». 1831, стр. 351—352.
- <sup>21</sup> «Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов». Сочинение сэра Вальтера Скотта. Пер. с англ. С. де Шаплет. СПб., изд. А. Смирдина, 1832, ч. IX, стр. 297, 301, 303, 387—389.
- <sup>22</sup> К. П[олево]й, Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов. Сочинение Вальтера Скотта. Пер. с англ. де Шаплет. СПб., 1831 и 1832. «Московский телеграф», 1833, ч. 51, «Критика». О Барклае на стр. 138—139.
- <sup>23</sup> М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. СПб., 1889, стр. 398—403.
- <sup>24</sup> СПб., 1835, т. IV, стр. 356—359. Ценз. разр. 31 дек. 1835 г.
- <sup>25</sup> Указ. соч., стр. 157.
- <sup>26</sup> 1836, №№ 23 и 24 от 25 и 27 января.
- <sup>27</sup> 1836, т. II, № 8, стр. 382—394.
- <sup>28</sup> С. Глинка, Записки о походе 1812 года. СПб., 1836, стр. 36—40, 238—239.
- <sup>29</sup> Л., «Наука», 1966, стр. 167 (статья Б. С. Мейлаха).
- <sup>30</sup> См. прим. 41.
- <sup>31</sup> «Очерки по истории СССР конца XVIII — первой четверти XIX в.», Учпедгиз, 1956, стр. 256—258.
- <sup>32</sup> «Русская старина», 1900, июнь, стр. 587. Публикация Н. К. Шильдера.
- <sup>33</sup> Там же, стр. 589.
- <sup>34</sup> Лернер. Указ. соч., стр. 475.
- <sup>35</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений в 16 тт. Переписка, т. XVI, 1949, стр. 164.
- <sup>36</sup> «Северная пчела», 1836, № 236, от 15 октября.
- <sup>37</sup> Указ. соч., стр. 98. См. также Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 229.
- <sup>38</sup> Ф. Б., Мое перевоспитание... «Северная пчела», 7 ноября 1836 года, № 256.
- <sup>39</sup> «Слабое приношение спасителю отечества», — гласила надпись на траурном обелиске, сооруженном в 1813 году в Ямбурге, на пути следования в Петербург процессии с телом Кутузова; «Избавителю Отечества» — на подобном сооружении в Нарве (Синельников, Указ. соч., ч. V, стр. 163).
- <sup>40</sup> См. эпитафии А. Измайлова, Н. Эмина и других, собранные в кн. Ф. Синельникова «Жизнь, военные и политические деяния Кутузова». Ч. V, СПб., 1813, стр. 183—187.

<sup>41</sup> «Анекдоты о Кутузове». Спб., 1814. См. также в кн. "Исторические записки о жизни Кутузова". Спб., 1813, стр. 148: «Волею государя и желанием нации возложена на него священная обязанность спасти Отечество»; «Весь народ называет его спасителем. Государь сказал ему: «Иди спасать Россию», — писал Ф. Глинка («Письма русского офицера». М., 1815, ч. 4, стр. 56).

<sup>42</sup> Письмо к Барклаю от 24 ноября 1812 г. В ст. И. А. Гейсмана «Кутузов». «Русский биографический словарь», т. «Князь — Кюхельбекер». Спб., 1903, стр. 672.

<sup>43</sup> Приведена у Андроникова (указ. соч., стр. 98) и Мейлаха (указ. соч., стр. 231).

<sup>44</sup> Оценка Александра I в книге А. И. Михайловского-Данилевского «Описание войны 1812 года» (1839) повторяет болгаринскую: «Земная слава избавления отечества есть достояние Александра» (ч. IV, стр. 372). Кутузова он именует «поспешником спасения» (ч. IV, стр. 376). См. также «Бородинскую годовщину» В. А. Жуковского (1839).

<sup>45</sup> «Под Австерлицем он

бежал, в двенадцатом году дрожал», — писал Пушкин («На Александра I», 1820—1826).

<sup>46</sup> «19 октября 1825». — См. также стихотворение «Была пора...» (1836):

Вы помните, как  
наш Агамемнон  
Из пленного Парижа  
к нам примчался.  
Какой восторг тогда  
перед ним раздался!  
Как был велик, как  
был прекрасен он,  
Народов друг,  
спаситель их  
свободы!

В письме к П. Чаадаеву от того же дня 19 окт. 1836 г. Пушкин писал: «Александр, который привел вас в Париж...»

<sup>47</sup> Эпитет «Отечественная» (или «война за Отечество», в отличие от войн 1813—1814 гг. «за освобождение Европы») появился тогда же. В печати одним из первых применил его Ф. Глинка («Письма русского офицера», ч. IV, стр. 54).

<sup>48</sup> «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина». М., 1951, стр. 7.

<sup>49</sup> «Письмо к издателю» —

«Сын отечества», 1820. стр. 157—172. Подписано: «А-р Б-ж-в, Петергоф».

<sup>50</sup> «Изыянные искусства. Академия художеств». «Сын отечества», 1820, ч. 64. стр. 205—226, 235—277, 299—325. Без подписи.

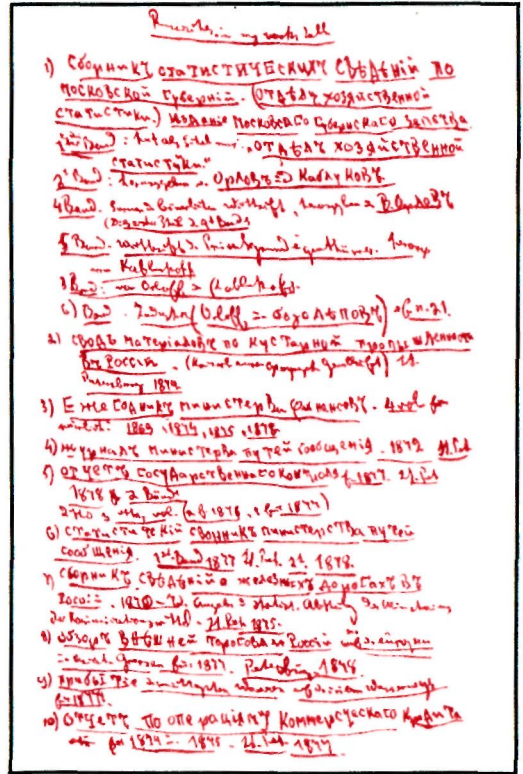
<sup>51</sup> Видимо, речь идет о Кутузове, который одобрял действия Барклая и признавал их «весьма благо-разумными» (см. Ушаков, Деяния..., ч. I, стр. 141). В то же время широкую известность получили в 1812 г. укоризненные слова Кутузова, сказанные им в Царевом Займище по приезде к армии: «Можно ли всегда отступать с такими молодцами?» (см. Михайловский - Данилевский, Описание Отечественной войны 1812 года, 1839. ч. II, стр. 200). Читатель знает их теперь в изложении Л. Н. Толстого: «И с такими молодцами все отступать и отступать!» («Война и мир», ч. III, гл. XXXVIII).

<sup>52</sup> «Русский биографический словарь». Спб., т. «Бетанкур — Бякстер», стр. 46—73.

<sup>53</sup> «Новый энциклопедический словарь». Спб., Брокгауз и Ефрон, т. VI, стр. 744—751.

Евгения Таратуга

«На моей книжной полке»



Страница из записной книжки Маркса.

Каждый раз, когда я бываю в Музее Маркса и Энгельса, я останавливаюсь перед витриной, в которой выставлена небольшая записная книжка. Черный коленкор ее обложки местами выцвел, посерел. Эта записная книжка принадлежала Карлу Марксу.

В 1881 году сверху одного листочка этой книжки Маркс написал: «Русское на моей книжной полке».

И дальше, проставляя номера по порядку, он аккуратно, тщательно выписывая русские буквы, составил список части своих русских книг. В основном это были труды по русской экономике, издававшиеся в Петербурге и Москве.

Под номером 1 значится «Сборник статистических сведений по Московской губернии».

Но были у Маркса и русские книги, выходявшие нелегально, за границей.

Несколько журналов «Вперед!» Маркс записал под номером 94.

Под номером 112 значится брошюра П. Л. Лаврова «По поводу самарского года», изданная в Лондоне в 1874 году. Его же книга «Государственный элемент в будущем обществе», выпущенная в Лондоне в 1876 году, значится под номером 113.

Следующим — 114 номером Маркс записал роман Н. Г. Чернышевского «Пролог», также изданный в Лондоне в 1877 году.

Сам П. Л. Лавров, друживший с Марксом и Энгельсом, дарил им свои книги и свои издания. Известно, что, в свою очередь, и Маркс и Энгельс дарили Лаврову свои книги.

П. Л. Лавров подарил Марксу среди других книг маленькую брошюру, предназначенную для революционной пропаганды в народе.

За номером 79 Карл Маркс тщательно, печатными буквами выписал замысловатое название этой книжечки: «Из огня да в полямя» и проставил дату ее издания — 1876.

Эта маленькая книжечка вместе со многими другими выставлена также на этой музейной витрине, рядом с записной книжкой Маркса.

На титульном листе ее напечатано:

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ!

или

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА,

и

ЮРЬЕВ ДЕНЬ!!!

Не сказка,

А БЫЛЬ-ПОБЫВАЛЬЩИНА ИЗ НАШИХ ДНЕЙ.

Сочинение

Вас. МАРКОВА.

Чтение для народа.

Кто хочет драться, тому надо с силами собраться.

Пословица.

С.-ПЕТЕРБУРГ.

1876.

И хотя мы ясно видим, что местом издания обозначен «С.-Петербург», это как раз тот случай, когда надо сказать себе: «Не верь глазам своим!», ибо достоверно известно, что книжка эта напечатана не в Петербурге, а в Лондоне.

И конечно, пометка о цензурном разрешении, напечатанная на обороте титульного листа — «Печатать дозволяется. С.-Петербург, 21 января 1876 г.» — тоже вымышленная.

И конечно, «Василий Марков» — тоже выдуманное имя.

Очень может быть, что П. Л. Лавров, даря К. Марксу эту книжечку, сообщил ему подлинное имя ее автора.

Эту книгу написал молодой русский революционер, член кружка чайковцев Сергей Кравчинский, впоследствии известный как писатель Степняк-Кравчинский.

«Из огня да в полямя!» была напечатана в январе 1876 года, и вскоре десятки и сотни ее экземпляров оказались в России, доставленные туда через границу с помощью контрабандистов.

Книжечку эту читали в рабочих кружках, в деревнях.

Один из виднейших деятелей революционного народничества, известный народолец Александр Михайлов, рассказывает такой эпизод:

Однажды, ранней весной 1876 года, на

второй день пасхи, на песчаном острове на Днепре неподалеку от Киева собралась группа людей. Это были рабочие, местная интеллигенция, мастеровые, мелкие торговцы. Добирались они на лодках из разных мест человек по пять-шесть. Всего собралось около шестидесяти человек. Некоторые уже бывали на таких тайных сходках, другие пришли впервые.

Сходку созвали киевские народники-пропагандисты.

Один из них и начал собрание чтением книжки «Из огня да в полямя!».

Александр Михайлов, присутствовавший на сходке, видел, что внимание слушателей целиком поглощено чтением. Уж очень задевало их то, о чем они слышали. А слышали они о бедах и тягостях своей жизни, о том, что хотя после реформы освобождения крестьян прошло уже пятнадцать лет, народу не только не стало легче жить, а наоборот — труднее. Раньше били дубьем, а теперь рублем. Из огня народ попал в полямя.

И только одно спасение есть для народа — восстать всей землей против своих грабителей — против помещиков, против хозьев, против царя...

Кончив чтение, пропагандист сказал несколько слов от себя, развивая тему книжки.

Потом стали выступать рабочие. Глухое молчание сменилось резкими возгласами. Неожиданно для организаторов сходки слушатели стали нападать на них.

Говорили:

— Книжками одними много еще не сделаешь, а как и с кем бороться, надо выяснить, да и начинать, а там, как узнают, за что война загорелась, пристанут и другие!

Один рабочий, лет сорока, мощного сложения, закричал:

— Да что же мы, братцы, что ж нам разговаривать этак без конца. Если мы недовольны, их разносить надо! Пойдем, разобьем жандармское правление, а там посмотрим что будет!

Все вскочили...

Браня книжки, они забыли, что именно

<sup>1</sup> Эту колоритную сцену Александр Михайлов приводит в своих показаниях на следствии, в которых он поставил себе целью дать «отчет русскому обществу и народу» о современном революционном движении. Протокол от 26 декабря 1880 г. См.: А. П. Прибылов в Корба и В. Н. Фигнер. Народолец Александр Дмитриевич Михайлов. Л.—М., 1925, стр. 95—96.



книжка открыла им глаза на их положение, что именно книжка привела их в такое боевое настроение...

Полицейские власти не сразу обнаружили крамольное издание революционеров, но, обнаружив, поняли его силу.

За подписью шефа жандармов генерал-адъютанта Н. В. Мезенцева, III отделение собственной его императорского величества канцелярии послало министру внутренних дел 12 февраля 1877 года отношение, в котором говорилось: «...В Москве появились две нового издания брошюры, назначенные, очевидно, для распространения в народе с целью развить в нем антиправительственные идеи...: 1. «Из огня да в полымя! или вот тебе, бабушка, и Юрьев день!!!», соч. Вас. Маркова...»<sup>2</sup>.

Вот какая книга оказалась в библиотеке Маркса. У него, вероятно, были и другие пропагандистские брошюры С. Кравчинского<sup>3</sup>.

За границей тогда было издано четыре брошюры Кравчинского: «Сказка о копейке» (1874) и «О правде и кривде» (1876) — в Женеве, и «Сказка о Мудрице Наумовне» (1875) и «Из огня да в полымя!» (1876) в Лондоне.

В этих книжках молодой революционер-народник популяризовал идеи первого тома «Капитала», как он их понимал, рассказывал о Международном товариществе рабочих, призывал рабочих и крестьян бороться за счастье трудящихся.

Это была первая в мире попытка доступно изложить идеи Маркса, сделать их понятными для самых широких слоев, для людей не только необразованных, но и просто малограмотных, а то и вовсе неграмотных, то есть именно для тех, о благе которых и думал Карл Маркс, создавая свой труд...

Я хочу рассказать об удивительной истории этих удивительных книжек — об их создании, издании и о том, как они «жили» в народе<sup>4</sup>.

Но прежде всего надо сказать, что сам С. Кравчинский уже давно был знаком с трудами К. Маркса. Еще задолго до того, как первый том «Капитала» появился на русском языке, будучи слушателем Михайловского артиллерийского училища, в 1869 году С. Кравчинский читал «Капитал» на немецком языке.

Молодой артиллерист не только штудировал первый том «Капитала», но и излагал его идеи своим товарищам, не владевшим немецким языком<sup>5</sup>.

Позднее, когда Кравчинский был уже

студентом Лесного института и входил в кружок чайковцев, в 1872—1873 годах, он вел занятия по политической экономии в рабочих кружках. Людям, подчас даже не очень грамотным, совершенно не привыкшим к умственной деятельности, Кравчинский пытался изложить самые сложные проблемы устройства общества. Он вдумчиво и терпеливо искал убедительные слова, простые и выразительные сравнения. Отвлеченные положения он пытался конкретизировать, подыскивал примеры из повседневной жизни. Очевидно, это ему удавалось, так как рабочие ходили на занятия «как на праздник», а некоторые запомнили лекции Кравчинского на всю жизнь<sup>6</sup>.

Пожалуй, главное в его беседах было то, что он никогда не ограничивался информацией, так сказать, сообщением определенной суммы знаний. Кравчинский всегда стремился воодушевить своих слушателей, пробудить в них стремление к борьбе за счастье трудового люда.

Кружок чайковцев поручил Кравчинскому написать брошюры для социалистической пропаганды в народе.

В эти брошюры, за которые он взялся с огромным энтузиазмом, Кравчинский вложил свой богатый опыт пропагандиста.

<sup>2</sup> Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ), ф. 776 (Главное управление по делам печати), оп. 111 д. 96. За сообщение о документах этого фонда благодарю Р. И. Яранцева.

<sup>3</sup> См. «Архив Маркса и Энгельса», т. IV. М., 1929, стр. 420.

<sup>4</sup> До сих пор эти пропагандистские брошюры лишь изредка привлекали внимание исследователей. Касается их В. А. Десницкий в статье «М. Е. Салтыков-Щедрин в восьмидесятые годы» (см. его «Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв.», М.—Л., 1958). Содержательны статьи Г. Н. Шарапова «Пропагандистские сказки С. М. Степняка-Кравчинского» в «Ученых записках Горьковского гос. ун-та», 1958, выпуск 48 и Е. В. Бояровской «О раннем творчестве С. М. Степняка Кравчинского» в «Научных записках Харьковского гос. пед. института». 1958, т. XXX. Как материал для анализа идеологии революционного народничества рассматривает их В. Ф. Захарина в статье «Революционная пропагандистская литература 70-х годов XIX в.» («Исторические записки», т. 71. М., 1961). Некоторые архивные данные о распространении этих брошюр приведены в кн. О. Соколов. На заре рабочего движения в России. М., 1963.

<sup>5</sup> Л. Э. Шишко. Собрание сочинений, т. IV. Пг., 1918, стр. 95, 188.

<sup>6</sup> Рабочий. Воспоминание о С. М. Кравчинском «Рабочая мысль», 1902, № 16

Ведя устную пропаганду в рабочих кружках и в деревнях, Кравчинский постоянно искал путей проникновения в сердца своих слушателей. Он много думал об этом и упорно искал наиболее доходчивые слова. Он постоянно сравнивал разные манеры ведения пропаганды у своих товарищей. Интересно, что в дальнейшем, характеризуя своих соратников по революционной деятельности — и в «Подпольной России» и в отдельных очерках, — Кравчинский всегда особо останавливался на манере своих героев вести пропаганду, отмечая, что одному удавались лучше беседы в небольших кружках, другие воодушевлялись перед большой аудиторией, одни сильны были логикой, другие брали юмором.

Эти размышления, наблюдения, собственный опыт и опыт товарищей привели Кравчинского к замечательному выводу, который, несомненно, может пригодиться и пропагандистам наших дней.

«Лишь отдельные личности, — писал он, — воспламеняются от прикосновения чистой идеи. Масса, толпа способна одушевиться ими только тогда, когда конкретный факт или личность, воплотившие эту идею, взволнуют их нравственное чувство и фантазию».

А в романе «Андрей Кожухов» Кравчинский, конечно, вложил свои мысли в уста героя, опытного пропагандиста, поучающего новичка:

«...Ученость не главное качество в хорошем пропагандисте. Это ничто в сравнении... с умением волновать сердца и зажигать в них ваш собственный энтузиазм... Как это делать?... Тайна состоит в том, что нужно все это чувствовать самому».

В этом же романе он утверждает, что только глубокая, искренняя убежденность дает человеку «власть над сердцами других; она делает его рвение заразительным; она вливает в его слова — простую вибрацию воздуха — такую мощь, которая способна перевертывать, пересоздавать человеческие души»<sup>7</sup>.

Таким же «заразительным рвением» были проникнуты и пропагандистские брошюры Кравчинского — простые белые тетрадки с черными закорючками на них...

Я уже говорила, что Кравчинский взялся за них с большим воодушевлением и энтузиазмом. Он очень высоко ставил печатное слово, сам испытал на себе его неотразимую силу.

Товарищи запомнили, что Кравчинский любил тогда повторять:

— Наполеон говорил, что для того, чтобы сделать из солдата хорошего стрелка, надо на него затратить равное ему по весу количество пороха, а я думаю, что для того, чтобы сделать из рабочего хорошего социалиста, надо затратить на него равное ему по весу количество литературы.

Еще со времен декабристов русская революционная пропаганда использовала как самую доходчивую форму песни и сказки. В виде сказок решил написать свои брошюры и Кравчинский.

Удивительные это получились сказки.

Обычно сказки касались нравственных понятий, в них высмеивались трусы, мздоимцы, лицемеры, превозносились храбрые, добрые, умелые.

Но вот впервые в мире сказочными персонажами становились категории политической экономии.

В 1873 году Кравчинский написал «Сказку о копейке». В ней, следуя основам политической экономии, установленным Марксом, он раскрывает систему денежно-хозяйства, капиталистического строя, в тенета которого попал русский крестьянин после отмены крепостного права. Затем он рисует читателю пленительную картину будущего справедливого строя, основанного на коллективном труде, призывая бороться за него и вербовать соратников для этой борьбы.

Для развития этих мыслей Кравчинский нашел очень емкий и понятный даже самому темному человеку образ — копейку. Мужик добывает эту позеленевшую погнутую монетку с великим трудом, но он не может воспользоваться ею — тотчас же появляются лихоимцы — то поп, то помещик, то чиновник — и все они отнимают у мужика его трудовую копейку.

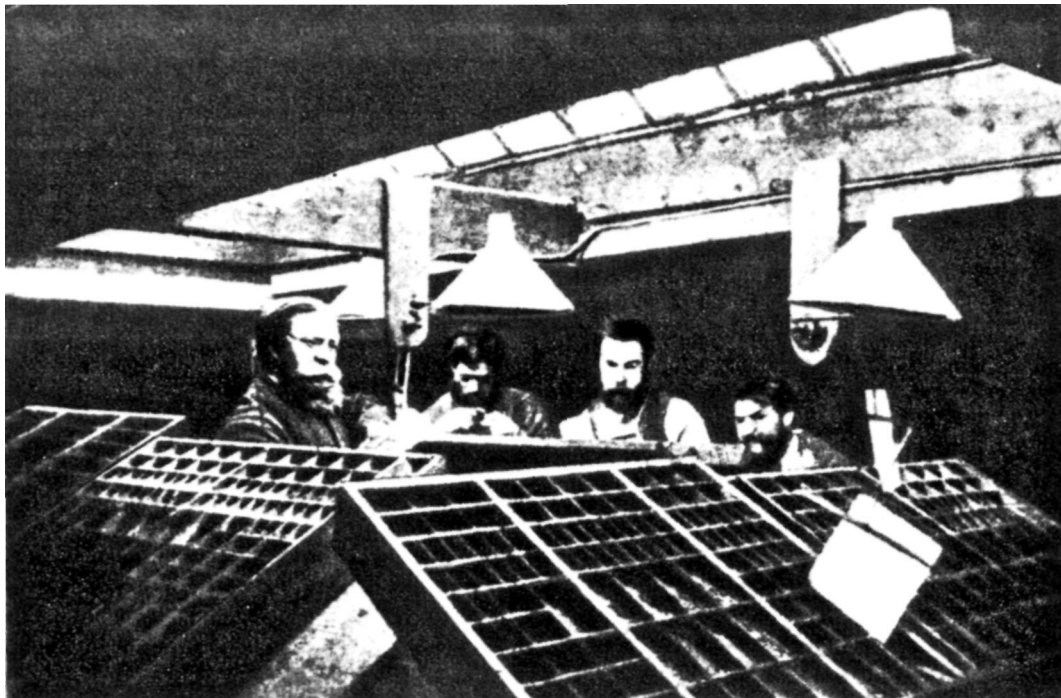
Сказка пересыпана фольклорными речениями, богата сатирическими характеристиками, в ней очень сильно антиклерикальная струя. Заканчивается она призывом, написанным с неподдельным пафосом.

К сожалению, мы не знаем подлинного текста «Сказки», написанной Кравчинским. Рукописи, конечно, не сохранилось, а в печатном тексте были сделаны изменения без согласования с автором.

<sup>7</sup> С. Степняк-Кравчинский, Сочинения, т. 1, М., 1958, стр. 566. (Разрядка моя. — Е. Т.).

<sup>8</sup> Там же, стр. 188, 23.

<sup>9</sup> Из письма А. Зунделевича Л. Дейчу от 8 апреля 1923 г. — в сб. «Группа «Освобождение труда», № 3. М.—Л., 1925, стр. 218.



П. Л. Лавров в типографии газеты  
«Вперед».

Мы узнаем об этом из письма друга и соратника Кравчинского, Д. А. Клеменца, к Л. Б. Гольденбергу, издавшему эту книжку в Женеве.

Сообщив, что партия груза со «Сказкой о копейке» уже отправлена в Россию, Клеменц пишет:

«Из-за этой «Копейки» вышла в Питере неприятная контроверза. Автор узнал, что Вы сделали изменения в тексте, и страшно этим недоволен. Он не соглашается выпустить ее в свет с этими изменениями и ставит непременным условием, чтобы они были помещены в опечатках или соответственные места перепечатаны заново. В противном случае он отказывается совершенно от участия в литературных работах. Не знаю, как обойдется с тем транспортом, который уже отослан.

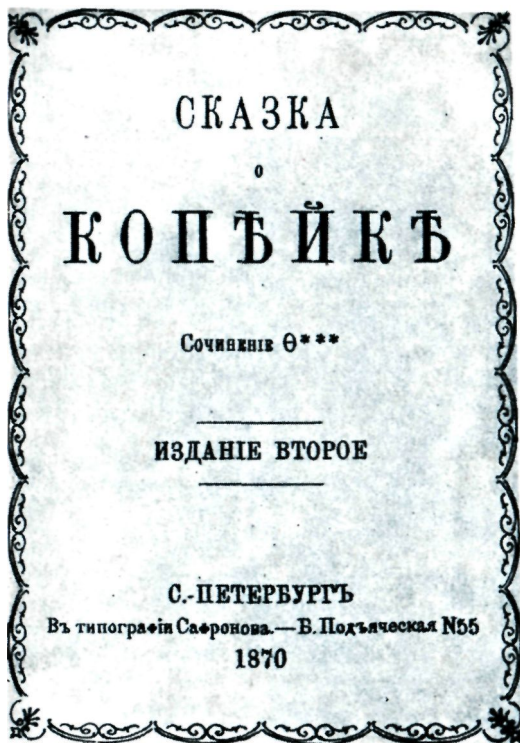
При той щепетильности, с которой всякий почти автор относится к своим произ-

ведениям, кружок наш думает, что изменения возможно будет делать не иначе, как посоветовавшись с Петербургом.

В противном случае мы рискуем остаться совершенно без сотрудников. Да и вообще нам, сушим за границей, трудно брать на себя задачу исправлений. Во-первых, нас здесь мало — наше мнение не может заменить собой решений кружка; во-вторых, у нас нет того способа пробовать годность данной рукописи, которым питерцы пользуются с таким умением — это предварительное чтение рукописи рабочим.

Все это заставляет думать, что кружок имеет некоторые основания требовать, чтобы изменений без сношений с ним не делали»<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Письмо от 10 января, без года, но несомненно — 1875 г. Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. П. Л. Лаврова, № 1762, оп. 4, ед. хр. 581, л. 121—122.



Обложка книги «Сказка о копейке». Женева, 1874.



Одна из обложек книги «Сказка о Мудрице Наумовне». Лондон, 1875.

Однако книжка уже была напечатана, и вносить какие-либо исправления было невозможно. Так до нас — и до читателя того времени — дошел не авторский, а измененный текст.

Любопытно отметить, что сам автор весьма быстро успокоился. Вот что Кравчинский писал в своем первом же письме к Л. Гольденбергу вскоре после приезда за границу:

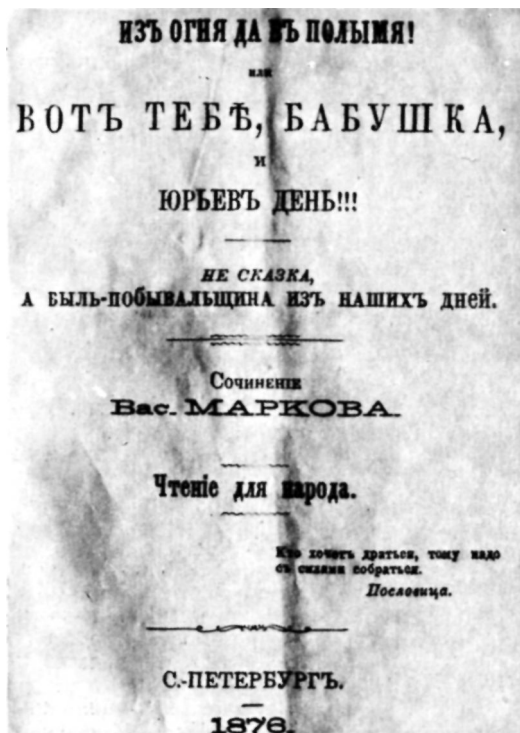
«...Мы ни разу не говорили, ни разу не видали друг друга, а я имею основания опасаться, что вы полагаете, что мы уже успели поссориться. Поэтому мне нужно начать с того, что бывает следствием таких отношений на деле, т. е. с объяснения.

Я — автор Копейки, которая печаталась у вас. Когда я только что узнал, что вы сделали в ней поправки, то я действительно взбеленился на вас за такой поступок. Но теперь, когда я узнал, как было

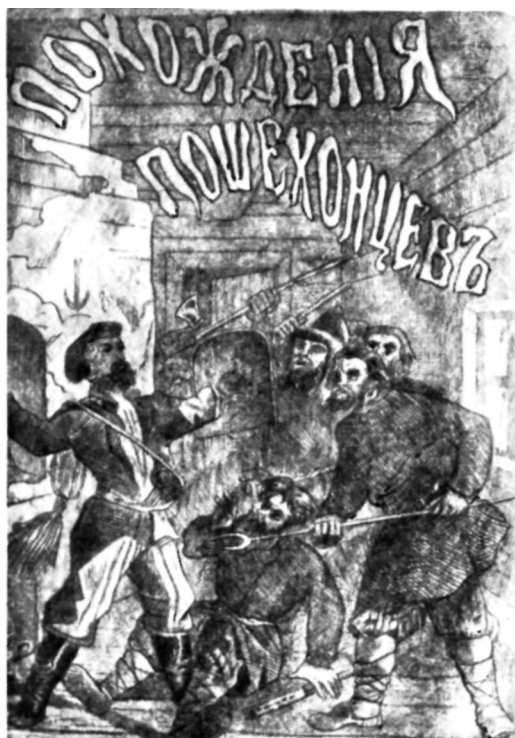
все дело, и увидел, что причиной было простое недоразумение — вы приняли личное мнение Лопатина за решение, которое прислано вам кружком, когда я узнал все это, то злость моя совершенно улеглась. Теперь же, когда прошло этому столько времени, когда новые работы и новые планы заставили меня совсем забыть про самую-то Копейку, я, разумеется, не могу даже сохранять и тени какого-нибудь неудовольствия»<sup>11</sup>.

Из этого письма мы узнаем, что изменения в книжку Кравчинского внес один из виднейших революционеров того времени — Герман Лопатин. Он дружил с Марксом и принимал участие в переводе первого то-

<sup>11</sup> Письмо без даты, очевидно — апрель 1875 г. ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 603, л. 36. (Находится в папке писем к Н. А. Морозову, но, несомненно, адресовано Л. Б. Гельденбергу.)



Обложка книги «Из огня да в полымя!». Лондон, 1876.



Одна из обложек книги «Сказка о Мудрице Наумовне». Лондон, 1875.

ма «Капитала» на русский язык, то есть был один из самых сведущих в этих вопросах человек.

Конечно, это весьма знаменательно, но степени авторского участия Лопатина в «Сказке о копейке» мы не знаем, не знаем и характера внесенных им изменений...

Надо сказать, что Кравчинский нисколько не сердился и на Лопатина. В одном из писем к Лаврову той поры Кравчинский пишет: «Если Герман приехал, то кланяйтесь ему до матушки сырой земли»<sup>12</sup>.

«Сказка о копейке» получила довольно широкое распространение в России. Из мемуаров и жандармских документов мы узнаем, что эту книжку читали в Петербурге и Киеве, в Одессе и в Пензе, в Вильне и в Орехово-Зуеве.

Иногда «Копейка» попадала читателям весьма странными путями. Например, в де-

лах III отделения сохранилось упоминание о таком факте:

«29 июня 1875 года на откосе близ станции Спирова Николаевской железной дороги стрелочник Муканов нашел сброшенную с прошедшего поезда толстую трость обернутую революционными прокламациями и брошюрами «Бог-то бог, да и сам-то не будь плох» и «Сказка о копейке». Муканов бережно расправил прокламации, а когда пришел его сменщик стрелочник Аверьянов, читал вслух книги, полученные таким необычным способом»<sup>13</sup>.

Но большей частью пропагандисты лично распространяли ее в рабочих кружках. Организатор Южно-Русского Рабочего

<sup>12</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 2.

<sup>13</sup> ЦГАОР, ф. 109, 3 экспед., 1874, л. 144. ч. 80, л. 35, цит. по кн.: О. Соколов, На заре рабочего движения в России. М., 1963, стр. 163.

Союза Е. О. Заславский летом 1875 года в роше под Одессой читал «Сказку о копейке» на сходке, где было около сорока рабочих, «делая свои объяснения и замечания, которыми старался возбуждать собравшихся и слушавших его против правительства»<sup>14</sup>.

Другой видный деятель рабочего движения, один из организаторов Морозовской стачки, П. А. Моисеенко, начинает свои воспоминания с рассказа о том, как ему «попались впервые нелегальные брошюрки: «Сказка о четырех братьях», «Хитрая механика», «Сказка о копейке»... Вот с этих-то пор и начинается мое пробуждение от старого религиозного учения... О, что было тогда! Мы с товарищем зачитывались, в то же время не веря себе: как это можно, неужели это правда все то, что написано в этих книжках? Ум стал работать, стал доискиваться правды; и куда бы мы ни сунулись, все то, что написано, — правда»<sup>15</sup>.

Конечно, полиция вскоре обнаружила и эту крамольную книжку. В архиве Главного управления по делам печати в деле «Об изъятии из распространения разных изданий по требованию III-го отделения» сохранилось отношение от 11 сентября 1875 года за подписью шефа жандармов Н. В. Мезенцева насчет «Сказки о копейке».

То же III отделение, составляя весной 1876 года доклад царю о том, что «в последнее время обнаружена преступная деятельность по распространению книг революционного содержания», сочло нужным доложить самодержавию всероссийскому, что в Тамбовской губернии «у ученика сельской школы селения Чигорка Борисоглебского уезда Сергея Мещерякова отобраны учителем две книги: «Сказка о копейке» и «Бог-то бог, да сам не будь плох»...

Царь прочитал этот доклад 7 апреля 1876 года<sup>16</sup>.

...На Балканах назревали военные события, в Болгарии вспыхнуло восстание, близилась русско-турецкая война... а высшие власти Российской империи были озабочены тем, что школьник Тамбовской губернии читает «Сказку о копейке»...

Если во время обысков находили «Сказку о копейке», то это грозило каторгой ее владельцу.

Полиция засылала провокаторов в революционную среду, но их было немного, и если даже предатель Осип Виноградов весной 1876 года принес в московское жандармское управление 46 экземпляров «Сказки о копейке», то многие десятки

этой книжки ходили по России, пробуждая сознание народа.

А между тем в самой революционной среде «Сказка о копейке» вызывала споры и разногласия.

Лев Дейч, один из организаторов группы «Освобождение труда», вспоминает о беседах с Кравчинским:

«Зашла у нас речь о нелегальных книжках для народа. Не зная, кто автор «Сказки о копейке», я самым беспощадным образом разнес ее.

— Ха, ха, ха! — раздался вдруг веселый смех Кравчинского. — Здорово же ты раздал мое дитя! — воскликнул он и затем сам согласился, что это крайне неудачная брошюрка»<sup>17</sup>.

Отрицательно оценивал эту книжку и Г. В. Плеханов и некоторые другие<sup>18</sup>.

А вот видный деятель того времени Ф. В. Волховский называет ее «прелестной» и отмечает, что она полна «добродушного, любовного, заразительного смеха сквозь горькие слезы»<sup>19</sup>.

«Сказка о копейке» очень понравилась Э. Л. Войнич, будущему автору «Овода». Она перевела ее на английский язык и включила в сборник произведений русских писателей «Русский юмор», вышедший в Лондоне в 1895 году.

Известна эта сказка была в Финляндии. В переводе на финский язык «Сказка о копейке» была издана там в 1899 и в 1906 годах.

Узнали эту книжку и в Китае, в 1909 году Лу Синь включил перевод «Сказки о копейке» в составленный им «Сборник иностранных рассказов» (т. 2).

Представьте себе, как интересно мне было услышать от поэта Александра Безыменского, когда мы с ним говорили о Степняке-Кравчинском, что он использовал «Сказку о копейке» в своей пропагандистской работе.

Он рассказывал, что еще в 1915 году.

<sup>14</sup> Обвинительный акт по делу Южно-Русского Рабочего Союза. Сб. «Государственные преступления в России в XIX в.», т. 2, Ростов н/Д, б. г., стр. 339—340.

<sup>16</sup> П. А. Моисеенко, Воспоминания старого революционера. М., 1966, стр. 15.

<sup>17</sup> ЦГАОР, ф. 109, 3 экспед., 1874, д. 144, ч. 13, л. 190.

<sup>18</sup> Лев Дейч, С. М. Кравчинский. Пг., 1919, стр. 31.

<sup>19</sup> Г. В. Плеханов, Собрание сочинений, т. III. М.—Л., 1928, стр. 143.

<sup>19</sup> Ф. В. Волховский, Воспоминания о Петре Алексееве, б. м. и г., стр. 5.

во Владимире, в гимназическом социалистическом кружке он вслух прочитал «Сказку о копейке». «На меня это произведение, — пишет А. И. Безыменский, — произвело огромное впечатление, как образец революционной агитации, основанной на конкретном жизненном материале, — агитации доходчивой, всем трудящимся понятной, легко «усваиваемой» самой широкой «массой».

В этой вещи, снайперски стреляющей в цель, разительны и убедительны все примеры жизненных конфликтов тогдашнего времени, и каждый пример приводит к большому обобщению, объясняя и суть происходящего и путь к искоренению всего, что необходимо искоренить. Сложнейшие проблемы изложены языком простым, приведенный конкретный случай дает возможность понять вопрос в целом.

Это мнение мое не является отвлеченной рецензией. Все, о чем я сказал, мною проверено на десятках собраний, слушавших мои доклады.

«Сказка о копейке» помогла мне «дойти» до тысяч сердец.

В дни организации во Владимирской губернии союзов молодежи в деревне (и не только в деревне) я не мог обойтись без примеров из «Сказки» Степняка, и они доказали нам свою революционную силу. Во все первые годы Советской власти в моих выступлениях «Сказка» работала прекрасно. Я прочел ее и на собраниях партийных и комсомольских агитаторов. «Сказка о копейке» была взята ими на вооружение и оказала нам в агитации неоценимую помощь»<sup>20</sup>.

Подумаем вместе, читатель, как причудливы пути движения мысли. Положения политической экономии, развитые основоположником научного коммунизма, изложенные революционным народником для русского народа, и через сорок лет были оружием в руках большевика!..

В других своих пропагандистских брошюрах Кравчинский пытается изложить идеи Маркса гораздо шире и прямо называет его имя и указывает книгу «Капитал» как источник.

Все эти брошюры, оказывается, тесно связаны между собой. Две из них были написаны как статьи для революционного журнала, но они все были посвящены одной цели — популяризации идей Маркса. Историю их замысла и создания рассказывает сам Кравчинский в письмах к Лаврову.

Но расскажем все по порядку.

Весной 1875 года, вероятно в апреле, Сергей Кравчинский приехал за границу. К этой поре кружок чайковцев был почти разгромлен. Большинство друзей Кравчинского было арестовано. Сам он был чрезвычайно удручен неудачей побега его друга Феликса Волховского, организации которого он вместе с другими чайковцами отдал очень много сил. Но, несмотря на это, Кравчинский был бодр и полон энергии. Друзья поручили ему устроить за границей очень важное дело — наладить издание революционного журнала. Кроме этого, вторая брошюра Кравчинского — «Сказка о Мудрице Наумовне», — посланная чайковцами еще раньше в Женеву для издания, уже печаталась, правда, не в Женеве, а в Лондоне у Лаврова, так как оказалось, что там это можно сделать быстрее, а ему нужно было еще кое-что уточнить в рукописи.

По имеющимся у нас данным, можно судить, что прежде всего Кравчинский приехал в Брюссель. Это была его первая поездка за границу. Можно себе представить, сколько впечатлений нахлынуло на молодого русского революционера, когда он очутился в Западной Европе. Брюссель, вероятно, представлял для него особый интерес — в свое время он с огромным вниманием читал корреспонденции о конгрессе Интернационала, происходившем в Брюсселе в 1868 году. Этот конгресс он описал и в своей «Сказке о Мудрице Наумовне», а теперь сам увидел здание, где это происходило...

В том письме к Л. Гольденбергу, которое я уже приводила, Кравчинский писал из Брюсселя в Женеву после выяснения недоразумений со «Сказкой о копейке»: «Я приехал для журнала, о котором вам писали. Первые номера, кроме хроник, придется почти все писать мне, потому что, покамест еще журнал не приобрел прочной репутации, очень трудно найти сотрудников... Если вам неизвестна программа журнала, то вот она. Это, конечно, вам интересно:

I. Передовая статья. Предмет первой передовой статьи — общий взгляд на историю, так сказать, философия истории. Она имеет целью определить значение современной эпохи в Европе и в России, т. е. борьба за экономическое освобождение, или что то же — последняя борьба народа со своими врагами.

<sup>20</sup> Письмо А. И. Безыменского к Е. А. Таратута от 10 мая 1965 г.

В следующих номерах будет сохранен этот отдел, но будут разбираться выдающиеся современные вопросы, имеющие интерес дня: солдатчина, всесословная волесть и т. п.

II. Ученая статья об разных вопросах. В первом номере — «Воля», т. е. разбор и сравнение помещичьего строя и теперешнего, капиталистического. Теория Маркса в наупростеннейшем виде.

III. Беллетристика...

IV. Хроника русская.

V. Хроника заграничная.

Как видите, журнал будет очень основательный. Будет иметь огромное распространение при сколько-нибудь удовлетворительном выполнении).

Оптимистически настроенный редактор будущего журнала был уверен, что выпустить первый номер можно будет через два-три месяца, «к началу июня, когда публика по деревням расходится». Далее Кравчинский просит Гольденберга обеспечить все необходимое для издания журнала и обещает приехать в Женеву в самом скором времени, как только достанет денег на дорогу...

Так впервые мы узнаем о целях и задачах Кравчинского при создании брошюры «Из огня да в полымя!». Оказывается, сначала эта работа предназначалась для пропагандистского журнала и называлась «Воля».

Кравчинский определил ее содержание как «теория Маркса в наупростеннейшем виде». (Надо сказать, что я немало помала глаза, пока разобрала это слово, — у него «вид» совсем не простой!)

Одновременно, но более подробно о программе «народного» журнала Кравчинский писал и Лаврову: «Программа следующая. I. Передовая...

Для первого номера у меня уже написана длинная довольно (1¼ часа чтения!) статья О правде и кривде. А là — идея рабочего сословия Лассала. С той разницей, что рассматривается вся история человечества и три периода борьбы: с попами — дореформ[ационный] (раскол у нас), с помещ[иками] и цар[ем] до фр[анцузской] рев[олюции] и, наконец, с богатыми, экономич[еская]. Имеет целью показать значение современной эпохи, как ультрареволюционной...

II. Ученая статья. ...Для первого номера у меня написана «Воля». Это разбор и сравнение двух культурных эпох: старого строя, помещичьего и теперешнего, капи-

талистического. Теория Маркса в приложении к судьбе обществ. Статья короткая довольно — ¾ часа. Весьма убедительная. Питерцы все хвалили очень. Но мне она не так нравится. Правда и Кривда больше...

IV. Русская хроника... Для первого номера нужно бы, я думаю, хронике русских бунтов в последнее царствование, чтоб показать направление народного самосознания, так сказать. Коли написать, то журнал приобретет необыкновенную цельность. Это будет не сборник, а цельное произведение под заглавием Всемирная революция. Только главы этого произведения написаны будут неодинаковым размером.

V и последний раздел. Заграничная хроника. В первом будет, конечно, История Интернацион[ала] и причины возникновения в связи с общим развитием социализма после 48 года...

Вот вам программа. Как видите, журнал более чем основательный. ...Вообще первые 4—5 номеров должны будут составить, так сказать, нечто вроде народной революционной энциклопедии, где бы все было разобрано, разбито в пух и прах, и где бы вместе с тем обозначались и главные черты того здания, которое будет построено на развалинах...

Наш журнал — это молот, которым мы разобьем всю штукатурку теперешнего гнилого здания, чтоб помочь ветру, дождю и граду ворваться в его внутренность».

Из этого письма мы узнаем очень много любопытного.

Во-первых — петербургские товарищи одобрили «Волно», значит, читали и разбирали ее. Значит, чайковцы считали необходимым популяризовать идеи Маркса и именно в приложении к русским условиям. А ведь они вовсе не были тем, что теперь называется «марксистами»!

Во-вторых, весьма важным является то обстоятельство, что Кравчинский определяет размер своих произведений не количеством написанных страниц, а временем, необходимым для прочтения его вслух. Значит, он предназначал их не только для самостоятельного чтения рабочим, а и для чтения вслух пропагандистами и, вероятно, не раз сам уже читал в рабочих кружках.

Вера в успех своего дела выражена в этом письме весьма эмоционально...

Однако Кравчинскому совершенно чужда самоуверенность.

<sup>21</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 603, л. 36 об. — 37. (Разрядка моя. — Е. Т.).



В предыдущем письме к Лаврову (письма все не датированы, находятся в разных архивах, но порядок их, конечно, не всегда с полной уверенностью можно установить по содержанию) Кравчинский просит его сообщить свое мнение о «Сказке о Мудрице Наумовне» — «в целом и в подробностях. Это важно и для второго издания и вообще для выработки своего писательского искусства. Вообще для нашего брата критика вещь наидрагоценнейшая. Я, по крайней мере, решительно не в состоянии судить о своих изделиях. Пока пишешь — нравится, а написал — тошно смотреть подчас. Если возможно, то напишите не только свое личное мнение, но и ваших приятелей. Впрочем, это я уж слишком многого прошу. Ну да все равно — за все спасибо скажу»<sup>22</sup>.

А в этом письме после экспансивного изложения своих журнальных планов Кравчинский не менее экспансивно пишет Лаврову по поводу его замечаний о «Сказке о Мудрице Наумовне»:

«Я решительно не прочь сделать всякие изменения. Вообще я всегда изменяю, переделываю, перекраиваю без конца. Свои произведения я читаю всем и всякому и всегда со вниманием выслушиваю все мнения. Можно сказать, что я пишу на перекрестке, сидя на камушке. Все, кто идет мимо, подходит, заглядывают мне через плечо, бросают неск[олько] замечаний и идут мимо. А за ними еще и еще.

Вообще критика, обработка — вещь необходимейшая. Без нее ничего не написать путного. Только в сказках добрая фея наделяет принцессу даром, что как только она взболтнет что, — сейчас у нее из рта цветок или алмаз! Мы, грешные, люди если и не без таланта, то все-таки не с большим, должны всегда выковывать свои произведения как бессермированную сталь.

Вот почему я не только не рассержусь, если ваша критика будет строга и мелочна, а мне именно такой и нужно. Что толку, коли я знаю, что вообще понравилось или не понравилось. Положим, и это хорошо знать, но ведь из этого много не выкроишь. Мне именно нужна построчная критика, потому что я сам обдумываю свои произведения построчно»<sup>23</sup>.

Обратите внимание, как богато и образно говорит Кравчинский о необходимости работы над литературным произведением. Он берет сравнения и из фольклора — добрая фея — и из современной техники — бессемеровская сталь — и рисует, можно сказать, пейзаж рабочей обстанов-

ки художника — людный перекресток, где художник радушно принимает замечания каждого прохожего...

Получив письмо от Лаврова, в котором тот просил подробнее рассказать о предполагаемом журнале и о его статьях. Кравчинский немедленно пишет ему, отвечая на все его вопросы.

Далее в этом письме он сетует, что материалы для хроники еще не присланы из России, высказывает разные соображения о печатании журнала и продолжает:

«Маркс мой почти готов. Мне только некоторые поправки нужно бы сделать. Очень досадно, что у меня нет денег на поездку в Лондон. Там бы я прочел его вам и вашим приятелям и там же мы вместе обработали бы его в одну неделю. Посылать же его не стоит, потому что вы не разберете его, а коли и разберете, так после многодневной пытки, которой я, разумеется, ни за что не соглашусь вас подвергнуть. Переписывать же я его тоже не могу, потому все равно придется опять переделать многое, значит, переписка только заменила бы поездку. А я время свое цену не так дешево.

Я непременно приеду с Марксом, лишь только получу для этого денег. Напишу кое-куда, может, добуду».

Затем он пишет, что приезд его в Лондон дал бы возможность столкнуться обо всех поправках к «Мудрице», которые очень затруднены перепиской по почте, уточняет некоторые эпизоды, просит одолжить денег на дорогу, обуславливает способ пересылки денег и добавляет:

«Но вообще эту механику разводить стоит только в том случае, если к печатанию Маркса можно приступить вскоре. В противном случае дело терпит и мне не хотелось бы обременять вас, потому что у вас, наверное, в деньгах скудость. А через месяц у меня будут непременно»<sup>24</sup>.

Мне не совсем ясно, о печатании какого «Маркса» идет речь. Писем Лаврова к Кравчинскому за это время не сохранилось. Но можно предположить, что Лавров заинтересовался «теорией Маркса в наипростейшем виде» и предложил Кравчинскому издать «Волю» отдельной книжкой, не дожидаясь, пока будет готов весь предполагаемый журнал.

<sup>22</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 2.

<sup>23</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 3—4.

<sup>24</sup> Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 285, оп. 3, ед. хр. 9, л. 1—4.

Однако, как мы увидим дальше, у Кравчинского был написан еще один «Маркс», не считая «Воли» и «Мудрицы», которую Кравчинский тоже называл своим «Марксом», но так как Кравчинский пишет о нем Лаврову в следующем письме как о чем-то Лаврову доселе не известном, остается думать, что здесь речь идет именно об издании «Воли».

Впрочем, прочитаем вместе это письмо Кравчинского, и читатель сам может проверить мою гипотезу.

Это письмо еще чрезвычайно интересно тем, что в нем он высказывает свои соображения о социалистическом строе. Они касаются нарисованной в «Мудрице» картины будущего общества. Очевидно, Лавров возражал против некоторых деталей, и Кравчинский полемизирует с ним.

«Прежде всего отвечу на то, что для вас лично особенно важно. Это насчет «дорогих блюд и рек вина».

Я охотно изменю это место, потому что не придаю ему большого значения. Обед должен быть с какими-нибудь прибавлениями, а не сухомятку, но вместо дорогих блюд можно пригласить музыку или пение. Я, впрочем, еще не думал об этом предмете. Ну да это не важно. Как-нибудь можно изменить. Это не важно. Для меня важно другое.

Отчего вы полагаете, что социалистам может быть поставлено в упрёк то, что они желают дать роду человеческому всякие материальные удовольствия? Что касается до меня лично, то я убежден в том, что это будет. Ведь весь мой «будущий порядок» держится на том, что при артельной работе каждый работник будет получать громадный, невозможный по теперешнему времени доход (конечно, не денежный).

Мне очень интересно знать, считаете ли вы его верным или нет (мой расчет-то). Мне кажется, что он логически несомненно верен. Конечно, на практике может оказаться (в первое по крайней мере время), что люди будут жить весьма посредственно, потому что у них масса производст-



Молодой Кравчинский в пору начала пропаганды в народе. Справа: его друг Николай Вишневецкий. Фото К. Андерсон. Петербург, 1871—1873 (?). Публикуется впервые. Оригинал в Музее Революции СССР.

венных сил будет пропадать даром или что у них не будет накопленного труда в достаточном количестве, чтоб начать производство при возможно лучших условиях. Но когда эти практические неудобства устроятся, то разве не станут они так богаты, как теперь и понять нельзя. (Вспомните слова Фурье — при будущ[ем] строе работники будут жить лучше теперешних миллионеров). Если вы скажете, что нет, что мой расчет преувеличен, то я готов ответить вам цитатой из своей книжки: «Прочти мой расчет и найди, где я преувеличил... и потом открой те книжки, которые я указал тебе и т. д.».

Я это отвечаю вам, но в душе мне все-таки как-то еще не верится. Слишком уж громадные цифры получаются. Я не могу никаких оснований для своего недоверия привести, но все не верится, что хочешь тут делай.

Для меня это пункт первостепенной важности. Поэтому мне лично было бы чрезвычайно интересно знать ваше мнение об этом».

Здесь до нас дошел живой отголосок яростных споров об устройстве социалистического будущего, которые вели между собой социалисты того времени.

Программа, принятая кружком чайковцев, написанная П. А. Кропоткиным, уже в своем названии полемически ставила этот вопрос. Она называлась: «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?», — и отвечала: «должны». И давала контуры этого идеала — равенство в труде, коллективность труда и т. д.

Но Кравчинский понимал, что логические параграфы не годятся в брошюре, рассчитанной для пропаганды в народе. Здесь нужно дать картины жизни будущего общества, ибо слова «коллективный труд» вряд ли кого могут воодушевить. Чистая идея должна быть представлена в конкретных фактах, которые только и могут «взволновать нравственное чувство и фантазию».

Вероятно, Кравчинский нередко мечтал о будущем социалистическом строе, представляя его себе воочию.

Свои мечты он строил из кубиков научного расчета, фантазии и личных заветных желаний.

Немалую роль в мечтах Кравчинского и его товарищей играли творения утопистов — Кампанеллы, Кабе, Фурье и, конечно, Чернышевского.

Четвертый сон Веры Павловны не раз считал соратником Кравчинского и ему са-

мому, конечно. Недаром в его пропагандистских сказках мы находим подобный сон, который снится его герою. В «Сказке о копейке» вещий сон о будущем царстве занимает очень большое место. Но в «Сказке о Мудрице» картины будущего царства даны вполне реалистически.

Вся эта сказка построена на сложных аллегориях и как бы объединяет в себе многие жанры — в ней есть и реалистический рассказ, и народная сказка, и совершенно фантастические приключения и элементы проповеди, и исторический очерк, и притча, и прокламация.

Так же разнообразен и язык сказки. Народная напевность — «То не ветер воет по дубравушке, то не дождь мочит зеленую траву, то стонет русский народ от злых врагов, то льет он свои слезы горькие» соседствует в ней с обычным реалистическим повествованием — «Прошло несколько недель. Работа потянулась у нас день за днем. Целый день нам приходилось работать, как каторжным», и с точной формулой — «каждый будет делать, сколько может, а брат, сколько ему нужно», и с пророчеством — «Когда осудят тебя на смерть, привяжут тебя к столбу и под ногами твоими выкопают могилу твою и убийцы твои направят на грудь твою дула ружей своих и взглянешь ты в лицо их, то истинно, истинно говорю тебе, — ты будешь счастливее их, ибо нет больше счастья, как погибнуть за братьев своих!»

Рассказ ведется от первого лица. Герой сказки, удрученный неисходными бедствиями родного народа, отправляется в путь на поиски мудреца, который научил бы, как помочь народу. По дороге он встречает прекрасную деву Любушу, которая приводит его к мудрому старцу Науму. Наум поручает его заботам своей дочери Мудрицы. Бабочка Мудрица на своих волшебных крыльях переносит героя в Англию. Там он знакомится с рабочим людом, с их невероятными горестями. Особенно берут его за душу картины детского труда. Один из английских рабочих (у них у всех — русские имена) рассказывает товарищам о Международном союзе трудящихся. Они вступают в этот союз, устраивают забастовку, поднимают восстание. Восстание подавлено. Герой, сражавшийся в этом восстании, снова встречает Мудрицу, и она переносит его в Брюссель на заседание съезда Международного товарищества рабочих, где принимаются решения поднять революционную борьбу против всех угнетателей. Мудрица переносит героя обратно в Россию.

Затем идет присказка, в которой расшифровываются все аллегории, а потом даются картины будущего царства и всё заканчивается вдохновенным призывом отдать жизнь за достижение этого царства, где все равны, все счастливы.

Интересно отметить, что уже в «Мудрице» дается та формула, которая станет названием другой книжки — «Из огня да в полымя!». «Из лап помещика попадаем мы в лапы к купцу» — говорит один из английских рабочих. Эту же мысль развивает один из делегатов съезда в Брюсселе: «Страшный враг — помещики, но купцы еще страшней. Помещики — это волки, купцы — это змеи».

Собственно говоря, весь подтекст страшных картин бесчеловечной эксплуатации английских рабочих состоит в призыве бороться за уничтожение «трехглавого змея» — помещиков, хозяев и властителей, скорее, до той поры, пока хозяева не станут столь сильны, как в Англии, то есть, пока капитализм в России еще не окреп, а потом, мол, будет труднее. Типично народническая концепция.

Очевидно, многие места книжки вызвали возражения Лаврова.

Об одном из них мы можем судить по следующей реплике Кравчинского в этом же письме:

«Насчет присказки. Вы правы, я сам всегда чувствовал, что совершаю великое прегрешение против истины, уверяя, что все, что я написал, взято мной у Маркса. Однако я не думал, что б это было так резко.

Исправлю непременно».

В книжке это место звучит следующим образом:

«Когда я говорил тебе, до какой муки должен довести теперешний порядок все народы и до каких он уже довел английский народ, то я ничего не выдумал от себя, а говорил только то, что написано в этой книге», — речь идет о «Капитале»<sup>25</sup>

Очевидно, раньше Кравчинский утверждал в «Мудрице», что все изложенное в ней взято из «Капитала», а после замечания Лаврова он конкретизировал, уточнил это место.

Затем в этом письме (оно очень длинное!) Кравчинский снова возвращается к детализации картин будущего царства и, объясняя их особенности, рассказывает в высшей степени интересные подробности о самом возникновении замысла его книжек и о возникновении «Мудрицы»:

«Я хотел обо всем сразу сказать: и о последствиях капиталистического производства, и об организации, и о будущем строе. Поэтому получилась порядочная каша. Это объясняется собственно, происхождением моей Мудрицы. Я написал ее совершенно, можно сказать, нечаянно. Я, видите ли, ученого Маркса написал. Публика нашла, что он слишком учен. Ну, вот я и стал поправлять его по частям, и вышла под конец Мудрица, так же неожиданно, как из куколки вдруг вылезает бабочка.

Вот почему, как мне кажется, вся она в целом не особенно сильна. Хороши, собственно говоря, места»<sup>26</sup>.

Конечно, в высшей степени интересно было бы узнать, как Кравчинский написал своего «ученого Маркса». Но эта рукопись нам не известна. Не встретила я ни в мемуарах, ни в письмах никаких упоминаний о ней...

К существеннейшему вопросу о том, насколько верно утверждение Кравчинского, что все данные о жизни английского рабочего он заимствовал из «Капитала», мы еще вернемся.

Конечно, все это было очень трудно уточнять в письмах, и Кравчинский прилагал все усилия, чтобы поехать к Лаврову в Лондон. Вскоре ему удалось достать денег на поездку, но всевозможные обстоятельства (мы не знаем, какие) заставляли откладывать ее опять и опять.

Тем временем Кравчинский продолжал работать над своими произведениями. В одном из писем — вероятно, это было уже в начале июня — он пишет Лаврову:

«Я посмотрел своего Маркса Отца и нахожу, что, прежде чем читать его, необходимо сделать не мало поправок. В две недели я, разумеется, их и сделаю. Кроме того, к этому времени я приведу в порядок и своего третьего Маркса (внука), т. е. Волю, а также и Правду и Кривду. Таким образом, я являюсь к вам со всем своим арсеналом. Значит, не придется выковыривать моего оружия, а только шлифовать, что во сто крат удобнее».

Этот абзац письма Кравчинского вовсе разрушает мою гипотезу.

Значит, действительно он собирался представить Лаврову для опубликования не только «Волю», но и еще какую-то рукопись с изложением идей Маркса. Причем,

<sup>25</sup> С. М. Степняк-Кравчинский, Собрание сочинений, часть VII. Пб., 1919, стр. 131.

<sup>26</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 5—8.

очевидно, это было наиболее капитальное произведение. Ведь он называет его — «Маркс Отец»...

Очевидно, раз «внуком» была «Воля», то «сыном» была «Мудрица». Но «Отец», «Отец»... Вероятно, мы никогда уже не узнаем, что написал в «нем» Кравчинский...

Далее в этом письме Кравчинский сетует на долгий срок печатания. Только два месяца прошло с тех пор, как в Лондоне получили его рукопись, да еще надо было вносить многочисленные поправки, а книжка уже печаталась, но ему казалось, что это очень долго.

Затем Кравчинский переходит к замечаниям Лаврова о «Мудрице»:

«Присказку я исправлю именно в том смысле, как вы советуете. Переделывать же совсем заново не стану. Бог с ней. Кроме того, еще одно заставляет меня оставить ее какою она есть: вы первый человек, которому она так не понравилась. Другие (например) Клеменс и не[которые] из ваших), напротив того, находили, что она одно из самых лучших мест (т. е. прокламация собственно). Угоди тут на всех.

Вообще за все ваши замечания премного вам благодарен. Все поправки, которые вы предлагаете, необыкновенно удачны. Когда у меня не было лучшего критика. Непременно буду присылать вам все свои произведения для прочтения.

Напишите, через сколько приблизительно времени должно будет присказку печатать.

Если б случилось, что к этому времени я еще не приехал бы, чего, впрочем, не думаю, то поправить следует приблизительно так:

Любуша — это любовь, скрытая в сердце каждого человека.

Наум, к которому она привела меня, — это разум всего рода человеческого, потому только тогда узнаешь ты всю правду, когда любовь руководит тобою. Без нее вечно будешь бродить ты во мраке.

Но кто же эти вещи дочки Наума, кто эти премудрые бабочки с белыми крылышками в черных крапинках, которых он пускает в мир, чтобы учить людей уму-разуму?

Это просто-напросто книжки, которые написаны мудрыми людьми чтоб открыть правду роду человеческому. (Последние пять слов Кравчинский зачеркнул, поставил точку и потом продолжал.) Много их пустили они по свету, и велики чудеса, которые творят они!

Прислушайся к их мудрым речам, и они

откроют тебе всю глубину премудрости человеческой.

Доверься им и волшебством своим (последние два слова зачеркнул снова и дальше — по-другому) на волшебных своих крылышках они перенесут тебя через моря и реки, через леса и горы, унесут тебя до пределов земных и покажут тебе все, что где делается на белом свете.

Вот с кем я беседовал. Вот кто открыл мне всю правду, которую я поведал тебе. С книжками я беседовал. Книжки открыли мне всю правду. Но одна из них сказала мне больше всех».

Затем Кравчинский стал подыскивать следующую фразу, — начинал, зачеркивал: «Эта книжка напи» — и, не закончив даже слова, вычеркнул. Дальше написал: «Называется она Капитал, а написана она» — и снова зачеркнул. Потом нашел: «Написал ее один ученый». Но слово «ученый» он опять зачеркнул — очевидно, оно показалось ему недостаточным, невыразительным. Здесь требовалось что-то иное, и он, взвесив, подумав, нашел самое главное для определения автора «Капитала», представляя его русскому рабочему: «...Написал ее один из распространителей того самого международного союза, о котором я говорил тебе не раз. Имя этому человеку Карл Маркс, а называется его книжка — Капитал. Вот она-то и перенесла меня в Англию, она-то и показала мне, до каких мук довели богатые английский народ. Но главное, она показала мне...» и т. д.

Место: «Когда я рассказывал тебе, что я видел в Англии, куда перенесла меня Мудр[ица] Наумовна, то я говорил только то, что прочитал в этой книге... Это место следует либо выбросить, либо изменить соответственно изменению общего тона. Так же, точно и некоторые последующие фразы»<sup>27</sup>.

Слова «только то, что прочитал в этой книге» Кравчинский подчеркнул.

Выше я уже приводила, в каком виде эта фраза вошла в окончательный текст сказки.

Что же касается предыдущих абзацев, то в печатном тексте они выглядят несколько иначе, чем в этом письме, — в них больше разговорных интонаций:

«Вот с кем я беседовал. Вот кто открыл мне всю правду.

Но которая же из книжек была моею Мудрицей Наумовной? Которая из них пе-

<sup>27</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425. л. 10—11.

ренесла меня в Англию, которая показала мне, как живет английскому народу?

Это книжка, написанная одним из главных распространителей того самого международного союза рабочих, про который я говорил тебе не раз»<sup>28</sup>.

А дальше — все, как в этом письме.

Так впервые русский рабочий познакомился с именем Карла Маркса.

Через некоторое время — очевидно, это было в середине июня — Кравчинский приехал в Лондон.

Так он оказался в Англии, после того как узнал ее по книгам, после того как сам описал ее в «Мудрице»...

Кравчинский сразу подружился с товарищами Лаврова да и с самим Лавровым, хотя во многом был несогласен с ним.

Кравчинский считал, что Лавров, живя в эмиграции, уже утратил ощущение того, что происходит на родине, что надо гораздо более энергично призывать к немедленным революционным действиям.

Вероятно, Кравчинский расспрашивал Лаврова о Париже в дни Коммуны, где Лавров был тогда.

Несомненно, Кравчинский жадно расспрашивал Лаврова о Карле Марксе, которого Лавров хорошо знал.

Интересно было Кравчинскому познакомиться с маленькой группой энтузиастов, трудившихся буквально день и ночь над изданием произведений вольного русского слова.

Чудесное письмо одного из сотрудников наборни Лаврова, русского революционера Александра Линева, также вынужденного эмигрировать, нашла я в архиве.

Посмотрите, как тепло, я сказала бы — даже восторженно, отзывается Линева о Кравчинском в письме к Л. Б. Гольденбергу от 26 июня 1875 года:

«...«Мудрица Наумовна» на днях будет окончена печатанием. Вчера Кравч[инский] уехал отсюда. Он сделал некоторые изменения в «присказке» и «будущем царстве». Какой большой талант у него! Какое счастье, что революционная волна вынесла такое дарование на свет! Ведь, что греха таить, револю[ционная] литература очень, очень бедна талантами. Да и милый же человек эта «Мудрица»! — как мы его прозвали. Фантазия его — это такой резвый конь, что и ему подчас не сладить. И это — только после 5—6-месячной литер[атурной] деятельности! Что выработается из него через год, через два?»

«Мудрицу Наумовну» печатаем мы в 3000 экз[емпляров]»<sup>29</sup>.

К сожалению, Линева ничего не пишет о других произведениях Кравчинского, с рукописями которых он приезжал в Лондон. Из других материалов ясно, что «Воля» Лаврову понравилась, вероятно, он предложил что-то доработать, что-то изменить, но решено было, что это произведение будет издано в Лондоне отдельной брошюрой.

Что касается сказки «О Правде и Кривде», то, как и предвидел Кравчинский, Лавров ее не одобрил. Некоторое время спустя Лавров писал Н. П. Огареву: «...Правда и Кривда» мне не по вкусу, и у нас не пожелали ее набирать»<sup>30</sup>. Эта сказка была напечатана в Женеве.

Из Лондона Кравчинский приехал в Париж.

В городе великих революций каждый камень еще хранил свидетельства борьбы. Только четыре года прошло с той поры, как здешние рабочие впервые в мире захватили власть в свои руки. А сейчас Кравчинский видел самодовольное торжество реакции, торжество победившей буржуазии...

Тогда Кравчинский еще не знал, что впоследствии многие коммунары станут его близкими друзьями: и «красная дева революции» Луиза Мишель, и замечательный ученый Элизе Реклю, и отважный Гюстав Лефрансе, которому Эжен Потье посвятил свой «Интернационал»...

...Письма Кравчинского к Лаврову из Парижа содержат всевозможные дополнительные поправки к «Мудрице» и просьбы сообщить, «когда будет Мудрица готова», и прислать несколько экземпляров<sup>31</sup>.

Очевидно, к середине июля печатание «Мудрицы» было закончено. Для того чтобы затруднить полицию преследование и конфискацию этой книжки, она была издана под тремя разными обложками. На одной значилось: «Сказка о Мудрице Наумовне»; на другой: «Сказка-говоруха» — и был нарисован мужик, летящий на сказочной птице, а третья обложка должна была совсем сбить с толку жандармов, — на ней было напечатано: «Похождения пошехонцев», а на титульном листе стояло: «Похождения пошехонцев, удивительные и забавные». Так часть ти-

<sup>28</sup> С. М. Степняк-Кравчинский, Собрание сочинений, часть VII, стр. 130.

<sup>29</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 581, л. 216.

<sup>30</sup> Письмо от 28 февраля 1876 года. — «Литературное наследство», т. 62. М., 1955, стр. 292.

<sup>31</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 2, ед. хр. 400, л. 89.

ража «Мудрицы» была замаскирована, «наряжена» под лубочную книжку о пошехонцах, вышедшую незадолго до того в Москве. Для полноты маскировки на обложке была нарисована сцена, иллюстрирующая ту, легальную книжку, — как пошехонцы испугались охотника. Очевидно, все это было решено во время пребывания Кравчинского в Лондоне. Надо сказать, что эта маскировка, издание одной книжки под тремя обложками с разными названиями, действительно доставила немало хлопот полиции, как мы увидим дальше.

Получив экземпляр книжки, Кравчинский писал в Лондон:

«Любезный друг Петр Лаврович и вы, о, братия!

Премного благодарен за Мудрицу. В последнем листе я нашел такое множество типографских ошибок (сравнительно с другими), что очевидно, что это корректура, которой предстоит еще быть поправленной». Далее он отмечает с грустью несколько важных, с его точки зрения, пропусков, просит исправить, что возможно, и пишет:

«Потом еще просьбица. Пришлите мне, буде возможно, 5 экземпляров. Это очень дорого, но уж разоритесь. Право, очень уж приставали, и я обещал в разные места.

Очень скоро пошло вам, коли можно, Волю. Напишите об этом, т. е. пусть Смирнов или Линеv напишут»<sup>32</sup>.

Очевидно, в типографии были какие-то затруднения, но они вскоре разрешились, так как в письме к Линеvu, написанном через несколько дней (письмо тоже без даты), Кравчинский отвечал ему: «А Волю я кончу непременно в найскор[ейшем] врем[ени], хоть как-нибудь, чтоб во всяк[ом] случ[ае] перед экспедицией» она уже была готова».

Здесь речь идет о том, что Кравчинский и еще несколько русских политических эмигрантов собирались принять участие в восстании, которое разгорелось в эти дни в маленькой славянской стране Герцеговине против турецкого ига. Кравчинский решил поехать в Герцеговину, во-первых, чтоб помочь повстанцам, во-вторых, чтоб приобрести опыт ведения партизанских войн. Предвидя, что участие в этой экспедиции может задержать его, он торопился закончить «Волю» до отъезда в Герцеговину.

В этом же письме он благодарит Линева за присылку экземпляров «Мудрицы» и сообщает, что «теперь у нас в Париже один из наших товарищей, который завезет перевозкой. Коли хотите, чтоб пере-

возка ускорилась, напишите, по какому пути вы послали ее»<sup>33</sup>.

Через моряков, плавающих на судах, заходящих в Лондон, через контрабандистов — разными путями «Сказка о Мудрице Наумовне» несла в Россию рассказ о Карле Марксе, о международной солидарности рабочих, о будущем царстве, призывая бороться за благо трудящихся, за свержение самодержавия.

Пока Кравчинский собирал сведения о восстании в Герцеговине, добывал рекомендательные письма к руководителям повстанческого движения, он успел закончить «Волю», отправил ее в Лондон. Но «Мудрица» продолжала занимать его мысли. Ему уже многое хотелось в ней переделать, и он ловил каждое слово критики.

В это время в Париже жил Глеб Успенский, и Кравчинский попросил и его высказать свое мнение, вручив ему книжку.

Один из друзей Кравчинского, революционер-народник А. И. Иванчин-Писарев, также живший тогда в Париже, рассказывает, что Г. И. Успенский очень тепло отзывался о Кравчинском, и приводит его слова:

— Хороший человек — этот Сергей Михайлович! ...Не без таланта... Вам нужны собственные писатели: поэты, беллетристы, публицисты... Наш брат не скоро приспособится к вашим требованиям... Из Сергея Михайловича выработается крупный писатель... Теперь только он форсит: Карла Маркса в сказку вздумал переделать!

Затем он в лицах передает разговор Успенского с Кравчинским.

— «...Не скажи вы, что в сказке зарыт «Капитал», я не заметил бы следов его... Мне думается, рабочий скорее усвоил бы идеи Маркса, если бы вы прямо изложили их простым языком, не одевая в пышные ризы фантазии.

— Простой народ любит сказки, — возразил Кравчинский.

— Любить-то любит, но любит, чтобы все было на месте, где полагается. Он допустит семь голов на шею, а посадите их на ноги — не одобрит...

— Разве у меня есть что-нибудь подобное?

— Вроде того... Сколько у Мудрицы Наумовны должно быть ног? — две, как у человека, а у нее — не то четыре, не то больше.

<sup>32</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 12.

<sup>33</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 19—20.

— Где вы насчитали столько?

— На болоте... Вы пустили свою Мудрицу по кочкам, по болотам, через всякие буераки... Бежит она по болоту, ножками перебирает, точно сороконожка какая...

— Ну, вы придираетесь, Глеб Иванович! Ведь тут фантазия.

— Не обижайтесь, дорогой мой! Не фантазия, а особая литературная форма, именуемая «черт знает что»!

Глеб Иванович привел еще две-три неудачные аллегории и сказал:

— А все-таки хорошо, право, хорошо!.. Виден талант...»<sup>34</sup>

Конечно, надо учесть, что эти воспоминания написаны сорок лет спустя, и Иванчин-Писарев не мог запомнить буквально слова Г. И. Успенского, но, вероятно, общий характер его оценки он передает верно.

А вот отзыв И. С. Тургенева дошел до нас в подлиннике.

П. Л. Лавров послал Тургеневу «Сказку о Мудрице Наумовне», вероятно, вскоре же после ее выхода в свет вместе с какой-то своей новой книжкой, и 9 сентября 1875 года Тургенев написал ему:

«Я виноват перед Вами, любезный Петр Лаврович, — не торопился ответить на Ваше письмо, сопровождавшее посылку двух книг, — я откладывал ответ, потому что мне хотелось в то же время сказать Вам мое мнение — если не о Вашем сочинении, которое требует внимательного изучения, — то по крайней мере о «сказке» Вашего молодого приятеля. Но и эту сказку мне удалось прочесть только на днях. И вот что я имею сказать Вам. Автор — человек с талантом, владеет языком — и весь труд его согрет жаром молодости и убеждения. Но тон не выдержан. Автор не дал себе ясного отчета — для кого он пишет — для какого именно слоя читающей публики? Последствием этого — сбивчивость и неровность изложения. То для народа писано, то для более — если не образованного, — так более литературного слоя. Не избежал автор того, что я готов бы назвать певучей риторической или московской манерой, — напр.: самое начало; мне кажется, чем меньше таких уснащений — тем лучше. Но повторяю — у Вашего знакомого есть и талант и огонь — пусть он продолжает трудиться на этом поприще!»

Вероятно, Лавров сообщил об этом отзыве Тургенева Кравчинскому, который к этой поре уже вернулся из Герцеговины в Женеву. Во всяком случае, Кравчинский знал наиболее хвалебную часть этого отзы-

ва, так как Лавров опубликовал ее в своей статье о Тургеневе в 1884 году в «Вестнике Народной Воли» № 2. Впервые полностью это письмо было опубликовано в журнале «Былое» за 1906 год в № 2.

Интересно отметить, что оценки Тургенева и Успенского во многом совпадают, а рассуждения Тургенева об отсутствии четкого адреса книжки целиком совпадают с сомнениями самого Кравчинского.

Что касается «жара молодости и убеждения», о котором пишет Тургенев, то этот жар согрел каждую строку Кравчинского и в дальнейшем — и в его романах, повестях и публицистических произведениях.

Любопытное свидетельство находим мы в воспоминаниях Веры Засулич:

«Для той же пропаганды Кравчинский написал и свои первые литературные произведения: «Мудрицу Наумовну» и «Сказку о копейке», в которых поэтически изложил свои социалистические идеи. Странные это вышли сказки. Через 3—4 года их автор делал уже самые презрительные гримасы, когда ему упоминали о них. Но в отместку заставлял свою близкую приятельницу Эпштейн, любившую дразнить его этими сказками, немедленно сознаться, что как они ни были плохи, а все же многие, и она в том числе, проливали над ними слезы.

И в самом деле, хотя в этих юношеских произведениях автор не успел еще справиться ни с собственной фантазией, ни с идеями, ни со способом их изложения, он все же выразил что-то, соответствовавшее восторженному настроению части его товарищей и способное, при первом чтении, вызвать слезы наиболее впечатлительных из женщин»<sup>35</sup>.

Однако «Мудрица» нравилась не только женщинам из среды пропагандистов.

Николай Морозов говорил, что «в ней очень много остроумного и комичного. Мне очень хочется поскорее видеть ее в печати, чтоб посмотреть, какое впечатление она произведет в народе»<sup>36</sup>.

Н. Г. Кулябко-Корецкий вспоминает, что автор еще в рукописи читал «Мудрицу» у них в кружке и все ее очень одобрил. Меуарист разделяет упреки «в искусственности допущенного Кравчинским олицетво-

<sup>34</sup> А. И. Иванчин-Писарев, Кое-что из жизни Гл. Ив. Успенского. (По воспоминаниям.) «Заветы». 1914, № 5, стр. 165—167.

<sup>35</sup> В. И. Засулич, Статьи о русской литературе. М., 1960, стр. 127.

<sup>36</sup> Н. А. Морозов, Повести моей жизни, т. 1. М., 1947, стр. 248.



рения Маркса и его учения в фигурах мудреца Наума и его дочери Мудрицы Наумовны», ссылаясь на отзыв Тургенева, пишет: «Но что касается стиля сказки, то, не смея спорить с таким авторитетом в литературной критике, как Тургенев, я все же могу сказать, что мне лично это произведение социалистической литературы понравилось именно своею внешней формой, своим стилем, и настолько сильно, что даже по прошествии более 50 лет мне остались памятные первые строки этой сказки: «То не ветер воет по дубравушке...»<sup>37</sup>.

Один из организаторов группы «Освобождение труда», П. Б. Аксельрод, вспоминает, что, когда Кравчинский читал рукописи «Мудрицы» и «О правде и кривде» («в нашем товарищеском кругу»), «мы были от них в восторге»<sup>38</sup>.

А молодой пропагандист, в будущем известный народоволец С. Г. Ширяев, в 1876 году писал П. Л. Лаврову о книжках Кравчинского: «...успеху их вредит некоторая фантастичность формы, некоторая утрировка фактов. Бесспорно, что, напр., «Говоруха» («Мудрица», «Похождение пошехонцев» тож) — прекраснейшая вещь, и я знаю, что некоторые чувствительные натуры прослезались, читая ее, — но фантастичность первой части много мешает цельности общего впечатления от рассказа. Русский человек вообще сантиментальничать не любит, — не до того ему; давай ему правду, голую истину, не «краснобайствуй». Факты и факты — это всего действительнее, всего убедительнее»<sup>39</sup>.

Г. В. Плеханов, рассказывая о пропаганде среди рабочих в 1878—1879 годах, пишет: «Какие книги больше всего читались в рабочей среде? Во всяком случае не те революционные брошюры — сказки о четырех братьях, о копейке, Мудрице Наумовне и пр., — которые в особенности предназначались революционерами для народа. Все они так бедны содержанием, что удовлетворить сколько-нибудь грамотного рабочего не могли. Они годились разве только для ничего не читавших новичков, да и по отношению к тем служили больше пробным камнем»<sup>40</sup>.

Так по-разному, с разных точек зрения оценивали русские социалисты того времени пропагандистские брошюры Кравчинского. Как всегда, в этих оценках переплетались личные мнения и опыт пропаганды. Одни убедились, что «народ любит сказки», другие были убеждены, что «народ сказок не любит, а ему нужны факты», вероятно, правы были и те и другие, а все

зависело от условий пропаганды, от различных аудиторий, да и от качеств самого пропагандиста...

Так же как и другие издания народников, и «Мудрица» удостоилась пристального внимания жандармов. За подписью шефа жандармов Н. В. Мезенцева 28 октября 1875 года, то есть всего примерно через два-три месяца после появления «Мудрицы» в России, министру внутренних дел было послано из III отделения отношение, в котором книжка характеризовалась как «по содержанию своему крайне возмутительная»<sup>41</sup>.

Затем, очевидно, книжка эта стала встречаться слишком часто, и III отделение 9 февраля 1876 года издало печатный секретный циркуляр за № 510, адресованный «Господам начальникам Губернских жандармских управлений и жандармским полицейским управлениям железных дорог», в котором говорилось:

«В последнее время в Москве появились в обращении новые издания известных революционных книжек: Хитрая механика, Сказка о четырех братьях и Сказка о Мудрице Наумовне...

Сказке о Мудрице Наумовне придан внешний вид разрешенного цензурой известного московского издания 1873 года «Похождения пошехонцев». Заглавный листок занят изображением сцены испуга пошехонцев при встрече с охотником.

На втором листе обложки напечатано «Похождения пошехонцев, удивительные и забавные, второе издание. Москва, Типография Бахметева на Стретенке в доме Карлоши, 1875». А на оборотной стороне этого второго листа напечатано: «Дозволено цензурой, Москва, 7 февраля 1875 г.»...

О вышеизложенном сообщается для наблюдения, не появятся ли где-либо упоминаемые издания и для обнаружения распространителей их, подлежащих за то преследованию по закону 19 мая 1871 года...»<sup>42</sup>.

Через некоторое время, 9 марта 1876 года, Главное управление по делам печати

<sup>37</sup> Н. Г. Кулябко-Корецкий, Из давних лет. Воспоминания лавриста. М., 1931. стр. 128.

<sup>38</sup> П. Б. Аксельрод, Пережитое и передуманное, кн. 1, Берлин, 1923, стр. 142.

<sup>39</sup> С. Г. Ширяев, Письмо редактору «Вперед», 17 декабря 1876. — «Былое», выпуск II (1903—1904 гг.). Ростов н/Д, 1906, стр. 26.

<sup>40</sup> Г. В. Плеханов, Русский рабочий в революционном движении. Сочинения, т. III. М., 1928, стр. 143.

<sup>41</sup> ЦИИЛ, ф. 776. оп. 11, д. № 96, л. 215.  
<sup>42</sup> ЦГАОР, ф. 109, 3 экспед., 1878, ед. хр. 217. л. 2.

издало свой циркуляр за № 1415 об этом же и предписывало:

«А потому при наблюдении за книжною торговлею, особенно производимую через ходящих, необходимо не ограничиваться поверхностным досмотром изданий, а знакомиться с содержанием продаваемых изданий»<sup>43</sup>.

Но книга ходила в народе, ее читали.

Например, 26 мая 1878 года начальник подольского губернского жандармского управления доносил в III отделение о том, что подольский губернатор препроводил ему брошюру «Похождения пешехонцев», обнаруженную в Гайсинском уезде, уездный исправник которого сообщал, что «продажа названной книги производится на ярмарках через ходящих из Великороссийских губерний и что книга эта распространена между крестьянами»<sup>44</sup>.

Интересно, что в Болгарии социалисты также использовали для пропаганды «Мудрицу». Отрывок из нее в переводе болгарского коммуниста Г. Бакалова был издан в 1894 году в Софии под названием «Будущего царство»; в книжке было 62 страницы.

Одной из первых литературных работ будущего автора «Овода» — Э. Л. Войнич был перевод «Мудрицы» на английский язык. К сожалению, он остался неопубликованным. Но на страницах «Овода» мы находим интонации и настроения, явно навеянные «Мудрицей Наумовной»...

Легально в России «Мудрица Наумовна» появилась только после Великой Октябрьской революции, в 1919 году, в собрании сочинений Степняка-Кравчинского, вышедшем под редакцией С. А. Венгерова. В этом же собрании сочинений, выпускавшемся после революции 1905 года, редактор по цензурным условиям мог напечатать только небольшой отрывок. Небольшой отрывок был напечатан также (анонимно) в 1906 году в Петербурге отдельной книжечкой, но вскоре же она была запрещена.

В самом конце 1875 года в Лондоне начали печатать «Волю». Когда и кем дано маскировочное название «Из огня да в полымя!», нам неизвестно.

23 декабря 1875 года А. Л. Ливев писал из Лондона Л. Б. Гольденбергу в Женеву: «...«Воли» набираем второй лист»<sup>45</sup>.

Книжка была напечатана очень скоро. 26 января 1876 года А. Зунделевич, ведавший перевозкой нелегальных изданий, писал из Кенигсберга в Лондон: «...22-го сего месяца получил я 25 экз. 25 № (газеты «Вперед»). — Е. Т.) и 2 «Из огня да в полымя»<sup>46</sup>.

Примерно в это же время Л. Б. Гольденберг получил письмо из Румынии от старшего товарища и друга Кравчинского С. Каца, который был вынужден эмигрировать в Румынию, впоследствии был одним из организаторов румынской социал-демократической-партии и видным литературным критиком под именем К. Доброджану-Геря. Он писал: «Дорогие товарищи! Сегодня я получил 9 экземпляров «Из огня да в полымя»...»<sup>47</sup>.

Книга быстро расхищалась. Уже 26 апреля 1876 года, как сообщал кому-то Гольденберг, на складе осталось всего 200 экземпляров «Мудрицы» и 300 экземпляров «Воли»<sup>48</sup>.

Очевидно, в самом начале 1876 года Лавров разослал первые экземпляры «Из огня да в полымя!» друзьям. Одну книжечку послал Марксу.

К сожалению, мы не знаем, как Маркс отнесся к этому изложению своей теории «в наипростейшем виде». Но, во всяком случае, он хранил эту книжечку и в 1881 году занес ее в список своих русских книг...

В высшей степени важно и интересно суждение о книге «Из огня да в полымя!», которое мы находим в письме С. А. Подольского к одному из сотрудников Лаврова — В. Н. Смирнову от 9 июня 1876 года.

С. А. Подольский, приятель Кравчинского, также сотрудничал с Лавровым, а затем отошел от него, решив отдать все свои силы созданию народной литературы. К этой поре уже вышла его книжка на украинском языке «Розмова про бідність», которую он называет «народной политэкономией». Не удовлетворенный своей работой, он продолжал отделять и перерабатывать свою книжку. Сообщая об этом В. Н. Смирнову, он пишет:

«Писать эти вещи народным языком очень трудно. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» написана хорошо, но все-таки не довольно легко и слишком сжато, а потому сухо. По моему плану то, что содержится в этой книжке, займет в 4—5 раз больше места, хотя и я пишу сжато. Дело в том, что у нас, по крайности в селах, много мо-

<sup>43</sup> Моск. обл. архив, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 89, л. 9. За сообщение об этом документе благодарю С. С. Левину.

<sup>44</sup> ЦГАОР, ф. 109, 3 экспед., 1878, ед. хр. 217, л. 1.

<sup>45</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 581, л. 228.

<sup>46</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 194, л. 1.

<sup>47</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 581, л. 115.

<sup>48</sup> ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 580, л. 41.

лодежи грамотной, но только чуть грамотной, и для них нужно писать уж очень популярно<sup>49</sup>».

Из этого письма ясно, что авторы пропагандистских брошюр мучительно бились над проблемой доходчивости своих произведений. Для того чтоб быть понятными, им надо было излагать все подробно, а подробность изложения увеличивала объем, то есть опять-таки создавала препятствия для усвоения...

Пропагандисты стремились дать народу основы «народной политэкономии», объяснить пружины «хитрой механики» налоговой системы, прибавочной стоимости, то есть вооружить народ пониманием классового строения общества и из этого понимания сделать оружие. Пропагандистский характер большинства пропагандистских сказок, призывающих к борьбе за свержение существующего строя — самодержавия, базировался отнюдь не на беспредметных эмоциях, а именно на раскрытии экономической основы классового общества.

В этом преимущественном внимании к проблемам политической экономии народников-пропагандистов мы явно ощущаем силу влияния марксовской идеи.

Влияние марксовской идеи в пропаганде революционных народников тем более знаменательно, что именно русский рабочий класс, которому она была адресована, был менее, чем рабочие других, более развитых стран, способен воспринять их.

Но дело было сделано. Именно из пропагандистских сказок Сергея Кравчинского русский рабочий впервые услышал имя Карла Маркса, узнал о Международном товариществе рабочих, узнал об отличии феодального строя от капиталистического, узнал о социализме.

Эту новаторскую сторону пропагандистских сказок Кравчинского совершенно проглядел такой серьезный исследователь русской литературы, как В. А. Десницкий.

Не увидел В. А. Десницкий в сказках Кравчинского и попыток введения совершенно новой лексики в литературу. Наоборот, Десницкий утверждает, что народник боится «новых», «чужих» народу слов<sup>50</sup>.

Это абсолютно неверно. Именно Кравчинский, совершенно не боясь новых для народа слов, вводил в свои сказки такие выражения, как «международный союз рабочих», «стачка», «безработица». Он упорно искал русские эквиваленты терминов теории Маркса, стремясь сделать их понятными и простыми («наипростейшими!»). В своих книжках Кравчинский для

обозначения феодализма пишет — «помещичий порядок». Капитализм у него — «нанимательский порядок». Социализм он называет — «рабочий порядок».

Это ли не новые слова, введенные Кравчинским в литературу?

Но дело ведь не только в словах. Кравчинский вводит в свои книжки совершенно новые для народа понятия.

Интересно, что Кравчинский отдавал себе ясный отчет в этом и прямо так и говорил читателю.

В книжке «Из огня да в полымя!», переходя к описанию кризисов, Кравчинский пишет: «Но при теперешнем порядке у рабочих есть еще один враг, еще более страшный, чем машины. Только в чужих землях еще свирепствует он; у нас же его еще и видом не видать и слыхом не слышать. Но уже обернул он свои злые очи и на нашу землю, уже и на нас идет он...»

Но кто же этот страшный, еще неведомый враг?

Этот враг — торговые погромы.

Не бывало еще у нас этих погромов. Самого слова этого еще не слышал ты. Так послушай же, что такое эти погромы, потому и у нас скоро будут они<sup>51</sup>. Дальше он подробно и очень толково объясняет природу кризисов, противопоставляя хаосу капиталистического строя разумное хозяйство социализма, когда кризисы невозможны.

Писатель стремится разъяснить читателю все эти сложные понятия предельно просто, но не упрощая, повторяет, развивает, соотносит явления жизни развитых капиталистических стран с Россией, дает яркие сравнения.

Вот, например, что мог прочитать Маркс в книжке Кравчинского после описания природы кризисов в Западной Европе о России:

«У нас еще не бывало больших погромов, потому что у нас еще мало фабрик и заводов, и торговля у нас самая малая. Но застой и у нас бывали, потому что и у нас все хозяева — враги, соперники. Как собаки, завидевши кость, всей оравой кидаются на нее и начинают грызться, чтоб вырвать ее одна у другой, так точно и купцы кидаются всей оравой на барыш. Как только сильно поднялась цена товара, они начинают его делать взапуски, чтоб вырвать

<sup>49</sup> ЦГАОР, ф. 1737, оп. 1, ед. хр. 58, л. 34.

<sup>50</sup> В. Десницкий, Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.—Л., 1958, стр. 390.

<sup>51</sup> С. М. Степняк-Кравчинский, Собрание сочинений, ч. VII, стр. 21—22.

один у другого этот барыш из зубов. Все вместе они всегда наделают товару больше, чем нужно. Он падает в цене, и они разоряются: наступает погром.

Но пока фабрик мало, погромы не могут быть большими.

Вот почему у нас еще не было настоящих погромов».

Еще и еще разъясняет автор происхождение кризисов, и вывод его абсолютно естествен и понятен:

«Только тогда машины не будут губить рабочих, когда они сами будут хозяевами этих машин.

Только тогда не будет торговых погромов, когда фабриками и заводами будут владеть артели рабочих.

Одним словом: только тогда, когда вместо теперешнего нанимательского порядка наступит работницкий».

В уже упомянутой мною интересной работе Г. Н. Шараров убедительно сопоставляет страницы книжки Кравчинского со страницами первого тома «Капитала», откуда Кравчинский заимствовал не только общую критику капитализма, но и отдельные конкретные факты и цифры.

Но при всех прямых заимствованиях из «Капитала», при всех прямых ссылках на него основной пафос книжек Кравчинского был «свой», народнический. Это был пафос призыва, как я уже говорила, «миновать» капитализм.

«Помещицкий порядок, — пишет Кравчинский, — это — рана от удара ножа. Она болит, когда ее разбередишь.

Теперешний, нанимательский, это — злая лихоманка, что как пристанет, так не отвяжется, пока не иссушит тебя в шепку, пока в гроб не вгонит тебя.

Помещицкий порядок, это — грязное черное болото. Глубоко вязнешь ты, когда идешь по нем. Мерзко воняет от него.

Купеческий, это — трясины, что поросла свежей зеленой травой. Издали смотреть — много красивее. Но беда, коли попадешь ты в нее! С головой провалишься ты в нее, и болотная гадина пожрет твое тело!

Затем-то и пишу я эту книгу, чтоб показать всем, имеющим очи: пусть увидят всю страшную глубину трясины, в которую уже ступил русский народ и в которой он уже завяз по пояс.

Горе, горе тебе, русский народ, если ты не выскочишь из нее, а задумаешь перейти на другую сторону! Через нее нет перехода. Гибель, гибель неминуемая ждет тебя впереди!»<sup>52</sup>

Для ознакомления с народнической интерпретацией своих идей Маркс вряд ли нашел бы лучшие строки...

Пропагандистские книжки Кравчинского рождают множество размышлений. Углубленное их исследование может дать много интересного и значительного и для истории литературы и для изучения русской общественной мысли.

...Кравчинский не раз еще обращался к трудам Маркса в поисках путей революционной борьбы.

Через полтора года после выхода в свет книжки «Из огня да в полымя!», летом 1877 года, Кравчинский снова читал и перечитывал Маркса. Это было на юге Италии. Кравчинский вместе с группой товарищей — итальянских революционеров сидел там в тюрьме. Они были арестованы за участие в вооруженном восстании. Это были ученики и последователи Бакунина.

Сколь причудливо развитие социалистической мысли!

Последователь Бакунина, каким он тогда себя считал, русский революционер Кравчинский штудировал Маркса.

Другой последователь Бакунина, итальянский революционер Карло Кафиеро, приятель Кравчинского, сидя в той же тюрьме за участие в том же восстании, проводил дни и ночи за изложением «Капитала» в популярной форме для своих соотечественников.

Несомненно, Кафиеро советовался с Кравчинским по поводу своей работы.

И итальянский анархист использовал опыт русского народника в популяризации идей Маркса...

Когда летом 1884 года сам Кравчинский снова очутился в Лондоне, Маркса уже не было в живых. К этой поре Кравчинский уже был известным в Европе писателем под псевдонимом Степняк. Он пришел в скромный дом на Риджентс парк род, 122. Дверь ему открыла дочь Маркса Элеонора. В тот же день — 16 июля — Кравчинский познакомился и с Фридрихом Энгельсом. Русский изгнанник стал часто бывать у немецкого изгнанника.

Рассматривая библиотеку Маркса, которая хранилась у Энгельса, может быть, Кравчинский увидел на книжной полке среди толстых фолиантов и свою маленькую книжечку, в которой когда-то пытался изложить теорию Маркса в «наипростейшем» виде...

<sup>52</sup> С. М. Степняк-Кравчинский. Собрание сочинений, ч. VII, стр. 24, 25, 34.

М. М. Шайбер

## Клаус Манн



Если Томас Манн был одной из самых классически-величественных фигур немецкой, да и мировой литературы нашего века, то его сын — крупный писатель, публицист и борец-антифашист Клаус Манн (у нас, к сожалению, очень мало известный) — был, пожалуй, одной из самых романтических.

Клаус Манн родился 18 ноября 1906 года. В то время слава автора «Будденброков» была уже всемирной.

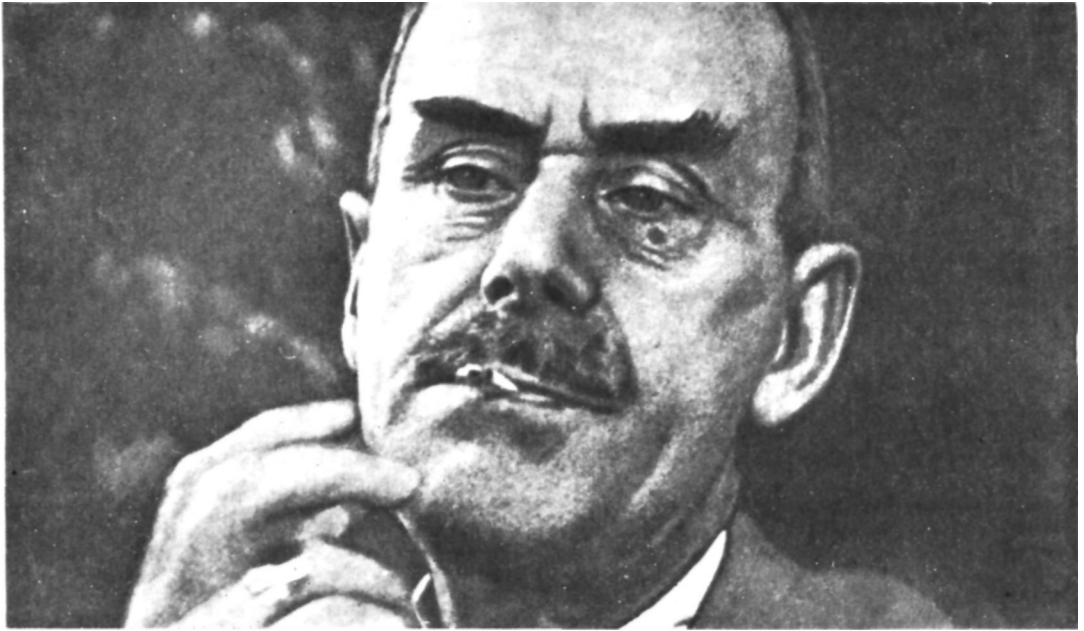
Но своему первому сыну (за год до этого родилась дочь Эрика) Томас Манн отнюдь не «загадывал» карьеру писателя.

Он иронически покачивал головой, когда узнавал о первых опусах Клауса: тот примерно с семилетнего возраста развил бурную «литературную деятельность», сочиняя стихи, пьесы, рассказы, даже «романы» в куда большем количестве, чем это успевал делать его знаменитый отец, а младшего брата своего заставлял ходить с этими рукописями в редакции самых солидных журналов, где тот объяснял, что все это произведения его «когда-то прославленной бабушки». Но никто не хотел читать исписанные детским почерком тетради. А жаль. Редакторы могли бы посмеяться над наивными сюжетами и уморительными характеристиками персонажей, но могли бы и обратить внимание на удивительный слог,

богатству, точности и изяществу которого позавидовали бы многие профессиональные писатели. Так у Томаса Манна рос забавный сын, который в девять-одиннадцать лет в серьезном тоне, даже с пафосом писал о роковой власти денег, о «моральном распадае», о романтической любви...

Первая мировая война внесла в семью Маннов разлад настолько резкий, что этого не могли не заметить даже дети. Томас Манн рассорился со своим знаменитым братом Генрихом Манном, который тогда уже был безоговорочным и активным интернационалистом. Дядя Генрих много лет не появлялся в их доме, для детей он стал живой легендой.

Тем удивительнее кажутся те политические взгляды, которые отразились в тогдашнем дневнике Клауса Манна — он начал его вести в ноябре 1918 года, когда ему только что исполнилось 12 лет. С поразительным для такого возраста постоянством он комментировал текущие события, особенно мюнхенские. И вот из его записей мы узнаем, что он противопоставил себя всем своим одноклассникам, охваченным контрреволюционным угаром, что он потрясен расстрелом вождя Баварской коммуны Евгения Левинэ, что он прекратил дружбу с некоторыми мальчишками из-за их реакционных взглядов. Когда ученики гим-



назии узнают, что на их школьном дворе расстрелян семнадцатилетний спартаковец, который перед казнью не дал завязать себе глаза, то Клаус Манн наперекор учителю и всему классу заявляет, что это настоящий герой. Снова и снова повторяется в его дневнике одна мысль, один мотив: «грядущая катастрофа» — это не «конец всему», она предшествует чему-то «захватывающе новому».

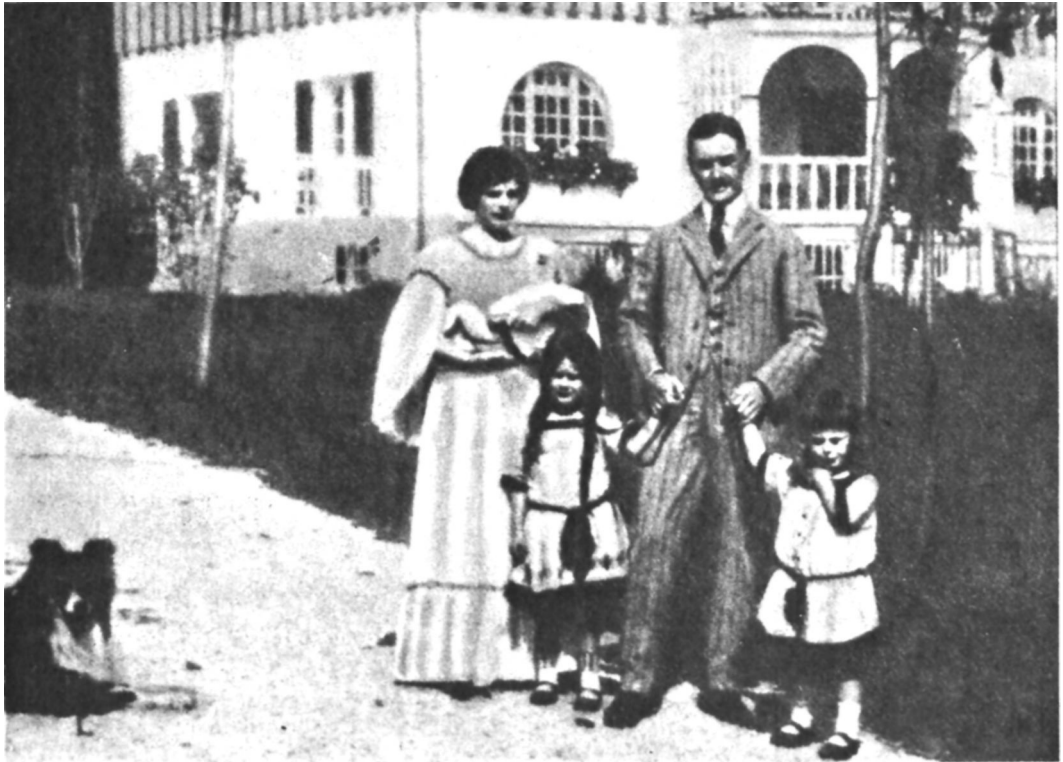
Мог ли 12—13-летний мальчик сам выработать такое отношение к событиям, как бы наивно оно ни было выражено? Не сказался ли здесь хотя бы косвенно образ мыслей его отца, постигшего необходимость революционных преобразований значительно раньше, чем обычно принято считать? Известно, что Томас Манн в 1919 году говорил отвлеченно о своей приверженности к коммунизму как учению, «стремящемуся к уничтожению государства насилия», но совершенно не понимал баварской революции и до того растерялся, что приветствовал прибытие реакционных имперских войск. Думается, что мальчишеские симпатии и антипатии Клауса проливают на эти противоречия особый свет.

Именно со второй половины 1919 года произошел определенный сдвиг и в «творчестве» Клауса: «автор», как у нас сказали бы, «повернулся лицом к живой действи-

тельности». Он пишет сатиры на казенную школу и консервативных педагогов, сочиняет «опровержение религии», довольно логично построенное, хотя, конечно, и не содержащее оригинальных доводов. Его рассказ «Богохульница», опубликованный в журнале мюнхенских гимназистов, вызывает такое раздражение школьного начальства, что ректор, несмотря на «глубокое почтение» к его отцу, требует Клауса к себе и делает ему строгое внушение. Наконец, тринадцатилетний Клаус пишет своего рода «роман развития юноши». Здесь он старается изобразить внутреннюю борьбу между сознанием человеческого, общественного долга, стремлением «жить для всех», с одной стороны, и тягой к удовольствиям и наслаждениям, стремлением «жить для себя» — с другой. За это сочинение Клаус впервые удостоился поощрительных слов отца.

В следующем году случилось неожиданное.

Атмосфера послевоенной Германии, вся насыщенная микробами нигилизма и нравственного маразма, духом насилия и зла, исподволь проникла — через определенные книги и газеты — и в те комнаты на верхнем этаже дома Маннов, где жили старшие дети. Клаус и Эрика (будущая известная артистка и не лишенная таланта



Томас Манн с женой и детьми. Справа стоит Клаус, в центре — Эрика.

писательница) давно проявляли склонность ко всякого рода мистификациям и шалостям вроде тех, которые Томас Манн описал в новелле «Непорядки и раннее горе», где Клаус изображен под именем Берт, а Эрика под именем Ингрид. Но теперь они постепенно и незаметно перешли от «забавных розыгрышей» с телефонными звонками и визитными карточками к куда более серьезным проделкам. Группа подростков, которой они верховодили, сделалась грозой мюнхенского района Герцогспарк. О выходках «банды из Герцогспарка» стали писать газеты.

Тогда Томас Манн решил отдать обоих в одну из тех экспериментальных сельских школ-интернатов, которые в то время счи-

тались последним достижением педагогической мысли. Эти школы стремились осуществить идеалы так называемого «молодежного движения», сводившиеся к «свободному развитию личности в общности юных» — идеалы утопического бюргерского гуманизма. Движение это, развившееся в последнем десятилетии до первой мировой войны из простого туристского объединения, постепенно обросло широко разветвленной «идеологией», в сферу которой Клаус теперь и попал.

Атмосферу, царившую среди воспитанников знаменитой ОденвальдшULE, он впоследствии описал так: «Стиль жизни свободной школьной общины, наши беседы, поступки и эмоции полностью определи-

лись тем бунтом юношей, который начался незадолго до первой мировой войны и постепенно заразил всю страну своим пафосом, своими лозунгами. Может быть, никогда раньше в истории молодые люди не были столь сознательно, столь кричаще, столь вызывающе молодыми, как немецкое поколение этих лет. Слова «Я молод!» представляли собой сформулированную философию, боевой клич. Молодость — это был заговор, вызов, триумф»<sup>1</sup>.

Клаус и его друзья в Оденвальдшутле, однако, не только противопоставляли себя старшему поколению — они были убеждены, что должны превзойти его во всех отношениях, прежде всего духовно, и не в будущем, а именно сейчас, в 15—16 лет. Без конца шли у них жаркие дискуссии на литературные и философские темы. Клаус много писал, в особенности стихи, и каждый раз с трепетной надеждой ждал оценки своих сверстников. Самым строгим его судьей была его подруга Ева, о которой много лет спустя, когда он уже был знаком чуть ли не со всеми выдающимися умами Германии, Франции, Америки, он писал, что «никогда в жизни не встречал человека с такой интенсивной духовной жизнью и напряженной внутренней проблематикой»<sup>2</sup>. В звучных, совершенных по форме стихах Клаус давал выход обуревавшему его иступленным переживаниям и мечтаньям. Он жил нервным и жадным поэтическим поиском, в постоянной лихорадочной работе мысли, в состоянии вечного брожения и упоения. В Оденвальдшутле самостоятельное творчество воспитанников не то что поощрялось — оно было предметом благоговейного культа. И это сказывалось на настроенности юных талантов — ими овладела настоящая мания избранности и исключительности, они прониклись каким-то чуть ли не «пророческим» духом.

Казалось, бы, ничто не могло быть более чуждо Томасу Манну. Но как в свое время он не стремился направить Клауса по литературному пути, так и теперь, когда творческие склонности мальчика стали очевидны, Томас Манн не собирался воспитать из него писателя по образу и подобию своему. Это не значит, что он не видел опасности в той «поколенческой» мании величия, которой поддался Клаус. Но Томас Манн, тончайший знаток человеческой души, понимал, что его сын человек доброй воли, и поэтому не сомневался, что со временем он выйдет на верную дорогу. Писатель ограничивался тем, что подавал сыну личный пример служения гуманизму.

Особенно отчетливо это проявилось год спустя, когда Клаус начал печататься.

Вышел он из школы летом 1923 года, в самый разгар обрушившейся на Германию инфляции. Обесценение денег казалось немецкой буржуазии равносильным обесценению всех ценностей, всех идеалов — «сумерками всех моральных принципов». Начался дикий, зловещий, беспримерный в истории человеческих нравов «пир во время чумы».

В первых опубликованных произведениях юного писателя потрясение, вызванное открывшейся ему картиной горячечного мира одержимых прожигателей жизни, странно сливалось с отзвуками «молодежного» мифа. Но главное — все это осложнялось совершенно особой «манией имени», жертвой которой Клаус Манн стал в первые годы своей литературной деятельности. Редактор знаменитого еженедельника «Вельтбюне» Зигфрид Якобзон, которому он принес первые свои эссе, ничего и слышать не хотел о псевдониме. Еще бы, семнадцатилетний сын великого Томаса Манна пишет о Рембо — такую сенсацию не мог упустить даже прогрессивный журнал.

Но для Клауса фамилия, под которой он отныне постоянно печатался, стала какой-то неизбывной травмой. Больше всего он боялся стать «наследником» громкого имени. Поэтому он изо всех сил стремился быть непохожим на отца, отличаться от него как можно резче — и по стилю и по содержанию произведений.

Работал Клаус с поразительной быстротой — только в 1925 году он передал для печати большой роман, сборник новелл, пьесу, бесчисленные статьи, эссе и публицистические выступления. Как штатный театральный критик крупнейшей берлинской газеты он в течение нескольких месяцев считался одним из законодателей театральной моды, что его страшно забавляло — в 19-то лет! В том же году он успел совершить большое путешествие по странам Европы и Северной Африки, а по возвращении сколотил своеобразнейшее театральное предприятие — своего рода драматический квартет, который разъезжал по городам страны и исполнял его пьесы. В квартет этот входили, кроме него самого, его невеста Памела, дочь знаменитого драматурга Ведекинда (с ней он вскоре разошелся), сестра Эрика и ее жених

<sup>1</sup> Klaus Mann, Der Wendepunkt, S. 105.

<sup>2</sup> Klaus Mann, Kind dieser Zeit, S. 238.



(а затем ненадолго муж) Густав Грюндгенс, который уже тогда был весьма заметной фигурой в театральной жизни Германии.

Вся эта деятельность принималась как публикой, так и критикой в основном с иронией, часто с сарказмом. Поводов для этого было достаточно: легкость пера и плодовитость, необычная частная жизнь, патетический стиль, а прежде всего тот факт, что он был сыном знаменитого отца, с творчеством которого было заманчиво сравнивать его произведения. Гастрольные поездки «квартета» вызывали, правда, известный ажиотаж, но газеты пестрели остроумными вроде «Дети писателей играют в театр», «Даются семейные спектакли» и т. п. Однако самым излюбленным, «благодарным» и, пожалуй, оправданным объектом насмешек была, конечно, навязчивая «поколенческая» мистика Клауса.

Может показаться странным, что Томас Манна не встревожило и такое предвещавшее много опасностей и трудностей вступление сына на литературное поприще. Тем более что все это в какой-то мере задевало и его самого. Но он и сейчас не оказывал на Клауса ни малейшего давления. Наоборот, он даже хвалил его пьесу «Аня и Эсфирь», над которой зрители и критика с редким единодушием потешались. Только в письмах Эрике он совсем осторожно намекал на то, что новеллы Клауса кажутся ему несколько «сомнительными». В чем же здесь было дело — только ли в родительском «всепонимании»? Вряд ли. Скорее в том, что отец глубже проникал в суть характера сына, чем это позволяли делать незрелые произведения юноши, и видел, что в нем зародилось самое главное — чувство писательской ответственности, стремление словом своим участвовать в переделке, в улучшении мира.

Ближайшие годы показали, что Томас Манн не ошибся.

В произведениях 1925 года Клаус еще изображал себя и своих сверстников как «потерянное поколение» смутных двадцатых годов, сменившее «потерянное поколение» войны, он еще говорил о каком-то трагическом предчувствии «конца», он еще обвинял «отцов» в том, что они, допустив преступную войну, завели «детей» в эпоху кризисов и катастроф, оставили их без руководства и без идеалов, без твердой почвы под ногами.

Но вот он столкнулся с фашизмом. И отныне для него не было сомнений: вся его жизнь будет посвящена борьбе против коричневой чумы.



Клаус Манн с сестрой Эрикой. 1927.

Но как бороться? Этого он не знал. Для него началась пора напряженных поисков.

Первым шагом в этих поисках не могло быть «выяснение отношений» с «молодежной» идеологией и фразеологией. Переоценка ценностей оказалась процессом мучительным и длительным. Постепенно у него раскрылись глаза на то, что «поколенческий» бунт отвлекает от борьбы действительно насущной, более того, мешает осознать нарастающую подспудно смертельную опасность. Его друзья мечтали о разрыве со всем старым грузом германской истории путем отрыва от «поколения отцов», но не замечали, что молодежь, именно молодежь, которая им представ-



Георг Гросс. «Глас народа — глас божий». Рис. из сборника «Лицо господствующего класса».

лялась чуть ли не единой «революционной» силой, становилась все более восприимчивой к ультрареакционным, реваншистским лозунгам; они восклицали — как героиня одного из ранних произведений Клауса Манна — с недоумением и жалостью: «Как же должны себя чувствовать старшие, когда у них на совести война!» — и не подозревали, что история зло подшутит над ними, что на них-то как раз ляжет вина несравнимо большая — за допущение в тысячу раз более гибельной и преступной второй мировой войны.

Так наметился перелом в жизни Клауса Манна.

Внешне это проявилось весьма своеобразно: Клаус Манн стал путешествовать,

знакомиться во всех странах Европы, а затем и в Америке с виднейшими представителями интеллигенции, предлагать и пропагандировать разные идеи и платформы для объединения усилий в борьбе с фашизмом (сначала весьма и весьма наивные), читать лекции, произносить речи, писать статьи для газет и журналов всех стран.

Томас Манн был прав, когда впоследствии назвал жизнь своего сына подвигом. И не потому, что Клаус навсегда отказался от постоянного пристанища, провел всю жизнь в гостиничных номерах и даже в родительский дом наезжал скорее как гость — в конце концов, такой образ жизни был ему даже по душе, ему нравилось,

просыпаясь утром в Софии, вдруг на скорую руку решиться «махнуть» в Палермо или на Шпицберген. Дело в ином: где бы он ни находился, он ни на день не забывал о жизненной задаче своей, работал неутомимо, с фанатичной настойчивостью, с самоотверженностью человека, знающего, что вносит важный вклад в справедливое, священное дело.

К тому же еще одно обстоятельство придавало его жизни особый трагизм. То ли это от врожденной предрасположенности, то ли в результате душевных травм, нанесенных ему целой вереницей самоубийств близких родственников и друзей, то ли вследствие разочарования и ужаса перед лицом исторических катастроф, но на протяжении всей жизни Клаус Манн был подвержен депрессивным состояниям, во время которых его властно тянуло к самоубийству. Это повторялось каждые два-три года, а иногда и чаще, и длилось порой неделю, если не больше. И только сознание того, что он солдат на боевом посту, что его слово действует и борется, давало ему силы вновь и вновь одолеть этот мрачный недуг.

Во второй половине двадцатых годов, после выхода в свет «Волшебной горы», Томас Манн стал признанным лидером немецкой литературы.

В то же время все яростнее и наглее становились нападки на него фашиствующих кругов. Ультраправые видели и чувствовали: хотя в Германии пока «все спокойно», Томас Манн и его окружение, не в пример другим бюргерским интеллигентам, уже распознали в фашизме страшную угрозу. Правда, сам знаменитый писатель еще воздерживался от резких публичных выступлений, но никто не заблуждался относительно его истинных взглядов. Фашисты видели в нем потенциальную опасность.

Не последнюю роль в этом сыграла, надо думать, деятельность Клауса Манна. Уже тогда, когда гитлеровцы составляли совсем маленькую — правда, невероятно крикливую — группу, он не устал предостерегать против их подспудного влияния.

В 1929 году разразился катастрофический кризис. Мгновенно изменилась вся политическая и духовная ситуация в Германии. Отчаявшиеся бюргеры очерта голову бросились в объятия «спасителю» — Гитлеру. Результаты не замедлили сказаться: выборы в рейхстаг 14 сентября 1930 года дали нацистам ошеломляющую победу.

В этот роковой час Томас Манн и его сын окончательно пошли по общему пути.

Уже 17 октября великий писатель приехал в одном из больших залов Берлина — в Бетховен-халле — яркую речь «Призыв к разуму». В тот момент, когда он говорил о необходимости единства лучших сил бюргерской демократии с рабочим классом, встал некий господин в синих очках и крикнул, что Манн «оскверняет немецкую честь». В разных концах зала поднялись группы фашистских молодчиков, только и ждавшие этого сигнала, и устроили дикую свистопляску, выкрикивая оскорбления и угрозы. Томас Манн твердо и спокойно стоял на трибуне. Тогда человек в синих очках дал новый сигнал. Фашисты ринулись вперед, оттеснили тех, кто спешил на помощь к писателю, и уже приготовились стащить его с трибуны. Но в последний момент к нему пробрался дирижер Бруно Вальтер, которому здесь были знакомы все ходы и выходы. Он провел Томаса Манна по служебному коридору, а затем через соседнее здание филармонии на улицу и быстро усадил его в машину.

С этого дня писателю стали все чаще грозить по телефону. Рядом с его дачей в Ниддене, в Литве, еще в 1929 году расположился тренировочный лагерь гитлеровских штурмовиков и нацистов из Клайпеды. Теперь молодчики из лагеря все чаще стали появляться перед дачей. Однажды почта принесла сюда пакет, в котором лежал обугленный экземпляр «Будденброков» — как бы предвосхищение книжных костров «третьего рейха».

Клаус Манн чувствовал себя отныне прежде всего соратником отца. Несколько позже, в 1932 году, он писал, вспоминая прежние свои «поколенческие» увлечения: «Конфликт отец — сын едва ли в течение года был актуален в моей жизни. Я ощущаю его, при нынешних обстоятельствах, как самую излишнюю и неинтересную проблему. Каждое противоречие, каждый конфликт протекают сегодня поперек поколений, а не между поколениями. Давно уже отец не является закостенелым консерватором, а сын — революционером (скорее это отношение перевернулось). Я говорю это вообще, а не только о моем случае, где все недоразумения и все натянутости уже давно отступили перед законами любви и разума»<sup>3</sup>. Так блестяще оправдался подход Томаса Манна к духовному формиро-

<sup>3</sup> Klaus Mann, Kind dieser Zeit, S. 291—292.

ванию сына: действовать не наставлениями, а исключительно личным примером.

После зловещих сентябрьских выборов Клаус Манн выступил с открытым письмом Стефану Цвейгу, имевшим огромный резонанс. Знаменитый австрийский литератор в то время успокаивал общественное мнение, объясняя результаты выборов каким-то отвлеченным «радикализмом молодежи» (статистический анализ показывал, что решающими оказались голоса молодых избирателей). И вот Клаус Манн, писатель, который в Европе был известен как один из духовных лидеров молодого поколения, громко и ясно заявлял, что не надо стараться «понять» и принять все, что делает молодежь, — с фашистами можно только беспощадно бороться. Несмотря на резкий тон, Стефан Цвейг не обиделся — он до конца жизни остался верным другом Клауса Манна.

Фашисты теперь доходили до того, что с резиновыми дубинками в руках нападали на театры, в которых играла Эрика Манн, избивали зрителей, ломали мебель. Руководители театров перестали приглашать талантливую артистку на роли. Но этим дело не кончилось. Когда нацистская газета «Фелькишер Beobachter» заявила, что у Эрики Манн «не голова, а головоподобное образование», та подала в суд. Трудно сказать, чем руководился судья — может быть, это был человек с убеждениями; во всяком случае, владельцу газеты, Гитлеру, пришлось уплатить штраф.

После этого нельзя не удивляться смелости, с которой дочь и сын Томаса Манна еще в роковые недели с начала января по конец февраля 1933 года (а ведь нацистам была вручена власть 30 января) вели в Мюнхене антифашистское, остро политическое кабаре «Перцовая мельница» — последнее свободное зрелищное предприятие в тогдашней Германии.

В конце февраля они выехали в Швейцарию — как им казалось, на короткий срок, ибо тогда всеобщим было убеждение, что канцлерство Гитлера лишь беглый эпизод в политической жизни Германии (так писала вся мировая пресса от «Таймс» до «Известий»).

Через несколько дней после «выборов» 5 марта, окончательно укрепившись власть нацистов, Клаус и Эрика отважились на тайную «разведывательную» поездку в Мюнхен. Томас Манн в это время совершал заграничное лекционное турне и намеревался после короткого отдыха в Швейцарии вернуться домой.

На мюнхенском вокзале Клауса и Эрику ждал шофер отца. Как выяснилось через много лет, он был засекреченным членом нацистской партии и длительное время являлся осведомителем в доме Маннов. Он вел, однако, двойную игру и на этот раз не только не известил своих начальников о тайном приезде молодых хозяев, но и оказал семье Маннов — и тем самым будущей антифашистской эмиграции! — важную услугу.

Первым делом он объяснил прибывшим истинное положение вещей и предупредил их, что они не должны показываться на улице. Впрочем, насколько верной была набросанная им картина, Эрика и Клаус могли убедиться тут же по пути с вокзала домой: в этот день в Мюнхен торжественно въезжал гитлеровский наместник фон Эпп, и ему была устроена по-нацистски истеричная встреча.

Клаус решил, что самое главное в этот момент — предупредить отца. Сразу стало ясно, что все они могут продолжить борьбу только в эмиграции; слишком на виду были Манны, чтобы могла идти речь о присоединении к подпольной оппозиции.

Клаусу удалось связаться по телефону с швейцарским городом Ароза, где находились отец и мать. Опасаясь подслушивания, Клаус и Эрика говорили измененными голосами и, настойчиво советуя родителям отсрочить приезд, ссылались на плохую погоду в Мюнхене, беспорядок в доме и тому подобное. Однако Томас Манн был твердо намерен вернуться немедленно. Тогда Клаус, сознавая всю ответственность момента, отважился говорить прямо. К счастью, разговор, по-видимому, все же не подслушали — может быть, в тот день все силы гестапо были мобилизованы для встречи фон Эппа.

Скрываясь ото всех, Клаус Манн провел сутки в родном доме. Эрика в тот же вечер отправилась назад в Швейцарию, захватив с собой только небольшой чемодан с рукописями и самыми необходимыми вещами. Клаус решил на следующий день ехать в Париж.

Всю ночь он сидел с шофером за бутылкой редкого французского коньяка («Пусть хоть она не достанется нацистам») и, чтобы отвлечься от страха — в любой момент могли нагрянуть гестаповцы, — вспоминал с ним прежние времена. Затем странный этот доброжелатель — в глазах у него стояли слезы — усадил «собутельника» в машину, отвез его на вокзал, провел в вагон...

Так началась эмиграция — самый ответственный, самый важный период в жизни не только Клауса, но, пожалуй, и Томаса Манна.

Клаус Манн в отличие от отца сразу же развернул активную политическую деятельность. Он ставил себе в первую очередь три задачи: объединить литературные силы, оказавшиеся в изгнании, для совместной антифашистской борьбы; действовать созданию единого фронта всех демократических сил; довести до сознания мира, что на самом деле представляет собой гитлеризм.

Последнее было невероятно трудно. Даже во Франции многие считали, что «Германия нас не касается», другие были уверены, что «эмигранты, конечно, преувеличивают, все наверняка уж не так страшно», третьи вообще относились к изгнанникам с подозрением, так как, мол, «приличные люди не покидают свою родину, кто бы там ни правил», а буржуазная печать старалась, насколько возможно, замалчивать факты, ибо фашизм рассматривался прежде всего как «плотина против большевизма».

Уже летом 1933 года Клаусу Манну удалось создать в Амстердаме «толстый» литературно-общественный журнал. Это было не только первое издание такого типа у западной эмиграции, но, пожалуй, и самое значительное вплоть до 1945 года. Он назвал его «Заммлунг» — сбор, сплочение, сосредоточение. Основные постоянные авторы — он сам и Генрих Манн, но, кроме них, сотрудничали многие писатели-эмигранты, а также Ромен Роллан и Жан-Ришар Блок, Эрнест Хемингуэй и Шолом Аш, Илья Эренбург и Борис Пастернак и многие другие.

По поручению Геббельса известный поэт Готфрид Бенн разразился в газете и по радио весьма раздраженным «открытым письмом» к «предателю» Клаусу Манну — такая нервозность министерства пропаганды была знаменательна. Впрочем, непрерывная ругань, которую с этого момента начала изрыгать пропагандистская машина рейха в адрес эмигрантской прессы, шла скорее на пользу последней, так как обращала на нее внимание широких кругов.

Тем более неожиданным должно было показаться отношение Томаса Манна к начинанию сына: он опубликовал заявление (подписанное также А. Деблином и Р. Шикеле) о том, что не хочет иметь ничего общего с новым журналом ввиду его... политической тенденциозности! В ответ на

это Ромен Роллан сразу же решительно выступил в поддержку Клауса Манна. К нему присоединились многие другие литераторы. Однако вряд ли сам Клаус был ошеломлен: он не сомневался, что это всего лишь тактический ход, который должен был обеспечить дальнейшее распространение книг Томаса Манна в Германии.

Впрочем, и фашисты не были введены в заблуждение. Они с самого начала проводили по отношению к великому писателю двойственную политику. С одной стороны, всеми средствами добивались, чтобы он вернулся в Германию, — ведь какой это дало бы проагандистский эффект! С этой целью они заставляли бывших его друзей писать ему письма с разными обещаниями, оказывали давление на его брата Виктора, ему самому соглашались продлить просроченный паспорт только на территории Германии, хотя это вполне входило в компетенцию консульства. С другой стороны, против него вели открытую кампанию в фашистской печати, наложили секвестр на его текущий счет в банке, дом его и автомобили реквизировали (а затем, когда катившиеся на его машине пьяные эсэсовцы вызвали уличную аварию, ему направили в Швейцарию требование об уплате штрафа). Однако произведения его пока не были запрещены, и только незначительная часть их фигурировала среди книг, сожженных 10 мая 1933 года на площадях германских городов.

Такая неопределенность не могла долго продолжаться. Хотя открытое присоединение Томаса Манна к антифашистской эмиграции датируется 1936 годом, когда он опубликовал свой знаменитый ответ на статью швейцарского фашиствующего журналиста Корроди, фактически он с самого начала активно участвовал в ее борьбе, и многие не без основания считали Клауса Манна как бы его политическим представителем.

В 1934 году Клаус приехал в Москву на I съезд советских писателей и вскоре опубликовал восторженный отчет в своем журнале. Его «Московские записи» во многом способствовали в то время единению немецкой антифашистской литературы, образованию единого фронта писателей общедемократического направления и коммунистов. И в дальнейшем, выступая на бесчисленных конгрессах, митингах, собраниях во Франции и в Америке, в замаршей в ожидании беды Австрии и в сражающейся Испании, беседуя с деятелями культуры и политиками самых различных

стран, он неуклонно отстаивал необходимость единства. Не случайно, когда в 1936 году удалось, наконец, основать Немецкий народный фронт, под декларацией о его создании рядом с подписями Вильгельма Пика, Вальтера Ульбрихта, Генриха Манна стояла и подпись Клауса Манна.

По-прежнему он беспрерывно кочевал с одного континента на другой, из одной страны в другую, из одного города в другой (тщательно избегая пограничные с Германией города), жил в гостиничных номерах — и работал. За эти несколько лет он написал четыре больших романа, ряд рассказов и неисчислимое количество статей. Он всегда был писателем весьма плодовитым, но теперь его еще подстегивало чувство высокой ответственности.

При этом тематика его творчества стала еще разнообразнее. Наряду с романом о Чайковском «Патетическая симфония» и исторической новеллой о баварском короле Людвиге «Зарешеченное окно» он создает роман-памфлет «Мефистофель» о Густафе Грюндгенсе — своем бывшем зяте, участнике того самого «семейного квартета», успевшем к этому времени стать не только прославленным актером, но и обласканным нацистами руководителем всех немецких театров — и, наконец, большой роман об эмиграции «Вулкан».

Постепенно центр его странствий переместился из Европы в Америку. Там он все чаще выступал на английском языке. Наибольший успех имела «политико-литературная» лекция «Наша семья против диктатуры», которую он читал в десятках городов.

Затем Клаус едет в Испанию. Сам он в боях не участвует, но как военный корреспондент бывает на всех фронтах — в осажденном Мадриде и на Эбро, в интернациональных бригадах и у испанских солдат под Торосой...

В очередной раз он пересекает океан, когда на корабле впервые услышал слово «Мюнхен» не как название родного города, а как синоним, предательства и позора. Сойдя в Нью-Йорке на берег, он увидел объявление: в Мэдисон-Сквер Гардене состоится массовый митинг протеста, оратором будет Томас Манн. Клаус немедленно взял такси и отправился «с корабля на митинг». Он, привыкший к выступлениям отца перед относительно небольшими аудиториями, впервые увидел его здесь в качестве народного оратора, трибуна. Клаус был потрясен, особенно когда после речи

писателя десятки тысяч голосов стали гневно скандировать: «Смерть Гитлеру! Да здравствует Чехословакия! Долой предателей!» Не может ли и его слово оказаться в Америке нужнее и действеннее, чем в Европе? Там ведь уже надо не спорить и разъяснять, а только стрелять. Отныне он будет писать по-английски, обращаясь к совести Америки.

Клаус Манн далеко не единственный литератор-эмигрант, перешедший в изгнании на другой язык. Но в большинстве случаев на это решались те, кто или только начинал свой творческий путь, или вырос фактически с двумя родными языками. Клаус Манн же был сложившимся писателем, для которого новый язык представлял значительные трудности — он владел им не больше, чем любой литературно образованный и много путешествовавший европейский интеллигент. Недавний его опыт лектора был, конечно, совершенно недостаточен для того, чтобы писать по-английски книги и серьезные статьи. Но, осознав, что именно этот язык может впредь стать для него действенным оружием, он, не жалея труда, взялся за дело. Первые две книги. «Бегство в жизнь» (своего рода лексикон антифашистской эмиграции) и «Другая Германия», были созданы еще в соавторстве с Эрикой, владевшей английским лучше его. Но постепенно он свыкся с языком, стал не только свободно и естественно выражать на нем свои мысли, но и находить в нем свои особые средства воздействия на читателя.

В конце тридцатых годов Томас Манн окончательно переселился в США. На несколько месяцев Клаус остановился у него в Принстоне — единственный случай, начиная с 17 лет и до самой его смерти, когда он жил как бы «дома». Но вскоре отец построил дом в Калифорнии, а Клаус вернулся в излюбленную им нью-йоркскую гостиницу «Бедфорд».

Теперь он приступил к созданию нового журнала — «Дисижн» («Решение»). Решение, к которому он неустанно призывал, — это присоединение Америки к антигитлеровской коалиции. Он приложил огромные усилия, чтобы сделать журнал как можно более представительным, и ему удалось привлечь к сотрудничеству поистине блестящее созвездие американских, немецких, английских, французских, чешских, испанских, итальянских писателей. Не случайно Томас Манн впоследствии назвал «Дисижн» «наилучшим и самым красочным литературным журналом, который

Америка когда-либо имела»<sup>4</sup>. Но как ни были велики достоинства и, насколько можно судить, общественное воздействие журнала, из-за финансовых трудностей он все время висел на волоске. Томас Манн, как никогда раньше, поддерживал в этом начинании сына. Он не только безвозмездно предоставлял ему множество статей, но и старался привлечь необходимые фонды, не смущаясь тем, что получал иногда весьма обидные отказы от «преклонявшихся перед ним» богачей. Но денежные затруднения становились все острее. Поэтому после Пирл-Харбора, когда собственно политическая миссия журнала была исчерпана (японо-германская агрессия избавила Америку от необходимости принять «решение»), Клаус Манн прекратил изнурительную борьбу за свое детище.

Теперь им владела одна мысль: он должен лично, непосредственно, с оружием в руках бороться против фашизма. Он подал заявление в американскую армию, полагая, что она вот-вот активно вмешается в европейскую войну. Много месяцев подряд ему отказывали. Но он был настойчив, писал все новые ходатайства и объяснения, оспаривал решения медицинских комиссий, подчеркивал свои особые знания и возможности. При этом отец оказывал ему неизменную поддержку. Есть сведения, что Томас Манн даже использовал свои связи и авторитет, чтобы помочь Клаусу. Писатель, который когда-то, во времена кайзеровской империи, избавился от отбывания воинской повинности не без, как он деликатно писал, «установления личных и светских отношений с врачебными властителями», теперь благословлял сына своего на солдатское дело.

Наконец Клауса «приняли». Однако его отправили не в действующую армию, а в рекрутский лагерь, где он должен был пройти долгую, мучительную и бессмысленную муштру. Он старался быть хорошим солдатом — и преуспел в этом, несмотря на неимоверный бюрократизм, царивший в американской армии и отравлявший ему жизнь (его бесцельно пересылали из одного лагеря в другой, один раз он попал даже в училище для специалистов радиосвязи и надолго застрял там).

Только в самом конце 1943 года, ровно через два года после подачи им первого заявления и через год после того, как его призвали, он вместе с тысячами американских солдат прибыл в Северную Африку. Вскоре его переправили в Италию, где он служил переводчиком, но такая деятель-

ность его не удовлетворяла. Лишь осенью 1944 года он смог, наконец, принять непосредственное участие в войне. Высоко в Апеннингах, под ожесточенным обстрелом, проявляя незаурядную храбрость, Клаус Манн обращался через микрофон к немецким солдатам, убеждая их в бессмысленности дальнейшего сопротивления.

И характерно, что Томас Манн, которому органически было чуждо любованье войной, теперь в бесчисленных письмах самым разным адресатам с удовлетворением и гордостью сообщал об участии сына в битве с фашизмом.

Но вскоре Клаусу Манну довелось выказывать и не меньшее гражданское мужество. Через два месяца после окончания войны, когда уже стали явными зловещие тенденции американской политики, он поместил в римском издании армейской газеты «Старз энд страйпс» резкую статью, где указывал, что американские военные власти в Германии не только не искореняют, а вновь насаждают нацизм. Такая смелость могла дорого обойтись писателю-солдату, но начальники его сочли за благо дело замять.

Не удивительно, что Клаус Манн предпочел теперь демобилизоваться в Европе и пока не возвращаться в США.

На первых порах он был еще полон надежд. Ему казалось, что, несмотря ни на что, в послевоенном мире может быть сохранено то антифашистское единство, которое было рождено в годы борьбы против Гитлера. И он полагал, что в меру своих сил тоже сможет внести свою лепту в дело взаимопонимания народов. Задача «посредника» между людьми разных наций и разных взглядов казалась ему самой благой, самой насущной.

Снова он начал жизнь кочевника, ездил в Англию и Чехословакию, Америку и Францию, Швецию и Польшу, посещал все области и города Германии, подолгу дискутировал с И. Р. Бехером и с молодыми писателями группы «47», с бывшими «внутренними» и внешними эмигрантами, писал статьи, статьи, статьи...

Но «холодная война» разгоралась все сильнее. В Америке и его самого и отца стали травить. Его голос, столь заметный в тридцатые годы, теперь терялся, к нему никто больше не прислушивался. Он не видел перспектив, не видел для себя осмысленной цели. Ему казалось, что гуманистическая интеллигенция Запада со-

---

<sup>4</sup> Klaus Mann zum Gedächtnis, S. 8.

вершенно бессильна. И постепенно им вновь овладело старое, вытесненное было годами борьбы стремление к смерти.

Тогда он написал для журнала «Тумороу» статью под названием «Бедствие европейского духа» — безумный крик отчаяния, которым он надеялся довести до сознания людей нависшую над человечеством опасность потери всех гуманистических ценностей.

Особенно поражали слова:

«Мы достигли такой точки, когда только самый драматический, самый крайний жест еще имеет какой-то шанс быть замеченным и разбудить совесть ослепленных, гипнотизированных масс... Волна самоубийств, жертвами которой пали бы самые выдающиеся, знаменитые умы, вспугнула бы народы из их летаргии, так что они постигли бы смертельную серьезность бедствия»<sup>5</sup>.

В день выхода этой статьи в Нью-Йорке Клаус Манн на юге Франции, в Канне, покончил с собой.

Как ни глубока была боль, причиненная Томасу Манну этим безумным жестом сына, он открыто заявил, что не осуждает его — именно потому, что верит: Клаус

хотел и в час своей добровольной смерти служить добру.

Томас Манн писал:

«Он хотел быть храбрым, хотел мужественно совладать с задачами жизни, и он делал это в такой мере, которую я назыву героической у человека, в сердце которого рано зародилась тоска по смерти... Познание зла пробудило в нем чувство ответственности, заставило созреть в нем — человеку света с влечением к смерти — решимость служить добру, значит, все-таки жизни. Его горячая, часто лихорадочная деятельность — это добрая воля... Если учесть недолгий его путь и беспокойный его образ жизни, то объем его творчества огромен. Человек не может быть столь трудолюбив просто так, без требовательного дара, без сознания миссии... Я убежден, что он был одним из даровитейших в своем поколении, может быть, самым талантливым»<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Klaus Mann zum Gedächtnis, S. 200.

<sup>6</sup> Klaus Mann zum Gedächtnis, S. 7—10.





М. И. Калинин выступает на открытии Народного дома в деревне Верхняя Троица, 1930. Фото Л. Щекина, публикуется впервые.

**Петр Дудочкин**

(г. Калинин)

## Советский президент

О нем, о Михаиле Ивановиче Калинине, тверском крестьянине и путиловском рабочем, ставшем при Советской власти по предложению Ленина председателем ВЦИК, президентом первого в мире социалистического государства и пробывшем на этом посту больше четверти века, в моих записных книжках и в памяти сохранилось многое, что, вероятно, может представлять некоторый общественный интерес. Именно поэтому и решил я напечатать кое-что из моего запаса.

Он прожил большую и сложную жизнь, этот невысокий, немного сутуловатый, с костылем в жилистой руке человек в очках, с живыми, внимательными глазами и бородкой клинышком.

Живя на его родине, я четверть века служил в местной и центральной прессе, не раз встречался с ним, знаю отношение к нему простых людей. Народ его чтит и поныне.

— Как проехать в деревню Верхняя Троица?

В Верхней Троице, небольшой деревеньке под древним городом Кашином, есть привлекающий многих туристов музей. До Октябрьской революции в этой бревенчатой с низеньким крыльечком избе о нескольких окнах с резными наличниками жил среднего достатка крестьянин Михаил Иванович Калинин. Сейчас его имя носит колхоз в Верхней Троице, и областной центр, бывшая Тверь, и область.

В избе, которую с легкой руки журналистов почему-то перестали так называть и величают для громкости домом, все просто. Маленькая прихожая. Налево — русская печь. Подле нее — стол. На столе тарелки, глиняная миска, деревянные ложки, самовар, служивший до революции не только для чаепития, но и чтоб в опасную минуту припрятать от полиции политические книжки и письма. За дощатыми перегородками — тесные комнаты: горница, спальня. Над ними летняя, без печки, комнатка с балкончиком, в которой Михаил Иванович любил читать и писать. Обстановка небогатая, точнее говоря, бедная. Если что и отличает ее от остальных крестьянских изб, так разве что этажерки с книгами.

Через тесовые ворота можно выйти в огород, приютившийся у самого берега Медведицы, неглубокой речки, которая несет свои воды через живописнейший сосновый лес в Волгу.

От приусадебных построек сохранились гумно с овинном, амбар, баня.

Окрест Верхней Троицы — поля, луга,

леса. Тут пахал, сеял, косил простой русский хлебороб, позднее любовно величавый в народе «всесоюзным старостой».

Старожилы нет-нет да и вспоминают в своих разговорах те дни, когда высокий гость навещал — обычно летом — свою родную деревню. Вот по этой густо заросшей подорожником тропинке «знатный москвич» любил раным-рано поутру, когда еще никем не тронута роса, спускаться с палочкой в руке к Медведице, чтобы не спеша пройти мимо просыпающихся изб до самого Тетьковского бора. Он любил «наматывать на ус» крестьянскую мудрость, но, бывало, и спорил, напористо и убедительно. Помнится, в вечерний час подле сеновала молодежь заспорил со стариками: кем важнее быть? Парням казалось, нужнее всего летать на аэроплане, а их отцы и деды свое твердили: «Хлеб растить да ситцы ткать — вот в чем соль жизни». Михаил Иванович не согласился ни с одной стороной, ни с другой.

— Думка — кем быть? — это, конечно, хорошая думка, — заметил он. Помолчал, свернул козью ножку, подержался в раздумье за клинышек бороды и неторопливо добавил: — Всякое полезное дело нужно. Но самое, по-моему, важное — думать, не только, кем быть, а каким быть. Ленин нас так учил.

Слова, молвленные в ту пору Калины-чем своим землякам, многим западали в душу, старшие передали их младшим.

Сам хороший агитатор и пропагандист, он был настоящим наставником активистов, поборников правоты и честности. Селькоры считали его своим главным защитником. Я в те годы работал в центральной газете «Социалистическое земледелие» (ныне «Сельская жизнь») и не раз встречался с ним. Приятно вспомнить, с каким интересом «патриарх деревенских корреспондентов», как мы шутейно звали его, любил расспрашивать о жизни селькоров: не кричат ли они под чьим-нибудь нажимом душою, когда пишут о недостатках, не притесняют ли их, селькоров, за правду-матку?

Одного селькора, человека работающего, справедливого и неугомонного, стали высмеивать местные руководители кооперации: мол, чего он всюду нос сует? Случилось это после того, как селькор пропечатал этих деятелей в газете за бюрократическое отношение к жалобам пайщиков. Михаил Иванович прослышал про это, когда приезжал в город Кимры на праздник по случаю открытия Дома крестьянина.

— Недопустимо! Непростительно! — не на шутку рассердился он.

— Видите ли, — гнул свое виноватый, — что про бюрократов парень пишет — это пускай. Но почему он бюрократию видит только у нас, у представителей власти?

Михаил Иванович улыбнулся, признался: — Я, грешным делом, тоже что-то не встречал бюрократов среди крестьян и рабочих. — И спросил «обиженного» кооператора: — А вы видели земледельцев или сапожников — бюрократов?

Тот молчал.

— То-то и оно, — продолжал Михаил Иванович. — И пожалуйте, не сбивайте селькора с панталыку. Он знает, где раки зимуют, и перо свое нацеливает как раз туда, куда надо. Именно бюрократизм — самый лютой враг деловитости, а значит, он не просто зло нашего государства, а зло номер один!

Перед тем как Михаил Иванович согласился принять небольшую группу корреспондентов, помню, звонит мне заместитель редактора газеты «Социалистическое земледелие» Константин Николаевич Шапошников.

— В Верхней Троице, — спрашивает, — давно были?

— Год назад, — отвечаю.

— Немедленно побывайте еще.

— Разве там что случилось?

— Раз живете в Калининской области, должны знать деревню, где родился Калинин, как свою биографию. Вдруг да при встрече с ним возникнут вопросы о сегодняшнем состоянии колхоза? Словом, поезжайте!

И я — в который раз — поехал.

Надобно заметить, как бы хорошо я ни знал Верхнюю Троицу, но Михаил Иванович ее прошлое знал лучше — и о том, что не возят на дальние поля навоз и что сменилась дюжина председателей колхоза.

— Дюжина была, а дюжого так и не было, — огорчился он, но больше всего гневался на одного председателя, который приехал в Кремль с надеждой получить изрядную безвозмездную сумму.

— Я сказал напрямик: не получишь. «Советская власть, — говорю, — у вас есть?» — «Есть», — говорит. «Устав сельскохозяйственной артели есть?» — «Есть!» — «Вот и живите, как все!» Правда, потом, признаюсь, дрогнуло сердце, когда узнал, как живут после войны в деревне. Не выдержал, поднарушил свой обычай, написал записку в Подольск, чтоб отпусти-

ли жернова для мельницы. Но предупредил: «Последний раз! Забирайте силу по закону!»

Его всегда очень волновали нарушения советской демократии на местах. Помнится, Шептаев, корреспондент по Новосибирской области, на нашей встрече в Кремле сообщил, что часты случаи, когда районные власти меняют председателей сельских Советов без согласия избирателей, даже без их ведома; сплошь и рядом на выборные должности назначаются не избранные, а присланные свыше.

— Надо бороться с этим, — требовательно заметил Михаил Иванович. Чувствовалось, это не было для него новостью.

— Как? — спросил корреспондент.

Михаил Иванович слегка пожал плечами, развел руками.

— Как? Да любыми мерами и способами! От разговора в столовой до корреспонденции в газете. Учтите местные условия и пишите. Конечно, выборный председатель лучше!

При каждой встрече с работниками печати Калинин считал нужным — и всегда разными формами — напомнить, как важно для корреспондента, независимо от того, в какой печатный орган он пишет, быть человеком делового раздмья; глубокий анализ факта, партийность строя мышления — вот, по мнению Михаила Ивановича, самое важное в работе всех пишущих, от селькора до журналиста и писателя. Помню, когда был затронут вопрос о последствиях войны, он подчеркнул:

— Да, есть у некоторых руководителей намерение не считаться с порядком. Хорошо, если бы корреспонденты изучили это, обобщили по району, по области. И сообщить редактору. И причины, конечно, выявить надо. Голая констатация фактов ничего не говорит. У нас в Советском Союзе можно любой факт найти — от фактов диких до героизма. Важно осмыслить факт. И корреспондент оценку должен делать: почему факты такие? Желательно, чтобы он говорил о тех мерах, которые способствовали бы улучшению дела. И в панику не впадать; увидел два-три плохих факта и пал духом: политика партии, мол, не верна. Учтите, я сейчас с вами факты оцениваю с точки зрения корреспондента, а не прокурора. Вы видите то, что власть иногда не видит. Знает, надо писать.

О кремлевской встрече с Михаилом Ивановичем в канун 1946 года хочется рассказать подробнее. Это была его последняя

беседа с журналистами центральной прессы, к которым он очень уважительно всегда относился, тонко чувствовал их благородный, но зачастую горький хлеб, журил и наставлял, а когда требовалось, защищал от несправедливых наскоков. К слову сказать, эта беседа в отличие от других так и не была опубликована, даже частично не освещалась никем в печати, хотя, как и предыдущие, застенографирована. Владея скорписью (мои записные книжки, к счастью, сохранились), я записал все, что мог; к тому же это было не так уж сложно: наш советский президент говорил неторопливо, внятно, с частыми паузами; кстати, психологическая убедительность его слова была всегда весьма сильной, хотя, пожалуй, сильной — не то слово, она была гипнотизирующей.

Уже серьезно, необратимо больной, понимавший и не таивший свое состояние, Михаил Иванович, по-прежнему приветливый, простой, но не столь, как бывало, жизнерадостный, поздоровался с нами и невесело пошутил:

— Сперва не хотел вас принимать: чувствую себя неважно, вижу плохо. Мне уже пора вон туда. — И показал рукой вверх.

С виду он не казался больным, временами даже был бодр, улыбчив. Когда сел за свой стол, попросил редактора «Социалистического земледелия» Николая Ильича Анисимова: — Вы, товарищ редактор, сядьте, пожалуйста, сюда, — и кивнул на стул, стоявший рядом, справа. — Давайте полчасика побеседуем.

«Полчасика» продолжались около трех часов, чего не заметил, как мне показалось, даже и сам хозяин кабинета.

С особенным сердечным чувством и уважением Михаил Иванович говорил о простых тружениках.

Журналист Семен Шушаков высказал предположение, что следует для колхозников узаконить более строгие задания на работе: выработает человек столько, сколько задано, — хорошо, не выработает — пусть несет наказание. Иллюстрируя свою мысль, мой коллега привел пример плохой трудовой дисциплины в одном колхозе.

Михаил Иванович слушал сосредоточенно, будто вникал в мысли не только говорившего, но и всех присутствующих.

— А на трудодень сколько там получают? — спросил министр сельского хозяйства СССР Иван Александрович Бенедиктов.

— Мало, — ответил Шушаков.

— Вот в этом и суть, — сделал вывод министр.

Михаил Иванович поддержал министра утвердительным кивком, чиркнул спичку, чтоб зажечь потухшую папиросу-самокрутку, и, недовольный рассуждениями журналиста, сказал:

— Вы хотите идти в одну дверь, а попадаете в другую. Вы превращаете колхозы в барщину. У вас, выходит, труд принудительный. Нельзя так! У нас принудительный труд лишь для репрессированных элементов. А для колхозников, на мой взгляд, не должно быть никаких таких законов, о которых вы говорите. Свободный

матью, хороший собеседник, Леонид Шокин любил себя сравнивать в шутку с фотоаппаратом: и у того и другого одна цель — показать людям правду жизни. Именно поэтому я с особым уважением сохранил в памяти шокинские рассказы о встречах с советским президентом.

Из столицы в Верхнюю Троицу Михаил Иванович чаще всего ездил через Кимры, известное сапожное село, ставшее при Советской власти городом; обычно он доезжал поездом до станции Савелово, в толпе пассажиров шел неприметный, в недоро-



Изда М. И. Калинина в деревне  
Верхняя Троица.  
Фото Л. Михновского.

труд — вот настоящее счастье! Он всегда, свободный, прекрасен и выгоден. А принудительный оставим для тунеядцев; это другое дело...

Мой друг из города Кимры, ныне покойный, Леонид Владимирович Шокин, часто фотографировал Михаила Ивановича, сопровождал его в дорогах, бывал у него в гостях. Человек наблюдательный, с крепкой па-

гом пальто и в черном картузе, редко — в шляпе, на привокзальную площадь, где стояли извозчики, садился вместе с сопровождавшим его человеком на дрожки и отправлялся по понтонному мосту на другой берег Волги, в Дом Советов.

— Опять вы, Михаил Иванович, как снег на голову, — изумлялись озадаченные руководители уезда. — Мы даже и не готовились...

— Вот и хорошо, что занимались делом, а не пустой суетой, — замечал неожиданный гость.

После чая (чай он любил очень горячий, но пил из блюдца) ходили по «сапожному царству», беседовали с обувных дел мастерами во время «перекуров» на фабрике «Красная звезда», в промысловых артелях. Кимряки с гордостью говорили — в который раз! — о том, что сам Ленин упоминал в своих трудах про знаменитый сапожный промысел села Кимры.

— Что ж, — вздыхал Михаил Иванович, — хотя той эксплуатации, которая возмущала Ильича, уже нет и в помине, но все-таки живете вы, товарищи сапожники, еще плоховато. Помещения тесные, машин мало. Липка<sup>1</sup> да шило — вот на чем пока держится ваше ремесло. Промысловая кооперация должна раскошелиться!

И она раскошеливалась. Построенные без участия Михаила Ивановича новые корпуса промысловых артелей и до сей поры радуют простором цехов, механизацией, чистотой.

Когда началась коллективизация и стали появляться первые колхозы и повсюду, иногда с большими ошибками, пошла ломка вековых устоев деревенской жизни, Михаила Ивановича все чаще тянуло в родные места. Кто-кто, а он — сын потомственного крестьянина и сам крестьянин — понимал, что происходит в душах земледельцев и какие завихрения тревожат сознание их. Не успеет, бывало, отдохнуть с дороги, как в избу вваливаются односельчане, а через час-другой и ходки из разных мест. То, о чем толковал Калиныч, сразу же становилось известным по всей округе.

По вечерам захаживал «посумерничать» к друзьям детства. Соседи Смирновы вспоминают: «Бывало, скажешь: «Уж извини, Михайло Иваныч, чем богаты, тем и рады. Мы-то не знаем, что кому впрок или не впрок, у нас всем еда одинакова». А он: «Крестьянская пища и проста и полезна. Если человек здоров — что в рот полезло, то и полезно».

— Ладно, пускай будем в колхозе, посмотрим, как жизнь обернется, — рассуждал старик Смирнов. И допытывался: — А ты вот что, Михайло Иваныч, скажи: подле своей-то собственной избы, в огороде да в саду, — тут как будет? Что мужику можно делать, а чего нельзя?

— Нельзя лишь одно: нечестно жить — вот это нельзя, — ответил Михаил Иванович. — Своими мозолистыми руками, без эксплуатации, без батраков делай, что ду-

ша захочет. Яблони или виноград — сажай, пожалуйста. Пчелы завлекли — тоже не возбраняется. Пока что в артели дела ни шатки ни валки, но выход у хороших хозяев может быть один: поставить артель на ноги. А заберет артель силу, от нее, от артели, придут все недостатки, все счастье — откуда же иначе?

— Вот тогда сад-огород с пчелами можно побоку! За ненадобностью! — рассудил кто-то, кажется, учитель из местной школы.

Усевшийся на ступеньках крыльца Михаил Иванович пронизательно поглядывал на собеседников: одни из них, безответные, молчали, другие пожимали плечами и робко что-то бубнили себе под нос, третьи возражали: «Как же так — побоку?»

Михаил Иванович оживился, потом задумался.

— А мне сдается, — сказал он, — сад не помешает на усадьбе. Никогда! Никому! Корова, свинья и овцы, даже куры могут стать помехой в своем личном дворе. Не сейчас, конечно, а когда артель разбогатеет. Просто невыгодно будет возиться с пойлом да с месивом: ведь и молоко, и мясо, и яйца, и все, что надо, можно будет взять в артельной кладовой и в столовой, в любое время, в любом количестве. Зато фруктовый сад — попомните, друзья, мое слово! — даже при райской жизни нужен каждой семье, возле каждого дома. Это ж чудо из чудес — сад под окнами!..

Он и при последующих встречах нет-нет да и высказывал сожаление, что в городах и даже в деревнях — «приусадебное садоводство как-то захирело».

— Странно получается, — говорил он, пожимая плечами, — для поросенка и в городе хлевушек мастерят, а вишни в палисаднике посадить — это почему-то невдомек. Конечно, перво-наперво про хлеб-соль да про щи и кашу люди думают, а потом уже на всякие разносолы человека тянет, но мы же советские, о хорошем завтрашнем дне мечтаем...

В свое время мне, человеку деревенскому, выросшему в незабываемых садах Смоленщины и Брянщины, нестерпимо хотелось, да так и не удалось услышать из уст Михаила Ивановича, как он относится к деятелям финансовых (и не только финансовых!) органов, которые не нашли ни-

<sup>1</sup> Липка — низенький стул в виде кадочки, выдолбленный из липового чурбака; верх из кожаных тесемок, прибитых крест-накрест, чтоб удобнее было сидеть.

чего лучшего, как ввести налог на каждую яблоньку. И хотя в ту пору, говоря словами Твардовского,

Уже не баловал Калинин  
Кремлевским чаем ходоков,

невозможно поверить, что этот производ с садами творился с его согласия.

По выражению Белинского, живой человек носит в своем духе, в своем сердце, в своей крови жизнь общества: он болеет

воду которых хотелось поговорить именно с ним, со своим Калинычем. Старожилы вспоминают много любопытных эпизодов. В ту пору тверские рабочие и работницы, закончив фабричную смену, — не все, правда, но многие — подрабатывали кто где — продавали овощи со своего приусадебного огорода, «промышляли копейку» шитьем, разгружали баржи. Кое-кто из партийных высказал председателю ВЦИК просьбу:

— Декрет нужен против любителей двойных заработков.



Комната в избе М. И. Калинина.

его недугами, мучится его страданиями, цветет его здоровьем, блаженствует его счастьем, вне своих собственных, своих личных обстоятельств. Вся жизнь, вся деятельность Калинина ярко подтверждает эту мысль: он близко принимал к сердцу и радости и печали своего народа, всегда жил его интересами.

При встрече с ним в родных краях редко у кого не было таких вопросов, по по-

И довод был высказан: у советского человека доход должен быть только с одного места работы, с государственного.

Калинин чиркнул спичку, зажег свою потухшую самокрутку (курил он всегда вроде как бы неохотно, вяло, и его папироса часто гасла), этой же спичкой дал прикурить собеседнику, спросил с легкой иронией:

— Декрет, говорите, нужен?

— Факт, нужен! Чтоб силу власти все чувствовали!

— Это что же они, рабочие-то, с жиру за двойным заработком гоняются?

Рабочие засмеялись. Сторонник нового декрета молчал. А гость задавал один вопрос за другим:

— И сколько у вас таких, против которых декрет нужен?

— Почти все такие.

Калинин покачал головой.

— Выходит, декрет рабоче-крестьянской

мага — она бессловесная: что ни написано — все терпит. А народ? Законы Советского государства должны быть для большинства трудящихся — это раз. Мало ли что мне захотелось бы затвердить декретом! Желание одного человека или незначительной массы — это еще не основа для закона. Все полагается взвесить — какой толк от этого для народа, для государства, для нашей партийной линии. А во-вторых, декреты пишутся не на один год; от них внукам нашим — и тем польза должна быть. А в-третьих... — Михаил Иванович улыбнулся и как бы шутливо заметил: — Мы и без того уже столько декретов объявили, что пора прекратить спешку в этом деле, а то как бы одна бумага против другой не обернулась. А разные прорехи в жизни можно, думаю, залатать и без декрета.

Друзей детства и юности Калинин хорошо помнил, любил расспрашивать о них, а с теми, кому считал себя обязанным, старался обязательно поведаться, чтобы личный раз отблагодарить за все хорошее. Проезжая через село Ильинское, он помянул добрым словом владельца чайной, который еще в досоветское время прятал от полиции чемодан путиловского слесаря с прокламациями и революционными песнями. Оказалось, старик жив-здоров, давным-давно распрощался со своей чайной и коротает век у внуков в соседней деревне.

— Надо проведать, — сказал Михаил Иванович и попросил извозчика завернуть туда, где жил старый знакомый.

Бывший владелец чайной, уже в древних летах, опершись на палку, сидел на завалинке, на солнечной стороне, в затишке. Заходящее солнце почти не грело.

Михаил Иванович слез с тележки, поздоровался, признался, что заехал проведать.

— Спасибо, Михайло, спасибо, — мощным голосом поблагодарил больной. И вздохнул: — Только сейчас — сам видишь — мне не до гостей: ни трактира, ни здоровья.

Посидев на завалинке и поговорив минут пяток, Калинин пожелал старику всего наилучшего, на прощание попросил дать знать немедленно, если беда случится, прямо в Кремль.

— Мне-то ничего теперь не надо, — ответил старик. — Плохи дела, Михайло...

Он достал из кармана кусок хлеба, кинул собаке. Пес понюхал, а есть не стал, только грустно-грустно взвизгнул вполголоса и лизнул хозяину сапог.



М. И. Калинин с кимрским лесничим Б. Кауровым.  
Фото Л. Шокина.

власти будет против большинства рабочих, которые завоевали эту власть?

Беседа была в просторном коридоре фабричного клуба, громко именовавшегося тогда Большим пролетарским театром, народу вокруг гостя было много, он понял, что затронул «большой вопрос», стал говорить громче обычного:

— Не так-то это просто, как кое-кому кажется, — написать декрет. Конечно, бу-

Старик глянул выцветшими глазами на гостя.

— Видишь, какие дела мои? Раз собака не ест из рук хозяина, стало быть, у хозяина песня спета. Собака, она это чувствует лучше человека.

— Всему свой черед: наши песни продолжают внуки, — заметил Михаил Иванович. — Ради них мы шили, ради них живем, все ради них. И те прокламации с песнями, помнишь, тоже ради них.

После этого Михаил Иванович специально заехал в волысполком, попросил ни

саженные вскорости после Октябрьской революции, они стояли на радость путникам — стройные, раскудрявившиеся — до самой Отечественной войны. Потом их кто-то срубил, чтоб починить ближайший мосток через ручей.

Любопытна история этих берез. Впервые я услышал ее от Николая Васильевича Шокина, директора Кимрского краеведческого музея. Дело было так.

Проездом из Москвы в свою родную деревню Верхняя Троица Михаил Иванович Калинин случайно оказался участником



Река Медведица у деревни Верхняя Троица.

в коем случае не притеснять бывшего торговца. И добавил:

— Большевики никогда не забудут тех, кто хоть немного помогал революции!

Строг был старик Калиныч к тем, кто не почитал русскую природу.

Недалеко от большого села Горицы, на Ильинском тракте, у первой развилки, рядом с большим пнем росли три березы. По-

большой ссоры, которая разгорелась у дороги и, того гляди, могла закончиться яростной потасовкой. Двоих крестьян, срубивших придорожную березу и увозивших на двух дрогах распиленный кряж, настиг лесник с ружьем. Он остановил подводы, отобрал топоры и, повелев ехать в волысполком, стал поворачивать коней.

Крестьяне противились, ругались, грозили.



В эту минуту и поравнялся с ними Михаил Иванович, ехавший в легкой, запряженной парой тележке. Он быстро подошел к ссорящимся, резко спросил: «Что случилось?» — и, выслушав, рассудил:

— Лесник-то прав, чего же вы распоясались?

Узнав, с кем свела судьба, виноватые свяли.

— В волисполкоме составлю акт, — предупредил еще более приободрившийся лесник, — дрова отберу, распилите для школы; и штраф — никуда не денетесь — сдерем как с миленьких.

— И все наказание? — спросил Михаил Иванович, не удовлетворенный, чувствовалось, такими мерами.

Лесник пожал плечами.

— Не сажать же их в кутузку: сеять вот-вот пора.

— Правильно! — согласился Михаил Иванович. — В кутузку не надо. Но посадить три березки вместо одной срубленной — это надо обязательно сделать на этом месте. Поеду через две недели назад, в Москву, чтоб были посажены!

Вот так и появились у Ильинского тракта три березы, где росла одна.

Как хорошо будет, если на этой, ныне голый обочине местные жители, вспомнив своего земляка, посадят — три на три — девять берез!

Через три недели после освобождения города Калинина от фашистов Михаил Иванович приезжал сюда, выступал 11 января 1942 года на собрании городского партийного актива. Речь его — она была посвящена внутреннему и международному положению страны — опубликована. Что кажется высказываний его в тот раз при встречах с земляками, об этом я знаю, к сожалению, мало. Однако кое-что следует вспомнить. Собрание проходило в колонном зале великолепного дома, построенного знаменитым архитектором Львовым. Тогдашний секретарь обкома партии Павел Степанович Воронцов рассказывал мне, что Михаил Иванович очень обрадовался тому, что в числе немногих сохранившихся в городе зданий оказался этот чудесный памятник русского зодчества, почти сто лет без капитального ремонта радующий людей и даже после оккупации не нуждающийся в таком ремонте. Действительно, предки строили на века!

— Старину надо беречь, — говорил он, — у стариков есть чему поучиться, за все путное почитать их надо.

Он был весьма недоволен, когда узнал, что 31 марта 1935 года на соседней площади по недомыслию отцов города был взорван и снесен известный на всю Россию кафедральный собор — самое первое каменное здание Твери, возведенное местными самородками-умельцами в оригинальнейшем стиле еще в 1285 году.

— Чувствую, зачем взорвали, — сердился он, — не хотели, чтоб служба в самом центре города была. Ну и закрыли бы собор по акту. Сохранили бы! Ведь редчайший памятник Отчества. А богомольные пускай бы в другое место перекочевали. Конечно, рядом с властью кадить нечего, но и такой власти, как у вас, рано динамит доверять. Мало ли что с церковью связано... Нас с вами тоже крестили, а мы вон какими оказались, сами себе боги! Князь Михаил Тверской признан святым, как и Александр Невский. А почему? Духовенство своим престижем дорожило, видело, что Михаил — любимец Русской земли, голову сложил за свободу родной Руси, он же против татар был — вот и святым церковь сделала, чтоб сблизить себя с народом. Кстати, где-то тут у вас в Твери иконы есть князя Михаила — работа самого Рублева. Сжечь не вздумайте. У таких великих патриотов одна участь должна быть — вековечный почет!

Редчайшие иконы и картины из жизни Михаила Тверского, оставленные потомкам Рублевым и другими мастерами, были действительно найдены в здешних церквях и куплены картинной галереей, где после реставрации хранятся и поныне.

Но, к слову будь сказано, отношение к имени верного патриота все еще вызывает недоумение. В краеведческих статьях он никогда не упоминается. Недавно вышел объемистый, в двести страниц, путеводитель по городу Калинину с довольно-таки большим разделом о прошлом города, но о Михаиле Тверском, которому Тверь и Русь очень многим обязаны, опять-таки ни слова, будто его и не было на нашей грешной земле.

Верхнетроицкие земледельцы частенько бывали у своего Калиныча в Кремле, ежегодно возили ему производственный план и годовой отчет колхоза. Русский хлебосол, он радушно принимал гостей, внимательнейшим образом, с карандашом в руке изучал вместе с ними документы; за чаем, поглядывая на земляков поверх очков, любил заводить разговоры не только о Верхней Троице, но и о сызмальства знакомых ему

соседних селах — Печетове, Горицах, Ильинском, о городах Кашине, Калязине, Твери (областной центр он никогда не называл Калинином, называл только Тверью). По всей вероятности, дело тут не только в скромности и благородстве Михаила Ивановича. Тверь. Тверяки. Когда он произносил эти слова, мне казалось в ту минуту, что в его положении иначе и сказать нельзя. Ему, человеку, умудренному жизнью, знающему и любящему свою Родину, было понятно, что для русского сердца Тверь не просто название, а тысячелетняя история Отечества, известная всему миру Тверская летопись, тверская земля, тверская культура — все это навечно останется яркой главой в биографии России, древней сердцевинной ее цивилизации, и полноценно заменить эти понятия ничем никогда нельзя, как нельзя заменить понятия Москва, Новгород, Россия. Тонко улавливающий чувства людей, он, кроме всего прочего, глубоко понимал и ценил, что в народе, при всем уважении к земляку, без особого одобрения встречено переименование древнейшего города, который и поныне старожилы — и не только они — часто зовут по-старинному Тверью.

Мой коллега Саул Корж, сотрудничавший еще в «Крестьянской газете» и значительно дольше, чем я, знавший Калинина, как-то вспоминал такой эпизод. Михаил Иванович при разговоре о переименовании старых городов заметил: «Что нам, Указы писать не о чем, что ли? И так в этом деле перекос. Может быть, мы даже зря растались с древними названиями, вроде Твери». О таких же мыслях Михаила Ивановича я слышал и от других товарищей.

В 1928 году, по весне, в поселке Селижарово, неподалеку от того места, где речка Селижаровка впадает в Волгу, случился причинивший много бед пожар. Как раз в ту тревожную минуту, когда огонь только-только занимался, в поселок въезжал председатель Тверского губисполкома Дмитрий Иванович Логинов, проводивший почти все свое служебное время в разъездах по губернии.

Впоследствии оказалось, что он-то и был единственным человеком, выдавшим начало пожара. И естественно, когда прокуратура повела следствие, никак нельзя было обойтись без показаний очевидца, тем паче единственного.

Но свидетель наотрез отказался от официальных показаний, отказался и раз, и

два, и три — то ли был чересчур занят, то ли счел это ниже своего достоинства, надеясь, что и без него обойдутся.

А обойтись без него не удалось. Тогда губернский прокурор — опытный большевик, не раз встречавшийся с Лениным, строгий блюститель правосудия, Нил Яковлевич Поздняков (он и поныне живет в Калининне) взял да и позвонил по телефону прямо в Кремль, самому Михаилу Ивановичу Калинину, который в те годы был всем доступен и для разговора по телефону и для личных встреч.

Не прошло и часу — в кабинет следователя явился сам «единственный очевидец возникновения пожара», извинился и рассказал, как ему только что пришлось краснеть. Оказывается, советский президент самолетом позвонил в губисполком, потребовал дать объяснение, почему в Твери находятся главковерхи, которые считают, что для них должны быть какие-то особые законы и исключения.

Примечательно, что некоторые рассказы очевидцев о том, «как жил наш Калиныч», уже становятся легендами. Одно это уже говорит о многом. Ведь, как известно, бытующие легенды — это не просто любопытные эпизоды, которым суждена долговечность, а прежде всего думы и чаяния самого народа. Не случайно так много людей — счесть нету! — теплым, душевным словом помнят большого человека ленинского склада, двадцать семь лет пребывавшего на посту главы государства.

Домик-музей в Верхней Троице подобно магниту притягивает многих, кому придется навещать живописный и тихий край Верхневолжья.

В личной библиотеке Михаила Ивановича, которая после его кончины передана в дар Калининской областной библиотеке имени Горького, среди посетителей всегда можно видеть рабкоров и селькоров, журналистов, неугомонных людей из той гвардии с перьями, которую так высоко ценил советский президент.

В 1955 году на одной из центральных площадей города Калинина — на Революционной — посредине сквера, что напротив Путевого дворца, на том месте, где был кафедральный собор, воздвигнут памятник Михаилу Ивановичу: с газетой в руке советский президент задумчиво устремился вперед. В сквере много редких цветов. И это вполне логично: добрая память о человеке — вот лучший памятник ему!

## 3. Шейнис

## «Папаша»



М. М. Литвинов, 1921 г., фото из архива автора, публикуется впервые.

21 августа 1902 года департамент полиции министерства внутренних дел в Петербурге разослал секретный циркуляр, адресованный «Господам губернаторам, градоначальникам, обер-полицейстерам, начальникам жандармских губернских и железнодорожных полицейских управлений» и на все пограничные пункты Российской империи<sup>1</sup>.

Ловили искровцев, бежавших из Лукьяновского замка — киевской тюрьмы.

Пятым в приложенном к циркуляру списке значился Макс Валлах. «...Родился 4 июля 1876 года в г. Белостоке, вероисповедывания иудейского; воспитывался в г. Белостоке в еврейских хедерах».

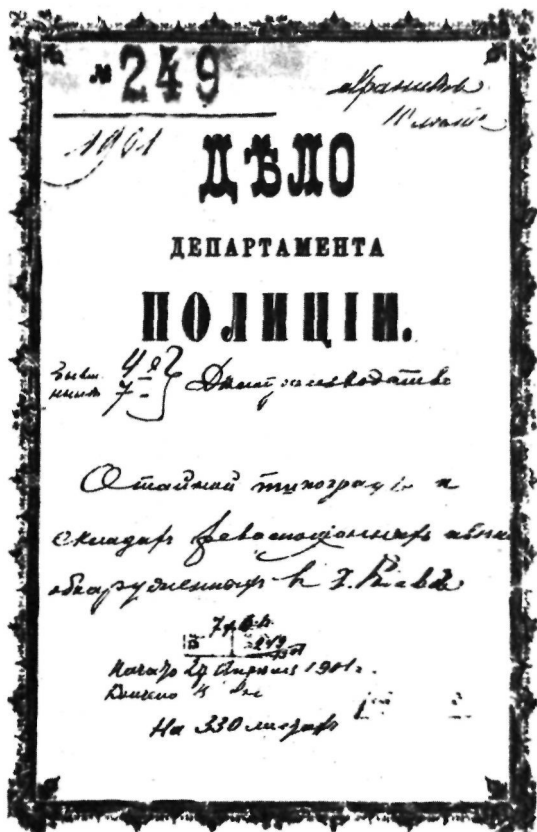
Сообщалось, что Макс Баллах привлекался «в качестве обвиняемого при Киевском губернском жандармском управлении к дознанию по делу об обнаруженной в г. Киеве типографии и складах преступных изданий тайного сообщества, именующего себя «Российской социал-демократиче-

ской рабочей партией». Указывались приметы Валлаха: «рыжий, шатен, роста 2 аршина 6 вершков, телосложения здорового, волосы на бороде и баках бреет, глаза голубовато-серые, близорукий, носит очки, лицо круглое, цвет кожи смуглый, лоб широкий, нос прямой, голос тенор»<sup>1</sup>.

Лукьяновская тюрьма, куда упрятали Литвинова, высится за Подолом. Большое мрачное здание обнесено высокой стеной. Сразу же за стенами тюрьмы — огороды. Неподалеку от Лукьяновки тянутся казармы, где расквартирован 165-й Луцкий полк. Сидели в тюрьме главным образом политические. В провокаторских целях к ним подсаживали «наседок» из уголовников.

Еще до своего ареста члены Киевского комитета РСДРП знали о существовании «Искры». Однако только в тюрьме Литвинов знакомится ближе с ленинской газетой

<sup>1</sup> Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 102. оп. 6, ед. хр. № 00219, стр. 19.



и официально заявляет о вступлении в организацию «Искры».

Он вспоминал о тех днях: «В тюрьме мы получали разными способами газеты и даже заграничную литературу. Трудно передать то радостное возбуждение, которое охватывало нас, когда мы получили первые номера «Искры». Сформулированные там с максимальной ясностью, определенностью и последовательностью задачи, пути и средства революционной борьбы пролетариата, беспощадная война с экономизмом — все это отвечало нашим настроениям, мыслям и стремлениям, открывало перед нами новые горизонты и в то же время вызывало жажду работы, усиливало стремление вырваться из жандармского плена и приобщиться к новому движению под руководством «Искры»<sup>2</sup>.

В Лукьяновке Литвинов начинает изучать иностранные языки, роется в самоучителях, присланных с воли. Он ве-

рит, что ему удастся бежать. Об этом говорят его письма из тюрьмы, которые он посылал Доре Бергман в Швейцарию. Кто она? Точно на этот вопрос ответить нельзя. Известно лишь, что через несколько лет Дора будет выполнять секретные поручения «Папашы», переправлять «Искру» в Россию. Бергман эмигрировала из России и жила в Швейцарии. В Цюрих, на Фогельзангштрассе, 9, летят к ней письма из киевской тюрьмы, проникнутые тоской по воле. Он пишет Доре: «В настоящее время у нас в тюрьме семьдесят четыре человека. Публика самая разношерстная, начиная с искровцев и кончая одним бывшим уголовным, обвиняемым теперь в агитации среди крестьян. Последний субъект — личность весьма подозрительная»<sup>4</sup>.

Литвинов жадно ловит вести с воли. Что там происходит в партии? После I съезда прошло три года, но все еще нельзя сказать, что партия организационно оформилась. Программа «Искры» — вот чем он будет руководствоваться. А для этого прежде всего во что бы то ни стало надо бежать из тюрьмы. Литвинов намекает на это в письмах к Доре Бергман: «Кто знает, быть может, обстоятельства не так уж долго будут прикреплять меня к одному и тому же месту. А ведь я твердо решил сейчас же при первой перемене места жительства двинуться туда, где ты теперь»<sup>5</sup>.

Вопрос о побеге искровцев, видимо, был решен давно. Но деятельная подготовка к нему и план были разработаны в июне 1902 года. Тогда же был избран руководитель побега — Литвинов.

В письме к Доре Бергман, почти полностью зашифрованном, есть приложение без подписи. Охранка выяснила, что это письмо принадлежит Литвинову, и внизу написано «М. Валлах». Литвинов писал в Цюрих: «Дней 10 т. наз. я послал тебе шифрованное же письмо. Получила ли? Нашим шифром будет слово «Австралия». Пиши так, чтобы голубые не могли догадаться, от кого и к кому письмо относится, если оно им попадет. Попробуй еще раз написать через жандармов, авось получится. Прости, что заставляю тебя тратить много времени

<sup>2</sup> «Исторический архив», 1961, № 2, стр. 140.

<sup>3</sup> «Папаша» — партийная кличка М. М. Литвинова.

<sup>4</sup> ЦГАОР, ДП. 00, оп. 1906, ед. хр. № 219, л. 13 (об).

<sup>5</sup> Там же, л. 15 (об).

Наблюдения за Вильгельмом ВИНТЕРОМ установили знакомства его с Давидом ВИКЕРОМ, Венямином ТЕПЛИЦКИМ и Давидом ФИЛИЦЕМ и студентом ШТЕРИНБЕРГОМ, который кроме ВИНТЕРА, также поддерживал сношения с Давидом ВИКЕРОМ, ТЕПЛИЦКИМ, Хасей АЙЗЕНБЕРГ, Николаем ДУНАЧАРСКИМ, Рейвой ПАУЕРНО, Марией ОСАДЧЕЙ и др.

Из отдельных фактов, установленных наружными наблюдениями, обращает особое внимание и является так сказать базой настоящего дознания, собрание интеллигентов-членов «Киевского Комитета в домъ № 5 по Крещатику, в квартирѣ студента Владимира МАРШАКА, происходившее днемъ въ воскресенье 18 марта отъ 12 часовъ до 5 час. дня. На собраніи, этомъ были, какъ выяснено наблюдениемъ: Веняминъ ТЕПЛИЦКІЙ, Ворисъ ЛЕОНТЬЕВЪ, Марія ГУРСКІЙ, Хая АЙЗЕНБЕРГ, Марія ОСАДЧАЯ, Константинъ ВАСИЛЕНКО и два незнакомыхъ ранее наблюдению лица, изъ коихъ одинъ вышелъ изъ квартиры МАРШАКА вмѣстѣ съ Ворисомъ ЛЕОНТЬЕВЫМ и оказался мѣщаниномъ Мееромъ ВАГЛАХОМ, а другой вышелъ вмѣстѣ съ ТЕПЛИЦКИМ и оказался студентомъ Университета съ Владимиромъ Ивановымъ Михайловичемъ НАЗАРЬЕВЫМ. Изъ другихъ собраній и сходокъ интеллигентовъ, установленныхъ наблюдениемъ, обращаютъ внимание и следующие

Донесение Киевского жандармского управления о деятельности Киевской социал-демократической организации и появленіи в Киеве М. М. Литвинова.

на разбор шифра, на первый взгляд совершенно лишнего, — иначе писать не могу. Чувствую себя недурно, мечтаю о свободе, но скоро моя мечта должна осуществиться или потерпит полное крушение»<sup>6</sup>.

Нет сомнения в том, что письмо это было расшифровано уже после побега искровцев из Лукьяновки. 20 ноября департамент полиции сообщил «господину начальнику Киевского губернского жандармского управления»: «По полученным из агентурного источника указаниям, проживающие за границей революционеры по поводу побега из киевской тюрьмы говорят, что Лига социал-демократов («Искра» и «Заря») решила освободить всех важных искровцев, содержа-

щихся в русских тюрьмах... Было решено освободить 11 лиц, свобода которых более всего важна, по мнению лиги, и приготовить для них паспорта»<sup>7</sup>.

Вечером 18 августа искровцев и других политических заключенных вывели на прогулку в тюремный дворик. С трех сторон он окружен тюремными корпусами, четвертая сторона — каменная высокая ограда, за которой почти сразу тянутся «арестантские картофельные огороды». Арестанты медленно прогуливаются. Кто-то из них неожиданно предлагает сыграть в «городки».

<sup>6</sup> ЦГАОР, ДП 00, оп. 1906, ед. хр. № 219, л. 12.

<sup>7</sup> ЦГАОР, ДП. 00, № 7442, стр. 1.

**Присово 3**

*Объявление, полученное об арестованной в Д. В. Литвинове, по делу о подпольной типографии и складе «преступных» изданий.*

Имя, фамилия, отчество в урочье и занятии в прошлом бытании и возрасте	Гражданское имя при аресте и уро- дочье	Адрес
1. <b>Литвинов, Павел Иванович</b> , 22 Живет в доме № 11 по улице Киевской, в городе Киев.	Гражданское имя Павел Иванович	Киев
2. <b>Литвинов, Николай Федорович</b> , 27 Живет в доме № 11 по улице Киевской, в городе Киев.	Гражданское имя Николай Федорович	Киев
3. <b>Литвинов, Александр Иванович</b> , 25 Живет в доме № 11 по улице Киевской, в городе Киев.	Гражданское имя Александр Иванович	Киев
4. <b>Литвинов, Иван Иванович</b> , 20 Живет в доме № 11 по улице Киевской, в городе Киев.	Гражданское имя Иван Иванович	Киев

Первая страница списка арестованных социал-демократов в Киеве по делу подпольной типографии и склада «преступных» изданий.

Растерявшийся надзиратель не усмотрел в этом ничего плохого и разрешил. Все это время Литвинов шагал по двору, то и дело поглядывая на окна. Затем он быстро подбежал к часовому-надзирателю, повалил его на землю. Одеялом, брошенным из тюремного окна, окутали часового. Литвинов крепко держал его за голову и руки, а другие в это время укрепляли на стене кошку с лестницей из простыней.

И. о. начальника тюрьмы Сулима доложил по начальству о побеге. В Киевском жандармском управлении приняли самые энергичные меры к поимке беглецов и, как полагается, немедленно телеграфировали в Петербург. Из Киева в Вержболово пограничному жандармскому офицеру была

отправлена срочная шифрованная телеграмма: «Восемнадцатого августа из Киевского тюремного замка бежали одиннадцать политических арестантов... Благоволите усилить наблюдение за проездом из России за границу лиц, внушающих подозрение, и в случае сомнения самоличности, арестуйте и телеграфируйте»<sup>8</sup>.

Телеграммы такого содержания были отправлены на все пограничные пункты западной границы и в 295 городов Российской империи.

Предполагалось, что Литвинов и еще три товарища выберутся в ту же ночь на лодке по Днепру. Лодка была заготовлена и ждала их в условленном месте. Но неожиданно все изменилось. «Спустившись по веревке, — рассказывал Литвинов, — я бросился бежать, но в нескольких шагах попадаю в овраг и натываюсь на человеческое тело. Кругом тьма-тьмущая. Человек едва дышит и едва смог назвать свое имя. Оказалось, что это один из наших беглецов, Блюменфельд, который вследствие сердечной слабости и сильнейшего нервного напряжения не в состоянии двигаться. Что же тут делать? Не оставлять же товарища в таком беспомощном положении. Я пробовал было нести его на себе, но ноша оказалась непосильной. К тому же я до боли расцарапал руку при спуске по веревке. Оставалось лечь и выждать, но тут же раздался выстрел помощника начальника тюрьмы. Мы слышим шаги людей и топот лошадей пронесшейся мимо погони. Проходят томительных два часа, мы слышим, как погоня возвращается. Из долетающих до нас ругательств и восклицаний мы узнаем, что изловить никого не удалось.

Тем временем Блюменфельд приходит в себя, и мы решаем тронуться в путь. Но куда направиться? На лодку опоздали — условный час прошел. С предосторожностью мы ползем по пустырю на четвереньках, пока не выбираемся на первую городскую улицу. Внешний вид у нас весьма нереспектабельный, ибо ночь была дождливая, и мы, ползая, испачкали всю одежду. Прикидываемся пьяными: шатаемся, изображаем пьяное пение. Извозчик предлагает нам свои услуги. Мы садимся на дрожки и заявляем: «Вези в кабак, куда хочешь». Он привозит нас к подозрительно-му постоялому двору. Мы валимся на пер-

<sup>8</sup> ЦГАОР. Дело департамента полиции № 1030.

вую скамейку и делаем вид, что засыпаем мертвым сном».

Из Киева до границы беглецы добирались две недели. Из города пришлось уходить ночью. Выбравшись на Житомирское шоссе, Литвинов и Блюменфельд на ближайшей станции сели в вильненский поезд.

В Вильно — явка. Отсюда они уезжают вместе с контрабандистом, который взялся перевести их через границу. На полустанке темной ночью они оставляют поезд. Литвинов вспоминал: «На какой-то маленькой станции мы сходим с поезда и продолжаем путь на лошадях до пограничной деревушки, где проводим сутки, прячась в стогах сена от объездов пограничной стражи.

С самой Вильны нам внушает подозрение один из спутников, молодой человек, который не сводил с нас глаз. Шевелится все время беспокойная мысль: не провокатор ли это, собирающийся «накрыть» нас на самой границе, у заветной цели? Наконец ночью нас выводят из стогов сена, контрабандист предлагает пройти некоторое расстояние пешком, потом бегом, наконец, слышим его радостное восклицание, что мы перешагнули границу, уже находимся на территории Пруссии и можем, если желаем, подкрепиться в находящемся неподалеку кабачке «хлебным вином». На радостях пьют все, а мой спутник Блюменфельд, принципиальный трезвенник, залпом выпивает стакан водки и сразу хмелеет»<sup>9</sup>.

И вот уже начальник Гродненского губернского жандармского управления доносил департаменту полиции в Петербург о том, что агентам полиции удалось получить выдержки из трех писем Литвинова, посланных из-за границы его матери Х. Г. Валлах в Белосток.

Письма эти очень лаконичны, но позволяют понять, что чувствовал и переживал в те дни молодой искровец, вырвавшийся из тюрьмы.

#### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

«10 сентября, Станупенель.

Из Лодзи Вам сообщили, вероятно, каким образом я распростился с Лукьяновским замком и с Россией (не навсегда). Известны Вам, значит, и некоторые подробности. Измучился я физически и нравственно за эти дни, как никогда. Но близок отдых. Десять дней чувствовал над головой дамклов меч военного суда за побег, а теперь вне опасности. Поймите, что вследствие



Дора Двойрес, член КПСС с 1901 года.

усталости писать много не могу. Напишу из Берлина или Швейцарии.

Любящий Вас Макс.

Пока пишете Берн, до востребования Абрам Лурие, Швейцария. Привет всем»<sup>11</sup>.

#### ПИСЬМО ВТОРОЕ

«Берлин, 11 сентября.

Дорогие!

Только что прибыл в Берлин, так что отдохнуть еще не успел. Пока чувствую себя счастливым. Довольны ли Вы? Прощайте, напишу через дня 2—3 о своих планах. Целую.

Ваш Макс»<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> «Исторический архив», 1961, № 2, стр. 143—144.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> ЦГАОР, ф. 102, оп. 6. ед. хр. № 00219, стр. 25—26.

<sup>12</sup> Там же.

## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Письмо датировано полицией. Указаны следующие даты: 14/IX—18/IX

«Дорогие! Извещаю Вас о своем здоровье и благополучии. В Берлине за три дня еще больше устал. Сейчас уезжаю. Пока не приеду в Швейцарию и не отдохну немного, писать подробно не обещаю.

Ваш Макс»<sup>13</sup>.

Последнее письмо Литвинов писал на вокзале. Через час он сядет в поезд, чтобы убраться в Швейцарию. В вагончике третьего класса шумно и тесно.

Радостный, взволнованный, полный жажды борьбы прибывает Литвинов в Цюрих. Через несколько дней там появляются и остальные искровцы. Друзья собираются в ресторане у рейнского водопада, празднуют благополучное завершение побега и посылают телеграмму, полную искрящегося юмора, начальнику Киевского жандармского управления генералу Новицкому. Первым телеграмму подписывает «атаман» побега Максим Литвинов.

В начале нынешнего века рабочее движение в России и за ее пределами получило могучее оружие, которое позволило ему выйти из пеленок и прочно стать на ноги. Этим оружием была книга Ленина «Что делать?». Сила и значение ее заключается в том, что она вдребезги разгромила «экономистов» и подготовила идеологическую основу для создания большевистской партии. Ленин определил роль партии как руководящей силы рабочего движения.

Глубокая разработка революционных проблем сочеталась у Ленина с практическими организационными решениями. Осенью 1901 года он создает Заграничную лигу русской революционной социал-демократии. Лига, по замыслу Владимира Ильича, должна стать заграничным центром «Искры», взять в свои руки распространение «Искры» и «Зари», готовить деятелей для русского рабочего революционного движения. Отделение «Искры» находится в Цюрихе.

Народ в Цюрихе собрался самый разный. Одни после II съезда российской социал-демократии стали меньшевиками, а кое-кто, не выдержав суровой эмигрантской жизни, навсегда отошел от политической борьбы. И только искровцы были несгибаемой гортой российской эмигрантской колонии.

Вскоре Литвинова избирают членом администрации Заграничной лиги русской революционной социал-демократии, одним из ак-

тивнейших деятелей которой была Надежда Константиновна Крупская. Лига выполняла роль заграничного практического центра «Искры», поддерживала связь с русскими организациями, заботилась о революционерах, бежавших из России, ведала группами содействия «Искре» в разных странах Европы.

Отныне Литвинов должен держать связь с революционерами, бегущими из царской России, обеспечивать им прием, заботиться о них. Связь с конспиративными квартирами, представителями «Искры» за рубежом России, продвижение политических эмигрантов на всем их пути — все это и многое другое лежало на Литвинове. Но это лишь часть его обязанностей.

Деятельность Литвинова как агента «Искры» только начинается. В сентябре 1902 года Надежда Константиновна Крупская переслала Иосифу Басовскому, бежавшему вместе с Литвиновым из киевской тюрьмы, проект транспортной организации «Искры», разработанный В. И. Лениным. По плану Владимира Ильича, эта транспортная организация должна была весть не только переброской в Россию «Искры» и искровой литературы, но и партийных работников. Вскоре за границей (теперь с уверенностью можно сказать, что это было в Женеве) собралось совещание агентов «Искры». По единодушному решению совещания секретарем всех транспортных групп, то есть практическим руководителем всего транспортного дела организации «Искры», был избран Максим Максимович Литвинов.

Об этом решении сообщили Владимиру Ильичу.

Осенью 1902 года «Искра» печаталась в Лондоне и оттуда доставлялась в Цюрих. Это был самый простой и относительно безопасный путь. Значительно сложнее было переправлять «Искру» в Россию. Некоторое количество газет отправлялось туда по почте. Их посылали в Петербург, Москву и другие города по почте разным лицам по специальному списку «Искры».

В Цюрихе, а затем в других швейцарских городах Литвинов разработал свою систему отправки «Искры» в Россию. Он раздобыл старенький велосипед, заготавливал несколько тюков «Искры» и отправлялся по стране, чтобы переслать «Искру» в Россию с разных адресов. Это запугивало царскую полицию и давало гарантию,

<sup>13</sup> ЦГАОР, ф. 102, оп. 6, ед. хр. № 00219, стр. 25—26.



что многие номера газеты попадут к адресатам. Отправляли газеты и с пассажирами, которые уезжали в Россию по вполне легальным паспортам.

Но основной тираж «Искры» и искровскую литературу для социал-демократических организаций доставляли в Россию, пользуясь услугами контрабандистов. Литвинов вспоминал об этой своей деятельности: «Литература отправлялась из Швейцарии сперва в какой-нибудь центральный город Германии или Австрии, например в Берлин, Лейпциг или Вену, оттуда она переправлялась в пограничные города — Тильзит, Мемель, Густин и др. на имя какого-нибудь немецкого социал-демократа, который передавал ее в чемоданах контрабандисту. Задача последнего состояла лишь в перетаскивании чемоданов через границу путем подкупа пограничной стражи и в доставке их в ближайший хутор или местечко, куда за ними являлись товарищи, заведовавшие транспортом с русской стороны.

Тут-то и начинались настоящие трудности, связанные с большим риском. Большинство провалов имело место именно на этой стадии транспорта. На каждом шагу, на каждом перекрестке дорог в пограничной полосе можно было натолкнуться на пограничную стражу, которая подозрительно относилась ко всякому виду поклажи. Она дежурила на всех пограничных станциях обширной пограничной полосы»<sup>14</sup>.

Для переправки через границу «Искры» и искровской литературы приходилось пользоваться услугами случайных людей, на которых выбор падал только потому, что они жили в приграничной полосе. Чаще всего это были мелкие контрабандисты, занимающиеся своей незаконной деятельностью под крылышком полиции и таможенных чиновников, которые за определенную мзду смотрели сквозь пальцы на их деятельность. Вполне естественно, что всех этих людей никак нельзя было посвящать в дела искровцев, более того — они даже не знали, что именно перебрасывается ими через кордон. Руководствовались они чисто материальными соображениями, требовали немедленной уплаты наличными, а цены заламывали высокие.

Сохранившиеся в партийном архиве документы и письма рассказывают об искровцах, действовавших в пограничной полосе. И за каждым письмом — судьбы людей, аромат эпохи, простые, будничные дела, каждое из которых подвиг.

Агент «Искры» Марков писал Литвинову 28 сентября 1903 года из городка

Швиндт: «Стою привалом на границе уже третьи сутки и переменял уже 3—4 квартиры, а все перейти не удается. Каждый меня подержит денек, подоит немного, а потом разными правдами и неправдами переправит к другому. Вот тут, думаю, конец, этот меня переведет. Оказывается, что и новый хозяин должен передать меня кому-то, а тот еще дальше и т. д. Таким образом, от немца я перешел к литвину, от него к другому литвину, у которого я торчал почти сутки. Наконец они заявили мне, что не могут переправить меня, так как слишком хорошо одет и меня моментально на той стороне арестуют, и притом никто не соглашается меня везти лошадьми дальше Вылковышек; но мне в Вылковышках остановиться невозможно, так как там спрашивают паспорта и ревизуют вещи. Я ушел от литвина и направился к какому-то еврею, и здесь, кажется, мои мытарства кончатся. Но ввиду того, что я все-таки не могу вполне ручаться за благополучный переход, то я заранее хотел бы написать Вам кое о чем.

У того немца, к которому я приехал (его знает Гринберг), лежит масса соц.-дем. литературы. Во-первых, какой-то чемодан лежит с февраля, затем сундук, отдельные пачки и т. п... Целые залежи №№ «Искры», которыми наш немец распоряжается, как с простой бумагой, употребляя на что угодно. Вообще литература у него лежит на чердаках в пыли, разбросанная, растрепанная. Много книжек «Зари», «Соц.-демократа» и т. д. Есть несколько штук литературы соц.-рев., но это, видно, только брали для коллекций.

Кроме всего этого, у немца уже 3 месяца лежит 8 тюков очень хорошо зашитой в прочную парусину литературы. В каждом тюке пуда по полтора, если не больше. Немец говорит, что это привез какой-то господин, сам уехал в Тильзит, потом и оттуда уехал и ничего не пишет, и он не знает, что с книгами делать. Он желал бы избавиться от всего этого, так как книги занимают слишком много места...

Некоторые говорили, что переправлять груз и доставить его до Ковно будет стоить рублей 15—20 с пуда; некоторые говорили, что больше, некоторые меньше. Немец мне между прочим сказал, что привезенные 8 тюков потому не переправили, что с него просили 30 руб. с пуда, а он

<sup>14</sup> Из выступления Литвинова в Музее Революции 28 февраля 1951 г.

не хотел давать столько или у него не было столько денег. Собственно говоря, не с пуда 30 руб., а с 40 прусских фунтов, что гораздо больше русского пуда...

Сегодня вечером или завтра я переправлюсь. Из Ковно сообщу о своем переходе Бограду. Я достал два адреса на русской стороне и один на этой — если нужно, сообщу...

Немец, к которому я приехал и у которого лежит литература, по моему мнению, не стоит внимания, так как он большой болтун и пьяница, но люди здесь есть, стоит только хорошенько взяться за дело.

Ваш Марков.

P. S. Забыл еще добавить, что теперь самое лучшее и удобное время для переправы людей, грузов,<sup>15</sup> так как наступили темные осенние ночи».

Осенью 1903 года В. И. Ленин вел ожесточенную борьбу с меньшевиками. Тем важнее было, чтобы каждый номер «Искры» шел в Россию. Литвинову по поручению ЦК принимает меры, чтобы «Искру» и литературу отправлять через Австрию. Но и там агенты сталкиваются с неимоверными трудностями. Один из них, подписавший латинскими буквами W. Кор, сообщал в Женеву 23 сентября 1903 года о своих мытарствах:

«Я писал уже Литвинову на прошлой неделе, почему я считаю необходимым поехать самому в местечко Чортков: я получил от сидевшего там человека (фотографа) несколько писем и, наконец, телеграмму, в которой он сообщает, что люди ждут уже три недели, что их обманывают, что получить товар с вокзала невозможно, так как послан он был на вымышленное имя в уверенности, что паспорта не спрашивают (так делается почти везде в Австрии, ибо «на предъявителя» посылать нельзя), и т. д. и т. д. Я поехал туда в пятницу 11-го, взял с собой 60 кило (3,5 пуда) в качестве багажа. Это обошлось очень дорого, но это было необходимо сделать, ибо дальше ждать нельзя было. Приехал я в местечко в воскресенье утром, привез сундук — без всяких приключений. Застал в Чорткове только старика еврея, который ждал привоза товара, чтобы поехать в село за мужиками. Фотограф, оказалось, уехал с каким-то блондином перевозить его за границу. Старика еврея я честь честью спровадил за мужиками, сундук с литературой положил в другое место, и я стал ожидать мужиков и фотографа. В понедельник утром приезжает фотограф и рассказывает следующее: поехали они с этим блондином

(не Ковал ли?) в местечко Гусятин (Австр.), увиделись там с мужиком и собирались уже поехать в село для перехода, как вдруг полиция (по доносу содержателя гостиницы, в которую они отказались заехать) позвала их к комиссару и, удовлетворившись объяснениями фотографа, отпустила его, возвратив ему паспорт; объяснениями же блондина не удовлетворилась и, оставив у себя его паспорт, велела прийти на другой день, во вторник, снова в полицию. Блондин испугался, и тотчас же они удрали оттуда. Во время объяснения причины своего приезда фотограф упомянул, что он живет в Чорткове. Блондин скрылся куда-то, а фотограф вернулся в Чортков. История эта мне не понравилась, но я считал немислимым уехать, не повидавшись с мужиками, не условившись с ними на случай отъезда фотографа, не сдав им литературы с запиской к российским людям. Расчет мой заключался в том, что фотограф-то для гусятинской полиции не казался подозрительным, значит, они не так уж поспешны будут с розыском его, мужики же могут приехать с минуты на минуту. Таким образом, все может кончиться как нельзя лучше. Единственные меры, которые я принял, были: изолироваться по возможности от фотографа. Уйти из этой гостиницы совсем нельзя было, так как хозяева помогают чем могут в надежде на барыши от постояльцев из наших. Затем я уничтожил все адреса, которые были у меня записаны, — оставил только списки литературы, которые заключались в сундуке. Затем я не успел спрятать 2-й паспорт (на имя Майманова — жил я по заграничному паспорту русского подданного Цина) и револьвер, оставшийся от блондина. Время идет — мужиков нет.

Наконец во вторник, часов в 11 являются... жандармы (успокойтесь, австрийские), проводят обыск у фотографа и меня, арестуют нас, допросы, следствие, кто, почему, зачем — находят списки литературы, но самой литературы нет, револьвер, 2-й паспорт — по оплошности оставляют этот 2-й паспорт мне, я его в здании полиции прячу в надежное место и потом на допросе отрицаю его существование и т. д. и т. д....

За время нашего сидения приехали мужики, но испугались, узнав о нашем аресте, и литературы не взяли. За это же время

<sup>15</sup> Центральный партийный архив ИМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 8, стр. 1—5.

Уважаемому Товарищу!  
 Алексей Василевич Броду, о. к. ф. п.  
 Во всем хорошему.  
 С извещением  
 Литвинов

Записка М. М. Литвинова  
 уполномоченному «Искры»  
 в Варне.

приехала какая-то брюнетистая девица, которую хорошие люди в Женеве, очевидно, поскорее послали вдогонку блондину, забыв про мудрое правило: не зная броду... Эта девица была по настоянию хозяев вынуждена взять с собой сундук с литературой и завезти его в другое местечко (откуда по моей просьбе его обещались забрать галицийские товарищи). Куда девался блондин и брюнетка (какие у меня точные сведения о людях, ведущих на путь, порученный моему вниманию!!), не знаю. В настоящий момент дело обстоит так: пусть сам по себе не провалился, но нужно выбрать другой пункт вместо Чорткова, послать туда людей и снова оборудовать дело с этими мужиками, которые, должно быть, потеряли всякое доверие к людям, ведущим с ними переговоры. Часть литературы придется востребовать сюда, а сундук будет покоиться в тех местах. Фотограф уехал домой, и до окончания еврейских праздников нельзя ничего предпринимать. Ваш покорный слуга не знает, безопасно ли сидеть ему в Вене, уполномочен ли он завезовать галицийскими путями, денег у него нет ни на пункт его собственный. Истрачено им за эту поездку 87 гульденов, то есть около 200 франков. Деньги эти заняты у лиц, стоящих вне организации.

Р. S. Только что приехала Дора, получил письмо и некоторые деньги»<sup>16</sup>.

Агенты «Искры» очень нуждались в деньгах. И брать их часто было совершенно неоткуда. Иногда помогали немецкие социал-демократы. Изредка в партийную кассу поступали средства от других зарубеж-

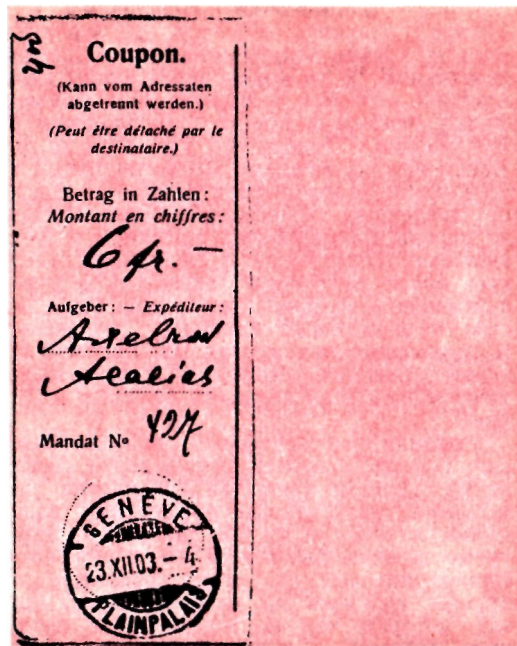
ных друзей, стремившихся помочь русскому революционному движению.

И все же искровцы, умолявшие о присылке денег, часто получали из ЦК РСДРП лаконичные ответы: денег нет.

Литвинов сам вел бухгалтерские книги «Искры» и Заграничной лиги русской революционной социал-демократии, записывал туда каждый израсходованный рубль, франк, гульден или марку, мучительно размышляя, откуда бы наскрести еще немного денег.

Надо видеть эти пожелтевшие листки бухгалтерской книги «Искры». На одной странице приход. Получено: 200+20+20+10+60+10 и так далее. И приход все нищенский, грошовый. А расходы подчас большие, часто не по карману искровцам. Литвинов скрупулезно заносит в бухгалтерскую книгу, что и кому выдал: сапоги — 60, проезды — 360, Вениамину — 5, переправа Семену — 5, наборщику Андрею — 6, Илье, бежавшему из Сувалок, — 16, Абраму — 10, проезжим товарищам — 22, карты географические — 5, упаковка — 61 и так далее и тому подобное, а всего расход 1780 рублей. И тут же отчет Петра за ноябрь, сколько потратил на транспортировку литературы, — до гроша, до сантима, до пфеннига. И такой же отчет Мирона, тоже за ноябрь. И подробнейшие отчеты, сколько какой литературы отправлено в Одессу, Екатеринослав, Елисаветград, Полтаву, Николаев, Кременчуг, Москву, Киев, Кубань. Учитывается все до грамма.

<sup>16</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 8, стр. 10—13 (все в обл.).



Квитанция на получение 6 франков, которые редакция «Искры» переслала из Женевы своему уполномоченному в Варне.

12 октября 1903 года Литвинов пишет одному из получателей и распространителей «Искры» в России: «Кстати, сообщите, пожалуйста, на каких условиях получаете Вы нашу литературу (15 экз. «Искры») и сколько следует с Вас»<sup>17</sup>.

Да, именно так, а не иначе: сколько с вас следует за 15 экземпляров, он выговаривает агенту, который без ведома Цюрихского центра на свой страх и риск пытался наладить новый маршрут переброски литературы.

«Дорогой товарищ! Только что получил Вашу телеграмму и ответил, что денег посылать вам не можем. Вы это, собственно, должны были знать из моих прежних писем. Не знаю, по чьему распоряжению Демьян устраивал там пути и приехал сюда за деньгами. И главное, что меня удивляет, это то, что люди уверены, что за границей всегда можно достать сколько угодно денег, на этом основании они заставляют людей ждать на границе и наивно думают, что

стоит только телеграфировать, и деньги явятся.

Если Демьян не имеет никаких специальных распоряжений из России от ЦК, то ему придется ни с чем уехать обратно. Вообще ждем от него подробного письма. Встречался ли он с Дорой? Дала ли она ему деньги? Что касается Вас лично, то я писал уже, что распоряжений придется ждать от ЦК из России. А раз мы не можем сами распоряжаться, то и денег давать подавно, да их у нас и нет. Это ли не категорично?

Для уплаты Ваших долгов мы Вам послали через Дору 150 фр. Она могла бы дать Вам и больше, так как она имела еще 400 фр. для выкупа литературы, которая пропала теперь, и для передачи Демьяну. Где Дора? Вот уж путаница вышла с ее путями. Сообщите, пожалуйста, сколько Вы еще должны и сколько нужно для приведения в порядок литературы в Лемберге.

Галицийскому напишите, что для РУП (Револ. Укр. Партия. — З. Ш.) «Искра» высылается в Лемберг Галкевичу (Микола).

Ну, всего хорошего.

Ваш Литвинов»<sup>18</sup>.

Ленинская «Искра» посылалась не только в Россию. Во многих странах Европы были представители «Искры». Литвинов поддерживал с ними связь, пересылая газеты и литературу, организовывал представительства. Судя по всему, особенное внимание уделялось странам Балканского полуострова, где население говорит на славянских языках.

К концу 1903 года после II съезда партии в российских организациях РСДРП все сильнее разгоралась борьба между большевиками и меньшевиками. В этих условиях надо было во что бы то ни стало направить в Россию как можно больше искровской литературы со статьями Ленина и газету «Искра». Для этой цели все больше стали использовать маршрут Марсель — Александрия — Одесса.

Уже в 1901 году искровцами был разработан план транспортировки «Искры» и литературы в Россию из Марселя в русские порты на Черном море.

В те годы близ Марселя в Монпелье учился высланный из России как «иностранец» Петр Гермогенович Смидович. Он долго жил во Франции, работал до этого

<sup>17</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 8, стр. 39.

<sup>18</sup> Там же, стр. 17, 17 (об.) и 18.

на бельгийских заводах, прекрасно знал французский язык, имел хорошие связи с французскими профсоюзами.

Операция «Марсель — Александрия — Батум» была разработана при помощи Смиловича. Удалось установить связь с пароходными компаниями «Паке и К<sup>о</sup>» (Paque et K<sup>o</sup>) и «Мессажери и Меритим» (Messagerie Meritimes). Отправлять «Искру» и литературу в Россию помогали на пароходах матросы и буфетчики, которые прятали аккуратно завернутые пакеты с газетой и литературой. Но основной груз — газеты и книги закладывали в резиновые мешки, их герметически закрывали и погружали в воду. В Одессе, Батуме, Новороссийске к пароходам под покровом темноты подплывали представители местных социал-демократических организаций, отрезали под носом у сторожевых постов эти мешки и увозили их в надежное место.

В промежуточных портах транспортная организация «Искры» имела множество друзей, которые помогали переправлять ценный груз. Его перевозили не только на французских, но и на русских пароходах, курсировавших на линии Марсель — Одесса. Особенно часто груз перевозили пароходы «Александр Дюма» и «Анатолия», «Мемфис», «Сиракузы», «Мингрелия».

Осенью 1903 года Литвинов еще шире стал использовать пароходы для отправки литературы в Россию. Не всегда операция проходила благополучно. В петербургской охранке что-то узнали об операции искровцев и попытались парализовать их действия. В конце августа 1903 года Литвинов получил тревожное письмо из Марселя. Находившийся там искровец Кокобадзе писал: «Страшную весть принесет вам это письмо. Транспорт для Батума в 300 кило был захвачен вчера вечером на пароходе контролерами-шпионами К<sup>о</sup>... 3 человека высажены, остались без места. Не знаю, удастся ли им, нет спасти литературу. Постараюсь, конечно, приостановить посылку литературы в Марсель. Не посылайте пока...»<sup>19</sup>

Репрессии французской полиции, действовавшей по просьбе царской охранки, не остановили операции «Марсель — Одесса». Из Франции в Россию, пересекая Средиземное море, через Дарданеллы и Босфор, через все Черное море по-прежнему отправляли резиновые мешки с «Искрой». Ленинские статьи, пройдя через все кордоны, прибывали в Россию.

Но осенью 1903 года все чаще приходилось отбивать атаки на «Искру» и с другой

стороны. Меньшевики подбирались и к «Искре», стараясь захватить над ней контроль не только политический, но и административный. В то время заведующим типографией «Искры» в Женеве был Блюменфельд, бежавший вместе с Литвиновым из Лукьяновки. Теперь это уже был не тот Блюменфельд, которого Литвинов тащил на себе через «арестантские огороды», спасая от озверевших тюремщиков. После II съезда партии Блюменфельд примкнул к меньшевикам. Типография и экспедиция «Искры» могли полностью оказаться в руках противников Ленина. Необходимо было быстро и решительно изменить положение. В большевистских кругах ЦК приняли решение назначить Литвинова заведующим типографией и экспедицией «Искры» в Женеве.

Решение это неизбежно должно было еще больше углубить расхождения между двумя бывшими узниками Лукьяновки. Два человека, назначенные различными фракциями на одну и ту же должность, неминуемо должны были вступить в конфликт. Однако поводом для этого конфликта послужил, казалось бы, незначительный эпизод, который тем не менее может послужить лишним доказательством тому, что меньшевики в своей борьбе против ленинской линии не брезговали никакими средствами. Меньшевики всячески препятствовали распространению ленинской «Искры», не хотели сдавать свои позиции в редакции и администрации. Это и явилось причиной столкновения между Блюменфельдом и Литвиновым.

История конфликта подробно изложена в заявлении В. Д. Бонч-Бруевича и Павла Андреевича в Центральный Комитет РСДРП 30 сентября 1903 года. Вот что они писали: «28 сентября вечером в типографии партии (Рю Колорениер, Женева) произошел следующий инцидент: придя в помещение партийной типографии по своим делам, мы встретились там с товарищем Литвиновым, и трое ушли в редакционную комнату. В 6 часов 40 минут товарищ Блюменфельд после горячего, крайне несдержанного разговора с тов. Литвиновым неожиданно для нас запер всех нас троих в редакционной комнате и, забрав ключи с собой, ушел из здания типографии. Через 55 минут мы вышли из-под замка, отвинтив замок одной двери при помощи отвертки, переброшенной нам в окно кем-то из

<sup>19</sup> ЦПА ИМЛ, ед. хр. 8, стр. 3.

товарищей-наборщиков. На следующий день, 29 сентября, мы оба получили от тов. Блюменфельда тождественные письма, в которых он извинялся перед нами за свой поступок, но из которых ясно видно, что он намеренно запер тов. Литвинова, а нас двоих, как он пишет, — случайно, забыв, что мы находимся в редакционной комнате. ...считая поведение тов. Блюменфельда полным попранием партийной дисциплины, мы... просим Центральный Комитет партии разобрать это дело...»<sup>20</sup>

К заявлению Бонч-Бруевича и Андреевича присоединили «свои протестующие голоса» и наборщики.

Дело это завершилось решением третейского товарищеского суда под председательством Курца (Ленгника). Обстановка в партии тогда была сложная. Курц не считал возможным обострять и без того напряженную обстановку, и Блюменфельду было указано, что он в «выражении своего раздражения превысил допустимую в отношении между товарищами меру».

Через несколько месяцев Литвинов по поручению ЦК уезжает в Россию для ведения нелегальной работы. Он давно собирался на родину, где сверкают зарницы грядущей революционной грозы 1905 года, и всеми силами старается приблизить ее.

Литвинов заканчивает свои искровские дела в Женеве, передает обязанности ближайшим друзьям по партии, заготавливает новый паспорт.

Заграничные резиденты царской охраны следят за каждым шагом Литвинова. Но терпят его. Через агентуру им стало известно, что Литвинов уезжает из Швейцарии, но не знают, когда он намерен перейти границу. Полицейские явно нервничают. 8 марта 1904 года директор департамента полиции отправляет шифрованную телеграмму на все пограничные станции Западной России: «6 марта разыскиваемый Макс Валлах выехал из Берлина в Вену, откуда нелегально отправится в Россию. Усугубите наблюдение»<sup>21</sup>. Пограничным жандармским офицерам, особенно в Сосновицах, Морджиево, Радзивиллове, Волочишке и на других пограничных пунктах, приказано усилить жандармские наряды.

Поспешность полицейских напрасна. Литвинов уже несколько дней, как находится по делам партии в Берлине. Теперь его ищут заведующий агентурой охраны Гартинг и его шпики. Но Литвинов исчез. 19 марта Гартинг доносит в Петербург директору департамента полиции: «Веллах-

Литвинов выехал сегодня в Вену, откуда в Россию нелегально»<sup>22</sup>. Но полицейские так и не знают, где он перейдет границу. В пограничные города и станции идут новые шифровки: во что бы то ни стало задержать, арестовать и под усиленным конвоем отправить в Петербург.

Поздно. Литвинов уже в России. 2 марта 1904 года (по новому стилю) Надежда Константиновна Крупская шлет вдогонку Литвинову из Женевы конспиративное письмо в Минск, сообщает о включении Минска, Гомеля и Новозыбкова в состав Полесского комитета РСДРП и передает задание партии. Вот оно, это письмо Крупской Литвинову:

«Дорогой друг! Знаете ли Вы, что Минск входит в состав Полесского комитета, утвержденного ЦК. В состав Пол. к-та входят, между прочим, Гомель и Новозыбков. Оба города просят людей и литературы, работают исключительно среди русских рабочих. Гомель вошел даже в соглашение с Бундом, что отказывается от работы среди еврейского пролетариата, оговорив, впрочем, «в силу местных условий». Такое соглашение более чем нелепо. Если нет сил, разумнее отказаться вовсе от работы в данном районе, чем вступать в такое недопустимое с принципиальной точки зрения соглашение. Ведь это значит узаконить деление на еврейских и русских рабочих, становиться на бундовскую точку зрения. Раз Вы торчите в Минске, съездите немедленно в Гомель и Новозыбков, вот явка туда, а затем двигайтесь поскорее на юг, там работы масса и страшно нужны люди.

Новозыбков, искать дом Гаврилы Иван. Шведова, рядом с ним дом с 2-мя окнами на ул. тоже Шведова, спросите Якова Борисовича Нехамкина.

Пароль: Мне нужен Володя.

Ответ: Он ждет»<sup>23</sup>.

Начался новый этап деятельности агента «Искры» Литвинова. Он становится одним из крупнейших большевиков-подпольщиков в царской России.

<sup>20</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 8, стр. 1—3.

<sup>21</sup> ЦГАОР, ф. 102, оп. 6, ед. хр. М 00219, стр. 50.

<sup>22</sup> Там же, стр. 51.

<sup>23</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 124, стр. 1

Г. А. Багатурия

## Маркс о любви

Эта тема может показаться странной. Маркс, основоположник и классик, гениальный ученый и великий революционер, — и вдруг... о любви!

Или, наоборот, — банальной. Маркс о научном коммунизме, о религии, об искусстве, а теперь — о любви...

Впрочем, не существует, пожалуй, банальных тем, но бывают банальные, скучные и малосодержательные решения. И наоборот, какой бы странной и даже парадоксальной ни казалась тема, — если относящаяся к ней информация объективна, содержательна и полезна, то сама тема представляет интерес и имеет право на существование.

Судите сами.

И в дружбе и в любви он был на редкость счастлив. Было ли это делом случая? Надо полагать, если не все, то главное зависело от самого человека.

В своей знаменитой «Исповеди» на вопрос «Ваше любимое изречение» он отвечал



Карл Маркс. 1866.

словами Теренция: «Ничто человеческое мне не чуждо» (Соч., т. 31, стр. 492).

Его младшая дочь Элеонора вспоминала о нем словами Шекспира:

«Он человек был, человек во всем,  
Ему подобных мне уже не встретить».

И она же о нем писала:

«Для знавших Карла Маркса нет более забавной легенды, чем та, которая обычно изображает его угрюмым, суровым, непреклонным и неприступным человеком... Подобное изображение самого живого и самого веселого из всех когда-либо живших людей, человека с бьющим через край юмором и жизнерадостностью, человека, искренний смех которого был заразителен и неотразим, самого приветливого, мягкого, отзывчивого из товарищей, являлось постоянным источником удивления и забавы для всех, знавших его» («Воспоминания о Марксе и Энгельсе». М., 1956, стр. 262 и 255).

В своей «Исповеди» на вопрос «Ваше представление о счастье?» он отвечал — «Борьба». Он был мужественным борцом. Но «этот суровый борец имел глубоко любящую душу». «У этого мужественного борца в глубине сердца было сокровище мягкости, доброты и нежной преданности», — вспоминал его внук Эдгар Лонге («Воспоминания...» стр. 271). Вот почему так глубоко и точно сказала о нем Элеонора: «Он потому и умел так остро ненавидеть, что был способен так глубоко любить» («Воспоминания...», стр. 261).

Он человек был, человек во всем. Ничто человеческое не было ему чуждо. Без этого он никогда не смог бы так много сделать для человечества.

В юношеском сочинении «Размышления юноши при выборе профессии», кончая гимназию, он писал, что смысл жизни — *«работать для человечества»*. Не пройдет и десяти лет, как этот абстрактно-гуманистический порыв юноши конкретизируется совершенно определенным образом: целью его жизни станет *борьба за освобождение рабочего класса*. Во время революции 1848—1849 годов он будет издавать в Кёльне знаменитую «Новую Рейнскую газету» — этот, по словам Ленина, «лучший, непревзойденный орган революционного пролетариата». В последнем, красном номере газеты редакция обратится к кёльнским рабочим с прощальными словами: «Редакторы «Новой Рейнской газеты», прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное им участие. Их последним словом всегда и повсюду будет: *освобождение рабочего класса!*» (Соч., т. 6, стр. 564).

Вы помните, на вопрос «Ваша отличительная черта?» Маркс отвечал: «Единство цели». Он был поразительно разносторонне одарен и в своей деятельности поистине энциклопедически универсален. Его работы в области гуманитарных наук — философии, истории, политической экономии — совершили подлинную революцию. Но он прекрасно знал и многие естественные науки — физику, химию, биологию, астрономию, геологию, анатомию и физиологию, а также историю и теорию техники. После его смерти остались обширные — около тысячи страниц — математические рукописи. Он начал с учебных упражнений в области алгебры и высшей математики, а кончил самостоятельными работами, в которых ставил своей целью дать диалектическое обоснование дифференциального исчисления. Он был великим знатоком мировой художественной литературы. Гёте, Гейне, Шекспира, Бальзака он знал чуть ли не наизусть, а в молодости сам пробовал писать и стихи, и новеллы, драмы и даже роман. Он любил повторять: «Иностранный язык — это оружие в жизненной борьбе», — и на протяжении всей своей жизни он совершенствовал и оттачивал это свое оружие. Его основные произведения — такие, как «Манифест Коммунистической партии» и четырехтомный «Капитал», — написаны, естественно, на родном немецком языке. Но когда ему понадобилось выступить против Прудона, он написал «Нищету философии» на чистейшем французском языке. Когда он вынужден был переселиться в Англию и начал многолетнее сотрудничество в одной прогрессивной американской газете, то статьи для нее он уже писал на английском языке. Он любил перечитывать Эсхила по-древнегречески, «Божественную комедию» Данте — по-итальянски, «Дон Кихота» Сервантеса — по-испански. В пятьдесят лет, когда для раздела о земельной ренте в III томе «Капитала» ему потребовалось использовать русские материалы, он начал изучать русский язык и через полгода мог уже читать не только русскую экономическую, но и художественную литературу.

Таков был этот гениальный энциклопедист XIX века. И сверх того он был великим организатором, тактиком и стратегом борющегося пролетариата.

Но вся эта невероятно разносторонняя деятельность сводилась в конечном счете к одному фокусу, она имела одну единую цель, и этой целью и счастьем всей его жизни была *борьба за освобождение рабочего класса*.

«Ваша отличительная черта?» — «Единство цели».





Женни Маркс, жена Карла Маркса. Начало 50-х годов.

«Ваше представление о счастье?» — «Борьба!»

Борьба за освобождение рабочего класса. И все-таки — по свидетельству Поля Лафарга — ««работать для человечества» было одним из его любимых выражений» («Воспоминания...», стр. 62).

И находятся же «критики», которые смеют противопоставлять созданное им учение и гуманизм!

Ведь глубочайшим гуманизмом пронизаны каждое его произведение, десятки томов его литературного наследия, вся созданная им теория от начала и до конца, вся его практическая деятельность.

Но мы несколько отвлеклись.

Его человечность проявлялась не только в великом деле его жизни, но и в его отношении к окружавшим его людям, в его отношении к семье, к друзьям и товарищам — к его непосредственному человеческому окружению. Она проявлялась и в его дружбе и в его любви.

Это был человек на редкость целостный и в теории и просто в жизни. Он был гуманист в высшем смысле этого слова. Именно поэтому он так много сделал не только для пролетариата, но и для всех трудящихся людей (а нетрудящийся уже перестает быть подлинно человеком, ведь недаром *труд* создал человека), для всего человечества.

О дружбе Маркса и Энгельса, ставшей легендой, знают многие. Меньше знают о любви Маркса, еще меньше — о его взглядах на любовь. Но навряд ли без глубокого понимания этого чувства возможна была бы столь идеальная любовь, которая на протяжении чуть ли не полувека связывала двух замечательнейших людей — Карла Маркса и Женни фон Вестфален.

В течение многих лет после смерти Маркса наследники хранили в тайне его интимные письма. Подавляющая часть подобных документов стала известна лишь десятилетия спустя, и многие из них — лишь в самые последние годы. А ведь они проливают новый свет не только на взаимоотношения Маркса и Женни, но и на его жизненные воззрения.

Почти все письменные свидетельства, приводимые далее, были опубликованы за последние 35 лет, тогда как после смерти Маркса минуло уже 85 лет — на полвека больше.

Итак, предоставим слово самому Марксу. Рассмотрим специально хотя бы три-четыре документа из его рукописного наследства.

В 1932 году была впервые полностью опубликована работа Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Это очень трудное для понимания, но поистине гениальное произведение молодого Маркса. Оно относится к начальному этапу того революционного переворота, который совершил Маркс в области философии, и представляет собой первую попытку дать всестороннее научное обоснование коммунистического мировоззрения. Здесь в самых общих чертах намечаются уже контуры всех трех

составных частей будущей марксистской теории.

Но нас интересует сейчас не общее содержание этой замечательной рукописи и не центральная ее проблема, сложнейшая проблема отчуждения — предмет ожесточенных дискуссий последних лет, — а всего лишь несколько строк в ней, написанных летом, по всей вероятности в августе 1844 года. Это, пожалуй, первое прямое высказывание Маркса о любви вообще. Вот эти строки:

«Если ты любишь, не вызывая взаимности и, — пишет Маркс, — т. е. если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви, если ты своим *жизненным проявлением* в качестве любящего человека не делаешь себя *человеком любимым*, то твоя любовь бессильна, и она — несчастна» («Из ранних произведений». М., 1956, стр. 620).

Простой смысл этих строк: любовь должна быть взаимной; если она не вызывает взаимности, не порождает ответной любви, то такая любовь бессильна, и она — несчастна.

Так должно быть, и это будет нормой будущего, подлинно человеческого общества. Но это не является нормой общества, в котором господствуют частная собственность и деньги, — в особенности буржуазного общества.

На примерах, взятых у Гёте («Фауст») и Шекспира («Тимон Афинский»), Маркс показывает, как извращаются в этом обществе отношения между людьми, в том числе и отношения между мужчиной и женщиной. Свойства денег становятся здесь свойствами самого человека, который ими обладает. «Я уродлив, но я могу купить себе *красивейшую* женщину. Значит, я не уродлив, ибо действие *уродства*, его отпугивающая сила, сводится на нет деньгами». «Они превращают верность в измену, любовь в ненависть, ненависть в любовь, добродетель в порок, порок в добродетель, раба в господина, господина в раба, глупость в ум, ум в глупость». «Деньги осуществляют братание невозможностей; они принуждают к поцелую то, что противоречит друг другу».

Существующему буржуазному обществу Маркс противопоставляет будущее, подлинно человеческое общество, извращенным отношениям между людьми — отношениями подлинно человеческие: «Предположи теперь, — пишет он, — *человека как человека* и его отношение к миру как человеческого отношения: в таком случае ты сможешь любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие и т. д.». И только при этой пред-

посылке, то есть только в условиях такого действительно человеческого общества, взаимная любовь станет нормальной формой проявления любви.

То, что, как предвидел Маркс, должно было стать нормой в будущем обществе, — то в условиях времени, которое он называл «предысторией человеческого общества», могло быть лишь счастливым исключением. Таким блестящим, удивительным исключением была любовь самого Маркса. Только силой своей любви, проявлением своей человеческой сущности породил он ответную любовь такой замечательной девушки, какой была Женни фон Вестфален. Недавние новые публикации лишний раз подтверждают это. Вот два примера.

70 лет тому назад Элеонора Маркс впервые предала гласности несколько строк из одного неопубликованного письма своего отца.

«Всю свою жизнь, — писала она, — Маркс не только любил, но был влюблен в свою жену. Передо мной лежит любовное письмо, оно пылает такой огненной страстью, точно писал его 18-летний юноша; а ведь Маркс писал его в 1856 году, после того, как Женни родила ему шестерых детей. Когда в 1863 году смерть матери отозвала его в Трир, он писал оттуда:

«Каждый день хожу на поклонение святым местам — старому домику Вестфаленов (на Римской улице): этот домик влечет меня больше, чем все римские древности, потому что он напоминает мне счастливое время юности, он тайл когда-то мое самое драгоценное сокровище. Кроме того, со всех сторон, изо дня в день, меня спрашивают, куда девалась первая красавица Трира и царица балов. Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить как зачарованная принцесса» («Воспоминания...», стр. 263—264).

Прошло 65 лет, и только пять лет назад, в 1963 году, это интереснейшее письмо было, наконец, опубликовано полностью — ровно через сто лет после того, как оно было написано (см. т. 30, стр. 531—532).

Но не это самое интересное во всей этой истории. Ведь, приведя несколько строк из письма 1863 года, Элеонора не опубликовала ни строчки из другого, более раннего письма — 1856 года, — того самого «любовного письма», которое, по ее словам, «пылает такой огненной страстью, точно писал его 18-летний юноша». В течение ста с лишним



Фридрих Энгельс. 1864.

лет это упомянутое Элеонорой интимное письмо хранилось в семье Маркса и у его потомков и не было доступно ни любопытному взгляду читателя, ни научному исследованию. Но вот в 1958 году в Милане, а затем в 1962 году впервые на русском языке (см. т. 29, стр. 432—436) оно было, наконец, опубликовано и стало вполне доступно. Вот фрагменты этого потрясающего письма:

«Моя любимая!

Снова пишу тебе, потому, что нахожусь в одиночестве и потому, что мне тяжело мысленно постоянно беседовать с тобой, в то время как ты ничего не знаешь об этом, не слышишь и не можешь мне ответить. Как ни плох твой портрет, он прекрасно служит мне, и теперь я понимаю, почему даже «мрачные мадонны», самые уродливые

изображения богоматери, могли находить себе ревностных почитателей, и даже более многочисленных почитателей, чем хорошие изображения. Во всяком случае ни одно из этих мрачных изображений мадонн так много не целовали, ни на одно не смотрели с таким благоговейным умилением, ни одному так не поклонялись, как этой твоей фотографии, которая хотя и не мрачная, но хмурая и вовсе не отображает твоего милого, очаровательного, «dolce», словно созданного для поцелуев лица. Но я совершенствую то, что плохо запечатлели солнечные лучи, и нахожу, что глаза мои, как ни испорчены они светом ночной лампы и табачным дымом, все же способны рисовать образы не только во сне, но и наяву. Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю, madame!» И действительно, я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр. Лживый и пустой мир составляет себе ложное и поверхностное представление о людях. Кто из моих многочисленных клеветников и злоязычных врагов попрекнул меня когда-нибудь тем, что я гожусь на роль первого любовника в каком-нибудь второразрядном театре? А ведь это так. Найдись у этих негодяев хоть капля юмора, они намалевали бы «отношения производства и обмена» на одной стороне и меня у твоих ног — на другой. Взгляните-ка на эту и на ту картину, гласила бы их подпись. Но негодяи эти глупы и останутся глупцами во веки веков.

Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает видимость однообразия, при котором стираются различия между вещами. Даже башни кажутся вблизи не такими уж высокими, между тем как мелочи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, непомерно вырастают. Так и со страстями. Обыденные привычки, которые в результате близости целиком захватывают человека и принимают форму страсти, перестают существовать, лишь только исчезает из поля зрения их непосредственный объект. Глубокие страсти, которые в результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек, вырастают и вновь обретают присущую им силу под волшебным воздействием разлуки. Так и моя любовь. Стоит только пространству разделить

**Ответы Маркса** на анкету дочерей. Автограф. Архив ИМЛ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 6113. л. 1 об.



нас, и я тут же убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того, для чего солнце и дождь служат растению — для роста. Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдаль от меня, предстает такой, какова она на самом деле — в виде великана; в ней сосредоточиваются вся моя духовная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть... любовь к любимой, именно к тебе, делает человека снова человеком в полном смысле этого слова.

Ты улыбнешься, моя милая, и спросишь, почему это я вдруг впал в риторику? Но если бы я мог прижать твое нежное, чистое сердце к своему, я молчал бы и не проронил бы ни слова. Лишенный возможности целовать тебя устами, я вынужден прибегать к словам, чтобы с их помощью передать тебе свои поцелуи. В самом деле, я мог бы даже сочинять стихи и перерифмовывать «*Libri Tristum*» Овидия в немецкие «Книги скорби». Овидий был удален только от императора Августа. Я же удален *от тебя*, а этого Овидию не дано было понять.

Бесспорно, на свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где мне найти еще лицо, каждая черта, даже каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни? Даже мои бесконечные страдания, мою невозместимую утрату читаю я на твоём милом лице, и я преодолеваю это страдание, когда осыпаю поцелуями твое дорогое лицо. «Погребенный в ее объятиях, воскресенный ее поцелуями», — именно в твоих объятиях и твоими поцелуями...

Прощай, моя любимая, тысячи и тысячи раз целую тебя и детей.

Твой *Карл*.

Письмо само по себе не нуждается в комментариях, если не считать тех многочисленных, в том числе литературных, фактов, которыми оно насыщено. С интересующей нас точки зрения следует, конечно, обратить особое внимание на ту часть письма, которая начинается словами «Временная разлука ползна...». Здесь, где явно сквозит некоторая горечь, затрагивается проблема соотношения любви и быта, чувства и той социальной действительности, среды, в условиях которой оно развивается. Как и всякий другой человек, Марк испытал это на собственном опыте. Его «идеальная любовь» возникла и развивалась далеко не в идеальных условиях, хотя это и не были худшие из возможных тогда условий.

Началось с того, что Карл и Женни вынуждены были обручиться тайно, а затем в течение долгих семи лет вести упорную борьбу за право стать мужем и женой. Он был студент, из небогатой и незнатной семьи, с весьма неопределенными видами на будущее, хотя и со страстным желанием «работать для человечества». Она — девушка из богатой аристократической семьи, «первая красавица Трира и царица балов». По понятиям ее среды, брак с этим юношей был бы партией далеко не блестящей, короче говоря — мезальянс. И вот любовь уже вынуждена бороться за свое существование и за свое будущее.

Через семь лет, незадолго до того, как они стали, наконец, мужем и женой, Марк писал одному из друзей:

«Могу Вас уверить без тени романтики, что я по уши влюблен, и притом — серьезнейшим образом. Я обручен уже более семи лет, и моя невеста выдержала из-за меня самую ожесточенную, почти подточившую ее здоровье борьбу, отчасти с ее пиелистски-аристократическими родственниками, для которых «владыка на небе» и «владыка в Берлине» в одинаковой степени являются предметами культа, отчасти с моей собственной семьей, где засело несколько попов и других моих врагов. Поэтому я и моя невеста выдержали в течение ряда лет больше ненужных и тяжелых столкновений, чем многие лица, которые втрое старше и постоянно говорят о своем «житейском опыте...» (т. 27, стр. 374).

Так начиналась их совместная жизнь. А впереди предстояли еще годы преследований, изгнаний, нужды. У них было семь человек детей, четверо из которых умерли в условиях поистине пролетарской нищеты. Буржуазное общество, в условиях которого им приходилось жить и бороться, мстило им, как могло.

Внешние условия жизни не могли не омрачать чувства. Поэтому изображать эту действительно исключительную любовь одной розовой краской было бы искажением правды. Но об этом речь еще впереди.

Пять лет назад, то есть в том же году, когда впервые полностью было напечатано упомянутое письмо Маркса Женни 1863 года, в составе второго русского издания Сочинений Маркса и Энгельса, этого в настоящее время наиболее полного в мире издания литературного наследия основоположников научного коммунизма, а именно в его 31-м томе (стр. 435—436) было вообще впервые опубликовано интереснейшее пись-

мо Маркса Полю Лафаргу, которое мы и приведем здесь целиком, с некоторыми комментариями, ибо все это письмо — о любви.

Маркс выступает теперь в новой роли — в роли отца, дочь которого собирается замуж. Поль Лафарг — юный друг Маркса (ему 24 года) и в будущем один из самых способных его учеников и самых замечательных его последователей — любит его вторую дочь Лауру (ей 21 год) и хочет на ней жениться.

Посмотрим, какую позицию занимает в этой ситуации Маркс. Вот его письмо, оно помечено: «Лондон, 13 августа 1866 г.» (Марксу 48 лет).

«Дорогой Лафарг!

Разрешите мне сделать Вам следующие замечания:

1) Если Вы хотите продолжать свои отношения с моей дочерью, то нужно будет отказаться от Вашего метода «ухаживания». Вы прекрасно знаете, что твердого обещания нет, что все еще неопределенно. И даже если бы она была помолвлена с Вами по всем правилам, Вы не должны были бы забывать, что дело это затяжное. Проявления слишком большой интимности были бы тем более неуместны, что оба влюбленных будут жить в одном городе в течение длительного периода, неизбежно полного тяжелых испытаний и страданий. Я с ужасом наблюдал перемены в Вашем поведении изо дня в день, за геологический период одной только недели. На мой взгляд, истинная любовь выражается в сдержанности, скромности и даже в робости влюбленного в отношении к своему кумиру, но отнюдь не в принужденном проявлении страсти и выказывании преждевременной фамильярности. Если Вы сошлетесь на свой темперамент креола, моим долгом будет встать с моим здравым смыслом между Вашим темпераментом и моей дочерью. Если, находясь вблизи нее, Вы не в силах проявлять любовь в форме, соответствующей лондонскому меридиану, придется Вам покориться необходимости любить на расстоянии. Имеющий уши поймет с полуслова.

2) Прежде чем окончательно определить Ваши отношения с Лаурой, мне необходимо иметь полную ясность о Вашем материальном положении. Моя дочь предполагает, что я в курсе Ваших дел. Она ошибается. Я не ставил этого вопроса, так как, по моему мнению, проявить инициативу в этом отношении следовало Вам. Вы знаете, что я принес все свое состояние в жертву революционной борьбе. Я не сожалел об этом. Наоборот. Если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, я сделал бы то же самое.

Только я не женился бы. Поскольку это в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от рифов, о которые разбилась жизнь ее матери. Так как это дело никогда не достигло бы нынешней ступени без моего непосредственного вмешательства (слабость с моей стороны!) и без влияния моей дружбы к Вам на поведение моей дочери, то личная ответственность всей тяжестью падает на меня. Что касается Вашего теперешнего положения, то те сведения, которых я не искал, но которые получил помимо своего желания, вовсе не успокоительны. Но оставим это. Что же касается общего Вашего положения, то я знаю, что Вы еще студент, что Ваша карьера во Франции наполовину разбита событиями в Льеже, что для Вашей акклиматизации в Англии у Вас пока что отсутствует необходимое условие — знание языка и что в лучшем случае Ваши шансы являются совершенно проблематичными. Наблюдение убедило меня в том, что Вы по природе не труженик, несмотря на приступы лихорадочной активности и добрую волю. В этих условиях Вы будете нуждаться в поддержке со стороны, чтобы начать жизнь с моей дочерью. Что касается Вашей семьи, о ней я ничего не знаю. Предположим, что она обладает известным достатком, это не свидетельствует еще о готовности с ее стороны нести жертвы ради Вас. Я не знаю даже, какими глазами она смотрит на проектируемый Вами брак. Мне необходимо, повторяю, положительные разъяснения по всем этим пунктам. Кроме того, Вы, убежденный реалист, не можете ожидать, чтобы я отнесся к будущему моей дочери как идеалист. Вы, будучи человеком столь положительным, что хотели бы упразднить поэзию, не желаете ведь заниматься поэзией в ущерб моей дочери.

3) Чтобы предупредить всякое ложное истолкование этого письма, заявляю Вам, что если бы Вы захотели вступить в брак сегодня же, — этого не случилось бы. Моя дочь отказала бы Вам. Я лично протестовал бы. Вы должны быть сложившимся человеком, прежде чем помышлять о браке, и необходим долгий срок проверки для Вас и для нее.

4) Я хотел бы, чтобы это письмо осталось тайной между нами двумя. Жду Вашего ответа.

Ваш *Карл Маркс*».

В этом письме поражают контрасты: любовь к дочери и к другу, возвышенное отношение к самой любви — и необычайная трезвость; блестящее остроумие — и глубокая горечь.

О своем отношении к любви Маркс гово-

Your favorite virtue: *pollity*  
 as man quality in man to mind his own business  
 woman - in woman not to meddle things  
 - chief characteristic knowing everything by halves  
 Idea of happiness: *Walter Langens 1848.*  
 - misery to go to dentist  
 the vice you excuse: *spoil of any sort*  
 - *detest* *Cont*  
 you were in *officer? studying women*  
 the character you *must dislike* } *Spurgeon*  
 favorite occupation: *chaffing being chaffed*  
 - *then* *none*  
 - *Heroina* *too many to accuse one*  
*Post* *Pinchde the shuffling, cowardly*  
*Pen-writer* *with lifting, D. & another.*  
*Yellow* *Blue Ball*  
*Colon* *any one not suitable*  
*Sink* *cold: blood, hot: Fried Stars*  
 - *mean* *not to have any.*  
 - *with* *take it easy*

J. Escylo



рит здесь прямо, и мы повторим это важнейшее место еще раз:

*«На мой взгляд, истинная любовь выражается в сдержанности, скромности и даже в робости влюбленного в отношении к своему кумиру, но отнюдь не в принужденном проявлении страсти и выказывании преждевременной фамильярности».*

Что касается поражающей трезвости этого письма, то неверно было бы думать, что с годами Маркс отрезвел, забыл о своей собственной эпохе бури и натиска, что перед нами привычное отношение старшего поколения к младшему.

Ведь еще до того, как он посвятил две большие тетради своих стихов «Моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален», в сочинении на аттестат зрелости он с удивительной для 17-летнего юноши трезвостью писал: «Но мы не всегда можем избрать ту профессию, к которой чувствуем призвание; наши отношения в обществе до известной степени уже начинают устанавливаться еще до того, как мы в состоянии оказать на них определяющее воздействие» («Из ранних произведений», стр. 3). И эта необычайная трезвость, глубокий реализм его отношения к жизни, к окружающему миру приведет его сначала к объективному идеализму Гегеля и в конце концов — к самому последовательно материализму и к научному коммунизму.

Но ведь этот самый трезвый материалист будет писать потом своей Женни пылающие огненной страстью письма, и два из них, как мы видели, были написаны совсем незадолго до этого отрезвляющего письма Полю Лафаргу.

А почитайте потрясающее описание Элеоноры последних дней Женни. Осенью 1881 года Маркс и Женни были тяжело больны. «Это было ужасное время, — вспоминает их младшая дочь. — В первой большой комнате лежала наша мамочка, в маленькой комнате, рядом, помещался Мавр... Мавр еще раз одолел болезнь. Никогда не забуду я то утро, когда он почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы пройти в комнату мамочки. Вместе они снова помолодели, — это были любящая девушка и влюбленный юноша, вступающие вместе в жизнь, а не надломленный болезнью старик и умирающая старая женщина, навеки прощавшиеся друг с другом». 2 декабря 1881 года умерла Женни.

В этот день Энгельс сказал: «Мавр тоже умер» («Воспоминания...», стр. 123—124). Правда, он пережил ее на 15 месяцев, но это уже был год постепенного угасания.

Или возьмите его письма этого последнего периода: «Ты знаешь, — пишет он «как всегда верному и неразлучному» Энгельсу, — что мне "более чем кому-либо чужд демонстративный пафос; однако было бы ложью не признаться, что мои мысли большей частью поглощены воспоминаниями о моей жене, которая неотделима от всего того, что было самого светлого в моей жизни». И он пишет старшей дочери, которую звали тоже Женни: «Против душевных страданий существует лишь одно эффективное противоядие — физическая боль... Даже в последние часы — никакой борьбы со смертью: медленное угасание; ее глаза были выразительнее, красивее, лучезарнее, чем всегда! ...В ней все было естественно и правдиво, просто, без всякой фальши; отсюда и впечатление, которое она производила на людей, — бодрое и жизнерадостное. Г-жа Гесс пишет даже: «В ее лице природа разрушила свой собственный шедевр, ибо во всю свою жизнь я не встречала такой умной и любящей женщины» (т. 35, стр. 35-36, 196, 197, 204).

Нет, не от пресловутого «житейского опыта» идет отрезвляющий тон письма Полю Лафаргу. В Марксе на протяжении всей его сознательной жизни неразрывно сочетались страсть и трезвость, порыв и расчет, горение и хладнокровие. И если столь высокие и строгие требования предъявляет он к чувству, то это идет от глубокого понимания тех трудностей, которые должно вынести оно в условиях определенной социальной среды. Вынести, чтобы устоять и не погибнуть — и не обратиться в величайшее несчастье для тех, в ком оно родилось.

По личному опыту знал он, чем это грозит: «Вы знаете, — предупреждает он юного шу, — что я принес все свое состояние в жертву революционной борьбе». (Это точно, в буквальном смысле.) «Я не сожалел об этом. Наоборот. Если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, я сделал бы то же самое. Только я не женился бы. Поскольку это в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от рифов, о которые разбилась жизнь ее матери».

Не от недостатка любви, а от избытка ее идет это горькое признание. Они были счастливы, как могли быть счастливы два таких человека и так любивших друг друга. Но их человеческую жизнь не могли не отравлять нечеловеческие условия их жизни. В редких письмах самому близкому его другу проры-



ваются горькие признания о муках любимой женщины. Ему нелегко было бороться. Но быть может, тем, кто был близок ему и кого он так любил, было еще тяжелее.

Но он *должен* был осуществлять цель своей жизни. Письмо Лафаргу относится ко времени, когда Маркс завершал работу над I томом своего главного труда — «Капитала». А через несколько месяцев в другом письме, Зигфриду Мейеру, он, объясняя причину своего долгого молчания, признавался: «Итак, почему же я Вам не отвечал? Потому, что я все время находился на краю могилы. Я должен был поэтому использовать *каждый* момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью. Надеюсь, что этого объяснения достаточно. Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине *непрактичными*, если бы подох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в рукописи» (т. 31, стр. 454).

«Я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью...» И все-таки эта любовь дала им обоим неизмеримо много. Нельзя представить себе жизнь Маркса без его любви и его семьи, как невозможно мыслить ее вне его дружбы и совместного труда с Энгельсом.

Женни не стало. И в тот же день «Мавр тоже умер». Выступая на ее могиле, Энгельс сказал:

«Женщина прекрасной души...

Она не только разделяла участь, труды и борьбу своего мужа, но и активно участвовала в них с величайшей сознательностью и с пламенной страстью...

Она дождала до того, чтобы увидеть, как революционное движение пролетариата, уверенного в своей победе, охватывало одну страну за другой, от России до Америки...

То, что эта жизнь, свидетельствующая о столь ясном и критическом уме, о столь верном политическом такте, о такой страстной энергии, о такой великой самоотверженности, сделала для революционного движения, не выставлялось напоказ перед публикой...

Мне незачем говорить о ее личных качествах. Ее друзья знают их и никогда их не забудут. Если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы делать счастливыми других, — то это была она» (т. 19, стр. 302—303).

А дочь Маркса Элеонора о своей матери писала:

«Не будет преувеличением, если я скажу, что без Женни фон Вестфален Карл Маркс никогда не мог бы стать тем, кем он был» («Воспоминания...», стр. 260).

Это была любовь.

14 марта 1883 года Маркс навеки уснул в своем кресле.

Среди его рукописей Энгельс обнаружил составленный за два года до этого огромный конспект книги Моргана «Древнее общество» с многочисленными замечаниями самого Маркса. Через год после его смерти, опираясь на эту работу своего друга, Энгельс поразительно быстро, буквально за два месяца пишет свою замечательную книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Эту свою работу Энгельс рассматривал как «в известной мере выполнение завещания» (т. 21, стр. 25).

Касаясь проблемы происхождения и эволюции семьи, он невольно развывает здесь и воззрения Маркса относительно любви. Это в высшей степени интересные моменты в книге Энгельса. Возьмем лишь самые важные.

Последовательный диалектик, Энгельс применяет здесь принцип историзма к анализу этого своеобразного явления. И он показывает, что индивидуальная половая любовь существовала не всегда, что, как и всякое другое социальное явление, она есть продукт исторического развития и что она возникла в сравнительно позднее время.

Вслед за этим Энгельс дает определение того, *что* такое любовь, выясняет ее самые существенные признаки. Вот это определение в несколько сокращенном виде: «Современная половая любовь, — говорит о н, — существенно отличается от простого полового влечения... Во-первых, она предполагает у любимого существа взаимную любовь... Во-вторых, сила и продолжительность половой любви бывают такими, что невозможность обладания и разлука представляются обоим сторонам великим, если не величайшим несчастьем... И, наконец, появляется новый нравственный критерий для осуждения и оправдания половой связи; спрашивают не только о том, была ли она брачной или внебрачной, но и о том,



Your favourite virtue	---	sincerity.
" " " in man		perseverance
" " " woman		affection.
" chief characteristic		sensitiveness
idea of happiness		health
" " <sup>misery</sup>		superstition
The vice you excuse most		indecision
" " " detest most		ingratitude
your aversion		debts
Favourite occupation		needle work
" " poet		Goethe
Prose writer	---	Martin Luther.
Hero	---	Coriolanus
Heroine		Florence Nightingale
Flower		rose
Colour		blue
Favourite maxim		Never mind
Motto		Hil desperandum

Jenny, Julia, Joan, Bertha Marx (1865)

возникла ли она по взаимной любви или нет» (т. 21, стр. 79—80).

Однако практика буржуазного общества противоречит тому, что уже признается в теории. И поэтому даже люди, ставшие в сознании своим вышше условий этого общества, вынуждены, если они не утописты, считаться с реальными условиями своего времени.

Характерно в этом отношении то, что через несколько лет писал Энгельс по поводу поведения Карла Каутского его первой жене: «Вы говорите о Карле: без любви, без страсти его натура гибнет. Если эта натура проявляется в том, что каждую пару лет требует новой любви, то он сам ведь должен будет признать, что при нынешних условиях или такую натуру следует обуздать, или она запутает его и других в бесконечных трагических конфликтах» (т. 37, стр. 87).

Но в своей книге Энгельс предвидит, что с переходом от буржуазного общества к обществу коммунистическому вместе со всеми другими социальными отношениями радикально преобразуются и семейные отношения, а тем самым и условия существования, развития и проявления любви.

Отпадут экономические основы прежней семьи: «С переходом средств производства в общественную собственность индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда. Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом; общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными» (т. 21, стр. 78).

Единственной и подлинной основой брака станет любовь: «Полная свобода при заключении браков может, таким образом, стать общим достоянием только после того, как уничтожение капиталистического производства и созданных им отношений собственности устранил все побочные, экономические соображения, оказывающие теперь еще столь громадное влияние на выбор супруга. Тогда уже не останется больше никакого другого мотива, кроме взаимной склонности» (т. 21, стр. 84).

Но из этого следует: «Если нравственным является только брак, основанный на любви, то он и остается таковым только, пока любовь продолжает существовать. Но длительность чувства индивидуальной половой любви весьма различна у разных индивидов, в особенности у мужчин, и раз оно совершенно иссякло или вытеснено новой страстной любовью, то развод становится благодеянием

как для обеих сторон, так и для общества. Надо только избавить людей от необходимости брести через ненужную грязь бракоразводного процесса» (т. 21, стр. 84—85).

Когда основой брака станет только любовь, то он превратится в подлинное единобрачие: «Так как половая любовь по природе своей исключительна... то брак, основанный на половой любви, по природе своей является единобрачием» (т. 21, стр. 84).

И, наконец, Энгельс формулирует общий вывод:

«Таким образом, то, что мы можем теперь предположить о формах отношений между полами после предстоящего уничтожения капиталистического производства, носит по преимуществу негативный характер, ограничивается в большинстве случаев тем, что будет устранено. Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, — и точка» (т. 21, стр. 85).

Здесь ярко проявляется *научный* характер коммунистических воззрений Маркса и Энгельса: не утопические предвосхищения деталей будущего общества, а объективный анализ тенденций развития существующего общества — вот единственно возможный способ познать основные черты будущего. Что же касается решения конкретных проблем будущего общества, то его нельзя ни предписать, ни предвосхитить — предоставьте это самим людям будущего, они будут не глупее нас. Такова была принципиальная точка зрения основоположников *научного* коммунизма.

Характерен в этом отношении один эпизод. Как-то, еще при жизни Маркса, в 1881 году Каутский обратился к Энгельсу с вопросом относительно возможной в будущем угрозы перенаселения. Послушайте, что ответил ему Энгельс. Это весьма любопытно и поучительно: «Абстрактная возможность такого численного роста человечества, которая вызовет необходимость положить этому росту предел,

конечно, существует. Но если когда-нибудь коммунистическое общество вынуждено будет регулировать производство людей, так же как оно к тому времени уже урегулирует производство вещей, то именно оно и только оно сможет выполнить это без затруднений... Во всяком случае, люди в коммунистическом обществе сами решат, следует ли применять для этого какие-либо меры, когда и как, и какие именно. Я не считаю себя призванным к тому, чтобы предлагать им что-либо или давать им соответствующие советы. Эти люди, во всяком случае, будут не глупее нас с Вами» (т. 35, стр. 124).

Недавно впервые на русском языке было опубликовано одно интервью Энгельса, которое он дал за два года до смерти. В ответ на вопрос относительно будущего общества он, между прочим, сказал: «Заранее готовые мнения относительно деталей организации будущего общества? Вы и намека на них не найдете у нас» (т. 22, стр. 563).

Людей, фантазирующих о деталях будущего общества, Энгельс презрительно именовал «социалистами будущего».

Тот же научный подход отличал и прогнозы Маркса и Энгельса относительно будущей эволюции семьи, брака и любви.

Подобно тому как теория научного коммунизма в целом принципиально отличалась от коммунизма грубого, уравнительного и аскетического, так отличались и были противоположны аскетизму — как показному, так и действительному — и взгляды Маркса и Энгельса на любовь. В этом отношении чрезвычайно показательны то, что всего за несколько месяцев до «Происхождения семьи...» писал Энгельс о Георге Веерте — первом пролетарском поэте Германии: «В чем

Веерт был мастер, в чем он превосходил Гейне (потому что был здоровее и искреннее) и в немецкой литературе был превзойден только одним Гёте, это в выражении естественной, здоровой чувственности и плотской страсти... И для немецких социалистов должен когда-нибудь наступить момент, когда они открыто отбросят этот последний немецкий филистерский предрассудок, ложную мещанскую стыдливость, которая, впрочем, служит лишь прикрытием для тайного сквернословия. Когда, например, читаешь стихи Фрейлиграта, то действительно можно подумать, что у людей совсем нет половых органов. Однако никто так не любил послушать втихомолку пикантный анекдот, как именно этот ультрацеломудренный в поэзии Фрейлиграт. Пора, наконец, по крайней мере немецким рабочим привыкнуть говорить о том, чем они сами занимаются днем или ночью, о естественных, необходимых и чрезвычайно приятных вещах, так же непринужденно, как романские народы, как Гомер и Платон, как Гораций и Ювенал, как Ветхий завет и «Новая Рейнская газета» (т. 21, стр. 5—6).

А через несколько месяцев, в 1884 году Энгельс, как мы видели, разработал проблему любви в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Так через сорок лет первые идеи Маркса, высказанные в его «Экономическо-философских рукописях 1844 года», получили свое завершающее развитие.

Ничто человеческое не было им чуждо в жизни, и ни одна проблема человеческой жизни не была обойдена в созданной ими теории. Вот почему тема «Маркс о любви» укладывается в проблематику теории научного коммунизма.

Л. Кокин

## Качели Николая Дубинина



I

Бежали два приятеля из детского дома, в тамбурах, в теплушках-«телятниках» добрались от Самары до самой Москвы и 1 мая 1919 года пришли на Красную площадь.

В тот день на площадь собирались колонны молодых рабочих и школьников. С песнями поднимаясь по проезду Исторического музея, колонны выстраивались вдоль кремлевской стены. Впереди двигались запряженные лошадьми праздничные колесницы с застывшими на них подростками в костюмах: кузнец с молотом, ткачиха, крестьянин. Разбрасывая во все стороны газеты и брошюры, тархтел по брусчатке «рог книжного изобилия» — автомобиль «Центропечати».

Над колоннами реяли знамена, флаги, лозунги:

**СВОБОДНАЯ ВЕСНА РАБОЧЕГО-ПОДРОСТКА НЕСЕТ ЕМУ ЖИЗНЬ И ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ.**

**1 МАЯ, ВЕСНА ПРИВЕТСТВУЕТ ЮНЫХ РАБОЧИХ ВСЕГО МИРА — СТРОИТЕЛЕЙ ЦАРСТВА ТРУДА.**

Начинаются митинги.

С трибуны на трибуну под крики «ура», в сопровождении красных конных «гусар» переходит Ленин.

Но, увлеченные праздничным зрелищем, маленькие беспризорники не слышат речей Ильича, его слов о детях, и, стало быть, о них, самарцах, тоже.

Указывая на детей, Ленин говорил, что они, участвующие теперь в празднике освобождения труда, в полной мере восполь-

зуются плодами понесенных революционерами трудов и жертв...

«До сих пор, как в сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети!»

Не знали приятели-самарцы еще и о таком событии того дня: что один из них, Коля Дубинин, оказался вместе с Лениным заснятым на кинолентку. Снимали издали, из окон ГУМа, никто этого не заметил. Дубинин услышал об этом сорок пять лет спустя, когда к нему в лабораторию радиационной генетики пришел незнакомый человек и сказал:

— Вопрос мой может показаться странным, но, пожалуйста, вспомните, прошу вас: где вы были 1 мая 1919 года?

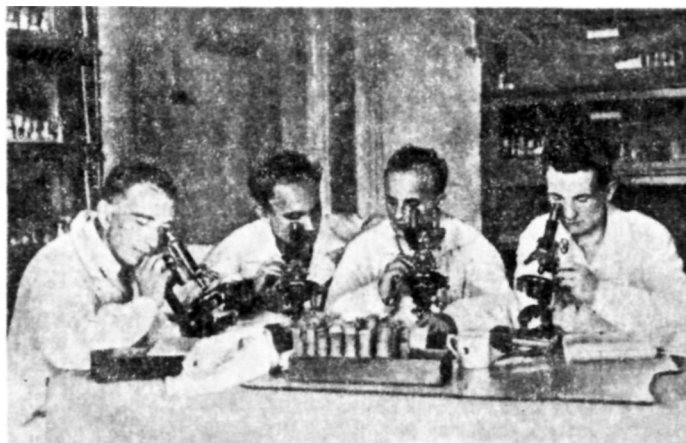
— Представьте себе, что помню, — улыбнулся Дубинин. — В Москве был. На Красной площади.

И тогда человек положил на стол фотоснимок: Ленин в открытом автомобиле повернул голову к двум улыбающимся мальчишкам, и все кругом улыбаются — сам Ленин, люди в военной форме, знаменосцы на втором плане и вихрастый, с живым лицом мальчуган.

— Не вы ли это рядом с Лениным? — спросил человек и с сомнением поглядел на голый череп ученого.

Как мог Дубинин сказать? Похоже, что он, а быть может, и нет.

За более определенным ответом пришлось обратиться к криминалисту. И те установили безоговорочно: на снимке рядом с Ле-



ниным действительно он, будущий академик, а тогда беспризорник Дубинин.

В Москве он в тот раз задержался недолго. Его подобрал на улице у асфальтового котла помощник Дзержинского, управделами ВЧК В. Н. Чайванов. Пришлось рассказать, как приехал в Москву и что попал в детский дом вдвоем с братом, когда отца убили, а у матери осталось на руках пятеро. И что отец в революцию был командиром на Красном флоте. Чайванов отправил мальчишку обратно в Самару. Оттуда в голодное время детей перевезли в уездный городок Калужской губернии Жиздру.

Детский дом занимал бывшее Дворянское собрание, сообразно с уездными своими масштабами одноэтажное и бревенча-

Н. П. Дубинин. 40-е годы.

Коля Дубинин среди воспитанников Жиздринского детдома. 1922 г.  
Справа — фрагмент

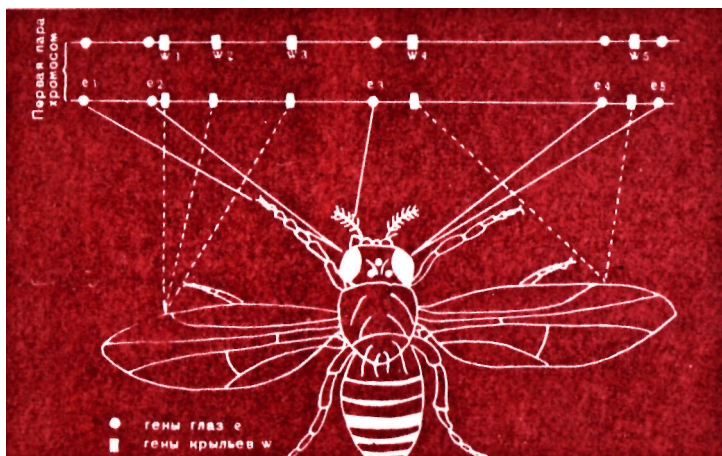
Бригада «челюскинцев». Слева направо: В. В. Сахаров, Г. Г. Тиняков, Н. П. Дубинин, Б. Н. Сидоров. 1934 г.

На рыбной ловле. 50-е годы.

На стр. 110:

Положение некоторых генов на одной из хромосом дрозофилы.

Н. П. Дубинин. 30-е годы.



тое, но просторное. В спальнях умещалось по восемь — по десять кроватей; на уездную скуку воспитанники не жаловались. Самим приходилось колоть и пилить дрова, убирать комнаты, дежурить на кухне. Девочки обшивали себя и чинили одежду мальчикам. Мальчики, засиживаясь допоздна в маленькой, как чулан, комнатке воспитательницы, шили матерчатые ботинки на веревочной подметке. Дело было поставлено почти по-фабричному. Имелись даже колодки. Вырезав из картона подошву и обтянув материей, кругом по спирали подшивали веревку. Для девочек мастерили туфельки на каблучках. Но хватало этой обувки недели на две, потому и работа никогда не кончалась.

Дубинин не очень-то затруднял себя учеюм. Не потому, что ленился, просто «Единая трудовая школа 2-й степени имени Льва Толстого», куда детдомовцы ходили вместе с городскими ребятами, не перегружала учеников наукой. Зато он с охотой выступал на школьных вечерах и в клубе соседнего садово-огородного техникума. В жгучей мелодраме «Чья вина» изображал героя; выучился на роле; декламировал Гастева и Верхарна, Апухтина и Блока. Писал агитплакаты. Стоял с винтовкой на чоновских дежурствах — он вступил в комсомол. Ездил по деревням за хлебом. И говорил речи. Это, как и все остальное, получалось неплохо, он скоро прослыл по уезду первостатейным оратором. Готовясь к выступлениям, начал рыться в книгах. И натолкнулся на книгу, которая потрясла его.

Эта книга, по словам Ленина, «пошла

в народ», вызвала в свое время бурю во всех цивилизованных странах. Коля, конечно, не читал еще «Материализм и эмпириокритицизм», где Ленин говорит об этом, но в нем, мальчишке из уездного детского дома, книга тоже вызвала бурю. То были «Мировые загадки» немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля.

Шестнадцать лет Дубинин второй раз приехал в Москву. Но теперь он приехал не просто так, поболтать, а изучать наследственность. Ведь, по Геккелю, одной из семи мировых загадок — она-то и пленила Дубинина! — была целесообразность живой природы. И теперь Дубинин приехал не с пустыми руками. Под мышкой держал подаренное детдомом байковое одеяло, а в кармане имел 10 рублей денег и укомовскую путевку на биофак педвуза. На весь уезд эта путевка была единственной, другой не было, и отдали ее Николаю Дубинину.

Он выдержал вступительные экзамены, но в списках принятых себя не нашел.

— Молод, — сказали ему, — подрастите немного.

Он идет в комсомольскую ячейку, и по ходатайству комсомола его зачисляют студентом.

Но вскоре оказывается, что его интересы не совпадают с укомовским направлением в педагогике. Лобастенький второкурник, не очень-то чисто умытый и одетый даже по тем временам так худо, что это сразу бросается в глаза, является в университет: «Хочу заниматься наследственностью...» Скольких трудов стоило ему перейти!

Но на первом же экзамене у профессора генетики Четверикова студент Дубинин проваливается с треском.

Почему-то он живет в общежитии медфака на Смоленском бульваре, их пять человек в комнате: четыре будущих доктора и Дубинин. Четыре будущих доктора в меру долбят медицину, в меру поют песни, в меру обсуждают достоинства знакомых девушек. Дубинин допоздна засиживается в лаборатории или за полночь просиживает над книгами. Его не отвлекают ни песни, ни рассказы. У него детдомовская закалка. Там, посредине комнаты, где они жили восьмером, стоял стол на четверых. Письменные задания выполнялись за этим столом в две смены; устные зубрили, сидя на койках. Теперь детдомовские навыки выручают его. Соседи-медики, убедившись в бесплодности всех попыток приобщить Колю Дубинина к своему шумному товариществу, махнули на него рукой: одержимый! А ему приходится быть таким. Ведь фактически он до Жиздры почти не учился, за два года, что пробыл в тамошнем детском доме, «ододел» все науки.

На втором курсе Дубинин начинает заниматься в большом практикуме профессора Кольцова; это уже отличие, ибо попасть туда можно, лишь выдержав отборочный конкурс. На третьем — начинает работать в лаборатории профессора Четверикова. Вскоре паренек в косоворотке и резиновых туфлях на босу ногу повторяет под руководством профессора Серебровского опыты американского ученого Меллера по рентгеновскому облучению мух.

Основоположники генетики видели в мутациях — в изменениях наследственных признаков — неожиданные самопроизвольные взрывы. Ученые нового поколения настойчиво стали доискиваться причин «взрывов». Когда американский генетик Г. Дж. Меллер (впоследствии удостоенный Нобелевской премии) подверг плодовым мушкам дрозофил действительно рентгеновых лучей, он обнаружил, что изменчивость ускорилась в полторы сотни раз. Сообщение Меллера на V Международном генетическом конгрессе (Берлин, 1927 г.) вызвало сенсацию и послужило началом новой эры в генетике. Открытие Меллера указывало, например, что можно искусственно воздействовать на ген — по тогдашним понятиям, неделимый атом наследственности. Это открывало небывалые перспективы в преобразовании природы. До тех пор, пока селекционеры пользова-

лись в своих опытах только тем исходным материалом, который предоставляла в их распоряжение природа, на выведение сорта нередко уходила целая жизнь. Искусственные мутации обещали резко повысить частоту нужной для селекции изменчивости.

Именно в это время пришел в генетику Николай Дубинин.

## II

Как всегда, важное открытие вызвало не только восторг, радость, удивление, но и вполне понятное желание ученых повторить, воспроизвести, проверить полученные первооткрывателем результаты. «Давайте, Коля, и мы попробуем облучить мушек», — вскоре после сообщения Меллера на Берлинском конгрессе предложил студенту Дубинину профессор Серебровский. Так идея искусственного получения мутаций с помощью рентгена вернулась к месту своего рождения.

...Московский генетик Ромашов облучал рентгеном мух дрозофил. Это было в 1920-м. Институт экспериментальной биологии насчитывал в ту пору, помимо директора профессора Кольцова, трех научных сотрудников. Вынужденный работать с подмосковными дикими видами мух, Ромашов на этом «нечистом» материале не сумел выявить каких-либо последствий облучения. Опыты не удались. По словам профессора Кольцова, американский генетик Меллер тогда еще и не думал о рентгеномутациях. И вполне вероятно, что мысль об этом пришла Меллеру, упорно искавшему в то время способы искусственного получения мутаций, именно в Москве, куда приехал он летом 1922 года на празднование столетия Грегора Менделя с ценнейшим подарком учителя своего, Томаса Гента Моргана, русским коллегам: он привез столь необходимые им для работы чистые линии мух. Из нескольких этих пробирок ведут начало мушинные расы, с помощью которых советские генетики добились в 20-е годы выдающихся результатов. Не случайно статьи того времени начинаются с признательностей Моргану и Меллеру за их дар. Но если идея рентгеномутаций действительно возникла у Меллера в результате посещения красной России, благодарность должна быть взаимной!

Не было еще известно, каким образом проводил работу американский генетик, но профессор Серебровский, человек порывистый, увлекающийся, не стал дожидать-



ся, пока американский ученый опубликует методику, а вместе со студентом разработал свою. Заключив горсть мушек в желатиновую капсулу и усыпив их эфиром, поместили капсулу под обычный медицинский рентгеновский аппарат. Проведя со своими мушками часа два в рентгеновском кабинете, паренек в косоворотке получил интереснейший материал на добрый год работы. Он не только убедился в правоте Меллера, но пошел дальше американца: в опытах Дубинина мутационный процесс ускорился в четыреста раз.

Студенческая работа предвещала появление первоклассного экспериментатора. Но она не заканчивается на этом. В тесной лаборатории профессора Серебровского на Смоленском бульваре, через два дома от студенческого общежития, которое он уже покинул, вчерашний студент Дубинин продолжает и — главное! — обдумывает свои опыты.

В результате полученных им мутаций изменяются щетинки на теле мух; изменяются по-разному: по длине, по числу, — но все это, на его взгляд, вызвано изменениями одного и того же гена «скют». А если изменения одного гена влекут за собой различные изменения признаков, не следует ли отсюда — пришло к нему в голову, — что ген имеет сложное устройство и, следовательно... делим? Чтобы произвести это даже про себя, требовалась изрядная смелость. Но сказав «а», ученому трудно удержаться от «б». Двадцатидвухлетний генетик высказывает свои соображения на Всесоюзном съезде по генетике и селекции (Ленинград, январь 1929 г.). Как бы там ни было, гипотеза вчерашнего студента уже не предвестие, а само появление крупного ученого. Он рискует отстаивать еретическую мысль, которая, как это подтвердится впоследствии, по своему значению для генетики сравнима с открытием делимости атома в физике.

Основываясь на своем предположении, Дубинин строит план гена. Вместе с товарищами придирчиво его проверяет — впятером или шестером, во главе с профессором Серебровским. Локоть к локтю усевшись за стол в одной из половин разгороженной надвое комнаты-лаборатории и положив перед собой бумажки с описанием различных вариантов гена «скют», они соревнуются в решении задачи: как расположить бумажки в линию, чтобы получить план гена?

К 1930 году «центровая теория гена» сформулирована Дубининым, но это вовсе

не означает ее признания в ученом мире. Напротив, даже внутри лаборатории возникают споры по поводу дубининской «скютологии» — со вчерашними соратниками и единомышленниками, которые участвовали в работе, но затем разуверились в ней и выдвигают все новые возражения. «Эта теория, — осторожно писал через несколько лет профессор Кольцов, — опубликованная также по-английски и по-немецки в зарубежных журналах, создала определенное имя Дубинину и проверялась крупнейшими современными генетиками, некоторые из которых посвятили ей специальные критические статьи...»

Одним из главных критиков резко выступал присутствовавший на съезде в Ленинграде немецкий ученый Рихард Гольдшмидт, величина мировая, друг молодости профессора Кольцова. Дискуссия с Гольдшмидтом длится несколько лет, в нее вовлекаются с обеих сторон все новые приверженцы, она становится событием в генетике того времени.

В 1932 году Гольдшмидт признает правоту своего оппонента. Однако еще и через тридцать лет крупнейший американский генетик М. Демерек говорил на Международном генетическом конгрессе в Гааге (1963 г.), что десять лет назад считалось ересью описывать ген иначе, чем элементарной единицей, которая не делится на меньшие части. Даже пять лет назад господствовала эта точка зрения, особенно среди дрозофилистов... и лишь в середине 50-х годов были получены бесспорные доказательства в опытах с микроорганизмами (одним из авторов был сам Демерек). «Хотя, — продолжал Демерек, — эта концепция принята только недавно, она развивалась уже давно». И далее ученый напомнил о работах Дубинина и Серебровского более чем тридцатилетней давности...

С точки зрения современной науки, которая при помощи изощреннейших экспериментов, привлекая принципы кибернетики, разобрала письмена, какими природа записывает наследственную информацию, расшифровала биохимический код в ДНК хромосом, гипотетическая модель гена, предложенная Дубининым за тридцать с лишним лет до этого, выглядит поразительным провидением. «Способность усматривать в массе фактов нечто существенное и находить возможную основу взаимосвязи этих фактов — качество очень редкое», — пишет известный биолог К. Вилли. Дубинину еще не раз предстоит проявить эту свою способность.

## III

Как всякий московский генетик, Дубинин не раз бывал и выступал на коллоквиумах в Институте экспериментальной биологии (в просторечии — кольцовском). Сюда, на Воронцово поле, съезжалась по вторникам «вся генетическая Москва». Здесь был признанный центр советской теоретической генетики, ее парламент и верховный суд. Профессору Николаю Петровичу Дубинину едва исполнилось двадцать пять лет, когда директор института профессор Николай Константинович Кольцов предложил ему возглавить этот центр.

Дубинин познакомился с Кольцовым так же в точности, как за много лет до этого познакомился с ним Александр Сергеевич Серебровский и еще многие-многие поколения студентов-биологов, — на лекциях, на практикуме. Кто хотя бы раз видел и слышал Кольцова, едва ли мог его позабыть. Крутой амфитеатр Зоологички на его лекциях был забит до отказа. Видеть высокую сутуловатую фигуру с красивой серебряной головой, слушать московскую грибоедовскую речь, нередко перемежаемую строками из латинских поэтов и греческих или стихами Пушкина, Фета, Блока, превосходно прочитанными наизусть, смотреть на рисунки, коими пояснял свои мысли лектор, священнодействуя на доске цветными мелками, — все это доставляло истинное удовольствие. Но главное, конечно, были сами мысли. Биолог широчайшего диапазона, Кольцов по праву считался одним из создателей экспериментального направления в русской биологии, которое он называл наукой XX века — в отличие от традиционной описательной биологии прошлого.

Основанный им накануне революции институт с годами превратился в крупнейшее научное учреждение, где рука об руку работали биологи разных специальностей — физиологи и генетики, биохимики, биофизики и микробиологи. «Нам, пожалуй, больше, чем какой-либо другой стране, — говорил Кольцов, — приходится заботиться о том, чтобы идущее нам на смену поколение научных работников, будучи подготовлено в специальных научных областях, не упускало бы из виду всей грандиозной синтетической науки о жизни». Сам он был именно таким ученым — умудрялся держать в виду всю науку о жизни и к тому же обладал редким даром учителя. Он умел создать вокруг себя радостную атмосферу, она составляла са-

мый дух института, и эта заслуга Кольцова перед наукой значит ничуть не меньше его личных научных заслуг. А они велики. В его трудах рассыпано столько щедрых идей, что даже в наши дни, как говорят его ученики, прежде чем заявлять о своем приоритете, пользително заглянуть в Кольцова.

Изо дня в день часов в одиннадцать начинал он свой обход института. Подсаживался к каждому сотруднику, заглядывал в микроскоп, расспрашивал, как дела, советовал и советовался. Никогда не навязывал своего мнения. Обсуждал. Кстати, говорил он, в последнем номере (он называл какой-либо специальный журнал, издававшийся в Европе или в Америке) я отчеркнул для вас интересные вещи. Он успевал просматривать каждую новую книгу, а книги в институтскую библиотеку приходили со всех концов мира, и помечал на полях: такому-то, такому-то. Сахарову, Астаурову, Ромашову... К генетикам Кольцов относился с особым вниманием, считая их область ключевым разделом биологии. Организатор первых генетических работ в Советской России, Кольцов выдвинул ряд гипотез, предвосхитивших важные идеи современной молекулярной генетики. Вот к какому учителю переходит профессор Дубинин от противоречивого, страстного, склонного к крайностям Серебровского.

В лаборатории двадцатипятилетнего профессора кольцовский дух творчества естественно перемежается с веселым самоотречением молодости. Кольцову приходилось даже сдерживать своих молодых коллег. Тем более что квартира его в здании института расположена как раз под генетической лабораторией, и он невольный свидетель их ночных бдений. Он созывает экстренное собрание, обращается с просьбой после одиннадцати вечера не задерживаться в институте без его личного разрешения. В самом деле, выбраться из института в четвертом часу ночи было довольно трудно. Ключи от двери, кроме Кольцова, имел только профессор Лебедев, тоже живший при институте. По очереди униженно отправлились будить. Лебедев выходил сердитый, в подштанниках, ругал полуночниками. Отпирал... Однажды в три часа ночи, когда обнаружилось, что двери заперты, они с ужасом вспомнили, что ни Кольцовых, ни Лебедевых нет дома: профессора переехали на дачу. Стучали, стучали... Институтское здание — бывший купеческий особняк — стояло в глубине зеленого двора, и даже через окно невоз-

можно было дозваться глуховатого дворника. Кто-то придумал крутить зажженной лампой в окне, пока поздний прохожий не заметил сигнала бедствия и не добудился дворника. С дворником вообще были сложности, даже когда удавалось выбраться из института. Ведь оставался еще высокий забор и запертые ворота. А дворнику не объяснишь, как важна и нужна генетикам методика Пайнтера, впервые воочию увидавшего гены в гигантских хромосомах слюнных желез дрозофилы. Но тут у молодых ученых объявился неожиданный союзник. В то время, когда им необходимо было выбраться со двора на улицу, во встречном направлении не менее важно было преодолеть забор дочке дворника. Ее ухажеры оказались предприимчивее генетиков: разогнули железные прутья, решив тем самым проблему входа-выхода раз навсегда.

Работали с утра до ночи. Но между дневной и вечерней «сменой» устраивался перерыв. Под конец рабочего дня Дубинин выскакивал из своего кабинета в зал и кричал: «Без пятнадцати нашего!» Ровно в четыре все выходили на волейбольную площадку. Мяч летал над сеткой наперегонки с островами. «С точным научным прицелом — в аут!» — подавали слева. Справа парировали: «Ничего не поделаешь — эффект положения!»

В то время Дубинин вместе с Борисом Николаевичем Сидоровым показывает новое явление: функции гена не просто навечно «запечатаны» в нем, но зависят от того, какое место он занимает в хромосоме. «Эффект положения» открыт все на той же плодовой мушке. Ген переносили из одной хромосомы в другую, и он по-разному влиял на наследственные признаки.

Чтобы в этом убедиться, Дубинин за одно лето просмотрел под микроскопом больше ста тысяч мух...

Не жалея времени, не считая затраченного труда, он копил, копил, копил факты. Молодой Дубинин просто не представляет себе иного стиля научной работы. Только на почве богатой, щедро удобренной достоверными фактами, может взрасти плодоносящая гипотеза, может сверкнуть озарение!

...Покидавший мячом часа два, возвращались в лабораторию — до глубокой ночи. Но бывало: пожалуют поиграть в волейбол гости из академического института генетики, где работал в те годы знаменитый американец Меллер, член-корреспон-

дент Академии наук СССР. И в таком случае битва дрозофилистов бушует дотемна...

По выходным дням Тиняков, живший при институте, пробирался следом за истопником в здание, открывал окно в лаборатории, ждал. Его товарищи, приходя, кричали с улицы:

— Есть на «Челюскине»?

— Есть на «Челюскине!» — отвечал Тиняков и бежал отворять.

За это бригаду Дубинина прозвали «челюскинцами», а сам он сочинил несколько гимнов своей бригады...

Однажды в лаборатории услышали «Есть на «Челюскине!» совсем рядом. На пожарной лестнице у окна третьего этажа стоял незадолго перед тем удостоенный Рокфеллеровской премии профессор, о котором газеты того времени писали: «В своей области науки он не имеет впереди себя ни одного буржуазного ученого. Его имя упоминается наряду с именами мировых ветеранов науки».

Один из таких ветеранов, профессор Кольцов, рассказывал об этом случае, заливаясь смехом: сижу утром в выходной день у окна в кресле, читаю. Вдруг за окном какая-то тень, у меня мысль мелькнула: не вор ли? Смотрю, нет, не вор, а знаменитый ученый Дубинин...

Близость директора имела, таким образом, свои неудобства, но, помимо того, давала известные преимущества. В тех случаях, когда консультация профессора Кольцова оказывалась насущно необходимой, его можно было вызвать в генетическую лабораторию условным стуком ногой по полу. И он, не откладывая, поднимался, поскольку по пустякам его не тревожили.

Да пустяками и не занимались генетики в институте Кольцова: их волновала идея, которую профессор Кольцов поставил в план института еще при его основании.

Искусственное видообразование! Об этом со времен Дарвина мечтали биологи, чтобы получить экспериментальное подтверждение теории происхождения видов. Шутка сказать: создать, синтезировать вид, неизвестный в природе! В 1934 году физики открыли искусственную радиоактивность, выделив при этом не встречавшиеся в природе изотопы химических элементов. Как бы соревнуясь с физиками, московский биолог Дубинин в том же году получил «изотоп» дрозофилы, мушку с уменьшенным против нормального числом хромосом. Прделано это было чрезвычайно эффективно — не «залезая» руками в клет-

ку, не заглядывая в микроскоп, а лишь на основе предварительно рассчитанной сложной серии скрещиваний. Вслед за тем товарищи Дубинина — Сидоров, Соколов и Трофимов — путем сознательной перестройки получают невиданную в природе кольцевую хромосому, а Кожевников выводит новую расу дрозофил, названную им *Drosophila artificialis* — дрозофила искусственная.

Когда Ник Ник Соколов первый раз увидел в микроскоп кольцевую хромосому, он позвал Ник Пета Дубинина. Ник Пет посмотрел, воскликнул «ах!» и, раскинув руки, повалился со стула, демонстрируя тем самым, что от такого открытия можно упасть в обморок. Профессора тут же схватили за руки, за ноги и под визг и гам дружно понесли в кабинет. Кто аллилуйю поет, кто что, и в этот момент открывается дверь и входит Кольцов. Почти никто его не заметил. Постояв с минуту возле двери, Кольцов повернулся и на цыпочках вышел... Но едва Дубинину рассказали об этом, как он тут же побежал и привел Николая Константиновича, чтобы порадовался вместе со всеми. Нет выше радости, чем доставить радость учителю!..

Они были молоды, полны жизни, озорны, дружны, и это, как ничто другое, помогало в работе. Когда взволнованный какой-либо новостью Дубинин быстро проходил по залу, на ходу приглашая: «Сэры, сэры, пошли обсуждать!» — все без промедления собирались к нему в комнату, и в числе первых занимал свое законное место на диване прижившийся в институте пес, представлявший собою генетическую загадку и названный Бригадиром, поскольку раз существовала дубининская бригада, понятное дело, требовался бригадир...

Без чувства юмора трудно было работать с Дубининым. К счастью, в их среде было мало людей, лишенных этого чувства, страдающих врожденным изъяном. В противном случае частенько возникали бы осложнения — при желании можно было найти достаточно поводов для обид.

Очередной вторник, или, как говорили в то время, второй день шестидневки, когда собирался генетический коллоквиум, пришелся на 1 апреля. Эти традиционные собрания, на которых обсуждались новые работы или делались обзоры исследований по различным проблемам генетики, всегда вызывали большой интерес. Традиция велась еще с первых лет института, от организованного С. С. Четвериковым и

Н. В. Тимофеевым-Ресовским Дрозцоора, что расшифровывалось приблизительно так: союз орущих дрозофилов. Профессор Четвериков, один из учителей Дубинина, был первым руководителем генетической лаборатории в институте Кольцова, Дубинин фактически стал его преемником. Активные члены Соора продолжали работать в лаборатории — В. В. Сахаров, Д. Д. Ромашов, они, естественно, старались поддерживать хорошие порядки «орущих»: свободно высказываясь по любой проблеме науки, перед лицом Истины все равны — от академика до аспиранта...

На очередном собрании 1 апреля с реферативными докладами по опубликованному в иностранных журналах статьям выступили проф. Н. П. Дубинин и Б. Н. Сидоров.

Сообщение Дубинина было сенсационным: за границей исследователям имярек удалось получить в эксперименте учетверенную хромосому. Тут же через эпидиаскоп продемонстрированы были иллюстрации к статье — крестообразные фигуры из четырех сросшихся хромосом. Известие оживленно обсуждалось, посыпались догадки, объяснения, прогнозы... Пожалуй, еще интереснее оказался второй доклад. Суховатый Сидоров, известный как тонкий экспериментатор и за нрав свой именуемый за глаза Отшельником, как всегда, спокойно и немногословно сообщил, будто речь шла не о выдающемся открытии, что исследователь имярек, разделив хромосому на ряд участков, доказал, что каждый из них существует как самостоятельная хромосома. Разумеется, это вызвало не менее оживленную дискуссию, хотя было тяжким ударом для одной из коллег, безуспешно добивавшейся подобного результата. Снова было выдвинуто немало смелых гипотез и с ходу пересмотрено многое в теории... Словом, когда Дубинин, вместо того чтобы по обыкновению на правах председателя подытожить затянувшееся обсуждение, — а он славился умением прояснять самые запутанные проблемы, — когда он вместо заключительной речи коротко поздравил собравшихся с первым апреля, после мгновенной, как шок, паузы за шутку приняли поздравление... «Жертва» Сидорова была настолько потрясена, что пожаловалась Кольцову. Тот хохотал от души.

Примерно в то же время, когда удалось установить «эффект положения гена», Дубинин выходит из лаборатории «на природу». Все та же дрозофила служит

ему — теперь он наблюдает за ней в естественных условиях. Как распространяется мутация от возникновения до момента, когда она приобретает значение для эволюции вида?

По Средней России и Кавказу, по Средней Азии и Крыму пролегли маршруты генетических экспедиций. Тучи дрозофил вьются в садах, на овощных складах, на консервных и винных заводах. Вооруженные нехитрой ловушкой-«дудой», ученые дяди и тети ловят мух — сотни и тысячи, — чтобы здесь же, на месте, в походных условиях обследовать их с помощью успешно освоенной «челюскинцами» методики Пайнтера. В микроскоп чудесно видны изменения в хромосомах-гигантах.

Ловля мух... Бестревожное, казалось бы, и не слишком серьезное занятие, словно нарочно предназначенное для насмешек. И все-таки искателей истины подстерегает опасность. На винном заводе в Фергане Дубинин спустился за мухами в огромный чан из-под вина. Трудно сказать, сколько времени прошло, пока товарищ его Ник Ник Соколов хватился, что Дубинина долго нет. Он бросился к чану и увидел распростертого на дне Ник Пета: надыхавшись парами, тот потерял сознание. Не хватись его Соколов, это могло печально кончиться... Ну, а что до насмешек — «челюскинцы» в карман за словом не лезли, принимали шуточные бои. Не сдались и тогда, когда шутки сделались плохи...

Мутация как инструмент эволюции... Сама постановка вопроса еще не так давно казалась невозможной. Вот уж поистине: наука — цепь заблуждений. Сначала бессмертная и неизменная «зародышевая плазма» Августа Вейсмана, эта нить, связующая чреду поколений (извечный вопрос, что было раньше: курица или яйцо, — по Вейсману, решался однозначно: вначале было яйцо!..), оказалась подверженной беспричинным взрывам-мутациям Гуго де Фриза, и генетиков начала века не без оснований обвиняли в антидарвинизме. Среди естествоиспытателей разгорелась дискуссия, является ли эволюция результатом дарвинского естественного отбора или дефризовых мутаций, ибо Дарвин имел в виду накопление путем естественного отбора многочисленных мелких изменений, тогда как де Фриз — резкие беспричинные скачки... Но позднее, вызвав мутации внешним воздействием, Г. Дж. Меллер приоткрыл завесу над их причи-

нами, а параллельно с этим С. С. Четвериков установил, что многочисленные мелкие мутации широко распространены в природных расах дрозофил, образуя как бы резервный фонд изменчивости для вида, из которого природа черпает — по Дарвину, с помощью естественного отбора! — наиболее приспособленные к условиям жизни формы. Показать, как это происходит, вскрыть потайной механизм дарвинской эволюции видов — вот что выпало на долю Дубинина и его товарищей, в первую очередь Д. Д. Ромашова.

«В книге эволюции прочитано только название», — писал в то время Дубинин. Чтобы приняться за «текст» книги, необходимо пронаблюдать мириады мух, и генетики это делают. Но как извлечь «корень» из бесчисленных наблюдений?.. На «SOS» утопающих в своем «материале» исследователей откликается друг Ромашова, молодой профессор математики Колмогоров. Совместной работой по генетико-автоматическим процессам ученые вписывают свою страницу в «книгу эволюции». Для Дубинина с этой работы начинается длинная цепь исследований. Они займут еще столько же лет, сколько прожито до их начала... Спустя три десятилетия в фундаментальном своем труде «Эволюция популяций и радиация» он подытожит их, наполняя в известной мере генетическим содержанием эволюционное учение Дарвина.

#### IV

За десять лет научной деятельности — три, если не четыре, важнейших открытия. И все-таки круг интересов Дубинина не замкнут накоротко генетикой или даже биологией — что, впрочем, естественно в среде воспитанников Кольцова — друга Горького, Павлова, Семашко.

«В летних экспедициях, когда темнеет, а керосина нет, он один устраивает литературные вечера, декламирует стихи и читает наизусть прозу всех времен и народов». Заядлый охотник и рыболов, конькобежец, лыжник, теннисист, шахматист, «он принимает мир целиком, огромный, чудесный, благоухающий мир, созданный для него революцией». Это из очерка о Дубинине в «Наших достижениях» — вышедшем под редакцией Горького журнале, в котором профессор Кольцов принимал участие, — очерка мажорного и даже более того — по-женски, взаллеб восторженного. Отчего же врываются в него трагические ноты?

«Он (Дубинин) обрек себя служению науке, — пишет автор очерка А. Крылова, — задумав статью одним из тех, по словам Фихте, «мужей, которые преданы ей до гроба, которые примут ее, если она будет отвергнута всем миром, которые открыто возьмут ее под защиту, если на нее будут клеветать и ее будут порочить, которые ради нее с радостью будут переносить хитро скрытую злобу сильных, пошлую улыбку суемудрия и сострадательное подергивание плечами малодушия».

Это пишется о жизнерадостном, полной мерой счастливым Дубинине, но секрет все-таки не в интуиции автора и не в проницательности героя очерка, хотя цитируется одна из любимых его книг — лекции Иоганна Готлиба Фихте «О назначении ученого», читанные в 1794 году в Йенском университете; там есть и такие слова: «Я — жрец истины, я служу ей, я обязался сделать для нее все — и дерзать и страдать... Если бы я ради нее подвергался преследованию и был ненавидим, если бы я умер у нее на службе, что особенное я совершил бы тогда, что сделал бы сверх того, что я просто должен был сделать?»

Именно в то время проблема наследственности выходит за профессиональные рамки, становится общественной проблемой. Уже в 1936 году сессия Академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) широкообсуждала вопросы наследственности — после того, как на страницах журнала «Яровизация» было объявлено о новой концепции, а хромосомную теорию заклеили реакционной и идеалистической.

Как редактор «Наших достижений», Алексей Максимович Горький, конечно, читал очерк о профессоре генетики Дубинине и в истории беспризорника, столь стремительно поднявшегося к высотам культуры, увидел, должно быть, нечто большее, чем частную биографию одного человека. В ту пору Горького увлекла идея юбилейного многотомного издания к двадцатилетию Октября, которое подвело бы, по его замыслу, «художественный итог» замечательному двадцатилетию. Один из томов предполагалось посвятить знатым людям страны социализма — металлургам и колхозникам, летчикам и инженерам. Алексей Максимович предложил молодому писателю Каверину написать для «Двух пятилеток» (так называлось задуманное издание) художественную биографию молодого профессора Дубинина. Писатель согласился, и вскоре по его поручению из созданного при ре-

дакции кабинета мемуаров к Дубинину пришел один из «беседчиков», записавший рассказ героя будущей книги о себе.

Рассказ получился интересным, но писатель не осуществил своего намерения. Не состоялось и все задуманное Горьким издание. После смерти Алексея Максимовича работа над «Двумя пятилетками» прекратилась. Каверин же принялся тогда за «Двух капитанов», и хранившаяся у него запись беседы с Дубининым сослужила ему службу — он воспользовался в романе кое-какими деталями из биографии ученого. Пригодились и стихи дубининского сочинения, записанные тогда же. Понятно, их автор не думал, что шутейные его куплеты выйдут за пределы товарищеского кружка; когда бы не эта запись, так бы оно и случилось. Но писатель, несколько переиначив и переадресовав, вставил их в детскую «Сказку о Митьке и Маше, о Веселом трубочисте и мастере Золотые руки», в которой говорится об очень серьезных и порою страшных вещах.

Только один Веселый трубочист распевает в мрачном Кошеевом царстве задорную песенку:

Пять рыцарей веселых,  
Бесстрашных пять сердец,  
Мы шею Кошею  
Намылим наконец.

Веселый трубочист не подозревает, конечно, что слова его песенки принадлежат биологу Дубинину и что прежде него, сказочного трубочиста, распевали ее на известный мотив, считая гимном своей бригады, генетики-«челюскинцы»:

Пять рыцарей веселых,  
Бесстрашных пять сердец,  
Мы шею Кошею  
Намылим наконец.

Разумеется, это и происходит в конце детской сказки. Обещание Веселого трубочиста сбывается. Но понадобится еще много лет, чтобы сбылось обещание «челюскинцев» из института Кольцова — ведь они, распевая свой гимн, под Кошеем подразумевали другое, нежели в сказке, лицо, хотя тоже вполне определенное и, к сожалению, хорошо биологам знакомое.

## V

«На крыльях маленькой мушки дрозоды прилетела большая слава к молодому советскому ученому. Мушка оказалась

незаменимым подопытным насекомым и ближайшей «сотрудницей» Николая Петровича Дубинина.

— Дрозофиле выпала почетная миссия в развитии генетики, — рассказывает он. — В научных институтах всех стран предпочитают работать именно с нею. По праву заслуживает она такого же памятника, какой Павлов воздвиг собаке в Колтушах. С помощью дрозофилы, — замечает Дубинин, — наука сотворит чудеса!

— Но слона из этой мухи генетика все-таки не сделает. Как вы думаете?

Николай Петрович хохочет:

— Если биологи добьются решающих успехов в области генетики и научатся управлять мутационным процессом, то тогда и дрозофилу, пожалуй, можно будет превратить в слона!..»

Так писала многотиражная газета МГУ имени М. Н. Покровского «За пролетарские кадры» 1 мая 1936 года.

Дрозофила воцарилась в генетических лабораториях во втором десятилетии нашего века — в ту пору сама наука генетика была еще как бы в состоянии отрока, нащупывающего свою стезю, — и абсолютная мушиная монархия продержалась по меньшей мере лет тридцать.

Собственно, рождение генетики как науки произошло дважды. В 1900 году три исследователя-ботаника Г. де Фриз (в Голландии), Э. Чермак (в Австрии) и К. Корренс (в Германии) одновременно и независимо установили основной генетический закон о «расщеплении» наследственных признаков, об их несмешиваемости в потомстве. Интересен, хотя не уникален, факт «одновременности» открытия несколькими учеными. Самое же поразительное заключалось в том, что «тройственное» открытие оказалось вовсе и не открытием, а всего лишь повторением. Открытие было сделано на тридцать с лишним лет раньше любителем-опытником, как сказали бы теперь, монахом из города Брно, который в свободное от сношений с небом и от уроков в школе время (преподавал он естествознание) любил повозиться на монастырском огороде, причем делал это отнюдь не из потребности в продовольствии, а для изучения природы. На протяжении восьми лет отец генетики Грегор Мендель кропотливо выращивал и изучал растения гороха (доведя число исследованных растений до десяти тысяч), что позволило ему установить закономерности наследования «родительских» признаков при скрещивании раз-

личных сортов, а затем опубликовать полученные данные в провинциальном, никем не читаемом журнале... Современники (в их числе Чарльз Дарвин) не заметили скромной публикации, а ее автор умер в безвестности, подтвердив еще раз истину, согласно которой оказаться дальноруким в науке столь же грустно, как быть близоруким...

Тридцатилетний промежуток между двумя рождениями законов наследственности не прошел бесследно для генетической науки, находившейся еще в зародыше. В этот скрытый, «инкубационный» период возникают идеи Августа Вейсмана — о существовании наследственного вещества, Гуго де Фриза — о мутациях... Однако лишь после «воскрешения» законов Менделя бытовавшие как бы сами по себе идеи разных ученых стекаются в лоно новой науки генетики, а вскоре американский биолог Т. Г. Морган привлекает к изучению наследственности методы цитологии — науки о живой клетке. Благодаря микроскопу происходит буквально прозрение генетики. Морган не просто разрабатывает теорию, согласно которой «носителем» родительских признаков являются окрашиваемые тельца в ядре клетки — хромосомы, но и пытается раскрыть их внутреннее строение. Согласно его взгляду хромосомы представляют собой как бы цепочку, каждое звено которой есть не что иное, как единица, атом наследственности, получивший наименование гена. Объектом исследований Моргана — исследований, в результате которых фундамент генетики оказался окончательно достроенным, — была дрозофила.

Как поется в современной песенке:

Муха по свету летала  
И в пробирочку попала...

Дрозофила привлекла исследователей удобными для наблюдения хромосомами. Не менее важно, что мухи очень быстро плодятся, каждые десять-двенадцать дней появляется новое поколение, двадцать пять — тридцать поколений в год, на которых можно быстро выявить наследственные изменения. Подобные опыты со слонам заняли бы столетия. (По-видимому, иными словами, превращение мухи в слона не всегда целесообразно.) Только вирусы и бактерии, введенные в генетический «оборот» в середине 40-х годов, с их неизмеримо более высокими скоростями размножения, сумели потеснить позиции дрозофилы в генетике, хотя далеко еще не

вытеснили ее. Вся хромосомная теория, вся теория мутаций — изменений в генах, а также связи между мутациями и хромосомами — все это было выявлено и проанализировано с помощью дрозофилы. За сорок лет на дрозофиле изучили 600 мутаций.

Однако плодовая мушка оказалась превращенной в слона значительно раньше, чем мог предположить доктор биологических наук Дубинин.

...Всякий раз после очередного разгона в лаборатории становилось непривычно тихо. У людей — в особенности молодых — опускались руки. «Неужели не можете достойно ответить?» — упрекали они «старичков». Дубинин собирал сотрудников: «Что за панические настроения? Надо работать, спокойно работать!»

Говорить это было много легче, чем делать. И все-таки они делали интересные работы — и «старички» и молодежь. Начал исследование по полиплоидии — выведению плодовых форм растений с увеличенным против обычного числом хромосом — В. В. Сахаров. Молодой Иосиф Рапопорт, вызвав мутации генов путем химического воздействия, совершил открытие мирового значения. В 1946 году Академия наук СССР избрала Дубинина своим членом-корреспондентом, отметив тем самым успехи представляемого им направления.

...Незадолго до войны Дубинин наблюдает в Воронеже и его окрестностях за тем, как плодовые мушки приспособляются к различной обстановке — к условиям сельской местности и к более мягким городским условиям. Оказывается, вид распадается как бы на две разные расы, причем удается установить связь изменений в организме с изменениями хромосом. Из этих опытов следует, что под влиянием созданной человеком среды появилась новая раса насекомых.

В конце войны Дубинин, активно продолжавший работу по эволюционной генетике, рассматривая ее как экспериментальное развитие дарвинизма, снова приезжает в Воронеж, чтобы выяснить, как изменилась мушинная раса в суровых условиях полуразрушенного города.

Он приходит к выводу, что изменившаяся среда изменила самих насекомых.

Это исследование Дубинина в докладе на августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года академик Т. Д. Лысенко представил как пример полнейшего отрыва от жизни «якобы наиболее выдающегося из наших морганистов». Если бы противники генетики хоть в какой-то мере интересовала научная ис-

тина, то вместо того, чтобы приписывать «инакомыслящим» взгляды Вейсмана о неизменности гена, которых они, разумеется, не разделяли (профессор Кольцов высказывался решительно против этого еще в 1915 году), они должны были бы приветствовать эту работу Дубинина: ведь в ней — пусть по-иному объясняемое — доказывалось влияние среды на наследственность!

В самом деле, отрицать зависимость организма от среды — значило бы отрицать эволюцию. В 40-е годы XX века расхождения между представителями двух направлений в биологии заключались совсем в другом.

Всякий признак когда-то приобретает. Вопрос в том, как это происходит. А откуда возникает другой — уже практический — вопрос: как управлять процессом приобретения признаков или как проводить селекционную работу? «Наследственность не в состоянии непосредственно реагировать на изменения окружающей среды, — утверждали генетики, — механизм воздействия гораздо сложнее». За это их называли «антимичуринцами».

Между тем еще в 1939 году Дубинин написал книгу об Иване Владимировиче Мичурине, о методах и теоретических основах его работ. И отнюдь не вина автора, что в течение многих лет эта книга, как, впрочем, и другая его книга — по эволюционной генетике, — существовала лишь в виде рукописи и до 1966 года была мало кому известна.

Внимательно, шаг за шагом прослеживая эволюцию во взглядах естествоиспытателя за долгие шестьдесят лет селекционной деятельности, автор показывает, что Мичурин «твердо шел к синтезу своего учения с новыми достижениями генетической науки». Незадолго до своей смерти в 1935 году, Иван Владимирович писал профессору Кольцову: «...Ваше желание тесней связаться с моими работами целиком отвечает моим желаниям, и я, по мере моих сил и знаний, постараюсь эту связь поддерживать...»

## VI

Член-корреспондент Дубинин стал работать в Институте леса у академика Сукачева. Зимой он появился в Зоологическом музее Московского университета и, по странному совпадению, рядом с аудиторией, где студентом слушал Кольцова, опять поступил в обучение — на сей раз к музейным препараторам. Вместе с несколькими сотрудниками он готовится



к экспедиции в долину реки Урал, чтобы в тамошних лесополосах изучать... птиц.

Он любил те охотничьи заповедные места — степное раздолье, волю, сторожкий лёт уток на заре... Но теперь он собирается не на отдых, на работу. Постепенно увлекаясь новым для себя делом, изучает орнитологические фолианты. Вместе с сотрудниками-«соучениками» покупает в складчину у Елисеева белых куропаток — надо научиться разделять птичьи тушки, а мясо... его отдают учителям-препараторам на обед. Потом для «экзамена» понадобилась птичка помельче, Дубинин вышел во двор и одним выстрелом сбил с ветки воробья. У него верный глаз.

Семь сезонов провел со своим отрядом Дубинин в лесных полосах на трассе гора Вишневая — Каспийское море, исходил уральскую пойму от степного Оренбуржья до пустынь под Гурьевом. Где-то тщетно ждали его поклонов, а он, разбив лагерь на берегу реки, слушал птичьи голоса, наблюдал птичьи повадки, открывал для себя новый, неизученный мир.

«...Я жрец истины... если бы я умер у нее на службе, что особенное совершил бы я тогда...» — теперь он вправе повторить эти слова, относя их к себе и своим товарищам...

Он имеет право повторить эти гордые слова, но не в силах этого сделать. Он органически не способен к унынию, а от проповедей его всю жизнь разбирает смех. Какой он «жрец»?!

По весне, на утренней зорьке, ему хорошо сидеть «на гнезде» — не дыша следить за ловкой работой пичуг в полевой бинокль, ставя «точки» секундомером. У него даже появились свои любимцы — чудесные, маленькие, как колибри, ремезы. Трогательную птичью парочку в экспедиционном отряде прозвали Ромео и Джульеттой, даже собрались было сочинить детскую книжку про них — как вьют они гнездышко, похожее на пуховую vareжку («палец» служил им входом), как заботится о своей Джульетте маленький Ромео, пока Джульетта высиживает птенцов, о самих этих птенчиках-ромеочиках размером с горошину.

Хорошо было жить на природе, не стараясь «подмять» ее, а лишь наблюдая. Наука требовала жертв — тогда приходилось заряжать ружье. Дубинин стреляет без промаха, но старается этим не злоупотреблять. Чтобы выяснить для науки птичье меню, предлагает такую методику: вытаскивать из гнезда птенцов, перевязывать им зобики и сажать обратно... Когда зобик

набухал от заглотанной пищи — снова лезли на дерево, извлекали букашек, иногда еще живых, и распускали узел. Расти, птенец!

Еще и так проводили перепись птичьего населения: втроем шли цепочкой по лесу метрах в тридцати друг от друга и слушали голоса. Кто шел слева — слушал левую сторону леса, кто шел справа — слушал правую. В середине шагал Дубинин и для контроля прослушивал весь лес.

Он и сам был, как птица, жестоко, с подрезанными крыльями, отпущенная на волю, но, неисправимый жизнелюб, он снова готов был распевать, как Веселый трубочист в детской сказке:

Пять рыцарей отважных,  
Веселых пять сердец...

В отряде их было семь, а не пять, но не в этом дело... Он гнал от себя непрощенные воспоминания — все прошлое было далеко-далеко отсюда, от мест, где июньская мошка была куда ужаснее августовской дискуссии. Здесь, в подлинной жизни, все это казалось суетой сует.

Но и в далеком далеке от генетики, занятый вовсе не знакомым поначалу делом, он остается самим собой как ученый — серьезным исследователем. Предлагает даже собственный метод географического картирования фауны, позволивший, по мнению специалистов, по-новому подойти к некоторым проблемам зоологии. По сию пору Дубинина приглашают на орнитологические конференции.

Да, он стал тогда вполне приличным орнитологом, написал даже две книги о птицах... Но зимой, по окончании полевого сезона, с превеликим трудом раздобывал в библиотеках иностранные научные журналы, внимательно следил за всеми работами по генетике. И на это надо было иметь мужество — читать об успехах коллег, не имея возможности сказать свое слово.

А генетика не топталась на месте, она становилась одной из самых «успевающих» наук. Каждый год приносил новые победы. Достаточно упомянуть о такой: было ясно показано, что основой наследственности, материальным носителем генетической информации являются нуклеиновые кислоты ДНК — их структуру удалось расшифровать. Разумеется, Дубинин мог бы поставить микроскоп у себя дома, раздобыть — хотя это было не просто — «чистые линии» мух... и что-то делать, как кустарь-одиночка. Но затворничество вовсе не по натуре ему. А помимо всего, это просто бессмыс-

ленно — и потому, что эпоха кустарных открытий минула, и потому, что он не смог бы никому сообщить о своей работе, — а через месяц или через год ее независимо от него сделал бы кто-то другой. В наши дни идеи носятся в воздухе. Оставалось одно — читать, чтобы не отстать от времени, читать и думать, этого ему никто не мог запретить. И он думал. И читал — с болью и с надеждой, пряча боль за обычной своей озорной жизнерадостностью и без усилия выказывая надежду.

## VII

В декабре 1943 года на стадионе в Чикаго заработал первый атомный котел, разожженный Энрико Ферми. 16 июля 1945 года в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, был произведен ядерный взрыв. Через двадцать дней в Хиросиме состоялось трагическое знакомство человечества с последними достижениями новейшей физики. Все это имело непосредственное отношение к судьбе Николая Дубинина — еще более непосредственное, чем к судьбе каждого из нас.

Пуск реактора на стадионе в Чикаго означал, что на смену веку электричества пришел ядерный век — хотя люди осознали это позже, после Хиросимы, водородных бомб, пуска первых атомных электростанций. Расщепление атомного ядра не оставило без влияния ни техники, ни медицины, ни политики, ни человеческой психологии.

Дубинин вернулся к «своим мухам» через восемь лет после разлуки — чтобы организовать лабораторию радиационной генетики. Она была вызвана к жизни насущными нуждами ядерного века.

Впрочем, мух-то и не было. Ведь для экспериментов нужны «чистые линии», выведение коих требует долгого времени... Существовавшие же раньше линии мух пропали.

Пришлось добывать мух всеми возможными путями. Получали бандероли — драгоценные коробочки с пробирками от зарубежных коллег. Писатель Олег Писаржевский вспомнил о ночном звонке, которым поднял его известный физик академик Арцимович. Академик звонил с аэродрома — просил помочь спешно найти адресатов драгоценной посылки с живым содержимым: он привез шкатулку с Международного конгресса по термоядерной энергии для генетика Дубинина и не знал, чем кормить обитателей этой шкатулки... Несколько линий вывели из диких мушек,

пойманных Дубининым на даче в Домодедове. Теперь эти линии — Д-32 (Домодедово-32), Д-18 и другие — известны многим генетическим лабораториям.

Трудно было не только с мухами. Не было генетиков, за исключением нескольких старых товарищей, «выуженных» из различных «прибежищ». Не было помещения. Начиналась эпоха, увековеченная Вергилием лабораторного масштаба:

...Сначала вовсе по домам,  
Потом в худом сарае, —  
Но и сарай казался нам  
В те дни заветным раем...

...Истосковавшиеся по любимой работе люди с таким жаром взялись за дело, что их молодые, неопытные помощники вскоре оказались во власти всеобщего энтузиазма.

Человек и радиация!

Первоклассные исследовательские институты в различных странах работали над этой «проблемой века». Ядерные взрывы повсеместно повысили природный уровень радиации. Нейтроны, жесткие гамма-лучи, которые раньше наблюдались лишь в ничтожных количествах в тиши лабораторий, после каждого ядерного взрыва ливнем обрушивались на огромные пространства. Радиоактивные осадки выпадали у полюсов и на экваторе. Радиоактивные вещества — стронций, цезий, углерод — жадно поглощались растениями и вместе с пищей попадали в организм животных и человека, постепенно накапливаясь в тканях. Однако по сравнению с облучением, которому подверглись жители Хиросимы, облучение от этих причин казалось ничтожным. Какими последствиями оно угрожало человечеству? Представляло ли это опасность, и если представляло, то какая величина опасности? Для ответа на этот вопрос X сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1955 году решила создать Научный комитет по атомной радиации. Дети всех народов и классов нуждались в защите в одинаковой мере. Физики, медики, радиобиологи, гигиенисты, генетики — ученые многих стран объединили усилия, чтобы установить, какую действительно опасную несет повышение радиоактивного фона планеты из-за дальнейших испытаний ядерного оружия.

Генетики сумели найти с физиками и химиками общий язык задолго до Чикаго и Хиросимы. Начиная с Меллера работы по радиационной генетике выполнялись на понятном физики «нарепичи». А работы В. В. Сахарова, И. А. Нарепорта — сотрудников кольцовского Института эксперимен-

тальной биологии, — Шарлотты Ауэрбах (Англия), впервые получивших мутации от воздействия на хромосомы химическими веществами, имели ярко выраженный химический «акцент».

Те же биологи, которые упрямо твердили, что биологические закономерности нельзя свести к законам физики и химии, и по этой причине всячески противились проникновению в биологию физических и химических методов исследования — оказались совершенно неподготовленными к встрече с ядерным веком. Они оказались безоружны перед его проблемами. Лишь благодаря генетике человечество вошло в атомный век с пониманием опасностей, грозящих не только ему самому, но и далекому его потомству.

...Доктор биологических наук Милица Альфредовна Арсеньева, сотрудница лаборатории радиационной генетики, давнишний, еще с аспирантских времен, товарищ Дубинина — в конце 20-х годов они вместе начинали у профессора Серебровского на Смоленском бульваре — весной 1961 года в составе советской делегации приехала в Женеву на сессию Научного комитета ООН.

Она приехала в Женеву не с пустыми руками. Были добыты убедительные доказательства того, что безвредного повышения радиационного фона Земли попросту не существует. Малейшее усиление радиации вызывает новый поток наследственных повреждений.

Малейшее усиление, малая доза... Где граница между малейшим и малым, между малым и средним?... Нужны были какие-то осязаемые цифры — количественная мера радиационной опасности. Научный комитет на своей предыдущей сессии принял рекомендацию Национальной академии наук США считать такой мерой (дозой) облучения, при которой естественная частота мутаций удвоится) приблизительно тридцать рад.

Американские ученые получили такие результаты в опытах с мышами. Оставалось, однако, неясным, можно ли эти данные распространить на человека. Вместе с доктором биологических наук Г. Г. Тиняковым — тем самым, который за четверть века до того входил в команду дубининских «челюскинцев», — М. А. Арсеньева сравнила по радиочувствительности мышей с обезьянами — как с наиболее близкими человеку животными. Эти данные послужили основой для расчетов Н. П. Дубинина, с которыми Арсеньева приехала в Женеву.

Но в толстом ее портфеле, помимо этих

расчетов с «косвенными» аргументами, припасены были козыри — результаты прямых опытов, подтверждавших теоретические расчеты. Объектом исследований служили ткани «самого» человека — культивированные в искусственной питательной среде. Облучали живые клетки, чтобы наиболее прямым из возможных экспериментальных путей проверить теоретические расчеты Дубинина. И расчеты подтвердились с блеском. Доза, которая удваивала природную частоту мутаций у человека, оказалась намного меньше, чем было общепризнано до тех пор: не 30, а всего лишь 10 рад!

Вот с этим-то багажом в портфеле и пришла Арсеньева на заседание в женевский Дворец наций как полпред советской науки.

Ученые обсуждали «исчерпывающий доклад», который Научный комитет должен был представить от их имени Генеральной Ассамблее ООН. Проект доклада, составленный секретариатом, лежал перед каждым участником заседания.

— Раздел «Мутационное действие излучений». Пункт «Концепция удваивающей дозы», — объявлял председатель, известный индийский генетик Гопал-Энгар.

— Какие есть замечания? — спрашивал секретарь.

Присутствующие просматривали текст и по очереди предлагали поправки.

Когда Арсеньева выступила с замечаниями по поводу удваивающей дозы — их было немало, обсуждавшийся проект составляли люди, почти незнакомые с последними советскими работами по генетике, — заговорил доктор Рассел, крупный американский ученый. Именно его работы составляли основу прежних решений.

— В чрезвычайно интересных данных, которые нам сообщили, — сказал он, — речь идет не о генных мутациях, а всего лишь о хромосомных перестройках.

Это было справедливое соображение, работы самого Рассела на мышах отличались большой тщательностью и размахом, тогда как работы Дубинина и его сотрудников — в силу известных объективных причин — проводились в масштабах куда более скромных и на более «грубом» уровне — уровне хромосом. Если бы ООН была обеспокоена защитой мышей, результаты Рассела были бы неоспоримы. Но при всех минусах у работ Дубинина был главный плюс: они устанавливали зависимость между животными разных видов. Если результаты Рассела были великолепны по техни-

ке эксперимента, то дубининские превосходили по их «стратегическому» замыслу.

В стенах, привычных к дипломатическим словопрениям, разгорелся спор искателей истины, но слишком разбирающихся в светских тонкостях. Как известно, научная истина не определяется большинством голосов. На оппонентов можно было воздействовать лишь фактами...

— Есть работы Дубинина, Хвостовой, Мансуровой по дрозофиле, — доказывала Арсеньева. — Между генными мутациями и хромосомными абберациями существует корреляция.

— Дрозофила не человек!

— А обезьяна?

Совместные поиски истины, несмотря на явно эмоциональную окраску, которую они порой принимали, в конце концов привели ученых к согласию.

Это кажется поистине чудом — испытывая постоянную нехватку в приборах и оборудовании, при отсутствии элементарных удобств, Дубинин и его сотрудники сумели сказать свое веское слово в решении «проблемы века». Значение этого слова таково, что оно было во всеуслышание объявлено современному человечеству с трибуны Организации Объединенных Наций.

## VIII

Опыты, которые послужили основой для доклада в Организации Объединенных Наций, проводились в Новосибирске. Здесь должна была начаться новая глава в биографии Дубинина.

Нетрудно понять, почему академик Лаврентьев пригласил его в Новосибирск. Перекрестное научное «опыление» — вот в чем заключалась идея, вот в чем главным образом проявился новаторство создателей Сибирского научного центра, поскольку, по общему мнению, крупнейшими открытиями чреватые сегодня именно стыки наук. Образующиеся на стыках науки-«гибриды» обладают поразительной жизнеспособностью, богатством идей.

Новый Институт генетики и цитологии замышлялся с дубининским жаром и сибирским размахом. Создать плацдарм для биологии будущего, разрабатывать важнейшие принципиальные проблемы — вот как ставилась задача, разрабатывать их в содружестве с институтами физики, химии, математики, с сельскохозяйственными учреждениями Сибири.

В начале мая 1958 года Дубинин во главе «десанта» генетиков прилетел в Новосибирск и отправил разведчиков по се-

лам вокруг будущего Академгородка — искать подходящие для опытов со свеклой теплицы. Для начала сибирского плацдарма Дубинин выбрал работу по полиплоидии. К тому времени генетики овладели рядом практических способов управления наследственностью. Полиплоидия была одним из них. Еще в пору расцвета кольцовского института удалось вывести ценные полиплоидные формы лекарственных растений. Клещевина и гречиха, полученные в самом начале войны Сидоровым, Соколовым и Сахаровым, оказались заметно урожайнее обычных сортов. Дубинин во время войны пытался (правда, неудачно) получить таким методом сахарную свеклу. Впоследствии подобную же попытку предпринял Сахаров. Этим методом созданы лучшие советские сорта табака, ржи, винограда, клевера, арбуз без косточек... Словом, имелся некоторый опыт и заманчивые перспективы.

Поначалу «штаб» будущего института разместился в московской лаборатории Дубинина. В распоряжении будущих сибиряков оказалось два стола в «заветном рае» — том самом, который позже запечатлел лабораторный Вергилий, — и подробно расписанная методика Сахарова, следя которой должествовало получить полиплоидные семена свеклы.

Дубинина не раз обвиняли в небрежении к запросам практики. Сначала обвиняли преждевременно, затем обвиняли несправедливо: Дубинин не чурался практических задач, но по-прежнему считал, что решать их следует на твердой почве теоретических и экспериментальных исследований — это освободит селекционеров от необходимости брести на ощупь. В первой своей сибирской работе ученый доказывал свою правоту делом: методика оказалась настолько надежной, что работу смело поручили группе молодых людей, до тех пор знакомых со свеклой в основном по винегретам в студенческих столовках.

...После долгих блужданий по окрестностям строящегося Академгородка возглавляемые Вадимом Паниным «разведчики» нашли, наконец, заброшенную теплицу в Нижней Ельцовке. От нее уцелел лишь каркас, ни стекла, ни отопления не было. Принялись за ремонт. Сами стеклили, доставали материалы. Доски для ящиков купили на деньги, предназначенные для отделки дубом кабинета Лаврентьева. «Институт» помещался в одном коридоре с Лаврентьевым, на Северной, 20. А экспериментальная база — в Ельцовке, в частной избе, снятой поблизости от теплицы.

Там в четыре руки Женя Панина с Люсей Чугаевой, пользуясь привезенными из Москвы микроскопами, начали эксперименты. Там и спали — на раскладушках, в спальнях мешках.

Терпение и аккуратность — вот что требовалось, как всегда, от селекционеров. И еще раз терпение. Поддержать проросшие семена обычной свеклы в растворе колхицина, отмыть, посадить в горшочки. Когда высунутся первые листики, приготовить препарат и разглядеть под микроскопом полиплоидные, с увеличенным числом хромосом клетки. Растения с такими клетками высадить в грунт, собрать и отобрать семена... И так далее и так далее.

По ночам случались еще заморозки — Сибирь! — и тогда в теплице до утра жгли соломой. Потом обнаружилось, что свекла болеет — оттого, что почва заражена. И чтобы уничтожить инфекцию, почву варили в ведрах, как кашу... Пятилетняя Женина Света, пока мать возилась со свеклой, играла в теплице в песочек; а когда дома взрослые искали свои полиплоиды, время от времени заглядывала к ним в микроскопы. Света Панина отличилась на лекции Дубинина в Академгородке — его первой лекции о генетике, собравшей многолюдную аудиторию во главе с Лаврентьевым. Света Панина прервала лектора страшным ревом. Но когда на нее зашикали, Дубинин успокоил присутствовавших. «Этот ребенок видел хромосомы», — сказал он.

Новосибирск 1958 года... Самый воздух жгущегося Академгородка пропитан смелостью, фантазией, интеллектом, словом, чем-то таким, от чего на еретиков-генетиков повеяло их собственной молодостью. Из разных мест съезжаются к Дубинину председатель колхоза Шкварников, специалист по пушному зверю Беляев, зоотехник из Таджикистана Керкис, ленинградец Лутков... Пока строится новое здание будущего института, лабораторий генетиков «распиханы» по другим институтам, по закуткам и коридорам. Но работа уже началась. Планы огромные! За занавеской в коридоре «технологички» изучают функции ДНК. Где-то в другом углу окунают в раствор колхицина семена свеклы. Бурлят семинары. По теории. По генетике растений, животных и вирусов. По генетике рака. По радиационной генетике... Молодежь с упоением впитывает новые для себя генетические идеи.

...Но институт не успел еще развернуться, как его начали обследовать различные комиссии, пытаясь поставить под сомнение намеченные директором научные планы. Не-

смотря на поддержку академика Лаврентьева и всего руководства Сибирского отделения Академии наук, отстоять Дубинина не удалось... В этой трудной игре генетики решаются на жертву. Дубинину пришлось уводиться по «собственному желанию» — чтобы такой ценой сохранить основанный им институт.

И хотя это уже последняя туча рассеянной бури, еще пять лет пройдет, прежде чем наступит пора подвести итог многолетней битве за правду в науке.

В эти пять долгих лет Дубинин скажет свое слово в проблеме радиационной опасности. Обобщит, осмыслит в своих книгах проблемы радиационной генетики, этого рожденного веком раздела науки. Сияющий от счастья — несмотря на все, что выпало на его долю, он остался куда способнее к радости, чем к горю, — вскоре после полета Гагарина выступит на «космическом» семинаре в своей московской лаборатории радиационной генетики (ЛАРГ). Он вернулся сюда, «сосланный» из Сибири. А «космический» семинар сохранила для истории лабораторная кинолетопись, что ведется студией «ЛАРГ-фильм».

...Счастливые лица в тесной, до отказа набитой комнатухе — все в том же «заветном рае». Первый человек в космосе! Бытовые неурядицы не могут испортить праздничного настроения. И те, кто собрался в тесной комнатке на «космический» семинар генетиков, имеют к великому событию непосредственное отношение.

Задолго до того, как корабль с человеком на борту впервые вышел на космическую орбиту, маршрут был всесторонне обследован с помощью искусственных спутников Земли. В этой разведке наряду с другими широко использовались биологические методы. Первыми «разведчиками» космоса были не только знаменитые Лайка, Белка и Стрелка, но еще и мыши, мухи, микробы, культуры тканей человека (лоскуты кожи, взятые у добровольцев), семена растений, штаммы хлореллы. «Микрокосмонавты» послужили своего рода биологическими индикаторами, регистрировавшими вредные воздействия, которые могут угрожать человеку в космосе; они помогли ученым понять, как сказываются на живом организме различные факторы полета, и предусмотреть необходимые меры для биологической защиты человека в космическом путешествии.

С помощью летающих лабораторий, слово саперы с помощью миноискателей, генетики прощупали будущие орбиты кораблей «Восток» и установили, что они без-

опасны для человека. Космические лучи, пронизывающие мировое пространство, на этих орбитах не способны вызвать наследственных повреждений. Это был осязаемый вклад ученых-генетиков в полет Гагарина. На своем «космическом» семинаре им было что праздновать!

Но служба «Генетика — космосу» вскоре обогатилась обратной связью: «Космос — генетике». В изданном Академией наук СССР сборнике «Космические исследования», во втором выпуске первого тома, можно найти посвященную этим вопросам научную статью группы авторов. Имя одного из них известно далеко за пределами круга специалистов. Это П. Р. Попович. Космонавт-4. В опыте с микроспорами традесканции (есть такое растение), проведенном П. Р. Поповичем на тридцать седьмом витке космического полета, через пятьдесят шесть часов после старта, был обнаружен новый вид хромосомных перестроек...

Космонавт-5 В. Ф. Быковский несколько усложнил опыт Космонавта-4. Он «зафиксировал» традесканции трижды во время полета: сразу после выхода на орбиту, непосредственно перед спуском и после посадки. Таким образом, оказалось возможным отделить действие вибрации и ускорений при подъеме и спуске корабля от влияния невесомости и космической радиации.

Не остался в стороне от генетических экспериментов и Андриян Николаев. Он проделал единственный в своем роде опыт с плодовой мушкой дрозофилой. В прозрачном плексигласовом ящичке, разделенном надвое, помещались отдельно самцы и самки дрозофилы. После длительного пребывания в невесомости экспериментатор-космонавт, соединив отсеки, подпустил самцов к самкам. Ученые получили уникальную возможность исследовать влияние длительной невесомости не вообще на организм насекомого, а непосредственно на процессы оплодотворения. При этом исследовать на классическом объекте генетических экспериментов — плодовой мушке дрозофиле.

«...Мне были даны судьбой хорошие родители, хорошие учителя, хорошие коллеги, хорошие ученики, хорошие друзья, ве-

ликие возможности, неизменное везение и отличное здоровье», — вот каким «комплексом» причин объяснял свои научные достижения знаменитый Дж. Дж. Томсон, «отец» электрона и один из зачинателей современной физики.

У Николая Дубинина были хорошие родители, учителя, лучше которых не найти, — Четвериков, Кольцов, Серебровский, хорошие коллеги и друзья, везение и здоровье. И все-таки судьба раскачивала его, как на гигантских качелях: то одаривала головокружительными взлетами, то заставляла расплачиваться жестокими падениями... Окажись область его исканий где-то на окраине человеческого знания, быть может, у него не достало бы твердости духа. Дубинина укрепляла вера — не только в правоту своих взглядов, но также в исключительную важность избранного направления. Чувство долга поддерживало его. И его старые товарищи, старые верные друзья...

И когда на торжествах в старинном городе Брно, в Августинском монастыре, настоятель которого возился сто лет назад с горохом на монастырском огороде, Дубинину — как и коллеге его по кольцовскому институту Б. Л. Астаурову — в числе выдающихся генетиков мира вручали почетную медаль «Грегор Мендель», Дубинин не мог не вспомнить стихов времен своей молодости — «биологического» переложения пушкинской «Полтавы»:

Сии птенцы гнезда Кольцова  
В премежах жребия земного  
Не сломлены — закалены  
Монаха Менделя сыны...

«Грегор Мендель простер руки над будущим всей биологии!» — заявил на торжественном заседании Академии наук СССР, посвященном столетию великого открытия законов наследственности, Николай Петрович Дубинин.

А вскоре в Свердловском зале Кремля лауреат Ленинской премии Дубинин приколол к лацкану пиджака медаль с изображением человека, которого видел живым здесь, на Красной площади, почти полвека назад, 1 мая 1919 года.



В. Листов

## Первый фильм Дзиги Вертова

Кинохроника — зрительная память новейшей истории.

Но память эта зияет досадными пробелами. Далеко не сразу человечество поняло все значение хрупкой целлулоидной пленки, движение которой делает нас на несколько минут современниками величайших событий недавнего прошлого. Старые ленты разрушались небрежным хранением, режиссеры-варвары выкраивали из них куски для позднейших фильмов, а остатки склеивали как попало. Поэтому нередко документальный ролик, хранящийся в киноархиве, подобен картине археологического раскопа, где соседствуют слои различных эпох.

В 1917—1920 годах советские хроникеры запечатлели несколько сотен важнейших событий, но ни один их фильм этого времени не дошел до наших дней в подлинном, первоначальном виде. О великолепных произведениях кинопублицистики того времени — в том числе и о первых работах гениального режиссера Дзиги Вертова — мы можем судить только по случайно уцелевшим фрагментам да по воспоминаниям очевидцев.

А между тем сам Вертов несколько раз упоминал 1918 год как год рождения своего творческого метода. Ибо именно тогда начались вертовские поиски новых выразительных средств, ибо именно тогда родился «киноглаз» — передовая школа кинопублицистики, завоевавшая впоследствии весь мир экрана.

Как начинался ранний Дзига Вертов? Где истоки его собственного творчества? Чтобы ответить на эти вопросы, надо преодолеть толщу десятилетий и условиться,

что на нашем календаре весна года девятьсот восемнадцатого.

Старый, дореволюционный кинематограф лежит в руинах. Предприимчивые киномагнаты Москвы и Петрограда и верные их слуги из «королей» и «королев» экрана укладывают чемоданы — скорее на юг, подальше от «ужасов большевизма», под крылышко к германскому кайзеру, чьи войска заняли Украину. Левые кинематографисты хотят работать с Советами, но не могут — ателье разорены, нет электроэнергии, нет химикалий; дефицитной негативной пленкой темные дельцы торгуют на базарах Киева и Одессы.

В марте — апреле создана первая советская кинопроизводящая организация — Московский кинокомитет. Его отделы размещаются в М. Гнездиновском переулке, в большом и бестолково построенном особняке сбежавшего толстосума Лианозова. Здесь еще все говорит о старом хозяине — обломки дорогой мебели, винные лужи в погребках, роскошная купеческая утварь. Но уже собираются постепенно те, кому суждено начать новый кинематограф, снять первые метры невиданной доселе хроники.

В двадцатых числах апреля с мандатом Луначарского из Петрограда приезжает большевик Михаил Кольцов<sup>1</sup>, студент психоневрологического института, недавно прибывший к хроникальным съемкам. Впоследствии он прославил свое имя как блестящий журналист, автор острых правдинских фельетонов и изумительного «Испанского дневника». А пока Кольцов еще не имеет в Москве жилья, ночует у друзей и знакомых и занимает в кинокомитете на Гнездиновском должность заведующего отделом хроники.

28 мая у заведующего появляется новый секретарь. Ему двадцать два года. Молодой человек откликается на имя Денис, но называет себя Дзигой. Дзигой Вертовым.

Так на Гнездиновский явился гигант кинопублицистики. Его приход остался здесь незамеченным, ибо внешне Вертов еще ничем не выделялся среди юнцов, непременно желающих работать в кино. Но это только внешне. Ибо на протяжении многих месяцев, предшествующих поступлению в кинокомитет, Вертов занят глубокой умственной работой. Он осмысливает видимый и слышимый мир вокруг себя, пытается постичь законы его художественной организации. Позже он будет вспоминать об этом времени: «Однажды, весной 1918 года, — возвращение с вок-



зала. В ушах еще вздохи и стуки отходящего поезда... чья-то ругань... поцелуй, чье-то восклицание... Смех, свисток, голоса, удары вокального колокола, пыхтение паровоза... шепоты, возгласы, прощальные приветствия... И мысли на ходу: надо, наконец, достать аппарат, который будет не описывать, а записывать, фотографировать эти звуки. Иначе их организовать, смонтировать нельзя. Они убегают, как убегают время. Но, может быть, киноаппарат? Записывать видимое...

В этот момент — встреча с Мих. Кольцовым, который предложил работу в кино. Начинается Мал. Гнездииковский, 7...»<sup>2</sup>.

Встреча с Кольцовым была решающим, поворотным моментом в жизни Вертова. Прав, думается, старейший наш кинокритик Хрисанф Херсонский, когда упрекает историков в том, что они недооценивают дружбы двух великих публицистов. Кольцов и Вертов знали друг друга еще до войны, ибо вместе учились в Белостокском реальном училище<sup>3</sup>. А позже их общей «альма матер» стал Петроградский психоневрологический институт. Так что весной восемнадцатого года Михаил Кольцов пригласил в кинокомитет не случайно встреченного человека, а старого своего знакомого.

Весной и летом 1918 года кинокомитет становится собранием блестящих талантов. Руководимые известным большевиком Н. Ф. Преображенским, здесь постоянно работают А. С. Серафимович, А. Н. Толстой, В. Р. Гардин, сотрудничают художники Д. Штернберг, В. Татлин, режиссеры В. Мейерхольд и А. Таиров<sup>4</sup>. Ни одна частная фирма даже в лучшие свои годы не могла бы похвастать таким могучим корпусом операторов, каким располагает Московский кинокомитет. К девятнадцатому году в республике насчитывается всего сорок съемщиков,<sup>5</sup> из коих десять — на Гнездииковском<sup>5</sup>.

Одновременно с Вертовым в отдел хроники приходит шуплый юноша в изодранной австрийской шинели — Эдуард Тиссэ. Через семь лет сам Эйзенштейн разделит с этим оператором лавры «Броненосца «Потемкин». А пока первое рукопожатие Вертова и Тиссэ еще никому не кажется событием. В отделе у Кольцова становятся сослуживцами хроникеры Петр Новицкий, Сергей Забазлаев, Петр Ермолов, Альфонс Винклер, Евгений Модзелевский — каждый из них мог бы стать объектом отдельного исследования. Но для нас сейчас важен лишь круг людей, в котором юный

Вертов делает свои первые шаги на поприще кинематографии.

Взять хотя бы Новицкого. Это одна из крупнейших фигур молодой советской кинопублицистики, оператор, командированный едва ли не на все фронты двух войн, много раз направлявший объектив на В. И. Ленина. Секретарю отдела Вертову приходилось, вероятно, обращаться к личному делу Новицкого, читать его заявление о приеме на работу. Там, между прочим, дана яркая характеристика труда хроникера в сравнении с оператором художественных фильмов: «Театральный оператор работает в спокойных и постоянных условиях... В иных условиях находится оператор по хронике; события заставляют его с кратчайшей быстротой быть наготове, а малейшее его невнимание может погубить ценный сюжет. В случае неудачи такое происшествие уже невозможно пережить. Эти обстоятельства создают оператору-журналисту большую ответственность за свою работу... Постоянное пребывание на улице, внимание, с которым оператор должен следить за событиями дня, быстрое изнашивание платья, обуви при съемках, расход на утренние и вечерние газеты, трамвай и ряд других мелочей не поддаются учету...»<sup>6</sup>.

Отдел хроники живет напряженной бурной жизнью.

Все снимают, все в разъездах.

А Вертов?

А Вертов просиживает служебные часы в отделе. Провожать и встречать кинорепортеров, вести канцелярское делопроизводство, выписывать чужие мандаты — и только? С ума сойти можно! На одной из фотографий восемнадцатого года Вертов так и заснят — за письменным столом, на котором разложены бумаги, стоят чернильницы, пресс-папье, клей. Вспоминая те дни, режиссер Лев Кулешов отмечает: «начал работать на хронике Дзига Вертов, насколько я помню, вначале чуть ли не делопроизводителем»<sup>7</sup>. Мемуарист колеблется, сообщаемый им факт кажется невероятным. Но это воспоминание совершенно точно. Когда осенью восемнадцатого года в кинокомитете составляют новое штатное расписание, то соответствующий раздел заполняется так:

«Вертов Денис Аркадьевич, секретарь отдела [хроники], 885 рублей. Ведает внутренней жизнью отдела, принимает от операторов весь снятый ими материал для использования в «Кинонеделе» и отдельных картинах, ведет книги отдела и т. п.»<sup>8</sup>.

Теперь попробуем понять, что стоит за этим удручающе неясным («и т. п.»). Вертов никогда не стал бы Вертовым, если бы и в то время и позднее ограничивал себя рамками служебной инструкции. Имя делопроизводителя Вертова можно смело поставить в ряд с именами чиновника Гёте, библиотекаря Крылова, банковского служащего Иоганна Штрауса. Вертовское призвание — кино, и призвание это начинает проявляться сразу, чему способствует живая, талантливая атмосфера особняка на Гнезниковском.

Здесь Вертову удается впервые в жизни склеить куски пленки и увидеть их последовательность на экране. Именно склеить, а не смонтировать, ибо монтаж еще не существовал для него как искусство. Но судьба молодого человека была решена. Он понял, что не письменный, а монтажный стол, стол, на котором режут и клеят ленты, станет основным местом приложения его способностей.

Однако вчитаемся еще раз в служебную формулировку его обязанностей: «принимает от операторов весь снятый ими материал». Существенная подробность. Это означает, что в распоряжении Вертова находится богатейший киноархив первых месяцев революции — десятки и сотни коробок, в которых «спрессованы» события 1917—1918 годов.

Не будет, вероятно, преувеличением сказать, что глубокое знание хроникальной фильмотеки определило для Вертова характер первой крупной режиссерской работы. Он дебютирует фильмом «Годовщина революции», в котором возвращает на экран многие важнейшие съемки недавних дней, дает им новое толкование, как бы суммирует усилия товарищей — революционных кинорепортеров. Вертов всегда считал эту раннюю вещь важным этапом своего восхождения; в статье, опубликованной уже посмертно, он замечает: «В первую годовщину Октябрьской революции я полнометражным фильмом сдавал свой первый производственный экзамен». Лента стала своеобразной киноэнциклопедией, сводом уникальных кадров, рассказывающих об «утре Советов».

Хроника, так сказать, от века обречена на короткометражность. 10—20 минут шли на экране тогдашние документальные ленты. Вертовская «Годовщина революции» занимала не менее полутора часов экранного времени — конечно, неслыханная роскошь для тех дней. При хроническом пленочном голоде обычные фильмы печатали

всего в 3—5 экземплярах — «Годовщина революции» вышла тиражом в целых 40 копий!<sup>10</sup> Выпуск такой ленты-великана был просто замечателен...

Но к чему эти цифры метража да тиража, если ни слова пока не сказано о содержании фильма? Не уподобляемся ли мы нудному экскурсоводу, который спешит сообщить публике вес Царь-пушки или высоту Царь-колокола? Но делать нечего. Пора сказать нерадостную правду: фильм Вертова «Годовщина революции» утрачен. Он исчез в наших архивах. Последний зритель, видевший его на экране, вероятно, в деды годится пишущему эти строки.

Однако поиски исчезнувшей ленты кажутся делом далеко не безнадежным. Во-первых должно же было что-то остаться от целых сорока экземпляров фильма. Во-вторых, «Годовщина революции» была, как мы помним, монтажом фрагментов более ранних лент. Найти бы подробное описание первого вертовского фильма, и тогда было бы если не реконструировать «Годовщину революции», то хотя бы представить себе ее содержание.

Первым шагом к цели стала маленькая заметка, обнаруженная в забытой ныне московской газете «Коммунар». 3 ноября 1918 года, накануне праздника, безвестный хроникер писал:

«Кинематографический комитет Комиссариата Народного просвещения деятельно готовится к предстоящим Октябрьским торжествам. Комитет выпускает грандиозную картину «Годовщина революции». Картина захватывает все главные моменты русской революции — восстание рабочих в Петрограде, манифестации, митинги, портреты борцов за свободу, похороны их как на Марсовом поле в Петрограде, так и в Москве».

Прекрасно...

Но все главные моменты революции! Если еще прибавить, что в фильме отражены и Февраль и период от Февраля к Октябрю<sup>11</sup>, то исследователь явно попадает «в объятия необъятного» — двадцать месяцев революционного времени. У Вертова, значит, были под рукой не только те ленты, которые он сам принимал от операторов с июня по ноябрь восемнадцатого года, но и съемки Скобелевского просветительного комитета — единственной русской фирмы, снимавшей в 1917 году хронику. Однако ж национализированная скобелевская фильмотека находится в Петрограде, в распоряжении тамошнего кинокомитета. Можно без труда назвать фильмы семна-

дцатого года, которые больше всего интересуют московского «делопроизводителя».

Это, конечно, полный комплект периодического хроникального журнала «Свободная Россия», съемки февральских дней в Питере, «Манифестация 18 июня», «Октябрьский переворот» («Вторая революция»), «Брест-Литовское перемирие» и др. Все это лежит втуне на складе Петрокинокомитета<sup>12</sup>.

И тогда Николай Федорович Преображенский пишет в Петроград официальное письмо, дата которого — 12 августа 1918 года — и есть, вероятно, начало работы москвичей над «Годовщиной революции». Документ составлен в категорических выражениях: «До сих пор нам не удалось добиться получения из Петрограда из лаборатории бывшего Скобелевского Комитета целого ряда негативов, находящихся там к моменту национализации его... Негативы из этих негативов в настоящее время нам крайне необходимы... Выслать нам означенные негативы. О последовавшем поставить в известность»<sup>13</sup>.

На этом письме есть помета одного из отделов Петрокинокомитета — «4 октября 1918». Возможно, это и есть дата отправки лент в Москву — с большим опозданием. Почему? Да потому, что руководитель питерской хроники Григорий Болтянский полтора месяца игнорировал все распоряжения и указания<sup>14</sup>. Осудить бы этого ослушника со всей строгостью, но... рука не поднимается. Ведь Болтянский организовал большинство питерских съемок семнадцатого года, руководил операторами в октябрьско-ноябрьские дни<sup>15</sup>, сам монтировал ленту «Октябрьский переворот» («Вторая революция»), сам разбирал и хранил уникальную фильмотеку. А тут вдруг отдать в чужие, холодные руки? Несчастный Болтянский! Его можно понять. Он ведь не знал, что ленты нужны Дзиге Вертову, гениальному Вертову, который выступит в 1945 году на юбилее своего старого друга с блестящей речью и назовет Болтянского пионером и начинателем многих областей киноработы<sup>16</sup>.

Так или иначе, негативы съемок семнадцатого года отправлены из Петрограда, и Вертов получает их примерно за месяц до праздника. Надо спешить — ведь в посылке сырье для доброй трети задуманного фильма. Пожалуй, монтаж «Годовщины революции» сильно подорвал канцелярское делопроизводство в отделе хроники на Гнездиновском, ибо Вертов круглые сутки режет и переклеивает пленку, выбрасы-

вает старые титры, заменяет их новыми, контролирует себя экранными просмотрами. Скорее, скорее!

Наконец фильм сделан и показан. Фильм всем нравится. Молодой Вертов успешно сдал свой первый производственный экзамен и может отныне по праву называться режиссером. Он счастливей нас, идущих по его следам, ибо наши успехи скромны — в активе пока только внешняя история создания ленты. И лишь самое отдаленное представление о ее содержании.

Но все-таки полнометражный фильм не иголка; не могли же сразу, в один час, пропасть все его сорок копий. За одним экземпляром «Годовщины революции» мы и последуем.

...В январский день девятнадцатого года из подъезда особняка на Гнездиновском вышли двое мужчин, тяжело нагруженных мешками, в которых неудобно перекатывались круглые коробки с лентами. Они прошли на заснеженную Тверскую, потом до Страстной площади и там, сев в трамвай номер один, покатали к вокзалу. Фамилии этих людей Шкарин и Хомряков, а должность у них была совсем странная — демонстранты<sup>17</sup>. Сейчас бы мы назвали этих людей кинемеханиками. На вокзале формируется литературно-инструкторский поезд имени Ленина, направляющийся в освобожденную от немцев Прибалтику.

Для кинематографа демонстранты и вели среди прочих лент поездка имени Ленина двенадцать коробок с вертовским фильмом<sup>18</sup>.

За годы гражданской войны литературно-инструкторский поезд ВЦИК провез «Годовщину революции» по всей стране. Ее видели латышские стрелки в освобожденной Риге; она собирала несметные толпы народу в уездных городках Белорусии; селяне на Киевщине громко читали ее надписи; сибирские крестьяне и акмолинские кочевники удивлялись чудному зрелищу и заглядывали за белое полотно экрана — не сидит ли там кто-нибудь...

О короткой, но яркой истории поезда имени Ленина, о его кинематографе можно было написать целую книгу, но мы, как нетерпеливые читатели, откроем сразу самую последнюю страницу. На рубеже 1920—1921 годов, когда гражданская война идет к победному завершению, задачи агитпоезда выполнены. Его расформируют. На смену страстным трибунам и агитаторам в вагоны приходят скромные хозяйственники, которые učinяют подробнейшую опись всему поезвному

имуществу — брошюрам и обмундированию, мотоциклетам и керосиновым лампам, винтовкам и плакатам. И — среди прочего — фильмотеке!

Спасибо тому скрупулезному инвентаризатору, кто разобрался в хаосе киносклада и составил совершенно официальный «Список картин, находящихся в поезде на 27 ноября 1920 г.». Вот часть списка, где раскрыто — наконец-то раскрыто! — содержание вертовского фильма:

**«Годовщина революции». 3545 м.**

1. Февральская революция в Петрограде
2. Февральская революция в Москве
3. Временное правительство
4. Государственное совещание
5. Октябрьская революция в Петрограде
6.       »               »               в Москве
7. Брест-Литовское перемирие
8. Казань
9. Казань
10. Чехословацкий фронт
11. Мозг Советской России»<sup>19</sup>.

Не надо быть знатоком, чтобы уловить эту явную хронологическую последовательность от Февраля к Октябрю, а затем и к годовщине Октября. Но не следует торопиться. Радость находки да не ослепит нас. Экземпляр фильма побывал на протяжении двух лет во многих передрягах войны, и даже по описи невооруженным глазом видны потери. В январе 19-го года у демонстрантов Шкарина и Хомрякова было двенадцать коробок, а в конце 20-го года их всего одиннадцать. И потом эти названия на коробках — точно ли соответствуют они содержанию частей?

Вот «Государственное совещание» — антисоветская акция, слет всероссийской контрреволюции. Вряд ли в фильме Вертова эти съемки могли занять целую часть. Или еще такая неясность. Идет Брест-Литовское перемирие (декабрь 1917 года), а потом сразу чехословацкий фронт и сражение за Казань летом и осенью 1918 года. Таким образом «проглатывается» целое полугодие. Не может быть, чтобы так выглядел исправный экземпляр фильма. Тут какой-то пропуск.

Важное подтверждение этой догадки нашлось довольно скоро. Когда ленты по нашей описи стали в 1921 году сдавать новому хозяину, в Главполитпросвет, то выяснилось, что коробок стало на две больше. И тогда умница — заведующий складом приписал внизу примечание: два лишних фильма «Открытие и ликвидация

учредительного собрания» и «Годовщина октябрьской и ноябрьской революции в Петрограде» — это не самостоятельные ленты, а вырезки из «Годовщины революции»<sup>20</sup>. Вырезки! Значит, и тот и другой сюжеты в вертовский фильм входили, и, кстати, разгон «учредилки» (январь 1918 года) хронологически точно начинается отсутствующее полугодие.

Но отсюда и более важный вывод — каждый из сюжетов, обозначенный на одиннадцати коробках, совсем не обязательно был равен целой части. В коробке могло быть меньше части (минус вырезки, сделанные за два года). Или под названием одного сюжета могла существовать целая часть, куда входили другие, не обозначенные на коробке эпизоды. Потому-то и «возникли» два «новых» фильма, которых «не было» раньше. Словом, пока проясняется не длина эпизодов, а лишь их названия и последовательность. А это уже немало.

Найденная опись дает точные адреса, по которым надо разыскивать разобщенные части вертовского фильма в Центральном государственном архиве кинофотодокументов СССР. Мы помним, конечно, что ни одна лента интересующих нас времен не сохранилась полностью и в подлинном монтаже. Поэтому кадры, запечатлевшие какое-то одно событие, «живут» здесь своеобразными «гнездами», рассеянные по нескольким коробкам.

И вот лента — на монтажном столе. Ее кадры — маленькие оконца в солнечный, яркий день, в разлив многотысячных толп на Невском проспекте и Марсовом поле. Белые праздничные рубахи рабочих мешаются в людском водовороте с ладными солдатскими гимнастерками. Девушка-курсистка в широкополой шляпке размахивает с тротуара букетом цветов, бегут боногие мальчишки, трамвай с трудом пробивается сквозь тесные колонны. Сегодня сломан чинный порядок центральных улиц, сегодня сюда пришли окраины: с «Марсельезой», с «Интернационалом» вышагивают мастеровые, и, оглушенные, жмутся в подворотнях «в меру красные» демократы из домовладельцев. А над неровным строем матросов-балтийцев во всю ширь кадра уже развертываются полотнища: **ДОЛОЙ ТАЙНЫЕ ДОГОВОРЫ С СОЮЗНЫМИ ИМПЕРИАЛИСТАМИ! ДОЛОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ! ДОЛОЙ 10 МИНИСТРОВ-КАПИТАЛИСТОВ!**

Кто знает, может быть, десятки ученых диссертаций не скажут нам о бурном лете

семнадцатого больше, чем эта хрупкая, выцветшая местами лента! И Вертов, гениальный Вертов, имея под рукой целый фильм «Манифестация 18 июня» и сюжет о 3—5 июля из журнала «Свободная Россия», мог ли он не влюбиться в эти съемки, не включать их в свою киноэнциклопедию?

Теперь хватит эмоций. Среди многих фрагментов пленки, запечатлевших июнь и июль в Петрограде, надо терпеливо искать следы вертовского монтажа. Они должны быть. Кадр за кадром, метр за метром проходит на монтажном столе изображение, увеличенное лупой двадцатикратно. Все это фрагменты, склеенные явно в семнадцатом году, — надписи их сплошь с «ятами» и твердыми знаками, да и содержание надписей уклончиво-объективистское. А в кадрах нет-нет да и выпирают крупным планом то эсеровская колонна, то лозунги украинских или польских националистов. Нет, это не Вертов.

Очередной фрагмент о I съезде Советов и июльских событиях сначала тоже не показался находкой — знакомые планы петроградских шестий, Невский, Марсово поле, Таврический дворец. Но надписи, раскрывающие содержание кадров, напечатаны на пленке красноватого цвета, резко отличающейся оттенком от остальной ленты. И сами надписи весьма многозначительны:

#### «Часть 2-я»

**Съезд собрал громадное количество представителей пролетариата.**

**Временное правительство, услышав голос съезда, ввело другой метод борьбы с пролетариатом. Были сделаны министрами Церетели и Скобелев...**

**18 июня, столь памятное России, принесло первоначально победу. На фронт наши части, подавшие Керенскому, первоначально наступали...**

**Керенский торжествует...**

**...В столице военные организации устраивали митинги, манифестации, выкидывали лозунги за войну...**

**Но наступили события 3—7 июля. Низы народа, измученные войной, вышли на улицы и попытались вырвать власть у правительства Керенского...**

**Войска Керенского тотчас были отправлены для арестов и обысков...**

**После подавления пролетариата керенцы торжественно хоронили своих убитых...**

**Керенский, желая спасти положение, образовал коалиционное правительство...»<sup>21</sup>.**

В наших руках явно эпизод из «Годов-

щины революции». Автором надписей, несомненно, был Вертов. Они — в его стиле. Но рассмотрим все доводы по порядку.

Эпизод начинается титром «Часть 2-я». Если принять, что события Февраля и весны приходится на самое начало фильма, то кинорассказ о июньско-июльских событиях вполне мог бы составить как раз 2-ю часть «Годовщины революции».

Монтаж фрагмента явно не современен событиям. В нем присутствует несомненная аберрация: меньшевики Церетели и Скобелев «были сделаны министрами» не после I съезда Советов в июне, а значительно раньше — 6 мая.

Учтем еще, что ни одна дореволюционная кинематографическая фирма не могла комментировать июльские события в таком антивоенном, яркобольшевистском духе. В журнале «Свободная Россия», где эти съемки начали свою экранную жизнь, надписи были составлены с туманной осторожностью: «Тревожные события 3—7 июля в Петрограде», «У ген. штаба», «Войска направляются с приказами обысков и арестов», «На Невском проспекте», «Обстрелянная Петроградская биржа»<sup>22</sup>.

Еще раз перечитываем надписи нашего эпизода и снова убеждаемся, что они составлены не в семнадцатом году — исчезли «яти», исчез «ер». Старая орфография была окончательно отменена декретом Совнаркома от 10 октября 1918 года. Как раз в те дни, когда Вертов монтировал свой юбилейный фильм! Кстати, в надписях еще остается одно типичное «родимое пятно» старой орфографии — в слове «Керенского». Это «аго» вместо «ого» — лишний довод за отнесение фрагмента к восемнадцатому году. Позднее такие «родимые пятна» почти не встречаются.

Итак, восемнадцатый год.

Но тогда эпизод, бесспорно, принадлежит «Годовщине революции». Ибо ни в 1918-м, ни в последующие годы нельзя назвать ни одного советского фильма, в который могли бы входить съемки июльских событий в Петрограде. Кинорассказ об июле надо, вероятно, отнести к той части вертовского фильма, который в описи агитпоезда назван «Временное правительство». Недаром же надписи так заметно акцентируют на Керенском и керенцах, на разоблачении маневров коалиционного министерства...

Итак, найден фрагмент вертовского фильма. Он важен сам по себе, но еще важнее, что подтверждается правильность фарватера, гипотетически проложенного в

море забытых и запутанных архивных кинолент. Можно уверенно двигаться дальше.

Вертов не мог, конечно, обойтись в «Годовщине революции» без съемок, сделанных в Петрограде в октябрьско-ноябрьские дни семнадцатого года. Они были включены в фильм — тут сходятся показания репортера газеты «Коммунар» и хозяйственника поезда имени Ленина. Но для того, чтобы дать революционный Петроград в дни и часы Октября, Вертов располагал хорошо известным нам исходным материалом. Речь идет о фильме «Октябрьский переворот» («Вторая революция»), смонтированном Г. Болтянским на студии Скобелевского просветительного комитета сразу после революции. Эти кадры знакомы всем, они бесчисленное множество раз повторялись на экране, передавались по телевидению, публиковались в печати<sup>25</sup>.

...Нестройная, разгоряченная событиями толпа на ступеньках Смольного института.

Входят и выходят красногвардейцы.

Множеством разных лиц представлен здесь человек с ружьем — матросская курточка, окопная шинель, студенческая тужурка, чей-то могучий овчинный тулуп, интеллигентное драповое пальто, кургузый калининский пиджачок путиловца.

А оператор уже «накручивает» юнкерские заставы, у Зимнего — молодые люди в аккуратных фуражечках и с кислыми физиономиями, броневики, огромная поленица дров у входа во дворец.

Затем тот же Зимний после штурма.

Выбитые стекла, оспины пулевых попаданий на фасаде. Тесная группа матросов греется около уличного костра.

Гатчина. Отряд красногвардейцев направляется против остатков красновских войск...

Все эти съемки хранятся в архиве, часто используются. Их первоначальный монтаж четко прослеживается в одной из лент, где даже сохранились подлинные титры: «Октябрьский переворот. Вторая революция. Третья серия». Надписи в ней типично «скобелевские»: «Следы гражданской войны» (это предшествует поврежденному фасаду Зимнего), «Разрушения во Владимирском юнкерском училище», «Результаты обстрела в Москве», «9-й Донской казачий полк», «Похороны юнкеров в Петрограде»<sup>24</sup>... Да еще сплошь по старой орфографии — нет, явно не Вертов.

Но при изучении всего «гнезда» фрагментов октябрьских съемок 1917 года наше внимание было остановлено одним

сравнительно недавним фильмографическим описанием, утверждавшим, что в архиве хранятся 1-я, 3-я и 4-я части «Октябрьского переворота»<sup>25</sup>. Как же так? Мы только что видели 3-ю часть фильма — с разрушениями, развалинами и похоронами юнкеров. Здесь логический конец скобелевского фильма. Берем каталог национализированного склада фирмы, составленный весной 1918 года. Сомнений нет: «Октябрьский переворот», 500 м, 3 части»<sup>26</sup>. Три части! А откуда взялась четвертая?

Кладем ленту на монтажный стол, и первый же титр —

#### «Часть IV».

Ура! Это уже не скобелевский фильм. Проматываем ленту дальше, вчитываемся в следующую надпись:

1. «Октябрьская революция в Петрограде началась у дворца, где помещался созданный Керенским так называемый Предпарламент. Единственной опорой Временного правительства явились юнкера».

Дальше идут съемки юнкерской заставы у Зимнего.

2. «Для защиты дворца юнкера построили баррикады из дров...»

В кадре — несут поленья, складывают их у входа.

3. «...и выставили пикеты».

Белогвардейские караулы быстро проходят, и появляется следующая надпись:

4. «Но кучка белогвардейцев не могла защитить дворец от возмставшего пролетариата. Дворец был обстрелян...»

Следуют знакомые съемки поврежденного фасада. Те самые, которые были уклончиво прокомментированы скобелевцами как «следы гражданской войны». Разница в оценке колоссальная!

5. «Центром октябрьско-ноябрьской революции в Петрограде был Смольный»<sup>27</sup>.

Стоп!

Прервем «демонстрацию» ленты и вдуваемся в ее значение. Внимательный читатель уже не сомневается, что это, конечно, «Годовщина революции». Кинорассказ об Октябре в Петрограде мог прийти именно на IV часть вертовского фильма. Мы помним, что два года спустя в поездном складе часть об Октябре оказалась в пятой коробке, и знаем этому объяснение — достаточно было одной вырезки из предыдущего материала, как появилась лишняя коробка.

Приведенные выше титры не оставляют сомнений. Белогвардейцы названы здесь белогвардейцами, а пролетариат — пролетариатом.

По содержанию, по интонации эти надписи очень близки вертовским, комментирующим июльские события. Та же новая орфография, те же «родимые пятна» старого написания — «возвзашего». В монтаже отрывка есть уже элемент творческих поисков. Дореволюционный, довертовский документальный кинематограф, по-видимому, не знал разбивки одной фразы надписи на несколько отдельных титров. Вся надпись тогда уменьшалась в титре до точки. А тут:

**Юнкера построили баррикаду из дров...**  
(изображение)

**...и выставили пикеты.**  
(изображение)

В IV части «Годовщины революции» мы находим великолепные кинопортреты первых ленинских наркомов А. В. Луначарского, А. М. Коллонтай, П. Е. Дыбенко, красного летчика И. Локайчука, панорамы по местам октябрьско-ноябрьских боев в Москве, похороны питерских красногвардейцев<sup>28</sup>.

В дальнейшем удалось найти еще несколько эпизодов из первого вертовского фильма. Но не хочется утомлять читателя однотипной аргументацией. Гораздо интереснее попробовать представить себе, какие находки могут нас ждать в будущем... Если бы пишущего эти строки спросили, какую часть «Годовщины революции» он хотел бы прежде всего видеть в первоначальном монтаже, то ответ последовал бы однозначный: прежде всего «Мозг Советской России».

Несомненно, для зрителей 1918 года эта часть была самой интересной. И столь же поэтому несомненно, что нередко разобщенные двенадцати коробок фильма начиналось с изъятия из экземпляра той части, где был «Мозг Советской России». Один из примеров самостоятельной жизни этой части даже нашел отражение в кинокомитетском архиве: уже 10 декабря позитивная копия «Мозга Советской России» (без остальных 11 частей вертовского фильма) была отправлена на Украину<sup>29</sup>.

До Г. Болтянского, работавшего тогда в Петрограде, «Мозг Советской России» дошел уже как отдельный фильм. Во всяком случае, вот описание этого сюжета, сохранившееся в его бумагах: «210 метров. — Портретные снимки В. И. Ленина... Портреты членов Советского правительства и выдающихся деятелей Октябрьской революции»<sup>30</sup>.

В сохранившемся метраже «Мозга Советской России» есть интересные кино-

портреты Я. М. Свердлова, М. Н. Покровского, А. Д. Цюрупы, Ю. М. Стеклова, Демьяна Бедного и других членов ВЦИК и наркомов<sup>31</sup>. Съёмки В. И. Ленина здесь нет, хотя судя по одному сохранившемуся кадрику титра именно ленинский кинопортрет открывал эту часть вертовского фильма.

Какие кинопортреты В. И. Ленина могли быть использованы Вертовым? В ноябре восемнадцатого года в распоряжении Вертова были три ленинских кинопортрета: отъезд с первомайского парада на Ходынском поле, прогулка с В. Д. Бонч-Бруевичем по двору Кремля 16 октября и, наконец, выступление 7 ноября на открытии временного памятника Марксу и Энгельсу. Последняя съемка тоже не может быть исключена, ибо Вертов, безусловно, не успел закончить фильм к юбилейной дате, коль скоро в него вошли, как мы помним, съемки демонстрации 7 ноября в Петрограде.

Но пока можно поручиться лишь за то, что в «Мозг Советской России» входил сюжет 16 октября — прогулка оправившегося после ранения В. И. Ленина по Кремлю с управляющим делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичем...

На одной из остановок знакомого нам литературно-инструкторского поезда был устроен просмотр ленты. Дело было в Пскове зимой девятнадцатого года. Вот как этот просмотр был описан в отчете о рейсе:

«Больше всего радовались дети... Вагон, вмещающий около 200 ребят, всегда бывал переполнен... Шумной щебечущей стайей врывались дети. Всакивали на скамейки с криком, говором, толкотней, занимали места. Долго сновали по вагону, нетерпеливо подгоняли механика:

— Чего, дядя, стоишь? Подгоняй машину-то.

Громко, гудя как пчелы, все разом читали объяснительный текст картины. Живо реагировали на самые картины:

— Вишь, Ленин-то рукой машет.

— Эвон фигура (про Бонч-Бруевича).

— Газету-то читает, на нас, гляшь, и не посмотрит (про Бухарина).

В городах и местечках — всюду первыми бывала она, эта молодая Россия...»<sup>32</sup>

...Старая пословица гласит, что каждый возвращается к предмету своей первой любви. Вот и Вертов будет еще не раз возвращаться к своему первому фильму. Весной девятнадцатого года руководство киноком-

тета поручит Вертову чисто архивную работу — привести в порядок фильмотеку, собрать в первоначальном виде и склеить разрозненные номера экранного журнала «Кинонеделя» за лето и осень восемнадцатого года<sup>35</sup>. Реставрируя «Кинонеделю», Вертов замечает, что «значительная часть недостающих негативов входит в картину «Годовщина революции»<sup>34</sup>.

Значит, если мы возьмемся за восстановление первого вертовского фильма, то сравнительно неплохо сохранившаяся «Кинонеделя» за 1918 год может дать некоторые недостающие звенья...

К моменту, когда гранки этой статьи уже лежали перед автором, научному сотруднику центрального архива кинофотодокументов Л. Широковой удалось отыскать и привести в порядок эпизоды фильма, рассказывающие о Феврале в Петрограде, о государственном совещании и других событиях 1917 года.

Реконструкция «Годовщины революции» — вопрос ближайшего времени. Ведь в какой-то мере возвращен на экран даже эйзенштейновский «Бежин луг», материал которого сохранился гораздо хуже. Очередь — за Вертовым.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Отдел рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького, ф. 507, оп. 1, д. 1, л. 1.
- <sup>2</sup> Дзига Вертов, Статьи, дневники, замыслы. Под ред. С. Дробашенко. М., «Искусство», 1966, стр. 73—74.
- <sup>3</sup> Хрисанф Херсонский, Страницы юности кино. М., «Искусство», 1965, стр. 83.
- <sup>4</sup> Центральный Государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 2306, оп. 27, ед. хр. 1 лл. 5, 18.
- <sup>5</sup> ЦГАОР, ф. 2306, оп. 27, ед. хр. 8, л. 18 об.; Центральный Государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 989, оп. 15, ед. хр. 13, л. 278 об.
- <sup>6</sup> ЦГАЛИ, ф. 989, оп. 14, ед. хр. 3, л. 204 об.
- <sup>7</sup> «Искусство кино», 1967, № 6, стр. 16.
- <sup>8</sup> ЦГАОР, ф. 2306, оп. 27, ед. хр. 7, лл. 17 об., 28.
- <sup>9</sup> Д. Вертов. Ук. соч., стр. 156.
- <sup>10</sup> «Из истории кино. Материалы и документы», т. 2. М., 1959, стр. 99.
- <sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 2057, оп. 1, ед. хр. 83, л. 1.
- <sup>12</sup> Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области (ГАОР СС ЛО), ф. 3296, оп. 1, д. 1, лл. 9—10.
- <sup>13</sup> Там же, л. 39.
- <sup>14</sup> Там же, л. 40.
- <sup>15</sup> Петроградский военно-революционный комитет. Документы и материалы в трех томах, т. 2. М., «Наука», 1966, стр. 124.
- <sup>16</sup> «Из истории кино. Материалы и документы», т. 2. М., 1959, стр. 63—67.
- <sup>17</sup> ЦГАОР, ф. 1252, оп. 1, ед. хр. 86, лл. 23—24.
- <sup>18</sup> ЦГАОР, ф. 1252, оп. 1, ед. хр. 91, л. 66.
- <sup>19</sup> ЦГАОР, ф. 1252, оп. 1, ед. хр. 118, л. 1.
- <sup>20</sup> Там же, л. 2—2 об.
- <sup>21</sup> ЦГАКФД, Киноотдел, 1—12572 а. б.
- <sup>22</sup> ЦГАЛИ, ф. 2057, оп. 1, ед. хр. 89, л. 3.
- <sup>23</sup> См., например: «Наука и жизнь», 1965, № 11.
- <sup>24</sup> ЦГАКФД, Киноотдел, 1—12530.
- <sup>25</sup> «Кино- и фотодокументы по истории Великого Октября». М., 1958, стр. 25.
- <sup>26</sup> ГАОР СС ЛО, ф. 3296, оп. 1, д. 1, л. 10.
- <sup>27</sup> ЦГАКФД, Киноотдел, 1—12499, 1—13071.
- <sup>28</sup> Там же.
- <sup>29</sup> ЦГАЛИ, ф. 989, оп. 14, ед. хр. 1, л. 91.
- <sup>30</sup> ЦГАЛИ, ф. 2057, оп. 1, ед. хр. 83, л. 3.
- <sup>31</sup> ЦГАКФД, Киноотдел, 1—12893, I—IV.
- <sup>32</sup> ЦГАОР, ф. 1252, оп. 1, д. 101, л. 9.
- <sup>33</sup> ЦГАОР, ф. 2306, оп. 27, д. 12, л. 46.
- <sup>34</sup> Там же, л. 56.



Максим Горький

## О знании

(Стенограмма лекции, прочитанной  
30 марта 1920 года  
в Рабоче-крестьянском университете)

Горький принимал активное участие в деятельности Первого Рабоче-крестьянского университета, созданного летом 1918 года. Постановлением Петроградского Совета от 15 августа 1919 года он был назначен руководителем общеобразовательной программы университета. Кроме Горького, в университете читали лекции А. В. Дуначарский, М. Н. Покровский, В. И. Невский, В. А. Десницкий, А. П. Пинкевич и другие общественные деятели, журналисты и ученые.

Слушателями университета были рабочие и крестьяне преимущественно молодого возраста, участники Великой Октябрьской социалистической революции, собранные по инициативе В. И. Ленина на курсы агитаторов и пропагандистов при Смольном в ноябре 1917 года. Первый Рабоче-крестьянский университет (с 1921 года Коммунистический университет при ЦК ВКП(б)) готовил идеологических работников для советского аппарата, деревни, частей Красной Армии и т. д. В наиболее напряженные для жизни молодого социалистического государства моменты слушатели университета брались за винтовки и уходили в полном составе на фронт. В середине октября 1919 года Горький прочитал курс лекций «О знании» на отделении работников милиции, учащиеся которого составляли отряд, сформированный для защиты Петрограда от Юденича. Публикуемая лекция, по всей вероятности, является вступительной к данному курсу.

Общение с молодой аудиторией, назлектризованной идеями только что совершившейся революции, волновало Горького, вливало в него бодрость и силу, открывало невиданные в истории перспективы в популяризации научных и культурных знаний среди народа.

«...Пройдет несколько минут, полчаса, и вдруг вы чувствуете и видите по лицам, по глазам страшное напряжение внимания, — делился он своими чувствами в речи, произнесенной на заседании Петроградского Совета 30 апреля 1920 года. — Вам кажется, что из вас вытягивают всю вашу энергию, все ваши знания, все ваши силы. Это начинает возбуждать так, что с ними говорить и легче, и проще, и горячее, чем с людьми интеллигентными. И еще одна особенность. Эти люди ставят те основные вопросы, которые интересуют все человечество и которые впервые еще у дикарей толкнули мысль на тот путь, который привел к великим завоеваниям, которые сейчас в ваших руках. Они ставят вопросы: откуда человек? что такое жизнь? как она началась на земле? есть ли у нас душа? что такое душа?»

Лекция печатается по машинописи неправильной стенограммы, хранящейся в Архиве А. М. Горького.

Публикацию подготовил кандидат филологических наук **В. С. Барахов**.



М. Горький. Петроград. 1921.

Приветствую вас, товарищи (аплодисменты). Я буду говорить с вами о знании, о силе знания, о значении всего того, чему вы сейчас учитесь. Я буду говорить об этом в общем объеме. Сейчас вы поглощаете что-то, о чем говорят вам лектора. Я буду говорить обо всем, что поглощаете вы, и главным образом об естествознании.

Начнем с чего? Да хотя бы с человека. Почему так сильна была буржуазия, почему она так долго держалась, почему так мощно в течение стольких столетий она держала народные массы во тьме невежества, создавая из плоти и крови народа огромное богатство, сумев за это время украсить землю великолепными городами, создать прекрасные машины, построить изумительные по силе корабли и вообще создать все то, что называется материаль-

ной культурой. Почему? Только потому, товарищи, что в руках буржуазии была самая мощная сила, которой обладает человечество, — сила знания, науки.

Теперь, когда этот порядок отменен, когда у власти готовы встать и стоите уже отчасти вы сами, вам необходимо взять в свои руки прежде всего именно вот эту силу. Ведь буржуазия держала в подчинении народ не только потому, что она физически брала за горло людей. Вовсе нет. Нет, она держала народ в этом угнетенном положении потому, что она прекрасно была организована и, как видите, и до сей поры все еще великолепно организована, потому, что ни во Франции, ни в Англии, ни в Америке, несмотря на силу тех мощных потрясений, которые старому государству наносят недовольные массы, все-таки они держатся там, стараются держаться и очень вероятно, что будут держаться довольно-таки долго. Они сильны своим знанием, своей техникой. Русская буржуазия была довольно тестообразна, аморфна, и вам поэтому легко с ней было справиться — как быстро она рассеялась. Она не сумела оказать даже в малой мере того сопротивления, которое оказывается в Германии спартаковцам немецкими буржуа.

Какова же, собственно, по внутреннему значению эта сила, это знание? Что оно значит в себе самом? Это нечто, добытое всей работой человечества за все время существования его. Это нечто, что создано невероятно тяжелым, страшно напряженным трудом. Это начиналось с мельчайших ничтожных наблюдений и кончалось удивительными выводами.

Возьмем, например, такую вещь — современный дредноут, одно из мощнейших созданий человеческого разума, организованных человеческим разумом. Откуда это? Как это явилось? Первобытный человек-полузверь, человек-полуживотное — он первый, несомненно, положил начало той страшной машине, которую мы теперь знаем под именем броненосца, дредноута, пароходов всевозможных, тем судам, которые в течение 5 суток переходят океан от берега к берегу, из Европы в Америку. Откуда это явление?

Когда-то на заре человечества, в те ранние годы его жизни, когда человек был еще полуживотным, не зная даже, как добыть себе достаточное количество пищи, был слабо вооружен во всех отношениях, потому что, кроме палки с заостренным концом, а впоследствии палки с привязанным на конце ее камнем, не было ничего, этому человеку приходилось добывать себе пищу

страшно тяжелым трудом, тем, о котором мы не имеем сейчас и представления. И этот человек, часто стоя на берегу реки, видел, что там, на другом берегу, ходят птицы, играют животные, которых легко бы было можно убить. Но как перейти? Вплавь? Это не всегда удобно: во-первых, река была слишком широка, во-вторых, в реке могли водиться, как в Египте, например, крокодилы, и может быть водились и в европейских реках такие страшные большие рыбы, о которых мы теперь знаем только по остаткам.

Это плавание было сопряжено с опасностью. Но человек видел, что вот по воде плывет яичная скорлупа, плывет — и не тонет — по воде корка дерева, древесная кора. Отсюда из такого пустого наблюдения он делает прототип, первоначально, современного парохода, челнока. Берет дерево определенное, выдалбливает середину, садится и едет. Несомненно, что перед этим он на круглом дереве тонул. Но от такого ничтожного наблюдения человек в течение веков строит пароход.

От наблюдения за полетом птицы мы сами полетели по воздуху теперь. Мы достигли большого — стали плавать под водой, что казалось 40 лет тому назад совершенной сказкою, и на это смотрели, как на детскую сказку. Вы не укажете мне ни одного явления в жизни, в которое бы не было заключено огромнейшего количества человеческой энергии. Нет ничего, в чем бы не сказался человеческий разум. Коснусь ли я пуговицы своей или шапки — во всем этом заключено знание, во всем этом человеческая энергия, во всем этом плоть и кровь наша, обработанная именно наукой.

В чем, собственно, дело? Вам только что сегодня, кажется, читал Павлов<sup>1</sup> о том, как образовалась порода земли, как образовалась земная кора. В этом факте, о котором вам рассказывали, тоже есть какой-то нечеловеческий уже, но во всей природе лежащий закон — закон организации. Что значит организация? Что значит организовать? Это значит придать форму, как мертвой материи, так равно и своему живому впечатлению. Чем отличаются люди друг от друга? Только тем, что у одного большее количество впечатлений организовано лучше, у другого меньшее количество впечатлений организовано, может быть, также хорошо, но они имеют меньше цены,

<sup>1</sup> Алексей Петрович Павлов (1854—1929) — геолог, академик.

потому что их меньше и, наконец, в большинстве случаев люди просто не умеют слагать свои впечатления, наблюдения и мысли в отличные формы.

Вот что различает людей друг от друга, и это различает их глазным образом. Когда мы говорим об умном, развитом, образованном человеке, это есть просто человек, который отличается от всех других, которых считают неразвитыми, неумными, только тем, что он больше знает. Сама природа создала нас всех из одного и того же материала. В каждом из нас, кто бы он ни был — аристократ или чернорабочий, священник или слесарь, — каждый создан из одного и того же элемента. Разница только в том, что один знает больше, другой меньше. И вот эта разница настолько резка, настолько мощна, она обладает, как вы видите, такими значительными последствиями, что разделила людей на группы, разделила их на классы. Мало того, разделила еще крупнее — на государства, разделила даже на языки.

Это нужно очень усвоить, ибо, усвоив это, вы особенно поймете силу знания и его всемирность, его способность объединить всех людей, так как если каждый из нас будет знать столько, сколько и другой, ясное дело, что никто, во-первых, не позволит себя обмануть, обойти, эксплуатировать, говоря учеными словами. С другой стороны, если я знаю столько, сколько вы, а вы знаете столько, сколько я, то между нами нет даже той физической разницы, что вот я вам рассказываю, а вы меня слушаете. Рассказывать-то нечего будет. То, что я знаю, вам тоже известно смолоду, с малых лет. Это вливается в вас естественно, вливается непосредственно не от учителей, которые часто проповедают вещи, им выгодные, но далеко не выгодные вам. Это не от учителей, а непосредственно от самой жизни.

Когда человек входит в жизнь и с детства перед ним все открыто, он знает, как делается этот дом, как творится та или другая наука, как были созданы религии, если от него не будут этого скрывать, как это скрывали раньше, то, ясное дело, что к зрелому возрасту человек этот будет знать все, что считалось раньше тайной. Чем глубже будем мы проникать в накопленный всем человечеством, всеми людьми мира опыт, тот опыт, который они организовали в форме различных и политических наук и т. д., чем больше проглотим этого опыта, чем лучше его усвоим, тем сильнее будем, тем труднее будет забить нас каким-

либо иным людям. Какой бы удар они ни пожелали нам нанести, с какой бы стороны ни подходили, мы всегда найдем средство отразить его, потому, что смысл сложной науки и всех ее мощных свойств будет нам тоже знаком, как и нашему врагу, если предположить, что он объявит нам войну на этой почве.

Я, как вам, вероятно, известно, человек из простых, я не учился ни в каких школах, не был в университете. Я учился у самой жизни, на улицах учился, а затем читал книги и затем очень внимательно смотрел на людей, главным образом, конечно, на русских, потому что в России был больше всего и сам чрезвычайно русский человек. Это обстоятельство поставило меня в странное положение. Человек я такого же происхождения, как и вы все, но почему-то мне приходится с вами разговаривать в качестве как бы учителя. Я просил бы не смотреть, между прочим, на меня таким образом: я просто-напросто человек, который пришел поделиться с вами тем, как он думает и что думает. Не более того. Но чему же все-таки обязан я тем, что писал книги какие-то и встал в несколько исключительное положение? Только потому, товарищи, что я всегда любил знание, очень верил в силу человеческого разума, зная, что эта сила — самая непобедимая сила и самое творческое, что есть в мире, что человек не обладает ничем более мощным, чем его мозг, его разум. Из мозга человека является все. Вы не назовете мне ничего ни в области материальной, ни в области духовной, что бы не было создано человеком. Весь мир представляет собою не что иное, как человеческое деяние, человеческое дело, человеческое мнение, человеческую мысль, человеческую идею.

Если взять самую отвлеченную, самую величественную идею, самую громадную идею, когда-либо созданную людьми, идею бога — самого высшего, самого разумного существа, вездесущего, всевидящего, всезнающего, всесильного, всесотворившего — и эта идея есть не что иное, как отвлеченное человеком от самого себя лучшего свойства своей души.

Как это случилось? По мере того, как развивалась духовная жизнь человека, по мере того, как у него возникали новые желания, желание лучше жить, больше знать, проникнуть в тайну жизни, смерти, в тайну всех явлений природы, вместе с тем в нем развивалась еще одна черта, черта некоторого смутного сознания, что он, человек,

является на земле самым сложным существом, наиболее ответственным, тем существом, которое, несмотря на свою малость в сравнении с огромнейшей землей и всем, что на ней происходит перед его глазами, тем не менее все-таки постигает все это и все явления жизни — будут ли это явления в природе, гром ли это, дождь ли идет и т. д. Все это сквозь человека, осаждается в нем каким-то духовным осадком, является в его душе — вместилищем впечатлений. Так формируются известные идеи. Таким образом у человека получается мысль сознания своей важности на земле, и это стремление все знать, все понять, везде как-то быть, поглотить в мире — это стремление не могло найти практического осуществления в жизни, которая была построена на борьбе человека с человеком. Никогда наше доброе и наше хорошее чувство нельзя было воплотить в жизни, где человек человеку был враг, и поэтому все, что было лучшего в человеке, он отвлекал от себя и где-то в небесах складывал, и таким образом получилась одна из величайших идей. Я не говорю о существе, не касаюсь вопроса о том, что человек создал бога, что он есть или нет. Я говорю об идее этого бога.

Вытолкнув от себя то, чему в жизни не находилось места, свои добрые, лучшие начала, человек объектировал это в образе, в идее существа, от которого все исходит и в котором все кончается, существа всеведущего, всезнающего, всемогущего и т. д. Но это представление есть представление человека о себе самом в конечном счете, ибо никто бога не видел, и тот факт, что мы построили образ его все-таки по образу и подобию человеческому, — уже один этот факт свидетельствует о том, что из этой формы мы, очевидно, выйти не можем.

Вообще в жизни нет ничего фантастического, ничего сказочного, все, что кажется чудесным, на самом деле имеет под собою совершенно определенную реальную основу. Что бы вы ни взяли. Вот существует сказание народное об огненном змее. Это же молния несомненно. И это так ясно, что это именно молния, а не что-либо другое. Существовало сказание о крылатом змее. Ничего в этом нет удивительного. Когда-то на заре веков были полуптицы, полуящеры крылатые. Остатки их найдены, кости их найдены, и вы видите, что это ящерица с крылами птицы. Ничего нет такого, что человек бы выдумал и чему нет основания в реальном мире. Все исходит от человека.

Нет ни одной идеи, нет ни одного образа, который раньше не зародился бы в человеческом мозгу и уже потом самим человеком не воплотился бы в жизнь. Это так.

Получается какой процесс? Мы, каждый из нас, вычерпываем тем ковшом, который называется душой, который является вместилищем всех наших впечатлений, из жизни все, что нас потрясает, что действует на наши пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус и затем, складывая это в себе в известные формы, опять выкидываем это, вносим в мир. Вот в чем дело. Вот в этом процессе поглощения явлений природы и затем выбрасывания их из себя опять в живой человеческий мир, в этом явлении заключается вся тайна жизни и в нем все творчество, начало всех начал, начало всех наших деяний, всех наших идей. Чем организованнее опыт, чем лучше человек умеет слагать свои впечатления в определенную форму, тем крупнее человек, тем мы более считаем его человеком умным и т. д....

Вы, конечно, слышали об американском технике Эдисоне, который изобрел бесчисленное количество различных вещей. Аккумулятор, телефон, граммофон — его дело. Само собою разумеется, что это человек выдающихся способностей. Но почему? Просто потому, что в этой области он знает больше, чем кто-либо другой, и умеет это знание прилагать вот к этой якоры мертвой материи, умеет ее оживить.

Все в этом мире движется — вагон ли трамвая, пароходы, паровозы, — все это движется в конечном счете вовсе не электрической силой, не углем, не паром, а нашим разумом. Несомненно, не будь этого, не было бы электричества. Не будь этого, мы не умели бы владеть ни паром, ничем. Ясное дело. Вот в этом весь корень, начало всех начал, говорю я, — вся сила, вся мощь человека в знании, в умении понимать, в умении наблюдать и организовать свой опыт в форму ли картины, машины, дома — чего хотите. В мире ничего нет такого, что не было бы сделано человеком. Во всяком случае все, что на поверхности земли — это наши труды, труды наших предков. Это все кость, плоть и кровь живых людей, и во всем этом живет человек, самое мощное, значительное и сложное существо в мире.

Если вы спросите, в чем же дело, собственно, зачем человек, почему, зачем он живет? На этот вопрос вам никто не ответит. Нет ответа на этот вопрос — зачем

живет человек, зачем он создан. Но можно сказать, тем не менее, что, может быть, природа, вот все то, что мы называем природой, в лице человека создала свой орган, орган для познания себя самой. Как в каждом из нас высшим качеством, высшим свойством нашим является мозг, самое тонкое вещество во всем организме человеческого, так очень может быть, что в природе человек является точно так же таким мозгом, созданным какими-то таинственными силами, неизвестными нам. Вы знаете, вероятно, изречение одного из греческих мудрецов — «познай самого себя»<sup>2</sup>. Вот это самопознание есть познание всего мира, ибо нельзя познать любому из нас самого себя, не познав всего окружающего мира. Непонятна будет жизнь человека и непонятно будет существование его, если он будет изучать себя отдельно от всего, что вокруг него существует и так или иначе действует на него, слагая его характер, придавая ему ту или другую привычку, возбуждая в нем тот или иной навык. Познать самого себя — это значит познать весь мир, все существующее в природе. Самопознание и будет познание мира.

Теперь, когда, мне кажется, достаточно, может быть, не особенно понятно, но все-таки достаточно я сказал вам о силе знания, о силе человеческого разума, который является источником и творцом всякого знания о мире, и той силой, выше которой нет ничего, и ничего, ясное дело, не может быть, потому что если есть нечто, что может прекратить работу разума — это физическая сила: если ударить ломом по голове человека, то он, конечно, перестанет думать. Но ведь это что же? Я могу все на свете сломать, но толку не будет никакого, а бессмертным, действительно, останется человеческий разум, который, может быть, со временем будет настолько острым и мощным, что очень вероятно (и об этом многие думают и теперь), даже физического бессмертия добиться человек.

Уже теперь целый ряд ученых в разных странах мечтает о том — и не мечтает, как барышня у окошка о женихе, — но работает — о том, как сделать человека долголетним, чтобы он жил 150 лет и т. д., чтобы эти годы были средними годами его жизни. Один из крупнейших русских ученых, Мечников, в Париже совершенно серьезно ставил этот вопрос, который кажется фантастическим, и очень много сделал в этом направлении. Некоторые ученые считают, что его теория о долголетию не-правильна, она не дала практического ре-

зультата, но работа его дала толчок целому ряду других ученых, и сейчас в Америке, Англии и Франции можно найти людей, которые заняты практическим разрешением вопроса, как сделать человека долголетним.

Если вы подумаете над этим, товарищи, то вы увидите, что в данном случае человеческий разум объявляет войну смерти, как явлению природы. Самой смерти. Мое внутреннее убеждение таково, что рано или поздно, может быть, через 200 лет, а может быть через 1000, но человек достигнет действительно бессмертия. Я не вижу вообще пределов мощи человеческого разума, я не вижу пределов работе его, я не вижу пределов его творчеству. И пусть нам кажется странной, фантастической, сказочно-детской эта мысль, что человек силою разума своего победит такое явление, как смерть, — я вам укажу только на то, что 40 лет тому назад детской мыслью считалось подводное плавание, 10 лет тому назад изобрели беспроволочный телеграф, 30 лет тому назад мы полетели по воздуху, и за последнее время человеческий разум вообще сделал такие завоевания, что перечислить их сейчас было бы в высокой степени трудно.

Но вот еще одно. Американский врач Каррель<sup>3</sup>, которого я знал еще в Нью-Йорке, нашел способ лечить раны и заживлять кости, переломы простым путем — он наращивает живую ткань. Опускает раненый член в жидкость, насыщенную определенным раствором, и, глядя в микроскоп, вы видите, как какая-то сила тклет живую человеческую ткань, человеческие клетки. Точно так же можно видеть и как срастаются костные клетки на местах слома. Это все завоевания настолько мощные и звучат так странно, что это все как будто бы отзывается сказкой, но это факты, которые и сейчас в лабораториях ученых совершенно осязаемы. Те задачи, которые ставит перед собой человеческое знание, человеческий разум, — они неизмеримы.

К чему, в конце концов, мы стремимся сейчас? Главным образом европейская наука — говорю, европейская, потому что

<sup>2</sup> Принадлежит Сократу (ок. 469—399 гг. до н. э.)

<sup>3</sup> Алексис Каррель (1873—1944) — французский хирург. В 1904 году уехал в Америку, где продолжал свою научную деятельность. В 1912 году был удостоен Нобелевской премии за комплекс работ в области медицины и физиологии.

и в Китае и в Азии вообще нет науки в нашем смысле слова, там философия хорошо разработана, но нет науки в смысле техники, зоологии и т. д. — это творчество европейское. К чему стремится наука? Да, главным образом и прежде всего к тому, чтобы вся энергия природы, все ее силы заставить работать на пользу человеку и в его интересах, так же, как заставили работать такие силы, как теплоту, как электричество, как пар, как движение воздуха, течение рек, падение воды и т. д.

Что такое материя? Материя представляет собою то же самое, что и энергия. Это есть та же сила, но сила, находящаяся в состоянии устойчивого равновесия. Если человек, человеческий разум найдет способ разложить каждый данный кусок материи, превратить его в энергию, то будет картина такая: нам не надо будет лазить глубоко в шахты, отыскивать уголь, не надо утратить в холодную пору в торфяных болотах, добывая торф, потому что мы все это можем сделать более удобно, не надо будет вообще этого каторжного труда, который просто в сущности своей глуп. Он необходим, без него не обойдемся, но это глупый труд.

Но нужно извлечь из всего того, что мы называем мертвой материей, заключенную в ней живую силу. Что это можно — на это есть определенные намеки. Вы, вероятно, слышали, что существует элемент, называемый радием. Он обладает свойством источать постоянно лучи из себя, сам в то же время, как бы не исчезая. Из него постоянно истекает какая-то энергия, настолько мощная, настолько сильная, что если его близко держать от тела (хотя он обыкновенно бывает заключен в свинцовую коробочку), получается ожог. Это холодное тело, но оно жжет точно так же, как в сильный мороз сжег бы вас лом, который вы возьмете голый рукой, или замок, или вообще какой-нибудь железный предмет. Он проникает сквозь твердые тела, этот радий, и вы можете снимать целый ряд каких угодно предметов сквозь дерево, затемненный экран. Другая энергия еще — рентгеновские лучи, которые точно так же проходят через определенные тела.

Вот эти силы заключены вообще везде в той мертвой материи, которую мы называем землей и по которой мы ходим. Когда-то мы извлечем их и, может быть, скоро. Тогда перед нами будет огромный запас энергии, который мы можем употре-

бить взамен траты нашей физической силы. Насколько мощна эта энергия, я вам приведу несколько примеров. Многие слышали о так называемой шарообразной молнии. Это не та молния, которая делает зигзаги в небесах, но которая является в форме шара. Часто этот шар, влетая в дом, там все разрушает, все разбивает, убивает людей, буде они там есть. Мне случилось это видеть на Кавказе, когда мы переваливали через один хребет с Чеховым и одним художником — Васнецовым. Шар ударился в гору, оторвал огромную скалу и разорвался со страшным треском. Это микроскопическая былинка, находящаяся в состоянии перереза, в состоянии разрядки.

Один французский ученый<sup>4</sup>, занимающийся вопросом об эволюции материи, доказал путем подсчета, что если взять двухкопеечную монету и извлечь из нее заключенную в ней энергию, то этой энергией поезд в 40 груженных вагонов может обойти вокруг земного шара. Это тоже все кажется фантастическим, но это научные домыслы, и более чем вероятно, что это будет осуществлено.

Когда это будет осуществлено, тогда мы все, ясное дело, будем совершенно свободны, потому что не будет надобности в борьбе человека с человеком, ибо пропадет основа того, из-за чего люди боролись до сей поры и будут бороться еще долго. Пропадет желание обладать большим количеством энергии, чем владеет вот тот-то. Ведь в чем дело? Почему человек стремится поработать другого? Потому что он хочет, и это вполне естественное желание, сам лучше жить, спокойнее, свободнее, уютнее. Естественное желание каждого. Никто не будет против этого возражать. Другого способа не было до сей поры и еще нет, как для того, чтобы жить спокойнее, — сесть на шею ближнего — самое удобное положение. Но для того, чтобы избежать этого угнетения человека человеком, для того, чтобы не пользоваться его энергией, надо, очевидно, искать ее в другом месте, где она настолько обильна, что ее хватит на всех. И тогда люди просто лишатся этой возможности друг другу завидовать, друг у друга отнимать.

<sup>1</sup> Возможно, Густав Лебон (1841—1931), физик и химик, автор книг «Эволюция материи» (Спб., изд-во М. И. Семенова, 1914) и «Эволюция сил» (Спб., 1910). Книги с многочисленными пометами Горького хранятся в его библиотеке (дом-музей, Москва).

Как я уже сказал, в мире нет ничего, что не было бы сделано человеком. А мы жизнь понимаем как не что иное, как сложенное количество вещей, денег, все равно и т. д. А это все есть человеческая работа, человеческий труд. Но если разум человеческий сумеет достать эту энергию в том количестве, в каком она вообще нужна всем людям, тогда, ясное дело, пропадет этот мотив борьбы друг с другом, просто отпадет. И равенство, братство и свобода внутренняя, и любовь человека к человеку несомненно явятся тогда, когда все эти препятствия отпадут. Тогда мы будем жить за счет чисто своей энергии, своего разума, который в свою очередь даст нам в руки обладание всеми силами природы, всеми скрытыми в ней тайнами. Вот тогда, само собою разумеется, каждый из нас несомненно должен почувствовать в другом ту силу, которая есть в нем. Мы должны будем ценить друг друга не по худшему в нас, а по лучшему. Нас учили ценить друг друга по тому, что хуже в человеке, мерить друг друга меркой низкой и лживой, в сущности. Мы должны обращать больше внимания на то, что в нас есть хорошего, а не на то, что дурно, ибо если очень обращать внимание на дурное, то этим самым мы фиксируем, укрепляем это дурное еще более.

Но вот перед нами простой факт: всем нам видно и ясно, что люди от времени становятся лучше, все большее и большее количество людей принимает сознательное и честное участие в строительстве жизни. Страна такая отсталая, как Россия, — разве она не свидетельствует, в конце концов, о том, как побеждает человеческий разум? Только об этом свидетельствует революция. Разве революция создана не для того, чтобы человек стал лучше, чтобы человек стал значительно умнее, честнее, сильнее? Несомненно для этого. Когда он будет умнее, честнее, сильнее? Тогда, когда он будет больше знать. Не только — то, что окружает его, но и себя самого и своего ближнего, всех соседей своих, всех друзей, всех товарищей по работе.

И вы, конечно, можете себе представить, чем должен быть и может быть человек, который самого себя считает исключительным человеком, который самого себя считает источником всего лучшего на земле. Полагаю, что раз вы считаете себя таковым, то у вас нет оснований думать, что ваш товарищ не таков. Вы же созданы из одного и того же материала, жили при одних и тех же условиях, создались так

же, как все, в той же стране, при таких же географических, социальных, политических условиях и т. д. Почему вы должны полагать, что кто-то хуже вас, а вы лучше другого? Нет оснований для этого. Разница только в том, что один знает больше, другой меньше. Природных каких-нибудь свойств, каких-нибудь от рождения самого данных особенностей — я не думаю, чтобы таковые были. В человеке этого нет. Это все достигается знанием и трудом.

Труд честный и мужественный, смелый труд, умение смотреть открытыми глазами на все тайны жизни и ничего не бояться, с одной стороны, а с другой стороны — жажда все знать, узнать, что из чего сделано, кто такое «Я» — вот два стремления, которые, сталкиваясь, выковывают эту стальную фигуру человека, который, несмотря на смертность, творит бессмертные дела, бессмертные создал произведения искусства, научные теории и тщится, и можно сказать, тщится вполне уверенный, что в ближайшем будущем он завоеует и еще какие-то уже совсем сказочные, фантастические страны и области, что он откроет все тайны, окружающие его. Он мыслит и о бессмертии своем, и о том, как всю энергию, заключенную в природе, сделать слугою человека.

Эти задачи, которые теперь могут показаться нам фантастикой и сказкой, есть реальнейшие задачи человека и не должны быть чужды вам. Вы не должны полагать, что есть на свете что-то, чего не можете вы знать. Думать так — это значит унижать себя, это значит позволить кому-то опять взять вас под свою руку, и несомненно тяжелую руку. Вы не должны так думать. Вы должны знать, что равенство, самый принцип равенства, самый дух равенства сидит в каждом из вас. Он должен жить, и вы должны это воспитывать в себе. Нет ничего, что не было бы создано человеком. А раз все создано нами — чего же бояться? Перед чем мы можем остановиться? Ни перед чем. Если взять идеи и образы, которые устрашали нас, — они отмирают и частью отмерли уже. Чертей мы не боимся. Бога — тоже. Просто потому, что это тоже идея, которая отходит в сторону, но которою мы можем гордиться, потому что это одно из величайших усилий человеческого разума — воплотить зло в образе сатаны и добро в боге. Это очень большая работа человеческого разума. Это немного испортило, раздвоило нас, но надо знать, что сатана

и бог — едино суть и отец их человек, он создает эти образы.

Весь мой 50-летний опыт, все, что я пережил, внушает мне совершенно определенно не то что веру, и не убеждение, а такое же определенное чувство, как вот то, что я стою здесь перед вами, — уверенность в том, что человек сумеет одолеть все лежащие на пути его препятствия, что он разрешит все загадки, что ему будут ведомы все тайны, и наступит время, наступит момент, когда человек будет воистину свободен, воистину горд сам собою, и в нем просто исчезнут те животные качества, которые теперь мешают жить очень многим из нас. Вот что хотел я сказать вам, товарищи. Нет на свете ничего выше знания, выше труда, и труд и знание все победят. Знание и труд это то, что поставит людей удивительно высоко, так высоко, что мы не можем себе представить этого сейчас. Но, несомненно, наступит время, когда человек будет и ца-

рем природы и, может быть, таким чародеем, что для него не будет уже никаких препятствий. Может быть, он и межпланетные пространства победит, победит и смерть, и все болезни свои, и все внутренние недостатки, и тогда, весьма вероятно, будет рай на земле. Это все очень далеко, все фантастично — я прекрасно понимаю, — но именно это должно быть идеалом, именно это целью, к которой должны стремиться люди. И чем выше цель поставлена, тем больше в человеке возбуждает она и сил, и разума, и красоты, внутренней красоты.

Ну, а теперь позвольте мне пожелать вам, товарищи, хорошего успеха, доброго труда, и я желал бы, чтобы когда вы доживете до 50 (меня в эту пору уже не будет, так как с бессмертием к этой поро мы еще не совладаем) — но я желал бы вас видеть в эту пору крепкими, умными, хорошими, честными работниками своей страны. Вот чего хочется.

М. Горький среди агитаторов от стекольных заводов Петроградского округа, отправляющихся на фронт против дикой дивизии Корнилова. 1917.





Марина Цветаева

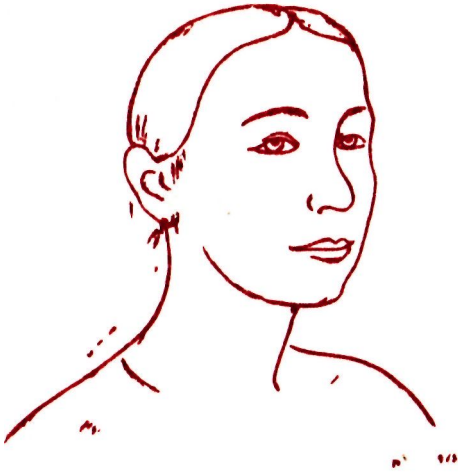
## Наталья Гончарова

(Жизнь и творчество)

О ты, чего и святотатство  
Коснуться в храме не могло,  
Моя напасть, мое богатство, —  
Мое святое ремесло!

Каролина Павлова





### Уличка

Не уличка, а ущелье. На отстояние руки от тела стена: бок горы. Не дома, а горы, старые-старые горы. (Молодых гор нет, пока молодая — не гора, гора — так стара.) Горы и норы. В горе и норе живет.

Не уличка, а ущелье, а еще лучше — теснина. Настолько не улица, что каждый раз, забыв и ожидая улицы, — ведь и имя есть и номер есть! — проскакиваю и спохватываюсь уже у самой Сены. И — назад — искать. Но уличка уклоняется — уклончивость ущелий! спросите горцев — мечусь, тычусь — она? нет, дом, внезапно раздавшийся двором — с целую площадь, нет, подворотня, из которой дует веками, нет, просто — улица, с витринами, с моторами. Ее нет. Сгнула. Гора сомкнулась, поглощая Гончарову и ее сокровища. Не попасть мне нынче к Гончаровой, а самой пропасть. Правая, левая? С.-Жерменская площадь, Сена? Где — что? И относительно какого что это где?

И вдруг — чудо! — быть не может! может, раз есть! неужели — она? как же не она — оно — теснина — ущелье! Тут же, между двумя домами, как ни в чем не бывало, будто всегда была.

Вхожу. Вся уличка взята в железо. Справа решетка, слева решетка. Если бы пальцем или палкой — звук не прекратился бы. Клавиатура охраны, скала страха. Что так хранили, от чего так таились те, за? Есть, очевидно, вещи важнее, чем жизнь, и страшнее, чем смерть. (Чужая тайна и честь любимой.)

Уже не ущелье, а тюремный коридор

или же зимнее помещение зоологического сада, — только без глаз, тех и тех. Никого за решетками, ничего за решетками, то за решетками. Но — в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключющее — воздух! Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет ветер, бог с надутыми щеками. Ветер — живет, может ли ветер жить, жить, это где-нибудь, а ветер везде, а везде — это быть. Но есть места с вечным ветром, с каким-то водоворотом воздуха, один дом в Москве, например, где бывал Блок, и где я бывала по его следам — уже остывшим. Следы остыли, ветер остался. Этот ветер, может быть, в один из своих приходов — одним из своих прохождений — поднял он и навеки приковал к месту. Место, где вещь — всегда, и есть местопребывание — какое чудесное, кстати, слово, сразу дающее и бытность и длительность, положение в пространстве и протяжение во времени, какое пространное, какое протяжное слово. Так, Россия, например, местопребывание тоски, о которой так же дико, как о ветре, сказать: живет. А — живет! И ветер живет. На конце той улички, чтобы лучше дуть в лицо — там, у ее начала.

Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы ветра — приморский. «Пахнет морем», нет, но: дует морем, запах мы прикладываем. И пустынный — морской, и степной — морской. Ибо за каждой степью и за каждой пустыней — море, за-пустыня, за-степь. Ибо море здесь, как единица меры (безмерности).

Каждая уличка, где дует, портовая. Ве-



тер море носит с собой, превносит. Ветер без моря больше море, чем море без ветра. Ветер в моей улочке особый, в две струи. (Зрительно: из арапских губ толстощекого бога расходится в два жгута.) Морской, как всякий, и старый, как только он. Есть молодые ветра, есть — молодые с каждым мигом — от всего, что по пути! (Младенческие ветра, московские!) Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть теряет, — изначальную пустоту. С ветром ведь так: вею первым, но пахну последним. Ветер — символ бесформенности — на мой взгляд сама форма движения. Содержание — путь. Этот стар — летел ко мне четыреста лет, поднятый плащом того из итальянцев засилья, в честь которого улочка, а может быть, только его слуги. (На расстоянии — скрадывается.) Стар, а по выходе из моего ущелья будет еще старше, очень уж стары дома.

Перед одним из таких — стою. Я его тоже никогда не узнаю, хотя незабвенен. А незабвенны на этой улочке — все. Если современные неотличимы из-за общности, старые — из-за особенности. Какая примета моего? Особый. Все — особые. Общность особенности, особь особенности. Так, просмотрев подряд сто диковинных растений, так же не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как сто растений однородных, наделяя это одно особенностями всех. Так и с домом. И даже номер не помогает — даже 13! — ибо на всю улочку один фонарь, не против моего. Дом не-против фонаря, единственная примета.

В первый мой приход перед одним из

домов стоял мотор, и я с самовнушением безысходности поверила, что раз стоит, то именно перед моим, приказала дому быть моим. (Так и оказалось.) Но сегодня мотора нет. Что сегодня — есть?

Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное: представление об улочке как об ущелье, то есть чем-то сплошном, цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а горы, гора справа, гора слева, подика найди дом! Недробимость.

Но — найти нужно. Проще бы: «Сезам, раскройся!» Чтобы вся гора — сразу, а во всей горе — вся сплошь — Гончарова. Но этого, твердо знаю, на сегодня не будет. С такими чудес не бывает, бывает с теми, кому не нужно, именно нужно, одним только и нужно. Раз я верю, что гора может раздаться, зачем же ей мне раздаваться? Со всяким, как я, гора «свои люди», для которых — неблагодарность любимых: стараться не стоит. Одним дана вера, другим — чудеса.

И — чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам сказал: вот я. Особый среди особых, несравненный среди несравненных, все превосходные степени исключительности.

Вхожу. Справа светлое окно привратницы — именно привратницы: при воротах, да еще каких! — которой я никогда не видела и которую увидеть боюсь: в таком доме привратнице должно быть по крайней мере двести лет, и ей моего приветствия, как мне ее напутствия, не понять. Спешно миную, и в полном разгоне... Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома,



которые живут. Сами. Вне людей. Стены, ступенями, тупиками, выступами, за-коулками, стуками, шагами, тенями — всем, кроме человека. Дома, где «водятся» (все, кроме человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. Дома, столь жившие, или — так сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. Дом, вышедший из игры.

Своды. Норы. Либо упруешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь — коня потеряешь. Влево пойдешь... Влево.

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли. Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты — гору. Нога ничего не узнаёт, непрерывно обманывается. Я глыбу, ты — гору. Я — утес, ты — ничего. Ничего называется яма. Яма — то место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много таких мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору... — проход! Световая щель. Ум, до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость газа в ущелье. Сверху течет — вечно. Вверяюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я — не знаю. Знаю только: под рукой — бока, а под ногой — река. Бывшая. Поворотами реки, как поворотами плеча...

Лестница. Ступени — ибо надо же как-нибудь назвать! — деревянные. При первом заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид.

Если двор — великаны мостили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь — кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты — ничего. Следы той же игры, веселой для них, страшной для нас. (Так и большевики веселились, а мы боялись, так и большие веселятся, а дети...) Дереву ступеней оковано — окантовано железом. Если взглянуть — а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве — ряд картин, взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них — времени.

Площадка за площадкой, на каждой провал — окно. Стекол нет и не было. Для выскока. Памятуя слова: «выше нельзя, потому что выше нет», этажей не считаю. Этажи? Эпохи. По такой лестнице самый быстрonoгий идет сто лет.

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, — глядение и хождение по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) — последний, я крайняя точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла — след превнес. Наслоение шагов, как на стене — теней. Оттого так долго живут старые дома, питаемые всей жизнью, превносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, не переставающим. За бывшим не угнаться. Снеги сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стоянным, выстоянным.

Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева — так долго ждут.



Верх. Тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время — конец четырехсот лет, которые стоит этот дом, то есть нынешнее число — 9 ноября 1928 г. — крайний час и миг этого дня. На данную секунду — конец истории.

В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.

### Мастерская

Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака — весь свет, всей стиснутости — весь простор. Не было бы крыши — пустыня. Так — пещера. Световая пещера, цель всех подземных рек. На взгляд — верста, на стих — конца нет... Конец всех Аидов и адов: свет, простор, покой. После этого света — тот.

Рабочий рай, мой рай, и, как рай, естественно здесь не данный. В пустоте — в тишине — с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусть — просторно, просторно — покойно. Покойно — светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы все могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Все не терпит чего (как «могло бы» — есть.) А вот у Маяковского рай — со стульями. Даже с «мебелями». Пролетарская жажда вещественности. У всякого свой.

Пустыня. Пещера. Что еще? Да, палуба! Правой стены нет, есть — справа — стекло, а за стеклом ветер: море. Вечером, в нерабочее время, когда отдыхает кисть и доходит гость, стеклянная стена, морская, исчезает за другой, льющей. Шелк

или нет — желт. По вечерам в мастерской Гончаровой встает другое солнце.

Кроме стеклянной, правой, другая, левая. Деревянная или каменная? (Что-то слышала о пристройке.) В старом доме и дерево — камень. (Преосуществление исконного материала: старая кожа, делающаяся бронзой, старое дерево — костью, глина — медью, лица старух и мертвых — всем, чем угодно, кроме плоти.) Не деревянная и не каменная, равно как третья, с которой сходится — стена холстов (холсты лицом от) — стена крестов. Деревянных крестов подрамников. То же, что булыжники двора, что кубы лестницы, есть до неба, есть по пояс (только пробелов нет, ни одного «ничего»!) — тоже, может быть, те же великаны играли, но доиграли и, доиграв, составили к стенке, лицом от глаз: сглазу. Не верю в разные силы, сила одна, игра — одна. Все дело в мере. Стихия, играя, не доигрывает и переигрывает:

Но ты взыграл, неодолимый,  
И стая тонет кораблей...

Ряд оконченных холстов — творчеством доделанная стихия творчества, день седьмой. Много дней седьмых в жизни Натальи Гончаровой, здесь, перед глазами, лицом к стене — от глаз. Дней седьмых — в прошлом, никогда в настоящем. Творящее творение тем отличается от Творца, что у него после шестого сразу первый, опять первый. Седьмой нам здесь, на земле, не дан, дан может быть нашим вещам, не нам.



Пол. Если от простора и света впечатление пустыни, то пол — совсем пустыня, сама пустыня. Не говоря уже о беспредметности его (ничего, кроме насущного ничего) — физическое ощущение песка, от стружек под ногами. А стружки от досок, строгаемых. Не стружки даже — деревянная пыль, пыльца, как песок, осуществляющая тишину. Что тише земли? Песок. (Знаю и песок поющий, свистящий под ногой, как разрываемый шелк, песок иных прибрежий океана, но — тишина — не отсутствие звуков, а отсутствие лишних звуков, присутствие насущных шумов — шум крови в ушах (комариное 3-3-3), ветра в листве, в данную минуту, когда стою на пороге мастерской, шум переворачивающейся воды в паровом отоплении — огромной печке, тепловом солнце этой пустыни.) Пустыня и — оазис! Справа, вдоль стеклянной стены, вся песчаная полоса — в цветном! Вглядываюсь ниже — глиняные миски с краской: из той же коричневой чашечки — каждый раз другой цветок! Цветы, как на детских картинках или виденные сверху, на лужайках: все круглые, плоские, одни по краям, другие на самом доньшке — не один оазис, а ряд оазисов, маленьких цветных островков, морец, озерце. Моря для маленьких, моря с блюдце. Из таких доньшек — такие громады (холсты). Все в этом деле нечеловеческое: божеское!

Пещера, пустыня и — не сон же все эти глиняные горшки и миски — гончарня. Как хорошо, когда так спевается!

В первый раз я мастерскую увидела

днем. Тогда устье было коридором, одним из бесчисленных коридоров старого дома — Парижа. А мастерская — по жару — плавильней. Терпение стекла под нестерпимостью солнца. Стекло под непрерывным солнечным ударом. Стекло, каждая точка которого зажигательное стекло. Солнце палило, стекло калилось, солнце палило и плавало. Помню льющийся пот и рубашечные рукава друзей, строгавших какую-то доску. Моя первая мастерская Гончаровой — совершенное видение труда, в поте лица, под первым солнцем. В такую жару есть нельзя (пить — зря), спать нельзя, говорить нельзя, дышать нельзя, можно только — единственное, что всегда можно, раз всегда нужно — работать. И плавилось не стекло, а лбы.

Помню, в этот первый раз — где-то сбоку — площадка, которая затем пропала. Под ней косяки крыш — один из Парижей Гончаровой, а над ней, на ней — одно из гончаровских солнц, отвесных — и я под ним. Жарче — лучше — мне в жизни не было.

Площадка пропала с солнцем, и выйти на нее из мастерской сейчас, в январе, так же невозможно, как вызвать то солнце. Вернемся с ним.

Пещера — пустыня — гончарня — плавильня.

Почему из всего Парижа Гончарова выбрала именно этот дом? Самый богатый красками художник — дом в одну краску: времени, začínательной новой эпохи в живописи — дом, где этажи считают эпохами, едва ли не современный из худож-



ников — дом, современники которого спят вот уже четыреста лет. Гончарова — развалины. Гончарова — дом на снос. «Льготный контракт»?.. Необычайные даже для мастерской размеры помещения?.. Латинский квартал?.. Да, да, да. Так скажут знакомые. Так скажет — кто знает, — может быть, сама Гончарова. А вот что скажет дом:

Чтобы преодолеть страх перед моей тишиной, нужно быть самым громким, страх перед моим сном — самым бодрствующим, страх перед моими веками — самым молодым, страх перед моим бывшим — самим будущим! «Темен — освещу, сер — расцветчу, тих — оглашу, ветх — укреплю...»

Или же: «Темен — подгляжу, тих — подслушаю, стар — поучусь».

Или же: тишину — тишиной, сон — сном, века — веками веков. Преодолеть меня мною же, то есть вовсе не преодолеть.

Первое — ребенок, второе — ученик, третье — мудрец. Все трое вместе — творец.

Сила на силу — вот ответ старого дома.

Еще один ответ: самосохранение Гончаровой-художника. Пресловутая «Tour d'ivoire»<sup>1</sup> на гончаровский лад. Дом — оплот (недаром в один цвет: защитный — времени). Сюда не доходят шумы и сюда не очень-то заходят люди. «В гости» — это такой улицей, таким двором, такой лестницей-то — в гости? Переборет этот страх и мрак только необходимость. (В гости ходят

не так к знакомым, как к их коврам, полам...)

Остальные не дойдут или не найдут. Остальные отстанут. Останутся.

И еще: игра. Такая сила творческой игры в булыжниках двора, расселинах стены, провалах лестницы, такая сила здесь играла, что Гончаровой, с ее великанскою творчеством, — упрек одного критика: «Да это же не картины, это — соборы!» — этот дом просто сродни. Таким его сделало время, то есть естественный ход вещей. К тому дому, такому, как он сейчас есть, будто бы и рука не прикасалась. Не прикасалась она и к самой Гончаровой, — никакая, кроме руки природы. Гончарова себя не строила, и Гончарову никто не строил. Гончарова жила и росла. Труд такой жизни не в кисти, а в росте. Или же: кисть: рост.

У Гончаровой есть сосед: маленький французский мальчик, обожающий рисовать. «Сколько бы раз я ни вышла на лестницу: «Bonjour, madame!» — и сейчас показывать. — Стережет. — Пока какие-то каракульки, но любит страстно. Может быть, что-нибудь и выйдет...»

Случайность? Такая же, как Гончарова И дом. Как Трехпрудный пер., д. 8, и Трехпрудный пер., д. 7, к которым сейчас вернусь. О мальчике же: если бы мальчик знал, кто эта «madame», и если бы Наталья Гончарова через двадцать лет могла сказать: «Если бы я тогда знала, кто этот мальчик...»

<sup>1</sup> Башня из слоновой кости (франц.).







Тополя не снесли. Потом, может быть. Больше я в Трехпрудном не была. Больше не буду, даже если типография Левенсон — наперекосок от бывших нас, — где я печатала свою первую книгу, когда-нибудь будет печатать мою последнюю<sup>2</sup>.

В первый раз я о Наталье Гончаровой — живой — услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары, Вокзал и, особенно мною любимое — не все помню, но что помню — свято:

Как в одной из стычек под Нешавой  
 Был убит германский офицер,  
 Неприятельской державы  
 Славный офицер.  
 Где уж было, где уж было  
 Хоронить врага со славой!  
 Лег он — под канавой.  
 А потом — топ — топ — топ —  
 Прискакали скакуны,  
 Встали, вьются вокруг канавы,  
 Как вьюны.  
 Взяли тело герра,  
 Герра офицера  
 Наперед.  
 Гей, народ!  
 Гей, наро—ды!  
 Становитесь на колени пред канавой,  
 Пал здесь принц — со славой.  
 ...Так в одной из стычек под Нешавой  
 Был убит немецкий, ихний, младший  
 принц.  
 Неприятельской державы  
 Славный принц.

Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его, в своем восприятии, между лебедой и лебедями, в полной степи.

Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти», в два цвета, в два не-цвета, черный и белый. Кстати, непреодолимое отвращение к слову «иллюстрация». Почти не произношу. Отвращение двойное: звуковое соседство перлюстрации и смысловое: *illustrer* — означивать, прославливать, странным образом вызывающее в нас обратное, а именно: несущественность рисунка самого по себе, применительность, относительность его. Возьмем буквальный смысл (означивать) — оскорбителен для автора, возьмем ходовое понятие — для художника<sup>3</sup>.

Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении не нуждается. Вид книги? Недостаточно серьезная задача. Попытаемся понять, что сделала Гончарова по

<sup>2</sup> Еще совпадение. Книга Вересаева «Пушкин в жизни», которую я с восхищением и благодарностью пользовалась для главы «Наталья Гончарова — та», оказалась отпечатанной в 16-й типографии «Мосполиграф», Трехпрудный пер., д. 9, т. е. в той же моей первой типографии Левенсон, где, кстати, и Гончарова печатала свою первую книгу. (Прим. М. Цветаевой.)

<sup>3</sup> Есть еще одно значение, мною упущенное: *lustre* — блеск и *lustre* месячный срок („douze lustres"), т. е. тот же блеск; месяц. Откуда и люстра. Откуда и *illustre* (славный), так же, как наша церковная «слава», идущая от светила. *Illustrer* — придавать вещи блеск, сияние; осиявать. Перлюстрировать — просвечивать (как рентгеном). (Прим. М. Цветаевой.)



(Голова с заносом,  
Волоса с забросом!)

отношению книги Чурилина. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть — первично. *Wie ich es sehe*<sup>4</sup>. Словом — никогда без Германии не обойдусь — немецкое *nachdichten*<sup>5</sup>, которым у немцев заменен перевод (сводной картинки на бумагу), иного не знаю.

Стихи Чурилина — очами Гончаровой. Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется в количестве всего двухсот экз. Книгу, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был два года. Весна после смерти. Был там стих, больше говорящий о бессмертии, чем тома и тома.

Быть может — умру,  
Наверно — воскресну!

Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся книга. Из всех картинок помню только одну, ту самую одну, которую из всей книги помнит и Гончарова. Монастырь на горе. Черные стволы. По снегу — человек. Не бессознательный ли отзвук — мой стих 1916 г.

...На пригорке монастырь — светел  
И от снега — свят.

Книга светлая и мрачная, как лицо воскресшего. Что побудило Гончарову, такую молодую тогда, наклониться над этой бездной? Имени у Чурилина не было, как и сейчас, да она бы на него и не польстилась.

Гончарова, это слово тогда звучало победой. В этом имени мне всегда слышалась и виделась — закинутая голова.

Это имя — оглавляло. Та же революция до революции, как «Война и мир» Маяковского, как никем не замеченная тогда книга Пастернака «Поверх барьеров».

И когда я — в прошлом уже! — 1928 году летом — впервые увидела Гончарову с вовсе не закинутой головой, я поняла, насколько она выросла. Все закинутые головы — для начала. Закидывает сила молодости (задор!), вызревшая сила скорее голову — клонит.

Но одно осталось — С забросом. Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. — Настоятельница монастыря. — Молодой настоятельница. Прямота черт и взгляда, серьезность — о, не суровость! — всего облика. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда улыбка — прелестная.

Платье, глаза, волосы — в цвет. «Самый покойный из всех!»... Не серый.

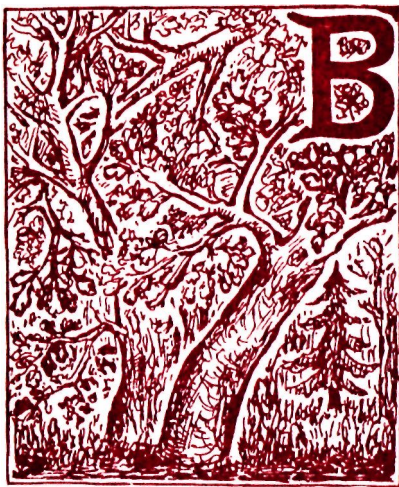
Легкость походки, неслышность ее. При этой весомости головы — почти скольжение. То же с голосом. Тишина не монашески, всегда отдающая громами. Тишина над громами. За — громная.

Жест короткий, насущенный, человека, который занят делом.

— Моя первая встреча с вами через Чурилина, «Весна после смерти».

<sup>4</sup> Как я это вижу (нем.).

<sup>5</sup> Переводить вольно.



— Нет, была и раньше, вы не помните? Гляжу назад, в собственный затылок, в поднебесье.

— Вы ведь в четвертой гимназии учились?

— И в четвертой.

— Ну, вот, вы, очевидно, были в пригостительном, а я кончала. И вот как-то после уроков наша классная дама, Вера Петровна такая, с попугачьим носом: «За Цветаевой нынче не пришли. Проводите ее домой. Вы ведь соседи?» Я взяла вас за руку, и мы пошли.

— И мы пошли.

Дорого бы я дала теперь, чтобы сейчас идти за теми двумя следом.

Четвертая гимназия. Красные иксы баюстрады вокруг пруда — «прудов» — Патриарших. Первый гимназический год, как всё последующее, меняла школы, как классы и города, как школы — без друзей, с любовью к какой-нибудь одной, недостижимой, ибо старшей, — с неизменным сочувствием все тех же трех учителей — русского, немецкого, французского — с неизменным презрением прочих. Патриаршие пруды, красные фланелевые штаны, восемь лет, иду за руку с Натальей Гончаровой.

(Может, и не было. Кажется, не могло быть. И не меня вела, а другую, Цветкову, например. Или мою старшую сестру — тоже Цветаева и тоже Трехпрудный. Но та не помнит, а я помню. Но ту не помнит, меня помнит.

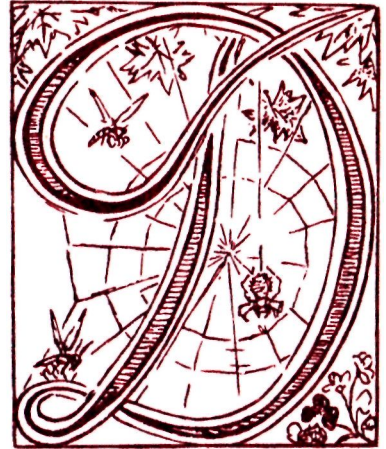
Значит — я. Значит — мое.)

## Младенчество

Наталья Гончарова родилась в средней России, в самом сердце ее, в Тульской губ., деревне Лодыжино. Места толстовско-тургеневские. Невдалеке Ясная Поляна, еще ближе Бежин Луг. А в трактире уездного городка Чернь — беседа Ивана с Алешей. Растет с братом-погодком в имени бабушки. Бабушка безвездная: ни к кому никуда, зато к ней все, вся деревня. По вечерам беседы на крыльце. Что у кого отелилось — ожеребилось — родилось, что у кого болит — чем это что лечить. Бабушка живет в недостроенном доме, родители Гончаровой с детьми напротив, в недоснесенном. Почему недоснесли? Почему недостроили? Так, между начатком и пережитком, протекает ее младенчество. Два дома и ни одного цельного, а зато два. Дом в ущелье — прямой вывод тех двух. Прямым выводом была бы и палатка, всякое жилье, кроме комфортабельной казармы современности. Это — отзвук в быту. И — обратный урок колыбели: недостроенное — достраивай! Законченные «соборы» Гончаровой — нет всем недостроенным домам.

— У вас есть любимые вещи? — Нелюбимые — есть. Недоделанные. Я просто оборачиваю их лицом к стене, чтобы никто не видел и самой не видеть. А потом, в какой-то нужный час — лицом от стены и — все заново.

На вопрос, на который никто не отвечает сразу, а иные не отвечают вовсе, не потому что не было, а потому, что не думали («да у меня и не было первого!» —



ушами слышала) — Гончарова ответила точно и сразу:

— Первое воспоминание? В той комнате, знаете, о которой я вам говорила — белянке, мы с братом за круглым столом смотрим картинки. Книга толстая, картинок много. Года? Два.

— А это должно быть второе, если не первое. Я все детство прожила в деревне и совсем не помню зимы. Была же, и гулять, должно быть, водили, — ничего. А это помню. Весна на гумне. Меня за руку ведут через лужи. А из лужи (голос тишает, глаза загораются, меня, на которую глядят, не видят, видят): из-под льда и снега — ростки. Острые зеленые ростки. На гумне всегда много зерен рассыпано. Первые проросшие.

Ну, есть ли лучше, ну, может ли быть лучше, чем: два первых сразу, вся Гончарова в колыбели: сила природы в ней и тяга ремесла. Книга то-олстая! Картинок много-ого! И не эти ли острые ростки — потом — через всю книгу ее творчества: бытия.

— Кукол не любила, нет. Кошек любила. А что любила — садики делать. (Вообще любила делать.) Вырезались из бумаги кусты, деревца и расставлялись в коробке. Четыре стенки — ограда. Законченный сад.

— Вам бы не хотелось сейчас — такое дерево, тогдашнее?

(Голубово, имение барона Б. А. Вревского. «В устройстве сада и постройках принимал Пушкин, по фамильному преданию, самое горячее участие: сам копал

грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью».)

— Вы говорите, первое воспоминание. А вот — самое сильное, без всяких событий, песня. Нянька пела. Припев, собственно:

А молодость не вернется,  
Не вернется опять.

— А знаете, в чем дело? В противузаконном «опять». Если бы вовек — не то было бы, не всё было бы. Какое нам дело, что вовек? Вовек, это так далеко, вовек, это вперед, в будущее, то вовек, в которое мы не верим, до которого нам дела нет, вовек, — это ведь и после нас, не с нами, после всех. Ведь вовек — это не только в наш век (жизнь), в наш век (столетие), а вообще — во веки веков. Поэтому безразлично.

А вот опять, то есть сюда же, на эту точку, на которой мы сейчас стоим. Ведь мы стоим, вещь уходит! Не вернется опять — вспять. В опять ее невозвратный шаг от нас, просто — ушагивает.

А вовек — никогда — никакого зрительного впечатления, отвлеченность, в которую мы не верим. Кто же когда-либо верил в ничто и никогда!

Усиленное не вернется, не только не вернется, но сугубо не вернется. Вот — опять!

— Я ведь маленькая была и слов не понимала. Понимала только, что ужасно грустно.

— Вы понимали — смысл.



— А еще у нас была молеельня. Но до молеельни были молитвы, то есть нянька. Красивая, молодая, черноглазая. И вот, не знаю уж для чего, может быть, чтобы сидели смирно, а может быть, чтобы просто сидели, а она бы уходила — молитвы. Сидим и молимся. Да как! Часами! (Может быть, ее же, нянькины, грехи и замаливали...) Вы только представьте себе: дети, резвые, драчуны — я до пятнадцати лет дралась с братом, мы запирали дверь на задвижку и дрались, дрались жесто-ченно! — только тогда перестали, когда он явно стал одолевать, знаете — одним махом — и тогда я поняла, что бесполезно, — дети, резвые, драчуны — а ведь как ждали этого часа!

«Вот когда папа с мамой уйдут».

— А что это были за молитвы?

— Не знаю. Простые, должно быть.

— Хлыстовские, может быть?

— А молеельня: там у нас фильтр был — знаете, такая громада? Тяжелый, глиняный, нелепый какой-то. И никто, конечно, не цедил. А фильтр стоял. А стоял он на ящичке, особом таком, в боку отверстие, вроде окна. Знаете такие ящички? И вот однажды мы, поглядев, поняли, что это, собственно, храм. Огромный храм, только маленький. И устроили молеельню. Пол выстлали золотой бумагой, даже алтарь был. И — молились.

— Но как же, — раз ящик был маленький?

— Не в нем молились, в него молились, через то окошко, боковое...

(Переключка. Недавно я, во вступлении к письмам Рильке, обмолвилась: «Еще мне

хочется говорить — ему, точнее — в него». То, что Гончарова говорит о храме, относится также к божеству храма: в него молиться, не ему молиться.)

...«Нянька знала. А мать, кажется, нет. Просто топчемся около фильтра. Мало ли...»

Гончаровские соборы из глубока росли!

— В гимназию поступила прямо из деревни. От всех доставалось, за все доставалось. Особенно от словесника за орфографию.

— Плохую?

— Тульскую. Говорила по-тульски — х вместо ф и все такое, — а писала, как говорила. Написанным это должно было выглядеть ужасно.

— Ужасно.

— А еще от классной дамы — за кудри. Вились только две передних пряди, это-то и сбивало: вся гладкая, а по бокам вьюсь. И глажу, и мажу... Сколько раз: «Гончарова, к начальнице в кабинет!» — «Опять завилась?» — И мокрой щеткой, до боли в висках. Выхожу, гладкая, как мышь, а сама смеюсь, — от воды ведь, знаете, что с кудрявыми волосами? И на следующей перемене...

— «А кудри завьются, завьются опять!»

Только погрузить об этих педагогах, могущих заподозрить в щипцах — этот дичок, за давностью преподавания природо-ведения забывших, очевидно, что есть волосы, действительно вьющиеся, как хмель вьется, и что с такими волосами — как с хмелем — как с самой Гончаровой — ни-



чего не поделаешь. Разве что вырвать с корнем.

Все это мелочи — и драки, и молелья, и кудри. Останется не это, а «соборь». Хочу, чтобы и это осталось.

Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? И если есть, важна ли она? Важно ли то, из чего? И — из того ли — то?

Есть ли Гончарова вне холстов? Нет, но была до холстов. Гончарова до Гончаровой, все то время, когда «Гончарова» звучало не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если звучало — то отзвуком Натальи Гончаровой — той (печальной памяти прабабушки). Гончаровой до «соборов» нет — все они внутри с самого рождения и до рождения (о, вместимость материнского чрева, носящего в себе всего Наполеона, от Аяччи до св. Елены!) — но есть Гончарова до холстов, Гончарова немая, с рукой, но без кисти, стало быть — без руки. Есть препоны к соборам, это и есть личная биография. — Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой.

Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама — неблагоприятное условие. Всякое творчество (художник здесь за неимением немецкого слова Künstler) — перебарыванье, перемальванье, переламавание жизни — самой счастливой. Не сверстников, так предков, не вражды, ожесточающей, так благожелательства, размягчающего. Жизнь — сырьем — на потребу творчества не идет. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия — быть может — самые бла-

гоприятные. (Так, молитва мореплавателя: «Пошли мне бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!»)

Первый холст — конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника. Обретший глаз (здесь хочется сказать — глаз) — и за него ли говорить фактам? Их роль, в безглагольную пору, первоисточника, отныне не более как подстрочник, часто только путающий, как примечания Державина к собственным стихам. Любопытно, но не насытно. Обойдусь и без. И — стихи лучше знают!

И, если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни, может быть и менее, потому что менее показательно. Не-художник в жизни живет весь, на жизнь — ставка, на жизнь как она есть, здесь — на жизнь как быть должна.

Холст: есмь. Предыдущее — ход к холсту.

Есть факты — наши современники. Есть — наши предшественники, факты до нас. «Когда я не была Гончаровой» (не для других, а для самой себя, не Гончаровой — именем, а Гончаровой — силой). Таково все детство и юность. Предки, предшественники, предтечи. Их и нужно слушать. Дедов — о будущих внуках. Гончарова — маленькая себе нынешней бабушка, слепая и вещая. Рука Гончаровой, насаживающая садик, знает, что делает, пятилетняя Гончарова — нет. Встреча знания с сознанием, руки Гончаровой с головой Гончаровой — первый холст. Рука Гончаровой, насаживающая садик, — рука из

будущего. Здесь прашур вещь. Ее рука умнее ее. В последующем — юношестве — рука (инстинкт) сдает. Лучший пример — та же Гончарова, кончающая школу живописи и ваiania — скульптором. Боковое ответвление принявшая за ствол. Рука, смело раскрашивающая деревья в семью семь цветов радуги, здесь ослепла и наткнулась на форму. (Бабушка заснула, и внучка играет сама.)

Детство — пора слепой правды, юношество — зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди. (Казалось бы — исключение Пушкин, до семи лет толстевший и копавшийся в пыли. Но почему мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, когда он копался в пыли? Свидетелей этому не было. Последующее же — о несуждении по юношеству — к Пушкину относится более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими исключениями, в юношестве — отталкивает.)

О, это потом опять споется — как спелось с Гончаровой. Сознание dorocло до инстинкта, не спелось, а спаялось с ним. С первым холстом (с фактом — актом — первого холста, каков бы ни был) Гончарова — зрячая сила, вещь почти божественная).

История моих правд — вот детство. История моих ошибок — вот юношество. Обе ценны, первая как бог и я, вторая как я и мир. Но, ища нынешней Гончаровой, идите в ее детство, если можете — в младенчество. Там — корни. И — как ни странно — у художника ведь так: сначала корни, потом ветви, потом ствол.

История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к последней. Как ни мало свидетельств, одно доисторическое — почти догадка — больше дает о народе, чем все последующие достоверности. «Чудится мне...» — так говорит народ. Так говорит поэт.

Если есть еще божественное, кроме завершения, мира явленного, то — он же в замысле.

Еще божественнее!

Но есть и еще одно — уже не божественное, а человеческое — в личной биографии большого человека: то сжатие сердца, с которым встречаем гончаровское дерево. То соучастие сочувствия, вызываемое в нас, всех так игравших, ею, доигравшей и выигравшей.

У подножия тех соборов — та картонка. Простое умиление сердца.

## Две Гончаровы

— Что вы сейчас пишете?

— Наталью Гончарову.

— Ту или эту?

Значит, две. Две и есть. Чем руководствовались родители нашей, назвав ее тем именем, еще раз возобновив в наших ушах злосчастное созвучие, почти что заклеив. В честь? Мысленно оставляю пустое место. В память? Помним и так. Может быть — и скорее всего — попросту: у нас-де в роду имя Наталья. Но именно таким попросту орудует судьба. К этому еще вернусь, говоря о Наталье Гончаровой — той.



Наталья Гончарова — та — вкратце.

Молодая девушка, красавица, та непременно красавица многодочерних русских семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер — младшая, но старшая или младшая, красавица — сказочная, из разорившейся и бесплодной семьи, выходит замуж за — остановка — за кого в 1831 г. выходила Наталья Гончарова?

Есть три Пушкина. Пушкин — очами любящих (друзей, женщин, стихолобов, студенчества), Пушкин — очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин — очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, истреки — посмертные отзывы) и, наконец, Пушкин — очами будущего — нас.

За кого же из них выходила Гончарова? Во всяком случае, не за первого и тем самым уже не за последнего, ибо любящие и будущие — одно. Может быть, за второго — Пушкина сплетен — и — как ни жестоко сказать — вернее всего за Пушкина очами суда, Двора: за Пушкина — пусть со стихами, но без чинов, — за Пушкина — пуще чем без чинов — вчерашнего друга декабристов, за Пушкина поднадзорного.

Что бы ни говорилось о любви Николая I к Пушкину, этого слова государя о поэте достаточно: «Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же посланную, но, слава богу, умер христианином». И еще,

в ответ на нижеследующие слова Паскевича: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созрел, но человек он был дурной». — «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее». (Будущее — что? «Хороший» человек, в противовес «дурному», бывшему? Или будущий большой писатель. Если первое — откуда он взял, вернее, как он, хоть на ногу зная Пушкина, мог допустить, что Пушкин будет «хорошим» (в его толковании!). Да даже если бы на смертном одре самоустно ему, государю, поклялся — клянется умиравший, держит (не держит) живущий. Если же второе, неужели государю всего данного Пушкиным было — мало? Где он видал больше? Да было ли больше в тридцать шесть лет? Но бог иногда речет устами — даже цензоров! — бы в шее бы (поведение, дарование) вот что хотел сказать, а сказал будущее, то есть назвал нас, безутешных в таком пушкинском окружении.

Николай I Пушкина ласкал, как опасного зверя, который вот-вот разорвет. Пушкина — приручал. Беседа с «умнейшим человеком России»? Ум — тоже хищный зверь, для государей — самый хищный зверь. Особенно — вольный. Николай I Пушкина засадил в клетку, а клетку позолотил (мундир камер-юнкера и — о, ирония! — вместо заграничной подорожной — открытый доступ в архив, которым, кстати, Пушкина при себе и держал. — «Ты в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом». И — Пушкин остался.





Вместо деревни — Двор, вместо жизни — смерть).

Николай I Пушкина видел под страхом, под страхом видела его и Гончарова. Их отношение — тождественно. Если Николай I, как мужчина и умный человек, боялся в нем ума, Наталья Гончарова, как женщина, существо инстинкта, боялась в нем — его всего. Николай I видел, Наталья Гончарова чуяла, и еще вопрос — какой страх страшней. Ума ли, сущности ли, оба, и государь, и красавица, боялись, и боялись силы.

Почему Гончарова все-таки вышла замуж за Пушкина, и некрасивого, и небогатого, и незнатного, и неблагонадежного? Нелюбимого. Разорение семьи? Вздор! Такие красавицы разорять созданы. Захоти Гончарова, она в любую минуту могла бы выйти замуж за самого блистательного, самого богатого, самого благонадежного, — самое обратное Пушкину. Его слава? Но Гончарова, как красавица — просто красавица — только, не была честолюбивой, а слава Пушкина в ее кругах — ее мы знаем. Его стихи? Вот лучшее свидетельство, из ее же уст:

«Читайте, читайте, я не слушаю».

А вот наилучшее, из уст — его:

...«Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, но как уловить, что пишешь во время сна? Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне, потом я испытал истинные угрызения совести: ей так хотелось спать!»

— Почему вы тотчас же не записали этих стихов?

Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил:

— Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать, она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились».

(А.-О. Смирнова, Записки, т. I)

Почему же? За что же?

Страх перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла из страха, так же, как Николай I из страха взял его под свое цензорское крыло.

Не выйду, так... придется выйти. Лучше выйду. Проще выйти. «Один конец», — так звучит согласие Натальи Гончаровой. Гончарова за Пушкина вышла без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодоливаемой плоти — шаг куклы! — а может быть, и с тайным содроганием. Пушкин знал, и знал в этот час больше, чем сама Гончарова. Не говоря о предвидении — судьбе — всем над и под событиями — Пушкин, как мужчина, знавший много женщин, не мог не знать о Гончаровой больше, чем Гончарова, никогда еще не любившая.

Вот его письмо:

«...Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность Вашей дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца.

...Не явится ли у нее сожаление? не бу-



дет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она отворачивания ко мне? Бог свидетель — я готов умереть ради нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, — эта мысль — адское мучение!»

(Пушкин — Н. И. Гончаровой (матери), в перв. полов. апреля 1830 г.)

Пушкин в этот брак вступил зрячим, не с раскрытыми, а с раздернутыми глазами, без век. Гончарова — вслепую или вполуслепую, с веками-завесами, как и подобает девушке и красавице.

С Натальи Гончаровой с самого начала снята вина.

(«Молодость, неопытность, соображения семьи»). Не доводы. Княгиня Волконская тоже была молода и неопытна, а семья — вспомним ее сборы в Сибирь! — тоже соображала — и как! «Молодость, неопытность, семья» — принадлежность всех невест того времени и ничего не объясняют. Не говоря уже о том, что девушки того круга почти исключительно жили чувствами и искусствами и тем самым больше понимали в делах сердца, чем наши самые бойкие, самые трезвые, самые просвещенные современницы.)

— Эту жизнь мы знаем. Выезжала, блистала, повергала к ногам всех от тринадцатилетнего лицаиста до Всероссийского Самодержца — не хотя, но не противясь — как подобает Елене, рождала детей, называла их, по желанию мужа, про-

стыми именами. (Мария, Александр — третьего: «Он дал мне на выбор Гаврилу и Григория (в память Пушкиных, погибших в Смутное время). Я выбрала Григория».) Хорош выбор — между удавкой и веревкой! (В данную минуту с ней все мое сочувствие, право матери, явившей в мир, являть и в имени. Не то плохо, что Григорий плох, а что ей пришлось выбрать Григория.)

Безучастность в рождении, безучастность в наименовании, нужно думать — безучастность в зачатии их. Как — если не безучастность к собственному успеху — то неучастие в нем, ибо преуспевали глаза, плечи, руки, а не сущность, не воля к успеху: «вошел — победил». Входить — любила, а входить — побеждать. Безучастность к работе мужа, безучастность к его славе. Предельное состояние претерпевания.

Кокетство? Не больше, чем у современниц, менее прекрасных. Не она более кокетлива — те менее прекрасны. Отсюда успех. Две страсти, если можно применить к ней это слово: свет и обратная страсть: отвращение к деревне. Так, Пушкину на мечту о Болдине: «С волками? Бой часов? Да вы с ума сошли!» — и залилась слезами.

Дурная жена? Не хуже других, таких же. Дурная мать? Не хуже других, от любимого мужа. Когда Пушкина убили, она плакала.

Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она — которые не насчитываются тысячами. Была



в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая как меч. И — сразила.

Просто — красавица. Просто — гений.

Ибо все: и предательство в любви, и верность в дружбе, и сыновность своим дурным и бездарным родителям (прямо исключая возможность Пушкина), и неверность — идеям или лицам? (нынче ода декабристам, завтра послание их убийце), и страстная сыновность России — не матери, а мачехе! — и ревность в браке, и неверность в браке, — Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин «Гавриилиады», Пушкин церкви, Пушкин — бесчисленности своих ликов и обличей — все это спаяно и держится в нем одним: поэтом.

Все на потребу! Керн так Керн, Пугачев так Пугачев, дворцовые ламповщики так дворцовые ламповщики (с которыми ушел и пропал на три дня, слушая и записывая. Пушкина — все уводило).

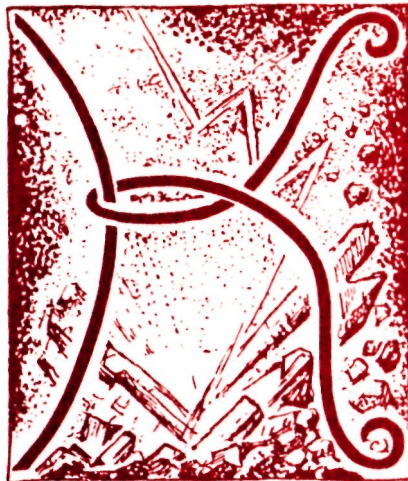
В своем (гении) то же, что Гончарова в своем (красоте). В своем гении то же, что Гончарова в своем. Не пара? Нет, пара. Та рифма через строку со всей возможностью смысловой бездны в промежутке. Разверзлась.

Пара по силе, идущей в разные стороны, хотелось бы сказать: пара друг от друга. Пара — врозь. Это, а не другое, в поверхностном замечании Вяземского: «Первый романтический поэт нашего времени на первой романтической красавице»...

Неправы другие с их «не-парностью». Первый на первой. А не первый по уму на последней (дуре), а не первая по красоте на последнем (заморыше). Чистое явление гения, как чистое явление красоты. Красоты, то есть пустоты. (Первая примета рокового человека: не хотеть быть роковым и зачастую даже этого не знать. Как новатор никогда не хочет быть новатором и искренне убежден, что просто делает посвоему, пока ему ушей не прожужжат о его новизне, левизне! — роковое: эманация.)

Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. (Пушкинский гроб под розами!) Как Елена Троянская повод, а не причина Троянской войны (которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса), так и Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу.

Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно («огончарован») считал за чары, — тяга гения — переполненности — к пустому месту. Чтоб было куда. Были же рядом с Пушкиным другие, недаром же взял эту! (Знал, что брал.) Он хотел нуль, ибо сам был — всё. И еще он хотел того всего, в котором он сам был нуль. Не пара — Россет, не пара Раевская, не пара Керн, только Гончарова пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны были, он хо-



тел первого и недостижимого. Женитьба его так же гениальна, как его жизнь и смерть.

«Она ему не пара» — точно только то пара, что спевается! Есть пары по примете взаимного тяготения, счастливые по замыслу своему, по движению к — через обеденный ли стол (Филимон и Бавкида), через смертное ли ложе (Ромео и Джульетта), через монастырскую решетку (Элоиза и Абеляр), через все моря (Тристан и Изольда) — через все вопреки — вопреки всем через — счастливые: любящие.

Есть пары — тоже, но разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший Брунгильды, Пенфезилея, не узнавшая Ахилла, где рок в недоразумении, хотя бы роковом. Пары — всё же.

А есть роковые — пары, с осужденностью изнутри, без надежды ни на сем свете, ни на том.

Пушкин — Гончарова.

Что такое Гончарова по свидетельствам современников? Красавица. «Nathalie est un ange»<sup>6</sup> (Смирнова). «Печать меланхолии, отречения от себя...» (N. В! от очередного бала или платья?) Молчаливая. Если приводятся слова, то пустые. До удивительности бессловесная. Все об улыбке, походе, очах, плечах, даже ушах — никто о речах. Ибо вся в улыбках, очах, плечах, ушах. Так и останется: невинная, бессловесная — Елена — кукла — орудие судьбы.

Страсть к балам то же, что пушкинская страсть к стихам: единственная полная возможность выявления. (Явиться — выявить!) Входя в зал — рекла. Всем, от

мочки ушка, до носка башмачка. Всем сразу. Всем, кроме слов. Все être<sup>7</sup> красавицы в paradis<sup>8</sup>. Зал и бал — естественная родина Гончаровой. Гончарова только в эти часы была. Гончарова не кокетничать хотела, а быть. Вот и разгадка Двора и деревни.

А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома — умирала. Богиня, превращающаяся в куклу, возвращающаяся в небытие.

Если друг другу не пара, то только в христианском смысле брака, зигдущегося на совместном устремлении к добру. Ни совместности, ни устремления, ни добра. Впрочем, устремление было: брачная парная карета, с заездом на Арбат, дом Хитровой (туда молодые поехали после венца), гнала прямо на Черную речку. Отсюда пути расходятся: Гончарова — к Ланскому, Пушкин — в Святогорский монастырь.

Языческая пара, без бога, с только судьбой.

Жуткая подробность. Карета, увозившая Пушкина на Черную речку, на дворцовой набережной поравнялась с каретой Гончаровой. Увидь они друг друга... «Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону».

Фактическое. Пушкин должен был быть

<sup>6</sup> Наташа — ангел (франц.).

<sup>7</sup> Быть (франц.).

<sup>8</sup> Казаться (франц.).

убит белым человеком на белой лошади, в которого так свято верил, что даже ошибочно счел его Вейскопфом (он точно свою смерть примерял) — одним из генералов польской войны, на которую стремился — навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбирает Дантэса, пустое место, равное Гончаровой. Пушкин убит не белой головой, а каким-то — пробелом.

Кто бы — кроме?

«Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок, и начал дожидаться и прождал напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решил не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно».

(Гр. В. А. Сологуб — обиженный им!)

Не такой же, а именно Дантэс, красавец, кавалергард, смогший на прощальные прощающие слова Пушкина со смехом ответить: «Передайте ему, что я его тоже прощаю!» Не Дантэс смеялся, пушкинская смерть смеялась, — той белой лошади раскат (оскал).

Чтобы не любить Пушкина (Гончарова) и убить Пушкина (Дантэс), нужно было ничего в нем не понять. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантэсом *in dem Kauf*<sup>9</sup>, то есть с собственной смертью. Посему, изменила Гончарова Пушкину или нет, только кокетничала или целовалась, только целовалась или другое все, ничего или все, — неважно, ибо Пушкин Дантэса вызвал за его любовь, не за ее любовь. Ибо Пушкин Дантэса вызвал бы в конце концов и за взгляд. Дабы сбылись писания.

И еще, изменила Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, все равно — невинна. Невинна потому, что кукла, невинна потому, что судьба, невинна, потому что Пушкина не любила.

А Ланского любила и, кажется, была ему верной женой.

«Первая романтическая красавица наших дней» не боялась призраков. Призрак Пушкина — живого из живых, страстного из страстных (призрак арапа!) страшен. Но она его не увидела, а не увидела его, потому что Пушкин знал, что не увидит. На призрак нужны — не те очи. Мало на него самых огромных, самых наталие-гончаровских глаз. Последний приход Пушкина был бы его последним поражением: она бы не оторвалась от Ланского, до которого, наконец, дорвалась.

Наталья Гончарова и Пушкин, Мария-Луиза и Наполеон. Тот же страшный сон, так скоро и так жадно забытый Гончаровой на груди Ланского, Марией-Луизой на груди Нейперга.

Тяжело с нелюбимым. Хорошо с любимым. Так и в песнях поется. Нужно пожалеть и их.

Что же дальше с Гончаровой?

Раздарив все смертные реликвии Пушкина — «я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его несчастной дуэли», Нащокину — архалук (красный, с зелеными клеточками), серебряные часы и бумажник с ассигнацией в

<sup>9</sup> В придачу (нем.).



25 р. и локоном белокурых волос, Далю — талисманный перстень с изумрудом и «черный сюртук с небольшой, в ноготок, дырочкой против правого паха» —

на вынос тела из дому в церковь «от истомления и от того, что не хотела показываться жандармам» не явившись (первое не явление за сто явлений!).

— А вот еще свидетельство, девять недель спустя:

«То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всего сердца желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро».

(А. Н. Карамзин — Е. А. Карамзиной, 8 апреля 1837 г. из Рима)

А вот другое, немного спустя:

«Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина: живут очень неподвижно, проводят время как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни Завода, и она чаще грустна, чем весела».

(Д. Н. Гончаров — Екатерине Николаевне Дантэс-Геккери, из Полотняного завода, 4 сентября 1837 г.).

А вот и эпилог:

Наталья Николаевна Пушкина 18 июля 1844 года вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского.

1837—1844. Что же между? Два года добровольного изгнания на Полотняном Заводе — «Носи по мне траур два года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом

выходи опять замуж, но не за пустозвона», — потом все то же, под верховным покровительством государя Николая I, не раз выражавшего желание, «чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов. Одно из ее появлений обратилось в настоящий триумф».

Наталья Николаевна и Николай I — еще раз сошлись.

Спящий в гробе мирно спи,  
Жизни радуйся живущий.

Так бы и «радовалась» — до старости, если бы, семь лет спустя после смерти Пушкина, не вышла замуж за Ланского, давшего ей — неисповедимы пути господни! — то, чего не мог дать — раз не дал! — Пушкин: человеческую душу.

Здесь кончается Гончарова — Елена, Гончарова — пустое место, Гончарова — богиня, и начинается другая Гончарова: Гончарова — жена, Гончарова — мать, Гончарова — любящая, новая Гончарова, которая, может быть, и полюбила бы Пушкина.

Ну, а вне Пушкина, Дантэса, Ланского? Сама по себе? Не было. Наталья Гончарова вся в житейской биографии, фактах (другой вопрос — каких), как Елена Троянская вся в борьбе ахейцев и данайцев. Елены Троянской — вне невольной вызванных и — тем — претерпенных ею событий просто нету. Пустое место между сцепившихся ладоней действия. Разведите — воздух.

Вот Наталья Гончарова — та.



Наша:

Молодая девушка, чудом труда и дара, внезапно оказывается во главе российской живописи. Затем... Затем все то же. Никаких фактов, кроме актов. Чисто мужская биография, творца через творение, вся в действии, вне протерпевания. Что обратное Наталье Гончаровой — той? Наталья Гончарова — эта. Ибо обратное красавице не чудовище («la belle et la bête»<sup>10</sup>), как в первую секунду может показаться, а — сущность, личность, печать. Ведь если и красавица — не красавица, красавица — только красавица.

«J'aurais dû devenir très belle, mais les longues veilles, le peu de soins que je donnais à ma beauté» (George Sand, «Histoire de ma vie»)<sup>11</sup>.

И еще — беру наугад: «Она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род не за богатство, а за красоту. Но лучшие ее свойства были — душевная красота и светлый разум, в котором...» и т. д., и от красоты уже откатились, чтобы больше к ней не возвращаться (Лесков о своей бабушке.) И — тысяча таких свидетельств. Так, многие красавицы рожденные, красавицами не были — «Ne daigne»<sup>12</sup> красоте, как Наташа Ростова — уму, как многие — славе, как столькие — счастьем! Чтобы быть красавицей — счастливицей — нужно, если не: этого хотеть, то, во всяком случае, этому не противиться. Всякое отклонение — сопротивление.

Так по какой же примете сравниваю двух Гончаровых? Неужели только из-за одинаковости имен и родства — даже не пря-

мого? С моей стороны — не легкомыслие ли, а для Гончаровой — нашей — не оскорбление ли? Эту весомость — с тем ничтожеством? Это всё — с тем ничто? Словом, родись Наталья Гончарова — наша — в другой семье и зовись она не Наталья и не Гончарова — сравнивала бы я ее с Натальей Гончаровой — той? Нет, конечно. Стало быть, все дело в именах?

Дело в роде Гончаровых, давшего России одну Гончарову, взявшую, другую — давшую. Одну — Россию омрачившую, другую — возвеселившую. Ибо творчество Натальи Гончаровой — чистое веселье, слава в самом чистом смысле слова, как солнце — слава. Красавица Россию, в лице Пушкина, каждым острием своих длинных ресниц, проглядела, труженица Россию, каждым своим мазком и штрихом — явила. Ибо гончаровские «Испанки» такая же Россия, как пушкинский «Скупой рыцарь», полное явление русского гения, все присваивающего. (К этой перекличке Гончаровой с Пушкиным я еще вернусь.) Не прямая правнучка (брата Н. Н. Гончаровой). Так и возмещение ее — боковое ответвление. Поэт. Художник. Но корень один: русский гений.

Через голову красавицы, между Пушкиным и художником — прямая связь. По-

<sup>10</sup> Красавица и чудовище (франц.).

<sup>11</sup> «Я должна была бы стать весьма красивой, но продолжительные бдения и недостаточный уход за собой...» (Жорж Санд, История моей жизни) (франц.).

<sup>12</sup> Не снисхожу (франц.).



лотняный Завод, где пушкинскими стихами исписаны стены беседки. И, не думающая об этом в данную минуту — Гончарова. «Там я много работала... Если бы Вы знали, что такое Полотняный Завод — та жизнь! Нигде, нигде на свете, ни до, ни после, я не чувствовала — такого счастья, не о себе говорю, в воздухе — счастья, счастья самого воздуха! Вечный праздник и вечная праздность, — все располагало: лестницы, аллеи, пруды... С утра пенье, а я с утра — дверь на крюк. Что бы там ни пелось — дверь на крюк. Потому что ведь нельзя иначе: не сейчас — так никогда. Ну, успею переодеться к обеду — переодеваюсь, а то так, в рабочем балахоне...»

«Что бы там ни пелось...» Как Одиссей, связавший себя от сирен — дверь на крюк. Крюк! Гарантия не только от входов, но и от выходов, — самозапрет.

А вот пушкинское свидетельство, которого, знаю, не знает Гончарова.

«...Одним могли рассердить его не на шутку. Он требовал, чтобы никто не входил в его кабинет от часа до трех; это время он проводил за письменным столом или ходил по комнате, обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно того, кто стучался в его дверь».

(С. Н. Гончаров, брат Н. Н. Гончаровой.)<sup>13</sup>

И еще одно:

«Однажды Пушкин работал в кабинете; по-видимому, он был всецело поглощен своей работой, как вдруг резкий стук в соседней столовой заставил его вскочить. Насильственно оторванный от интересной работы, он выбежал в столовую сильно рас-

серженный. Тут он увидел виновника шума, маленького казачка, который рассыпал ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид взбешенного Пушкина испугал мальчика, и он, спасаясь от него, юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко расхохотался и тотчас покойно вернулся к своей работе».

(А. В. Середин, Пушкин и Полотняный Завод.)

По записи Д. Д. Гончарова) В промежутке — вышивающая, зевающая, изнывающая Наталья Гончарова — та.

Пушкин «Царя Салтана» слышит (начало стиха — звук), Гончарова «Царя Салтана» видит (начало штриха — взгляд). Оба являют. В промежутке гончаровское «Читайте, читайте, я не слушаю». Промежуток зевка. (Что зевок, как не признание в отсутствии — меня нет.)

— А вот Игорь для немецкого издания. Смотрю (речь впереди), и первая мысль: Пушкин против Каченовского, утверждающий подлинность Игоря.

— А вот иллюстрации к Царю Салтану...

Смотрю (речь впереди), и не мысль уже, а молния:

— Если бы Пушкин...

### «Моя родословная»

Обман зрения всей России, видевшей — от арапской крови, «Арапа Петра Велико-

<sup>13</sup> Прадед Н. С. Гончаровой. (Прим. М. Цветаевой.)





го» и «Цыган» — Пушкина черным. (Правильный обман.) Был рус. Но что руководило стариком, никогда не читавшим Пушкина? А вот: «В те дни сложилось предание, что Пушкин ведается с нечистой силою, оттого и писал он так хорошо, а писал он когтем». (Воспоминания одного из современников.) Старик Пушкина черным и страшным видел от страха.

И — живой голос Пушкина с Полотняного Завода: «Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое и доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом!»

Конец августа 1834 года, а в феврале 1837 года «милое, чистое, доброе создание, ничем не заслуженное перед богом», приезжает на тот же Полотняный Завод — вдовой. Здесь протекают первые два года ее вдовства, сначала в отчаянии (может быть — раскаянии?) — потом в грусти, — потом в скуке.

Смерть Пушкина, которую я, в иные часы, особенно любя его, охотно вижу в прелестном обличи Гончаровой, — Гончаровой прощания, например, поящей с ложечки — чем в хохочущей образине Дантэса, смерть Пушкина вернулась к месту своего исхождения: на первом ткацком станке Абрама Гончара ткалась смерть Пушкина.

Еще одно, чтобы больше к этому не возвращаться — к тому, от чего оторваться нельзя! — какое счастье для России, что Пушкин убит рукой иностранца. — Своей не нашлось!

В лице Дантэса — пусть шуана (потом — бонапартиста), Пушкин убит сыном

страны Вольтера, тем смешком, так омрачившим его чудесный дар. Ведь два подстрочника вдохновения Пушкина: няня Арина Родионовна и Вольтер. Няня Арина Родионовна (Россия) на своего выкормыша руки не подняла.

Больше скажу: Вольтер жил в нем, и в каком-то смысле — не женитьба на Гончаровой, — а... Гавриилиады хотя бы, в переводе на французский вернувшейся в свою колыбель, смерть Пушкина — рукой Дантэса — самоубийство... Дантэс — ancien régime? <sup>14</sup> Да, Дантэс, смеющийся в лицо умирающему, пуше, чем вольтерьянец, смеющийся в лицо только своей. («Dieu me pardonne, c'est son métier» <sup>15</sup> (Гейне). Оскал Дантэса — вот расплата за собственный смешок.

«Es-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire...» <sup>16</sup>

И еще одно: все безвозвратно, и едва ли когда-нибудь мне придется еще — устно — вернуться к смерти Пушкина — какая страшная посмертная месть Дантэсу! Дантэс жил — Пушкин рос. Тот поднадзорный и дерзкий литератор, запоздалый камерюнкер, низкорослый муж первой красавицы, им убитый, — превращался на его глазах в первого человека России, не «шел в гору», а в гору — вырастал. «Дело прошлое», так начал Соболевский свой воп-

<sup>14</sup> Здесь: «представитель прежнего времени» (франц.).

<sup>15</sup> Бог меня простит, это его ремесло (франц.).

<sup>16</sup> Доволен ли ты, Вольтер, и твоя отвратительная улыбка... (франц.).



рос — в упор — Дантэсу (на который солгал или нет — Дантэс?). В том-то и дело, что делу этому никогда не суждено было стать прошлым. Дантэсу «освежала в памяти» Пушкина — вся Россия.

«Он уверял, что и не подозревал даже, на кого он подымает руку» (А. Ф. Онегин).

Тогда не подозревал, потом — прозрел. Убийца в нем рос по мере того, как вырастал — во вне — убитый. Дорос ли Дантэс до простого признания факта? Кто скажет? Во всяком случае, далеко от кавалергардского смеха до — последнего, что мы знаем о нем — стариковского:

— *Le diable s'en est mêlé!*<sup>17</sup>

Первый, о ком слышно, — Абрам Гончар. Абрам Гончар первый пускает в ход широкий станок для парусов. А России нужны паруса, ибо правит Петр. Сотрудник Петра. Петр бывает в доме. Несколько красоток-дочерей. Говорят, что в одну, с одной... Упоминаю, но не настаиваю. Но также не могу не упомянуть, что в одном позднем женском — (Гончаровской бабушки) — лице лицо Петра отразилось, как в зеркале. Первый, о ком слышно, изобретатель, умница, человек, шагавший с временем, которое тогда шагало шагом Петра. Современник будущего — вот Абрам Гончар. Первый русский парус — его парус.

Абрамом Гончаром основан в 1712 г. первый полотняный завод, ставший впоследствии селом, потом и городком того же имени.

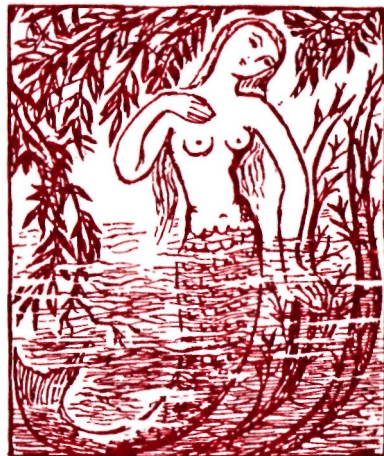
«Полотняный Завод» — имение Гончаровых в Медынском уезде, Калужской губ., где жывал Пушкин после своей женитьбы. Тут когда-то был полотняный завод, кото-

рого ныне нет и следа. Обширное торговое и промышленное село, торговую свою деятельность и базаром оно издавна служило значительным торговым центром в довольно большом районе. Здесь писчебумажная фабрика Гончаровых. Местоположение. Полотняного Завода прелестно. Помещичья усадьба, с великолепным старинным господским домом, на самом берегу реки. Не так далеко от него стоит на берегу реки деревянный флигель, сливающий до сих пор в народе под названием дома Пушкина. В нем поэт постоянно жывал после своего брака, приезжая гостить к Гончаровым. Внутренние стены этого строения, имеющего вид маленького помещичьего дома, были исписаны Пушкиным; теперь от этого не осталось никакого следа». (В. П. Безобразов — Я. К. Гроту, 17 мая 1880 г.)

Запись, отстоящая от смерти Пушкина на те же пятьдесят лет, что и от нас. (Кстати, я, пишущая эти строки и рожденная в 1892 году, еще застала сына Пушкина, почетного опекуна, бывавшего в доме у моего отца — Трехпрудный переулок, д. № 8, соседнем дому Гончаровых. Сын Пушкина, несомненно, встречал в переулке свою двоюродную внучку.)

Та же я, в 1911 году, в Гурзуфе, знала столетнюю татарку, помнившую Пушкина. «Я тогда молодая была, двенадцать лет было. Веселый был, хороший был, на лодке кататься любил, девушек любил, орехи, конфеты дарил. А волосы...» — и трель столетних пальцев в воздухе.

<sup>17</sup> Нечистый попутал (франц.).



На Полотняном Заводе, проездом в Крым, останавливалась Екатерина. Там же стоял и Кутузов.

Полотняный Завод. Громадный красный сад, ныне торг и пустырь. Пруды уцелели. Красный дом — пушкинский, собственно, — исчез почти совершенно. Большой дом, «дворец Гончаровых», цел до наших, 1929 года, дней. Девяносто комнат. Башни, вроде гонуэзских.

Красный сад, красный дом. В русском слове красный — мне всегда слышится страшный, и первая ассоциация — пожар! (Читаю, уже по написанию, сыну сказку. Солдат мужику: «Что такое красота?» — «Хлеб — красота». Тот бац его по щеке: «Огонь — красота!» — Переключка.)

Пушкин на Полотняном Заводе был дважды: в первый раз, еще женихом, и жил тогда в красном доме. Во второй раз — поздней осенью 1834 года. «Еще недавно один из оставшихся стариков, бывший крепостной художник, говаривал так: «Еще бы не знать Пушкина: бывало, сидят они на балконе в красном доме, а мы детьми около бегаем. Черный такой был, конопатый, страшный из себя».

Дворянство Гончаровы получают при Екатерине, в 1780 году, точно нарочно, чтобы дать Пушкину «жениться на благородной». Кстати, вся *mentalité*<sup>18</sup> семьи Гончаровых, особенно матери (исключение Сергей Николаевич Гончаров, прадед нашей) — определенно купеческая. В лице Натальи Ивановны Гончаровой Пушкину дана была самая настоящая теща. — В их герб вошли все элементы масонских знаков: серебряный, с золотой рукоятью, меч,

пятиугольная звезда, а сверху, вместо щита, полукруглый фартучек — принадлежность посвящения в вольные каменщики.

Среди предков Натальи Сергеевны есть и музыканты (любители) и художники (любители). Не забыть мужененавистницы на качелях, впоследствии вольнодумки и одиночки. В ней-то и отразился лик Петра. Кровь русская, с примесью татарской (Чебышевы). Мать из духовного звания (Беяева). Отец — архитектор, выдающийся математик.

Так, от Абрама Гончара с его станком,<sup>19</sup> до Гончаровой нашей с ее станком — труд, труд и труд. В этом роду бездельников не было.

Гончарова — наша — потомок по мужской линии.

### Первая Гончарова

— «Я одно любила — делать». Вот во всей скромности и непосредственности предельное признание — в призвании.

Есть дети с даром занятости, есть — с жадной ее. «Дай мне чем-нибудь заняться, мне скучно», из такого ребенка — ясно, что выйдет, ибо собственной занятости ищет извне. Пустая рука, пустое нутро будущего прожигателя и пожирателя, для которого та же Гончарова — только поставщик. Рука — спрут, нутро — прорва. Жест — грабель и спрута. Движение Гон-

<sup>18</sup> Строй мыслей (франц.).

<sup>19</sup> Мольберт по-русски станок. Станковая живопись, в противовес декоративной. (Прим. М. Цветаевой.)



чаровой — девочки от дела; даяние, творение, явление. Жест дела. Жест дара. (И удара!)

Посмотрим по этой линии деланья, ее дальнейшую жизнь. В гимназическом классе рисования ничем не выделяется — разве непосильностью задач, недоступностью выбираемых образцов. (В те времена рисовать — срисовывать.) Гимназию, на самом краю золотой медали (не честолюбие, не любовь к наукам, не способности, — трудоспособность, нет: трудоstrastь!) кончает семнадцати лет. После гимназии — в Школу живописи и ваения? Нет, сначала медицинские курсы. Три дня, положим, но шаг — был. В чем дело? В непосредственном деле рук: руками делать. Есть у немцев такое определение юности: «Irrjahre»<sup>20</sup> (irren — и заблуждаться, и блуждать). Только у Гончаровой они не годы — год — даже меньше. Три дня медицинских курсов (не анатомический театр, а мужеподобность медичек, не обоняние, душа не вынесла) — и полугодие Высших женских курсов (Историко-филологический факультет). Если медицина еще объясняется понятием ремесла, то Историко-филологическому факультету, и дальшему ей по сущности и дольше затянувшемуся, объяснение стороннее: подруга, с которой не хотелось расставаться. Нужно ведь очень вырасти, чтобы не идти за любимым вслед. Но экзамены подходят, и Гончарова сбегает. На этот раз почти домой: на скульптурное отделение Школы живописи и ваения. Почему же все-таки не на живописное? Да потому, что — вспомним возраст и склад героини! —

скульптура больше дело, физически больше — дело. Больше тело дела, чем живопись — только касание. Там касание, здесь проникновение руки в материал, в плоть вещества. (Не знала тогда Гончарова, что когда-то будет возглавлять плоскостную живопись, в противовес — глубинной.) Боквое ответвление дарования в данную минуту более соответствует всей сути, чем ствол.

«Я думаю, в этом была просто безграничная потребность в деятельности. Была минута, когда я могла стать архитектором». Этого критик, коривший ее за «не-картины, а соборы», не знал. Очевидно, в каком-то смысле зодчим — стала.

Чем же знаменуется пребывание Гончаровой в скульптурном классе? Устроением ею, будущей Гончаровой красок, чисто скульптурной выставки, первой в стенах школы. Все это пока еще — дар труда, ибо сам дар, следовательно, и труд дара, еще не открыт. Дальше — золотая медаль и встреча с Ларионовым.

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно. Во-первых и в главных: Ларионов был первый, кто сказал Гончаровой, что она живописец, первый раскрывший ей глаза — не на природу, которую она видела, а на эти же ее собственные глаза. «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза!»

Поздняя осень, ранние заморозки, Петровский парк, красные листья, седая земля. Дома — неудачная схватка с красками.

<sup>20</sup> Годы блужданий (нем.).



«Целый мир, с которым не знаю, как схватиться (сочтя за обмолвку) — как охватить...» Нет, поправлять не надо, никакого охвата, а именно схватка, не на жизнь, а на смерть, кто кого. «Я вдруг поняла, что то, чего мне не хватает в скульптуре, есть в живописи... есть — живопись». Дни идут, может быть недели (не месяцы). Ничего не выходит. «Какие-то ужасные вещи, о которых я только потом понял, как они прекрасны» (Ларионов). (Показательно: первые вещи Гончаровой гораздо ближе к нынешним, чем непосредственно следовавшие. Ребенок и мастер сошлись.) И вот — разминка, размолвка двух художников, три дня не видящихся, — не забудем, как это много в начале дружбы и жизни. — «Прихожу — вся стена в чудесах. — Кто это делал? — Я...» С тех пор — пошло. Магических три дня, когда, никого не ожидая, ни на что не рассчитывая, от огорчения, от злости — сердце сорвать! — Гончарова, сразу как по заказу поняв, в чем дело, сразу как по заказу заполняет целую стену первой собой. (Другая бы сидела и плакала.) Дружба обязана осознанием себя живописцем, ссоре — первым живописным делом.

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно еще и потому, что они с восемнадцати лет ее и с восемнадцати лет его, с тридцати шести своих совместных лет, вот уже двадцать пять лет работают бок о бок, и еще двадцать пять проработают.

Чтобы покончить со скульптурой — Гончарова еще раз с ней встретила. В — каком? — году (несущественность

для Гончаровой хронологии, почти нет дат), совсем молодая еще Гончарова едет на Юг, в Тирасполь, на сельскохозяйственную выставку расписывать плакаты. (Здание выставки строил отец.) «Нужны были какие-то породистые скоты. Скоты, по мнению заказчика, не сходились с пейзажем. А главное, не сошлись в оценке породистости. Я хотела выразительных и тощих, заказчик требовал упитанных. Вместо коров — капители» (ионические, к колоннам здания).

Первая поездка Гончаровой на Юг. Первый Юг первой Гончаровой. Сухой Юг, не приморский, предморский. Степь. Днестр. Бахчи. Душистые травы. Шалфей, полынь, чабрец. «Типы евреев, таких непохожих на наших, таких испанских. Глядя на своих испанок, я их потом узнала».

Непосредственным отзвуком этой первой поездки — акации, заборы с большими птицами, — не Москва. О, как наострилось мое ухо от акаций и птиц! И непередаваема интонация, с которой она, москвичка, подмосковка, тульчанка, это выводила — не Москва. Какая утоленная жажда северянина! Гончарова — как ни странно — зимы никогда не любила и, проживая до двенадцати лет в деревне, ни одной зимы не помнит. «Была же, и гулять, нужно думать, водили, — ничего». Зимой она претерпевала, как Прозерпина — Аид.

О роли лета и зимы в творчестве Гончаровой. Лето для нее накопление не материала, а навыка, опыта. Лето — приход, зима — расход. Летом ее живопись живет, ест и пьет, зимой работает. Зима —



Москва. Московские работы все большие, по замыслу, лето — зарисовки: природа и жизнь на лету. Еще одно о гончаровском лете — в такой жизни частностей нет. «Мы с Ларионовым как встретились, так и не расставались. Много — месяц, два... По летам разъезжались, он к себе, в деревню, я по России».

Бытовые причины? Да, все они, как льготные условия гончаровской мастерской — лишь прикрытые иных. Рогожка: все тело сквозит! Гончарова и Ларионов, никогда не расстающиеся, по летам разъезжаются потому, что лето — добыча, а на добычу — врозь. Чтобы было потом, чем делиться. «Никогда в жизни», и, в голосовую строчку: «по летам расставались». Да, ибо лето не жизнь, вне жизни, не в счет, только и в счет. Так, как ни странно: отшельничают вместе, кочевничают врозь.

А вот второй Юг Гончаровой — морской. Первое ее мне слово о море было: «очарование»... «Да, именно очарование». И в ответ мое узнавание: где? когда? у кого? Вот так, вместе: море и очарование. Ведь ушами слышала! И в ответ, именно ушами слышанное, — ведь с семи лет говорила наизусть:

Ты ждал, ты звал, я был окован,  
Вотще рвалась душа моя!  
Могучей страстью очарован,  
У берегов остался я.

Странность детского восприятия. Семи лет я, конечно, не знала, кому и о чем, только знала: Хрестоматия Покровского —

Пушкин — К морю. Следовательно, все написанное относится к морю и от него исходит. Ты ждал, ты звал, я был окован (морем, конечно), вотще (которое я, не понимая, произносила как туда, то есть к тебе (к морю) рвалась душа моя. Могучей страстью (то есть опять-таки морем) очарован, у берегов остался я. Остался потому, что ты слишком звал, а я слишком ждал. Зачарованность до столбняка. Столбняк любви.

И вдруг Гончарова со своим очарованием. Еще одно соответствие. В чем гениальность пушкинского четверостишия? В непредвиденности словоряда третьей строки. Могучей страстью, да еще очарован. Зачарованность мощью. Непредвиденность эпитета могучей и страсти и непредвиденность понятия очарованности мощью. (Непредвиден не только словоряд, но и смысловоряд.) Страсть: жаркая, неистовая, роковая, и пр., и пр., ни у кого: могучая. Очарованность — красотой, грацией, слабостью, никогда: мощью. (Показательная обмолвка: Пушкин очарован не данной женщиной, а «могучей страстью» — безымянным. Усложненный и тем — нередкий случай — уточненный образ. Усложненный тем, что первичное, женщину, он заменил вторичным: своим чувством к ней (переведа на слова — «деву», конкретность, «страстью», отвлеченностью; очарованность страстью — отвлеченность на отвлеченность); уточненный тем, что ни один поэт ни ради ни одной женщины не оставался на берегу, и каждый (если у поэта есть множественное) — из-за собственного чувства — хотя бы к ней. Морю



он противопоставляет страсть, по тогдашним (и всегдашним!) понятиям — морей морейшее. Противупоставь он морю — «деву», мы бы Пушкина жалели — или презирали).

И то же, точь-в-точь то же, Гончарова со своей настойчивой очарованностью морем (громადой). Поражена, потрясена, — нет, именно очарована.

Пушкинское море Черное — Одесса, Ялта, Севастополь. — «Когда? Не помню. Поездки не включаются ни в какой год». (Так я в конце концов и отказалась от дат.) — «Графская пристань, вы, может быть, помните? Мальчики ныряли за гривенниками...» Вода, серебряная от мальчиков, мальчики, серебряные от воды, серебряные мальчики за серебряными гривенниками. Море и тело. Море, тело и серебро. — «У меня уже в Москве было море, хотя я его еще никогда не видела. Много писала. А когда увидела: такие же дома, как в Тульской губернии, те же волны — ветер — и шум тот же. Та же степь. Там волны — и здесь волны. Там — конца нет, здесь — краю нет...»

Мужайся, корабельщик юный,  
Вперед, в лазоревую рожь!

Вот Гончарова, никогда стихов не писавшая, в стихах не жившая, поймет, потому что глядела и видела, а глядевшие и не видевшие, а главное, не любившие (любить — видеть): «современные стихи... уж и рожь пошла лазоревая. Завтра лазурь пойдет ржаная...»

Давно — пойдет.

— Пушкин бы понял.

«Из орнаментов особенно любила виноград, я его тоже тогда еще никогда не видела». Кто это говорит — одна Гончарова или весь, русский народ с его сказками и хороводами:

Розан мой алый, виноград зеленый!

И Гончарова, точно угадав мою мысль: «Странно. Из всего стопятидесятиmillionного народа навряд ли десять тысяч видели виноград, а все о нем поют». К слову. Есть у Гончаровой картина — сбор винограда, где каждая виноградина с доброе колесо. Знает ли Гончарова русскую сказку, где каждая виноградина с доброе колесо? Сомневаюсь, ей сказок знать не надо, они все в ней. Когда-то кто-то что-то слышавший, от жажды, от тоски стал врать друзьям и родным, что есть-де такая земля, сам там был (был в соседнем селе), где каждая виноградина с доброе колесо. («Сам там был, мед-вино пил, по усам текло, а в рот не попало», — оттуда присказка!). Та же Гончарова, от жажды, от тоски усаживающая своего сборщика на трехпудовую виноградину. «Я тогда еще никогда не видела растущего винограда. Ела — да, но разве одно: из фунтика или живой?»

### Притча

«...Впрочем, у меня и в Москве был виноград — не о вещах говорю, живой. Ели виноград, уронили зернышко, два зерныш-



ка. Зернышки проросли, завили все окно. Усики, побеги. Виноград на нем, конечно, не рос, но уж очень хорош сам лист! Зимой сох, весной завивал всю стену. Рос он в маминой комнате...»

Когда я это слушала, я сказала себе: притча. И сейчас настаиваю, хотя в точности не знаю, почему. Притча. Подобие, иносказание. Через что-нибудь очень простое дать очень большое; очень бытовое — вечное. Иными словами: ели и выбросили, упало и проросло. Упавшее проросло, выброшенное — украсило, возвеселило. А может быть, еще и звук слова виноград, ягода виноград — евангельская.

Мне очень жаль расставаться с этим воспоминанием, особенно с «рос он в маминой комнате» — для печати, но Гончарова сама этого никогда не запишет, только напишет, — и никто не будет знать, что это тот виноград. Моя запись — подстрочник к тому винограду.

Есть вещи, которые люди должны делать за нас, те самые, которые нам дано делать только за других. Любить нас.

Странное у меня чувство к первой Гончаровой, точно она ничего не познает, все узнает. Вот пример. Рассказывает она мне об одной своей вещи, корабле с красным парусом. «А ведь красные бывают, — сказала я, — я видела с красными. В Вандее, в рыбацком поселке, по утрам все море горит». — А я не видела, только рыжие видела. Вот черные — видела. — «Черные? Да этого быть не может, этого просто нет. Кто же выедет — с черным парусом?» — Значит, я их выдумала. — «Не совсем. (Черный парус Тезея, черный

парус Тристана, знаю: не знает обоих.) — Вы их издали ка увидели».

Этого уже не объяснишь Гончаровой — Русью. Или же: у Руси глаза велики.

#### «Внешние события»

«Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна событиями, что даже и не знаешь, какие назвать, кроме дня рождения выставок».

Кажется — самое простое, общее место. И, кажется, сердиться бы не на что. Но — таинственность общих мест. И — есть на что.

Во-первых, неверность фактическая. Что такое жизнь, богатая событиями? Путешествия? Они были. Если не за границу (за одну границу), то по всему за край свету — России. Встреча с людьми? С лучшими своего времени, с верховодами его. Американского наследства — не было. Выиграла в 200 тысяч — тоже не было. Остальное было — все. Как у каждого, следовательно, помножив на творческий множитель — неизмеримо больше, чем у каждого.

Второе — что такое внешнее событие? Либо оно до меня доходит, тогда оно внутреннее. Либо оно до меня не доходит (как шум, которого не слышу), тогда его просто нет, точнее, меня в нем нет, как я вне его, так оно извне меня. Чисто внешнее событие — мое отсутствие. Все. что мое присутствие — событие внутреннее. Событие, которое меня касается, просто не успевает быть внешним, уже становится внутренним, мною. О каких же тогда





внешних событиях говорит биограф? Если о внешних событиях — поводах, о внешних-внутренних, куда же он девал все 800 холстов Гончаровой, являющихся — тем или иным, но — ответом на внешнюю жизнь. Если же о внешних-внешних, не дошедших (как шум, которого не слышу), оставшихся извне меня, несбывшихся, то не прозвучит ли его фраза — так: «Жизнь Гончаровой удивительно бедна отсутствиями...» С чем и соглашусь.

«Жизнь Гончаровой так бедна, так бедна». Это ему со стороны бедна, потому что смотрит со стороны, извне себя, а не изнутри Гончаровой. Для него бы и та степь была бедна, у нее с той степи — Апостолы. Жизнь Гончаровой была бы бедна, если бы Гончарова была паралитиком, или всю жизнь просидела в тюрьме (задумчивое замечание Гончаровой, которой я это говорю: «Да и то...»). Пока Гончарова с глазами и с рукой — видит и водит — Гончарова богата, как и где бы ни жила.

«Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна...» А всего только одно слово изъять, и было бы правдой. Третье. Имя. Не гончаровская внешняя жизнь бедна, ибо у нее, для нее нет такой, а сама внешняя жизнь — без Гончаровой: души, ума, глаза. Присутствие Гончаровой (собирательное) во внешней жизни и фразе — гарантия богатства жизни и бессмысленности фразы.

Внешняя жизнь — есть. Только не у Гончаровой. Внешняя жизнь у всех пожирателей, прожигателей, — жрущих, жгущих и ждущих. Чего? Да наполнения собственной прорвы, тех самых «внешних собы-

тий», тогда как Гончарова, не ждущая, спокойно превращает их в повод к собственному содержанию.

Повод к самой себе — вот внешние события для Н. Гончаровой. Содержание самого себя — вот внешние события — хотя бы для ее биографа. Банкроты отродясь. Примета пустоты — за событиями гнаться, примета Гончаровых — внешние события гнать. Да, ибо, неизбежно становясь внутренними, отвлекают, мешают в работе. И — кажется, главное найдено: внешнее событие — лишнее событие. Говорят об охране труда. Я скажу о самоохране труда. Об отборе внутренних событий, работе, если не впрок, то во вред. Рабочая единица не день, не час, а миг. Равно, как живописная единица не пласт, а мазок. Взмах данного мазка. Миг данного взмаха. Данного и мною данным быть имеющего. Ответственность — вот «бедность внешней жизни» Гончаровой, радость, называемая аскетизмом, мертвая хватка в вещь, называемая отказом.

И еще одно, о чем не подумал биограф.

Есть люди — сами события. Дробление события самой Натальи Гончаровой на события. Единственное событие Натальи Гончаровой — ее становление. Событие нескончаемое. Не сбывшееся и сбывшееся не имеющее — никогда. (Так же верно будет: родилась: сбывлась.) Скандал «Ослиного хвоста» или виноградное зернышко, завившее всю стену, — через всё Гончарова растет.

Биограф, не сомневаюсь, Гончаровой хотел польстить. Из ничего, мол, делает



все. Да для Гончаровой ведь нет «ничего», пустой звук, даже и звук не пустой, раз — звук. Не понял биограф, что, допустив хоть на секунду возможность для Гончаровой «ничего», — ничего от нее не оставил, уничтожил ее всю. Возможность увидеть жизнь внешней — вот единственная возможность жизни грешной<sup>21</sup>. Возможность не ощутить ничего — вот единственная возможность ничего, ибо ощутить ничего (небытие) — это опять-таки ощутить: быть.

(Все из себя дающий есть все в себя берущий: отдающий. Всё — только из всего.)

Возможность не — то, чего заведомо лишена Гончарова.

### Русские работы

Жизнь Гончаровой естественно распадается на две части: Россия и После-России. Не Россия и эмиграция. Как любимое дитя природы и своего народа, этой трагической противуестественности (живьем изъятости из живых) избежала. Первая Европа Гончаровой, с возвратом, в 1914 г. Вторая, затяжная, в 1915 г. Выехала в июне 1915 г., в войну, по вольной воле. Второе счастье Гончаровой — как в этой жизни виден перст! — счастье, которого лишены почти мы все: жадное ознакомление с Россией в свое время, пока еще можно было, и явное предпочтение ее, тогда, Западу (большой деревни России — большому городу Западу). «Перед смертью не надышишься». Точно знала. «Жаль, конечно, что не была на самом севере, но просто не успела, я ведь тогда ездила только по необ-

ходимостям работы». Какое отсутствие произвола, каприза, туризма. Какой покой. Какая насущность жеста в кассу, шага в вагон. Работа — вот судьба Натальи Гончаровой, судьба, которую Пушкин — кому? чему? — но позволил же заменить — подменить Гончаровой — той.

Гончарова России и Гончарова После-России. Мне такое деление кажется самым простым, самым естественным — сама жизнь. Ибо как делить — если делить? Недаром Гончарова свою жизнь считает по поездкам. Там, где нет катастрофы — а ее в творчестве Гончаровой нет, есть рост во всей его постепенности, как дерево, как счастливое дитя растет — нужно брать пограничным столбом — просто пограничный столб. Пограничный столб — не малость.

Жизнь первой Гончаровой протекает в трех местах: Москва, Средняя Россия, Юг России. Как и чем откликнулась? Проследим по вещам. Москва есть, но Москва деревенская: московский дворик, переулочек, светелка в мезонине, московский загород. Не видав других, Москву считала городом; город же возненавидела, как увидела, а увидела Москву. Вспомним завитки и тульскую орфографию. «Где между камнями травка — там хорошо, а еще лучше совсем без камней». Кроме того, Москва для нее зима, а зиму она ненавидит, как тот

<sup>21</sup> Сознание греха создает факт греха, не обратно. В стране бессовестных — грешников нет. (Прим. М. Цветаевой.)



же камень, не дающий расти траве. Таково сочувствие Гончаровой-подростка траве, что она, видя ее под камнем, сама задыхается.

О деревенскости Гончаровой. Когда я говорю деревенская, я, естественно, включаю сюда и помещицья, беру весь тот вольный разлив: весны, тоски, пашен, рек, работ, — все то разлитое море песни. Деревенское не как класс, а как склад, меньше идущее от избы, чем от степи, идущей в избу, заливающей, смывающей ее. Любопытное совпадение. Русские крестьяне и поныне номады. — Сна. Нынче в сенах, завтра в клетях, послезавтра на сеновале. Жарко — на двор, холодно — на печь. — Кочуют. — Гончарова со своей складной (последнее слово техники!) кроватью, внезапно выкатывающейся из-под стола, — сегодня из-под стола, а завтра из-за станка, со своей легкостью перемещения — со своей неоседлостью сна — явный номад, явный крестьянин. А по первичному — привычному — жесту, которым она быстро составляет мешающий предмет, будь то книга, тарелка, шляпа — на пол, без всякого презрения к вещи или к полу, как на самое естественное ее место (первый пол — земля), по ненасущности для нее стола (кроме рабочего: козел) и стула (перед столом стоит) — по страсти к огню, к очагу — живому огню! красному очагу! — по ненужности ей слуг, по достаточности рук (мастер, подмастерье, уборщик — у Гончаровой две руки: свои), по всему этому и по всему другому многому Гончарова — явная деревня и явный Восток, от которого у нее, кстати, и скулы.

...И вне всяких формул, задумчиво: «Всю жизнь любила деревню, а живу в городе...» и: «Хотела на Восток, попала на Запад...» Гончарова для меня сокровище, потому что ни в жизни, ни в живописи себе цены не знает. Посему для меня — живая натура, и живописец — я.

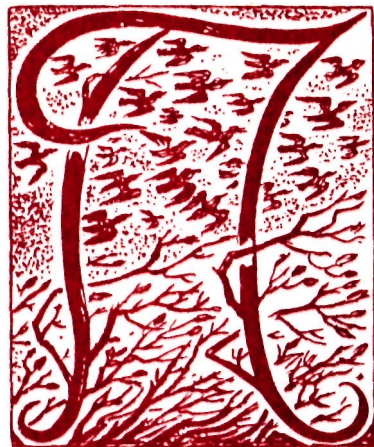
Чего больше всего в русских работах Гончаровой? Весны — той, весны всей. Проследим перечень вещей с 1903 г. по 1911 г. Весна... через четыре вещи — опять весна, еще через три еще весна. И так без конца. И даже слова другого не хочет знать. — Видели гончаровскую весну? — Которую? — Единственный ответ, и по отношению к Гончаровой и по отношению к самой весне: — вечную.

Гончарова растет в Тульской губернии, в Средней России, где, нужно думать, весна родилась. Ибо не весна — весна северная, — северная весна, не весна — весна крымская — крымская весна, а тульская весна — просто весна. Ее неустанно и пишет Гончарова.

Что, вообще, пишет Гончарова в России? Весну, весну, весну, весну, весну, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не любит зимы, то есть, все любя, любит ее меньше всего? Да потому, что зима не цветет и (крестьянская) не работает.

Времена года в труде, времена года в радости.

Жатва. Пахота. Посев. Сбор яблок. Дровокол. Косари. Бабы с граблями. Посадка картофеля. Коробейники. Огородник — крестьянские. И переплетенные с ни-



ми (где бог, где дед? где пахарь, где пророк?) иконные: Георгий, Варвара Великомученица, Иоанн Креститель (огненный, крылатый, в звериной шкуре), Алексей — человек божий, в белой рубахе, толстогубий, очень добрый, с длинной бородой, — кругом цветущая пустыня, его жизнь. Из крестьянских «Сбор винограда» и «Жатва» идут от Апокалипсиса. Маслом, величиной в стену мастерской.

К слову. Створчатость большинства гончаровских вещей, роднящая Гончарову с иконой и ею в личную живопись введенная первой, идет у нее не от иконы, а от малости храмины. Комната была мала, картина не умещалась, пришлось разбить на створки. Напрашивающийся вывод о благе «стесненных обстоятельств». Впрочем, «стесненность» — прелестная, отнюдь не курсисткина, а невестина, бело-зеленая, с зеленью моего тополя в окне. По зимам же белым-белая, от того же тополя в снегу. «В чужой двор окна прорубать воспрещалось. Прорубили и ждем: как — вы? Вы — ничего. В том окне была моя мастерская».

Начаты Евангелие и Библия и мечта о них по сей день не брошена, но... «чтобы осуществить, нужно по крайней мере год ничего другого не делать, отказаться от всех заказов...». Если бы я была меценатом или страной, я бы непременно заказала Гончаровой Библию.

Кроме крестьянских и иконных — натурморты. (К слову: в каталоге так и значит «мертвая натура», которую немцы гениально заменили «Stilleben» — жизнь про себя.) Писала — всё. Старую шляпу, метлу, кочан капусты, когда были — цве-

ты, когда были — плоды. В цикле «Подсолнухи» выжала из них все то масло, которое они могли дать. Кстати, и писаны маслом! (их собственным, золотым, лечебным, целебным, — от печенки и трясовицы). Много писала книг. Много писала бумагу — свертки.

#### Историйка.

Стояло у стены двенадцать больших холстов, совсем законченных, обернутых в бумагу. В тот день Ларионов принес домой иконочку — висела у кого-то в беседке, понравилась, подарили — Ильи Молниегромного. Вечером Гончарова, всегда осторожная, а нынче особенно, со свечой — московские особняки тех годов — что-то ищет у себя в мезонине. (Вижу руку, ограждающую не свечу, а все от свечи.) Сошла вниз. Прошел срок. Вдруг: дым, гарь. Взбегает: двенадцать горящих свитков! — Сгорели все. — «Ни одного из них не помню. Только помню: солдат чистит лошадь». Так и пропали холсты. Так к Гончаровой в гости приходил Илья.

(Так одно в моем восприятии Гончарова с народом, что, случайно набредя глазами на непросохшую еще строчку: «пропали холсты», — видение холстов на зеленой лужайке, расстелили белить, солдат прошел и украл.)

Полотняный Завод — гончаровские полотно. Холсты для парусов — гончаровские холсты. Станок, наконец, и станок, наконец. Игра слов? Смыслов.

— Расскажите мне еще что-нибудь из первой себя, какое-нибудь свое событие,



вроде Ильи, например, или тех серебряных мальчиков.

— Был один случай в Тульской губернии, но очень печальный, лучше не надо. Смерть одна...

— Да я не про личную жизнь — или что так принято называть — не с людьми.

— Да это и не с людьми (интонация: «с людьми — что!»). С совенком случай. Ну вот, подстрелили совенка... Нет, лучше не надо.

— Вы его очень любили?

— Полюбила его, когда мне его принесли, раненого уже. Нет, не стану.

Весь — случай с совенком.

### Защита твари

— Почему в Евангелии совсем не говорится о животных?

— «Птицы небесные»...

— Да ведь «как птицы небесные», опять о человеке...

— А волы, которые дыханием согревали младенца?

— Этого в Евангелии не сказано, это уж мы...

— Ну, осел, наконец, на котором...

— И осел только как способ передвижения. Нет, нет, в Евангелии звери явно обойдены, несправедливо обойдены. Чем человек выше, лучше, чище?..

Думаю, что никто из читающих эти строки такого упрека Евангелию еще не слышал. Разве что — от ребенка.

Неутешна и неперубедима.

...Двенадцать холстов сгорели, а один кау-нул. Уже за границей Гончарова пишет

для своей приятельницы икону Спасителя, большую, створчатую, вокруг евангелисты в виде зверей. Работает много месяцев. Дарит. Приятельница умирает. Икона остается мужу. Муж разоряется и продает. «Потом встретились, неловко спросить: кому? Может быть — скорее всего, в Америку. Где-нибудь да есть». — И вы ничего не сделали, чтобы... — Нет. Когда вещь пропадает, я никогда не ищу. Как-нибудь да объявится. Да не все ли равно — если в Америку. Я в Америке никогда не буду. — Бойтесь воды? — И Америки. Вещей я много своих провожала. Заколачиваю ящик и знаю: навек. — Как в гроб на тот свет? — Да и есть — тот свет. Ну, еще одного проводила...

Страх воды. Страсть к морю. Но в Америку не через море, а через океан, всю воду, всю бездну, все понятие воды. И, мнится мне, не только воды, а символа Америки — парохода боится, Титаника, с его коварством комфорта и устойчивости в устроенности. Водного Вавилона, Левиафана боится, который и есть пароход<sup>22</sup>. Старый страх, апокалипсический страх, крестьянский страх. — «Чтоб я — да на эдакой махине...» Лучше — доска, проще — две руки. Скромнее — вернее.

Смиранный парус рыбарей,  
Твоею прихотью хранимый,  
Скользит отважно среди зыбей,

<sup>22</sup> Уже по написанию узнаю, что пароход Левиафан — есть. (Имел честь отвозить Линдберга.) Остается поздравить крестного. (Прим. М. Цветаевой.)



Но ты взыграл, неодолимый,  
И стая тонет кораблей!

Океана у России не было, было море, мечта о нем. Любовь к морю, живому, земному, среди-земному, и любовь к океану — разное. Любовь к морю Гончаровой и русского народа есть продолженная любовь к земле — к землям за, к морю — заморью. Любовь к морю у русского народа есть любовь к новым землям. А здесь и этого утешения нет. Нью-Йорк (куда зовет ее слава) — еще меньше земля, чем океан.

Ненависть крестьянского континента России к «месту пусту» — океану, ненависть крестьянина к безделью. Океан не цветет и не работает. А если и цветет (коралл, например), то мертвое цветение, вроде инея.

«Ей бы в Америку...» Как другие всегда лучше знают! Здесь уместно сказать о Гончаровой и ее имени. Гончарова со своим именем почти что не знакома. Живут врозь. Вернее, Гончарова работает, имя гуляет. Имя в заколоченных ящиках ездит за-море (за то, за которым никогда не будет), имя гремит на выставках и красуется на столбцах газет. Гончарова сидит (вернее, стоит) дома и работает. Мне до тебя дела нет, ты само по себе, и я сама по себе. Как иные за именем гонятся, подгоняют его и в конце концов загоняют его, вернее, себя, насмерть, так Гончарова от себя имя — гонит. Не стой рядом, не толкай под локоть, не мешай. Есть холст. Тебя нету.

Если Гончарова когда-нибудь в Америку поедет, то не за именем вслед, а собственным вещам навстречу, и через — и не воду даже, а собственный страх. Перешагнет

через собственный страх. И, не сомневаюсь, даст нам новую Америку. (Через Нью-Йорк, как через океан, нужно перескочить.)

Как же отразилось живое земное море с серебряными мальчиками в вещах Гончаровой? Как и следовало ожидать — косвенно. То, что я как-то сказала о поэте, можно сказать о каждом творчестве: угол падения не равен углу отражения. Так устроены творческий глаз и слух. Отразилось, но не прямо, не темой, не тем же. Не отразилось, а преобразилось. Морем не стало и не осталось, превратилось в собственное качество: морской (воздух, цвет, свет, чистота).

Море в взволнованной им Гончаровой отразилось как Гончарова в взволнованном нем — извилиной.

Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, отдаю. Либо вещь меня спрашивает, я отвечаю. Либо перед ответом вещи ставлю вопрос. Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, взаимодействие. Вещь задает загадку. Ну — синее, ну — чистое, ну — соленое, — в чем тайна? Под кистью — ответ. Ответ или поиски ответа, третье, новое, возникшее из моря и я. Отраженный удар, а не вещь.

Отражать — повторять. Мы можем только отобразить. Думающие же, что отражают, повторяют, пишут с («ты шуми смирно, а я попишу»), только искажают до жуткой и мертвой неузнаваемости. Ибо, если ты хочешь дать это море, настоящее, синее, соленое, точь-в-точь, как есть, — предполо-



жим, удалась синева — где же соль? Удалась соль (!), где же шум? Тогда я уже буду требовать с тебя, как с бога. Море — и все качества! Никакого моря не хочу дать, не могу дать. Не дать, а отгадать, что за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом (дара). Единственное, что хочу дать — вещи ударить в себя и, устояв, отдать. Воздать.

Дар отдачи. Благодарность.

«Темы моря — нет, ни одного моря, кажется... Но — свет, но — цвет, но та — чистота...»

Морское, вот что взяла Гончарова у моря.

Что такое морское по отношению к морю? То, без чего вещь не была бы собой, обуславливающее ее, существенное — р о к о в о е — качество. Соль на солоность, море на морскость обречены, иначе их нет. (Море по отношению к соли понятие условненное, но безотносительно соли такое же единство, как соль. Ибо «морское» не сумма соли, синевы, чистоты, запаха и прочих свойств, а особое новое свойство, недробимое — хотелось бы сказать: сплошное («и прочее»), все возможности моря (ограниченного) — безграничные.)

И еще: обуславливающее вещь свойство больше самой вещи, шире ее, вечнее ее, единственная ее надежда на вечность. Морское больше, чем море, ибо морским может быть все, и морское может быть всем. «Морское» — та дорога, по которой вещь выходит из себя, неустанно оставляя себя позади, неминусом опережая. Перерастая. Морю никогда не угнаться за морским, если оно, отказавшись от только-

моря, не перейдет в собственное роковое свойство. Тогда оно само у себя позади и само впереди. Выход, исход, уход, увод. По дороге собственного рокового свойства вещь уходит в мир, размывается. Разомкнутый тупик самости. Это ведь разное — обреченность на себя как таковое и обреченность на свое, не имеющее пределов, знакомо-незнакомое, как поэтический дар для поэта. Не будь море морским и бог божественным, море давно бы высохло, а бог давно бы иссяк. И еще: божественное может без бога, а бог без божественного нет, бога без божественного — нет. Божественное бога включает, не называя, нужды не имея в имени, ибо не только его обуславливающее роковое свойство, но и его же выдыхание. Бог раз вздохнул свободно, и получилось божественное, которое он прекратить не волен. (Свет с тех солнц идет не X лет, а вечно, заставляя солнца гореть.)

Обуславливающее вещь роковое свойство есть только следствие первого единственного вольного вздоха вещи, ее согласие на самое себя. Бог, раз быв божественным, обречен быть им всегда, то есть — впрямь, то есть на старом месте его нет, то есть на конце собственного дыхания, которому нет конца. Раз, по вольной воле, всем собой — обречен быть всем собой — век.

Полная, цельная, вольная, добрая моя воля раз — вот мой рок.

...Цветущая пустыня Алексея — человека божия веет морем. У весенней Великомученицы пена каймой одежд. По утрам на грядках Огородника не снежок, а соль-



ца. Насыщенный морем раствор — вот Гончарова первого моря. Моги море не быть морским, оно бы от того первого взгляда Гончаровой стало пресным. Ребенок бы сказал: лизнуть картину — картина будет соленая.

Тема. Та ложная примета, по которой море уходит из рук. За ивовым плетением весны — всем голубым, зеленым, розовым, радужным, яблонным —

Ходит и дышит и блещет оно.

Сухой Юг отразился Еврейками (позже Испанками) и Апостолами.

Исконно-крестьянско-морское, таков состав первой Гончаровой. Тот же складень в три створки.

Икона, крестьянство, заморье — Русь, Русь и Русь.

### Первая заграница и последняя Россия

В 1914 году (первая дата в моем живописании, единственная названная Гончаровой, явный рубеж) Гончарова впервые едет за границу. Везут с Ларионовым и Дягилевым пушкинско-гончаровско-римско-корсаковско-дягилевского Золотого Петушка. Париж, помнишь? Но послушаем забывчивейшего из зрителей: победителя — саму Гончарову. «Декорация, танец, музыка, режиссура — все сошлось. Говорили, что — событие...» Если уж Гончарова, при ее небывалой беспамятности и скромности... Послушаем и одного из современников.

«Самый знаменитый из этих передовых художников — женщина: имя ее Наталья

Гончарова. Она недавно выставила семьсот холстов, изображающих «свет», и несколько панно в сорок метров поверхности. Так как у нее очень маленькая мастерская, она пишет кусками, по памяти, и всю вещь целиком видит впервые только на выставке. Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодежь. Но самое любопытное — ей подражают не только как художнику, но и ей внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым, синюю с рыжим. Но это еще ничто. Она нарисовала себе цветы на лице. И вскоре знать и богема выехали на санях — с лошадьми, домами, слонами — на щеках, на шее, на лбу. Когда я спросил у этой художницы, почему она предварительно покрыла себе лицо слоем ультрамарина —

— Смягчить черты, — был ответ.

— Дягилев, вы первый шутник на свете! — сказал С.

— Но я говорю простую правду. Каждый день можно встретить в Москве, на снегу, дам, у которых на лице вместо вуалеток скрещенные клинки или россыпь жемчугов. Что не мешает этой Гончаровой быть большим художником.

Метрдотель вносил крем из дичи с замороженным гарниром.

— Это ей я заказал декорации к Золотому Петушку Римского-Корсакова, которого даю этой весной в Опере, — прибавил Сергей Дягилев, отводя со лба завиток волос.

Сделка с совестью.

— Как, Гончарова, сама природа, — и...





— А дикари, только и делающие, не природа?

— Но Гончарова — не дикарь!

— И дикарь и дичок. От дикаря в ней радость, от дичка робость. Радость, победившая робость, — вот личные цветы Гончаровой. Ведь можно и так сказать: Гончарова настолько любит цветы, что собственное лицо обратила в грунт. Грунт, грунтовка и, кажется, найдено: Гончарова сама себе холст!

Если бы Гончарова просто красила себе щеки, мне стало бы скучно. Так — мне весело, как ей и всем тогда. — Пересол молодости! — Гончарова не морщины закрашивала, а... розы! Не красила, а изукрашала. Двадцать лет.

— Как вы себя чувствовали с изукрашенным лицом?

— По улицам слона водили... Сомнамбулой. Десять кинематографов трещат, толпа глядит, а я — сплю. Ведь это Ларионова идея была и, кажется, его же исполнение...

Не обманул меня — мой первый отскок!

После Парижа едет на островок Олерон, где пишет морские Евангелия. Островок Олерон. Сосны, пески, снасти, коричневые паруса, крылатые головные уборы рыбаков. Морские Евангелия Гончаровой, без ведома и воли ее, явно католические, с русскими почти что незнакомые. А всего месяц как из России. Ответ на воздух. Так, само католичество должно было стать природой, чтобы прийти и войти. С Олерона домой, в Москву, и вскоре вто-

рая поездка, уже в год войны. Последний в России — заказ декораций к Граду Китежу и заказ росписи домово́й церкви на Юге, — обе невыполненные. Так была уверена, что вернется, что...

«Ангелы были вырезаны, оставалось только их наклеить. Но я не успела, уехала за границу, а они так и остались в папке. Может быть, кто-нибудь другой наклеил. Но — как? Нужно бы уж очень хорошо знать меня, чтобы догадаться: какого — куда».

(В голосе — озабоченность. Речь об ангельском окружении Алексея — человека божьего.)

### Выставки 1903—1906 гг.

Скульптурная выставка внеклассных работ в Московском Училище Живописи и Ваяния (до 1903 г.).

Выставка Московского Товарищества Художников.

Акварельная выставка в здании Московского Литературно-Художественного Кружка.

Русская выставка в Париже — 1906 г. (устроитель — Дягилев).

Русская выставка в Берлине у Кассирера.

### 1906—1911 гг.

Мир Искусства (Москва и Петербург). Золотое руно (состоит в организации). Stephanos (Венок) — Москва (состоит в организации).

Венок в Петербурге.



Салон Издебского.

Бубновый валет (1910—1911 гг.)

Ослиный Хвост (1912 г.)

Союз Молодых в Петербурге.

Der Sturm (Буря) — Берлин.

Выставка после-импрессионистов в Лондоне (объединение с западными силами).

Herbstsalon (Осенний салон) — Берлин.

Der blaue Reiter (Голубой всадник) — Мюнхен.

Отдельная выставка на один вечер в Литературно-Художественном Кружке (Москва).

### После-России

Мы оставили Гончарову в вагонном окне, с путевым альбомом в руках. Фиорды, яркие лужайки, цветущая рябина — в Норвегии весна запаздывает — благословляющие — за быстротой всегда — след! — лапы елок, курчавые речки, стремящиеся молодые белые тела бревен. Глаза глядят, рука заносит. Глядят на то, что видят, не на то, что делают. Станция: встреча глаза с вещью. Весна запаздывает, поезд опережает. Из опережающего поезда — запаздывающую весну. Вещь из поезда всегда запаздывает. Все, что стоит, — запаздывает. (Деревья и столпники не стоят: идут вверх.) Тем, что стоит, — запаздывает. А из вагонного окна вдвойне запаздывает — на все наше продвижение. Но в Норвегии — сама весна запаздывает! То, что Гончарова видит в окне, — запаздывает втройне. Как же ей не торопиться?

В итоге целый альбом норвежских зарисовок. Норвегия на лету.

Первая стоянка — Швейцария. С Швейцарией у Гончаровой не ладится. Навязчивая идея ненастоящести всего: гор и озер, козы на бугре, крыла на воде. Лебеди на Лемане явно — вырезные, куда менее живые, чем когда-то ее деревца. Не домик, где можно жить и умереть, а фанерный «châlet suisse» (сувенир для туристов), которому место на письменном столе... знакомых. Над картонажем коров — картонаж Альп. Гончарова Швейцарию — мое глубокое убеждение — увидела в неподходящий час. Оттого, что Гончарова увидела ее ненастоящей, она не становится поддельной, но и Гончарова, увидев ее поддельной, от этого не перестает быть настоящей. — Разминовение. — Но — показательное: стоит только Гончаровой увидеть вещь ненастоящей, как она уже не может, суть отказывается, значит — кисть. Не натюрморт для Гончаровой шляпа или метла, а живое, только потому их писать смогла. Для Гончаровой пишущей натюрмортов нет. Как только она ощутила вещь натюрмортом, писать перестала. На смерть Гончарова отвечает смертью, отказом (вспомним городской камень и зиму — для нее — давящих жизнь: траву). Смерть (труп) не ее тема. Ее тема всегда, во всем — воскресение, жизнь: тот острый зеленый росток ее первого воспоминания. (Писала ли хоть раз Гончарова — смерть? Если да, то либо покой спящего, либо радость воскресающего. Труп как таковой — никогда.) Гончарова вся есть живое утверждение жизни, не



только здесь, а жизни навек. Живое опровержение смерти.

«Быть может — умру, наверно  
воскресну!»

Идея воскресения, не идея, а живое ощущение его, не когда-то, а вот-вот, сейчас, уже! — об этом все ее зеленые ростки, листки, — мазки.

Растение, вот к чему неизбежно возвращаюсь, думая о Гончаровой. Какое чудесное, кстати, слово, насыщенное состояние предмета сделавшее им самим. Нет предмета вне данного его состояния. Цветение (чего-то, и собирательное), плетение (чего-то, из чего-то, собирательное), растение — без ничего, одиночное, сам рост. Глагольное существительное, сделавшееся существительным отдельным, олицетворившее собой глагол. Живой глагол. Существительное отделившееся, но не утратившее глагольной длительности. Состояние роста в его разовом акте роста, но недаром глагольное звучание — акте непрерывном, акте — состоянии, — вот растение.

Не об одном растительном орнаменте речь, меньше всего, хотя и говорю о живописце. Всю Гончарову веду от растения, растительного, растущего. Орнамент — только частность. Волнение, с которым Гончарова произносит «куст», «рост», куда больше, чем то, с которым произносит «кисть» и — естественно, — ибо кисть у нее в руке, а куст? рост? Доводов, кроме растительных, от Гончаровой не слыхала. «Чем такое большое и круглое дерево, например, хуже, чем...» Это — на словах «не хуже, чем», в голосе же явно

«лучше» — что — лучше! — несравненно.

Куст, ветвь, стебель, побег, лист — вот доводы Гончаровой в политике, в этике, в эстетике. Сама растение, она не любит их отдельно, любит в них себя, нет, лучше, чем себя: свое. Пишучи ивовые веточки и тополиные сережки — родню пишет тульскую. А то подсолнухи, родню тираспольскую. Родню кровную, древнюю, по-роднее, чем Гончарова — та. Глядя на Гончарову, глядящую на грядку с капустой — вниз, или на ветку в сережках — вверх, хочется вложить ей в уста последнюю строчку есенинского Пугачева:

— Дар-рагие мои... ха-ар-рошие...

Мнится мне, Гончарова больше любит росток, чем цвет, стебель, чем цвет, лист, чем цвет, виноградный ус, чем плод. Здесь рост голее, зеленее, новее. (Много цветов писала, там — подсолнухи, здесь магнолии (родню дальнюю), всюду розы — родню вечную, не в этом суть.) Недаром любимое время года весна, в цвет — как в путь — пускающаяся. И еще одно: цвет сам по себе красив, любовь к нему как-то корыстна, а — росток? побег? Ведь только чистый жест роста, побег от ствола, на свой страх и риск.

Первое сильное впечатление Европы — Испания. Первое сильное впечатление Испании — развалина. Никто не работает и ничто не держится. Даже дома не держатся, держаться ведь тоже работа — вот и разваливается. Разваливается, как лень в креслах: нога здесь, нога там.



Естественное состояние — праздность. Не ровно столько, сколько нужно, чтобы прожить, а немножко меньше, чем нужно, чтобы не умереть. Прожиточный минимум здесь диктуется не расценкой товаров, а расценкой собственных движений, от предпринимательской независимой. Но — лень исключительно на труд. (Есть страны, ленивые только на удовольствие.) Даже так: азарт ко всему, что не труд. Либо отдыхают, либо празднуют. Страна веселого голода, страна презрения к еде (пресловутая испанская луковица). «Если есть — работать, я не ем». (Детское негодующее: «я больше не играю».) Гончаровой чужая праздность и чужой праздник не мешают. Полотняный Завод на саламанкский лад. Здесь Гончарова пишет костюмы к Садку, рядит Садка в красную поддевку, царевну в зелено-желто-серебряную не то чешуйку, не то шкурку, наряжает морских чудищ. Садко, потом, идет в Испании два раза, привезенный Дягилевым — «домой».

Историйка.

В пустой старой университетской церкви Саламанки монах рассказывает и показывает группе посетителей давнюю, древнюю университетскую славу.

«Этот университет окончили трое святых. Взгляните на стену: вот их изображения. С этой кафедры, на которую еще не вступала нога ни одной женщины, Игнатий Лойола защищал свою...»

Почтительный подъем посетительских голов и

— с кафедры слушающая Гончарова.

В Испании Гончарова открывает черный цвет, черный не как отсутствие, а как личность. Черный как цвет и как свет. Здесь же впервые находит свою пресловутую гончаровскую гамму: черный, белый, коричневый, рыжий. Цвета сами по себе не яркие, яркими не считающиеся, приобретают от чистоты и соседства исключительную яркость. Картина кажется написанной красным, скажем, и синим, хотя явно коричневым и белым. Яркость изнутри. (В красках, как в слове, яркость, очевидно, вопрос соседства, у нас — контекста).

На родине Сервантеса, в Саламанке, Гончарова проводит больше полугода и здесь же начинает Литургию — громадную мистерию по замыслу Ларионова и Дягилева, по бытовым соображениям неосуществленную.

### Гончарова и театр

Основная база Гончаровой — Париж. Здесь она живет и работает вот уже пятнадцать лет.

Начнем с самой громкой ее работы — театральной. Театром Гончарова занималась уже в России: Золотой Петушок, Свадьба Зобеиды, Веер (Гольдони).

Золотой Петушок. Народное, восточное, крестьянское. Восточно-крестьянский царь, окруженный мужиками и бабами. Не кафтаны, а поддевки. Не кокошники, а повязки. Сарафаны, паневы. Бабы и как тогда и как всегда. Яркость — не условная лжерусского стиля «клюква», безусловная яркость вечно-крестьянского и восточного.



Не восстановление историка и археолога, архаическое чувство далей. Иным языком: традиция, а не реставрация, и революция, а не реставрация. Точь-в-точь то же, что с народной сказкой «Золотой петушок» сделал Пушкин. И хочется сказать: Гончарова не в двоюродную бабушку пошла, а в сводного деда. Гончарова вместе с Пушкининым смело может сказать: «я сама народ».

Золотой Петушок поворотный пункт во всем декоративном искусстве. Неминуемость пути гончаровского балета. Гончаровский путь не потому неминуем, что он «гончаровский», а потому, что он единственный правильный (потому и «гончаровский», что правильный).

Здесь время и место сказать о Гончаровой — проводнике Востока на Запад — живописи не столько старо-русской: китайской, монгольской, тибетской, индусской. И не только живописи. Из рук современника современность охотно берет — хотя бы самое древнее и давнее, рукой дающего обновленное и приближенное. Вещи, связанные для европейского художника с музеями, под рукой и в руках Гончаровой для них оживают. Силой, новизной и левизной — дающей, подающей, передающей — дарящей их руки.

«Свадьба Зобеиды». Здесь Гончарова впервые опрокидывает перспективу и, с ней, нашу точку зрения. Передние вещи меньше задних, дальние больше ближних. Цветочные цвета, мелкопись, Персия.

«Веер» я видела глазами, и, глаза закрыв: яблонное райское цветущее дерево, затмившее мне тогда всех: и актеров, и

героев, и автора. Перешумевшее — суфлера! Веера не помню. Яблоню.

Заграничные работы. «Свадебка» Стравинского (Париж). В противовес сложному плетению музыки и текста — прямая наущная линия, чтобы было на чем, вокруг чего — виться причуде. Два цвета: коричневый и белый. Белые рубахи, коричневые сарафаны, белые рубахи, коричневые штаны. Все гости в одинаковом. Стенная скамья, стол, в глубине дверь, то закрывающаяся, то открывающаяся на тяжелую кровать. Но — глубокий такт художника! — для того, чтобы последнее слово осталось за Стравинским, занавес, падающий на молодых, гостей, сватов — свадебку — сплошное плетение, вязь. Люди, звери, цветы, сплошное перехождение одного в другое, из одного в другое. Век раскручивай — не раскрутишь. Музыка Стравинского, уносимая не в ушах, а в очах.

«Свадебка» и «Золотой Петушок» (в котором все на союзе с музыкой) — любимые театральные работы Гончаровой.

«Покрывало Пьеретты» (Берлин) — светлое, бальное, с лестницами, с кринолинами. Перенаряженные, в газовом, в розовом, перезрелые чудовища-красавицы, на отбрасывающем фоне которых невесты и красавицы настоящие. Настоящая свеча и продолженное на стене, нарисованное, сияние. Окно и все звезды в окне. В «Жар-Птице» яблонный сад, на который падает Млечный Путь. (Продолженное сияние, полное окно звезд, Млечный Путь, падающий в сад, — все это Гончарова дает впервые. Потом берут все.)

...«Спящая Царевна», неосуществленная Литургия, «Праздник в деревне» (музыка Черепнина), «Rhapsodie Espagnole» (Равель), «Tigiana». Кукольный театр, «Карагез» (Черный Глаз — декорации к турецкому теневому театру превращений)...

«Театр? Да, вроде как с Парижем: хотела на Восток, попала на Запад. С театром мне пришлось встретиться. Представьте себе, что вам заказывают театральную вещь, вещь удастся, — не только вам, но и на сцене, — успех — очередной заказ... Отказываться не приходится, да и каждый заказ, в конце концов, приказ: смоги и это! Но любимой моей работой театр никогда не был и не стал».

Приведенное отнюдь не снижает ценности Гончаровой-декоратора и всячески подымает ценность Гончаровой — Гончаровой.

— Печальная работа — декорация. Ведь хороши только в первый раз, в пятый раз... А потом начнут возить, таскать, — к двадцатому разу неузнаваемы... И ведь ничего не остается — тряпки, ломотья... А бывает — сгорают. Вот у нас целый вагон сгорел по дороге... (говорит Ларионов).

Я, испуганно:

— Целый вагон?

Он, еще более испуганный:

— Да нет, да нет, не гончаровских, моих... Это мои сгорели, к...

И еще история. Приходит с вернисажа, веселый, сияющий.

— Гончарову повесили замечательно. Целая отдельная стена, освещение — лучше нельзя. Если бы сам выбирал, лучше

бы не выбрал. Лучшее место на всей выставке... Меня? (скороговоркой) меня не особенно, устроитель даже извинялся, говорит, очень трудно, так ни на кого не похоже... В общем — угол какой-то и света нет... даже извинялся... Но вот — Гончарову!..

Имя Ларионова несколько раз встречается в моем живописании. Хотела было, сначала, отдельную главу «Гончарова и Ларионов», но отказалась, поняв, что разделить — умалить. Как выделить в книге о Гончаровой Ларионова — в главу, когда в книге Гончаровой, ее бытия, творчества, Ларионов с первой строки в каждой строке. Лучше всех моих слов о Гончаровой и Ларионове — них — собственные слова Гончаровой о нем: «Ларионов, это моя рабочая совесть, мой камертон. Есть такие дети, отродясь все знающие. Пробный камень на фальшь. Мы очень разные, и он меня видит из меня, не из себя. Как я — его».

Живое подтверждение разности. Приношу Гончаровой на показ детские рисунки: ярмарку — несколько очень ярких, цветных, резких, и других два, карандашом: ковбой и танцовщица. Гончарова сразу и спокойно накладывает руку на ярмарочные. Немного спустя явление Ларионова. «Это что такое?» И жест нападчика, хищника — рукой, как ястреб клювом — выклевывает, выхватывает — ковбоев, конечно. «Вот здорово! Может, подарите совсем? И это еще». — Второй, оставленный Гончаровой.

Много в просторечии говорится о том, кто больше, Гончарова или Ларионов.



«Она всем обязана ему». «Он всем обязан ей». «Это он ее — так, без него бы...» «Без нее бы он...» И т. д., пока живы будут. Из приведенного явствует, что — равны. Это о парности имен в творчестве. О парности же их в жизни. Почему расстаются лучшие из друзей, по-глубокому? Один растет — другой перерастает; растет — отстает; растет — устает. Не перестали, не отстали, не устали.

Не принято так говорить о живых. Но Гончарова и Ларионов не только живые, а надолго живые. Не только среди нас, но и немножко дальше нас. Дальше и дольше нас.

### Из бесед

«Декоративная живопись? Поэтическая поэзия. Музыкальная музыка. Бессмыслица. Всякая живопись декоративна, раз она украшает, красит. Это входит в понятие самого существа живописи и отнюдь не определяет отдельного ее свойства. Декоративность в живопись включена. А только декоративных вещей я просто не знаю. Декоративное кресло? Очевидно, все-таки для того, чтобы в нем сидеть, иначе: зачем оно — кресло? Есть бугафорские кресла, чтобы не садиться, люди, очевидно, просто ошибаются в словах.

Декоративным у нас, в ремесле, называют несколько пересеченных ярких плоскостей. Вот что я знаю о декоративности...»

«Эклектизм? Я этого не понимаю. Эклектизм — одеяло из лоскутов, сплошные швы. Раз шва нет — мое. Влияние иконы? Персидской миниатюры? Ассирии? Я не

слепа. Не для того я смотрела, чтобы забыть. Если вы читаете Шекспира и Шекспира любите, неужели вы его забудете, садясь за своего Гамлета, например? Вы этого сделать не сможете, он в вас, он стал частью вас, как вид, на который вы смотрели, дорога, по которой вы шли, как случай собственной жизни».

(Я, мысленно: претворенный, неузнаваемый!)

«Я человека вольна помнить, а икону — нет? — Забыть — не то слово, нельзя забыть вещи, которая уже не вне вас, а в вас, которая уже не в прошлом, а в настоящем. Разве что — «забыть себя».

— Как тот солдат.

«Этот страх влияния — болезнь. Погляжу на чужое, и свое потеряю. Да как же я свое потеряю, когда оно каждый день другое, когда я сама его еще не знаю».

— То же самое, что: «я потерял завтрашний день».

«И какое же это свое, которое потерянным быть может? Значит, не твое, а чужое, теряй на здоровье! Мое это то, чего я потерять не могу, никакими силами, неотъемлемое, на что я обречена».

И я, мысленно: влияние, влияние на. Вздор. Это давление на, влияние — в, как река в реку, подика разбери, чья вода — Роны или Лемана. Новая вода, небывшая. Сли-яние. И еще, слово Гёте — странно, по поводу того же Шекспира, которого только что привела Гончарова: «Все, что до меня, — мое».

О Гамлете же: Гамлета не забуду и не повторю. Ибо незабвенен и неповторим.



### Повторность тем

...«Не потому, что мне хочется их еще раз сделать, а потому, что мне хочется их окончательно сделать, — в самом чистом смысле слова — отделаться». (Чистота, вот одно из самых излюбленных Гончаровой слов и возлюбивших ее понятий.)

Гончарова свои вещи не «отделяет», она от них отделяется, отмахивается кистью. Услышим слова. Отделять, как будто, предполагает тщательность, отделяться — небрежность. «Только бы отделаться». Теперь внимем в суть. От чего мы отделяемся? От вещей навязчивых, надоевших, не дающихся, от вещей — навязчивых идей. Если эта вещь еще и твоя собственная, единственная возможность от нее отделаться — ее кончить. Что и делает Гончарова.

«Пока не отделано» — сильнее, чем «дделаю», а с «отделаю» и незнакомо. Отделаю — натиск на меня вещи, отдаю — мое распоряжение ею, она в распоряжении моем. Отделяет лень, неохота взяться за другое, отделяется захват. Нет, Гончарова, именно, от своих вещей отделяется, а еще лучше — с ними разделяется — кто кого? — как с врагом. И не как с врагом, просто — с врагом. Что вещь в состоянии созидания? Враг в рост. Схватиться с вещью, в этой ее обмолвке весь ее взгляд на творчество, весь ее творческий жест и вся творческая суть. Но — с вещью ли схватка? Нет, с собственным малодушием, с собственной косностью, с собственным страхом: задачи и затраты. С собой — бой, а не с вещью. Вещь

в стороне, спокойная, знающая, что осуществится. Не на этот раз, так в другой, не через тебя, так через другого. — Нет, именно сейчас и именно через меня.

Признаюсь, что о повторности тем у Гончаровой — преткнулась. Все понимая — всю понятную — не поняла. Но — что может злого изойти из Назарета? Вот подход. А вот ход.

Раз повторяет вещь, значит нужно. Но повторить вещь невозможно, значит не повторяет. Что же делает, если не повторяет? Делает другое что-то. Что именно? К вещи возвращается. К чему, вообще, возвращаются? К недоделанному (ненавистному) и к тому, с чем невозможно расстаться — любимому, т. е. к не доделанному тобой и не довершенному в тебе. Итак, «разделаться» и «не расстаться» — одно. Есть третья возможность, вещь никогда не уходила, и Гончарова к ней никогда не возвращалась. Вещь текла непрерывно, как подземная река, здесь являясь, там пропадая, но являясь и пропадая только на поверхности действия, внутри же — иконы и крестьянские, например, теча собственной тульской гончаровской кровью. Ведь иконы и крестьяне — в ней.

— Есть вещи, которые вы особенно любите, любимые?

«Нелюбимые есть: недоделанные». Пристрастием Гончаровой к данным темам ничего не объяснишь. Да любит ли художник свои вещи? Пока делает — сражается, когда кончат — опять сражается и опять не успевает любить! Что же любит? Ведь что-нибудь да любит. Во-первых, устами Гон-







вещи. Поэтическая задача, если есть, не цель, а средство, как сама вещь, которой служит. И не задача, а процесс. Задача поэзии? Да. Поэтическая задача? Нет.)

— А иногда и без задачи, иногда задача по разрешении ее, ознакомление с нею в конце, в виде факта налицо. Вот разрешила, теперь посмотрим — что. Вроде ответов, к которым должен же быть вопрос.

Мнится мне, Гончарова не теоретик своего дела, хотя и была в свое время, вернее, вела свое время под меняющимися флажками импрессионизма, футуризма, лучизма, кубизма, конструктивизма, и, думается мне, ее задачи скорее задачи всей сущности, чем осознанные задачи, ставимые как цель и как предел. Гончаровское что не в теме, не в цели, а в осуществлении. Путевое. Попутное. Гончарова может сделать больше, чем хотела, и, во всяком случае, иначе, чем решила. Так, только в последний миг жизни сей, в предпервый — той, мы понимаем, что куда вело. Живописная задача? Очердное и последнее откровение.

### Гончарова и школа

Создала ли Гончарова школу? Если создала, то не одну, и лучше, чем школу: создала живую, многообразную творческую личность. Неповторимую.

«Когда люди утверждались в какой-нибудь моей мысли, я из нее уходила». Гончарова только и делает, что перерастает собственные школы. Единственная школа Гончаровой — школа роста. Как другого научить — расти?

Это о школе-теории, а вот о школе-учебе,

учениках. Бывало иногда по три-четыре, никогда по многу. Давала им тему (каждому — свою), и тотчас же, увлекшись, тотчас же себе ее воспрещала. «Потому что, если начну работать то же, невольно скажу, укажу, ну просто — толкну карандаш в свою сторону, а этого быть не должно. Для чего он учится у меня? Чтобы быть как я? И я — для чего учу? Опять — себя? Учу? — Смотри, наблюдай, отмечай, выбирай, отметай не свое — ведь ничего другого, несмотря на самое большое желание, не могу дать». — Будь.

Школу может создать: 1) теоретик, осознанный, систематизирующий и оглаворяющий свои приемы. Хотя бы школу создать; 2) художник, питающийся собственными приемами, в приемы, пусть самим открытые, верящий — в годность их не только для себя, но для других, и, что главное, не только для себя нынче, для себя завтра. Спасшийся и спасти желающий. Тип верующего безбожника (ибо упор веры не в открывшемся ему приеме, а в приеме: закрывшемся, обездушенном); 3) пусть не теоретик, но — художник одного приема, много — двух. То, что ходит, верней, покоится, под названием «монолит».

Там, где налицо многообразие, школы, в строгом смысле слова, не будет. Будет — влияние, заимствование у тебя частностей, отдельных, ты — в розницу. Возьмем самый близкий нам всем пример Пушкина. Пушкин для его подвлиянных — Онегин. Пушкинский язык — онегинский язык (размер, словарь). Понятие пушкинской школы — бесконечное сужение понятия самого Пушкина, один из аспектов его.



«Вышел из Пушкина» — показательное слово. Раз из — то либо в (другую комнату), либо на (волю). Никто в Пушкине не остается, ибо он сам в данном Пушкине не остается. А остающийся никогда в Пушкине и не бывал.

Влияние всего Пушкина целиком? О да. Но каким же оно может быть, кроме освободительного? Приказ Пушкина 1829 года нам, людям 1929 года, только контрпушкинианский. Лучший пример «Тема и Варьяции» Пастернака, дань любви к Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания.

Влияние Гончаровой на современников огромно. Начнем с ее декоративной деятельности, с наибольшей явностью явления и, посему, влияния. Современное декоративное искусство мы смело можем назвать гончаровским. Золотой Петушок перевернул всю современную декорацию, весь подход к ней. Влияние не только на русское искусство — вся «Летучая мышь», до Гончаровой шедшая под знаком XVIII века и романтизма; художники Судейкин, Ремизов, тот же Ларионов, открыто и настойчиво заявляющий, что его «Русские сказки», «Ночное Солнце», «Шут» — простая неминуемость гончаровского пути. Пример гончаровского влияния на Западе — веский и лестный (если не для Гончаровой, сыновне-скромной, то для России, матерински-гордой), пример Пикассо, в своих костюмах к балету «Tricorne» (Треуголка), давший такую же Испанию, как Гончарова — Россию, по тому же руслу народности.

Это о влиянии непосредственном. А вот о предвосхищении, которое можно назвать влиянием Будущего на художника. Первая ввела в живопись машину (об этом особо). Первая ввела разное толкование одной и той же темы (циклы Подсолнухи, Павлины, 1913 г.). Первая воссоединила станковую живопись с декоративной, прежде слитые. Явные следы влияния на французских художников Леже, Люрса, Глэз, делающих это ныне, то есть пятнадцать лет спустя. Цветная плоскость, плоскостная живопись, в противовес глубинной — русское влияние, возглавляемое Гончаровой<sup>23</sup>. Первая ввела иллюстрации к музыке.

У кого училась сама Гончарова? В Школе Живописи и Ваяния — ваянию. И, как дети говорят: «дальше всё». Да, дальше — всё: жизнь — вся, природа — вся, погода — всякая, народы — все. У природы, а не у людей, у народов, а не у лиц.

Новатор. Переступим через пошлость этого слова — хотела ли Гончарова быть новатором? Нет, убеждена, что она просто хотела сказать свое, свое данное, данный ответ на данную вещь, сказать вещь. Хотеть дать новое, никогда не бывшее, это значит в данную минуту о бывшем думать, с чем-то сравнивать, что-то помнить, когда все нужно забыть. Все, кроме данной скромной, частной чистой задачи. Не только нужно забыть, нельзя не забыть.

<sup>23</sup> Лучше всего об иллюстрации сказала сама Гончарова: «Иллюстрация? Просвещение темных». (Прим. М. Цветаевой.)



«Свое?» Нет, правду о вещи, вещь в состоянии правды, саму вещь <...>

Хотеть дать «новое» (завтрашнее «старое»), это ведь того же порядка, что хотеть быть знаменитым, — здесь равенство по современникам, там по предшественникам, занятость собою, а не вещью, грех. Хотеть дать правду — вот единственное оправдание искусства, в оправдании (казармы, подвалы, заводы, траншеи, больницы, тюрьмы) — н у ж д а ю щ е г о с я .

### Гончарова и машина

В нашем живописании доселе все спелось. Гончарова природы, народа, народов, со всей древностью деревенской крови в недавности дворянских жил, Гончарова — деревня, Гончарова — древность, Гончарова — дерево, древняя, деревенская, деревянная, древесная, Гончарова с сердцевиной вместо сердца и древесиной вместо мяса, — земная, средиземная, красно-и-черно-зёмная. Гончарова — почвы, коры, норы —

боящаяся часов («Вы только послушайте! Ведь это лошадь бежит по краю земли!»), с о п у т с т в у ю щ а я лифту,

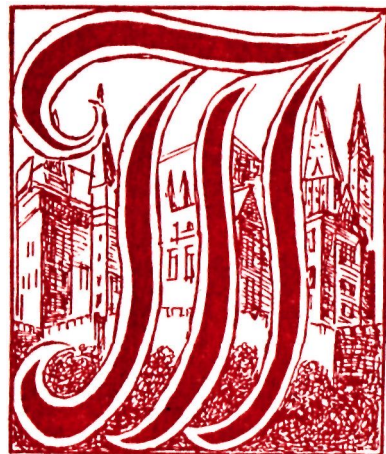
пылящая пылесос (так и лежит в пыли, как в замше).

— Гончарова первая ввела машину в живопись.

Удар пойдет не оттуда, откуда ждут. Машина не мертвая. Не мертво то, что воет человеческим — нечеловеческим! — голосом, таким — какого и не подозревал

изобретатель! — сгибается, как рука в локте, и как рука же, разогнувшись, убивает, ходит как колено в коленной чашке, не мертво, что вдруг — взрывается или: стоп — внезапно отказывается жить. Машина была бы мертва, если бы никогда не останавливалась. Пока она хочет есть, пока она вдруг не хочет дальше или не может больше, кончат быть — она живая. Мертвым был бы только *perpetuum mobile* (чего? смерти, конечно). В ее смертности — залог ее живости. Раз умер — жил. Не умирает на земле — только мертвец.

Не потому, что мертвая, противопоставляю машину живой Гончаровой, а потому что — убийца. Чего? Спросите беспалого рабочего. Спросите любого рабочего. Не забудьте и крестьянина, у которого дети «в городе». Спросите русских кустарей. Убийца всего творческого начала: от руки, творящей, до творения этой руки. Убийца всего «от руки», всего творчества, всей Гончаровой. Гончаровой машина — лишняя, но мало лишняя — еще и помеха: то внешнелишнее, становящееся — хотя не хотя — внутренним, врывающееся — через слух и глаз — внутрь. Гончарова скачущую лошадь часов слышит в себе. Сначала скачущую лошадь на краю света, потом внутри тела: сердца. Физическое сердцебиение в ответ и в лад. Как можно, будучи Гончаровой — самим оком, самим эхом, — не отозваться на такую вещь, как машина? Всей обратностью отзывается, всей враждой. Вводи не вводи в дом, но ведь когда-нибудь из дома — выйдешь! А не выйдешь — сама войдет, в виде — хотя бы



жилетных часов — гостя. И лошадь будет скакать. (Знаю эту лошадь: Конь Блед, по краю земли — конца земли!)

Гончарова с машиной в своих вещах справляется с собственным сердцем, где конь, с собственным сердцем, падающим в лифте — в лифт же! — с собственной ногой, переламавающейся по выходе с катящейся лестницы. О бессмыслица! мало сознания, что земля катится, нужно еще, чтобы под ногой катилась! о уничтожение всей идеи лестницы, стоящей нарочно, чтобы мне идти и только пока иду (когда пройду, лестницы опять льются! в зал, в пруд, в сад!) — уничтожение всей идеи подъема, ввержение нас в такую прорву глупости: раз лестница — я должен идти, но лестница... идет! я должен стоять. И ждать — пока доедет. Ибо — не пойду же я с ней вместе, дробя ее движение, обесмысливая ее без того уже бессмысленный замысел: самоката, как она уже обесмыслила мой (божественный): ног. Кто-то из нас лишний. Глядя на все тысячи подымающихся (гончаровское метро Mabillon, где я ни разу за десятки лет не подымалась, по недвижущейся, с соседом), глядя на весь век — явно я.

Пушкин ножки воспевал, а я — ноги! «Maison roulante»<sup>24</sup> (детская книжка о мальчишке, украденном цыганами) — да, tapis roulant<sup>25</sup> — нет.

Чтобы покончить с катящейся лестницей: каждая лестница катится 1) когда тебя на ней нет, 2) в детстве, когда с нее.

Гончарова машину изнутри — вовне выгоняет как дурную кровь. Когда я глазами

вижу свой страх, я его не боюсь. Ей, чтобы увидеть, нужно явить. У Гончаровой с природой родство, с машиной (чуждость, отвращение, притяжение, страх) весь роман розни — любовь.

Машина — порабощение природы, использование ее всей в целях одного человека. Человек поработил природу, но, поработив природу, сам порабощен орудием порабощения — машиной: сталью, железом, природой же. Человек, природу восстановив против самой себя, с самой собой ставив, победителем (машиной) раздавлен. Что не избавило его от древнего рока до-конца-во-веки непобедимого побежденного — природы: пожаров, землетрясений, извержений, наводнений, откровений... Попадание под двойной рок. Человек природу с природой разъединил, разорвал ее напополам, а сам попал между. Давление справа, давление слева, а еще сверху — Бог, а еще снизу — гроб.

Но — природа своих познаша. Откажемся от личных преимуществ и немощей (то, что я опережаю лифт — моя сила, то, что я в него боюсь встать — мой порок). Есть давность у нововведений. Фабричная труба почти природа, как колокольня. Рельсы уже давно река, с набережными — насыпями. Аэроплан завтра будет частью неба, зачем завтра, когда уже сейчас — птица! И кто же возразит против первой машины — колеса?

<sup>24</sup> Дом на колесах (фургон) (франц.).

<sup>25</sup> Эскалатор (франц.).



И может быть, минуя все романы любви и ненависти, Гончарова просто приняла в себя машину, как<sup>26</sup> ландшафт.

Машина не только поработитель природы, она и поработенная природа, такая же, как Гончарова в городе. Машина с Гончаровой — союзники. Соответствие. Солдата заставляют расстреливать — солдата. Кто он? Убийца. Но еще и самоубийца. Ибо — часть армии, как его же пуля — часть руды. Солдат в лице другого такого же сам себя, самого себя убивает. В самоубийце слиты убийца и убиенный. Солдат может отказаться — отказывается (расстрел мисс Кавель, узнать имя солдата)<sup>27</sup>. Но и машина отказывается. Отказавшийся солдат — бунт. Отказавшаяся машина — взрыв. На том же примере — осечка. Гончарова, отказывающаяся в лифт — тот же лифт, отказывающийся вверх. Природа не захотела.

Если Гончарова с машиной, орудием порабощения, во вражде, с машиной, природой поработенной, она в союзе. «Мне тебяз, руда, жаль»...

Все это догадки, домыслы, секунды правды. А вот — сама Гончарова: «Принцип движения у машины и у живого — один. А ведь вся радость моей работы — вывить равновесие движения».

Показательно, однако, что впервые от Гончаровой о машине я услышала только после шести месяцев знакомства.

Показательна не менее (показывать, так все) — первая примета для Гончаровой дороги в Медон (который от первого ее шага становится Медынью). «Там, где с правой

стороны красивые трубы такие... то две, то пять, то семь... то сходятся, то расходятся...»

### Заграничные работы

Кроме громких театральных работ (громких отзывом всех столиц) — работы более тихие, засушные.

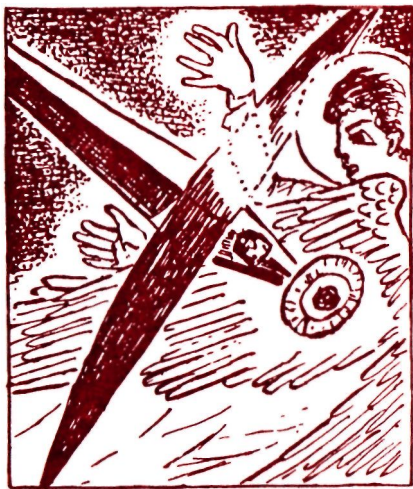
На первом месте Испанки. (Их много. Говорю только о последних, гончаровском plain chant<sup>28</sup>). Лучший отзыв о них недоуменный возглас одного газетного рецензента: «Mais ce ne sont pas des femmes, ce sont des cathédrales!» (Да это же не женщины, это — соборы!) Все от собора: и створчатость, и вертикальность, и каменность, и кружевность. Гончаровские испанки — именно соборы под кружевом, во всей прямоте под ним и отдельности от него. Первое чувство: не согнешь. Кружевные цитадели. Тема испанок у Гончаровой — возвратная тема. Родина их — тот первый сухой Юг, те «типы евреев», таких непохожих на наших, таких испанских. В родстве и с «Еврейками», и с «Апостолами» (русские работы).

«Одни испанки уехали», — никогда не забуду звука рока в этом «уехали». Здесь не только уже неповторность в будущем, а физическая невозвратность — смерть.

<sup>26</sup> Это сделал. (Прим. М. Цветаевой.)

<sup>27</sup> Немцкого солдата, отказавшегося участвовать в казни Э. Кавелл (1865—1915), английской сестры милосердия.

<sup>28</sup> Песнопении (франц.).



Как мать: второго такого не порожду, а этого не увижу. Сегодня испанки, завтра тот мой красный корабль. Гончаровой будет легко умирать.

Поэты этого расставания не знают, знают одно: из тетради в печать, — «и другие узнают». Расставание поэта — расставание рождения, расставание Гончаровой — расставание смерти: «все увидят, кроме меня».

Красный корабль. Глазами и не-глазами увидела, по слову Гончаровой и требованию самой вещи накладывая краски на серый типографский оттиск и раздвигая его из малости данных до размеров — подлинника? нет, замысла! Не данной стены, а настоящего корабля. Небывалого корабля.

Красный корабль. Как на детских пиратских — неисчислимое количество — по шесть в ряд, а рядов не шесть — боеготовных вздутых парусков. Корабль всех школьников: до неба! А сверху, снизу, в снастях как в сетях — сами школьники: юнги, с булавочную головку, во всей четкости жучка, взятого на булавку. Справа — куда, слева — откуда. Слева — дом корабля, оправа — цель корабля. Левая створка: березы, ели, лисичка, птички, сквозное, пушное, свежее, светлое, северное. Справа — жгут змеи вокруг жгута пальмы, густо кишаше, влажно, земно, черно. А посередке, перерастая и переполняя, распирая створки, — он, красный, корабль удачи, корабль добычи вопреки всем современным «Колумбиям», вечный корабль школьников — мечта о корабле.

Ширмы — сказала Гончарова. А я скажу — окно. Четырехстворчатое окно, за которым, в которое, в котором. Вечное окно школ — на все корабли. Сегодня проплывает красный.

Красный корабль проплыл вместе с окном. В те самые тропики, утягивая с собой и левую створку — Север. Из жизни Гончаровой ушло все то окно. Вместо него голая стена. Глухая стена. А может быть — дыра в стене, во всю стену — на какой-нибудь двор, нынче парижский, завтра берлинский. Эту дыру Гончарова возит с собой. Дыра от корабля. Вечная. Но не одна Гончарова своего корабля не увидит, и я не увижу. Гончарова больше никогда, я — просто никогда. Никогда — больше.

Большое полотно «Завтрак». Зеленый сад, отзавтракавший стол. На фоне летних тропик — семейка. Центр внимания — усатый профиль, усо-устремленный сразу на двух: жену и не-жену, голубую и розовую, одну обманщицу, другую обманутую. Голубая от розовой закуривает, розовая спички — пухлой рукой — придерживает. Воздух над этой тройкой — вождение. Напротив розовой, на другом конце стола, малохолдный «авдиот» в канотье и без пиджака. Красные руки вгреблись в плетеную спинку стула. Ноги подламываются. Тоже профиль, не тот же профиль. Усат. — Безус. Черен. — Белес. Подл. — Глуп. Глядит на розовую (мать или сестру), а видит белую, на которую не глядеть, ожидая того часа, когда тоже как дядя будет глядеть — сразу на двух. Белая возле и глядит на него. Воздух в этом углу еще —



мление. И, минуя всех и все: усы, безусости, и подстольные нажимы ног, и подскартертные пожимы рук — с лицом непреклонным как рок, жестом непреклонным как рок, — поверх голов, голубой и розовой — почти им на головы — с белым трехугольником рока на черной груди (перелицованный туз пик) — на протезе руки и, на ней, подносе — служанка подает фрукты.

Подбородок у розовой вдвое против положенного, но не римский. Нос у канотье как изнутри пальцем выпихнут, но не гальский. Гнусь усатого не в усе, а в улыбочной морщине, деревянной. О голубой сказать нечего, ибо она обманута. О ней скажем завтра, когда так же будет глядеть — сразу на двух: черного и его друга, которого нет, но который вот-вот придет. Друг — рыжий.

Кто дома, кто в гостях? Чей завтрак съели? Нужно думать, обманутой. Розовая с братом-(или сыном)-канотье в гостях. Захватила, кстати, и племянницу (белую). Чтоб занять канотье. А самой заняться усом. Рука уса на газете, еще не развернутой. Когда розовая уйдет, а голубая останется — развернет.

Детей нет и быть не может, собака есть, но не пес, а бес. За этим столом никого и ничего лишнего. Вечная тройка, вечная двойка и вечная единица: рок.

Либо семейный портрет, либо гениальная сатира на буржуазную семью. Впрочем — то же.

Иконные вещи, переброшившиеся за границу. «Времена года» (четыре панно). Цик-

лы «Купальщицы», «Магнолии», «Рыбы», «Павлины». Вот один — под тропиками собственного хвоста. Вот другой — «Павлины на солнце», где хвост дан лучами, лучи хвостом. «Солнце — павлин». — «Я этого не хотела». Не хотела, но сделала.

«Колчучие букеты» (цветы артишока, аканта, чертополоха) — угроза растущего. Альбом «Весна», которую я бы назвала «Весна враздробь». Периодическая дробь весны с каким-то остатком, веки неделимым. Вот записи зарисовок:

Весна. Цветение в кристалле. Острия травы как острия пламени. Брызги роста. Цвет или иней? После Баха (весь лист сверху донизу в радужной поперечной волне. Баховские «струйки»). Из весны — в весну (снаружи — в дом, уже смыйтый весною. Уцелело одно окно). Весна — наоборот: где небо? где земля? — Пни с брызгами прутьев. — Изгородь в звездах (в небе цветы, на лугу звезды)... И опять Бах.

Альбомы «Les cités» (Города), Театральные портреты. Рисунки костюмов к «Женщине с моря» (последняя роль Дузе). Альбом бретонских зарисовок. Альбом деревьев Фонтенебло. Иллюстрации к «Vie persane». Иллюстрации к «Слову о полку Игоревом». Называю по случайности жеста Гончаровой в ту или другую папку. Гончаровское наследие — завалы. Три года разбирать — не разберешь. Гончарова, как феодальный сеньор, сама не знает своего добра, с той разницей, что она его, руками, делала.

Игорь. Иллюстрации к немецкому изданию Слова. Если бы я еще полгода назад





узнала, что таковые имеются, я бы пожалала плечами: 1) потому что Игорь (святыня, то есть святотатство); 2) потому что я поэт, и мне картинок не надо; 3) потому что я никого не знаю Игорю (Слову) в рост. Приступала со всем страхом предубеждения и к слову и к делу иллюстрации. Да еще — Слова!

И —

Есть среди иллюстраций Игоря — Ярославна, плач Ярославны. Сидит гора. В горе — дыра: рот. Изо рта вопль: а-а-а... Этим же ртом, только переставленным на о (вечное о славословия) славлю Гончарову за Игоря.

Как работает Наталья Гончарова? В-первых, всегда, во-вторых, везде, в-третьих, все. Все темы, все размеры, все способы осуществления (масло, акварель, темпера, пастель, карандаш, цветные карандаши, уголь, — что еще?), все области живописи, за все берется и каждый раз дает. Такое же явление живописи, как явление природы. Мы уже говорили о гармоничности гончаровского развития: вне катастроф. То же можно сказать о самом процессе работы, делании вещи. Терпеливо, спокойно, упорно, день за днем, мазок за мазком. Нынче не могу — завтра смогу. Оторвали — вернусь, перебили — срассусь. Вне перебоев.

Формальные достижения? Я не живописец, и пусть об этом скажут другие. Могла бы сказать и о «цветных плоскостях», и хвастнуть «тональностями», и резнуть различными «измами», — всё как все и, может быть, не хуже, чем все. Но — к че-

му? Для меня дело не в этом. Для Гончаровой дело не в этом, не в словах, «измах», а в делах. Я бы хотела, чтобы каждое мое слово о ней было бы таким же делом, как ее каждый мазок. Отсюда эта смесь судебного следствия и гороскопа.

Кончить о Гончаровой трудно. Ибо — где она кончается? Если бы я имела дело исключительно с живописцем, не хочу называть (задевать), хотя дюжина имен на языке, с личностью, знак равенства, вещь, за пределы подрамника не выступающей, заключенной в своем искусстве, в него включенной, а не неустанно из него исключаемой, — если бы я имела дело не с естественным феноменом роста, а с этой противуестественностью: только-художник (профессионал) — о, тогда бы я знала, где кончить — так путь оказывается тупиком — а может быть, и наверное даже, вовсе бы и не начинала. Но здесь я имею дело с исключением среди живописцев, с живописцем исключительным, таким же явлением живописи, как сама живопись — явление жизни, с двойным явлением живописи и жизни — какое больше? оба больше! — с Гончаровой — живописцем и Гончаровой — человеком так срассенными, что разъединить — рассечь.

— С точкой срращения Запада и Востока, Бывшего и Будущего, народа и личности, труда и дара, с точкой слияния всех рек, скрещения всех дорог. В Гончарову все дороги и от нее — дороги во все. И не моя вина, что, говоря о ней, неустанно отступала — в нее же, ибо это она меня заводила, отступая, перемещаясь, не даваясь, как даль. И не я неустанно свою тему пе-

перастала, а это она неустанно вырастала у меня из рук.

...С творческой личностью, отчеркни всю живопись — все останется и ничто не пропадет, кроме картин.

С живописцем — не знай мы о ней ничего, все узнаем, кроме разве дат, которых и так не знаем.

— Всё? В той мере, в какой нам дано на земле ощутить «все», в той мере, как я это на этих многих листах осуществить пыталась. Все, кроме еще всего.

Но если бы меня каким-нибудь чудом от этого еще — всего, совсем — всего, всего-всего отказать — заставили, ну просто приперли к стене или разбудили среди ночи: ну?

Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара.

И погашая уже пробудившуюся (да никогда и не спавшую) — заработавшую — заигравшую себя — всю:

Кончить с Гончаровой — пресечь.

Пресекаю.

Медон, март 1929 г.

**Публикацию подготовили А. Саакянц и А. Эфрон.**

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

Стр. 144. Наталья Гончарова. Эскиз декорации одной из сцен оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1913—1914.

Стр. 145. Михаил Ларионов. Портрет Натальи Гончаровой. 1918.

Марина Цветаева. Фото. 1924.

Стр. 146—157, 160—166, 168—183, 185—193, 196—200 — иллюстраций Натальи Гончаровой к книге Натальи Кодрянской «Сказки». Париж, 1950.

Стр. 159. Наталья Гончарова. «Пейзаж» (фрагмент). 1927.

Стр. 167. Наталья Гончарова. «Испанка». 1925.

Стр. 194. Наталья Гончарова. «Белые тюльпаны». 1915—1916.

Стр. 195. Наталья Гончарова. «Ткацкий станок». 1910.

## Несколько слов

О

## Натальи Гончаровой

В обширном наследии М. И. Цветаевой немалое место принадлежит прозаическим произведениям. Их трудно «приписать» к какому-либо жанру. Это воспоминания, портреты, мысли, высказанные вслух. Это почти стихотворения в прозе, полные метафор, ассоциаций. Это пропущенные через душу поэта люди, встречи, события, человеческие взаимоотношения.

К такого рода произведениям относится и очерк, посвященный Натальи Гончаровой. Цветаева не дает строго документированную биографию Гончаровой, не подвергает ее творчество искусствоведческому анализу. Поэтесса стремится донести до читателя прежде всего свое сугубо личное впечатление о художнице, передает свое эмоциональное восприятие ее произведений. Это восприятие особенно интересно тем, что принадлежит такому тонкому и «воспламеняющемуся» ценителю искусства, как Марина Цветаева, и к тому же выражено с присущей ей поразительной силой и талантливостью.

Но восприятие Цветаевой глубоко индивидуально.

Поэтому уместно хотя бы кратко охарактеризовать творческий путь Гончаровой.

Наталья Сергеевна Гончарова принадлежит к тому поколению удивительно своеобразных и смелых русских художников, которое выдвинулось в самом начале XX столетия.

Гончарова родилась в 1881 году в деревне под Тулой, в семье «с традициями». Двоюродной бабкой ее отца была Наталия Николаевна Пушкина (отсюда пушкинская тема в очерке Цветаевой). Отец Гончаровой — так же, как и его далекий предок в петровское время, — был архитектором. Мать будущей художницы увлеклась живописью.

Окончив московскую гимназию, Гончарова сначала поступила «на курсы», но вскоре —

в 1908 году — бросила их и стала ученицей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Училась она на скульптурном отделении у известного мастера Паоло Трубецкого. В училище Гончарова пробыла всего лишь три года, но покинула его, удостоившись серебряной медали за скульптуру. Однако полученная ею художественная профессия почти не пригодилась Гончаровой впоследствии — лишь изредка она обращалась к декоративной скульптуре, выполняя случайные заказы.

Еще в пору ученичества ею овладевает страсть к живописи. В те первые годы нового столетия она встречает Михаила Ларионова; они становятся не только мужем и женой, но и постоянными соратниками в художественном творчестве. Гончарова много ездит по России — жадно впитывает разнообразнейшие впечатления жизни. И в это же время она учится — у своих соотечественников, у современных ей французов, у старых мастеров, у иконописцев. Творческое развитие художницы идет быстро и энергично.

Уже в начале 1900-х годов Гончарова принимает участие в выставках. В 1904 году показывает свои пастели на акварельной выставке, а в следующем году — на выставке Товарищества московских художников. В 1906 году она вместе с Ларионовым экспонирует свои произведения в Париже — в русском отделении Осеннего салона. Ранее творчество художницы отмечено ее увлечением импрессионизмом, некоторые из ее картин той поры созданы под влиянием выдающегося русского живописца В. Борисова-Мусатова.

В конце 1900-х — первой половине 1910-х годов Гончарова и Ларионов переживают период «бури и натиска». Они переходят из одного объединения в другое, выдумывают новые системы живописи, организуют выставки, на которых демонстрируют свои новшества. Они лихорадочно ищут, экспериментируют, что-то открывают, а подчас и заблуждаются.

В 1913 году устраивается персональная выставка Гончаровой в Москве, на которой экспонируется 761 работа художницы! Через год организуется выставка Гончаровой в Париже; выходит каталог с предисловием знаменитого французского поэта Аполлинера. 1915 год становится последним годом пребывания Гончаровой и Ларионова в России: они уезжают за границу как театральные декораторы и уже до самой смерти остаются в Париже.

С 1915 года начинается новый период в творчестве Гончаровой. Станковая живопись постепенно отходит на второй план, а главной сферой деятельности оказывается для нее театральное-декорационное искусство. Гончарова пробовала свои силы в театре еще до

отъезда за границу. В 1914 году ею были исполнены эскизы декораций и костюмов к опере-балету «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Показанный труппой русского балета в Париже, этот спектакль принес Гончаровой широкую известность.

В последующие годы русская тема занимала большое место в театральном-декорационном искусстве художницы. «Богатыри» (балет по музыке Бородина), «Царь Салтан» Римского-Корсакова, «Жар-птица», «Свадебка», «Лиса» Стравинского — вот важнейшие работы Гончаровой для театра. В декорациях и костюмах к этим спектаклям выявился необычайный декоративный дар Гончаровой — ее смелость и решительность, ее фантазия и темперамент.

До самой смерти (октябрь 1962 года) Гончарова продолжала работать и как живописец и как график. Она постоянно выставляла свои произведения на различных выставках во Франции и в других странах мира. В парижский период их жизни слава Гончаровой и Ларионова была уже не столь шумной, как прежде. И лишь в недавние годы об этих художниках вновь стали вспоминать с живейшим интересом. Этому способствовали выставки их произведений, состоявшиеся в начале нынешнего десятилетия. К художникам вернулась их былая повсеместная известность; они завершили свой жизненный путь в момент нового признания — признания того новаторского вклада, который они внесли в развитие мирового искусства XX века.

Если взглянуть на весь творческий путь Гончаровой единым взглядом и попытаться определить ее лучшее время, то нетрудно прийти к выводу, что это лучшее время относится, пожалуй, к концу 900-х и первой половине 10-х годов нашего столетия. Это был период необычайно плодотворной деятельности художницы, совпавший с временем решительных перемен, происходивших во всей русской живописи. Художественная жизнь была тогда необычайно бурлива. Одно за другим возникали творческие объединения — иногда очень недолговечные. Каждое выступало со своей программой, каждое противопоставляло себя другим. Недавние традиции эти молодые живописцы отрицали. Они боролись за новую пластическую форму, за восстановление в правах всех средств художественной выразительности, какие знавала живопись на протяжении многовекового пути своего развития. Молодые стремились привить русскому искусству достижения современной им европейской живописи — прежде всего умение решительно и сильно выражать свою художническую мысль, разрушая узаконенную прежде иллюзорную изобразительность.

В программу большинства молодых входило и возрождение русского наследия. Они хотели быть истинно национальными, народными художниками. Икона и лубок, игрушка и вывеска, роспись на пряхках и живопись на подносах — вот компоненты, «принимавшие участие» в сложении стиля многих мастеров нового поколения. Эти мастера стремились не просто изображать народ, а говорить живописным языком самого народа, народного искусства.

Гончаровой в этом новом движении принадлежало далеко не последнее место. В иконописи она нашла высшее проявление цельности художественного образа. В народных примитивах — почти детскую непосредственность и экспрессию. Темперамент и талант были дарованы ей природой. Упорный труд (761 произведение на персональной выставке 1913 года!) позволил с успехом овладеть мастерством.

Гончарова не хотела заведомо связывать себя какими-либо теориями. «Я утверждаю, — писала она, — что для всякого предмета может быть бесконечное множество форм выражения и что все они могут быть одинаково прекрасны, независимо от того, какие теории с ними совпадут»<sup>1</sup>.

«...И мне кажутся, — утверждала она в своей статье, предпосланной каталогу выставки 1913 года, — смешными и отсталыми люди, подражающие до сих пор западным образцам в надежде стать чистыми живописцами и боящиеся всякой литературности плуце огня»<sup>2</sup>. «Не бояться в живописи ни литературы, ни иллюстрации, ни всех других жупелов современности, на счет отрицания которых желают поднять отсутствующий живописный интерес в своих произведениях некоторые современные художники. Стараться, наоборот, чтобы все это живописными средствами было выражено ярко и определенно»<sup>3</sup> — вот программа Гончаровой.

Гончарова действительно в своей живописи не пренебрегала рассказом. Работая в разных жанрах, в том числе и натюрморта, она вместе с тем не отдавала ему предпочтения, как многие живописцы того времени. Чаще всего ее интересы лежали в области жанровой живописи. Однако последняя была настолько не похожа у нее на традиционный «жанр», что само употребление слов «жанровая живопись» тут становилось условным. Гончарова выбирала в качестве сюжетов самые простые явления жизни: иногда городские сцены, чаще — деревенские. Сбор картофеля, яблок, хмеля, винограда, ловля рыбы, рубка леса, полосканье белья или беление холста, свадьба или похороны — вот случайный и далеко не полный перечень сюжетов Гончаровой.

Живописные рассказы у Гончаровой напол-

нены энергией и динамикой. Характерные свойства изображенных ею фигур и предметов гиперболизированы. Она наделяла своих героев повышенной экспрессией, отчего их движения становились особенно выразительными. Эти движения всегда зафиксированны, определены: здесь не должно было быть никакой недосказанности. Гончарова любила большие цветковые плоскости и соотносила их между собой по принципу контраста. Декоративность художница соединяла с экспрессией. Ритмы линий на картинной плоскости, как правило, бывали у нее угловаты и порывисты. В своих исканиях Гончарова как бы демонстрировала свободу волеизъявления художника-творца. Она смело деформировала фигуры и предметы, причудливо и неожиданно их сопоставляла, намеренно путала масштабы. Не стремясь точно соответствовать своими картинами тому или иному куску природы, она творила новый мир на своих холстах. Не выдавая себя за реальную жизнь, этот мир оказывался полным подлинного движения и был неотделим от пристального изучения реальной природы.

Тот стиль, который утверждала в своем творчестве Гончарова на рубеже 1900—1910-х годов, можно было бы назвать экспрессионистическим примитивизмом. Она была не одинока в подобных исканиях. Интерес к примитивизму был характерной чертой для многих художников начала XX столетия.

Гончарова была художницей своего времени. Ее искусство вобрало в себя его энергию, его силу и одновременно его противоречия. Гончарова оказалась на самых сложных перекрестках, на самых крутых поворотах русской художественной культуры начала нынешнего века. Она восприняла эту сложность и противоречивость. Но не только время воздействовало на Гончарову. Довольно сильным было влияние самой художницы на русскую живопись. Оно имело и европейский резонанс.

О Гончаровой спорили и спорят. Сегодня, как и вчера. Это естественно: в ее искусстве не все было бесспорно и не все пережило время. Это не только ее удел. Но если о Гончаровой можно спорить, то о ней нельзя забывать. Она находит себе прочное место в истории русской живописи. И ее искусство нам предстоит еще открыть во всем его значении.

Д. Сарабьянов

<sup>1</sup> Эли Эганбюри, Наталия Гончарова, Михаил Ларионов. М., 1913, стр. 19.

<sup>2</sup> «Выставка картин Наталии Гончаровой. 1900—1913 гг.», стр. 2.

<sup>3</sup> Там же, стр. 3.

И. Дубинский-Мухадзе

(Тбилиси)

## Штрихи к портрету

Новые документы из архива  
Г. К. Орджоникидзе

На письменном столе Серго под стеклом четвертушка плотной бумаги. Положил ее Серго много лет назад. И все хранил. Его рукой записанные слова Феликса Дзержинского: «Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего».

Переписка Серго Орджоникидзе. Скупые, по-военному точные шифровки. Темпераментные излияния друзей. Очень разные обстоятельства, адресаты, даты. Синие бланки телеграмм. Шершавая бумага полевых книжек. Порыжевшие от времени буквы. Развязывая тесемки коричневых глянцевиных папок в Центральном партийном архиве — так называемых «единиц хранения», — я и не предполагал, что сейчас раздвинутся рамки известного и портрет, начатый годы назад, дополнится новыми штрихами...

1

Официальный бланк Полномочного представителя социалистической России в идущей ко дну меньшевистской Грузии. Тифлис. Одиннадцатое июля 1920 года.

«Дорогой Серго!

...Чичерин осаждает меня запросами о том, почему ты молчишь, не отвечаешь на его шифровки. Москва занята армянско-азербайджанским вопросом, и Чичерин хочет знать твое мнение... Обращается к твоему авторитету. Очень просит тебя повлиять на азербайджанских товарищей...

Чем объяснить перестановку командармов IX и XI? По-моему, это хорошо, осо-



Г. К. Орджоникидзе в Свердловске. 1934. Публикуется впервые. Оригинал хранится в фондах Государственного музея революции.

бенно после того, как Левандовский стал увлекаться политическими выступлениями в Баку. Парень он хороший, но последнее ему не дано.

...Привет З. Г.<sup>1</sup>, передай ей, что до сих пор не могу довести себя до сытого состояния, после той страшной голодовки,

<sup>1</sup> З. Г. — Зинаида Гавриловна — жена Серго. Где и в какой бы роли ни оказывался Серго — то чрезвычайный комиссар огромных территорий, то преследуемый по пятам карателями Деникина невольный гость ингушей, то организатор нового большевистского подполья в захваченной меньшевиками Грузии, то снова наделенный огромными полномочиями член Военного Совета фронта и секретарь Кавказского бюро ЦК РКП(б), — рядом с ним всегда Зина.

которую мы с тобой перешивали. Привет всем, особенно Буду.

Крепко целую тебя

С. Киров»<sup>2</sup>.

Обстоятельство в общем-то известное: из всех друзей Серго — Киров самый любимый, самый закадычный. Вот еще одно из многочисленных писем Мироныча к Серго — писем разных лет, хранящихся в сейфах архива.

Двадцать восьмого сентября того же двадцатого года. Орджоникидзе на Кавказе. Киров в Москве.

«Дорогой Серго!

Завтра еду в Ригу. Здесь выяснились удивительные дела... многое инспирируется Рыковым и компанией. Сегодня долго говорил с Ильичем и поставил вопрос определенно — при создавшихся условиях работать на Кавказе невозможно.

Ильич находит, что я должен скорее вернуться из Риги и ехать работать на Кавказ, где ты, по его мнению, также должен безусловно остаться. Кроме того, Ильич предложил мне написать краткие соображения о том, что замечаемые на Кавказе явления есть не больше и не меньше, как белогвардейские происки, с целью дискредитировать или так или иначе убрать влиятельных среди населения работников, а потом сделать свое дело... Ильич говорит, что при таких условиях особенно необходимо пребывание на Кавказе людей, знающих тамошние нравы. Против этого, конечно, не возразишь.

...Общая линия поведения — опора на горцев, нажим обдуманый на казаков. Землю надо дать чеченцам. Но его, видимо, страшит, что делать с казаками, кои должны быть выселены...

Ну, пока будь здоров, надеюсь, скоро увидимся, целую тебя, привет Зиң, Гавр.

Твой С. Киров»<sup>3</sup>.

И вдогонку с вокзала:

«Надеюсь, что через месяц-полтора найду тебя на Кавказе. Если тебя вопреки моим ожиданиям на Кавказе не будет, то я также не поеду туда»<sup>4</sup>.

2

Телеграмма в обратном направлении.

Из Баку в Москву. От члена Реввоенсовета Кавказского фронта Орджоникидзе Ленину, Калининну, Наркомпроду Цюрупе, ЦК РКП. Вне всякой очереди!

«30/1 — 21 г.

На беспартийной конференции военмор

Каспийского флота было оглашено письмо 68-летнего старика — отца военмора — крестьянина Тверской губернии, Бежецкого уезда, Княжевской волости, деревни Руготино, Ивана Александровича Александра. В письме старик сообщает сыну, что с него из-за невозможности выполнить наряд на мясо взыскали 23 000 рублей, отобрали овчины, шерсть, лен-семя, бочки, корзины, кур. Письмо произвело самое удручающее впечатление. Мною было дано обещание довести обо всем до вашего сведения. Прошу расследования и наказания виновных. О результатах расследования прошу сообщить мне и военмору Каспийского флота Михаилу Ивановичу Иванову»<sup>5</sup>.

Нр 1091

Орджоникидзе»<sup>6</sup>.

Москва отстучала тогда же ночью:

«Вашу внеочередную принял политком Костко».

Затем на телеграфном бланке появилась пометка чернилами:

«3/2. 1921 г.

В Тверской губком на расследование. О результатах довести до сведения ЦК».

Подпись не разобрать. Кто-то из секретарей ЦК.

3

Достоверность предельная. Воспоминания Анастаса Ивановича Микояна.

Одно из последних заседаний X съезда партии. Обсуждаются кандидатуры в состав ЦК. Нарастающий шум в задних рядах, где разместились военные делегаты Северного Кавказа. Один из них, весь в бинтах — даже лица не разглядеть, — решительно всходит на трибуну. Обрушивает на Серго град обвинений: Орджоникидзе кричит на всех, командует, вовсе не считается с местными работниками, а потому не может быть в составе ЦК.

Серго возразить никак не в состоянии. Его нет на съезде. Ему нельзя оставить Грузию, всего несколько дней назад вырванную из-под власти меньшевиков. А че-

<sup>2</sup> Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), фонд 85, оп. 18, ед. хр. 34.

<sup>3</sup> Там же, ед. хр. 32.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Иванов — фамилия моряка, зачитавшего на конференции письмо старика крестьянина.

<sup>6</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 85, оп. 18, ед. хр. 79.



Г. К. Орджоникидзе, С. М. Киров и председатель Ленсовета Н. Н. Комаров (крайний справа) среди работников Ленинградского Металлического завода. 1927.

ловек в бинтах все расплывается. Он до неприличия груб. Зал гудит.

Подымается Ленин. Просит слова:

— Я знаю товарища Серго давно, еще со времен подполья, как преданного, активного, бесстрашного революционера. В гражданской войне он показал себя храбрым, способным организатором. Но в критике есть одно правильное замечание по адресу товарища Серго. Это то, что он кричит на всех. Это верно. Он громко говорит. Но вы, наверное, не знаете, в чем дело. Он и со мной, когда разговаривает, так же кричит. Потому что он глуховат на левое ухо. Поэтому и кричит — думает, что другие его не слышат. Но нельзя этот недостаток принимать во внимание...

Выступление Ленина вызывает добрые улыбки. Серго набирает подавляющее большинство голосов — больше, чем многие другие тогдашние видные члены ЦК. Идет сразу вслед за Дзержинским.

И к этому небольшой авторский текст. Проходит какое-то время. Серго в Тифлисе приглашает к себе заместителя начальника Политуправления Кавказской армии Владимира Сутырина. Расспрашивает о личных и служебных делах, интересуется самочувствием общих знакомых. Как бы между прочим объявляет:

— На днях прибудет новый начальник Политуправления. Вы его знаете, — и называет фамилию.

Сутырин не помнит этой фамилии.



Г. К. Орджоникидзе и  
П. П. Постышев в президиуме  
1-го Всесоюзного совещания  
стахановцев промышленности  
и транспорта. Москва, 1935.

— Хорошо знаете! — с нажимом повторяет Серго, необыкновенно внимательно разглядывая Сутырина. После паузы добавляет: — В Москве сомневались, подойдет ли. Я настоял. Порядочный человек и работник хороший.

Приезжает новый начальник. Держит себя как-то неуверенно, нервно. Не выдерживает, спрашивает Сутырина:

— Не узнаете?

Владимир Андреевич разводит руками.

— Серго тоже говорил, что я должен вас знать. Убейте, не признаю.

— А помните, на Десятом съезде военный в бинтах неистово отводил кандидатуру Серго? Это я. Ходил весь перебинтованный

потому, что в руках ружье разорвалось... Когда в Реввоенсовете СССР сказали, что намечается мое назначение в Кавказскую армию, я сразу предупредил: «Нет, нет, Орджоникидзе никогда не согласится. Виноват я перед ним». — «Может, и виноваты, — отвечают, — об этом ничего не известно. А шифровка от товарища Орджоникидзе получена. Требует вас».

4

Лист из арифметической тетради. Черные чернила. Справа в верхнем углу:

«Тов. Орджоникидзе!

Уважаемый товарищ,  
по отношению к Вам несколько лет тому



Член Революционного Совета  
 х. Орджоникидзе

---

Москва - Кремль  
 № Ленину, Каменкину,  
 Наркомкрайу Царуле  
 Тарку Зофи 2/1 Ук ККП.

На беззастенчивых кадрах  
 всемирной Капиталистической  
 было ~~дело~~ делано много  
 преступлений в отношении  
 Янка-отца всемирной...

Первая страница письма  
 Орджоникидзе.

Р. С. Ф. С. Р. (1, Москва, 11/11 1929)  
 НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ  
 по иностранным делам  
 ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
 Российской Социалистической  
 Федеративной Советской Республики  
 в Грузии. Серго

Ты же хорошему делу  
 производишь на меня великое  
 злое впечатление. По-прежнему ка-  
 кие-то люди в Грузии. Всеобщее  
 удивление решение о казнях  
 - ведь какому требованию на это  
 тебе можно развешивать! Не  
 менее удивительно и решение  
 добывать, ведь, война по су-  
 ществу продолжается. Не им.  
 удерживать на границе саарла.  
 Духи рожь? Чини-то, впрочем,  
 во всяком случае есть. Не им.  
 им? Неужели кто-то о себе: фа-

Автограф письма С. М. Кирова  
 Г. К. Орджоникидзе (первая  
 страница).

назад, я сделал большую несправд-  
 ливость<sup>7</sup>.

Все, с кем я о Вас говорил, в один го-  
 лос — даже лица, борющиеся с Вами, —  
 отзывались: тов. Орджоникидзе — один из  
 самых преданнейших революционеров, чест-  
 нейший партиец. Я присматривался и сле-  
 дил все время за Вашей политической  
 работой, и у меня все больше нарастало  
 сознание совершенной ошибки и несправд-  
 ливости.

Недавно я встретил Вас в Кремле,  
 и опять больно кольнуло: вот товарищ с не-  
 заслуженной с моей стороны великой не-  
 справедливостью по отношению к нему.

И это я должен Вам сказать.

С коммунистическим приветом

А. Серафимович

7.XII.28 г.»<sup>8</sup>.

5

Январь 1929 года. Серго уже в Москве.  
 Давно, два с лишним года. Возглавляет  
 Центральную Контрольную Комиссию

ВКП(б) и Наркомат Рабоче-крестьянской  
 инспекции. Рабкрин — одна из самых  
 больших забот Ленина. Да и выбирали  
 Серго на этот открытый всем ветрам  
 и бурям пост в очень трудное для партии  
 время. Когда, по меткому замечанию Анри  
 Барбюса, «произошло объединение оппо-  
 зиций, создалось нечто вроде треста укло-  
 нов». Даже директора «треста уклонов» не  
 нашли, что сказать против Серго. Из всех  
 участников Объединенного Пленума ЦК  
 и ЦКК кто-то один проголосовал «против»,  
 шесть — воздержались.

Итак, январь 1929 года. В редакции  
 «Правды» — она еще в старом кирпичном

<sup>7</sup> Автор письма в начале 20-х годов, когда на Северном Кавказе — многонациональном, разноплеменном — все еще было очень запутано и вокруг Орджоникидзе, представителя центра, наделенного огромными полномочиями и правами, особенно бушевали страсти, работал корреспондентом «Правды» в том бурлящем крае. И в сообщении Ленину он смешал краски. Обинил Серго бог знает в чем...

<sup>8</sup> ЦПА НМЛ, ф. 85, оп. 27, ед. хр. 488.

В. Орджоникидзе

Уважаемый Товарищ

по отношению к Вам несколько лет тому  
назад я сделал Вам много несправедливости.  
Все, а кем я о Вас и говорю, в один мо-  
мент — так же много говорившая с Вами —  
— убивавшая: тов. Орджоникидзе — один  
из самых преданных мне революцион-  
нейший партизан, я и сейчас говорю  
и слышу его ораторские выступления  
ради-той, и у меня все больше нарастает  
сознание совершенной ошибки и несом-  
ненности бедности.

Недавно я встретил Вас в Кремле, и опять все —  
но пошло: вот товарищ с негодными —  
но с моей стороны большой несправ-  
дливости по отношению к нему.

И это я должен Вам сказать.  
С наилучшими чувствами  
А. Серафимович

Письмо к Орджоникидзе писателя  
А. С. Серафимовича.

здании, во дворе на Тверской — один из самых популярных в ту пору публицистов, Тихон Холодный, отстучивает на машинке необыкновенно сердитое послание Орджоникидзе. Знает, что Серго вспылчив, легко распаляется, но несколько не щадит его. Мягких, обтекаемых выражений не признает.

«Уважаемый товарищ Орджоникидзе!

В стенограмме Вашей речи, опубликованной в № 296 «Правды», Вы дважды ссылаетесь на известное дело о порке в Лудорвае и — как мне кажется — в обоих случаях Вы неправильно расцениваете это дело. Прежде всего не «крестьяне поролы друг друга», а кулаки и их подкулачные — члены сельсовета — выпоролы бедноту и ту часть середнячества, которая шла с беднотой по новому пути. Не было и «постановления схода», а была бумажка, составленная подкулачниками под диктовку кулаков, причем подписи к этой бумажке частью были собраны путем застраивания, угроз и избивений,

а частью просто оказались подложными. От такой фальшивки до «постановления схода» — дистанция огромного размера. Да и какой же дурак стал бы добровольно голосовать за то, чтобы его... выпоролы? Такого голосования не было, не было даже в темном малограмотном, зверски отсталом Лудорвае!..

Вы говорите о «стыде» и «сраме». При чем они тут? Когда убивают селькора или др. общественника деревни, когда поджигают у них дома или хлеб, то не стыд, а негодование и возмущение вызывают подобные вещи. А порка в Лудорвае была таким же точно проявлением обострившейся сейчас классовой борьбы в деревне, как убийство или поджог: форма несколько иная, сущность же — одна и та же. А раз так, то не «стыдиться» и «срамиться» надо, а организовать все живые силы рабочего класса и трудовой части деревни для отпора классовому врагу, отвечать на удар ударом, переходить в наступление.

Конечно, Ваша речь не была специально посвящена вопросам классовой борьбы в деревне. В частности, о лудорвайщине. Вы упомянули как бы вскользь, хотя и два раза. Однако положение вождя, выступающего перед всесоюзной аудиторией, обязывает. Вашу речь читали и в Ижевске, и надо только радоваться, что она не попала под руку защитникам, которые могли ее использовать тогда в своих репликах перед лицом суда. Я лично склонен думать, что Вы либо обмолвились, назвав простым безобразием классовую расправу кулаков с беднотой в Лудорвае, либо не нашли сразу более четких формулировок. Но каждая «опечатка», тем более опечатка вождя, должна быть оговорена и исправлена. Не сомневаюсь, что Вы это исправление сделаете, дабы никто не ссылался на Вас, выступая против той оценки, какую дали лудорвайщине советский суд, советская печать и вся советская наша общественность.

С товарищеским приветом  
Уважающий Вас

Тих. Холодный.  
Москва. Редакция газеты «Правда»<sup>9</sup>.

На полях красным карандашом рукой Серго:

«Дорогой Тихон Холодный!  
Ваше письмо получил. Большое спасибо за замечание, только боюсь, что Вы не

<sup>9</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 85, оп. 27, ед. хр. 182.



Г. К. Орджоникидзе среди работников Соδικамского калийного комбината. 1934.

так меня поняли. Слова «стыд» и «срам» относятся к нам, а не мужикам. Возможно, что лучше было в других выражениях сказать это».

Последняя фраза зачеркнута. Вместо нее:

«Возможно, что лучше было дать классовой анализ».

И строгий приказ старшему помощнику наркома Анатолию Семушкину:

— Пожалуйста, помни всегда, если письмо или звонок по телефону товарища Тихона Холодного — докладывай немедленно. Очень честный человек.

В устах Серго похвала самая высшая. Он совершенно не выносил лжи. Человек, однажды совравший, навсегда переставал для него существовать. Какой бы высокий пост человек ни занимал...

Еще два письма от Кирова.

Без даты. На листке из настольного блокнота. Сверху напечатано: «Ленинградский обком».

«Дорогой Серго!

Письмо твое получил. Очень хотел почитать тебя, но, к сожалению, ничего не выходит, так как сижу в обкоме почти один, народ частью в отпусках, частью занят чистой партией в округах. Последним занята вся верхушка — члены ЦК и ЦКК, которых у нас осталось немного. Кроме того, дело складывается как-то так, что много работы, которая все увеличивается.

Пятилетка не только красиво выглядит,

но требует огромного напора. Темпы, намеченные нами, очевидно, будут превзойдены. Пример — тракторы: по пятилетке намечалось на Путиловском заводе дать к концу пятилетки 15 тысяч тракторов. В этом году завод должен дать три тысячи. На деле двигаем так — на будущий год — 10 тыс. штук. На следующий — 15 тысяч!

Примерно то же по другим производствам, кроме, конечно, текстиля. Надо сказать, что много шевелят в этом отношении твои ребята. Правда, часто перегибают, но это не беда. Расшевелили и наш судотрест. Долго сидели над ним, много ссорились, но в итоге дело зашевелилось. По всем данным, сильно расшевелили мы и деревню, такие сведения из всех областей. Теперь, помимо всего прочего, идет усиление деревни работниками. Наша организация дает сотни партийцев для деревни. Словом, все разговоры о деградации и проч. оправдываются «совсем наоборот». Надо только не замедлять той раскачки, которую сделали по всем линиям.

Плохо, очень плохо у нас в Закавказье. Не знаю, как они вылезут из создавшегося положения.

К тебе одна просьба — не торопись к работе. Говорил я здесь со знатоками. Ничего угрожающего не говорят, но черт их поймет. Одно ясно — надо хорошенько отдохнуть на солнце. Это, видимо, главное. В Москву всегда успеешь, она ведь никуда не денется. Конечно, без работы скуч-

новато, но и это преодолеть можно и должно.

Привет Зине и Этерке.

Пиши, хотя понемногу.

Крепко тебя обнимаю

и целую

Твой Киров»<sup>10</sup>.

Записка от семнадцатого июля. Год не обозначен.

«Дорогой Серго!

О твоём здоровье я узнал, конечно, не от тебя, а из Москвы. Ты об этом предпочитал молчать. **Очень прошу тебя сообщить, что же в конце концов установили врачи и что рекомендуют они делать.** Черт бы их всех побрал, что же они думали раньше? Ну и умники!

О Пленуме тебе, вероятно, уже рассказали. После Пленума был у нас в Ленинграде земляк. Ездил с ним на Волхов (он ведь Волхова ни разу не видел).

Дела здесь в общем в порядке.

1 августа собираюсь в отпуск, довольно, пусть Т. Б. работает без меня и моих указаний, а то я их избаловал...

Об остальном — при встрече, которая, надеюсь, будет скоро.

Привет Зине и Этерке.

Твой Киров»<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> ЦПА ИМЛ. ф. 85, оп. 27. ед. хр. 99.

<sup>11</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 85, оп. 27. ед. хр. 102.

Votre vertu favorite  
 — dans l'homme - activité.  
 — la femme - coquetterie terrible.  
 Votre caractère - barbare  
 — l'idée du bonheur - l'enfer chaud  
 — malheur - le ciel froid.  
 Vice que vous détestez - la faiblesse  
 — l'excuse - l'infidélité aux femmes.  
 — l'ambition - les dévots.  
 Occupation favorite - souffler contre le vent.  
 Poète favori - Tiquantou-Tasso.  
 Prosaïques - Paul Vichet.  
 Héros - Don Juan.  
 Héroïne - celle qui méritait les héros, par le nez  
 Fleur favorite - .... par des fleurs favorites!  
 Nom - Mahomet.  
 Couleur des yeux et de la chevelure - ~~incertaine~~ ~~jaune et ...~~  
 Place - Bagout de moudon - long nuit.  
 Les caractères de l'homme }  
 que vous admirez - } **Alyssa**, Tamerlan.  
 — que vous détestez - } des Horoshules & les Papas.  
 Verice: A qui servirait - elle toutes ces vertus  
 et ces vices, (même les ténèbres de nuit et  
 les rayons du jour) sans l'assise des  
 yeux noirs et son ombre des choses  
 d'ouge? ..... **Wahry** **Wöhler** **Wij**

И. М. Синельникова,  
А. Ф. Смирнов

## «Исповедь» генерала Коммуны

Ответы Валерия Врублевского  
на анкету дочерей Маркса

Дочери Карла Маркса — Женни, Лаура, Элеонора — увлекались своеобразной игрой, очень распространенной в конце 1860-х годов. — сбором ответов на вопросы специальной анкеты. В игре участвовал Карл Маркс, ответы которого широко известны, Фридрих Энгельс, Вильгельм Либкнехт, Поль Лафарг и другие друзья семьи Марксов. Уже в наши дни один из правнуков Маркса, Марсель-Шарль Лонге, передал Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС целую книгу заполненных анкет, хранившуюся в семействе Лонге. В этой книге находится и публикуемая ниже «Исповедь» Валерия Врублевского, польского революционера и генерала Парижской коммуны, — автограф на французском языке, с подписью, но без даты. Он помещен среди аналогичных записей других друзей семьи Маркса, возникших между 1868 и 1872 годами.

О Валерии Врублевском написано немало<sup>2</sup>. Но «Исповедь» его, где шутки перемежаются с искренностью и намеками на серьезные обстоятельства, хорошо известные его друзьям, вносит известный колорит в биографию генерала Коммуны.

Для того чтобы установить, когда и при каких обстоятельствах Врублевский внес свой автограф в книжечку Женни, надо попытаться сначала установить время знакомства Врублевского с семейством Маркса. Обстоятельства этого знакомства пока изучены недостаточно. Поэтому сам факт обнаружения «Исповеди» Врублевского в архиве членов семьи Маркса важен и интересен.

Имя Врублевского, как одного из руководителей восстания 1863 года, а затем видного деятеля польской демократической эмиграции, было знакомо Марксу с середины 60-х годов. Во время Парижской коммуны Маркс, пристально следивший за героической борьбой пролетариев Парижа, отмечал полководческое искусство Домбровского и Врублевского. В середине августа 1871 года Врублевский был уже в Лондоне. 10 октября он был введен в состав Генерального совета Интернационала в ка-



Валерий Врублевский.

честве представителя революционной Польши. Вместе с Марксом Врублевский принимает активное участие в работе Лондонской конференции Интернационала. На торжественном обеде, посвященном окончанию работы конференции, Врублевский, как отметила Женни Маркс в одном из писем, сидел рядом с ее отцом.

<sup>1</sup> Часть этих рукописей опубликована в журнале «Юность», 1961, № 11.

<sup>2</sup> Наиболее полный очерк жизненного пути Врублевского написан литовским историком В. Е. Абрамовичусом (в сб. «К столетию героической борьбы «За нашу и вашу свободу!»). М., 1964). Ему же в соавторстве с В. А. Дьяковым принадлежит популярный очерк в книге «За нашу и вашу свободу!» — «Герои 1863 года». М., 1964 (серия «Жизнь замечательных людей»). Деятельность Врублевского во время восстания 1863 года рассмотрена в книге А. Ф. Смирнова «Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии». М., 1963; об участии Врублевского в Парижской коммуне рассказывают очерки А. Я. Лурье в его книге «Портреты деятелей Парижской коммуны». М., 1956, и В. Вычанской в книге «Парижская коммуна». М., 1961, тт. 1—11.



Дочь Карла Маркса Элеонора.



Дочь Карла Маркса Женни.

Дружеские отношения устанавливаются у Врублевского с Энгельсом. Как видно из писем последнего, они целые вечера проводят вдвоем. По свидетельству П. Лаврова, близкого знавшего Врублевского, генерал Коммуны был советником Энгельса по военным вопросам.

В Лондоне у Врублевского сложилось чрезвычайно трудное положение. В ноябре 1871 года у него открылись старые раны. «Мы сделали все, что было в наших силах, — сообщал Энгельс Лаврову, — но из-за упрямого и гордого характера этого человека нам пришлось действовать очень осторожно».

Даже в самых трудных обстоятельствах Врублевский принимал помощь только от близких друзей, непременно товарищей по убеждениям и только на началах взаимности. В дни тяжелой болезни он пишет Марксу: «Если вынужденный болезнью я обращаюсь к Вам, дорогой гражданин, то только потому, что этот путь представляется мне самым естественным и с моральной стороны наименее неприятным, ибо после нашего прибытия в Лондон, мы, поляки, испытали с Вашей стороны столько внимания и всяческой доброты, что это вызвало у меня глубокое дружеское чувство к Вам, которое в нынешнем моем по-

ложении дает мне смелость откровенно с Вами говорить. Наконец, я полон надежды со временем расплатиться со всеми долгами Интернационалу, в котором Вы, совершенно по праву, играете столь важную роль, и общественной, политической деятельности которого, направляемой Вами с такой поразительной мудростью и неуклонностью, я так горячо предан».

Накануне 1872 года Врублевский получил от Маркса приглашение встретиться Новый год в его семье, но, будучи больным, он не смог принять участие в этом торжестве. В первый день нового, 1872 года он писал Марксу: «Несмотря на большое мое желание воспользоваться Вашим вчерашним любезным приглашением, я не мог даже выйти из своей комнаты. Постоянные недуги не позволили мне провести последние часы этого страшного года в Вашей

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 299.

<sup>4</sup> ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, фонд 1, оп. 5, ед. хр. 1160, лл. 1—2. Письмо В. Врублевского — К. Марксу от 23 декабря 1871 года.

уважаемой семье, которая дает мне столько воспоминаний о лучших днях моей жизни и своим обаянием напоминает мне родной дом. Один в своей комнате, я сердито пью микстуру, провозглашая тост за гибель старого мира и за то, чтобы мы, полные надежды на будущее, вступили в 5. Новый. Посылаю Вам свой братский привет».

Как видно из письма Врублевского, он бывал в доме Маркса, был уже к тому времени хорошо знаком с его женой и дочерьми. Время, проведенное среди новых друзей, характеризуется им как лучшее в жизни, дом друга изгнанник сравнивает со своим родным домом. В одно из этих посещения и возникает «Исповедь» генерала Коммуны.

«Исповедь» возникла в ходе беседы Врублевского с двумя дочерьми Маркса — Женни и Элеонорой. Лаура в это время находилась с Лафаргом во Франции и Испании. Прежде чем отвечать на вопросы предложенной ему анкеты, Врублевский просмотрел некоторые записи, уже содержавшиеся в книге-исповеди. Вряд ли он в присутствии собеседниц читал внимательно все записи. Но с ответами хозяек дома он познакомился. Врублевский не мог не обратить внимания, что некоторые анкеты заполнены серьезными, искренними ответами, другие же полны шуток. Это сказало и в его «Исповеди».

Более всего Врублевский ценит в людях активность. Таким он был и сам. Слова у него никогда не расходились с делом. Не случайно Маркс назвал Врублевского «человеком действия». всю жизнь Врублевский боролся против сильного мира сего, шел против ветра, как сам написал в «Исповеди».

В 1872 году Врублевскому было 36 лет. Он только что пережил поражение Коммуны, гибель друзей, видел торжество ненавистных врагов. Это было второе восстание, в котором он успел участвовать, второе поражение за каких-то семь-восемь лет. Тяжелые физические и нравственные страдания, боль в раненой голове, разрубленное плечо — все это он нес с собой и в себе. Но здесь, в гостиной друзей, на минуточку можно было отвлечься, ответить на шутку Элеоноры (которая писала, что «обожает все цветы») и ненавидит баранину), написать о своем неравнодушии к бараньему рагу и о том, что у него нет любимых цветов, сказать что-то о Дон-Жуане, о черных глазах и длинных локонах шестнадцатилетней девушки.

А потом вновь вставали в памяти героические, в дыму и огне Париж и красное знамя над его ратушей, друзья, кровавая неделя, палачи Гьера, вопли буржуазии о коммунистическом заговоре против цивилизации, о варварах — разрушителях культуры. Злой иронией отвечает генерал клеветникам. Так в анкете появились имена Атиллы и Тамерлана. В памяти вставали и другие дни такой же героической и неудачной борьбы — повстанцы 1863 года. А может быть, он вспомнил тот день, когда, спасая друзей, бросил коня на встречу казачьей лаве и вдруг ощутил во рту вкус собственной крови. Он не может, никогда не сможет забыть, отвлечься от всего этого, помнит о погибших, пошедших с ним против ветра. Да, это были люди действия, их стихией была борьба, «пламенный ад», им было ненавистно сытое ленивое счастье — «холодный рай» трусливых душ.

Противоречивые мысли и чувства жили в тот вечер в сознании и душе Врублевского. где серьезное переплелось с ироническим. Та-

ковыми были и ответы на вопросы о литературе. Среди польской молодежи того времени было распространено восторженное отношение к творчеству Торкватто Тассо. Подляки восторгались итальянцами, как и они, борющимися за освобождение и воссоединение своей родины. Гарибальди, говорили в те годы в Польше, доказал, что сам бог нередко помогает храбрцам. Итальяно тогда они часто называли родины Гарибальди и Тассо.

Называя Тассо любимым поэтом, поклонник Мицкевича и друг Сырокомли был, конечно, искренен. Но в «признании» о любимом прозаике уже видна только шутка. Названный Врублевским в качестве известного и почтенного писателя Поль Вишар не оставил никакого следа в художественной литературе. Он был французским эмигрантом, хорошо знакомым с Марксом и Энгельсом. В одном из писем последнего сообщалось, что Вишар намерен заняться торговлей. Уж не думал ли Вишар повторить подвиг Энгельса и совместить так же удачно презренную коммерцию с вдохновенным творчеством? Не исключено, что Врублевскому, как и дочерям Маркса, было что-то известно о Вишаре, именно этот, очевидно, смешной случай имел в виду Врублевский. Здесь пока мы можем строить только гипотезы.

В 1877 году Врублевский покинул Англию. Живя в Швейцарии, Ницце, Париже, Врублевский зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом. Одно время был кузнецом, а когда из-за раненой руки не ковал, то и не обещал. Но и в самые трудные дни он оставался, по отзывам знавших его лиц, доблестным воином, гордым и веселым, привлекавшим к себе сердца гостеприимством, шуткой, радушием. Иной, когда у него заводились деньги, он радушно приглашал друзей, угощал хорошим вином, приговаривая: «Надо все лучшее съесть и выпить, чтобы буржуям ничего не осталось». До последних дней своих Маркс, Энгельс, дочери Маркса помнили о Врублевском и заботились о нем. Не раз в трудные дни приходила к нему помощь Энгельса. «Благодаря Вам, — писал генерал старому другу, — я не умираю с голода». Незадолго до своей кончины, в 1895 году, Энгельс потребовал от руководства Французской социалистической партии принятия срочных мер для обеспечения старости Врублевского. «Дело идет о чести всей революционной Франции», — писал Энгельс.

Последние годы жизни Врублевский провел в доме старого друга, ветерана восстания 1863 года Гершинского. В молодости стройного, высокого Валерия товарищи сравнивали с Аполлоном. Лица, знавшие его глубоким стариком, писали, что генерал был подобен орлу с перебитым крылом. На закате дней его некогда разрубленная сабельным ударом рука безжизненно повисла. Но до последних дней повстанец и коммунар оставался гордым соколом революции.

Врублевский умер 5 августа 1908 года и похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез у Стены коммунаров. Его похороны превратились в крупную политическую демонстрацию. Так в последний раз по улицам Парижа, поминившим молодого воина, Врублевский прошел против ветра.

<sup>5</sup> Там же, ед. хр. 1161, л. 1. Письмо В. Врублевского — К. Марксу от 1 января 1872 года.



## ИСПОВЕДЬ

Достоинство, которое Вы больше всего цените

в людях	— активность
в мужчине	— кокетство, сверх меры
в женщине	— неотесанность
Ваша отличительная черта	— пламенный ад
Ваше представление о счастье	— холодный рай
Ваше представление о несчастье —	
Недостаток, который внушает Вам	
наибольшее отвращение	— слабость
Недостаток, который	
Вы считаете извинительным	— неверность женщинам
Ваша антипатия	— святоши
Ваше любимое занятие	— идти против ветра
Ваш любимый поэт	— Торквато Тассо
Ваш любимый прозаик	— Поль Вишар
герой	— Дон-Жуан
героиня	— те, которые водят героев за нос
Любимые цветы	— любимых цветов нет!
имена	— Магомет
цвет глаз и волос	— длинные (волосы), черные (глаза)
блюдо	— рагу из баранины
Исторические личности, которыми вы	
восхищаетесь	— Атилла, Тамерлан
которых вы ненавидите	— Герострат и папы (римские)

**ДЕВИЗ:** К чему были бы все эти добродетели и пороки (даже мрак ночи и лучи дня) без света черных очей и без тени длинных волос.

Валерий Врублевский

Н. Г. Розенблюм

(Ленинград)

## Первые петербургские гастроли Московского Художественного театра

Письмо Вл. И. Немировича-Данченко П. Д. Боборыкину

Публикуемое ниже письмо Вл. И. Немировича-Данченко П. Д. Боборыкину, обнаруженное нами в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, было написано им в дни первых гастролей Московского Художественного театра в Петербурге, продолжавшихся с 19 февраля по 23 марта 1901 года и сыгравших заметную роль в становлении молодого театра.

Письмо в первую очередь преследовало цель оправдаться перед Боборыкиным в «отстранении» его от Художественного театра, но незаметно этот вопрос отходит на второй план, а на первый выступает разговор об основной, повседневной, невидимой работе театра, о воспитании актера и публики, о поисках нового репертуара, то есть всего того, что, по выражению Немировича в одном из писем Боборыкину, создает «новую ноту» в сценическом искусстве России.

Петербургские гастроли Художественного театра 1901 года были вехой в истории театра. В следующем году Немирович в «Записке членам товарищества МХТ» писал: «У всякого дела, как и у человека, есть своя психология. С точки зрения психологии Художественного театра, я делю его четырехлетней историей на два периода: первый — до первого посещения Петербурга, второй — от Петербурга до наших дней... Посещение Петербурга как бы сразу указало нам путь, обнаружило с яркой очевидностью наши достоинства и недостатки и установило требования, к удовлетворению которых мы должны стремиться. И мы как бы приняли его оценку за руководящую. И наш те-

атр вступил во второй период...» «До Петербурга... какой-нибудь тенденции, кроме чисто художественной, у нас не было», — добавляет он в той же записке («Письма» II, № 104).

Пребывание Художественного театра в Петербурге совпало с обострением политического положения в стране. 4 марта в Петербурге произошла знаменитая демонстрация у Казанского собора. Спектакли театра проходили под знаком острого возбуждения зрителей, в значительной степени состоявших из учащихся. Некоторые сцены воспринимались как созвучные тому, что происходило за стенами театра. Спектакли Художественного театра обнаружили близость его к демократическим кругам.

Нарастающий успех театра вызвал обратную реакцию части прессы. Это были в основном нападки идейных противников, недовольных направленностью театра, его успехами в кругах демократической интеллигенции.

Во время же спектаклей происходило то, что писала в публикуемом ниже письме (см. примечание 2) Е. П. Леткова-Султанова: «Антракты — диспуты! Газеты бранят, а публика безумствует...» И хотя в те дни Немирович еще недостаточно осознает вызванный творчеством Горького сдвиг театра и то влияние, которое оно и влияние демократических кругов окажут на будущую деятельность театра, он и тогда уже отмечает в публикуемом письме: «Составилась известная публика, уже определенная. Она должна шириться...» С самого начала Художественный театр приобретает резко отличное от всех театров лицо, а в последующие годы становится передовым, идущим своим путем театром. Недаром даже консервативно настроенный писатель Леонтьев-Щеглов позднее в своем неопубликованном дневнике после спектакля «На дне» записывает: «...В общем дисциплина ансамбля и печать влюбленности в искусство (а не в свое актерское тщеславие) — великий плюс театра Станиславского — словом, культ искусства, а не актеров! Успех этого честного предприятия спасает «веру» в сытую и распушенную Москву» (ИРЛИ, 1433 VC 13).

Нелегко было Немировичу, как он писал Боборыкину, «создавать авторов, актеров... сотни людей закулисных» и одновременно брать на себя тысячи других обязанностей. И в других письмах Немировича встречаются иногда жалобы на испытываемые трудности, на временную апатию (Ленскому, Чехову), но никогда так открыто он не высказывался о тяготах, им самим на себя возложенных. Сдержанность его была известна. В своей коротенькой автобиографии, написанной им еще до 1898 года, Немирович писал: «...Что я могу сказать о своем характере? Кто себя может знать? Друзья говорят, что я отличаюсь огромной выдержкой и скрытым темпераментом. Другие говорят, что я вял и отдаюсь только вспышкам. Может быть. Не знаю...» («Письма», стр. 470). Немирович, несомненно, знал, что правы первые.

О Немировиче-Данченко неверно даже сказать, что он был человеком скрытого темперамента, он был человеком скрытого пламени. Все свои силы, всю свою душу, весь свой огромный талант он отдал театру, новому театру. Без этого нельзя было осуществить поставленную перед собой цель: создать «новую ноту» в сценическом искусстве России.

Позже Октябрьская революция добавила ко всему, чего ранее достиг Художественный театр, еще одну «новую ноту» — политическую и социальную заостренность.

Вл. Ив. Немирович-Данченко —  
П. Д. Боборыкину  
<Петербург> 6 марта <1901 г.>

Дорогой Петр Дмитриевич! Давно я не писал Вам. Не забыл даже, что не ответил на Ваше письмо из Петербурга, написанное как-то после юбилея, часов в 7 утра. И очень мне тогда хотелось откликнуться, потому что Вы изливали в письме накопившуюся горечь, писали очень искренно. Но, с другой стороны, горечь была направлена именно на нас, на меня, на «нашу публику», как Вы там выразились. Вы нас отчитывали, и я терялся в том, что могу Вам ответить. Что я у этой публики не заискиваю? Вы и сами должны знать. Еще на днях, на обеде, который давал нашему театру союз писателей «с участием публики», я говорил, что не искал того «соединения литературы с театром», которое подчеркивалось всеми ораторами, что это случилось само собой. Мне просто хотелось отдать театру мою энергию и мои вкусы, а к чему это приведет, какое место займет театр, об этом я думал очень мало, почти совсем не думал. И составила известная публика, уже определенная. Она должна шириться<sup>2</sup>. Вы в своем письме напали на нее, я не мог ни поддержать нападков, ни защищать ее и не знал, что писать.

Когда был в Петербурге — этому Вы поверите, — очень хотелось быть у Вас. Но в этом «некогда», которым Вы меня немного попрекаете, кроется и значительное утешение для Вас. Вот почему. Вы пишете, что завидовали всегда Урусову за его характер<sup>3</sup> и мне в том, что у меня такое дело. Не завидуйте. В этом деле столько мелкой, черной, скучной работы, что не только Вы не вынесли бы ее, но даже я, моложе Вас на 20 лет, часто изнываю и готов отказаться от всего дела<sup>4</sup>. Мне бывает некогда не потому только, что время уходит на приятные художественные эмоции, наприм<ер> при постановке пьесы и горячем обсуждении деталей, а еще больше потому, что никто не умеет внимательно проследить за правильным размещением световых эффектов, за чистой декорационной поделкой, за электротехником Черкизовским, за пьющим рабочим Алешкой, за тем, чтобы холст не просвечивал, часы не качались, правившийся занавес был зашит, декорация не заслонила бы пожарного крана, капельдинеры не вели бы себя, как в кабаке, и проч. и проч.

Наша петербургская «кампания» всем своим грузом лежит на мне. Переехать из

одного театра в другой — это почти все равно, что перевести из одной квартиры в другую всю обстановку, остававшуюся без передвижения 20 лет, и перевести так, чтобы каждая фотографическая карточка висела по-прежнему в 3 вершках от бра и в 12 вершках от угла стен, и чтобы пепельница и спичечница были на тех местах, к которым привыкли обитатели квартиры, и в окна чтобы лилось то же количество света и т. д. и т. д.

Я пишу бегло, но Вы можете составить

<sup>1</sup> Описание обеда. См. «Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер», т. I, стр. 345—347.

<sup>2</sup> Художественный театр, — вспоминал позже Немирович-Данченко, — «имел в Петербурге успех чрезвычайно широкий. Им увлекались все слои населения, каким театр был доступен... и вся огромная интеллигенция, и вся передовая молодежь. Последняя особенно считала Художественный театр своим...» (Вл. И. Немирович-Данченко, Из прошлого, стр. 194—195).

Успех театра, страсти, бушевавшие вокруг петербургских спектаклей, а также публика, посещавшая их, ярко отображены в хранящемся в Пушкинском доме неопубликованном письме Е. П. Летковой-Султановой П. Д. Боборыкину от 25 февраля 1901 года. Приводим отрывки из него: «...Спасибо еще москвичам. Они внесли все-таки что-то новое в жизнь петербургской интеллигенции. Художественный театр — сбор всем чашам известного оттенка. Зала необыкновенная для Петербурга. Антракты — диспуты! Успех Москов<ского> театра — громадный, да я думаю, для русской труппы — и небывалый. Газеты бранят, а публика безумствует. На все спектакли билеты разобраны в один день, и то приступом! Разобрали те, кто пришел накануне и провел всю ночь у театра, т. е. студенты, курсистки. Потому зала совсем особенная. И, напр<имер>, 4-е действие «Штокмана» уже не представление, а переживание того, что делается на сцене. Актеры это чувствуют.

Мне эти вечера очень приятны... «Одинокие» — у них только не понравились мне, это не Гаутман, а Немирович. И публика поняла это. Но зато «Штокман» — хотя тоже не Ибсен, а Станиславский — захватил и старых, и малых, взволновал, разбушевал просто...» (ИРЛИ, ф. 29, оп. 1, ед. хр. 86, письмо 2-е).

<sup>3</sup> Урусов Александр Иванович (1848—1900) — князь, адвокат, криминалист, автор многочисленных статей о театре и литературе.

<sup>4</sup> Еще в 1899 году Немирович писал Чехову: «Иногда находит апатия, думаюсь: «За каким чертом я пошел на эту галеру?» Хочется вдруг бросить все, уехать...» Правда, десять дней спустя, 28 ноября, он уточнял: «...Сказать, что я охладаю к театру, не могу. Но утомление вызывает во мне часто некоторую апатичность» (Вл. И. Немирович-Данченко, Театральное наследие, т. 2. «Избранные письма», стр. 561 и письмо № 82).

себе понятие о невероятном количестве подробностей, к которым приспособлены спектакли и которые все надо было сохранить в новом незнакомом мне здании. У меня десятки помощников, но я должен знать решительно все. Несмотря на 3-летнее существование, мы еще не могли выработать такого заведующего сценой, на которого можно было бы положиться бесконтрольно. А публикации, билеты, афиши, продажа, абонементы, кассовый контроль!.. а забота о том, чтобы актерам хватало их небольшого жалованья, а все расчеты, чтобы овчинка стоила выделки!

Я уже часто испытываю непосильную тяготу и начинаю в это время охлаждать к делу. Директор сцены, в сущности, Алексей, но он не умеет спокойно проследить за всем, слишком скоро нервится и нервит других, а ему надо много играть<sup>5</sup>. Русская сцена, русские кулисы так далеки от совершенства технических приспособлений! Когда я посвятил день и осматривал во всех подробностях Венский Бург-театр, я учился, чтобы что-нибудь перенести на нашу сцену, и сталкивался с невозможностью добиться этого из-за отсутствия у нас для этого денег<sup>6</sup>. Притом же мы играем по самым скверным театрам столиц: Щукинскому и Панаевскому<sup>7</sup>.

Вы все говорите, что я Вас отстранил. Но что бы Вы могли делать? Вы могли бы оказывать огромную помощь в составлении репертуара и в замечаниях на генеральных репетициях. А так как всех-то пьес мы ставим 4 в год, а генеральные репетиции бывают и в сентябре, и декабре, и в феврале, и в мае, то Вам пришлось бы чуть не круглый год быть при театре для десятка-другого утр. Вы — человек театра, но человек театра из партера, а не из-за кулис<sup>8</sup>. Были ли Вы когда-нибудь в жизни на колосниках? Знаете ли, что такое «грузы» и какое они имеют значение? Думали ли когда-нибудь о реостатах и софитах? Я выхватываю сотню долгов вопросов, которые мог бы задать. Я уверен, что самый лучший режиссер не знает половины того, что изучил я за эти три года. Скажу больше: счастье, что я сам не знал об этом ничего до открытия театра, а то бы я, конечно, отказался от мысли о театре. Надо не только воспитывать публику<sup>9</sup>, создавать авторов, актеров, надо еще создавать сотню людей закулисных. Когда-нибудь я расскажу Вам историю с обвалом в драме Ибсена («Когда мы, мертвые, пробуждаемся»), как мне пришлось уйти на неделю в столярное искусство. Вы поймете, почему

мысль о Вас как о ближайшем нам, мне и Алексееву, сотрудничестве не может долго привлекать моего внимания. Чем Вы дороги для театра — Вы на это не пойдете, повторяю, потому, что надо быть 10 месяцев на месте, а что настоятельно надо для театра, для этого Вы слишком аристократичны.

Затем Вы пишете о заказах «излюбленным» авторам, о приобретении пьес («в корне» и т. д. Это очень уж обобщено, потому что фактов только два: Чехов и Горький. И то... Чехов стоит исключительно, вероятно, потому, что он и я почти одних лет и в нем выразились все те отдаленные настроения, какие мы оба переживали в годы нашей молодости. Он — как бы талантливый я. Понятно поэтому, что душа у меня так сильно расположена к нему. Я перестаю относительно него быть художественным критиком. И любить его мне не мешают отсутствующие во мне чувства конкуренции. Когда я занят его пьесами, у меня такое чувство, как будто я ставлю свои. Я в нем вижу себя как писателя, но проявившегося с его талантом. Он во мне мог бы видеть себя как режиссера, но с моими сценическими знаниями. Оттого Чехов и идет у нас лучше всех других авторов<sup>10</sup>.

Что касается Горького, то никто ему пьес не заказывал, но согласитесь сами — соблазнительна попытка создать из молодого талантливого поэта, хотя и романти-

<sup>5</sup> Ср. «Из прошлого», стр. 88.

<sup>6</sup> Позже, в связи с венскими спектаклями Художественного театра, Немирович снова побывал и изучал техническое оборудование сцены Бург-театра (см. «Из прошлого», стр. 252).

<sup>7</sup> О шукинском и панаевском театрах см. «Из прошлого», стр. 137, 195.

<sup>8</sup> О Боборыкине Немирович-Данченко позже писал: «...он не был «человеком театра». Он любил всю показную, лицевую сторону, но скользил по тому, что можно бы назвать «трудом» театра. Вот что мы, люди театра, «любим больше всего на свете» («Из прошлого», стр. 85).

<sup>9</sup> Ср. 18-часовую беседу со Станиславским в «Славянском базаре» («Из прошлого», стр. 78).

<sup>10</sup> После премьеры («Чайки» Немирович телеграфировал Чехову: «Я счастлив, как никогда не был при постановке собственных пьес» («Из прошлого», стр. 154).

ческой складки, нового драматурга<sup>11</sup>. Больше никаким авторам пьес я не заказывал, да и говоря по чистой совести, и не жду ни от Мамина, ни от Чирикова, ни от Елпатьевского. Я уже и не говорю о поставщиках Малого театра — Шпажинском, Неveje, Чайковском и т. д.<sup>12</sup> Если нашему театру суждено сыграть ту роль, какую ему предсказывают, то авторы должны появиться, раз будет процветать русская поэзия (в этом смысле была и моя ответная речь союзу писателей на обеде).

Наконец, Вы...

О Вашей пьесе «В ответе» я ничего не знал. Правда, Вы мне писали, что думаете о новой пьесе, но я никак не предполагал, что она так скоро будет написана. Узнал я о ней от Правдина<sup>13</sup> и, признаюсь, и удивился и огорчился. Узнал совершенно неожиданно и понял так, что Вы на нас махнули рукой. И что же мне было делать? Попросить пьесу после того, как она уже вручена Малому театру? Значит, принять ее к постановке наверняка, не читая. Этого я не могу. Я попросил достать ее мне, чтобы познакомиться, но не получил. Мне показалось, что от меня тщательно скрывали самый факт существования Вашей пьесы. Борюсь с такими вещами я не умею.

Рассчитывать на то, что после «Накипи» Вы будете сначала предлагать пьесу нам, а потом уже Малому театру, не имеем никакого права. Предлагать нам по секрету, тайком, как это делают другие авторы, — Вы на это не пойдете.

Что же мне делать? Одно только. Вы могли бы, пользуясь нашей с Вами давней дружбой, давать мне пьесы Ваши не как заведующему художественным репертуаром, а как Вашему поклоннику, мнению которого Вы верите.

Не знаю, хотите ли Вы этого. Не раздражает ли Вас воспоминание обо мне как о заведующем репертуаром? В конце концов, чтоб не было недоразумений, говорю очень определенно: каждая Ваша пьеса интересует меня двояко: и потому, что она Ваша, и потому, что она может пойти у нас<sup>14</sup>.

Наша петербургская «кампания» имеет материальный успех совершенно сумасшедший<sup>15</sup>. Билеты рвут на части, всё на все спектакли продано, несмотря ни на какие цены. Успех этот поддерживается публикой, как говорят, «отборной» и писателями хо-

рошего лагеря. Газеты же, принадлежащие к лагерю «Нового времени», злятся, клюют нас, ругают каждый день. И мелкие газетки злятся, что я ни у кого не был, не печатаю публикаций, в которых совсем не нуждаюсь (все продано), не даю бесплатных билетов, кроме первых представлений!<sup>16</sup>

До свидания. Обнимаю Вас и целую ручку Соф<ьи> Алекс<андровны><sup>17</sup>. Жена шлет Вам обоим привет.

Вл. Немирович-Данченко.

Невский, 11, кв. 20.

6 марта.

<sup>11</sup> Вспоминая поездку труппы на спектакли в 1900 году в Крым к Чехову. Немирович писал: «И вот актерам было дано задание: увлечь и Горького написать пьесу, заразить его нашими мечтами о новом театре» («Из прошлого», стр. 187). В то время социальная сущность творчества Горького еще не была воспринята Немировичем. «Вы такой большой художник (и, по-моему, прежде всего художник, гораздо раньше художник, чем об этом думают миллионы ваших почитателей)», — писал он М. Горькому 18 июня 1902 года («Письма», № 102).

<sup>12</sup> Ср. письмо Немировича Чехову от 25 апреля 1898 г. («Письма», № 43).

<sup>13</sup> Правдин Осип Андреевич (Трейлебен Оскар Августович) (1846—1921) — известный актер Московского Малого театра.

<sup>14</sup> В том, что Немирович пишет о пьесах Боборыкина, больше вежливости, чем искренности, см. письмо Немировича Чехову от 18 декабря 1902 года («Письма», № 113).

<sup>15</sup> Успех театра, в том числе материальный, отражен в письме О. Л. Книппер Чехову. («Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер», т. I, стр. 320).

<sup>16</sup> О газетной травле М. Горький писал Е. П. Пешковой: «Пресса здесь ведет себя по отношению к театру гнусно, возмутительно... — Художественный театр — пресса тревит, особенно Суворин, «сам» владыка театра...» (М. Горький, т. 28, № 139 и 141). Подробно о рецензиях см.: «Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер», т. I, стр. 320—331.

К статьям враждебных театру газет Немирович-Данченко отнесся спокойно. «Газеты кусаются, но не больно», — телеграфировал он 1 марта Чехову («Ежегодник МХАТ, 1944 г.», стр. 136).

<sup>17</sup> Боборыкина Софья Александровна — жена П. Д. Боборыкина, умерла вскоре после смерти мужа, в эмиграции.

Гастон Ларош

## Русские во французском Сопротивлении

«Клянусь оставаться верным  
моей Родине и Франции».

В 1965 году во Франции вышла книга одного из участников движения Сопротивления, полковника Гастона Лароша, «Их называли иностранцами», посвященная не принадлежавшим к французской нации участникам движения Сопротивления.

Особое место в этой книге уделено советским людям, оказавшимся в тот период во Франции. Это были офицеры и солдаты Красной Армии, бежавшие из немецких лагерей и вступившие в ряды Сопротивления.

Ниже мы предлагаем вниманию читателя несколько отрывков из книги Гастона Лароша, рассказывающих о подвигах советских людей во Франции в борьбе против общего врага — фашизма.

**Публикация и перевод  
с французского Н. Т. Унанянц.**

### Подпольные организации

Первые подпольные организации советских военнопленных были созданы в начале октября 1942 года в лагере Бомон-на-Артуа (Па-де-Кале). Они назывались «Группы советских патриотов».

Организаторы этих групп: Марк Слободинский, Александр Черкасов, Алексей Крылов, Борис Шапин и Василий Адоньев.

Позднее к ним присоединился лейтенант Красной Армии и герой Сопротивления Василий Порик.

Практическая деятельность «Групп советских патриотов» состояла в организации актов саботажа и диверсий на шахтах, проведении пропаганды и агитации среди

заключенных концентрационных лагерей, распространении сводок Советского Информационного бюро и других известий из Советского Союза.

В январе 1944 года Центральный комитет «Групп советских патриотов» контролировал более 20 военных комитетов в лагерях.

В Париже в декабре 1943 года создается Центральный комитет советских военнопленных, в который входят как руководители Марк Слободинский, Василий Гаскин и Николай Скрипай. Их помощники — Василий Порик и Ник Смарчевский. В их распоряжении — инструкторы-коммунисты, сражавшиеся в Интернациональных бригадах и знавшие французский язык: А. Н. Кочевков, К. Сикочинский, Иван Тройян, Петр Лисицын. Ответственный за кадры — Жорж Шибанов.

Центральный комитет советских военнопленных содействует созданию партизанских отрядов, развешивает пропаганду в гражданских и военных лагерях, издает газету «Советский патриот» и многочисленные воззвания, постоянно руководит борьбой советских партизан и играет роль политического и военного центра по руководству борьбой советских патриотов против гитлеровских оккупантов во Франции. Во время национального восстания члены Центрального комитета советских военнопленных были направлены в разные департаменты, чтобы предоставить советские отряды в распоряжение групп ФТПФ (французские франтиреры и партизаны) для борьбы до победного конца.

Центральный комитет советских военнопленных был, бесспорно, инициатором, организатором и руководителем советских людей, сражавшихся во Франции.

Одна из самых первых задач ЦК СВ — разыскать и направить в партизанские отряды тех, кто, совершив самостоятельный побег, скрывался во французских семьях.

С января по февраль 1944 года в партизанские группы севера и востока было включено 150 человек.

С мая 1944 года массовый приход советских военнопленных в партизанские отряды и в маки придал новый оттенок их борьбе.

Мужество советских партизан, проявленное в борьбе с гитлеровскими оккупантами во Франции, признано большинством французов. Их жертва остается живой в сердцах патриотов. О героизме советских партизан говорят встречающиеся по всей стране могилы советских воинов, мужест-

венно павших в борьбе за свободу рядом со своими французскими братьями. Приблизительный итог потерь гитлеровской армии, нанесенных ей советскими партизанами, действовавшими во Франции между февралем и августом 1944 года только в департаментах Нор, Па-де-Кале, Мозель, Мёз, Мерг и Мозель, Кот-д'Ор, выражается в следующих цифрах:

Убито 3500 немецких солдат и офицеров, пущено под откос 65 военных составов, уничтожено и повреждено более 1000 вагонов, повреждено 9 электролиний высокого напряжения, уничтожено и повреждено 76 паровозов и 50 грузовиков, разрушено 3 моста военного значения, повреждено 90 телефонных линий.

Трофеи, захваченные у врага: 2 тяжелых орудия, 14 пулеметов, 36 автоматов, 850 винтовок, более 100 грузовиков и автомобилей, 650 офицеров и солдат взяты в плен и переданы союзным военным властям.

В южной зоне Армянская рота 2-го военного района в период с 24 августа 1944 года нанесла врагу следующие потери:

Убито 80 солдат и офицеров.

Ранено 11 солдат и офицеров.

Взято в плен 25 солдат и офицеров.

Трофеи: 2 машины, 4 мотоцикла, 24 винтовки, более 16 тысяч патронов, 200 гранат и 8 ящиков со снарядами.

Даже этот очень неполный итог говорит об эффективности действий советских партизан.

Вклад бойцов Красной Армии не был просто численным вкладом. Среди них были специалисты по танковому, артиллерийскому и инженерному делу, в особенности же все они были проникнуты советской концепцией войны, отводившей важное место войне партизанской.

Разработка этой доктрины и ее применение на русском фронте сыграли важную роль в организации борьбы французских сил внутреннего Сопротивления (ФФИ). Участие в этой борьбе людей, имевших в ней опыт, было особенно ценно.

### Военная борьба советских партизан

В департаменте Па-де-Кале

Лейтенант Василий Порик — командир партизан местностей Бомон, Энен-Льетар и Аррас. Вначале в его отряде было 12 человек. Его связная — Галина Ткаченко. Этот отряд начинает свою деятельность в июле 1943 года. Итог проведен-

ных боев следующий: 300 убитых немецких солдат и офицеров, 11 военных составов с людьми и боеприпасами, пушенных под откос, 2 взорванных моста, 14 уничтоженных машин. Захвачено большое количество оружия и боеприпасов.

Василий Порик, окруженный в доме отрядом гестапо, ведет в течение трех часов неравную борьбу. У него только автоматическая винтовка и очень ограниченное число патронов. Вскоре патроны кончаются. Дважды раненный, истекая кровью, Василий продолжает защищаться с помощью бутылки, найденных в этом доме. Конец сражения близок. Перед зданием — 11 трупов фашистов, но еще больше остается живых... Раненный еще дважды, Василий не может больше защищаться, он схвачен и отведен в тюрьму Арраса. Гитлеровские палачи 18 дней терзают его, несмотря на его четыре раны. Его дни сочтены... Его должны казнить. Василий делает последнюю отчаянную попытку. Он заманивает в свою камеру охранника и убивает его гвоздем. Побег удается, и Василий снова в рядах борцов.

22 июля 1944 года Порик, командовавший тогда уже ротой, был второй раз арестован гестапо и расстрелян в тот же день. Несмотря на пытки, он ничего не сказал фашистским палачам.

Самым известным эпизодом борьбы партизан Энен-Льетара (департамент Па-де-Кале) был бой, развернувшийся в июне 1944 года на границе департаментов Нор, Эна и Па-де-Кале. Рота ФТП под командованием сначала Макса — Марселя Каврая, убитого во время боя, затем лейтенанта Шарля Рено включала трех советских бойцов — Степана, Анатолия и командира ФТП Альбера.

После выполнения задания — атаки моста, соединявшего дорогу из Гиза в Валанкур, 27 партизан — участников этой операции были замечены вражеским самолетом и окружены двумя ротами немцев.

Во время боя, длившегося с 23 час. 30 мин. до 6 час. 30 мин., Степан был взят в плен и расстрелян врагом. Раненого Анатолия подобрали товарищи. Но борьба была неравной. Нужно было прорвать немецкое кольцо и отходить под прикрытием леса Сен-Мишель-Мондрепюи. Однако сначала, чтобы вновь не наткнуться на немцев, нужно было разведать пути отхода.

Советский боец Альбер, один из командиров ФТП, берет на себя две задачи:

разведать полосу отхода и прикрыть отрыв отряда от противника. Сверх всяких ожиданий он один выполняет обе эти задачи.

Непрерывным огнем ручного пулемета Альбер не дает немцам занять боевые порядки, принуждая их укрываться за своими грузовиками, в то время как партизаны выходят из соприкосновения с противником. В условный момент Альбер бросается в открытую машину и, мчась на огромной скорости, прорывает вражеское кольцо. Изрешеченная пулями машина свидетельствует о дерзости этого подвига.

Теперь оставалось разыскать в лесу вырвавшийся из огневого кольца отряд и присоединиться к нему.

В донесении, врученном лейтенантом Шарлем Рено командиру района Эли Монтейлю в августе 1944 года, в числе лучших были названы имена советских бойцов: Семена Белаевского, Ивана Корнисарова, Аполлона Забррия, Максима Козака, Василия Воробьева, Степана Ритунского, Ивана Курпольского, Павла Ивердослаева, Алекса Бюта, Серека Шелиа, Ильи Дарчишвили, Давида Ишелеса, Василия Селидзе, Михаила Нахдина, Александра Зигуры, Семена Роташвили.

Командовал советской ротой грузин Мохамед Юначев, помощника командира роты звали Борис Дзянцев.

Дисциплина и истинное товарищество — вот впечатление, которое производили советские воины на участников движения Сопротивления, вместе с которыми они сражались. Память о подвигах Степана, Анатолия и командира ФТП Альбера вечно будет жить в сердцах французских партизан.

ФФИ — ФТПФ  
2-й район

Рота Армянских партизан  
29 августа 1944  
Ним

Донесение в штаб ФТПФ — 2-й район

Рота Армянских партизан под командованием капитана Петросяна провела следующие бои за период 24/8—28/8 1944 года в районе Мамерт-ла-Кальметт.

Чтобы выяснить силы бошей, я сформировал разведывательную группу под командованием младшего лейтенанта Кашьяна и послал ее в разведку.

Когда группа вошла в деревню Вик,

немцы открыли сильный огонь из пулеметов и автоматов. Наши доблестные бойцы вступили в бой, продолжавшийся 40 минут, машины врага были выведены из строя гранатами. Результаты сражения следующие.

Боши потеряли 21 солдата и офицера убитыми, 8 солдат и офицеров попало в плен, число раненых не удалось установить. Мы захватили 4 винтовки, 300 патронов, 50 гранат. Потери с нашей стороны: убитых не было, один легко раненный, одна поврежденная винтовка, использовано 950 патронов, 50 гранат.

Согласно донесению разведывательной группы и сообщениям населения по дорогам, контролируемым нашей ротой, 25 августа 1944 года должна была пройти колонна в 1500 человек, сопровождаемая танками и легкой артиллерией.

Я приказал роте быть готовой вступить в бой. В первый раз рота атаковала врага 25/8—44 в 4 час. 30 мин. в районе деревни Мамерт. Отряд нашей роты под командованием лейтенанта Малькассияна устроил засаду. Когда боши приблизились, отряд внезапно открыл огонь по врагу. Перестрелка продолжалась около 30 минут; этим боем мы вывели из строя боевую колонну врага и помешали ей пройти, враг был вынужден изменить путь. Противник оставил на поле боя 8 трупов, двое было взято в плен, выведено из строя две машины противника. Наши трофеи: 6 винтовок, 4300 патронов, 2 ящика снарядов; наши потери: 2 легко раненных, один пропавший без вести, 3 винтовки повреждены, израсходовано 1050 патронов, 23 гранаты.

Во второй раз мы встретили колонну противника 25/8 в 14 часов. Разведывательная группа под моей командой атаковала колонну бошей, которая двигалась по направлению к деревне Гажан. Мы решили принять бой и, когда противник приблизился к нашей позиции, открыли огонь из пулеметов и пустили в ход гранаты. Превосходство врага вынудило нас отступить и укрыться в лесу. Опросив население, мы установили следующее.

Боши потеряли 13 солдат и офицеров убитыми, 7 ранеными, они оставили поломанную машину; у нас потерь не было.

В третий раз мы встретили врага южнее деревни Кальметт в районе кладбища в 14 час. 30 мин. 26 августа 1944 года. Вражеская колонна наткнулась на нашу засаду, бой длился 50 минут. Превосходство противника, поддержанного значи-



тельным количеством легкой артиллерии и пулеметов, вынудило нас отступить. Во время боя 20 бошей было убито и 6 взято в плен; число раненых установить не удалось. Были выведены из строя две машины и мотоцикл. Мы захватили грузовик, мотоцикл и 10 винтовок. Мы потеряли 2 убитыми, 4 тяжело и 3 легко ранеными. Мы потеряли 6 винтовок, ручной пулемет, мотоцикл и машину. В тот же день командир отряда Аквердьян укрепился в деревне... Около сотни немецких солдат и офицеров отделились от воинской части и оборонялись на своих позициях. Отряд обошел бошей и внезапно атаковал их с тыла. Они пытались сопротивляться, но сильный огонь и ловкость наших доблестных бойцов заставили врага обратиться в бегство и бежать в беспорядке. Бой продолжался 20 минут, боши потеряли 15 солдат убитыми, 4 ранеными, 9 пленными. В отряде было 2 легко раненных, в бою отряд потерял 5 винтовок и мотоцикл.

28/8—1944 разведывательная группа доложила, что отряд бошей (30 солдат) отделился от воинской части и находится возле деревни Тамрис. Наша ударная группа под командованием Ефремяна была послана в местность, где находились немцы. Она вступила в бой, боши сопротивлялись слабо и обратились в бегство в лес. Враг оставил на поле боя три трупа. У нас потерь не было, мы израсходовали 435 патронов, 11 гранат.

Наш отряд захватил в этом бою машину, 6 ящиков со снарядами, 8000 патронов, 4 винтовки, 20 штыков, около 25 карманных фонариков, 1 мотоцикл.

Командир роты капитан Петросян  
Комиссар роты Аракелян

Отряд «Максим Горький» в департаменте  
Кот-д'Ор

Под командованием члена ЦК СВ Николая (Ивана Скрипая) отряд «Максим Горький», находившийся в лесу Шатийон, вел ожесточенные бои против немцев и участвовал в операциях, которые должны были закончиться взятием Шатийона-на-Сене. Эти операции проводились во взаимодействии с ФФИ.

После заседания ЦК СВ 5 мая 1944 года на улице Франсуа-Мирон в Париже Скрипаю было поручено вернуться в департамент Кот-д'Ор, где он уже бывал и местность которого знал, чтобы объеди-

нить всех советских патриотов в одно специальное войсковое соединение. Он это сделал. В свой отряд он включил также партизан других национальностей.

Благодаря захваченной у врага материальной части и дружеской помощи штаба Эней-ле-Дюк и особенно капитанов Пьера и Габриэля и лейтенанта Бертон он вскоре располагал необходимым для боев снаряжением и оружием. Закончив организацию отряда, Иван Скрипай предоставил себя в распоряжение капитана Пьера, по указаниям которого его люди представляли немцам засады на дорогах.

Немецкое командование знало, что дороги опасны и что страна полна партизан, но у него не было возможности ни производить бесконечные разведки, ни тем более предвидеть, где намечается атака. Поэтому, несмотря на сильную охрану, немецкие транспортные колонны очень часто несли тяжелые потери.

Одна из таких засад отряда «Максим Горький» — его первая операция — произошла на дороге № 454. Партизаны с пулеметами залегли в лесу вдоль дороги. В течение нескольких часов все было спокойно. Время от времени проезжали крестьяне или проходили одинокие путники. Наконец после долгого ожидания они заметили немецкую транспортную колонну. На подножках грузовиков стояли солдаты с винтовками, направленными в сторону леса. Уже многие километры проехали они в этой обманчивой тишине, которая могла быть нарушена в любую минуту. Еще один поворот дороги, еще несколько белых столбиков, еще одно поле, еще несколько долгих мгновений — и все время ритмичный шум моторов, проникающий в эти молчаливые леса и исчезающий там. Еще один поворот. И вдруг неизвестно откуда приводящий в отчаяние треск нескольких пулеметов, тела, падающие на полном ходу, беспорядочные крики. Первые машины поворачивают назад, прежде чем последние успевают остановиться. Покрывая весь этот беспорядок, в жарком воздухе летнего дня отчетливо слышны два звука, они не сливаются: совсем близкий треск пулеметов и свист пуль. Немцы отвечают выстрелами в сторону леса, но сражения в полном смысле не происходит. Капитан, командующий колонной, падает в грузовик с раздробленным плечом, и кровь медленно окрашивает зеленое сукно его мундира. Его помощник, офицер, также ранен. Несколько грузовиков выведено из строя. Немцы

прыгают в машины на полном ходу и поспешно отступают. Можно быть уверенными, что они никогда больше не воспользуются этой дорогой.

На следующий день штаб Ивана Скрипая узнал, что немцы только что эвакуировали город Сент-Сен. Он послал маленькую группу партизан овладеть материальной частью, оставленной врагом. По расчетам Антона Васильевича, его люди уже должны были находиться в городе, когда послышалась ожесточенная перестрелка. Произошла двойная ошибка. Партизаны не ожидали, что там еще находятся немцы, немцы же думали, что в этой местности нет партизан.

Небольшой отряд немецкого интендантства, еще остававшийся в городе, заметил вооруженную группу из пяти человек и тотчас открыл огонь. Партизаны приняли бой. Шум этой неожиданной схватки и услышали в лагере. Послали подкрепление. Солдаты немецкой регулярной армии не сдавались. Беспрерывно рвались гранаты, огонь не прекращался. Бой длился час. Ни один немец не ушел живым. Приказ по части, посвященный этому сражению, после перечисления захваченных у врага трофеев содержал следующие слова:

«Два партизана, два лучших наших то-

варища пали смертью храбрых с оружием в руках. Это Константинов Мишель (русский) и Рене (француз)».

Бои завершились 9 сентября 1944 года последней операцией, самой жестокой и самой длительной, — операцией взятия города Шатийона, сопровождавшейся ожесточенной борьбой в лесу, где сражались за каждое дерево, за каждый пригорок. Это был безжалостный бой, и ни один регулярный отряд не сражался бы лучше партизан. Действительно, Иван Скрипай и его люди в совершенстве владели тактикой боя в лесу и смогли, наконец, применить на практике свой бесценный опыт.

Немцы сдавались в течение всего дня; партизаны преследовали беглецов, прочесывая окрестные леса. Подполковник, много офицеров и гестаповцев было убито, ранено и взято в плен. Партизаны захватили значительное количество брошенного врагом вооружения и материальную часть.

Они знали, вдохновляемые своим неукротимым патриотизмом, что, сражаясь за Францию, они защищают свою Родину от общего врага. Они умели вдали от родной земли показать своим французским товарищам и народу нашей страны доблесть советских солдат.

Д. А. Колесниченко

## Джордж Кеннан и царская охранка



Дж. Кеннан

«В настоящий момент вера в освободительный пыл царя сильно поколеблена вестями из Сибири, книгой Кеннана и последними университетскими волнениями в России», — эти слова принадлежат вождю международного пролетариата Ф. Энгельсу, который в письме к В. И. Засулич столь высоко оценил влияние книги Д. Кеннана «Сибирь и ссылка», вышедшей в двухтомном издании в 1891 году.

Американский журналист Джордж Кеннан (1845—1924), неоднократно посещавший Россию, в 1885—1886 годах совершил путешествие по Сибири. Поводом для поездки Кеннана в Сибирь послужил спор между ним и Д. Армстронгом, бывшим американским консулом в одном из южных городов России. Летом 1884 года Армстронг выступил в Вашингтоне с лекцией, разоблачающей систему наказания и ссылки русского правительства. Д. Кеннан, присутствовавший на лекции, возражал ему, а затем также выступил с лекцией в Вашингтоне в защиту царского правительства. Спор перешел на страницы печати. Как раз в это время журнал „The magazine century“ решил отправить в Сибирь экспедицию для исследования системы русской ссылки. В составе этой экспедиции 2 мая 1885 года Джордж Кеннан выехал в Сибирь.

Освещение американским журналистом, настроенным явно в пользу царского правительства, сибирской ссылки в благожелательном для самодержавия духе было бы очень важным для последнего, ибо русские революционеры С. М. Степняк-Кравчинский и князь П. А. Кропоткин, находившиеся в эмиграции, выступали с разоблачениями системы произвола и насилия, царившей в России.

Царское правительство предоставило Кеннану полную свободу в посещении сибирских каторжных тюрем, общении с заточенными на каторге революционерами.

Однако именно в результате ознакомления с сибирской каторгой, личных встреч с узниками Д. Кеннан становится убежденным сторонником русского освободительного движения,

другом русских революционеров, много сделавшим для распространения симпатий к освободительному движению русского народа в интеллигентных кругах Европы и Америки. Его статьи, а затем книга «Сибирь и ссылка» явились откровением для европейского и американского читателя, знавшего о России гораздо меньше, чем о Центральной Африке. Родоначальником «целого гуманитарного течения, сочувствовавшего русскому народу и его усилиям завоевать себе свободу», назвал Д. Кеннана революционер-народник Ф. Волховский<sup>1</sup>.

Царское правительство принимает строжайшие меры к тому, чтобы произведения Кеннана не появились на русском языке. В 1893 году департамент полиции заводит дело «О гражданине Северо-Американских Штатов Джордже Кеннани»<sup>2</sup>. Публикуемая справка департамента полиции, взятая из этого дела, повествует о деятельности Кеннана по возвращении из Сибири, о его тесной связи с русскими революционерами, находившимися в эмиграции, о его лекциях, способствовавших пробуждению сочувствия к русскому освободительному движению и осуждению самодержавного правительства либеральными английскими и американскими кругами. Документ дает дополнительные сведения об истории организации «Общества друзей русской свободы». Он ярко показывает нам Джорджа Кеннана — искреннего друга русских революционеров, русского освободительного движения, каким он оставался до конца своих дней.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, М., 1965, т. 37, стр. 317—318.

<sup>2</sup> Д. Кеннан, Сибирь и ссылка. Спб., 1906, стр. XVIII.

<sup>3</sup> Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР (ЦГАОР СССР), ф. ДП, 00, 1898 г., д. 15, ч. 46.

Справка департамента полиции «О неблагонадежных иностранцах, высланных безвозвратно за границу. О гражданине Северо-Американских Соединенных Штатов Джордже Кеннани».

1893 г., ИЮНЯ 26

Кеннан Джордж, гражданин Северо-Американских Соединенных Штатов, около 50 лет от роду, роста выше среднего, стройный, усы густые, темные; постоянно проживает в Вашингтоне.

Джордж Кеннан прибыл в первый раз в Сибирь в 1865 г. в качестве участника партии, посланной Американской телеграфной компанией для производства изысканий ввиду предполагавшегося в то время устройства телеграфного сообщения между Америкой и Европой через Аляску, Берингов пролив, Камчатку и Сибирь.

Воспользовавшись двухлетним пребыванием в Сибири, Кеннан изучил русский язык и после ряда статей о Сибири, помещенных в американских журналах, издал в 1870 г. отдельное сочинение на английском языке, озаглавленное «The life in Siberia» (Жизнь в Сибири)<sup>4</sup>. В произведении этом молодой писатель проводил благоприятные нашему правительству взгляды, делая это, очень может быть, с затаенной мыслью добиться доверия правительства, чтобы потом, заручившись разрешением последнего, основательно изучить условия жизни русских политических арестантов и ссыльных и воспользоваться затем собранным материалом по своему усмотрению.

В 1870 г. Кеннан ездил с научной целью на Кавказ, а весной 1885 г. прибыл из Америки в С.-Петербург и, добившись при содействии нашего Министерства иностранных дел разрешения Министерства внутренних дел<sup>5</sup> осмотреть сибирские каторжные тюрьмы и рудники с целью ознакомиться с бытом политических ссыльных, выехал в конце мая в Сибирь, где пробыл до августа 1886 г., сделав в общей сложности 15 тыс. миль. В октябре 1885 г. Кеннан обратился через посредство Министерства иностранных дел с телеграммой, в которой просил разрешения осмотреть Карийские каторжные тюрьмы<sup>6</sup>. Так как ходатайство это было передано на заключение департамента полиции, то оно и было оставлено без удовлетворения. Настоящая поездка Кеннана была совершена по поручению и на средства редакции американского журнала «The Century Magazine» («Журнал века»), на страницах которого и были помещены затем перепечатанные также мно-

гими другими иностранными журналами статьи Кеннана, посвященные описанию в самом извращенном виде сибирских тюрем и политических ссыльных.

Кроме сего, Кеннан издал ряд сочинений на английском языке о Сибири, переведенных, кроме русского, на многие иностранные языки и вообще получивших весьма широкое распространение. Не довольствуясь этим, названный агитатор стал с 1888 г. разъезжать по разным городам Северной Америки и читать лекции о Сибири, видимо взимая со слушателей известную входную плату в свою собственную пользу. Для большего воздействия на слушателей Кеннан появлялся на этих чтениях в арестантском халате, с ручными кандалами, потрясая которыми пригласил свободных граждан Америки помочь русскому революционному движению<sup>7</sup>. В течение четырех лет Кеннан успел прочесть в Америке около 500 лекций, на которые собиралось иногда до 6—7 тысяч слушателей. Задавшись, очевидно, целью сделать на русском нигилизме публицистическую карьеру и, прикрываясь политической борьбой с государственным строем в России, нажить себе состояние, он для большего успеха пригласил в конце 1890 г. проживающего в Лондоне убийцу генерал-адъютанта Мезенцева Сергея

<sup>4</sup> Книга называлась «Кочевая жизнь в Сибири» («Lentlife In Siberia», Нью-Йорк, 1870).

Настоящее разрешение последовало по Главному тюремному управлению. (Прим. документа.)

<sup>6</sup> Кеннану было разрешено осмотреть только Карийские рудники.

<sup>7</sup> Русский революционер-народник, Ф. В. Волховский (1846—1914) писал о том, что появление Кеннана на одной из лекций о Карийской каторге в костюме арестанта произвело на слушателей потрясающее впечатление. «Эту шапку, — говорил Кеннан, — я получил в подарок в Сибири... Этот халат принадлежал когда-то тоже политическому ссыльному, дружкой которого я горжусь. Эти кандалы носил третий политический ссыльный, человек редкой чистоты души. Этот костюм был создан для того, чтобы наложить на носящего его клеймо позора, но благородство людей, его носивших, и величие дела, за которое они пострадали, сделали его, напротив, священным» («Каторга и ссылка», 1924, № 3, стр. 319).

После одной из лекций Кеннана о Карийской каторге в Лудсвилде писатель М. Твен воскликнул: «Если подобное правительство не может быть низвергнуто иначе, как посредством динамита, то да будет благословен господь за динамит!» (Д. Кеннан, Сибирь и ссылка. СПб., 1906. стр. XXVI).

Кравчинского (Степняка) с целью показывать его американской публике, как одного из главнейших русских революционных деятелей. Последний пробыл в Америке несколько месяцев и прочел под руководством Кеннана ряд лекций о русском революционном движении, после чего вернулся в Лондон.

Проживая постоянно в Вашингтоне, Кеннан поддерживает постоянные сношения с представителями нашей эмиграции в Америке и Европе, а также со многими из находящихся в Сибири политических ссыльных, при случае содействуя побегу последних за границу. Так, например, находящийся ныне в Лондоне Ф. Волховский бежал в августе 1889 г. из Троицко-савска, Забайкальской области, через Хабаровск во Владивосток, откуда на английском пароходе отплыл в Америку. Прибыв в Онтарио, Волховский встретился там с Кеннаном, с которым познакомился еще при проезде его по Сибири, и при содействии последнего прибыл в Лондон. Через посредство Кеннана находящиеся в Америке эмигранты сносятся также с сибирскими ссыльными, отправляя последним письма и посылки через офицеров заходящих во Владивосток американских, английских и французских судов, делающих это иногда просто из любезности, не зная содержания передаваемых посылок.

Под влиянием сочинений и лекций Кеннана в английском и американском обществе пробудились симпатии к нашим политическим ссыльным и интерес к социально-революционному движению в России. В январе 1890 г. несколько занимающих видное общественное положение англичан, и в том числе члены английского парламента В. Байльс и Томас Бёрт и доктор Спенс-Уотсон, издали воззвание на английском языке, в котором сообщалось о предстоящем учреждении в Англии «Общества»<sup>8</sup> с целью содействия успеху русского социально-революционного движения и способствовать достижению политической свободы в России. В этом воззвании, рассылавшемся, между прочим, в редакции многих русских газет, сообщалось, что в Филадельфии под влиянием лекций Кеннана собрался специальный митинг для обсуждения мер к выражению симпатии американцев лицам, пострадавшим от произвола русского деспотизма и протеста против дальнейшего существования порядка вещей, допускающего такие жестокости. Это собрание, в котором участвовали священ-

ники, профессора, видные политические деятели и филантропы, единогласно постановило:

1) Послать по сему поводу петицию русским властям через посредство имевшей собраться конференции по тюремному вопросу и 2) образовать центральное общество для распространения сведений по этому предмету.

Летом этого же года в Лондоне возникло «Общество друзей русской свободы», в составе которого, кроме проживающих в Англии видных русских революционных деятелей: Кравчинского, Волховского, Войнички (Кельчевского), Серебрякова и других, вошли главным образом природные англичане, в числе которых находятся члены парламента, ученые, священники и другие занимающие выдающееся общественное положение лица. Для большего успеха в своей деятельности названное общество стало издавать ежемесячно, с июня 1890 г., журнал под названием «Свободная Россия» («Free Russia»), редактируемый эмигрантами Кравчинским и Волховским. В первом номере упомянутого журнала намечена программа последнего, в которой, между прочим, говорится:

«Издание на английском языке в столице Англии органа, имеющего целью содействовать делу достижения политической свободы в России, является новым направлением в журналистике, обусловленным тем интересом, который успел возбудить в английском свободном народе Джордж Кеннан описанием страданий жертв царского деспотизма. Бедствие миллионов крестьян, унижение умственной жизни, порча общественной нравственности, причиняемая неограниченным деспотизмом, — вот великие преступления правительства против России, побуждающие ее верных сынов к возмущению. Ужасы, совершенные над беззащитными арестантами, видимые и осязаемые, не допускающие ни извинений, ни колебаний, вызывают к сердцам человечества, возбуждая их против русской тирании». Далее, перечисляя зверства, совершаемые будто бы русским правительством, газета провозглашает, что подобный образ действий является оскорблением всему человечеству, которое не может оставаться равнодушным зрителем. «Русские, — говорится в журнале, — должны вести борьбу и добиться свободы, и если иностранцы не могут оказать непо-

<sup>8</sup> Речь идет об «Обществе друзей русской свободы».

средственной помощи в этой борьбе, то должны по крайней мере стараться обратить внимание общественного мнения свободных государств на русское дело».

Мнение чужестранцев имеет большое значение в России, правительство знает это и относится к нему далеко не безразлично. Строгие меры предосторожности, принимаемые против разглашения каких-либо дискредитирующих власть новостей, а также бесстыдная ложь, к которой прибегает русское правительство, когда к нему предъявляются серьезные обвинения, ясно доказывают, что общественное мнение есть сила, которой бояться в России. Вот этой-то силой «Общество друзей русской свободы» и намерено воспользоваться для борьбы с «падающим русским самодержавием». После изложения в более ярких, чем правдивых, красках «истории избиения ссыльных в Якутске и на Сахалине», первый номер «Свободной России» заканчивается статьей, подписанной именем Р. Спенс-Уотсона (почетного казначея общества), в которой автор, приравнивая русских политических ссыльных к Мадзини, Гарибальди и Кошуту, приглашает англичан и англичанок «содействовать всеми способами достижению свободы столь долго страдающего русского народа».

В настоящее время «Общество друзей русской свободы» получило широкое распространение, имея издания в следующих городах Великобритании: Эдинбург, Лидс, Ланкастер, Нью-Кэстль, Оксфорд, Плимут и Бёрнли — и самостоятельный отдел в Северной Америке, а также членов, сочувствующих целям «Общества» и присылающих пожертвования в Капской Колонии в Африке и в Сиднее (Австралия).

В мае текущего года Кеннан приезжал на несколько дней в Лондон, где виделся с русскими эмигрантами. В будущем году он обещал снова прибыть в столицу Великобритании для чтения лекций на излюбленные темы.

Вред, причиненный Кеннаном интересам русского правительства, громадный. Агитаторская деятельность этого иностранца, сумевшего произвести целый переворот в мыслях и взглядах на «дело русской свободы» всего говорящего по-английски человечества, дала могучий толчок русскому революционному движению за границей. Обстоятельство это, в связи с полной свободой печати в Великобритании и враждебным настроениям к России английского общественного мнения, являющегося, в сущности, главным фактором в управлении страной, получает особую

важность; издающийся же в Лондоне социально-революционный журнал «Free Russia» является в то же время материальной поддержкой и серьезным орудием пропаганды в руках приютившихся в Англии русских революционеров, пользующихся правом убежища в том широком толковании, которое допускает английская государственная власть.

Ст. пом. делопроиз. А. Миллер  
26 июня 1893 г.



Г. Б. Кизельштейн

## Молодые годы Г. В. Чичерина

По материалам  
неопубликованной переписки

Выдающийся советский дипломат Георгий Васильевич Чичерин родился 24 ноября 1872 года в имении «Караул» Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Отец Г. В. Чичерина — Василий Николаевич служил в русских посольствах в Турине и Париже, затем стал советником министра иностранных дел князя А. М. Горчакова.

Дядя Георгия — Борис Николаевич Чичерин — профессор государственного права Московского университета, был идеологом охранительного направления, защитником неограниченной власти царя. Б. Н. Чичерин утверждал, что Великая французская буржуазная революция 1789—1794 годов, «которую многие понимают, как движение идей, есть не что иное, как случайный ход обстоятельств. Будь на месте Людовика XVI Иосиф II или Наполеон, революции никогда бы не было»<sup>1</sup>. Если согласиться с Б. Н. Чичериным, то в борьбе с революцией равно были хороши умеренно-либеральные реформы 1780—1787 годов в Австрии и военный переворот 1799 года во Франции.

Б. Н. Чичерин призывал правительство к твердости. В годы первой революционной ситуации в России (1859—1861 годы) он писал: «В настоящее время сильная власть нужнее, нежели когда-либо»<sup>2</sup>. Через брата Василия Николаевича советы Б. Н. Чичерина не уступать «безрассудной оппозиции» передавались Горчакову, а от него царю Александру II. Показательно, что Василий предупреждал брата: «Не говори... о твоих сношениях с властями, чтобы, пожалуй, не потерять своей либеральной репутации»<sup>3</sup>.

Таким было окружение Георгия Чичерина. После смерти отца опекуном и воспита-



Г. В. Чичерин. Начало 1890-х годов

телем Юрия (так называли в семье Г. В. Чичерина) стал его дядя. Казалось, племянник воспримет охранительно-консервативные взгляды отца и дяди. Но получилось иначе. Г. В. Чичерин порвал со своим классом и безоговорочно встал на сторону революции, отдав ей свой замечательный дипломатический талант, редкие дарования и обширные энциклопедические знания.

В архивах хранится неопубликованная переписка Г. В. Чичерина с дядей Б. Н. Чичериным и его женой А. А. Чичериной, из которой можно извлечь ряд любопытных штрихов для биографии Георгия Васильевича. Характерная для Г. В. Чичерина точность в изложении своих мыслей и сжатость стиля отразились в его эпистолярном наследии.

По словам Г. В. Чичерина, «и дядя и тетья оба — необыкновенные люди по уму и по развитию, так что здесь (речь идет об имении «Караул») в высшей степени интеллектуальная атмосфера, и пребывание здесь дает мне очень многое»<sup>4</sup>. 30 декабря

1888 года Г. В. Чичерин писал: «Вообще я крайне доволен преподавателями и гимназией. Занятия нисколько не обременительны»<sup>5</sup>.

Ранний интерес к истории отразило письмо от 26 декабря 1886 года: «Историей занимаюсь с увлечением. На нее уходят все мои свободные часы; и я особенно интересуюсь не фактовой частью, а рассуждениями (по поводу эпох, фактов, личностей) и развитием государственного строя. Я прочел почти всю историю Костомарова и некоторые из его монографий и исследований и необыкновенно им увлекаюсь. У него смелая, меткая и яркая критика, всему, что он говорит, он представляет ясные и несомненные доказательства, опираясь не на одни рассуждения». Отвечая А. А. Чичериной, которая «сказала голословно, что у Костомарова нет ни одной верной мысли», Г. В. Чичерин замечает: «...мне трудно признать вздором то, что так ясно и удовлетворительно доказано»<sup>6</sup>. Г. В. Чичерин возражает против того, что «многие события, может быть, и неверны, но по чувству патриотизма их нужно благоговейно оставлять в покое; да тогда где же истина? Не лучше ли исследовать дело, как Костомаров, отвергнуть скрепя сердце их историческую достоверность и смотреть на них, как на историческую легенду?»<sup>7</sup>

Естественным после окончания гимназии был выбор Г. В. Чичериным историко-филологического факультета Петербургского университета. Интересны его характеристики профессоров.

Древнюю историю читал выдающийся знаток античности Ф. Ф. Соколов, «который едва упоминает о Солоне, сейчас, конечно — наизусть, начинает декламировать длинные выдержки из стихотворений Солона, и мы получаем очень яркое представление. Вообще память его удивительна: он всегда читает без всяких записок, и его лекции переполнены цитатами, перечислениями и т. п. Его строгая фактическая дисциплина очень полезна и, мне кажется, может предохранить от увлечений блестящими фантазиями».

Говоря о Н. И. Карееве, крупнейшем специалисте по новой истории, в частности Франции, Георгий замечает: этот «ученый, талантливый и серьезный профессор, дает нам очень много... Выделяется его специальный курс об историках революции». (Впоследствии монография Н. И. Кареева «Историки Французской революции» явилась важным вкладом в историческую науку.)



А. А. Чичерина. 1871 г.

Русскую историю Г. В. Чичерин слушал у С. Ф. Платонова, известного знатока Смутного времени. По оценке Георгия, «слушать его — истинное наслаждение. При простоте, ясности, последовательности его лекции имеют какую-то особенную очаровательность и прелесть. Это — сирена. Особенные chefs d'oeuvres<sup>8</sup> те лекции, где он рассматривает полемику по какому-нибудь спорному вопросу; он так мастерски умеет проследить весь ход полемики».

Георгий много и серьезно работает: «Почти каждый день бываю в Публичной библиотеке. На днях читал Бурхардта «Культура Италии в эпоху Возрождения», которая дает замечательно яркое представление об итальянской жизни того времени».

В январе 1892 года Георгий в письме к дяде пишет: «Я стал сознательно стремиться к самоусовершенствованию». Весной 1890 года Георгий познакомился с поэтом М. А. Кузминым. Их связал общий интерес к искусству и поэзии. Г. В. Чичерин





Окрестности усадьбы «Караул».

великолепно играл на фортепиано. Его любимым композитором был Моцарт<sup>10</sup>.

Письма к Кузмину отражают отношение Чичерина к ряду вопросов своего времени. 9 августа 1890 года Чичерин пишет: «Труд должен быть основанием дела, чтобы это дело стояло крепко». Интересна мысль о том, что «великое рождается в муках, в борьбе и страдании... Великое не погибнет, если оно воистину есть великое; ничтожное погибнет — не беда»<sup>11</sup>.

С 1888 года Б. Н. Чичерин работал над своими воспоминаниями, опубликованными в 1929—1934 годах. В августе 1892 года Г. В. Чичерин находился в «Карауле», откуда писал М. А. Кузмину: «Вчера и сегодня мы прочитали главу из воспоминаний дяди Бориса (в прошлом году эта глава существовала только в черновом виде). Это прелестная глава, отлично передающая свежесть чарующих детских воспоминаний, отлично начертаны характеры губернаторов и других лиц, имевших влияние на жизнь дяди Бориса в то время, отлично рассказа-

ны самые интересные события его жизни до 16 лет»<sup>12</sup>.

Хотя после окончания университета Г. В. Чичерин имел возможность быстро продвинуться на дипломатическом поприще, он выбрал архив министерства. Его привлекала возможность по первоисточникам изучать внешнеполитические события. «Есть части архива, где я могу ориентироваться лучше других, поэтому мое присутствие здесь абсолютная необходимость. Другое дело — в канцелярии, где один или другой безразлично могут переписывать или шифровать, и каждый может быть заменен другим», — писал он А. А. Чичериной<sup>13</sup>.

В начале 1899 года в умонастроении Г. Чичерина начинают проявляться оппозиционные к правительству нотки. 30 апреля 1899 года Г. Чичерин упоминает о студенческих волнениях в Петербурге и Москве. В ответ на совет Б. Н. Чичерина не касаться в письмах острых политических вопросов, 23 сентября 1899 года замечает: «Я, конеч-



Б. Н. Чичерин. С портрета художника В. Серова.

но, не буду сокращать своей переписки из-за каких-либо *dossiers secrets*<sup>14</sup>, т. к. трусить — значит ободрять насилие. Чтобы нельзя было интересоваться событиями и сообщаться впечатлениями — этому я не подчинюсь»<sup>15</sup>.

Г. Чичерин резко отзывался о карательной политике правительства в отношении передовой университетской профессуры. 4 октября 1899 года в письме к В. Н. Чичерину: «в университете — разгром, сорвали гнев на профессорах и многих удалили. Уволены лучшие историки — Кареев и Гревс».

Особенно показательно письмо от 5 ноября 1899 года: «Во всех странах открыты просторы естественной силе общества, только у нас они заменены предписаниями начальства... Тем более, что теперь воцарился Сипягин, из отборнейшего круга «ах — православие», «ах — самодержавие», и все остальное — революция. По-моему, «Новое время», с проповедью беспринципности и

постоянным разжиганием низменных страстей, было одним из главных орудий для развращения общества в последние 20 лет... Не могу забыть, как самые выдающиеся немецкие ученые протестовали против самой простой равноправности для чехов... Хороши плоды просвещения!»<sup>16</sup>

С 1903 года Г. Чичерин начинает участвовать в революционном движении. Болезнь заставила его часто выезжать для лечения за границу. В письмах он резко осуждает «нынешнее пошлейшее буржуазное общество... культ денег, и исключительный, поглощающий всю буржуазную Европу, какие это сплошь лавочники, мошенники на законном основании»<sup>17</sup>.

В ноябре 1904 года, предупрежденный о грозящем аресте, Г. Чичерин выехал в Германию, а затем много лет, вплоть до 1918 года, жил в Англии. В письме к Кузмину (конец декабря 1904 г.) читаем: «...как ты уже знаешь, буду многие годы жить за границу эмигрантом». Но и в это вре-



Усадьба «Караул». Общий вид.

мя Чичерина не покидает живой интерес к проблемам культуры и искусства. Он отмечает важный «факт, что нигде и никогда не была выработана общечеловеческая восприимчивость и общечеловеческое понимание так, как в России... и завершение этого есть та чистейшая идеальность, эллинская плюс общечеловеческая, которую представлял бесподобно Пушкин»<sup>18</sup>.

Буквально накануне революции 1905 года Г. Чичерин писал: «Дядя Борис не дожид до настоящего момента, когда трещит внутренне подгнившая постройка». Он уверен, что в ходе борьбы «дворянская помещная собственность больше не будет существовать. «Родовых» имений, вероятно, уже вскоре не будет. Что касается меня, надеюсь приспособиться к новым условиям новой России и войти в новые формы обществу»<sup>19</sup>. Эти строки относятся к 27 мая 1905 года. Дальнейший подъем революции вызывает восторженные строки о том, что «в ослепительной красоте встают перед гла-

зами будущие новые пути или человечество dans de la infinie révolution humain»<sup>20</sup>.

В революции 1905 года он видел продолжение борьбы, начатой Парижской коммуной. «Наша эпоха начинается великими событиями — события 1871 года... Целый новый мир титанически созревает в вулканизме революционности. Вижу, что в новой эпохе рождается титанизм духа, который не только революционен в смысле всякого нового слова по отношению к старому, но революционен по существу... Великая Русская Революция... На долю нашего поколения выпало величайшее счастье — мы дожидались величественной весны народов Восточной Европы... Перед таким головокружительным счастьем, которому, слов нет, — что значат личные жертвы?»<sup>21</sup>

Г. В. Чичерин осуждает тот «варварский строй, при котором блага культуры суть удел маленькой изолированной привилегированной кучки, а народ, т. е. само общество, самое человеческое все, истинный цвет и истинный хозяин жизни, отодвинут куда-то на задний план. Фараоны строили пирамиды, а массы гибли под тяжелыми камня-

ми». Только путем революции можно добиться, что «очаги культуры изолированных кучек превратятся в средоточие всеобщей культуры народного идеала»<sup>22</sup>.

В свете этого становится понятным отказ Г. В. Чичерина от завещанного ему дядей имения «Караул». Еще в апреле 1903 года Б. Н. Чичерин в письме на имя Г. В. Чичерина писал: «Милый Юрий, ты один из семьи родился в «Карауле», а потому я решил, что это указание Божие и что он должен принадлежать тебе»<sup>23</sup>. Согласно землеустроительной описи, в имении было 1578 десятин 862 сажени удобной и неудобной 132 десятины 324 сажени земли. Библиотека насчитывала свыше 4 тысяч книг на русском, французском, итальянском, английском и немецком языках. Более всего было книг по философии, истории, праву, а также классическая и справочная литература<sup>24</sup>. Страстный любитель изобразительного искусства, Б. Н. Чичерин собрал более 25 картин. Среди них школы Паоло Веронезе «Аполлон и Марсий» (ныне в ГМИИ имени Пушкина), мужской портрет Тропинина, пейзажи Ф. Васильева и др. Множество гравюр Тициана, А. Дюрера, Рембрандта, Сальватора Розы, Клода Лоррена, Рубенса, Рейсдаля, Ван Гойена и др.<sup>25</sup>

Эмиграция Г. В. Чичерина и активное

участие в революционной деятельности явились для жены покойного Б. Н. Чичерина — А. А. Чичериной очевидным доказательством, что его взгляды «и стремления все более расходятся с теми, которые всю жизнь руководили дядей Борисом, и которые яркими чертами проходят через все его писания и находят полное выражение в его «Воспоминаниях». А. А. Чичерина права, когда пишет Юрию: «Твои теперешние идеалы были бы ему (Б. Н.) чужды»<sup>26</sup>. Ведь Б. Н. Чичерин называл безумными «людей, отвергающих поземельную собственность. Они обличают только совершенное непонимание коренных условий человеческого общежития»<sup>27</sup>. Этими строками А. А. Чичерина закончила письмо к Г. В. Чичерину от 4(17) июля 1907 года. А 17 сентября того же года Г. В. Чичерин отказался от имения в пользу другого племянника Б. Н. Чичерина — Бориса Андреевича. При этом он советовал в отношениях с крестьянами «делать уступки».

Было от чего негодовать родным и знакомым Г. В. Чичерина.

В настоящее время в имении «Караул» детский интернат, коллекции картин и гравюр распределены по музеям, а рукописи Чичерина хранятся в архивах.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (РОЛБ), ф. 334, папка 17, ед. хр. 5, стр. 2.

<sup>2</sup> «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университет». М., 1929. стр. 30.  
<sup>3</sup> РОЛБ, ф. 334, картон 10, папка 11/2.

<sup>4</sup> Центральный гос. архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 232, оп. 1, ед. хр. 430. Письмо от 1 июля 1890 г.

<sup>5</sup> Центральный гос. исторический архив Москвы (ЦГИАМ), ф. 1154, оп. 1, ед. хр. 157.

<sup>6</sup> ЦГИАМ, ф. 1154, оп. 1, ед. хр. 157.

<sup>8</sup> Там же.  
<sup>7</sup> Chefs d'oeuvres — шедевры (франц.).

<sup>9</sup> ЦГИАМ, ф. 1154, оп. 1, ед. хр. 157. Письмо от 22 октября 1891 г.

<sup>10</sup> Уже в советское время, 14 апреля 1931 года, Г. В. Чичерин писал: «Для меня Моцарт был лучшим другом и товарищем всей жизни, я ее прожил с ним, самым сложным и тонким, самым синтетическим из всех композиторов, стоявшим на вышке мировой истории на перекрестке исторических течений и влияний». По словам Чичерина, возникает много трудностей «для анализа столь сложной амальгамы как Моцарт» (ЦГАЛИ, ф. 2024, оп. 1, ед. хр. 90).

<sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 430.

<sup>12</sup> РОЛБ, ф. 334, к. 10, ед. хр. 1.

<sup>13</sup> ЦГИАМ, ф. 1154, оп. 1, ед. хр. 589.

<sup>14</sup> Dossiers secrète — секретных дел (франц.).

<sup>15</sup> ЦГИАМ, ф. 1154, оп. 1, ед. хр. 589.

<sup>16</sup> ЦГИАМ, ф. 1154, оп. 1, ед. хр. 51.

<sup>17</sup> ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 432 (подчеркнуто Г. Чичериным).

<sup>18</sup> Там же, ед. хр. 431 (подчеркнуто Г. Чичериным).

<sup>19</sup> ЦГИАМ, ф. 1154, оп. 1, ед. хр. 589.

<sup>20</sup> Там же. Бесконечной человеколюбивой революции (франц.).

<sup>21</sup> Там же, ед. хр. 935.

<sup>22</sup> ЦГИАМ, ф. 1154, оп. 1, ед. хр. 941.

<sup>23</sup> Там же, ед. хр. 1007.

<sup>24</sup> Там же.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> ЦГИАМ, ф. 1154, оп. 1. Письмо от 4/17 июля 1907 г.

<sup>27</sup> Там же (подчеркнуто А. А. Чичериной).

Е. Л. Рудницкая

## Неизвестное письмо Михаила Бакунина

20 февраля 1863 года, в разгар польского национально-освободительного восстания, польский эмигрант Зыгмунт Йордан — человек с бурной политической биографией, участник венгерской революции и крымской кампании, а затем активнейший деятель польской аристократической эмиграции, обосновавшейся в Париже, — писал в Стокгольм: «Время так дорого и дела такие срочные, что я могу написать Вам всего несколько слов, чтобы рекомендовать г-на Магнуса Беринга Вам, гг. Манкель, Бланш и Вашим друзьям, которым он захочет быть представленным. Примите его как моего друга, говорите с ним обо всем, что Вас интересует, постарайтесь с ним договориться и оказывайте ему в дальнейшем помощь и поддержку».

Я не имел возможности подробно с ним беседовать перед его отъездом, поэтому не могу сообщить Вам никаких подробностей о его планах, но я глубоко уверен в чистоте его намерений по отношению к Польше и Финляндии. Он может, как все люди, ошибаться, но он не обманет. В данный момент он может оказать нам значительные услуги. Вы сами увидите, что Вы с ним сможете устроить... Еще раз рекомендую и прошу, принять с полным доверием г-на Магнуса...»

Адресатом письма был известный финский публицист и демократический деятель Эмиль фон Квантен, организовавший за пределами Финляндии систематическую пропаганду идей финской национальной независимости. З. Йордан связывали с Э. Квантеном деловые взаимоотношения, завязавшиеся во время его пребывания в 1862 году в Стокгольме, где он налаживал контакты своей партии со шведскими правительственными и общественными кругами. Финский патриот дорожил предоставлявшимся ему З. Йорданом доступом в европейскую прессу, а тот, в свою очередь, нуждался в систематической информации об отношении к польскому движению в Швеции и рассчитывал на практические услуги со стороны финской эмиграции, располагавшей в Швеции значительными политическими связями.

Кто же такой Магнус Беринг, которого З. Йордан столь горячо рекомендовал Э. Квантену и его финским друзьям? Под этим именем скрывался не кто иной, как русский революционер Михаил Бакунин, бежавший из Восточной Сибири через Америку в Лондон и теперь направлявшийся в Стокгольм. Поездка его в столицу Швеции была обусловлена рядом обстоятельств. Прежде всего Бакунин стремился попасть в Польшу для практического участия в восстании. Однако, опасаясь его слишком энергичного вмешательства в польские дела, революционное правительство не давало Баку-

нину разрешения прибыть в Польшу. Не отказываясь от своего намерения, Бакунин решает отправиться в Стокгольм. Он надеется оттуда наладить контакты с руководителями восстания. По пути в Швецию он пишет в Париж польскому эмигранту Александру Гуттри, что намерен в Стокгольме дожидаться «благоприятных известий» (то есть согласия на въезд в Польшу), а тем временем пытаться «возбудить в Финляндии движение, которого жееаем не только мы, но и наши друзья в Петербурге». Активизация национального движения в Финляндии открывала перспективу создания дополнительного фронта против царизма на северных рубежах империи, перспективу объединения русского, польского и финского движения в едином демократическом натиске. Этому стратегическому замыслу и была подчинена поездка Бакунина.

Публикуемое письмо Бакунина от 25 апреля 1863 года, хранящееся в фонде Эмиля фон Квантена в Шведской королевской библиотеке, свидетельствует о предпринятых им усилиях в деле создания финского конспиративного общества и объединения его действий с «Землей и волей». Письмо обращено к деятелям национально-освободительного движения в Финляндии от имени заграничных представителей руководства «Земли и воли» — Герцена и Огарева. Бакунин действительно выступал в переговорах с финнами, как представитель русского заграничного революционного центра. Его позиция в признании неоспоримого права Финляндии на национальное самоопределение, установка на взаимную поддержку русского и финского освободительного движения была согласованной, что подтверждается письмом Огарева к Эмилю Квантену и его инструкцией, врученной сыну Герцена — Герцену-Юниору перед отъездом последнего в Швецию.<sup>1</sup> Однако, согласуя с издателями «Колокола» свои действия в отношении финнов в главном, Бакунин вносил в них собственные взгляды на перспективы русской революции, а также присущие ему приемы пропаганды. Стремясь активизировать освободительное движение в Фин-

<sup>1</sup> Шведская Королевская библиотека. Фонд Эмиля фон Квантена. Ер. Q 1. Автограф на французском языке.

<sup>2</sup> Огарев — Эмилю Квантену. Публикация С. А. Макашина. «Литературное наследство», т. 63. М., 1956, стр. 145—150.

<sup>3</sup> «Три вопроса», публикация М. В. Нечкиной, «Литературное наследство», т. 61. М., 1952.

ляндии, ускорить процесс создания финского тайного общества, Бакунин преувеличивал силы русской революционной партии, выдавая за действительное так и оставшееся неосуществленным стремление руководителей «Земли и воли» выйти за пределы образованных кругов, сделать общество народным по своему составу. В отличие от Огарева и Герцена, которые характер сотрудничества с финнами обуславливали развитием восстания в Польше и перспективами крестьянского выступления в России, Бакунин делал ставку на немедленное объединение русско-польско-финских усилий для совместных прямых действий против царизма.

Послание Бакунина, содержавшее конкретные рекомендации в отношении организационного устройства тайного общества, по-видимому, не соответствовало степени зрелости финского национально-освободительного движения, его готовности откликнуться на призыв к открытым действиям. Об этом говорит как тот факт, что письмо не было передано Квантену по назначению, а осталось в его бумагах, так и то, что связь издателей «Колокола» с Эмилем Квантену и представляемым им демократическим крылом финноманов в последние месяцы пребывания Бакунина в Швеции осуществлялась без его участия.

25 апреля 1863 г., Стокгольм<sup>4</sup>

Я убежден, что пора всем нам сговориться. Мы не должны терять ни минуты, ибо события разворачиваются с поразительной быстротой, и у нас едва останется время хотя бы на то, чтобы прийти к взаимному согласию и подготовиться. И мы, мы должны протянуть друг другу руки для общего дела, так как у нас одни и те же интересы. Вы хотите, господа, свободы и полной независимости вашей родины. Мы хотим этого тоже, искренне, полностью признавая за Финляндией неоспоримое право распоряжаться собой, право на отделение от Российской империи<sup>5</sup>, с тем чтобы либо остаться одной, независимой от всех своих соседей, либо присоединиться к такой политической системе, которая ей понравится. Признание этого права — для нас логическая необходимость, потому что наш принцип — принцип свободы во что бы то ни стало, полной свободы без условий и ограничений. Это — даже более чем разумное следствие наших действий, это — диктуется положением. Мы никогда не сможем сами стать свободными, пока централистское и насильственное учреждение, называемое Российской империей, будет существовать. Мы глубоко и решитель-

но ненавидим эту систему, поработившую нас, чтобы сделать орудием завоевания. Мы жертвы этой системы, так же как и вы, и мы не сможем освободиться от нее, не избавляя вас. Ниспровержение, полное разрушение основанной на насилии империи, называемой Российской, хотя она в своей сущности немецкая империя, освобождение всех провинций и всех народов, русских и нерусских, испытывающих ее гнет, свобода всех с правом каждого самоопределиваться и распоряжаться собой согласно своим желаниям, своим нуждам, своей природе — такова наша практическая цель, таков наш принцип, во имя и для победы которого мы заключили союз с нашими польскими братьями. **Финны, наши соседи и жертвы той же системы, разве они не присоединятся к нам?**

Момент благоприятен. Эта искусственная, чудовищная империя, существующая только благодаря коварству, коррупции и насилию, трещит по всем швам, глубоко расшатанная в самой своей основе. Необходимо покончить с ней. Поляки показывают нам благородный пример. Последнему ему. Уставшие переносить унижения и мучения, черпая свою силу в своем отчаянии, они поднялись безоружные и сегодня противостоят армии царя, бессилие которой они вскрыли. Их движение, в начале слабое, беспорядочное и ограниченное той территорией, которая на дипломатическом языке называется Польским королевством, принимает сейчас всеобщий народный характер, распространяясь на все другие польские провинции, и глубоко потрясает Польшу в ее прежних границах до самых прежних границ России, до Двины и Днепра; оно не остановится там, так как русский народ, столь же уставший от рабства и не ожидая больше ничего от императора Александра, ждет только сигнала к восстанию.

В последние годы в Европе, полагаю также и в Финляндии, много говорили о так называемых благодеяниях теперешнего императора, о реформах, которые он якобы предпринял для цивилизации и освобождения своих народов, а также в целях содействия материальному прогрессу. Люди позволили обмануть себя словами и при-

<sup>4</sup> Автограф письма М. А. Бакунина на французском языке. Перевод Е. В. Киселевой.

<sup>5</sup> С 1808 года Финляндия входила в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское. (Прим. ред.)

няли за поступки обещания и фразы, которыми это лицемерное, в корне несправимое правительство, умерившее свою спесь после победы иностранных армий, было вынуждено воспользоваться после спасительной крымской катастрофы, чтобы скрыть от мира подлинность своих дурных намерений. Мы, инакомыслящие русские, — мы не дали себя обмануть. Мы хорошо знали, что это правительство, вся императорская система, основанная исключительно на угнетении и зле, не способна на добро, не способна даже подумать о нем и еще более не способна его осуществить, если каким-либо чудом ему даже удалось предстать себе. Государство насквозь немецкое, условием и основой его существования является полное отрицание всего того, что называется правом, свободой, человечностью. У него нет другой цели, другой функции и других возможностей, как только порабощение внутри страны и завоевание вне ее, т. е. зло в самом широком смысле слова. Итак, чтобы делать добро, императорская система должна была бы начать с разрушения самой себя. Но никогда зловредная власть не уничтожала самое себя. Необходимо, чтобы мы пришли ей на помощь.

Катастрофа в Крыму была большим счастьем для России. Она пробудила Россию от мертвого сна, на который обрел ее Николай. Она позволила ей дышать свободнее, заставив пошатнуться здание варварского деспотизма, воздвигнутое мощной рукой царя Петра и давившее в течение целого века на страну, как ужасный кошмар. Последствия этой губительной войны, покончившей с императорским престижем и всемогуществом, не только не огорчили народ, напротив, Россия почувствовала себя как бы возрожденной.

Империализм пал, но русский народ начал новую жизнь. Стихийная радость, охватившая все население, вера и новые надежды, внезапно загоревшиеся во всех сердцах по всей территории империи, резко отличались от мрачного уныния официального мира и доказали, что между империализмом, обреченным на гибель, и нацией, призванной к великому будущему, нет ничего общего.

Однако был момент, когда сама власть, вновь обретя надежду и мужество, как будто намеревалась присоединиться к этому естественному порыву, вступая на путь справедливости и свободы. Говорят о реформах, об освобождении, признают открыто прошлые ошибки, сваливая их, впрочем,

на голову императора Николая, вчера еще объекта почитания, лести и страха, а сегодня преданного хуле и презрению. Юный император, неповинный в ужасном прошлом, сердце которого, казалось, было переполнено чувством справедливости, уважения к людям и любви, занял престол, обещая нам золотой век. Увы! Иллюзии были очень недолгими. Император Александр не злой человек. Его склонность к лени и сластолюбию влекла его, естественно, к доброжелательному отношению к людям и веселой жизни. Ему хотелось бы угодить всем недорогой ценой и увидеть себя обожаемым, не утруждая себя. Опьяненный всемогуществом, которым он был вдруг облечен, он одно время вообразил себя призванным возродить Россию, не понимая, что, будь он даже человеком гениальным и высокой души, он все же был бы скован и парализован по самой природе своей порочной власти, препятствующей в самой своей сущности любому подлинному и здоровому развитию нации. У него, скудоумного, малообразованного, способного лишь на мелкие чувства, зародилась весьма странная идея: провести необходимые реформы и освободить народы, находящиеся под его гнетом, сохраняя во всей неприкосновенности самодержавие: установить честность в администрации и справедливость в суде, ограждая повсюду произвол министров и высших чиновников; дать крестьянам свободу, оставляя их прикрепленными к земле, дать им землю без права собственности, наконец, заставить поляков обожать его и прослыть восстановителем и благодетелем Польши, одновременно продолжая придерживаться варварской, святотатственной системы императора Николая. Одним словом, предстать в роли освободителя, не поступаясь ни малейшей частью тиранической и зловредной власти, унаследованной им от отца. Это была жалкая иллюзия разнужданного воображения, убогая фантазия недалекого ума. Он должен был, разумеется, потерпеть неудачу и в конце концов понял, что задуманные великие реформы были несовместимы с самими условиями его власти. И он отказался от них, чтобы сохранить ее. Вот, в нескольких словах, вся его история. Ныне он стал более деспотичным, более жестоким тираном, чем когда-либо был император Николай. Тирания Николая была неумной, но железной, верившей в себя. Тирания Александра — это тирания слабости и малодушия. Он трусит, и не без основания, так

как дни его царства сочтены. Он и его династия, а вместе с ними вся императорская система осуждены на гибель.

Великие перемены произошли уже в русском народе. Тот, кто знал этот народ лишь во времена императора Николая, не узнал бы его теперь. Он взял все то, что ему были вынуждены даровать, но не удовлетворился этим. Он никогда не шел на уступки императорской власти и никогда не прекращал борьбы с нею. Именно эту упорную борьбу русского народа против официальной России, против императорской России совершенно не знают за границей; эта борьба началась задолго до Петра I, еще в царствование его отца, царя Алексея, и никогда не прекращалась, вплоть до наших дней. Жертвы этой двухвековой борьбы должны исчисляться не сотнями, не тысячами, а сотнями тысяч. Эта борьба была покрыта мраком и оставалась неизвестной до сих пор, ибо она велась в глубинных слоях народной жизни, но она полна драматизма, и ее необходимо знать, чтобы правильно понимать происходящее сегодня в России. Громадное большинство русской нации никогда не соглашалось с тем, что называют реформами царя Петра, ни с немецкой чужеродной цивилизацией, насильственно введенной им в России. Идея Петра была следующей: он хотел создать великое государство, на манер немецкого, особенно прусского, насильственное как внутри страны, так и за ее пределами, военное, бюрократическое и способное завоевать пол-Европы. А ведь ничто так не противоположно русскому духу, невоинственному, не стремящемуся к завоеваниям и охотно довольствующемуся примитивной свободой общинной жизни, и который никогда не создал бы по собственной воле то, что называют Российской империей. Эта империя и вся эта бюрократическая, немецкая, официальная Россия, являющаяся ее плотью, — предмет глубокой непримиримой ненависти русского народа, и не без бунта Россия позволила надеть на себя эту смиренную рубашку. Эта битва не на жизнь, а на смерть между народом варварским — если вы хотите, но полным мощи и энергии, народом, чувствующим себя настолько самобытным, чтобы развиваться по-своему, и этой императорской, чужеземной системой, русской только по имени, приняла с самого начала характер религиозной борьбы. Вы, конечно, слышали о наших **раскольниках**<sup>6</sup>, ярых врагах официальной церкви. Они враги не только церкви, они, кроме того и главным

образом, враги государства, слепым и раболопным оружием которого является и сама эта церковь. Борясь против Святейшего синода, они борются с императором, и они борются с ним во имя свободы общин и автономии провинций, составявших до Петра основу русской национальной жизни. Император для них антихрист, а его империя, вся эта бюрократическая, военная организация, все привилегированные сословия — для них орудие угнетения — царство дьявола. И не без основания наши цари, начиная с Алексея и до наших дней, преследовали раскольников с ожесточением, которое не может идти в сравнение с жестокостью римских императоров по отношению к первым христианам. Цари прекрасно поняли, что раскольники представляли величайшую опасность для чудовищного немецкого государства, основанного Петром на крови и обломках национальной жизни. Ничто не может дать надлежащее представление о варварских преследованиях, которым подвергались эти бедные верующие в течение всей двухвековой борьбы. Начиная с Алексея не проходило, наверно, и года, чтобы тысяча, что я говорю, несколько тысяч раскольников не истреблялись бы пулями и штыками солдат или погибали бы под кнутом палачей. Целые деревни сжигались, уничтожались, тысячи женщин и детей гибли в лесах, где они укрывались от императорского варварства, сотни тысяч ссылаемых массами в Сибирь умирали на полпути от холода, голода и плохого обращения — все это благодаря общеизвестной «честности и гуманности» русских чиновников, благодаря этому великолепному пренебрежению к жизни ближнего, составляющему отличительную черту всей нашей императорской администрации. Все же, несмотря на все эти ужасы, русские раскольники сохранили полностью свою силу. Преследования, как всегда и везде, не сломили их, а увеличили их число. И император Николай, этот деспот из деспотов, этот идеал тирана и, безусловно, самый неумолимый враг и самый ожесточенный преследователь сектантов, совершавший чудеса жестокости при их истреблении, был вынужден в конце своего царствования во всеулышание признать, что он оказался бессильным против раскольников. Сегодня, по официальной статистике, насчитывается около пятнадцати миллионов раскольников. Они представля-

<sup>6</sup> В подлиннике по-русски.



ют собой самую жизненную, самую энергичную и самую мыслящую партию русского народа. Верные старинным традициям, они требуют сегодня, как и прежде, но с еще большей настойчивостью, чем когда-либо, **свободы, полной свободы для народа и земли для него**, т. е. эмансипации общин, владеющих землей и самоуправляющихся при помощи выборных лиц, полное уничтожение всякой бюрократии и всей этой немецкой организации империи, — административной автономии провинций и, вместо этого гнусного централистского государства, федерацию провинций. Таков идеал, такова народная воля. Такова также программа тайного общества, распространяющего свою организацию на всю империю и охватывающего все классы, начиная с молодой и мыслящей части дворянства до последнего крестьянина. Тысячи преданных людей всех классов — дворян, буржуазии, крестьян, священников, артистов, ремесленников, крупных и мелких военных и гражданских чиновников входят ныне в это могущественное общество, начертавшее на своем знамени два символа народной веры: **«Земля и воля»**.

Я обращаюсь к вам, господа, от имени этого общества, которое дало мне право представлять его за границей, право, которое я разделяю с моими лондонскими друзьями Герценом и Огаревым. Я полагаю, что ясно изложил наши взгляды и политическую цель. Попытаюсь еще раз сформулировать все это в нескольких словах.

1. Мы хотим полного и всецелого разрушения Российской империи, так как мы глубоко убеждены, что существование этой империи, основанной на варварском угнетении, на систематическом и абсолютном отрицании национальной жизни и которая может держаться только благодаря насилию как внутри страны, так и вне ее, несовместимо со свободой. Мы, следовательно, враги этой империи, но не как измеченники, а как патриоты, так как, будучи сорокамиллионным народом Великороссии, мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы не нуждаться ни в коварстве, ни в насилии, ни в чужой собственности, чтобы обеспечить себе достойное существование. В противовес императорской централизации, мы — федералисты, не по капризу, не по чрезмерному увлечению какой-либо теорией, но потому, что это диктуется самим нашим положением; ибо суровый опыт двухвековой борьбы доказал нам, что бюрократическая система делает невозмож-

ным свободное развитие сил и жизни народа.

2. Требуя свободы для нас самих, мы ее требуем и должны ее требовать для всех наших соседей, особенно для тех из них, которых завоевательная политика С.-Петербурга насильственно соединила с нами. Мы не только признаем право Финляндии, Эстонии и Латвии, Польши, Литвы, Украины и Малороссии (La Petite Russie), Бессарабии, Грузии и всего Кавказа на свободное и независимое от нас существование, но мы хотим помочь им завоевать эту свободу. Мы этого хотим как из чувства симпатии, так и по необходимости, ибо, находясь под одним и тем же игом, мы должны объединить наши усилия, чтобы сбросить его. Освобождая себя, мы непременно освобождаем вас и наоборот. В этом духе мы заключили союз с революционной Польшей и в этом же духе мы предлагаем вам нашу помощь.

3. Мы твердо убеждены, что пробил час для императорской династии и что близко падение империи, угнетавшей Север в течение двух веков. Мы считаем, следовательно, что настоятельный долг каждого народа, входящего в эту империю, подумать о своем будущем и подготовить его. Горе тем, кто спит, горе тем, кто позволил ослепить себя кажущимся могуществом этой отмирающей империи, горе тем, кто не предвидит неизбежного падения и кто не встретит его бодрствующим и подготовленным. Они будут раздавлены под ее обломками. Мы надеемся, что финны тоже настроены, что они верят нам и что они протянут нам руку.

4. Нам хотелось бы заключить подлинный и тесный союз с ними, имеющий целью наше общее освобождение. Как ближайшие соседи, объединенные гнетом общего господина, мы можем, мы должны оказывать помощь друг другу в борьбе против него. Основания предлагаемого союза таковы:

А) Мы признаем открыто и от всей души, без ограничений и оговорок, права финского народа на полную независимость, и мы чистосердечно и всеми способами поможем ему освободиться от нас, чтобы установить у себя такую форму правления и войти в такой союз или в такую политическую организацию, какую он желает. В будущем мы единственно ждем от него добрососедских отношений, основанных на полной независимости и на уважении наших взаимных свобод.

Б) Взамен мы просим помочь нам всеми средствами низвергнуть империю С.-Петербурга. Финны могут помочь нам немедленно, во-первых:

а) начав активную пропаганду в своей стране, пропаганду, конечно, направленную против С.-Петербурга, в соответствии с польским и русским революционным движением. Впрочем, они должны ее вести ради самих себя, если только они хотят что-нибудь предпринять. Что касается Польши и нас, мы извлечем из этого ту крупную выгоду, что правительства С.-Петербурга, боясь финского движения, будут вынуждены раздробить свои силы. Дерзайте, господа! Это правительство, напуганное до мозга костей, но надеющееся еще обмануть мир своей деланной смелостью, уступит вам во многом. Но не останавливайтесь на полпути, в особенности не давайте обмануть себя пустыми обещаниями, используйте каждую уступку, вырванную вами у правительства, чтобы потребовать новых. Дерзайте и берите побольше. Пора взять все! И не забывайте, что мы вам поможем.

б) Вы можете помочь нам и в то же время самим себе, ведя пропаганду среди эстонских и латвийских крестьян Ливонии, Эстонии и Курляндии. Не может быть, чтобы среди ваших друзей не нашелся кто-нибудь говорящий на этих языках. Поэтому пишите, печатайте брошюры или присылайте их нам, чтобы мы могли их напечатать в Стокгольме, посылайте проповедников свободы и национальной независимости к этим крестьянам, ненавидящим немецких баронов, присутствие которых обесчещивает эти страны. Помогите нам поднять там восстание.

в) Вы можете также помочь нам, распространяя наши пропагандистские издания в России, либо через С.-Петербург, либо через Прибалтийские провинции, либо через Олонецкую губернию. Вы можете помочь нам установить постоянные связи

между С.-Петербургом, Стокгольмом и Лондоном.

В) Для того чтобы ваша деятельность была более плодотворной, вам нужно также объединиться в тайное общество. Создайте центральный комитет из пяти, семи или даже десяти лиц, служащий центром всей финской конспирации и придающий регулярный, гармоничный и единый характер всей работе финского союза. Затем, после того как вы создадите свою организацию, свяжитесь с временным польским правительством, с Лондоном через Стокгольм и с С.-Петербургом. Организуйте пути сообщения и пункты для перевозки писем, печатных изданий и отдельных лиц по всей Финляндии, безусловно верными, безусловно осторожными и безусловно преданными людьми — особенно на пути из Стокгольма в Петербург через Або и Гельсингфорс, чтобы иметь возможность расстроить планы русской шпионской службы, которая, несомненно, станет с каждым днем все более подозрительной, более придирчивой и более тиранической. Установите между всеми нами возможно более регулярную систему сообщения. Это самая насущная необходимость.

Г) Податель сего письма снабдит вас также всеми необходимыми адресами для связи вас со Стокгольмом и через него с Лондоном. Кроме того, он доставит вам все необходимое для установления постоянной связи с Центральным комитетом **«Земли и воли» в С.-Петербурге.**

А теперь, господа, мне остается только выразить надежду, что вы примете это письмо с такими же искренними чувствами, какими оно было продиктовано, и что вы не откажетесь заключить с нами союз, столь же необходимый для нашей свободы, как и для вашей.

Надеюсь также, что вы не замедлите с ответом.

От имени общества «Земля и воля»

**М. Бакунин**

Н. Пирумова

## Два портрета

Портрет, который воспроизводится здесь, публикуется не впервые. Еще в 1915 году он появился в книге А. А. Корнилова «Молодые годы М. А. Бакунина». Однако фамилию автора портрета Корнилов не привел. Семнадцать лет спустя начало выходить собрание сочинений М. А. Бакунина. В первом томе его также был помещен этот портрет — на этот раз с подписью «Акварель неизвестного художника». В последней книге о Бакунине, вышедшей в 1966 году<sup>1</sup>, под этим портретом те же слова. Но, как удалось установить совсем недавно, художник известен, и это не кто иной, как сам М. А. Бакунин.

Оригинал портрета хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки

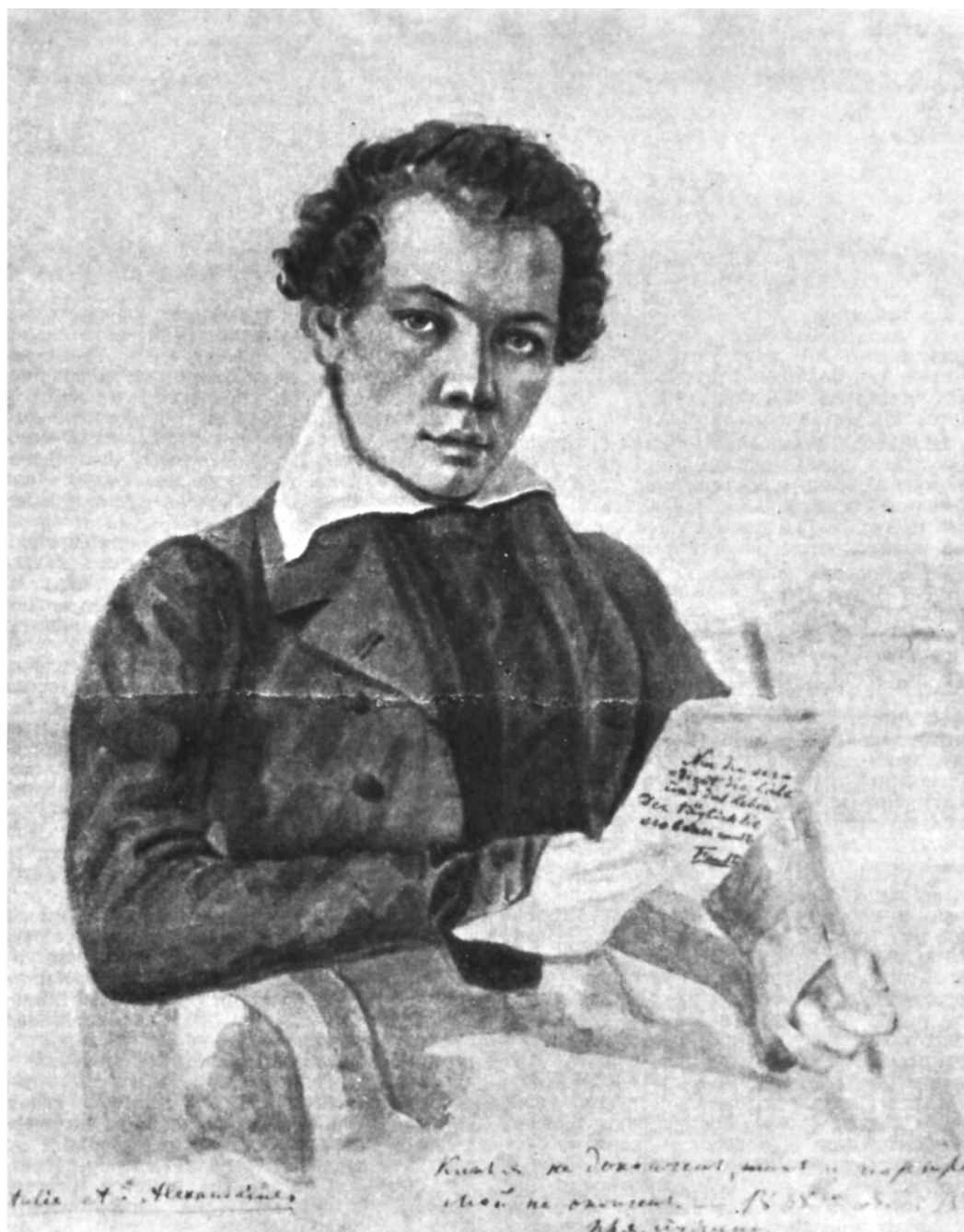
имени В. И. Ленина. На обороте надпись: «Портрет-акварель М. А. Бакунина работы Михаила Александровича Бакунина. Собственность Беер Николая Алексеевича, Москва, Новинский бульвар, д. Баженовой»<sup>2</sup>.

Но прямое свидетельство владельца портрета не единственное доказательство авторства М. А. Бакунина.

---

<sup>1</sup> Н. Пирумова, Михаил Бакунин. Жизнь и деятельность. М., 1966.

<sup>2</sup> Очевидно, Николай Алексеевич или его брат Александр Алексеевич Беер, помогавший А. А. Корнилову в подготовке его книги «Молодые годы М. А. Бакунина», и передал портрет в библиотеку.



Как я не докончил, так и портрет мой не окончен. — 1838 г. отд. 15<sup>го</sup> кл. Прямухино.

Приглядимся внимательно к интересующему нас изображению, прочтем надписи внизу и на книге, которую Бакунин держит в правой руке, и попробуем воспроизвести обстоятельства создания как рисунка, так и текстов, его сопровождающих.

1838 год. Молодой Бакунин полон философских размышлений. Он ищет абсолютную истину, восторженно увлекается немецкой философией, но не знает еще, как и куда приложить свою бьющую через край энергию, свои умственные силы.

В один из приездов в Прямухино (имение Бакуниных) он берется за карандаш и краски, довольно удачно воспроизводит свое изображение, но... не до конца: левая рука остается ненаписанной. Это не смущает его. И даже наоборот, как бы отвечает его состоянию. Так появляется подпись «Как я не докончен, так и портрет мой не окончен». Портрет он дарит своим друзьям — сестрам Наталии и Александре Беер (см. надпись в нижнем углу). Это молодые поклонницы философских талантов Мишеля. Он постоянно проповедует им.

Руководить другими его страсть. Впоследствии она примет иные масштабы, но пока еще собственные сестры да небольшой круг друзей (в том числе сестры Беер) составляют всю его аудиторию. Так вот и здесь он не может упустить случая преподать некий урок молодым девицам. Обратите теперь внимание на надпись на книге. Это строчки из «Фауста»: «Лишь тот достоин любви и жизни, кто каждый день за них идет на бой». Слово «свободы» в стихах Гёте здесь заменено словом «любви». Сделано это не без умысла. Любовь для идеалистов 30-х годов — понятие скорее абстрактное, чем конкретное. Вот как трактует его Бакунин: «Мы чувствуем в себе... мир абсолютной свободы и абсолютной любви, и, крещенные в этом мире и про-

никнутые этой божественной любовью, мы чувствуем себя существами божественными и свободными, предназначенными для освобождения человечества, еще поработанного, вселенной, являющейся еще жертвой инстинктивных законов бессознательного существования... Абсолютная свобода и абсолютная любовь — вот наша цель; освобождение человечества и всего мира — вот наше назначение» (письмо сестрам от 9 августа 1836 г.).

Однако в данном случае можно предположить, что, помимо абстрактного характера всеобщей абсолютной любви, Бакунин намекал одной из своих корреспонденток, а именно Наталии Беер, на ее неудачную любовь к Н. В. Станкевичу.

Характер надписей, сама незавершенность рисунка и, наконец, свидетельства последнего владельца портрета — все, казалось бы, говорит о том, что перед нами автопортрет. Остается лишь одно сомнение: умел ли Бакунин рисовать? До последнего времени мы не располагали подобными сведениями, но вот Татьяна Геннадьевна Кропоткина (урожденная Бакунина) предоставила нам возможность снять копию с хранящегося у нее первого автопортрета юного Мишеля.

В семье Бакуниных любили и умели рисовать. Хорошо рисовал и Мишель. С карандашного рисунка глядят на нас умные, живые глаза мальчика лет четырнадцати. Хорошее, чистое юношеское лицо, а внизу голова бычка. Эта насмешка над самим собой придает иронический характер всему изображению. Рисунок, очевидно, помещался в альбоме, другие листы которого не сохранились, но и здесь в левом верхнем углу мы видим какой-то незавершенный набросок, принадлежавший, по всей вероятности, тому же автору. Итак, последние сомнения, нам кажется, рассеяны. Перед нами два автопортрета М. А. Бакунина.



С. А. Рейсер

## Вокруг Чернышевского

Уволенный в 1858 году из Харьковского университета за участие в студенческих беспорядках, впоследствии второстепенный журналист, Николай Николаевич Мазуренко (1838—1914) пишет в своих воспоминаниях: «После ареста Чернышевского <7 июля 1862 г.> я в тот же день выехал из Петербурга в имение матери в Екатеринославской губернии, а потом за границу».

Чем объясняется этот срочный отъезд, Мазуренко не счел нужным рассказать и через сорок пять лет. Надо полагать, что у него были какие-то основания для поспешного бегства из столицы. Однако имя Мазуренко ни разу не упомянуто в сочинениях, письмах, мемуарах Чернышевского или его современников. Исследователям остается только строить зыбкие гипотезы о том, почему Мазуренко предпочел не попадаться на глаза следственным органам.

Оказывается, Мазуренко был не одинок.

Профессор Д. А. Валика в недавней статье о педагогической деятельности друга Добролюбова — Бориса Сциборского снова назвал в качестве «секретаря Чернышевского в Петербурге» Ивана Ивановича Кантовича<sup>1</sup>.

Из донесения агента III отделения было известно, что Кантович заменил уехавшего в начале мая А. О. Студенского — значит его работа у Чернышевского длилась не более двух месяцев<sup>2а</sup>.

По моей просьбе Д. А. Валика уточнил сообщенные им сведения и любезно разрешил использовать их в печати. С получением из Горьковского областного исторического архива микрофильма дела<sup>3</sup> это стало возможно.

19 июля 1863 года нижегородский военный губернатор А. А. Одинцов в секретном отношении к Нижегородскому генерал-губернатору Н. А. Огареву, на основании чьего-то доноса, сообщил: «Дошло до моего сведения, что у мирового посредника 4-го

участка Макарьевского уезда Нижегородской губернии В. Н. Левашева проживает, в должности письмоводителя, из духовного звания Иван Иванов Кантович, который, ведя нетрезвую жизнь, как слышно, имеет вредное влияние на крестьян Ветлужского края, неправильно разъясняя им обязанности об уплате оброков. Кантович переписывается с проживающим в Нижнем Новгороде Николаем Осиповым Михайловым и учителем Александровского дворянского института Николаем Васильевым Копиченко. Говорят, что Кантович был писцом у Чернышевского».

Н. А. Огарев не медля наложил резолюцию; один из пунктов ее гласил: «Кантовича арестовать и доставить в Нижний».

В том же деле, на отдельном листке, о Кантовиче написано нечто вроде резюмэ доноса: «Вреден по влиянию на крестьян Ветлужского края, коммунист, из духовного звания, был письмоводителем Чернышевского, пьяница».

Время было тревожное, в Петербурге не так давно были арестованы Н. Г. Чернышевский, М. Л. Михайлов, В. А. Обручев, Н. В. Шелгунов, были закрыты воскресные школы и Шахматный клуб, был усилен надзор за типографиями. А совсем недалеко от Нижнего Новгорода, в Казани, только что был открыт большой антиправительственный заговор; расследование было поручено облеченному большими полномочиями тайному советнику С. Р. Жданову, назначенному председателем «Высочайше учрежденной главной следственной комиссии по политическим делам», обосновавшейся не в столице, а непосредственно в месте обнаружения «крамолы» — в Казани.

В этих беспокойных условиях власти совсем не расположены были церемониться или мешкать. 19 июля из Нижнего Новгорода полетело соответствующее приказание Макарьевскому уездному исправнику,

<sup>1</sup> «Исторический вестник», 1907, № 9, стр. 890.

<sup>2</sup> «Ученые записки Горьковского гос. университета», вып. 71, 1965, стр. 254.

<sup>2а</sup> «Красный архив», 1928, № 4 (25), стр. 178.

<sup>3</sup> Секретное дело канцелярии Нижегородского военного губернатора по обвинению поручика Михайлова, учителя Копиченко, студента Лаврского, письмоводителя Кантовича и Вишневецкого в антигосударственной пропаганде. На 62 листах; началось 18 июня 1863, закончилось 9 октября 1864 г. Фонд № 2, опись 6а, дело № 65. Все дальнейшие цитаты и ссылки — по документам этого дела.

а 22-го на отпуске этого документа Н. А. Огарев дописал: «22 июля писано мною частным образом Жедринскому<sup>4</sup> об следствии строгого обыска у Кантовича. Послано с нарочным».

Но и этого показалось мало. Тут же Одинцов написал служебную записку, вероятно, правителю дел своей канцелярии: «Потрудитесь немедленно отправить с нарочным к Жедринскому, подтвердив ему, чтоб ехал скорее; также написать Семеновскому исправнику, чтоб нарочному не делали задержек от Семенова до Ветлуги». От Нижнего Новгорода до Ветлужского края (там и был расположен Макарьевский уезд) путь был не прямой и не близкий — несколько десятков верст.

Из этого видно, как напуганы были власти и какую оперативность они проявили в задержании возможного преступника, получившего в доносе какого-то доброхота грозную квалификацию коммуниста.

26 июля Кантович был арестован и помещен в одиночной, секретной камере Нижегородской главной гауптвахты. Найденные у него бумаги (из дела не видно какие) были опечатаны и доставлены генерал-губернатору Н. А. Огареву. В дальнейшем никаких ссылок на эти бумаги нет — значит, ничего криминального обнаружено не было.

Но при аресте в Нижнем Новгороде в эти же дни Н. О. Михайлова и Н. В. Копиченко было найдено одно письмо к ним Кантовича. Содержание его возбудило у нижегородских властей подозрения.

14 августа Кантович под строгим конвоем (жандарма и казака) был препровожден в Казань, в распоряжение следственной комиссии: Михайлов и Копиченко тоже были, каждый отдельно, доставлены туда.

Результат следствия был изложен в обширном письме С. Р. Жданова нижегородскому военному губернатору от 21 сентября.

Казанская следственная комиссия занялась исследованием только одного вопроса, ближе всего ее интересовавшего: что за переписка велась между Кантовичем и Копиченко — Михайловым.

Кантович объяснил, что письма к ним посылались одно через Погодина, а одно через Хорвата; второе было написано в нетрезвом состоянии, и комиссия, исследовав почерк Кантовича, с этим согласилась (в ее распоряжении было только второе письмо).

В письме были неясные фразы; одну из них отношение Жданова нам сохранило:

«Я послал письмо с Погодиным, Плаксина вы можете считать как угодно, но я это другое дело, потому... их подкупают они... отчего же мы их не можем подкупить... вы поймите меня. Господин, доставляющий вам письмо, недурной — это верно, говоря официальным языком, но далее официальности идти не следует».

На допросе Кантович объяснил, что недосказанные фразы (они обозначены в письме многоточиями) «касаются бывшего в Нижнем Новгороде предположения относительно издания «Листка» и участия в нем сотрудников вообще и Плаксина».

Непосредственной связи с казанскими делами в показаниях Кантовича не нашлось; Копиченко и Михайлов на очной ставке с ним утверждали, что они не знали его фамилии, а просто — как «Ивана Ивановича».

Комиссия констатировала, что письмо «по своим намекам и недосказанным фразам <...> действительно возбуждает некоторое сомнение и подозрение».

Кантович был все же освобожден, отслан обратно в Нижний Новгород и отдан под секретный надзор полиции.

Мы не знаем, что делал Кантович в течение месяца по возвращении из Казани.

Вскоре наступила неожиданная развязка...

В деле сохранился рапорт помощника нижегородского полицеймейстера, к нему приложен бланк, озаглавленный «Происшествия»: «23 сего октября в доме семеновской мешанки Парасковьи Уткиной зарезался ученик, исключенный из С.-Петербургской медицинской академии, Иван Кантович, о чем приступлено к дознанию, а тело отправлено в Мартыновскую больницу».

Бюрократическая машина немедленно заработала. Полетел очередной рапорт полицеймейстера с подтверждением факта смерти, особое отношение о том, что Кантович именно тот самый Кантович, «который был отправлен в город Казань» (значит, власти сразу же поставили факт самоубийства в некую связь с недавним арестом), предписание военного губернатора Нижегородскому уездному суду «немедленно мне донести, в каком положении находится <...> дело о зарезавшемся» Кантовиче (он тут и дальше по ошибке назван

---

<sup>4</sup> По «Адрес-календарям» видно, что прапорщик Н. П. Жедринский занимал в это время должность непреременного заседателя Макарьевского уездного суда.



исключенным из духовной академии) «и определены ли причины, побудившие Кантовича к такому злодеянию». Из другого письма видно, что по делу Кантовича была «назначена следственная комиссия» — значит, власти полагали, что это не обычное самоубийство, а нечто требующее внимательного изучения. В самоубийстве могли быть и политические причины.

Дело расследовалось медленно, а случай был особый. Поэтому 14 ноября тот же военный губернатор писал в уездный суд: «Я строго предписываю доставить такое <результат следствия> немедленно».

19 ноября Нижегородский уездный суд рапортовал военному губернатору о результатах следствия.

Причину самоубийства открыть не удалось. Следствие установило, что Кантович некоторое время учился в Петербурге, в Медико-хирургической академии, но был исключен за неуспеваемость. Затем он жил несколько лет в Петербурге и, как написано в рапорте, со слов отца, «в то время занимался литературой, но у кого, он не знает». Далее сообщались места его жизни в Нижнем Новгороде, куда он приехал в августе или сентябре 1862 года «для свидания с отцом и приискания должности». По возвращении из Казани Кантович жил у отца. Отец предположил, что сын зарезался в припадке помешательства: он был «постоянно задумчив, говорил мало и в разговоре сбивался, то есть не кончив одну материю, переходил к другой». Сверх того не слишком образованный отец покойного приписывал расстройству рассудка и то, что сын его в последнее время чрезвычайно много и часто ел, «чего прежде с ним не бывало». У отца возникло еще и другое предположение — не был ли сын его зарезан. Основание: сапоги покойного лежали «в таком порядке, как будто они были сняты с него кем другим», а ручки самовара оказались в крови. Наконец, и это нам всего интереснее, отец сообщил, «что сын его оставил Петербург потому, что редактор журнала, неизвестный ему по фамилии, у которого Кантович был сотрудником и проживал, как ему покойный сын рассказывал, был посажен в крепость по какому-то делу, после чего он в Петербурге оставаться не хотел, не надеясь найти там себе место».

Больше ничего выяснить не удалось, и на этом дело завершается.

Эпизод с Кантовичем значительнее, чем это может показаться сначала.

Очевидно, у писаря были какие-то достаточно важные соображения, заставившие его в срочном порядке покинуть столицу сразу же после ареста Чернышевского.

Казалось бы, у обыкновенного письмоводителя никаких оснований для тревоги не должно было быть. Писцу не поручают секретных дел. Сегодня он служит у Чернышевского, а завтра он может спокойно перейти на другую работу — хоть к Краевскому, Коршу, даже Скарятину или Аскоченскому — вообще к кому угодно другому. Акакию Акакиевичу ведь все равно что переписывать...

Значит, Кантович ощущал себя не просто писарем, он пользовался какой-то степенью доверия своего нанимателя. Возможно, он поспешил с отъездом потому, что не хотел подвергаться допросам и быть вынужденным сообщать властям что-то такое, что он знал, а им знать не следовало?

А может быть, Кантович боялся, что ролью свидетеля власти не удовлетворятся и привлекут его к ответственности в качестве подсудимого за какие-то противоправительственные поступки, например за недонесение о переписке каких-либо политических документов<sup>5</sup>.

Наконец, зная методы судебного следствия тех лет, Кантович мог поспешить с отъездом, чтобы не оказаться запутанным и невольно не стать предателем.

Как и в случае с Мазуренко, у нас нет никаких достоверных данных и приходится только строить предположения...

Изучаемое нами дело вводит в оборот некоторые новые имена. Плаксин, Погодин, Хорват — они ничего не добавляют к нашим знаниям о политической жизни в Нижнем Новгороде.

Имена Копиченко и Михайлова были известны и раньше.

По делу о Казанском заговоре Николай Васильевич Копиченко был приговорен к высылке под строгий надзор полиции<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Мы до сих пор не знаем, чьей рукой переписан единственный дошедший до нас экземпляр прокламации «Барским крестьянам». Более ста лет считалось, что он написан рукой М. Л. Михайлова, но теперь это предположение полностью опровергнуто (см. мою статью «Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...». Историография. Текстология» в сб. «Книга», № 14, М., 1967, стр. 214).

<sup>6</sup> А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Деятели революционного движения в России. Библиографический словарь, т. I, ч. 2, М., 1928, столб. 180; ср.: А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. 16. Пг., 1920, стр. 355, 357.

Из дела видно, что к концу 1870 года он был освобожден от надзора. М. В. Нечкина считает Копиченко вероятным руководителем Нижегородского отделения «Земли и воли»<sup>7</sup>. Если это так, то знакомство и письмо к нему Кантовича не покажутся такими невинными.

Сложнее обстоит дело с Михайловым. Прежде всего — о каком Михайлове идет речь?

В доносе, с которого началось все дело, ясно указан Николай Осипов Михайлов; далее он называется всюду без имени, но неожиданно в письме Казанской следственной комиссии «начальнику Нижегородской губернии» от 16 апреля 1864 года он назван Иосифом Михайловым. Иосифом он именуется и в отношении нижегородского жандармского штаб-офицера от 8 мая 1864 года: вероятно, он просто повторил имя, названное в предыдущем письме.

Очевидно, перед нами ошибка, вызванная невнимательностью писаря. Николая Осипова он превратил в Осипа, а в полной и официальной форме — в Иосифа.

Если это так, то, не боясь ошибиться, можно отождествить этого Михайлова, с Михайловым — поручиком 6-го резервного стрелкового батальона (в словаре А. А. Шилова — М. Г. Карнаухова — 148-го пехотного Каспийского полка), который мельком, без инициалов упомянут в «Записке» С. Р. Жданова<sup>8</sup> и у Л. Ф. Пантелеева<sup>9</sup>. Его упомянул и Герцен в написанной по-французски заметке: «Lérome Kenevitz», напечатанной в 1865 году в № 64 «La cloche»<sup>10</sup>. Михайлов пострадал сильнее Копиченко. Обвиненный в недонесении о готовящемся в Казани заговоре, он был приговорен к лишению всех прав состояния и каторжным работам в крепостях на 10 лет<sup>11</sup>.

Таковы два корреспондента Кантовича. Оба эти имени наводят на мысль, что перед нами не случайное полужнакомство, а сближение на почве политических интересов.

Кажется, можно нащупать какие-то не до конца проясненные пути, которые, пожалуй, не столь безобидны, как это казалось властям. Они представляли себе Кантовича как недоучившегося студента<sup>12</sup>, беспутного и опустившегося пьяницу. Это была только небольшая часть правды.

Едва ли случаен выбор людей, с которыми Кантович оказался связанным, сразу же по возвращении из Петербурга на родину.

Станным кажется вчерашний писарь

Чернышевского, обсуждающий, хотя бы и в подпитии, план издания газеты с будущими подсудимыми по Казанскому заговору.

Естественно напрашивается гипотеза: не ведут ли все эти пути к «Земле и воле», не был ли Кантович так или иначе связан с этой организацией?

Очень неправдоподобно, что Кантович стал устанавливать связи, думать об издании какого-то органа, только приехав в Нижний Новгород в августе 1862 года, а до того был вне всякой политики.

Секретарь и сотрудник Чернышевского — это, конечно, преувеличение. Но и в писаря осторожнейший Чернышевский брал, надо полагать, не всякого. Он не впускал к себе в дом первого встречного. Вероятно, Кантович был кем-то рекомендован, как человек, заслуживающий доверия, и это доверие он оправдал.

Кантович понял, что его имя в Петербурге навсегда связано с Чернышевским: он не хотел совершать ничего, что могло бы ухудшить участь его «нанимателя», и, чтобы не быть вовлеченным в дело, он предпочел уехать из Петербурга и в Нижнем Новгороде попытаться связаться с людьми того же образа мыслей.

За сухими страницами архивных справок нам приоткрывается то, что можно назвать периферией дела Чернышевского.

Арест 7 июля 1862 года на Б. Московской улице в Петербурге, подобно взрыву, вызвал волну, которая отбросила Мазуренко за границу, а Кантовича в Нижний Новгород. Весьма возможно, что были и другие отъезды и перемещения, но мы их пока не знаем.

<sup>7</sup> «Земля и воля» 1860-х годов. По следственным материалам». «История СССР». 1957, № 1. стр. 114, 131.

<sup>8</sup> Герцен, цит. том, стр. 357.

<sup>9</sup> Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания. М., 1958, стр. 325; Герцен, цит. том, стр. 367.

<sup>10</sup> Герцен, цит. изд., т. 18. Пг., 1920, стр. 238—240.

<sup>11</sup> «Деятели революционного движения...», цит. кн., столб. 245.

<sup>12</sup> Ни в фонде Военно-медицинской академии, ни в коллекции послужных списков ЦВИА СССР сведений о Кантовиче не обнаружено. Протоколы допроса Кантовича в Казанской комиссии (Центр. гос. архив Татарской ССР) также не найдены.

Евг. Брандис

## Генрих Гейне и Дмитрий Лавренко

Не помню, какое дело привело меня тогда в ЦГИАЛ<sup>1</sup>. Я перелистывал рукописный фолиант «Журнала заседаний» совета Главного управления по делам печати, но нужных материалов не находил. Я собирався уже уходить, когда глаз зацепился за странное заглавие: «Об отпечатанной в Киеве с дозволения цензуры книге «Грамматический и психологический анализ стихотворений Гейне».

Оказывается, внимание высшей цензурной инстанции привлек всего-навсего учебник немецкого языка! Но учебник, как видно, не простой — цензор выдвинул против автора сразу несколько обвинений, и таких, что каждого в отдельности было достаточно, чтобы положить книгу под нож.

Высокопоставленный чиновник усмотрел, во-первых, тенденциозное, как он выразился, объяснение значения некоторых немецких слов; во-вторых, недопустимые ссылки на книги, подвергшиеся цензурным преследованиям: «Рефлексы головного мозга» Сеченова, сочинения Прудона и «Крымские сонеты» Мицкевича; в-третьих, пропаганду сочинений Генриха Гейне, как великого поэта и мыслителя; в-четвертых, «стремление возбудить в учащихся, с одной стороны, полное участие к низшим классам общества, а с другой стороны, ненависть и отвращение к аристократам и людям, власть имеющим»; и, в-пятых, причислил автора учебника к тем педагогам, «которые еще так недавно развивали нигилизм и реализм в наших учебных заведениях».

Букет пышный! И вывод, конечно, последовал «надлежащий». Даже невозмутимо казенный канцелярский язык не может скрыть негодование действительного статского советника Варадинова, делавшего доклад о крамольном учебнике:

«Как рассматриваемая книга имеет педагогическое назначение, и как сочинения

Гейне не дозволены к переводу на русский язык в полном составе, и этот писатель не был терпим за свои демократические и антирелигиозные сочинения даже в Германии, то... цензору никак не следовало одобрять подобного учебника, и уж ни в каком случае он не мог пропустить, ни ссылок с одобрениями автора на материалистическое сочинение Сеченова, ни мест, где возбуждается ненависть к высшему сословию в государстве»<sup>2</sup>.

Все было ясно, и вопрос не стоило обсуждать. Частично уже распроданную книгу запретили «для употребления» в учебных заведениях, а киевского «отдельного цензора» лишили должности.

Но кто автор «подстрекательского» учебника?

Цензор Варадинов даже не считал нужным назвать его имя, сославшись только на разносную рецензию, помещенную в первом номере официозного «Журнала Министерства народного просвещения» за 1867 год. Эта рецензия и дала петербургской цензуре информацию о крамольном учебнике, причем оценки рецензента Варадинова повторил почти дословно.

В рецензии указано, что автором «Грамматического и психологического анализа стихотворений Гейне» был некто Дмитрий Лавренко.

Достаю эту книгу. Год издания — 1866. На обороте титульного листа — дата цензурного разрешения: 7 апреля.

В предисловии автор декларирует свои научные взгляды. В жизни слова он видит такой же процесс естественного отбора и борьбы за существование, как и в природе. «Жизнь слова надо изучать посредством тех же приемов, какие употребляет физиологическая химия при изучении явлений нашего организма». Лавренко — последователь немецких лингвистов Шлейхера и Макса Мюллера. Первый механически применял к лингвистике дарвиновскую теорию происхождения видов. Второй относил языкознание к числу естественных наук и приравнивал язык к живому организму. Лавренко, ссылаясь на своих учителей, пытается соединить грамматику с психологией, а вернее сказать, с физиологией, к тому же еще дурно понятой.

Так вот зачем ему понадобились «Рефлексы головного мозга!» Стало быть,

<sup>1</sup> ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

<sup>2</sup> ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 2., ед. хр. 4, лл. 10—12.

Дмитрий Лавренко — типичный вульгарный материалист, каких было не мало в шестидесятых годах прошлого века.

Но если бы дело сводилось только к этому, то и не стоило бы знакомить читателей с забытым автором забытого учебника. Суть в другом.

Ни с одним иностранным писателем цензура не вела такой ожесточенной войны, как с революционным немецким поэтом и публицистом Генрихом Гейне. Многие его произведения в России были запрещены даже на немецком языке, а разрешенные к переводу так искажались осторожными переводчиками и бдительными цензорами, что от первоначального текста оставались лишь рожки да ножки. Но, несмотря на все запреты, социально-сатирические и антиклерикальные произведения Гейне доходили до читателей и отлично служили делу революционной пропаганды в России.

Что же касается новаторского труда И. М. Сеченова, впервые раскрывшего физиологические основы работы головного мозга, то он вызвал бурю негодования в официальных и церковных кругах: о природе умственной деятельности говорить не полагалось, ее считали непознаваемой, данной «от бога». Но зато «Рефлексы головного мозга» были встречены с энтузиазмом прогрессивной интеллигенцией, особенно радикальной молодежью. Сама личность Сеченова, одного из самых передовых людей того времени, послужила в некоторых чертах прототипом образа Кирсанова из «Что делать?» Чернышевского и являлась для шестидесятников воплощенным идеалом гражданина и ученого.

Следовательно, откровенная симпатия автора учебника к Генриху Гейне и Сеченову характеризует его как типичного шестидесятника.

«Грамматический и психологический анализ произведений Гейне» проникнут духом революционного протеста. На каждой странице слышен живой и негодующий голос автора, сумевшего превратить учебник немецкого языка в боевой политический памфлет.

Выберу наудачу несколько примеров.

В стихотворении «Коронование» встречается слово «Das Mädchen» (девушка). «Отсюда, — поясняет Лавренко, — Magd. Долгое время в этом слове не было ничего унижительного, оно было равносильно нашему дева, а затем стало тем же, чем «девка» в устах нашей помещицы. Различия пошли еще дальше, и «Mädchen» и

девушка стали синонимами служанки, в противоположность «Fräulein» и барышня. Но прежние отношения исчезают, по крайней мере в языке...»

Выражение «Diene dir» объясняется так: «Dienen» происходит от одного старинного слова, означающего низ, низкий; сравните дно, подонки. Незавидная генеалогия слова — служба, обязанность!»

В разборе другого стихотворения — «Признание» — любопытное объяснение дается слову «Schalk». «Это слово значило когда-то просто служитель (scalk), а позже оно «опошилось» и стало синонимом плута (ср. старинное выражение «подлые люди», то есть мужики, живущие подле — подлые, виланы, то есть жители сел. Отсюда слово «мужик», «подлец». Аристократия везде аристократия, — заключает Лавренко. — Как видно, и в образовании языка народ-работник столько же участвует, как и во всех благах мира сего; иначе он не допустил бы отождествлять своего честного имени с именем подлеца».

В стихотворении «Буря» встречается слово «Spitzbube» — мошенник. «Der Bube» — мальчик. Латинское — «rupus», французское — «rupille», питомец — и тот маленький мальчик, что сидит, по народным преданиям, в глазу, то есть зрачок. «Bube» употребляется также и в значении французского «garçon», то есть мальчик, слуга. От этого с ним случилось такое же несчастье, как и с «Schalk»: ставши эпитетом слуги, оно как бы получило от него все те дурные качества, которые обуславливаются зависимым положением человека и так легко разрастаются в чудовищные размеры в глазах тех, от кого зависит человек. «Bube» стало синонимом плута, мошенника, злодея, и выражение vergruchter Bube (нечестивый) равносильно громовым словам «безбожный злодей». Чудовищная логика! Мальчик-злодей! Очевидно, эта логика не мальчиков и не отцов их, не матерей, а их господ».

В таком духе выдержан весь «грамматический анализ» двенадцати стихотворений Гейне из цикла «Северное море». А дальше следует, употребляя терминологию Лавренко, «психологический анализ» тех же самых стихов.

Известно, какое большое место в литературной полемике шестидесятых годов занимало обличение передовой общественностью либералов. Салтыков-Щедрин называл их «пенкоснимателями», Писарев — «разнокалиберной сволочью, которая тешится либеральными фразами».

Конечно, в учебнике немецкого языка выступал с открытым забралом против либерализма было не так-то просто. И все же Лавренко сумел высказаться и на эту тему.

В «психологическом комментарии» к стихотворению «Посейдон» мы находим выразительные строки, воскрешающие в памяти читателей светлые образы Н. Г. Чернышевского, М. Л. Михайлова и других революционных борцов, замученных или томившихся на каторге.

«Сидит человек и спокойно глядит на волненья житейского моря, глядит на то, как увлекает чужие челны туда, откуда уж не возвращаются для свободного плавания; при виде этих несчастий человеку становится страшно и за свой собственный челн, преспокойно стоящий в затишьи, и он оказывается настолько пошлым, что сравнивает свою сидячую жизнь улитки с полною благородного риска и самоотвержения жизнью тех немногих, что терпят кораблекрушения в водовороте жизни».

А вот еще один образец «психологического анализа». Комментируя стихотворение «Штиль», Лавренко говорит об успокоительном действии морской тишины и приводит в связи с этим один из «Крымских сонетов» Мицкевича, поэта в те годы полузапретного. В стихотворении «Штиль» в гармонию умиротворенной природы врывается грубым диссонансом крик капитана, ругающего голодного юнгу за то, что тот стащил из бочки селедку; и далее цитируются следующие строки (даю их в переводе М. Л. Михайлова):

Тихо на море. Всплывает  
Рыбка умная со дна,  
В свете солнечного головки  
Греет и в волнах резвится.  
Но стрелой из поднебесья  
Чайка падает на рыбку  
И с добычей в жадном клюве  
Вверх взлетает в синеву.

«И среди этого дивного мира природы, — рассуждает Лавренко, — происходят такие омерзительные сцены дикого буйства власть имеющих над беззащитным, зависимым, вечным недорослем... из-за лишней съеденной селедки, из-за лишнего куска хлеба: «Человек, говорят, должен есть ни больше ни меньше, как только чтоб быть в состоянии работать, конечно, не других. Как должны многие завидовать птицам!»

Своего рода эпилогом ко всей работе

служит «психологический анализ» двенадцатого стихотворения — «Мир». Автор раскрывает здесь свою точку зрения на Гейне, который из романтика становится поэтом грядущего и переносится воображением далеко вперед, в «царство мира». Гейне, как справедливо утверждает Лавренко, грезит не о прошлом, а о будущем. «Это очень понятно, потому что кто же теперь видит это царство в прошедшем? Кроме того, будущее, как известно, принадлежит народу, то есть работнику, начиная с грязного юнги и до какого-нибудь Либиха или Дарвина, но не буржуа, не дворянину...»

Так вот о каком учебнике шла речь на заседании совета Главного управления по делам печати!

Уже самим фактом своего появления эта книга наглядно подтверждает, что революционно-демократические идеи шестидесятников действительно проникали во все сферы общественной жизни. Даже учебное пособие по немецкому языку используется для проведения свободного слова через подцензурную печать!

Расчет при этом был простой: цензор не будет вчитываться в учебник и завизирует его, не глядя. Так и случилось. Книга поступила в продажу, а спохватились только спустя несколько месяцев, когда уже было поздно: часть тиража успела разойтись.

И конечно, не случайно Лавренко выбрал для своего «Грамматического и психологического анализа» стихотворения Генриха Гейне, и именно тот цикл, завершающий «Книгу песен», в котором немецкий поэт язвительно высмеивает самодовольных мешан и обывателей.

По примеру других революционных шестидесятников Лавренко сделал Генриха Гейне своим союзником в борьбе с самодержавно-помещичьим произволом.

Что же касается самого способа истолкования иностранных слов, то при всей своей остроумной неожиданности он не был беспрецедентным. За долгие десятилетия борьбы с цензурой выработались разные приемы выражения мысли с помощью «эзопова языка» — всевозможных иносказаний, аллегорий, намеков. Цензуру умели ловко обманывать все передовые литераторы, начиная с Радищева и декабристов. Кстати сказать, еще в 1846 году по недосмотру цензора вышел из печати и вскоре был изъят знаменитый второй выпуск «Карманного словаря иностранных слов» Петрашевского. И подбор и толко-

вание иностранных слов — все было направлено Петрашевским на пропаганду освободительных социалистических идей.

В учебнике Лавренко мы видим удачную и очень смелую попытку возобновить эту традицию.

Кто же такой Лавренко? Кое-какие сведения о нем нашлись, как всегда, в «Источниках словаря русских писателей» С. А. Венгерова: «Д. А. Лавренко, этнограф, лингвист, сотрудник «Филологических записок» 1860—70-е гг.»<sup>3</sup>. Венгеров упоминает еще одну книгу Лавренко — сборник украинских народных песен — «пісні українського люду», изданный в Киеве в 1864 году.

Этот сборник тоже оказался интересным. Здесь представлены песни о горькой доле женщины из народа. И подобраны они в такой последовательности, чтобы можно было проследить скорбный путь крепостной рабыни от юности до могилы.

Естественно предположить, что Лавренко был украинцем и получил образование в Киевском университете, так как обе его книги изданы в Киеве. И действительно, имя Дмитрия Александровича Лавренко, начиная с 1861/62 учебного года, значится в списках студентов Историко-филологического факультета. Эти списки с некоторыми, как сказали бы мы сейчас, анкетными данными ежегодно помещались на страницах киевских «Университетских известий».

Происходил Лавренко из духовного сословия, вырос в Полтавской губернии, учился в Переяславской духовной семинарии. В университете получал стипендию святых Кирилла и Мефодия, что служило признаком не только материальной необеспеченности, но и незаурядных способностей студента. Ведь «казеннокоштные» на каждом факультете насчитывались тогда единицами. В 1866 году Лавренко был уволен из университета «по случаю окончания курса». Достаточно и таких скурых сведений, чтобы составить представление о разночинце шестидесятых годов.

Работы, о которых шла речь (к ним

нужно еще добавить этнографические статьи в журнале «Филологические записки», перевод книги Миклошича «Учение о звуках древнеславянского языка» и юношеской драмы Гейне «Вильям Ратклиф»), Лавренко опубликовал в студенческие годы, когда получал казенную стипендию.

История с учебником немецкого языка, по-видимому, внесла резкий перелом в жизнь молодого ученого. Он не был оставлен при университете, хотя имел для этого все основания. Должно быть, по причине «неблагонадежности» ему не удалось получить место ни в одном учебном заведении Киева. Ничего не вышло и в Петербурге, куда он ездил с нераспроданными экземплярами «Грамматического и психологического анализа», о чем свидетельствует объявление в газете «Голос» с указанием петербургского адреса автора.

В дальнейшем имя Дмитрия Александровича Лавренко выплывает в «Адрес-календаре» на 1869 год: он — учитель русского языка и словесности в Закавказском губернском институте благородных девиц. Просмотр «Кавказского календаря» показал, что в Тифлисе он служил одновременно и младшим учителем в классической гимназии.

После этого следы Д. А. Лавренко окончательно исчезают. Ни в «Адрес-календаре», ни в педагогических справочниках и ни в одной библиографии имя его больше не встречается. Выходит, что Дмитрий Лавренко, как говорили тогда, «сошел с круга» — то ли спился, то ли погиб от чахотки, как гибли в те годы сотни талантливых разночинцев.

Судя по всему, дерзкая попытка использовать учебник немецкого языка в качестве трибуны для пропаганды революционно-просветительских идей и в научной карьере и в личной судьбе Лавренко сыграла роковую роль.

<sup>3</sup> Сведения не совсем точные: в 1870-х годах Д. Лавренко в «Филологических записках» не сотрудничал.

В. Порудоминский

## Неизвестные страницы творчества Гаршина

Всеволод Гаршин (третий  
слева в первом ряду)  
с группой соучеников —  
выпускников Петербургской  
реальной гимназии. 1874.  
Публикуется впервые. Хранится  
у Всеволода Георгиевича  
Гаршина, племянника писателя.

Наверху — фрагмент.



Жизнь и творчество Гаршина, мало в общем-то написавшего, хорошо на первый взгляд знакомо и читателям и специалистам. Однако пристальное изучение того, что им создано, поиск приносят новые суждения и находки.

За последние десять лет мы узнали немало нового о В. М. Гаршине. Работы Л. П. Ключковой<sup>1</sup>, В. С. Белькинда<sup>2</sup>, А. П. Селявской<sup>3</sup>, М. Гургуловой<sup>4</sup>, посвященные незавершенным произведениям Гаршина, помогают лучше понять творческое наследие писателя, проникнуть в его замыслы, разобраться в его сложном мировосприятии. Особо хочется отметить исследование болгарского литературоведа М. Гургуловой<sup>5</sup>, обобщенные недавно в интересной книге.

Публикуемые материалы также позволяют прочитать по-новому несколько страниц творческой биографии Гаршина.

Всеволод Гаршин. Ориентировочно 1879—1880. Публикуется впервые. Хранится у В. Г. Гаршина.



## Гаршин переводит...

### 1

В семнадцать лет кто не пишет стихов, но многие ли переводят?.. Гаршин переводил. Он смолodu был причастен к переводам, всю жизнь занимался ими.

«Коломба» Мериме больше, чем самые крупные произведения Гаршина — «Надежда Николаевна», «Из воспоминаний рядового Иванова» и «Красный цветок» вместе взятые. «Коломбу» перевел Гаршин. Откройте последнее шеститомное издание Мериме (1963 года) — там его перевод. В известном издании «Academia» (1927 года) — тоже. Редакторы обоих изданий (шеститомник вышел под редакцией Н. М. Любимова) спустя десятилетия возвращались к гаршинскому переводу. Это ли не свидетельствует о его высоком качестве!..

Работам Гаршина-переводчика исследователи не отводили серьезного места в его творчестве. В этом прежде всего виноват писатель Всеволод Гаршин.

В 1881—1882 годах Гаршин жил в деревне. Это было трудное для него время. Он только что вышел из психиатрической больницы — возвращался к жизни. Он мучительно искал точку приложения возрождающихся сил. «Делать», «работать» стало единственным желанием Гаршина. Он пробовал писать — не получалось. Ничего другого он не умел. Это приносило ему новые страдания. «Делать, т. е. писать что-нибудь, — не могу, хоть убейте...»

<sup>1</sup> Л. П. Ключкова, Семь стихотворений В. М. Гаршина. «Русская литература», 1958, № 2.

<sup>2</sup> В. С. Белькинд, Из неосуществленных замыслов В. М. Гаршина. Великолукский государственный педагогический институт. Ученые записки, т. 3. Псков, 1958.

<sup>3</sup> А. П. Селявская, Раннее творчество В. М. Гаршина (1874—1876). Труды Иркутского государственного университета. Серия литературоведения и критики. Т. XXVIII, вып. 2. Иркутск, 1959.

<sup>4</sup> М. Костова (псевдоним), Три неоконченных произведения В. М. Гаршина. «Русская литература», 1962, № 2.

<sup>5</sup> М. Гургулова. Творчество на В. М. Гаршин. Варна, 1966.



## 2

«А кроме этого — на что я способен!.. Что я знаю, что я умею?»<sup>6</sup>

Тогда он взялся за перевод. «Коломбы». Взялся со страхом и оговорками. Он не верил, что на него «сколько-нибудь можно положиться». Он просил брата Женю выбрать такую книгу, «печатание которой можно отложить на неопределенное время»<sup>7</sup>. «Коломба» была компромиссом: Гаршин еще не начал писать свое, но уже возвратился к писательскому труду.

Перевод двигался необыкновенно быстро: он был начат между 10 и 20 декабря 1881 года и завершен через месяц, 20—23 января 1882 года. А в «Коломбе» восемь печатных листов!

Гаршин отзывался о своей работе очень неодобрительно: «переводить я, оказывается, умею очень плохо», «довольно гнусный перевод», «перевод до невозможности плох»<sup>8</sup>. Он все доказывал, что перевод «Коломбы» — вещь «бездельная»<sup>9</sup>, предпринятая от скуки, неудачная проба сил. Однако перевод одобрен временем, отзывам же Гаршина о себе и собственном творчестве доверять никак нельзя. Известны его отрицательные суждения о таких своих произведениях, как «Происшествие», «Встреча», «Ночь», «Сигнал». Рассказывая в письмах о работе над «Коломбой», Гаршин называет себя «никуда не годною вещью», «человечком, который ненавидит и презирает самого себя»<sup>10</sup>...

Сразу же появляются вопросы. Почему Гаршин, жаждущий деятельности, обращается именно к переводу? Почему младший брат писателя, Евгений Михайлович (Женя), человек практичный, хорошо разбирающийся в книгоиздательских и книготорговых делах, ведет переговоры и дает поручительства, что перевод получится? Каким образом еще молодой, только-только пробующий силы человек делает в очень короткий срок отличный перевод?

## 3

Ходил по Петербургу гимназист Всеволод Гаршин, часто заглядывал в книжный магазин Мелье, придирчиво выбирал французские драмы. Он хорошо знал, какие из них уже переведены на русский язык, — книги Всеволод покупал для матери, Екатерины Степановны, профессиональной переводчицы.

Гаршин-гимназист тоже переводил. Практических целей он перед собой не ставил — просто совершенствовался в языках.

Точно известно, например, что в 1872 году он одновременно переводил устно Шпильгагена — с немецкого, а письменно — с французского книгу Э. Кизэ о Парижской коммуне<sup>11</sup>. Впрочем, в последнем случае им, видимо, руководил не только лингвистический интерес.

Гимназист Гаршин не отличался высокой успеваемостью, однако языки изучал серьезно. Он непрерывно совершенствовался во французском, придумывал для себя сложные упражнения по-немецки, самостоятельно принялся за английский. Всеми тремя языками он занимался до конца жизни. В английском, например, он добился особенно значительных успехов в ту же осень, когда принялся за «Коломбу». Он писал из деревни, что мог бы, пожалуй, понемногу переводить с английского и делает кое-какие пробы. Впоследствии Гаршин перевел с английского сказки Уйды, с немецкого — сказки Кармен Сильвы.

Работа Гаршина-переводчика опровергает свидетельство его друга В. А. Фаусека о том, что писатель «только на французском языке... мог читать свободно», немецкий же и английский много раз принимался учить, да так и не выучил<sup>12</sup>. Гораздо достовернее кажется воспоминание В. Бибилова: Гаршин «свободно владел французским языком и знал английский и немецкий настолько, насколько это нужно для свободного чтения без лексикона»<sup>13</sup>. Подстрочниками Гаршин не пользовался...

## 4

Первый перевод, выполненный им для печати, — немецкая книга по ботанике. Гаршин-студент работал над ним в 1876 году по заданию своего старшего друга, известного натуралиста и педагога А. Я. Герда. Переводческий труд вполне удовлетво-

<sup>6</sup> В. М. Гаршин. Полное собрание сочинений в трех томах, т. III. Письма (в дальнейших ссылках — «Письма»). М.—Л., 1934, стр. 216, 218.

<sup>7</sup> Там же, стр. 219.

<sup>8</sup> Там же, стр. 240, 248, 250.

<sup>9</sup> Там же, стр. 250.

<sup>10</sup> Там же, стр. 259.

<sup>11</sup> Там же, стр. 425, 427, 439.

<sup>12</sup> «Памяти В. М. Гаршина», Художественно-литературный сборник. Спб., 1889, стр. 102.

<sup>13</sup> В. М. Гаршин. Полное собрание сочинений. Приложение к журналу «Нива». Спб., 1910, стр. 73.

рял Гаршина: «Вы не поверите, как весело работать, зная, что что-нибудь выйдет из твоей работы», «...работа хорошая и разнообразная»<sup>14</sup>.

Можно бы, конечно, счесть перевод «Ботаники» студенческим приработком, вроде репетиторства. Но вот через два года известной всей России писатель Гаршин берет-ся, опять по предложению Герда, переводить с немецкого «Определитель птиц Европейской России».

Может быть, и это случайность, попытка себя занять: ранняя осень 1878 года в творчестве Гаршина — пора мучительного «затишья» («Пишу туго, да что и напишу, безжалостно рву»<sup>15</sup>)? Но нет. Конец 1878 и первая половина 1879 года — плодотворнейшее время, написаны «Трус», «Встреча», «Художники», «Attalea princeps», а Гаршин не перестает корпеть над «Определителем». Можно также предположить, что Гаршин брался за «Птиц», когда свое не писалось; однако письма его свидетельствуют — над переводом и собственными произведениями («Ночь», «Надежда Николаевна») он трудился одновременно.

Гаршин писал об «Определителе птиц»: «...Эта книжка — единственное мое спасение и в смысле спасения души и в смысле спасения от голода»<sup>16</sup>.

«Спасение от голода» — звучит, конечно, неоправданно резко в устах популярнейшего писателя. Но Гаршина всю жизнь преследовал навязчивый страх: вдруг он не сможет больше творить и лишится средств к существованию? И всегда выход виделся ему в переводе. Позднее, в 1884 году, работая секретарем в канцелярии Съезда железных дорог, Гаршин платит дань тому же болезненному страху: «Думаю это лето употребить хоть на то, чтобы позаняться языками, т. е. почитать по-французски, немецки и английски. Ведь какая-нибудь случайность — смерть Фельдмана или отказ его быть заведующим делами Съезда — могут лишить меня места и заставить заняться переводами»<sup>17</sup>.

Но для Гаршина «Определитель птиц» не только «спасение от голода», — прежде всего «спасение души». Хотя в одном письме Гаршин сообщает, что «книжка о птицах скука страшная», но это как раз в том самом, где он называет «Определитель» «спасением души». В других письмах он вообще говорит об «Определителе» совсем иное: «Определитель наш движется пока только моими усилиями... Я очень доволен этой работой»<sup>18</sup>.

Гаршин трудился над книгой в компании с Гердом, у них были помощники. Он мог без особого ущерба для дела в любую минуту бросить работу (А. Я. Герд, зная психическое состояние Гаршина, вряд ли осудил бы его за это). Но — «по-прежнему перевожу «птиц», которых, кажется, доведу до конца, что мне редко удается». И наконец: «Перевод «птиц» почти уже кончен... После птиц будем составлять млекопитающих. Есть у меня в виду еще один перевод с французского...»<sup>19</sup>

Как видим, Гаршин трудился над «Определителем птиц» с охотой и интересом. Он не бросал его, даже когда брался за собственные рассказы. «Определитель птиц», так же как «Ботаника», выбран Гаршиным для перевода не случайно (лишь бы что-нибудь делать!). Недаром, имея на примете какой-то перевод с французского, Гаршин хочет «составлять млекопитающих». Пожелай он — можно сказать, модный в те годы писатель — переводить художественную литературу, ему нетрудно было бы получить заказ. Но Гаршин всю жизнь интересовался естественными науками. О его познаниях высоко отзывались специалисты, в частности тот же Герд, педагог-естественник, переводчик, редактор и пропагандист трудов Дарвина.

Не следует забывать, что в годы, когда Гаршин переводил книги по естествознанию, интерес общества к проблемам естествознания был очень велик, а содружество «физиков» и «лириков» на редкость прочным. Часто «физик» и «лирик» совмещались в одном лице. Софья Ковалевская писала романы. Хирург Пирогов выступал со статьями о воспитании детей. Мечников в подтверждение своих теорий анализировал биографию и творчество Пушкина, Лермонтова, Гёте. «Отечественные записки» рядом с романами и повестями печатали боевые научные статьи. Зоолог Н. Холодковский, впоследствии автор книги «Птицы Европы», переводил «Фауста». Писатель Гаршин переводил «Определитель птиц Европейской России».

<sup>14</sup> «Письма», стр. 105, 106.

<sup>15</sup> Там же, стр. 162.

<sup>16</sup> Там же, стр. 194.

<sup>17</sup> Там же, стр. 322—323.

<sup>18</sup> Там же, стр. 163.

<sup>19</sup> Там же, стр. 199.

## 5

Лето 1882 года Гаршин провел в имении Тургенева Спасское-Лутовиново.

Он чувствует себя совершенно здоровым. Настроение хорошее. В июле вышла первая книжка его рассказов. Он «снова жизни полн». Ему пишется.

В Спасском Гаршин написал «Из воспоминаний рядового Иванова». На очереди — «Медведи», «Красный цветок».

«Коломба» сдана в редакцию и принята к печати; вместе с нею «сданы» на время болезнь и неверие в свои силы.

Но что это? В пору наивысшего творческого расцвета мы снова видим Гаршина за переводами. Теперь он берется за сказки Уйды и Кармен Сильвы. Этот факт, наверно, лучше всего доказывает, что перевод «Коломбы» и переводы вообще в творчестве Гаршина не случайны.

Хочется еще понять, что привлекло его в сказках английской писательницы с французским именем Луизы де ла Раме, известной в литературе как Уйда, и румынской королевы Елизаветы, прятавшейся под псевдонимом Кармен Сильва.

В первую очередь, видимо, жанр. Гаршин — один из лучших мастеров русской литературной сказки. Вспомним «Attalea princeps», «То, чего не было», «Сказку о жабе и розе», «Лягушку-путешественницу». В отечественной литературе у Гаршина почти не было предшественников. Разве что Салтыков-Щедрин со своими сатирическими сказками. Гаршин любил Андерсена. На черновой рукописи «Сказки о жабе и розе» — посвящение: «Памяти доброго учителя Ганса Христиана Андерсена». Сказки Оскара Уайльда появились позже.

Среди переводчиков, работавших над сборниками сказок Уйды и Кармен Сильвы, Гаршин был, бесспорно, самым выдающимся писателем; надо полагать, он имел право выбора. Вчитаемся в сказки, отобранные Гаршиным для перевода.

Безвестный герой-одиночка идет на подвиг во имя спасения своего народа (Кармен Сильва, «Чахлау»); люди продают за деньги любовь и чистоту, золото калечит души (Кармен Сильва, «Замок ведьм»); художник творит не ради богатства, не из тщеславия, а чтобы осчастливить, согреть сердце человечества (Уйда, «Нюрнбергская печь»). Можно без особого труда тематически связать переведенные сказки с собственными сочинениями Гаршина.

«Честолюбивая роза» Уйды, например, очень точно сопоставляется с гаршинской

«Attalea princeps». Точнее — противопоставляется. Прекрасная роза росла на дикой поляне. У нее была одна мечта — попасть в королевскую оранжерею. Она была счастлива, когда садовник заметил ее, когда он садовым ножом отрезал бутоны, которые были ее детьми. Она была счастлива, когда ее заперли в душевной оранжерее. Роза тотчас забыла о дикой поляне — знатное имя дороже воли. Одну ночь провел цветок на королевском балу, а утром погиб от холода на свалке. Гордая пальма, «Attalea princeps», ломала решетки оранжереи, жертвовала жизнью во имя свободы. Честолюбивая роза сама променяла свободу на решетки оранжереи. Величие подлинное и мнимое. Героизм и падение.

Вряд ли тут можно говорить, что выбор Гаршина случаен.

С этой точки зрения «Коломба» могла заинтересовать Гаршина как «любовная история с кровавой развязкой» — так он определял свою повесть «Надежда Николаевна». В «Коломбе» решается вопрос, мучивший героя «Надежды Николаевны» Ло-

Всеволод Гаршин с младшим братом Евгением. Ориентировочно 1879—1880 г. Публикуется впервые. Хранится у В. Г. Гаршина.

Справа — фрагмент.



патина, — о физическом уничтожении носителей зла.

6

В 1887 году Л. Ф. Пантелеев решил издать «Персидские письма» Монтескье. Гаршин горячо поддержал эту мысль. На вопрос Пантелеева, возьмется ли он за перевод, Гаршин отвечал, что «с удовольствием». «Хотя он тогда совсем не нуждался в переводной работе», — замечает в своих воспоминаниях Пантелеев. Вскоре Гаршин сказал издателю, что начал перевод и что работа его «очень увлекает». К марту 1888 года он перевел одиннадцать писем.

Больше не успел...

7

Если объединить под одним переплетом только художественные переводы, сделанные Гаршиным, получится книга такого же объема, как и собрание его собственных сочинений.

Некоторые серьезные замыслы остались незавершенными.

Переводчики имеют полное право считать своим Всеволода Михайловича Гаршина.



## О драматургических опытах Гаршина

1

Гаршин и драматургия... Тема ограниченная, хорошо, казалось бы, изученная, давно не вызывающая интереса исследователей.

Известно, что в 1884 году Гаршин вместе с литератором Н. А. Демчинским задумал писать пьесу. Известно, со слов Демчинского, содержание пьесы: «После нескольких собеседований мы остановились на теме, которую давала нам сама жизнь: один молодой техник в погоне за деньгами продал свою жену; все действующие лица были тогда живы, и даже наша героиня жива и до сих пор»<sup>20</sup>. Известно, что Гаршин написал четвертое действие пьесы и часть второго (Демчинский работал над первым и третьим). Известно, наконец, что пьеса осталась незаконченной; Гаршин общал своему другу: «Драму я, конечно, бросил. Я думаю, что если бы я работал один, то из нее вышло бы что-нибудь путное, но с Демчинским, который все это затеял, вдвоем, конечно, работать нельзя... Кажется, что я сдам все Демчинскому и откажусь от всяких прав на сие двухгениальное творение»<sup>21</sup>. В письме к романистке А. А. Веницкой Гаршин объяснял: «Один раз я попробовал писать драму вместе с другим и на сюжет этого другого; из драмы ничего не вышло, и я с тех пор решил никогда не вступать ни в какие сотрудничества. Мне кажется, что писать вместе могут только близкие друзья (подружившиеся в детстве или ранней юности) или братья. Нужно, чтобы в душе другого не было неизвестного уголка, тогда писать можно, а иначе ничего не выйдет. Образ, ясно представляющийся одному, другому покажется диким или невероятным, и постоянные столкновения не позволят вместе работать»<sup>22</sup>. Веницкая тоже предлагала Гаршину писать вдвоем драму.

Вот, пожалуй, и все, что было известно о драматургических опытах Гаршина.

Не было известно, что пьеса, которую Гаршин писал вместе с Демчинским, не единственная его попытка испробовать свои силы в драматургии.

<sup>20</sup> См. «Журнал Театра литературно-художественного общества», 1910, № 1, стр. 16—19.

<sup>21</sup> «Письма», стр. 352—353.

<sup>22</sup> Там же, стр. 359.

## 2

Черновой набросок, хранящийся в Центральном государственном архиве литературы и искусства<sup>23</sup>, не озаглавлен. В описи он отмечен как рассказ без названия и обозначен словами, открывающими текст: «Комната. Полумрак».

Но набросок открывается вовсе не этими словами. Выше, в верхнем левом углу первой страницы черновика, еще три не очень разборчиво написанные строчки:

«Я  
Первый голос  
Второй голос».

Читаем текст и вскоре убеждаемся, что это... список действующих лиц. Список несколько странный, он сразу привлекает интерес.

Облик действующих лиц проясняется в авторских ремарках.

«Я — человек лет сорока, со следами красоты и изящества. Одет скромно, опрятно и со вкусом. Лицо в морщинах...» Это «следы жизни, переживаний и борьбы». «Голова с пробивающейся плешью и убежденными висками».

Первый голос в образе глубокого, но вдохновенного старца в темном халате... «Голос ровен, когда нужно — мощен, но всегда внутренне спокоен. Взгляд серьезен и проникающ. От всей фигуры веет мудростью, благородством...»

«Второй голос в образе белокурой девушки с светлым лицом и ясным взором. Одеята в светлое. Говорит мягко, уверенно и ровно. В ней нет фигуры, нет рельефов, ибо она лишь голос».

Итак: «Комната. Полумрак. Скорее даже темно. Обстановка мягкая, грустная и тихая».

Что же происходит в этом полумраке, в этой грустной и тихой обстановке?..

Происходит нечто очень характерное для героев Гаршина: человек лет сорока, названный Я, мучительно думает над тем, как он живет. С некоторых пор ему стало невесело на общем пиру; все чаще бродит он, потерянный, не находя себе места. Приятели принимают его за пьяного, только школьный друг Пустоверов, словногадаываясь о чем-то, советует: «Ты не мальчик, слава богу, пора тебе успокоиться». Наедине с собой Я признается, что червь совести поселился у него в сердце, точит его. О, как он ненавидит этого «поганого червя»! Кто дал ему право вторгаться в наши сердца?!

Я негодует. За что совесть мучит его: «Я не убийца, я не вор, всю жизнь берегусь от крови и всяких преступлений, но нет мне покоя». И вообще — почему люди так боятся «ту гадину» — совесть? Как глупые дети кошку: она поцарапает им руки, им же чудится, будто отгрызет голову. «Кто объяснит смысл этой неравной борьбы и поражения?»

Объясняет «смысл борьбы» появившийся Первый голос. Этот образ трудно расшифровать непосредственно. Первый голос говорит о себе: «Не спрашивай имени моего, ибо его у меня нет». Видимо, это голос Разума и голос Добра, которое от рождения заложено в каждом человеке. «Зависть, богатство, слава, жажда власти — все эти стихии, которым вы покоряетесь, как богам своим, и за которые неустанно льется кровь, захлестнули бы весь ваш род, если бы Природа не послала меня к вам... Ибо всегда, когда борьба за золото и власть достигает апогея и в жертву ей приносите вы океаны слез и крови, десятки тысяч трупов, вдов и обездоленных сирот, бессмертная Природа шлет меня на Землю, я заползаю в ваши сердца, и вы слышите мой голос: «Остановитесь, люди! Довольно крови, преступлений, слез и расправ...»

Первый голос говорит человеку лет сорока, по имени Я: «Ты не убил своими руками ни одного живого существа, твоя совесть чиста от преступлений, но ты прожил свою жизнь в тюрьме. Ты видел убийц, жил с ними в одних хоромах, жал им руки, целовал их женщин, шлифовал свой ум на камне их культуры и молчал, утешая свою мысль: «Так все!»

Ты видел преступления, ибо они не покидали тебя с тех пор, как сознание вошло в твой мозг, ты делал свое дело, не замечая чужих дел, ибо чужие дела походили на твои...»

Первый голос объясняет, что минуты раздумий и сомнений — лучшие в жизни человека лет сорока: в эти минуты навещает его призрак Красоты; человек понимает всю мерзость своей жизни. Именем Красота называет Гаршин идеалы человеколюбия и справедливости — бессмертные идеалы, которых не затмит блеск богатства, не заглушит звон золота и шум деловой суеты. Тот, кто забывает об этих идеалах, больше чем убийца и преступник.

Первый голос предлагает человеку по имени Я послушать сказку о Красоте. И то-

<sup>23</sup> ЦГАЛИ, ф. 137, оп. 2., ед. хр. 2.

гда появляется Второй голос; он, а точнее, она, «белокурая девушка с светлым лицом и ясным взором», и рассказывает сказку.

В ней говорится о бессмертной царице Красоте, которая плывет в своей шхуне по бескрайним просторам морей и океанов, но никогда не пристаёт к берегу. Она сторонится людей, но их жизнь без нее невозможна. Она спасает людей, обновляя их, заставляя вспомнить светлые идеалы. Она не дает людям покоя и постоянно манит их: «Приблизьтесь! Приблизьтесь!..»

Человек Я, будто во сне, бессвязно шепчет: «Бери меня с собой! Я твой... Бери...»

### 3

Вряд ли нужно здесь публиковать полностью гаршинский черновик: это первая заметка пьесы, явно незавершенная. Предстояла еще очень большая работа.

И все-таки набросок бесспорно интересен. Мало того, что это еще одна неизвестная страничка творчества Гаршина. Интересен сам замысел — показать средствами драматургии внутреннюю борьбу, происходящую в человеке. Интересна форма — три монолога, сменяющих один другой. Интересно, что это необычное произведение Гаршин, безусловно, предназначал для театра. Свидетельство тому — подробные ремарки, указывающие, что происходит на сцене, такие пометки, как «III картина», «Занавес».

Работа над пьесой не была завершена. Но среди рассказов Гаршина есть весьма близкий к ней по содержанию. Это один из лучших гаршинских рассказов — «Ночь».

Речь в нем идет о некоем Алексее Петровиче, не убийце и не преступнике, человеке из «чистого общества», который прозрел — понял, что вся жизнь его была грязью, ложью, сплошной ошибкой, и решил покончить с собой. Алексей Петрович мечтал об обновлении, хотел «вырвать из сердца этого скверного божка, уродца с огромным брюхом, это отвратительное «я», которое, как глист, сосет душу и требует себе все новой пищи». Он хотел жить «ради общей людям правды, которая есть в мире... и которая говорит душе, несмотря на все старания заглушить ее». Но прежние идеалы утрачены, нужна огромная сила духа, чтобы вернуть их.

Рассказ в значительной части написан как монолог, в который вторгаются «внутренние голоса».

Возможно, Гаршин задумал сначала написать небольшую пьесу, но затем отказался от этой мысли и вернулся к жанру психологической новеллы, в котором чувствовал себя много сильнее. Возможно, с этим связано несколько своеобразное отношение самого автора к рассказу «Ночь»: «Знаешь, что хотел сказать, а это что никогда не выходит так, как думалось во время писания»<sup>24</sup>.

### Исповедь странного человека

«Незнакомец» — так озаглавлено произведение В. М. Гаршина, которое хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства<sup>25</sup>.

Все в «Незнакомце» гаршинское — острое ощущение несправедливости, царящей в мире, ненависть к власти и золоту, жгучая боль за десятки тысяч людей, которых «убивают без ножа и крови», мучительные вопросы, когда «мысль начинает беспомощно биться на острие мозга».

Глеб Успенский писал, что в рассказах Гаршина «исчерпано все содержание нашей жизни».

Гаршин, как его современники, искал решения мучительных вопросов, сомневался, страдал — и не мог найти. Поехал учительствовать в деревню Рябинин, герой рассказа «Художники». Одинокая пальма, жертвуя собой, ломала стальные решетки оранжерей. Смирился и «не нищим» стал, а «службой нищим» гордый и жестокий правитель Аггей. Вступил в борьбу разом со всем злом мира герой «Красного цветка». И вот «Незнакомец»...

Произведение не датировано.

Подзаголовок «Наброски» весьма точен. «Незнакомец», пожалуй, еще не рассказ, скорее конспект рассказа: образы только намечены, детали еще не найдены. Но сюжетная законченность набросков создает впечатление цельности произведения.

В последнее время исследователи заинтересовались незавершенными работами Гаршина. И каждая новая публикация — будь то набросок, вариант или отрывок — вносит новую черточку в привлекательный образ писателя.

<sup>24</sup> «Письма», стр. 205.

<sup>25</sup> ЦГАЛИ, ф. 137, оп. 2, ед. хр. 1.

<sup>26</sup> Г. И. Успенский, Смерть В. М. Гаршина. Собрание сочинений в девяти томах, т. 9. М., 1957, стр. 148.

# Незнакомец

## Наброски

Он подсел ко мне и начал:

— Простите, сударь. Вас может удивить поступок незнакомца, желающего говорить с чужим ему человеком. Мы друг друга не знаем. Но я чувствую в вас человека, который поймет, что бывают минуты, когда человек в своем раздумье одиночества доходит до пределов: мысли так сковывают все его существо, что ему остается либо маленький кусочек свинца из изящного браунинга, либо дать мыслям словесное выражение. Достигнув своих высот, мысль начинает беспомощно биться на острие мозга и ищет выхода. Я далек от самоубийства, потому что я люблю жизнь, а потому избираю второй путь и хочу говорить с вами. То, что мы люди чужие, облегчает мое положение, и я могу говорить, не боясь посвятить вас во все, что бьется на дне моей души, ибо вы для меня лишь случайно найденное живое существо, к которому я хочу обратиться свои слова. У вас нет ни знания меня, ни преубеждения против моих слабостей, я для вас [...] и загадочен так же, как и вы для меня. Поэтому вы можете меня слушать искренне и непосредственно, со всей свежестью первой встречи, а я могу говорить легко и свободно, сознавая силу этих ваших качеств. Я рассчитываю на вашу снисходительность к моей потребности и начну.

Я занял более удобную позу, откинувшись [на] спинку кресла, и этим как бы молчаливо дал свое согласие слушать моего странного незнакомца.

— Итак, я начну с небольших сведений о себе. Мне 30 лет. Вырос я в доме своего отца, того смиренного и кроткого в словах и грешного в делах уroda, каких много на нашей планете. Рос я одиноко. Не потому, что я был лишен тех атрибутов воспитания, которые свойственны всем людям моего происхождения, а потому, что я очень рано стал чувствовать какую-то неприязнь и скрытую вражду к ласкам моих родных, заботам моих гувернанток и слуг, к стараниям моих учителей вдолбить мне то, чего я не хотел, и ко всей этой обстановке хорошего и благородного тона, от которой обычно пахнет золотом и [слово стерто].

В 10 лет отец в спорах со мной за непослушание и дерзость называл меня протестантом, получая в ответ крепко закушенные от непонятной еще злобы губы, страстное же-

вание бросить в него чем-то тяжелым и причинить ему физич[ескую] боль. Тогда я еще на это не решился, хотя, как видите, мысль об этом мне уже была не чужда. Обычно после таких сцен я убегал в конец нашего большого сада, зарывался в кусты и, сдерживая свою горечь, давал волю слезам, горьким и сладким одновременно, и ощущал, как обильно покрывается трава росой этих первых слез детства, теплоту и страстность которых не сумеют выжечь ни время, ни события. Отец посылал слуг меня разыскивать, и они насильно приводили меня в дом, но не было, однако, тех слов, которые могли заставить меня забыть сразу обиду и начать вести обычную с виду [...] жизнь в этом доме, который моим товарищам с улицы казался сказочным дворцом всякого изобилия и добродетелей.

Не по-детски долго я после всякой той сцены с отцом уединялся, оставлял даже свои любимые книги и общение с сверстниками и подолгу потом отдавался неясной злобе и страданию.

Я не любил людей, и эта черта моя часто служила поводом к нашим столкновениям с родителями. У меня не было товарищей из моего круга, и всякий раз, когда в наш дом приходили знакомые моего отца с своими детьми, дело кончалось тем, что я или избивал их, или награждал такими эпитетами, от которых благородные уши их родителей скручивались, как розовые лепестки нежного цветка от навозного запаха. Они пожимали плечами, шушукались с отцом, делали удивленные и горестные лица и все реже брали с собой детей, когда приходили в гости. Отец негодовал, злился, бранил меня словами, так не шедшими к его добродетельной осанке, но чувствовал, что ни слова, ни крик, ни привычная властвовать натура не могут совладать с каким-то мальчишкой, упорным в своих капризах и странным в своих симпатиях. И это еще больше злило моего родителя, и в отчаянии он ходил к пастырям искать поддержки и советов. Однако оказывалось, что природа, вложенная в душу этого мальчугана, была сильнее пастырской мудрости и ухищрений родительского воспитания. Я оставался собой, выходя победителем в неравной борьбе. И это вздымало [?] мою гордость и давало новые силы.

Меня отдали в школу. Это стало источником

Справа — В. М. Гаршин.  
Автопортрет. 18 мая 1879 года.  
Картон, масло. Публикуется  
впервые, ЦГАЛИ, ф. 137, оп. 2,  
ед. хр. 25.





новых осложнений дома. Учился я ни плохо, ни хорошо. Но школьных историй у меня было столько, что отец мой под конец устал ходить для объяснений с директором и стал посылать мать. Кстати, я заговорил о матери. Это была женщина, настолько противоположная отцу, что еще и теперь я не могу понять того [...] случая природы, когда они сочетались браком.

Мать моя выросла в добродетельной мещанской семье, была добра, кротка и религиозна, как и большинство женщин ее круга. Слабая характером и легкомысленная, она была покорна отцу, как животное, которое хотя и недовольно своим хозяином, но не имеет сил это недовольство выразить.

Христиански стойко она несла свой крест рабыни в доме этого властелина, но была беспомощна и слаба, как и бесчисленные рабы, занимавшие должности слуг в этом дворце. Может быть, она была высшей слугой моему отцу, но и только. Влияние ее в доме было так ничтожно, что даже в хоз[яйственных] делах всякие экономки ее обезличивали. У меня с ней отношения были столь нежные и хорошие, что, может быть, благодаря им я долго отказывался от тона, которому [слово залито] суждено было осуществиться после того, как ее не стало. Она меня любила всей силой своего золотого сердца и страдала в наших спорах с отцом так, как это доступно лишь матери. Но лишенная даже тени влияния на отца и на весь уклад семейной жизни, она должна была оставаться безропотной свидетельницей наших столкновений, прятать всю эту боль внутри и от этого сознания своего бессилия еще более страдать. Часто наутро я замечал на ее нежном лице следы ночных слез и за утренним чаем посылал ей своим взглядом благодарность и сочувствие. Она понимала мои взгляды, и этот разговор глаз был единственный, который мы с ней вели в присутствии отца. Память о ней я свято храню в своем сердце рядом с воспоминаниями об этом светлом образе любящего сердца, сильного в своей любви и незначащего в своем влиянии.

Ее любовь и слабость были так сильны, что одно утопало в другом, и поэтому мать не оставила никакого следа в моем воспитании. У меня чувство благоговения и ответной любви к этой женщине смешивается с чувством боли за безжизненность ее любви. Она не могла ничего вдохнуть в меня, а лишь безгранично любить. Вот почему при всей яркости взаимной любви мы оставались чужими людьми. Она умерла, когда мне минуло 15 лет. Я тогда понял, что ее жизнь есть дань той внутренней борьбе, которую она вела в продолжение всего этого времени между чувст-

вом матери и всем рабским укладом жизни успешным вососаясь в мозг и кровь этой женщины.

Мой собеседник остановился, долил бокал и, приподняв, произнес:

— Позвольте мне скромно [?] вспомнить теперь этого дорогого мне человека.

С этими словами незнакомец пригубил бокал и выпил.

Я оставался неподвижным и только взглядом своим присоединился к этому поминанию.

Незнакомец продолжал:

— Итак, мать меня оставила юношей, в котором слепая ненависть и вражда к отцу стала освещаться сознанием. Я стал ясно понимать свою вражду ко всему окружающему и со свойственным желанием найти причины моей внутренней борьбы видел их там, где ближе всего было моему взору. Отныне отец стал для меня источником всех моих зол, и я всю тяжесть вины моих страданий возложил на его плечи.

Я стал понимать ложь и лицемерие, которыми была пропитана вся обстановка нашего дома, я видел в отце властелина и деспота, который безудержную волю своего невежественного честолюбия и алчной наживы превращал в цель жизни и с жестокостью дикаря добивался этой цели, не щадя человеческого достоинства, человеческого свободного духа и даже людских жизней. Я видел, как под этой кровлей благопристойного и приличного дома, в котором влиятельнейшие люди во всех областях жизни собирались за чашкой чая, творились преступления и подлости, которым нет названий, ибо они безгра ничны. Я слышал эти разговоры сановных людей и понимал, какое зло творится в этих блестящих гостиных, где жизнь вдохновлялась худшими человеческими страстями, где власть и золото ослепили [?] людей до забвения элементарных человеческих добродетелей.

И я содрогался от сознания, что за пределами нашего дома есть еще и еще другие, такие же блестящие дома, где творится то же самое. И в моей злости [?] стали жить картины горя, слез и нужды, которых я к тому времени увидел в жизни столько же, сколько и довольства и блеска в окружающих меня людях. Я почувствовал и это противоречие и увидел, отчего он[о] происходит. Но моя внутренняя борьба обливалась волнами набегавшей страстности от сознания, что я вижу и знаю людей, гордивших эти противоречия. Я нашел преступников, величайших в мире преступников, которые убивают десятки тысяч живых людей так, что их руки лишены кровавых следов этих преступлений. И я понял это искусство убивать без ножа и крови, и мир

для меня стал клеткой, в которой я дальше оставаться не мог. Тогда впервые меня навестила мысль юношества, и я был близок к самоубийству. Но дух мщения и злобы изгнал эту мысль. Я зажегся решением убить не себя, а всех преступников, приходящих в дом моего отца, чтобы за чашкой кофе подсчитывать цифры обреченных ими на гибель. Со свойственной моей натуре и возрасту тогда горячностью [?] я занялся проведением плана в жизнь. Я обложил себя книгами и руководствами, ища в них путей к осуществлению моего замысла. Я просиживал долгие ночи в своей комнате, когда в гостиных моего отца раздавался шум веселья и лилось вино, пока, наконец, не узнал, как изготовить адскую машину. Тогда я принялся за ее изготовление. Я не буду передавать в подробностях, чего это могло стоить в условиях моей обстановки, но только знаю, что день такой наступил и орудие моей мести было готово. За все время моих работ меня ни на секунду не посетило сомнение в моем решении, и, наоборот, чем ближе приближался день мщения, тем больше я сознавал, что моя идея — мой долг, уйти от которого я никогда не сумею. Я выбрал первый удобный случай, когда в доме моего отца было назначено торжество по поводу больших успехов предприятия, главой которого был мой отец, и без колебаний, подталкиваемый [...] своей злобы, зарядил в подвале нашего особняка мою машину.

Десять [зачеркнуто] лет тому назад, 27 марта, ровно в 11 часов 15 минут раздался взрыв необычайной силы, и стекла соседних домов зазвенели на тротуаре. Я стоял невдалеке от дома и ждал этой минуты с такой страстностью и нетерпением, что терял минутами сознание. Взрыв вывел меня из оцепенения, и я, вместе с многочисленной толпой, бросился к дому. Я вбежал в гостиную и увидел отвратительное зрелище. Лужи крови, изувеченные тела почтенных людей, одетых во фраки и [...], искаженные страхом и болью лица нарядных дам и мужчин, еще не испутивших последнего дыхания, [...] трупы других с раздробленными мозгами и конечностями, и все это обсыпанное миллионами осколков стекла, фарфора, штукатурки и дерева и перемешанное в одну кучу, как никому не нужный мусор, очень мало напоминало собою шум веселья большого общества, где всего только пять минут тому назад жизнь, веселье и радость били ключом из неиссякаемого источника. Я стал всматриваться в безжизненные и искаженные ужасом, валявшиеся по полу тела, ища среди них моего отца. С трудом я заметил, у входа дверей под [...] портьерой валялся труп с раздробленным черепом, а куски

мозга сине-красного цвета валялись тут же. По уцелевшим ботинкам на ногах я опознал в этом раздробленном существе моего отца. Опознав его, я не мог уже более оставаться среди этого кладбища и вышел.

Дальше все пошло по-заведенному. Приехали власти, стали писать длинные протоколы, производить следствие, арестовали всю прислугу, строили подозрения, опять арестовывали кого попало; трубили в газетах о неслыханном происшествии, подняли на ноги всех, кого нужно и кого не нужно было, и в общем создалась сенсация, которой общество питалось несколько месяцев сряду. Само правит[ельство] заинтересовалось этим происшеств[ием], и имена крупных министров и сановников пестрят в материалах этого дела, которое один ловкий предприниматель даже издал в виде небольшой книжки. Вас, может быть, удивит, как я уцелел в этом деле. Вы могли бы думать, что мое своеобразие и протестантство [?], мои частые ссоры с отцом могли бросить и на меня подозрение. Действит[ельно], так и было. Я много раз допрашивался, вызывался в разные места, много показывал, отвечал; говорил и не знаю — судьба ли моя или глупость властей, но я спасся от суда. Несколько лиц невинно посадили за меня, но в результате за недоказанностью их освободили. В этом большом деле виновника не нашли, как того ни хотели.

Незнакомец остановился, переменял позу и, как бы давая понять, что кончает свой рассказ, добавил:

— С тех пор прошло 13 лет. Вся эта история отдана в забвение[?], и вряд ли о ней сейчас кто-либо вспоминает. И если я позволил себе утрудить ваше внимание, то только потому, что я не могу скрыть в себе одну важную мысль: я до сих пор переживаю эту внутр[еннюю] борьбу и горю тем же пламенем мщения, которое вдохновило меня на мой юношеский поступок. Я вспоминаю мое 27 марта и вижу, что сейчас мне этого мало. Мне нужно такое 27 марта, когда не наш только, а все особняки мира взлетят на воздух... Если я дождусь его, я, вероятно, больше ничего желать не буду... Если нет, то я с моим желанием не расстанусь. Оно уйдет вместе со мной туда...

И незнакомец слегка приподнял взор вверх. Он умолк. Мы посидели еще молча с полчаса, отдаваясь каждый своим мыслям. Затем незнакомец поднялся и протянул руку.

— Простите, — сказал он тихо, — если я заставил вас прослушать мою скучную историю. Но я от всей души признателен вам за ваше терпение.

Я пожал его руку, и мы разошлись.

Ю. Григорьев

## «Две дороги»

К истории рассказа В. М. Гаршина  
„Происшествие“

В исповеди Надежды Николаевны, героини известного рассказа Гаршина «Происшествие», внимание читателя сразу же останавливает на себе одна конструктивная деталь, чужеродный литературный источник которой подчеркивается и самим автором. Мы имеем в виду следующие строки: «В жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вон и в «Стрекозе» я видела рисунок: посередине маленькая хорошенькая девочка с куклой, а около нее два ряда фигур. Вверх от девочки идут: маленькая гимназистка или пансионерка, потом скромная молодая девушка, мать семейства и, наконец, старушка, почтенная такая, а в другую сторону, внизу — девочка с коробком из магазина, потом я, я и еще я. Первая я — вот как теперь; вторая — улицу метлой метет, а третья — та уж совсем отвратительная, гнусная старуха».

Надежда Николаевна — молодая интеллигентная девушка из «хорошего общества», неожиданно оказавшаяся на самом «дне», не может и не хочет согласиться с примитивной концепцией «двух видов» женской судьбы в иллюстрации «Стрекозы»: «Какой странный, однако, этот художник! Почему так-таки непременно, если пансионерка или гимназистка, так уже и скромная девица, почтенная мать и бабушка? А я-то?» И вся история гибели Надежды Николаевны с исключительной выразительностью документирует ее протест против утверждения художника о возможностях для «маленькой хорошенькой девочки с куклой» свободного выбора жизненного пути в условиях капиталистической действительности.

Можно ли, однако, с полной точностью установить, с кем полемизировал Гаршин в своем рассказе? Существовала ли в дей-

ствительности та картинка, которая явилась непосредственным импульсом для создания «Происшествия» и определила патетику речей его героини?

Биографы и комментаторы Гаршина в течение многих лет не могли ответить на этот вопрос, хотя направление поисков подсказывалось самим текстом произведения. Ведь Надежда Николаевна дважды сослалась в своем монологе на «Стрекозу» — популярнейший «художественно-юмористический» еженедельник семидесятых годов.

В. М. Гаршин был не только читателем этого журнала, но и его сотрудником — в марте 1878 года он напечатал в двух номерах «Стрекозы» свой «Очень коротенький роман»<sup>1</sup>. Во втором январском номере этого же журнала за тот же 1878 год обнаружены были нами (на странице пятой) и те зарисовки, на которые так горячо откликнулась Надежда Николаевна в рассказе «Происшествие».

Автором художественной композиции, привлекая внимание Гаршина и имевшей заголовок «Две дороги», был один из талантливейших журнальных иллюстраторов той поры — В. С. Шпак. Характерно, что, полемизируя с художником, Гаршин обошел молчанием разъяснительный текст к «Двум дорогам», который по специальному заказу редакции «Стрекозы» заготовил поэт А. Ф. Иванов (его псевдоним — Иванов-Классик). Вот эти вирши:

### Две дороги

Беззаботна ты, малютка,  
Незнакома ты с судьбой:  
Но лежат в кипучей жизни  
Два пути перед тобой.

Если сердцем не падешь ты,  
С злом, чарующим в борьбе, —  
Первый путь готовит счастье,  
Счастье верное тебе.

Берегись пути второго  
И заманчивых сетей,  
Где беспечно гибнут люди  
В грешном омуте страстей.

Ив. (Кл.)

Дата публикации «Двух дорог» — январь 1878 года — позволяет уточнить и время работы Гаршина над рассказом «Происшествие», который был опубликован в мартовской книжке «Отечественных записок» за 1878 год.

<sup>1</sup> «Стрекоза», 1878, № 10 и 11. Подпись: „L'homme, qui pleure“ («Человек, который плачет»).



И. Шадр

Нет Ленина,  
есть Ленин!

И. Шадр. Скульптурный портрет  
В. И. Ленина на смертном одре.



В рабочей тетради Ивана Дмитриевича Шадра сохранились записи — черновики статьи, написанной им для журнала «Творчество»:

«Тринадцать лет прошло со дня смерти Ленина. Все эти тринадцать лет я упорно собираю и изучаю материал для создания памятника Ленину».

Увидеть Ленина живым Ивану Дмитриевичу не удалось. Он видел вождя лишь в гробу. Ему было дано почетное поручение — вылепить изображение лежащего в гробу Ленина. Помню, с каким большим волнением шел он в Колонный зал Дома Союзов.

Слепок, сделанный им в эти дни, был только началом работы над образом вождя. «После этой первой моей работы я задумал создать монументальный памятник В. И. Ленину. Первый такой памятник из гранита и бронзы был сделан мной в 1926 году. Я трудился над ним два года. Этот памятник был установлен на головной плотине ЗАГЭС около Тбилиси, при слиянии Куры и Арагвы, и торжественно открыт в 1927 году», — писал скульптор.

Много раз обращался он в своем творчестве к образу Ленина: он создал проекты памятников Ленину для Казани и Днепропетровска, на Сахалине, в Мытищах, в Горьком, в Горках. Но всегда, начиная работать над новым проектом, он возвращался памятью к торжественным и скорбным дням прощания с вождем и к своей работе в Доме Союзов. Эта работа подробно описана им в статье «Нет Ленина, есть Ленин!». Впервые она была опубликована в 1936 году в «Известиях».

#### Т. Шадр-Иванова

При жизни Ленина мне не удалось встретиться с ним.

Я увидел Ленина впервые в КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ.

#### В ГРОБУ!

Вы все помните...

Тревожные бюллетени на стенах улиц «О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ» Ильича...

И роковой, траурный морозный день, когда на мгновенье во всей стране остановилось движение.

Люди на улицах без шапок, остолбенели как вкопанные, а, осыпая пушистый иней, гудящие провода телеграфа, сдавленные спазмы заводских гудков и свирелей фабрик уныло, в унисон друг другу выли... УМЕР!..

И вся страна, с содроганием не спрашивала, —

почуяла — КТО!

Меня срочно вызвали в Дом Союзов. Мне было поручено вылепить с натуры ГОЛОВУ ЛЕНИНА!

Трескучий мороз. Непроницаемая седея мгла.

Красная площадь; красные от света костров, ошетинились зубчатые древние стены Кремля, Спасская башня с золотыми часами, в остроконечной цветной шапке «Блаженный».

Вихрем кружатся огненные искры.

Визжат и грызут пилы, стучат молотки, с хрустом рубят топоры!

Кричат и мечутся тени людей, и взрывы бросают в небо мерзлые пласты земли.

Это «ЕМУ»... — роют!..

Толпы народа... Идут, идут. Дом Союзов как осажденная крепость.

Вот мой СЛУЖЕБНЫЙ ПРОПУСК!

Я храню его, как драгоценную память.

Это он приблизил меня к Ленину, ВПЛОТНУЮ, лицом к лицу!

Я вошел в белоснежный Колонный зал. Хрустальные люстры, затянутые траурной кисеей, поблескивали, как слезы, собранные в прозрачные мешки.

Склоненные красные знамена.

Бесперывная тягучая людская лавина льется, как из вулкана...

...Угромо... молча.

Только тяжелая поступь тысячи ног ритмично и глухо отбивает шаги, сливаясь с печальными плывущими звуками 6-й симфонии.

А посредине зала...

На высоком постаменте, окруженном ПОЧЕТНЫМ КАРАУЛОМ, в красном гробу, утопающий в венках и цветах,

величаво покоится ОН!

Стоя в отдалении, я оцепенел. На меня в первую минуту напал панический страх.

Смутно помню, как мимо меня пронесли мою глину, ведро с водой, станок для лепки, поставили рядом с гробом.

ЛЕПИТЬ!..

В то время, когда о сохранении тела еще не было известно.

ЛЕПИТЬ!..

Перед историей, когда моя работа явится, может быть, единственным документом для изучения портрета Ленина.

ЛЕПИТЬ!.. В окружении миллионов критикующих глаз, пылливо, ревниво сравнивающих мой слепок с оригиналом.

ЛЕПИТЬ!.. Без уверенности, в случае неудачи, опереться на помощь другого.

Ленин! — НЕ ПОДВЕДИ.

От нервного напряжения крепко сжав за спину руки, стиснув зубы, низко опустив голову, полузакрыв глаза, не озираясь по сторонам, чтобы не рассеять сосредоточенную решимость...

я уверенным шагом пошел вперед, и, подойдя вплотную к гробу, коснувшись его кромки, я разогнулся, открыл глаза и сразу, одним взглядом охватил его всего — с головы до ног.

Передо мной ИЛЬИЧ!

— Вот он какой!!! —

прошептал я глубоко в себе, и на душе моей стало необычайно легко.

Чувство страха мгновенно сменило новое чувство (похожее на состояние восторженного озорства). Желание подольше постоять без дела, не спеша полюбоваться, как на родного, близкого мне человека, которого я застал врасплох, красиво спящим.

Спокойно, медленно осмотрелся кругом...

Жуткая тишина... Около меня бесшумно сменяется почетный караул.

Остановили внимание! —

слева — ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ!

Стоит неподвижно и прямо. Сухая угловатая фигура аскета.

Чрезмерно утомленное лицо — на длинной ше.

Сосредоточенный взгляд.

Нос — клюв сокола.

Холоден, КАК МЕЧ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ОСТРИЕ.

Справа! — «Старый и Малый».

Древний старик с седой бородою — «ВETERАН ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ!»!

**Рядом с ним пионер!**

Расстегнут ворот.

В экстазе запрокинута голова.

Глаза — горящие угли.

Полуоткрытый детский рот.

Винтовка в руках, вдвое выше его роста.

Напротив меня, через гроб, венок с красной лентой и надписью на ней: «ПРОЩАЙ, ДРУГ!»

Присланный с КАПРИ.

Скорбная,

несгибаемая,

с веками, опухшими от невыплаканных слез,

с взглядом невидящих глаз, устремленных к НЕМУ,

бессменный друг, на карауле —

товарищ КРУПСКАЯ!

НАЧАЛ РАБОТАТЬ.

Лепил в натуральную величину.

Обласканная руками глина легко и послушно подчинялась моей воле. Вызвала во мне творческий трепет и твердую уверенность.

Я забыл все на свете, все, кроме лежащего передо мной ВЕЛИКОГО НАТУРЩИКА!

Вот ОН! — величаво и просто «ПОЧИЕТ ОТ ДЕЛ».

В «защитном» френче.

На груди значок «ЦИК».

Правая рука, сжатая в кулак, лежит прямо и уверенно вдоль тела, готовая в любую минуту подняться и развернуться в Ленинский призывный жест, с широкой открытой ладонью, повернутой ребром и рассекающей препятствия, как острый топор.

Левая рука согнута в локте на высоте сердца, в привычном движении пальцев, нащупывающих опору «ПОД МЫШКОИ» — в разрезах жилета.

ЖЕСТ ПРОМЕТЕЯ, державшего в кулаках вырванное у богов ПЛАМЯ.

ЖЕСТ ЛЕНИНА!!!

Жест **вулкана**, вздыбившего рычагом революции  $\frac{1}{6}$  земного шара.

ЖЕСТ ЛЕНИНА!!!

и... жест привычки — **в быту**.

Жест ИЛЬИЧА.

НА АЛОЙ АТЛАСНОЙ ПОДУШКЕ как из желтого воска отлитая ГОЛОВА ЛЕНИНА: слегка склоненная к плечу.

Необычайно, геометрически, почти вертикально поставленный высокий лоб.

В ФОРМЕ ТРАПЕЦИИ.

Сильно выступающий рельеф височных костей, равняющихся почти с высотой ушей,

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В КРУГ черепной коробки, с сильно скошенным затылком, создает впечатление АРХИТЕКТУРНОЙ грандиозной величавости.

Здесь нет ничего от «ПРОСТОГО СМЕРТНОГО».

З Д Е С Ь :

суровая мудрость,

упрямость,

беспощадная стальная воля

и непримиримость.

Совсем другое выражение — в ЛИЦЕ Лицо — это КАЛЕЙДОСКОП ЛЕНИНСКИХ ЧУВСТВ!

Это живой Ильич.

ВЕЛИЧАЙШИЙ ГУМАНИСТ!

Вот его подвижное, несколько азиатско-го типа, скуластое лицо — в веснушках. Впросительно вздернутая бровь. Сомкнутые щели добродушно лукавых, прищуренных глаз.

«ПРОНИЗЫВАЮЩИХ НАСКВОЗЬ».

Даже через опущенные веки.

Правильной формы нос.

Коротко подстриженные, местами не закрывающие верхней губы, торчащие отдельными кустиками в разные стороны, рыжеватые — насмешливые усы.

Четко подрубленная, массивная НИЖНЯЯ ГУБА.

Сильно развитые, необычайно подвижные жевательные мышцы улыбочатых щек и подбородок с устремленной вперед — вонзающейся типично ленинской бородкой ШИЛОМ.

ЖУТКАЯ ТИШИНА...

В воздухе чувствуется холодок утренней зари.

Из оркестра спустилась в Колонный зал Патетическая, ПЕЧАЛЬНАЯ СОНАТА БЕТХОВЕНА, смешалась с непрерывным людским потоком.

ИДУТ... ИДУТ — МОЛЧА.

Мелькают бесчисленные бледные лица, устремленные к НЕМУ. Сливаются в одну нескончаемую волнующуюся, движущуюся ленту. Шаркает пол.

Тяжелая поступь миллионов ног.

Изредка глухие рыдания, которые трудно спрятать в толпе.

Как каменный, почетный караул на своем посту.

Вдруг пронзительный, душу раздирающий вопль:

«ЛЕНИН, ЛЕНИН, ВСТАВАЙ!

— Я за тебя лягу!!!»

Женщина, прорвавшаяся через цепь дисциплины...

Падает за моей спиной у подножия Ленина и бьется в истерику.

Ее подхватывают на руки и заботливо уносят.

И снова тихо.

Стрекочет киноаппарат...

Синие лучи прожекторов шарят по залу.

Направленные на голову Ленина, они придают ей тон мрамора, стереоскопически четкой ее формы, и подчеркивают еще сильнее потрясающее величие момента.

Вспомнились слова поэта:

«Несправедлив жестокой, жадной  
смерти бич.

И плачут сильные и дети, как  
по сказке няни,

И женщины, рабочие, крестьяне  
В века бросают скорбный клич.

Клянут тот скорбный час,  
Когда угас Ильич.

Гигант, чья мысль Огонь и цели  
счастье масс,  
Подняв во всей вселенной угнетенный  
класс,

Единой волею спаявший Север, Юг,  
и Запад, и Восток,

Для угнетателей прошедший точно  
грозный РОК.

Живет, в Идее жив. Не умер. Не умрет!»

Я устал. Посмотрел на часы...

Оказалось, я непрерывно работал 46 часов!



С. А. Бодянский

## Новороссийская республика

(Воспоминания участника событий)

В Центральном государственном архиве Октябрьской революции в Москве (на Пироговке, ЦГАОР СССР) хранятся бесценные рукописи по истории революционного движения в стране, и среди них множество документов по истории первой русской революции 1905—1907 годов. Здесь можно встретить толстые папки дел департамента полиции, заведенные на революционеров, протоколы допросов, обвинительные акты, различные донесения — царю, министрам, губернаторам и проч. Есть специальные фонды листовок, газет. Частьенько удастся увидеть и различные фотографии, самые разнообразные письма и даже шифровки.

Мелькают резолюции, написанные то красным карандашом, то синим, а то чернилами или простым карандашом. Эти лаконичные росчерки решали судьбы тысяч людей. Вот перед нами обвинительный акт о деятельности социал-демократов в Новороссийске, представляющий объемистый документ, подписанный военным прокурором. Из него мы узнаем об активных деятелях Новороссийской республики в 1905 году: Дубровине, Николаеве, Зелене, Гольмане, Сокольском, Бодянском и др.

Сообщается, что «...обвиняемый Сергей Бодянский состоял членом Совета рабочих депутатов, часто бывал в Исполнительном комитете и принимал участие в их собраниях. Комитет этот находился в помещении 3-го городского женского училища в доме Малова. У дверей обыкновенно стояли вооруженные дружинники, которые посторонних лиц не пропускали. Бодянского же сторожа пропускали беспрепятственно. Бодянский же был одним из главных виновников гимназической забастовки...»

Автор представленных воспоминаний Сергей Александрович Бодянский — активный участник революционных событий 1905 года в Новороссийске, член Совета рабочих депутатов. Как современник и непосредственный участник событий, он воссоздает правдивую картину боевых революционных дней.

Лишь две недели просуществовала Новороссийская республика (с 11 по 24 декабря), но и за это короткое время она смогла дать большой и полезный урок борющимся рабочим.



1905 год. Демонстрация в Новороссийске.





С. Бодянский с женой. 1914

Совет рабочих депутатов Новороссийска проявил себя как орган новой государственной власти. Губернатор Новороссийска Березников доносил: «Город во власти революционеров». Совет рабочих депутатов обратился с воззванием к населению, где говорилось о задачах Совета. Выдвигались лозунги: «Долой самодержавие!», «Да здравствует Всенародное Учредительное собрание!»

Исполком выступал как полномочный орган власти. По отдельным отраслям городского управления были организованы коллегии. Был установлен контроль над промышленными предприятиями, транспортом и торговлей, регулировалась торгово-промышленная жизнь города, имущая часть населения была обложена налогом.

Большое внимание уделялось учреждению народного суда. Еще с середины ноября в рабочих районах города действовал народный суд. Разбирались самые разнообразные дела (на собраниях рабочих).

20 ноября разбиралось дело начальника же-

лезнодорожного паровозного депо Б. А. Глеб-Кошанского по обвинению в доносах жандармам об участниках событий в июле. Обвинительный акт свидетельствует, что «...Бодянский принимал участие в этом заседании, давая свое резюме по каждому делу отдельно...».

Обстановка в городе была накалена до предела. 17 декабря главный командир Черноморского флота и портов Черного моря Г. П. Чухнин сообщает Николаю II о переходе власти в Новороссийске к Совету рабочих депутатов и волнениях в войсках. 18 декабря царь пишет на этом документе: «Потребовать донесения из Новороссийска».

Царское правительство использовало поражение восстания в Москве, Ростове и других городах для последних ударов на революционеров. В Новороссийск была послана карательная экспедиция из казаков-добровольцев. 24 декабря Новороссийская республика пала. В. И. Ленин отмечал тогда: «Некоторые города России переживали в те дни период различных местных маленьких «республик», в которых правительственная власть была смещена и Совет рабочих депутатов действительно функционировал в качестве новой государственной власти. К сожалению, эти периоды были слишком краткими, «победы» слишком слабыми, слишком изолированными».

26 декабря Новороссийск и Новороссийский округ Черноморской губернии были объявлены на военном положении.

Началась расправа над революционерами. Воспоминания одного из членов Совета рабочих депутатов города Новороссийска, С. А. Бодянского, мы и предлагаем вниманию читателей.

Н. А. Курашова

Шел декабрь 1905 года. Новороссийский пролетариат готовился к вооруженному восстанию. Рабочие спешно запасались винтовками и другим оружием. Те, у которых не было огнестрельного оружия, были вооружены пиками, сделанными на цементном заводе.

Всею борьбой рабочих Новороссийска руководил Черноморский комитет РСДРП<sup>1</sup>, образовавшийся из социал-демократических групп. Значение комитета было настолько велико, что он до организации Совета решал все дела, касающиеся жизни города.

Полицейстер и жандармский ротмистр

<sup>1</sup> Черноморский комитет РСДРП был создан в августе 1905 года. С октября 1905 года по рабочим районам города были созданы и районные комитеты: на цементном заводе, в порту. (См.: П. Семернин, Рабочий класс в революции 1905—1907 гг. в Азово-Черноморском и Северо-Кавказском краях. Ростов-на-Дону, 1935, стр. 175—176; В. Д. Соколовский, Новороссийский Совет рабочих депутатов в 1905 году. «Вопросы истории», 1955, № 12.)

скрылись. Полиция и жандармерия ступали и нигде в городе не показывались. Березников<sup>2</sup>, исполнявший обязанности губернатора, боялся оставаться в городе и переселился на железнодорожную территорию, где жил в железнодорожном вагоне, окруженном войсками.

Из трех казачьих сотен Урупского полка, составлявших гарнизон Новороссийска, только одна повиновалась губернатору. Четвертая и шестая сотни под влиянием большевистской пропаганды отказались подчиняться.

В городе была создана боевая дружина, насчитывавшая до 300 человек<sup>3</sup>. Начальником ее был избран рабочий Ф. А. Дубровин<sup>4</sup>. Ранее, служа в армии, он был фельдфебелем. Это был человек рослый, сильный, крепко сложенный. Он обладал громким голосом, и, бывало, когда командует «Смирно!», не только дружинники быстро становились во фронт, но даже проходящие мимо невольно приостанавливались и поворачивали головы в его сторону. Дружинники звали его «генерал Черный» («Черный» была его партийная кличка) и шутя говорили, что, когда он командует, наступает полная тишина и только ветки на деревьях начинают усиленно качаться.

Помимо дружины Дубровина, в городе были еще дружины рабочих цементных заводов и железнодорожников. Общее число дружинников доходило до тысячи человек.

Ко мне, как к химику, обратились с просьбой приготовить ручные бомбы, но, так как практически я не был знаком с этим делом, пришлось выписать специалиста-техника из Екатеринодара<sup>5</sup>. Он изготовил несколько пробных бомб, и мы (Дубровин, техник и я) в одно из воскресений отправились в горы, чтобы испытать их. Пройдя несколько километров по шоссе, мы свернули в сторону от дороги и вскоре выбрали уединенное и подходящее место. Дубровин взял в руки бомбу и громкогласно командовал: «Ложись!» Мы с техником бросились на землю, а Дубровин, отбежав на несколько шагов, размахнулся и с большой силой бросил бомбу. Но она не взорвалась. После этого мы установили, в чем ее недостатки, и, возвратясь в город, вскоре изготовили новые бомбы, оказавшиеся вполне удовлетворительными.

Однако как бомб, так и другого оружия в руках у рабочих по-прежнему было мало.

7(20) декабря 1905 года из Москвы пришло сообщение, призывавшее ко все-

общей железнодорожной забастовке. В тот же день на заседании Революционного комитета РСДРП было принято решение о всеобщей политической стачке, полной ликвидации существующего аппарата управления, захвате власти и создании временного революционного правительства в форме Совета рабочих депутатов.

8(21) декабря забастовали рабочие-железнодорожники, за ними рабочие порта и цементных заводов<sup>6</sup>.

В состав Совета рабочих депутатов было избрано 72 человека<sup>7</sup>. Здесь были члены Революционного комитета РСДРП, наи-

<sup>2</sup> А. А. Березников исполнял должность губернатора города Новороссийска с 3 ноября 1905 по 12 января 1906 года. Он вынужден был переселиться в вагон, так как охранявшие его канцелярию десять казаков Урупского полка заявили, что они «не присягали защищать эти стены и вступят в канцелярию кого угодно». (Из докладной записки директора департаментской полиции Э. И. Вуича министру внутренних дел П. А. Столыпину от 26 июня 1906 года. См.: Сборник документов «Высший подъем революции 1905—1907 гг.» (Ноябрь—декабрь 1905 г. Вооруженные восстания, ч. II. М., 1955, стр. 587; Н. Н. Яковлев, Вооруженные восстания в декабре 1905 года. М., 1957, стр. 268.)

<sup>3</sup> К концу ноября в дружине было 300 человек, вооруженных ружьями, и 500 человек — револьверами и холодным оружием. По инициативе большевистского комитета рабочих цементных заводов была создана единая боевая рабочая дружина города. (См.: В. Д. Соколовский, указ. соч., стр. 72.)

<sup>4</sup> Филипп Дубровин, большевик, рабочий-маляр, канонир запаса. Его помощником был капитан запаса офицер Грозинский. (См.: Н. Н. Яковлев, Вооруженные восстания в декабре 1905 года. М., 1957, стр. 262—263; В. Д. Соколовский, указ. соч., стр. 77.)

<sup>5</sup> Теперь Краснодар.

<sup>6</sup> В забастовке приняли участие все предприятия Новороссийска. В этот же день собралась конференция социал-демократических организаций Черноморского комитета РСДРП. Было избрано большевистское руководство комитетом (Бобков — студент, Ф. Дубровин, «Николаев», «Борис»). Конференция приняла решение о выборах Новороссийского городского Совета рабочих депутатов и о захвате власти. (См.: В. Д. Соколовский, указ. соч., стр. 78.)

<sup>7</sup> Выборы в Совет рабочих депутатов состоялись 13 декабря по призыву Черноморского комитета РСДРП и Черноморского отделения Всероссийского крестьянского союза. Они были проведены открытым голосованием на рабочих собраниях всех предприятий города. 88 процентов депутатов составляли рабочие, были также представители от служащих, учителей, приказчиков, безработных, от Крестьянского союза. Большинство депутатов являлись большевиками. (См.: В. Д. Соколовский, указ. соч., стр. 78.)

более революционно настроенные и энергичные представители пролетариата, а также ряд партийных работников, приехавших из центра и крупных городов Кавказа.

На первом заседании Совета 14(27) декабря<sup>8</sup> был избран Исполнительный комитет во главе с товарищем Николаем (Николаевым). Работа городской думы была прекращена, так же как и деятельность всех старых органов городского управления, за исключением казначейства и банка.

В городе стали издаваться «Известия Совета рабочих депутатов»<sup>9</sup>. Была запрещена торговля спиртными напитками, закрыты казенные винные лавки; установлены твердые цены на продукты питания, время открытия и закрытия магазинов.

Забастовка на предприятиях, как не имевшая смысла в условиях перехода власти к революционному народу, была прекращена. Продолжалась она только на железной дороге, в порту, на почте и телеграфе.

Вместо исчезнувшей полиции была организована народная милиция, созданию которой много содействовал Гречкин. В прошлом помещик, он из-за болезни жены переехал в Геленджик, где купил дачку и занялся хозяйством. Начавшаяся революция захватила его. Явившись в Новороссийск, он принял горячее участие в борьбе рабочих. Вскоре он приобрел большую авторитет, так как своими толковыми указаниями и решительными действиями много способствовал установлению революционного порядка.

Ходил он с необычайно воинственным видом и был весь обвешан револьверами. Вероятно, поэтому шпика произвели его в должность «революционного полицмейстера». Такое обвинение и было ему впоследствии предъявлено на суде по делу о Новороссийской республике.

Когда революция в Новороссийске была подавлена, Гречкин, желая избежать ареста, уехал в Сочи. Но здесь в это время развернулось сочинское восстание, и он, забыв о своем намерении скрыться, принял и в нем самое активное участие. Здесь он и был арестован и приговорен военным судом к десяти годам каторги. На суд по делу о Новороссийской республике он был доставлен уже в кандалах.

Революция увлекала людей из различных слоев. Например, человек, бывший когда-то карманным воров, честно служил революции; работая в народной милиции, он обязался уничтожить кражи в городе.

Зная все воровские притоны, он при каждой краже легко отыскивал похищенное.

Особенно сильное впечатление произвел на всех следующий случай: у бывшего городского головы Никулина были украдены из кармана золотые часы; он обратился в милицию, и вскоре часы были найдены и возвращены по принадлежности. Воровство в городе действительно прекратилось, и, как мы потом узнали, вся воровская шайка перекочевала куда-то из Новороссийска «ввиду невозможности существования».

Когда до Совета рабочих депутатов дошли сведения, что приехавший из Екатеринодара выездной окружной суд намерен продолжать свою работу, было принято решение прекратить его деятельность. Это было поручено мне и тов. Лизе<sup>10</sup> (курсистке, приехавшей из центра). Получив соответствующий мандат, мы 12(25) декабря явились на заседание суда и предложили прекратить работу ввиду всеобщей политической забастовки. Члены суда подчинились распоряжению Совета рабочих депутатов, прекратили заседание и при первой же возможности укатили обратно в Екатеринодар.

Впоследствии, боясь ответственности за это, в своих письменных показаниях военному суду по делу о Новороссийской республике они заявили, что их силой заставили прекратить работу. «Сила» была, конечно, внушительная: молодой учитель и девушка-курсистка!

В этот же день (12 декабря) аналогичное требование было предъявлено нами мировому судье, который также прекратил работу.

Вместо царского суда Совет рабочих депутатов организовал народные суды из рабочих, которые успели за время существования республики рассмотреть ряд дел.

Большое внимание уделялось Советом работе среди казаков, составивших гарнизон города Новороссийска, а также в батальоне казаков-пластунов (800 человек).

<sup>8</sup> Секретарем Совета был избран «Борис». (Сокольский). В Исполнительный комитет вошли семь человек — социал-демократы А. Зелена, И. Гольман, «Борис», Прохоров, Бобков и социалисты-революционеры Лейбович и Калинин. Председатель обычно избирался на одно заседание. Большинство членов Исполкома шло за большевиками. (См.; В. Д. Сокольский, указ. соч., стр. 78.)

<sup>9</sup> Всего вышло 4 номера газеты.

<sup>10</sup> Лиза — курсистка Медович.

направленных в Батум на подавление революционного восстания и задержавшихся в Новороссийске. Под влиянием большевистской агитации большинство казаков Урупского полка отказалось подчиняться начальникам, и лишь небольшая часть их «верно» несла службу по охране Березникова, прятавшегося в железнодорожном вагоне. Что же касается пластунского батальона, то он категорически отказался следовать в Батум и выехал обратно на Кубань со специальным поездом, который сформировали для него новороссийские железнодорожники.

Совет рабочих депутатов приобретал все больший авторитет. Он руководил всеми сторонами городской жизни и стал полным хозяином города.

Помимо крупных, принципиальных политических, общественных и хозяйственных дел, в Совет обращались граждане по множеству дел личных, имущественных и даже семейных. Помню случай, когда в Совет обратилась гражданка Л. с ходатайством о разводе с мужем. Секретарь Совета был весьма озадачен, ибо органа, выполняющего функции нашего нынешнего загса, в Совете еще не существовало. Помните, дело было улажено мирным путем.

Вести о подавлении вооруженного восстания в Москве оживили силы реакции в Новороссийске. Так как на местные казачьи части, «расшатанные» революционной пропагандой, надеяться не приходилось, были вызваны казачьи части из Екатеринодара. Войсковой казачий атаман двинул на Новороссийск большой отряд казаков с артиллерией под командой генерала Пржевальского<sup>11</sup>.

22 декабря Совет рабочих депутатов собрал экстренное заседание. Революционно настроенное большинство настаивало на продолжении борьбы. Совет постановил перейти на партизанские методы борьбы и специальным воззванием призвал к этому население. Железнодорожникам было поручено взорвать бомбами в тоннеле поезд с казачьими войсками, направляющимися в Новороссийск, или же в случае неудачи пустить этот поезд в море, пользуясь громадным уклоном железнодорожных путей при приближении к Новороссийску.

Это решение не удалось выполнить, так как провокатор Петрушевич выдал заблаговременно Пржевальскому этот план. На станции Тоннельной (не доезжая тоннелей) Пржевальский высадил казаков из

вагонов и направил их в Новороссийск пешим порядком через горы.

В это же время к городу со стороны моря подошел броненосец «Три святителя».

24 декабря утром было вновь созвано экстренное заседание Совета рабочих депутатов. Безднадежность дальнейшей борьбы была ясна всем.

На заседание мы шли, как приговоренные к смерти. Настроение было невыносимо тягостное. Знали, что идем на последнее свое заседание. Все понимали: силы не равны, открытую борьбу нужно прекратить и вновь уйти в подполье, чтобы не растрчивать сил революции. И все же душа каждого возмущалась, протестовала, негодовала!

Кое-кто из молодых, наиболее горячих сторонников решительных мер сначала резко возражал против прекращения борьбы. Председатель тов. Николай тоже заметил как бы вскользь спокойным, ровным голосом: «А я бы дрался!» Его слова произвели на всех большое впечатление, заплодировали даже те, кто был против продолжения сопротивления. Однако, когда речь пошла о конкретных планах сопротивления и шансах удержать город в своих руках, безднадежность планов обороны стала ясна всем. Было решено распустить Совет рабочих депутатов, спрятать имевшееся оружие, а приезжим агитаторам немедленно скрыться из города.

Так Новороссийская республика, существовавшая 14 дней, была ликвидирована. Вечером этого же дня, 24 декабря 1905 года, в город вступили казаки.

Начались повальные аресты. Хватали всех без разбора. На цементных заводах и на железнодорожной станции аресты обычно сопровождалось избиениями. Особенно пострадал инженер Лейбович. Как еврей, он вызвал особую ненависть казаков. Когда один из них ударил его, он попытался вырвать у казака кинжал, чтобы защищаться. Это ему не удалось, и он был зверски избит. В тюрьму он был доставлен весь окровавленный. Зная, что у него был туберкулез, мы боялись, чтобы болезнь не обострилась.

В городе вновь воскресли и почувствовали себя господами положения поли-

<sup>11</sup> Генерал Пржевальский — начальник штаба Кубанского казачьего войска. (См.: Н. Н. Яковлев, указ. соч., стр. 265.)

цейские и жандармы. Вместе с деятелями революционного правительства — Совета были арестованы даже члены городской думы: присяжный поверенный Лир, коммерсант Вильде и другие во главе с самим городским головой Никулиным.

Ко мне явился полицмейстер. Он вошел один, без стражи, и чувствовал себя, видимо, неловко, так как знал меня как учителя своего сына в гимназии. Он заявил, что «принужден лишить меня свободы», тут же сделал вид, что производит обыск, который состоял в том, что он приподнял и повертел несколько книг на письменном столе. Увидя на столе кобуру от револьвера, он спросил: «А где же револьвер?» Я ответил, что револьвер утерян, и он положил кобуру на место, даже не занеся этого в протокол; в протоколе он написал, что при обыске ничего предосудительного не было найдено, и, выйдя со мною из дому, сдал меня полицейскому, который препроводил меня в тюрьму.

Аресты гласных думы, инженеров, учителей, адвокатов производили на начальника тюрьмы ошеломляющее впечатление. Когда же под вечер к нему пожаловал в качестве арестанта сам городской голова Никулин, растерянность его дошла до крайности. Он не знал, что с ним делать, и оставил его на ночь в конторе. На следующее утро, получив по телефону соответствующие инструкции, он перевел Никулина на общее положение в тюрьму.

Новороссийская тюрьма не была приспособлена для содержания в ней «политических». Не было камер-одиночек, и все арестованные были помещены в большие камеры, человек по двадцать в каждой. Начальник тюрьмы не обладал требуемой для «политических» твердостью и жесткостью, режим был довольно свободный, днем камеры даже не запирались, двери часто стояли открытыми.

Большинство из нас коротали время за чтением, многие занялись самообразованием, изучали стенографию, иностранные языки. Все мы были очень поражены тем, что наш «генерал Черный» — Дубровин, раздобыв себе бумага, начал рисовать. Оказалось, что он владеет карандашом не хуже, чем оружием. Его рисунки и портреты заключенных передавались на волю и доставляли большую радость нашим родным.

Таким образом, условия содержания в новороссийской тюрьме были довольно сносными. Это, конечно, не нравилось администрации города.

Исполняющий обязанности губернатора Березников уже вылез из своего заточения в вагоне и вновь поселился в губернаторском доме. Чтобы оправдать свою трусость во время восстания, он старался раздуть дело до грандиозных размеров. При первой же возможности он умчался в Петербург, чтобы искать там заступничества и покровительства. Своей цели он достиг и, получив повышение в должности, вернулся из Петербурга уже черноморским губернатором.

Единственно, что смущало теперь покой нового губернатора, было присутствие в городе «бунтовщиков».

Он панически боялся побега политических, тем более что в городе действительно распространялись кем-то (очевидно, с провокационной целью) такие слухи.

И вот полетели в Петербург телеграммы о том, что опасно оставлять бунтовщиков в Новороссийске. Результатом было распоряжение о переводе нас в екатеринодарскую тюрьму.

Тюрьма эта славилась своим жестоким режимом. Начальником ее в то время был знаменитый Скочко, и сама тюрьма была известна под названием Скочковии. Она была совершенно не похожа на новороссийскую.

Это было громадное двухэтажное здание, окруженное высокими каменными стенами, которые много видели страшного, слышали крики и стоны. Тут свистели нагайки, когда заключенных прогоняли сквозь строй в темный холодный карцер; тут слышались и ружейные выстрелы, когда «усмиряли бунтовщиков»; тут люди неделями сидели на краюхе хлеба и кружке воды, а затрешин и оплеух не перечить и не припомнить.

Тюрьма имела много камер-одиночек, которые днем и ночью были заперты на замок. В такие одиночки и попали новороссийцы.

Уже при нас, когда несколько политических не захотели по какой-то причине после прогулки войти в камеры и требовали вызова прокурора, Скочко не замедлил вызвать казаков, которые нагайками погнали «бунтовщиков» в камеры, причем некоторые (народные учителя Полуян, Мороз и другие) были жестоко избиты.

И все-таки с прибытием массы новороссийцев у администрации тюрьмы стала чувствоваться какая-то неуверенность и растерянность.

Мы не замедлили воспользоваться этим и понемногу стали позволять себе такие

«вольности», о которые раньше в Скопковии нельзя было и думать: мы свободно разговаривали друг с другом через «глазки», голоса раздавались по всей тюрьме. Об этом, конечно, доносили Скопко, но он не принимал никаких мер.

Предварительное следствие по нашему делу тянулось чрезвычайно долго. Все это время мы были совершенно оторваны от внешнего мира. Мы не только были лишены газет, журналов, но ничего не знали о том, что делается в России и во всем мире. Не знали даже, как живут наши семьи, что делается для организации защиты по нашему делу.

В это-то время большую помощь нам оказал тюремный священник Александр Мороко. Я ясно представляю себе и сейчас, как отец Александр входит в одиночку, закрывает дверь, поворачивается лицом к «глазку», чтобы видеть, не наблюдает ли кто-нибудь за ним, вынимает из кармана письмо и за спиной передает его заключенному. Потом он оборачивается лицом и начинает «духовную беседу», передавая то, что просили добавить к письму на словах.

Что значила для нас такая помощь, вполне поймет только тот, кто сам переживал это.

Благодаря отцу Александру мы имели возможность поддерживать связь с нашими близкими, которые сообщали нам обо всем, что могло нас интересовать. Могли мы и сами послать о себе весточку.

Ежедневно нас выпускали на прогулку — сначала на полчаса, потом и больше; требовали сначала, чтобы мы ходили парами по кругу; но по мере того как режим в тюрьме стал ослабевать, мы понемногу начали пробовать свободные передвижения по двору, а потом даже придумали игру: старый чайник, добытый кем-то, ставили в круг и по очереди вышибали его оттуда палкой. Общим смехом сопровождался удары Никулина, который, обладая большой силой, выбивал чайник на огромное расстояние. Чайник летел, как птица, и наблюдавший за нашей прогулкой надзиратель с большим интересом следил за ходом игры и громко гоготал при особенно удачных ударах. Но чаще городской голова, не попадая в чайник, выбивал палкой в землю огромные ямы, что вызывало еще больший смех.

Очень удивил меня однажды один надзиратель: провожая меня с прогулки в камеру, он вдруг наклонился ко мне и неожиданно заговорил о том, как ему хочет

ся уйти с этой «проклятой работы», «да вот не пускают»...

Положительно, Скопковия начала понемногу расшатываться!

Между тем следователь по особо важным делам Лыжин совершенно извелся, стараясь создать как можно более громкий процесс из нашего дела и тем угодить начальству и выдвинуться по службе.

Следствие по делу затянулось на три года.

Помощник прокурора Вельский, человек толковый и неглупый, ввиду большой тяжести следствия счел возможным выпустить многих обвиняемых из тюрьмы до суда под залог, на поруки или под надзор полиции. В числе последних был и я.

Оказавшись на свободе до суда и обдумав вместе с женой свое положение, я решил эмигрировать.

Не имея возможности получить легально заграничный паспорт, я решил ехать через Финляндию, откуда можно было на пароходе свободно выехать за границу.

Через Норвегию и Данию я попал, наконец, в Париж, где намеревался обосноваться. Прибыл я поздно вечером и остановился в отеле, где жила одна знакомая мне семья.

Выйдя утром на улицу, я был как-то оглушен и ослеплен Парижем. Ярко сияло солнце, было совсем тепло, чувствовалось сразу, что я не в России, где была еще ранняя холодная весна и лежал снег. Здесь улицы были чисты, по тротуарам быстро двигалась яркая, красочная, оживленная болтающая, порою кричащая толпа; продавцы выкрикивали названия газет, мчались сотни автомобилей, и гудки их висели в воздухе.

Казалось, вся жизнь парижан протекает на улице; рестораны были полны завтракающими, столики их были выставлены прямо на тротуары. На улицах то и дело попадались продавщицы цветов; яркие розы, фиалки были у многих женщин в руках, а у мужчин в петлицах. У меня немного кружилась голова, чудилось, что я попал на какой-то праздник. А между тем это было самое обычное трудовое утро парижан: все спешили на работу.

Латинский квартал Парижа был «русской колонией».

После разгрома революции 1905 года десятки тысяч русских эмигрировали за границу. Много их было и в Париже, так как въезд туда был беспрепятственным и французское правительство предоставляло



им право убежища. Латинский квартал был полон русскими, здесь были и русская столовая, и русская парикмахерская, и русская прачечная, были русские магазины, а во французских продавцы, улыбаясь, отвечали вам тоже на «русском» (хоть и труднопонимаемом) языке. В Латинском квартале можно было прожить всю жизнь, не зная французского языка. Поэтому само собой установилось: хочешь изучить язык — селись не в Латинском квартале, а в другой части Парижа.

Найти работу было трудно. Хорошо устраивались только крупные специалисты. Те, кто знал какое-либо ремесло, тоже в конце концов устраивались и жили без нужды.

Остальным жилось очень трудно, особенно тем, кто не получал никаких средств из России от родных.

Было русское общество вспомоществования нуждающимся, оно выдавало талончики на обед, но этого, конечно, было недостаточно для жизни.

В русской столовой обычно вывешивались объявления о всех докладах, лекциях, диспутах на русском языке, которые происходили в Париже. Здесь в это время собрался весь цвет социалистической мысли и главные силы русской революции — виднейшие представители всех политических партий. Отсюда шло все руководство революционной работой в России, поддерживалась постоянная связь с подпольными русскими революционными организациями.

Франция предоставляла политической эмиграции наибольшую свободу: в Германии условия жизни были гораздо более стеснительны, до Америки было далеко и дорого добираться. Поэтому Париж стал центром русской эмиграции. Здесь были представители обеих фракций РСДРП — большевики во главе с Лениным и меньшевики во главе с Ю. О. Мартовым.

Значительно меньше было эсеров и анархистов разных толков.

Мне удалось присутствовать на интереснейшем диспуте между Лениным и Мартовым<sup>12</sup> по вопросу о дальнейшем направлении революционного движения в России. На этот диспут собралась почти вся русская колония. Зал не вмещал всех желающих присутствовать.

Доклад делал Ю. О. Мартов. В. И. Ленин оппонировал.

Положение Ленина было нелегким, так как в начале диспута большинство присутствующей публики явно склонялось на сторону Мартова.

Мартов говорил тяжело, твердо, и его спокойная речь действовала на слушателей.

Но вот на трибуну вышел Ленин.

С исключительным мастерством, с иронией, доходящей до сарказма, уничтожающего противника, он меткими, предельно точными ударами опрокидывал казавшиеся незабываемыми положения Мартова.

Что в это время творилось в зале, трудно себе представить, аплодисменты, возгласы, стук стульев... Многие вскакивали со своих мест и бросались к эстраде.

Ответственный распорядитель несколько раз поднимался на эстраду и, пользуясь своим могучим голосом, восстанавливал некоторое подобие порядка.

Мартов, этот тяжеловес, подстегиваемый язвительными возражениями Ленина, разгорячился и стал отвечать в повышенном тоне.

И снова несколько кратких блестящих реплик Ленина с очевидностью рушили, валяли все массивное здание мартовских построений и выводов.

Думаю, что не часто в стенах этого зала разыгрывалась такая острая идейная борьба, создавалась такая накаленная атмосфера, собиралась такая возбужденная публика.

С поразительной быстротой Ленин сумел завоевать симпатии громадного большинства присутствующих.

Этот диспут произвел на меня неизгладимое впечатление, сохранившееся на всю жизнь.

Из французских ораторов-социалистов я слышал Жореса<sup>13</sup>, пользовавшегося в то время огромной популярностью у французов. Однако на меня его ораторский стиль не произвел впечатления. Говорил он

<sup>12</sup> Речь идет о 1908 г. С весны 1908 года В. И. Ленин неоднократно выступал с речами и докладами на различных собраниях и интернациональных митингах в Женеве, Париже, Антверпене, Лондоне. (В. И. Ленин, Соч., т. 15, стр. 469; «В. И. Ленин. Биография». М., 1963, стр. 162.)

<sup>13</sup> Жорес Жан (1859—1914) — видный деятель международного социалистического движения, историк, выдающийся оратор. Руководитель правого реформистского крыла Французской социалистической партии. Автор четырехтомной истории французской буржуазной революции конца XVIII века. Вел неутомимую борьбу против милитаризма и войны. В 1904 году основал газету «Юманите» — орган объединенной Французской социалистической партии (теперь орган Французской коммунистической партии). До конца своей жизни был редактором этой газеты.

слишком театрально, с неестественным и устарелым пафосом и усиленной жестикуляцией. На меня все это действовало неприятно, но экспансивная французская публика была в восторге.

По окончании учебного года в гимназии ко мне приехала жена.

Лето мы провели в маленьком тихом городке Мант, недалеко от Парижа, на берегу Сены. Мы оправились и окрепли после перенесенных потрясений. Здесь разыскал нас в конце лета русский эмигрант Пергаментцев, представитель большой французской книгоиздательской фирмы. Узнав, что приехала преподавательница русского языка, он решил, что теперь может осуществить свой давнишний замысел — основать (на средства фирмы, где он работал) русско-французский литературный журнал с параллельными русским и французским текстами для обучения русских французскому языку, а французов — русскому. От имени издательства он пригласил жену заведовать отделом русского текста. Журнал должен был называться «Французско-русский переводчик».

Вернувшись в Париж, жена начала работать в журнале, а я взял несколько уроков в состоятельных французских семьях. Можно было не беспокоиться о насущном куске хлеба. Свободное время было занято посещением Сорбонны, театров, лекций, докладов. Первое время жизнь в чужой стране, наблюдения над бытом и нравами парижан интересовали и захватывали нас. Но чем дальше, тем тяжелей становилось у нас на душе. Многие, что нравилось сначала своей яркостью, своеобразием и необычностью, теперь заставляло задуматься.

И среди всего этого охватывала отчаянная тоска, тоска по родине, по родным русским людям, по родным полям, родным песням, родной речи.

Прошел уже почти год, как мы жили во Франции. Около Парижа открывалась средняя школа для русских детей. Директором ее был тоже русский эмигрант Фидлер. Мне и жене предложили места во вновь открывающейся школе.

Мы понимали, что если начнем работать в школе, то окончательно и надолго осядем за границей, надолго порвем с Россией. И эта мысль была для нас так мучительно-тяжела, так страшна, что примириться с ней мы были не в силах. Вопреки всем разумным доводам нас властно, непобедимо тянуло на родину. Мы отказались от работы в школе.

Из России доходили слухи, что вспышка реакции после революционной бури 1905 года уже несколько ослабела, что приговоры военных судов по делам участников восстания стали мягче.

Прошло еще несколько месяцев, и после долгих колебаний мы решили вернуться в Россию.

У жены был обратный заграничный паспорт, мне же пришлось купить паспорт у одного русского, который не собирался возвращаться в Россию. Я ехал под чужой фамилией.

Пробыли мы в Париже полтора года.

Вернувшись в Екатеринодар, я был уверен, что меня арестуют, так как я скрылся из-под надзора полиции. Но шли дни и недели, а меня никто не трогал.

Все обвиняемые по новороссийскому делу уже получили копии обвинительного заключения. Вскоре получил такую копию и я.

Вплоть до военного суда, который состоялся еще только через несколько месяцев, никто не поинтересовался узнать, где был я эти полтора года и что делал.

Я стал давать частные уроки, которых у меня всегда было много. Жена поступила преподавательницей в ту же вторую женскую гимназию, где работала и раньше.

Приближалось время суда. Все знали, что суд будет военный, что следователь Лыжин за три года собрал несколько толстых томов свидетельских показаний; знали, что губернатор Березников прилагал все усилия, чтобы события в Новороссийске были изображены в возможно более грандиозном виде.

Первый военный суд состоялся в декабре 1908 года в Новороссийске. Процесс был настолько громкий, что привлек к себе внимание и интерес лучшей адвокатуры того времени.

В защите, помимо местных сил, приняли участие наиболее выдающиеся адвокаты по политическим делам из Москвы и Петербурга.

Даже звезда того времени Коробчевский, который обычно не участвовал в политических процессах, взял на себя защиту одного из подсудимых, Вильде, — правда, за солидное вознаграждение — 5000 рублей, — которое уплатила организация, где работал Вильде. В революционных событиях Новороссийска он был случайным человеком, что и было «учтенно» судом: Вильде был оправдан.

Остальные адвокаты вели защиту обвиняемых не ради материальной выгоды (вознаграждение было самым скромным), а из желания если не спасти, то хоть облегчить участь политических борцов, которых искренне сочувствовали.

Председатель и прокурор первого военного суда были присланы из Тифлиса, а остальные четыре члена суда были назначены из местного гарнизона.

Нужно сказать, что в дни революционных событий и жандармерия, и полиция, и сам полицмейстер — все блюстители закона и порядка не могли не видеть, не слышать сами всего того, что происходило в городе.

Движение было массовое, всенародное, в деле фактически участвовал весь пролетариат Новороссийска — рабочие цементных заводов, порта, железнодорожных мастерских, участвовала и большая часть прогрессивно настроенного населения самого города. В руках же жандармерии и полиции оказалось так мало фактических данных для обвинения, что следователь Лыжин за три года усиленной работы с трудом смог собрать материал для обвинения 106 человек.

Явившись на первое заседание суда, мы увидели, что мы, обвиняемые, и наша защита занимаем чуть ли не половину зала суда. Остальную часть зала заполнили наши родные и жители города, принимавшие самое живое участие в судьбе обвиняемых.

Мы знали, конечно, что всем нам предъявлено обвинение по 100-й статье и грозит смертная казнь; знали также, что администрация и жандармерия примут все меры, чтобы приговор был возможно более суровым. Но настроение у всех было твердое и спокойное. Поддерживало и то, что нас было так много, и сознание правоты своего дела, и уверенность в грядущей победе революции. Мы верили, что даже в случае самого жестокого приговора наши жизни не пропадут даром, мы знали, что своей работой в те незабываемые 14 дней мы положили почин великим боям будущего, и будущее это за нами, если даже нам не доведется увидеть его.

Даже те из нас, кто все три года провел в заключении и приведен был на суд из тюрьмы, были бодры и не выказывали никакого волнения или страха.

Во время опроса свидетелей действующая обычно дружно и единодушно компа-

ния администрации, жандармерии и полиции разошлась: ход дела показал, какую трусость и бездеятельность проявили все они. На суде, спасаясь от ядовитых вопросов защиты, все они валили вину друг на друга: жандармерия обвиняла полицию, полиция — жандармерию. Пользуясь этим, а также многими неточностями и прямыми подлогами в протоколах следствия, защите удалось отвести многие свидетельские показания и тем самым снять целый ряд обвинений.

Ведение общей защиты по процессу взял на себя Н. Д. Соколов. Работа эта было крайне тяжелой и ответственной, так как обвиняемым грозила смертная казнь, и этот умный, талантливый и опытный адвокат, конечно, прекрасно сознавал, что от малейшего упущения и неверного шага защиты может зависеть не только участь, но и жизнь обвиняемого. Это сознание держало его в постоянном напряжении, но внешне это трудно было заметить благодаря его исключительному самообладанию и выдержке. Всегда корректный, со строгой, последовательной логикой в своих вопросах, обращенных к свидетелям, и в своих выступлениях, он спокойно и умело использовал все малейшие неточности в показаниях свидетелей и в материалах следствия, все данные в пользу подсудимых. Помимо ведения общей защиты, он безвозмездно защищал нескольких рабочих, которые не имели средств пригласить себе защитника.

Вообще все защитники распределили между собой всех неимущих обвиняемых так, что ни один из них не остался без защиты.

В результате тяжелой борьбы защите удалось добиться отвода первой части 100-й статьи. Из 106 человек, представших перед первым военным судом, 85 человек были оправданы «за недоказанностью обвинений». Обвинительный приговор был вынесен всего 21 человеку, и ни один из них не был приговорен к смертной казни. Восемь человек (в том числе Верейский, Жергулевич, Зелень, Лейбович, Гольман и др.) были приговорены к десяти годам каторжных работ, остальные обвиняемые — к каторжным работам на четыре года.

Такой приговор губернатор Березников счел чуть ли не оскорблением для себя.

Прокурор немедленно кассировал приговор. Благодаря громкой протекции, которой пользовался Березников в Петербурге приговор военного суда был отменен, и

было назначено второе слушание новороссийского дела.

Однако этот пересмотр уже не касался лиц, оправданных первым судом, которым удалось таким образом избежать тюрьмы и каторги.

Второй военный суд состоялся летом 1909 года. И председатель и прокурор были назначены из Западного края, чтобы избежать влияния на них местного общества.

Председатель суда генерал Плансон уже вынес не один суровый приговор «бунтовщикам» 1905 года.

Прокурор Ладыженский, молодой, талантливый военный юрист, ранее бывший адвокатом, но променявший роль защитника на карьеру обвинителя, тоже был, казалось, вполне «надежен».

Защита была почти в том же составе, что и на первом суде. Возглавлял защиту по-прежнему Н. Д. Соколов.

Дело было уже не такое громоздкое — на скамье подсудимых сидел всего 21 человек, которых, как главных виновников, выделил первый суд из всей массы участников дела.

И опять, как во время первого суда, потянулись тяжкие дни судебного разбирательства с бесконечными допросами свидетелей.

У наших близких, измученных бесконечным процессом, опять то вспыхивала надежда, когда выступали свидетели защиты и адвокаты, то больно сжималось сердце при допросах свидетелей обвинения.

Прокурор вел дело с большой строгостью. Но при этом все с большой ясностью вырисовывались трусость и никчемность губернатора Березникова и других представителей администрации города. И вот в своей обвинительной речи прокурор Ладыженский, очертив каждого обвиняемого в отдельности, закончил такими словами: «Но главного виновника всех событий я, к сожалению, не вижу на скамье подсудимых, этим виновником является губернатор Березников».

И далее прокурор красочно обрисовал всю деятельность или, вернее, всю бездеятельность губернатора.

Приговор суда был полной неожиданностью для всех нас. 100-я статья была полностью отведена; сроки заключения и каторжных работ большинству обвиняемых были значительно снижены против постановления первого суда, а с учетом предварительного заключения (продолжавшего-

ся для многих подсудимых уже свыше трех лет) многие из них были сразу после суда выпущены на свободу.

Березников был взбешен и речью прокурора и постановлением суда. Он требовал от прокуратуры новой немедленной кассации. Но Ладыженский, видимо имевший свое собственное мнение, кассации не подал. Кассационный срок истек, и все мы и наши близкие вздохнули свободнее. Но... в Петербург вновь полетели телеграммы Березникова. Ладыженский был уволен. Вместо него был назначен новый прокурор, который подал кассационную жалобу много времени спустя после окончания кассационного срока. И... несмотря на полную незаконность этого акта, несмотря на энергичные протесты нашей защиты, кассационная жалоба была принята и дело назначено к третьему слушанию в военном суде. Многие подсудимые, выпущенные после второго военного суда, были вновь арестованы. Однако круг их еще сократился: некоторым удалось воспользоваться временной свободой и скрыться за границу.

Третий военный суд состоялся в феврале—марте 1910 года. Председателем суда был генерал Игнатъев, известный своими жестокими приговорами в отношении политических.

Для большей свободы действий суда было назначено всего два члена суда вместо четырех. Один из них был настроен крайне реакционно: он очень внимательно следил за ходом дела, записывал важнейшие места показаний. Защита его особенно боялась. Второй член суда все время дремал и совершенно не слушал, что говорилось на суде.

Защита собралась опять блестящая. Однако на этот раз с первого же заседания и мы и защитники наши почувствовали, что все усилия будут напрасны: постановление суда предрешено заранее.

После двух-трех заседаний суда Н. Д. Соколов сообщил подсудимым, что защита, конечно, примет все меры и будет до конца бороться за судьбу обвиняемых, но что суд, видимо, приехал со специальными инструкциями и надо быть готовыми к самому суровому приговору.

И действительно: во время судебных заседаний все попытки защиты смягчить или отвести показания свидетелей обвинения резко и грубо обрывались окриками председателя суда; эти окрики доходили иногда чуть не до личных оскорблений в адрес

защиты, и надо было иметь удивительную выдержку Соколова, ведшего общую часть процесса, чтобы, несмотря на все это, спокойно и с достоинством продолжать свое дело.

Мы, подсудимые, вели себя внешне совершенно спокойно и сдержанно, ничем не проявляя своего волнения.

Совсем другое настроение было у наших близких. Измученные четырехлетней пыткой ежедневного волнения за нашу судьбу, они тоже заранее знали, чем должен был закончиться этот суд, и нервы у них были напряжены до крайности.

И вот, наконец, последнее заседание суда окончено. В восемь часов вечера суд удаляется на совещание.

Только в четыре часа утра отворяется дверь зала и сухой четкий голос произносит: «Суд идет, прошу встать». Все встают.

Председатель зачитывает приговор. Он перечисляет первую группу главных обвиняемых. Их семь человек, и моя фамилия в их числе. Приговор — смертная казнь.

Все приговоренные были временно помещены в новороссийской тюрьме. На следующий день после приговора на всех были надеты кандалы.

Приговор был направлен на утверждение главнокомандующего войск Кавказа (наместника Кавказа).

Защита, ссылаясь на ряд процессуальных нарушений, возбудила протест против приговора и ходатайствовала об отмене его и назначении нового слушания дела.

Три недели от наместника не было никакого ответа.

Три недели мы были между жизнью и смертью. Только стараясь не думать о будущем, только собрав все силы, можно было пережить это время.

На отмену приговора мы не надеялись: дело и так разбиралось уже три раза. Надеялись, что ввиду давности событий смертную казнь заменят каторгой.

Но каждый раз, когда ночью по коридору слышалось своеобразное цоканье шагов проходящих тюремщиков, раздавалось звяканье связки ключей, мы вскакивали с нар и смотрели на дверь с мыслью: «Не за нами ли пришли?»

Первое время мы даже не раздевались на ночь.

Через три недели пришло, наконец, сообщение о том, что главнокомандующий заменил смертную казнь каторгой на разные сроки.

Впереди были годы тяжелой неволи. Но все же состояние напряженного ожидания упало. Теперь были мысли и разговоры о том, куда сошлют, увидимся ли с близкими перед отправкой.

В то время отправка на каторгу в Сибирь почти прекратилась, видимо, места ссылок были переполнены. Многие тюрьмы городов Центральной России были превращены в каторжные. Вскоре стало известно, что всех нас отправляют в разные тюрьмы по два человека.

Проведя четыре года в вологодской и ярославской каторжных тюрьмах, я был освобожден в 1914 году.



А. С. Суворин.

Г. В. Краснов

(г. Горький)

## Из записок А. С. Суворина о Некрасове

Некрасова и Алексея Сергеевича Суворина (1834—1912) связывало давнее знакомство. Суворин начинал свой путь в литературе как «либеральный и даже демократический журналист, с симпатиями к Белинскому и Чернышевскому, с враждой к реакции...» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 22, стр. 43). В «Современнике» (1862, № 2) Суворин опубликовал рассказ «Солдат да солдатка». 29 декаб-

ря 1861 года он писал в Воронеж своему учителю М. Ф. Де-Пуле: «Так симпатии мои к «Современнику» прежде всего основываются на плебействе, потом на вражде к жестокому и вечному насилию. Я признаю за «Современником» ту услугу, что он отлично ведет свое дело. Он очень хорошо сознал, что невозможно при цензуре проводить свои убеждения серьезно, а потому он стал свистать, следовательно, свист дело законное». Одобрительный отзыв Суворина о «Свистке» (сатирическом приложении к «Современнику»), сочувствие общей позиции журнала, конечно, еще не означали полного согласия Суворина с его демократическим направлением. Он не разделял позитивной программы идеологов революционно-демократического движения. «Вот тут, — писал Суворин, — и кончается моя связь с «Современником», потому что дальше у него социализм...». И все же Суворин тогда отдавал предпочтение «Современнику», а не другим влиятельным журналам. А. Н. Плещеев в июле 1862 года сообщал из Москвы Чернышевскому о трудностях, настроениях начинающего журналиста: «В бытность Суворина в Петербурге вы сказали ему, между прочим, чтобы он свою повесть доставил Вам... У Суворина повесть готова. Он, конечно, желал бы всего более отдать ее в «Современник». Но он в то же время в таком положении, что едва-едва имеет насущный хлеб. С Краевским он, разумеется, не сошелся по очень уважительным причинам...». В письме Суворина М. Ф. Де-Пуле от 4 февраля 1863 года сопоставляются «Современник», «Русский вестник» Каткова с реакционными изданиями писателя Н. Ф. Павлова: «Представители «Современника» все-таки лучшие наши люди, а представители «Русского вестника», как Вам, вероятно, известно, очень близко стоят к Н. Ф. Павлову»<sup>1</sup>.

Некрасов знал Суворина по его остроумным выступлениям против «господ-плутократов», по его книге «Всякие. Очерки современной жизни» (1866), приговоренной судом к уничтожению. Он присутствовал на судебном заседании. Этот эпизод послужил основой для стихотворения поэта «Пропала книга» (1867).

Суворин тех лет чем-то походил на тургеневского Базарова — радикальными взглядами, но без определенной позитивной программы. Последующая эволюция Суворина видна из его отзыва об этом литературном герое, из статьи «По поводу «Отцов и детей» (1870): «Я немножко удивляюсь Тургеневу, который говорит теперь, что он сочувствует Базарову во всем, исключая его воззрений на искусство, удивляюсь потому, что время Базаровых прошло и современная действительность требует иных деятелей, с иными убеждениями, гораздо более мирными; но сила воли и независимость, которую обнаруживает этот герой романа, действительно симпатичны». Для либерала Суворина вре-

<sup>1</sup> Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (ИРЛИ), ф. 569, ед. хр. 587.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Н. Г. Чернышевский. «Литературное наследие», т. III, ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. 671.

<sup>4</sup> ИРЛИ, ф. 569, ед. хр. 587.

<sup>5</sup> Незнакомец (А. Суворин). Очерки и картины, кн. 2. Спб., 1875, стр. 214.

мя Базаровых прошло раньше, чем это было на самом деле. Но ему по-прежнему импонировал человек демократических убеждений, обладающий силой характера, самостоятельностью. Эти симпатии и привели Суворина к Некрасову, к их близким отношениям в 70-е годы. Некрасов для Суворина был авторитетом в журналистике.

Они встречались не так уж часто, но всегда держали друг друга в поле своего зрения, нередко обращались друг к другу за помощью, за советом. По рекомендации Суворина Некрасов печатает в «Отечественных записках» (1873, № 5) стихи и переводы В. В. Маркова. Суворин был польщен. Он отвечал: «Я никогда не сомневался в том, что Вы человек, готовый помогать бедствующей братии нашей» (Письмо к Некрасову от 10 марта 1873 года).<sup>6</sup> Однажды, выслушав положительный отзыв Некрасова о С. А. Венгерове, тогда еще только начинавшем литературно-критическую деятельность, Суворин писал поэту: «...Я никогда не умел угадывать ум человека. Вы были первым человеком, который пораил меня именно умом своим. Только пошлость ума всегда бросалась мне в глаза, но у Вас я этого качества отнюдь признать не могу...»

Суворин сочувственно относился и к поэзии Некрасова. 22 февраля 1873 года он писал, что в поэме «Княгиня Волконская» есть «чужднейшие места, и вся в целом она производит впечатление глубокого». В конце 1874 года Некрасов вел с Суворинным переговоры о его участии в «Отечественных записках». Некрасов готов был предоставить ему фельетон — постоянный отдел журнала. Н. К. Михайловский и М. Е. Салтыков-Щедрин решительно возражали. О результатах этих переговоров видно из письма Г. З. Елисеева Михайловскому от 18 декабря 1874 года: «Сегодня шло длинное совещание редакции «Отечественных записок» по вопросу о Суворине. После разных соображений и рассуждений редакция пришла к следующему результату, о котором и просила меня сообщить Вам: «Завтра утром Некрасов поедет к Суворину и скажет ему, что так как некоторые из сотрудников не желают, чтобы Суворин имел в «Отечественных записках» свой фельетон, то он, Некрасов, такого фельетона поручить ему вести и не может. А затем Суворин сам увидит, что в «Отечественных записках» ему делать нечего, и таким образом вопрос о нем покончится сам собою. Сказать же, дескать, сейчас ему прямо в глаза, что мы самого вашего имени переносить не можем, было бы слишком нечеловечески и вообще неудобно после бывших разговоров». Некрасов в этот же день писал Суворину: «Еще считаю долгом, без обиняков, сообщить Вам к сведению, что дело о предоставлении Вам фельетона в «Отечественных записках» не склеивается: есть элементы в нашей редакции, которые утверждают, что это будет взаимно неудобно». Суворин в тот же день, 18 декабря 1874 года, ответил Некрасову: «Благодарю Вас за хлопоты; относительно «Отечественных записок» я сам, как известно Вам, предвидел то, что случилось; по моему крайнему убеждению, я мог бы там работать лишь в том случае, если бы Вы были там единственным распорядителем: с Вами я бы сошелся вполне и уверен, что был бы полезен редакции уже одним тем, что внес бы в журнал некоторый положительный жизненный элемент, но при первом свидании с Салтыковым я заметил, что ему этого не хочется, хотя он не говорил этого».

Время подтвердило правоту Салтыкова-Щедрина и Михайловского. Суворин, став редак-

тором-издателем «Нового времени», еще в конце 70-х годов и особенно в 80-е годы «повернул к национализму, к шовинизму, к беспарламентному лакейству перед властью имущими» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 22, стр. 44). Некрасов не предвидел такой эволюции в деятельности Суворина. В середине 70-х годов он верил в его демократические убеждения. Этим только можно объяснить неудавшуюся попытку приглашения Суворина в «Отечественные записки».

Некрасов сохранил дружеские отношения с Сувориним и в дальнейшем. В 1876 году он представил Суворину несколько своих стихотворений («На покосе», «Как празднуют трус», «К портрету \*\*», «Бунт», «Что нового?», «Молодые лошади») для публикации в его газете «Новое время». Сестра Некрасова А. А. Буткевич писала Суворину 25 марта 1877 года: «Из стихов, обещанных вам, я уже кой-что записала, как только побережусь, сейчас пришлю вам»<sup>7</sup>. 1 января 1878 года в «Новом времени» были напечатаны стихотворения Некрасова: «К портрету» («Развенчан нами сей кумир...»), «Букинист и библиограф». «Праздному юноше».

Среди этих стихов было немало таких, которые Некрасов назвал в письме Суворину 1 мая 1876 года «неудобными», то есть опасными с цензурной точки зрения. Некрасову не все удалось напечатать в газете Суворина, но сам факт использования «Нового времени» для публикации произведений, которые не могли пройти в «Отечественных записках», примечателен.

Некрасов, редактор революционно-демократических журналов «Современник», «Отечественные записки», и Суворин, издатель буржуазной газеты «Новое время», конечно, представляли две различные тенденции в литературно-общественном движении своего времени. Но это различие не отменяет всей сложности личных, общественных взаимоотношений, которые складывались в русской дореволюционной журналистике.

Публикуемые записи двух встреч с Некрасовым 16 января 1875 года и 19 марта 1877 года не вошли в «Дневник» Суворина, изданный в Петрограде в 1923 году. Они известны лишь по публикации в газете «Новое время» (Белград), 1922, 24 августа. Эти записи послужили в свое время основой для статьи и воспоминаний Суворина о Некрасове: «Недельные очерки и картинки» («Новое время», № 380 (1877 г.). № 662 (1878 г.).

Первый очерк был опубликован еще во вре-

<sup>6</sup> ИРЛИ, ф. 203, ед. хр. 91.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> ИРЛИ, ф. 181, оп. I, ед. хр. 223, л. 5—5 об. Опубликовано неточно в журнале «Русская литература», 1964, № 2, стр. 63.

<sup>10</sup> Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М., 1952, стр. 362. О датировке этого письма см.: М. Теплинский, О народничестве («Отечественных записок», (1868—1884). — «Русская литература», 1964, № 2, стр. 64.

<sup>11</sup> ИРЛИ, ф. 203, ед. хр. 91.

<sup>12</sup> ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 2898.

мя болезни поэта. Некрасов поразил Суворина волей, упорством; он поставил его в «замечательный пример живучести духа». «И теперь дух так же крепок, мысль так же светла, хотя страдания тела невыносимы». Следующий очерк, написанный после похорон писателя, утверждал эту же характеристику. Многие суждения Суворина в этой статье верны; но в то же время редактор «Нового времени» пытался использовать биографию Некрасова для оправдания эволюции своего пути в журналистике. Не случайно статья о Некрасове начинается риторическим противопоставлением романтической юности и успокоившейся зрелости, рассуждениями о бесплодности всяких «бурных стремлений» и «негодований». Неприемлемы размышления Суворина о «цинизме» Некрасова, о неприятии поэтом «теоретических представлений» революционной демократии. Эта часть очерка в 1878 году вызвала полемику между «Отечественными записками», и «Новым временем», и журналом «Дело».

Дневниковые записи воспроизводят только факты, услышанные Сувориным от Некрасова. Записи точнее и в ряде случаев полнее рассказывают о встречах Суворина с Некрасовым, о содержании их разговоров. Исповедь Некрасова о своих «петербургских мытарствах» в 40-е годы, его воспоминания о друзьях, товарищах; признания в творческих замыслах, увлечениях; описание предсмертных страданий поэта — все это позволяет увидеть живого Некрасова в разные дни его большой, трудной и поучительной жизни.

Рассказы Некрасова о своем прошлом (они были часты в последние годы жизни поэта) оправдательны по отбору фактов, по своему тону. Противники Некрасова нередко обвиняли его в эксплуатации сотрудников «Современника», в отстранении от редакции журнала Белинского. Эти и подобные им измышления были вызваны различными обидами, непониманием умной, целенаправленной тактики Некрасова — издателя и редактора. Дневниковая запись А. С. Суворина от 16 января 1875 года содержит объяснения Некрасова, касающиеся условий его жизни, журнальной деятельности, взаимоотношений с Белинским.

16 янв[аря] 1875 г.

Обедал у Некрасова. Никого не было. Я спросил, будет ли он на бенефисе Самойлова (40-летие)<sup>1</sup>. Сказал нет, но Зина<sup>2</sup> будет. Рассказал, что в понедельник была у него прехорошенькая женщина, Белокопытова, которая чуть на шею к нему не бросилась, просила написать стихи в честь Самойлова; говорила, что готовят подарок, какую-то шкатулку и между серебром чему же лучше быть, как не стихам Некрасова. Он согласился. Зина захела в театр, чтобы узнать, не оставил ли Самойлов ложи. В кассе сказали, что лож нет. Зина увидела Самойлова, который бывает у Некрасова, и позвала его к себе. «Откуда я вам возьму? Разве я продаю? На то касса есть.

Я продал свой бенефис дирекции и ничего не знаю». Это несколько грубое обращение с З[иной] обидело Некрасова, и он отказался писать стихи и идти на ужин к Самойлову, на который он приглашал его. Этот случай дал повод к воспоминаниям. С Сам[ойлов]ми Некрасов сошелся давно, писал водевили для театра, которые приносили ему «пяتيالтынный», по его выражению, но вводили в мир артистов. Он написал 5-акт[ный водевиль] «Похождения Столбикова» с прологом и эпилогом, но пьеса рухнула: «пролог и эпилог не спасли ее». Зато имела успех «Шила в мешке не утаишь, или девушки под замком не удержишь»: «первый акт только я сочинил, а второй выкрал почти целиком из Нарезного»<sup>3</sup>. Некрасов приехал в Петербург, когда ему не было еще 16 лет, с письмом отца к жандармскому генералу Полозову, соседу по имени<sup>4</sup>. (Отец Некрасова) был исправником некоторое время.) В письме была просьба определить Н[екрасова] в дворянский полк. Полозов отправил его к Ростовцеву<sup>5</sup>, который сказал, что это можно. Но Н[екрасов]у не хотелось этого, и он пришел к Полозову просить его, чтоб он не беспокоился насчет определения его: «Я хочу вступить в университет». — Тем лучше, — сказал П[олозов]. П[олозов]а накормила его картофелем с маслом и распрашивала о родных. Денег у Некрасова было 150 руб., феска, шитая золотом сестрой, и архалук с бархатными полосками. Он тотчас подписался на чтение в библиотеку и взял «Современник». Читая его, он писал подражания всему тому, что читал. Из знакомых был всего ближе к нему один студент медико-хирург[ической] академии, живший на Петербургской стороне и столь бедный, что бегал к Некрасову на Разъезжую «затянуться». Жил Некрасов сначала на Вас[ильевском] острове, но деньги вскоре вышли: он зашил их себе в галстучек, пошел к знакомому, студенту на Петерб[ург]скую сторону, пил с ним, кутил, и галстучек пропал. Платить было нечем. Раз зашел в лавочку; лавочник заговорил, как это печатаются «Полицейск[ие] ведомости». Некрасов рассказал, слово за слово разговорились. Оказалось, что лавочник — ярославец и знает отца Некрасова. Н[екрасов] попросил отпустить ему на книжку и в первый же день послал в лавочку за четвертью ф[унта] сахара, восьмушкой чаю и на 15 коп. ситнику. «Все это я съел. Какой аппетит тогда был, ужас! Раз мы играли в карты на булки. Я выиграл 45 коп., послали за булками; не помню, сколько съели



два мои партнера, но я съел все остальное». Раз с ним поселился какой-то приезжий и предложил жить так: «теперь у меня есть деньги — будем жить на мои, а потом вам пришлют, будем жить на ваши. Так удобнее. Я согласился». С отцом он рассорился так: когда Полозов написал своему брату, что Некрасов не хочет в Дворянский полк, тот сказал об этом отцу. Отец написал Некрасову письмо, в котором бранил его на чем свет стоит. Некрасов ему ответил: «Если вы меня считаете таким дурным человеком — так тому быть, оставьте меня в покое и не браните; я ни от кого не намерен выносить оскорблений»<sup>6</sup>. Отца это взорвало. В Разъезжей он тоже не платил. Задолжал 45 руб. солдату, у которого стоял в деревянном флигельке. Солдат приставал с уплатой. Некрасов отделивался, говоря, что ему пришлют. Раз солдат говорит: «напишите, что вы должны и что оставите в залог свои вещи». Некрасов написал; это было после болезни, он только что оправился от горячки, во время которой хозяйка посылала его ко всем чертям. Пошел успокоенный к своему студенту на Петер[бургскую] сторону. Возвратился домой поздно вечером. Дворник пропустил его с иронической улыбкой. Стал стучать. Солдат говорит: кто вы? — «Постоялец ваш, Некрасов». — «Наши постояльцы все дома. А вы ведь отказались от квартиры и вещи в залог оставили». Сердился, ругался, ничего не взяло.

«Была осень, — рассказывает Некрасов, — пошел по улицам, сел на лесенке магазина, закрыл лицо руками, в дрянной шинелишке и саржевых панталонах. Нищий идет с мальчиком. Мальчик просит у меня милостыни. Старик говорит ему: «чего ты, не видишь, он сам к утру оконечет. Чего ты здесь?» — Ничего. — «Приюта нет, пойдем с нами». Пошли на Вас[ильевский] остров в 17-ю линию. Теперь этого места не узнаешь. Один деревянный домик с забором и кругом пустырь. Вошли в большую комнату, полна нищими, бабами и детьми. В одном углу в 3 листа играли. Старик подвел его к играющим: «вот грамотный, а приютиться некуда: дайте ему водки». Дали полрюмки. Одна старуха предложила мне постлать постель, подушечку подложить. Утром, когда проснулся, никого не было, кроме старухи. Старуха говорит: «напиши мне аттестат, а то без него плохо». Я написал и получил за это 15 коп. С ними пошел разживаться. — Был учителем у одного воспитателя Пажеского корпуса и готовил детей во все учеб-

ные заведения по русским предметам. (Юрис Меликов, Тифл[исский] губ[ернатор], его ученик). Получал за это квартиру и 100 р[ублей] ас[ignaциями] в ме[сяц]. Редактировал «Литературную газету» несколько лет. Краевский взялся за редакцию ее за 18 000 р[ублей], а Некрасову сдал за 6<sup>8</sup>. — «Я говорил Белинскому: я всякую чепуху пишу и получаю за это 6 тыс[яч], а вы даете ход журналу и получаете 4500 р[ублей] ас[ignaциями]». Я его постоянно подбивал бросить Краевского и говорил ему, зачем он ходит к нему обедать. — «Я дал себе слово не умереть на чердаке и убивал в себе идеализм. У меня его было пропасть, но я старался развить у себя практическую сметку. Идеалисты сердили меня, жизнь мимо их проходила, они все были в мечтах, и все их эксплуатировали. Я редко говорил в их обществе, но, когда напивался, я начинал говорить против этого идеализма с страшным цинизмом. Один я между ними был практик, и, когда мы заводили журнал, идеалисты это прямо мне говорили и возлагали на меня как бы миссию создать журнал. Вспоминал о письмах Белинского, которые приводил Тургенев в своих воспоминаниях: «он мялся, покашливал»<sup>9</sup>. Как же было не мяться и не покашливать, когда денег не было платить Плетневу, Никитенко<sup>10</sup>, Белинский забрал пропасть и требовал себе пай. Я объяснил ему, что пай ему самому не выгоден, и он мне писал на другой день благодарственное письмо: «вы помешали мне сделать дурное дело». Письмо это есть у меня, а у жены Белинского есть реестр всех забранных у меня денег. За неделю до смерти я был у него. Он лежал грустный. «Что с вами, В[иссарион] Г[ригорьевич]?» — «Я думаю о том, какой год, что года через два и вы будете лежать так же беспомощно, как я. Берегите себя, Некрасов». Это он сказал с такою душою, как только можно говорить человеку, которого любишь. Мне кажется, он любил меня и предвидел, что я еще пригложусь. — О Тургеневе: «в то время все думали, что репутацию писателя надо составить себе сначала в большом свете, и Тургенев во фраке и белых перчатках являлся на великосветские вечера и читал свое произведение. А я никогда не читал. Я бывал у графини Разумовской<sup>11</sup>, но в карты там играл, я был равный с равными, а не заискивал. Я всегда думал, что репутацию надо у публики завоевать. — Один знакомый Гоголя написал, что он желает нас видеть. Мы поехали, я, Белинский, Панаев и Гончаров<sup>12</sup>.



И. Н. Крамской. «Некрасов  
в период «Последних песен». 1877.

Я читал стихи «К Родине»<sup>13</sup>. Выслушал и спросил: «Что же вы дальше будете писать?» — «Что бог на душу положит». Гончаров обиделся отзывом его об «Обыкновенной истории». Гоголь немножко ломался и выглядел избалованным. — После того, как простили меня Антонович и Жуковский<sup>14</sup>, я стал писать свои «Записки», листов 12 печатных написал, потом бросил. Если я проиграюсь, тогда я стану писать книгу, а теперь меня всегда останавливает мысль, что же деньги за нее получить станут? Эта практическая сторона всегда так и лезет мне в голову и останавливает...

Далее Некрасов говорил, что он сильно чувствует и что карточная игра ему отвращение от поэтических мыслей. Читал три стихотворения, очень хороших, но нецензурных: одно хочет поместить в книжке с надписью «с французского»: «к этому мещанинству я всегда прибегаю. Что ж будете делать?»

«Иногда встречаю литератора, который говорит, что идет есть устрицы. Я никогда не ходил, мне некогда, нет времени на то, чтобы позволять себе такое безделье. У меня голова вечно занята. — Странная вещь, и не нужны мне деньги, а встанешь, подумаешь, что в клубе будет тот и тот-то, что я лучше их играю в пикет, и пойдешь играть. — Об игре я бы целую книжку написал. Какие тут люди, что я испытываю тут. Один Абаза<sup>15</sup> чего стоит! Это герой мой был бы. Все были бы в книжке люди, которых мы ежедневно встречаем, а не сочиненные какие-то особенные «игроки». Четыре женщины вывел бы тоже очень интересные. Это была бы особая часть записок».

19 марта [18]77 г.

Был у Некр[асова] 4 часа. З[инаида] Н[иколаевна] сказала: «Не держите его, я его кормить сейчас стану и спать». У него сестра Анна Ив[ановна]<sup>16</sup>. В углу на кровати. Комната натоплена. Покрывает простыней.

«Здравствуйте, отец. Спасибо, что зашли». — «Я вас с год не видал таким хорошим. Тыфу, чтоб не сглазить». — «Да, сегодня просвет такой нашел. А то несколько дней ужасно тяжело было. Под влиянием морфия и мух этих лежишь в полусознании. Елисей тут часто бывает<sup>17</sup>. Я ви-

жу, как он ходит. И у меня богу знает какие представления сделались. Я почему-то уверился, что у Салтыкова жена умерла с год тому назад и он ходит все скучный. Сегодня послал за ним. Пришел со своей удивленной физиономией. В самом деле, мне сегодня хорошо. Но этот просвет сейчас кончится. Я перед вами выйду. Все не сберусь. Ваши стихи готовы<sup>18</sup>. Да вот еще». Он скинул простыню, спустил голые ноги (в рубашке и в фуфайке внизу) и при помощи человека подошел к столу. Спина ужасно сгорблена. На столе лежали листы, исписанные карандашом. «Я тут задумал. Это страшное что-то. Лежу, и все мне мерещатся степи, степи, степи, Сибирь и снега. Целая поэма — «без роду, без племени». Я вам отдам все — делайте, что знаете, употребите, как материал. Этот человек бежит, голодает, холодает. Нигде приюта. И степь, и снега. Только видит он что-то черное. Поднял — горностаи, замерз бедняга. Он его в шапку — и пошел. Шел, шел. Вдруг слышит звон. Звон колокольчика. Как не будешь богомольным. Снять, что ли, шапку и перекреститься. Снял. Да что-то шевелится в шапке. Смотрит, горностаика в тепле ожил. Он взял его в руку, спустил — он прямо в лес бросился, на свободу. Вот вам начало. Я сам напишу<sup>19</sup>. Он стоял у стола. З[инаида] Н[иколаевна] резала ему на мелкие кусочки бифштекс, клала на его тарелку, он еще их разрезывал и ел.

— Я много говорил. Этого нельзя. Рассказывайте что-нибудь.

Мне было страшно тяжело.

— У вас жарко.

— Пожалуй, я вас отпущу.

Я пожал его руку.

— Прощайте.

— Прощайте. Дай вам бог, чтоб лучше и лучше было.

— Нет, не будет этого.

Он повернулся к столу, потом сделал опять два-три шага ко мне и сказал шепотом:

— Через несколько дней отправлюсь на тот свет.

— Полноте.

— Нет, это так. Да оно и лучше.

Голос его дрогнул. Я опять взял его за руку. «Прощайте». Он кивнул головой.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Самойлов Василий Васильевич (1813—1887), драматический актер. 40 лет (1835—1875) играл на сцене Александринского театра.

<sup>2</sup> Зина (Зинаида Николаевна) — так называл Некрасов свою жену, урожд. Феклу Анисимовну Викторову (1853—1915).

<sup>3</sup> Водевиль Некрасова является переделкой повести В. Т. Нарезного «Невеста под замком». Водевиль в театральном сезоне 1841 года шел восемь раз.

<sup>4</sup> В автобиографических заметках (1872) Некрасов вспоминал, что он приехал в Петербург с письмом ярославского прокурора Николая Петровича Полозова (сосед по имени отца) к его брату жандармскому генералу Даниилу Петровичу Полозову.

<sup>5</sup> Ростовцев Яков Иванович (1803—1860), генерал-адъютант, руководил военно-учебными заведениями.

<sup>6</sup> Это письмо неизвестно.

<sup>7</sup> Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888) — государственный деятель, выходец из дворян Тифлиской губ. Некрасов жил с ним в Петербурге в 1840—1842 гг. Сохранились воспоминания Лориса-Меликова о его встрече с Некрасовым: Н. А. Белоголовой. Воспоминания и другие статьи. СПб. 1901.

<sup>8</sup> «Литературная газета» издавалась А. А. Краевским (1840), затем Ф. А. Кони (1841—1843).

<sup>9</sup> Речь идет о письмах, опубликованных Тургеневым в его воспоминаниях о Белинском в 1869 году.

<sup>10</sup> Некрасов должен был платить Плетневу Петру Александровичу (1792—1865) арендную плату за «Современник» и Никитенко Александру Васильевичу (1804—1877) как официальному редактору журнала.

<sup>11</sup> Разумовская Марья Григорьевна (урожд. кн. Вяземская) (1772—1865) устраивала в своем доме званые вечера.

<sup>12</sup> Речь идет о встрече с Гоголем на вечеру у Александра Александровича Комарова осенью 1848 года. Белинского на этой встрече

не могло быть. Он умер 26 мая того же года.

<sup>13</sup> Имеется в виду стихотворение «Родина» (1846).

<sup>14</sup> Ироническая оценка недоброжелательной по отношению к Некрасову книжки бывших сотрудников «Современника» М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского «Материалы для характеристики современной русской литературы» (СПб., 1869).

<sup>15</sup> Абаза Александр Агеевич (1821—1895), председатель департамента государственной экономии государственного совета, государственный контролер.

<sup>16</sup> Сестра Некрасова — Анна Алексеевна Буткевич.

<sup>17</sup> Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — один из редакторов «Отечественных записок».

<sup>18</sup> В «Новом времени» (№ 662) Суворин напечатал стихи, переданные ему Некрасовым: «К портрету\*\*\*», «Букинист и библиограф», «Праздному юноше».

<sup>19</sup> О подобном же замысле Некрасов рассказывал 15 марта 1877 года А. Н. Пыпину (см. «Современник», 1913, № 1).

Наталья Яшвили

## Мой дедушка, Петр Иванович Бартенев

Я решила предварить мои личные воспоминания о деде Петре Ивановиче Бартеневе небольшим вступлением, так как биография и научная деятельность Петра Ивановича многим теперь мало известна. Дед мой родился 1 октября 1829 года в сельце Королевщина Липецкого уезда Тамбовской губернии, родовом имении матери Аполлинии Петровны, урожденной Бурцевой, сестры Алексея Петровича Бурцева, легендарного гусара, воспетого Денисом Давыдовым («Бурцов ёра, забияка...»).

Наши предки были военными: отец дедушки служил в конноегерском Арзамаском полку, был ранен под Бородином, участвовал в «битве народов» под Лейпцигом и вошел с победоносными русскими войсками в Париж. Дед Петра Ивановича брал под предводительством Салтыкова Берлин, а прадед его был известный Ф. О. Бартенев, гвардии майор Преображенского полка, активный участник войны со шведами, погибший под Рашевской. Петр Первый писал Меншикову, что смерть Бартенева причинила ему много печали.

Петр Иванович был младшим сыном в семье и по причине хромоты и вообще слабого здоровья явно не годился для военной службы. Из воспоминаний дедушки можно заметить, что уже с детских лет он проникся глубокой любовью к Пушкину. В семье обожали поэта. Когда пришла горестная весть об его гибели, в доме служили панихиду о «приснопамятном рабе божием Александре», весь дом облекся в траур, а Аполлинурия Петровна горько плакала.

Петр Иванович рано покинул родительский дом и был отдан в пансион при Рязанской гимназии. Окончив ее с золотой медалью, он поступил в 1847 году в Москов-

ский университет на словесное отделение историко-филологического факультета, где слушал лекции Т. Н. Грановского, Ф. И. Буслаева, С. П. Шевырева. Еще студентом составляет он «Словарь к памятникам русской письменности до XIII века», «Исследование об языке и слове Несторовской летописи», а также начинает собирать материалы о Пушкине.

Нелегко давалась ему жизнь в первопрестольной. После смерти родителей старший брат, Михайло Иванович, плохо помогал и приходилось зарабатывать себе на жизнь уроками и переводами. Дедушка рассказывал моему брату, как трудно ему жилось; как порой приходилось рассчитывать, можно ли себе позволить к вечернему чаю белую булку или надо довольствоваться черным хлебом. Выручали переводы с немецкого. Дедушка хорошо знал этот язык. Об одном из его немецких переводов (статья о творчестве Гёте) Шевырев писал Погодину: «Перевод хорош и брошюра интересна, ты наградишь Бартенева немногим, он бедный человек».

По окончании университета со званием кандидата, по рекомендации Шевырева Петр Иванович поступает домашним учителем к внукам графа Блудова; Блудов обладал скромного и талантливого молодого человека и впоследствии сделался для него живым источником различнейших сведений о царствовании Екатерины, Павла и Александра. В доме Блудова Петр Иванович познакомился со стариком графом Рибопьером, хорошо помнившим двор Екатерины, и ходил к нему на беседу, но граф мог его принимать только в 7 часов утра. В эти же годы Петр Иванович сблизился с Соболевским, приятелем Пушкина. Собирая материалы о поэте, Петр Иванович познакомился со славянофильскими кругами. Эти знакомства также дают материалы к биографии поэта. О тогдашних работах Петра Ивановича П. А. Плетнев писал М. П. Погодину: «Бартенев несколько лет собирает все материалы для биографии Пушкина с любовью и всеми качествами, коих требует это дело. Скажите ему, чтобы он показал вам свой скарб, и вы удостоверитесь в истине моих слов». К этому времени относится исследование Петра Ивановича «Род и детство Пушкина». («Отечественные записки», 1853) и «Материалы к биографии Пушкина» («Московские ведомости», 1854).

В тетрадах записей Бартенева о Пушкине мы имеем воспоминания 24 лиц, знавших поэта; кроме того, записаны рассказы о Пушкине, слышанные от Т. Н. Гранов-

ского, С. П. Шевырева, П. А. Плетнева (последние утеряны).

Под влиянием бесед с П. А. Вяземским, С. А. Соболевским, П. А. Плетневым и другими Петр Иванович пишет свое известное исследование «Пушкин в Южной России» (М., 1862).

Бартенев был последним из хранителей живой устной традиции о Пушкине, и «среди пушкинистов не было и, конечно, не будет ему равного», — пишет М. А. Цявловский.

Для углубления своих знаний Бартенев едет за границу и слушает курс лекций в Берлинском университете. Плетнев писал Вяземскому: «Бартенев долго жил в Берлине, два раза ездил в Лондон, влюбился в него и в англичан<sup>2</sup>. Теперь он в Париже, где бранит все французское, в начале декабря будет в Праге — главной цели своего путешествия».

Вернувшись в Москву, Петр Иванович занял место заведующего Чертковской библиотекой, где он проработал до 1873 года.

В Чертковской библиотеке Петр Иванович познакомился со Львом Николаевичем Толстым, и подбирал ему исторический материал для «Войны и мира», помогал ему различными историческими справками, уточнениями, а также ведением корректуры и типографских дел. В томах 60, 61, 62 и 73, где есть письма Льва Николаевича к Петру Ивановичу, проходит вся история печатания «Войны и мира». Доверие Льва Николаевича к Петру Ивановичу было настолько велико, что он писал: «Даю вам carte blanche вычеркивать все, что вы считаете неудобным по цензурным соображениям». Был у Толстого план написать предисловие к «Войне и миру». Он писал Бартневу: «Предисловие я пришлю вам, и прежде чем его набирать, вы прочтите по рукописи и скажите свое мнение». Мнение Бартнева нам не известно, но предисловия не было», — замечает М. А. Цявловский. «Хаджи Мурат» тоже писался по материалам, которые указывал Петр Иванович, в основном из архива князя Воронцова.

В переписке Льва Николаевича мы читаем о множестве исторических вопросов, с которыми он обращался к Петру Ивановичу. Последний шутливо пишет: «Ко мне обратиться за справкой, точно кран от самовара открытъ».

В письме от 6 февраля 1869 года из Ясной Поляны, в период создания «Войны и мира», Лев Николаевич восклицает: «Ради бога, Лев покидайте меня, мне ужасно сове-



П. И. Бартенев.

стно вас мучить, но вы всегда были так обязательны». И действительно, Петру Ивановичу иной раз приходилось солоно: печатается глава «Войны и мира»; первая корректура кончена, перешли к верстке, и вдруг письмо от Льва Николаевича с переделкой текста. Начиная все сначала... «Перестаньте колупать! — сердито пишет Петр Иванович. — Эдак никогда не кончишь».

В письме от 24 октября 1878 года Лев

<sup>1</sup> В 1925 году вышли со вступительной статьей и примечаниями М. Цявловского «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартневым в 1851—1860 годах».

<sup>2</sup> Дважды посетив Лондон в 1858 году, П. И. Бартенев встречался с А. И. Герценом и передал ему для публикации в Вольной русской печати текст мемуаров Екатерины II, а также, по-видимому, некоторые другие материалы. См. об этом в книге Н. Я. Эйдельмана «Тайные корреспонденты «Полярной звезды», М., 1966.

Николаевич пишет: «Жду не дождусь увидеться с вами в Ясной, и с корыстными целями, чтобы о многом рассказать, и с бескорыстными целями, потому что люблю вас».

В «Русском архиве» за 1868 год была напечатана статья Льва Толстого «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», где Лев Николаевич дает философско-историческое обоснование своего романа. Толстой продолжал бывать у бабушки и после того, как кончилась его дружба с Петром Ивановичем. На почве чего произошло это охлаждение, точно не знаю, так как в семье об этом говорили по-разному. Мне кажется, что настоящая причина к тому была в их характерах — упрямых и неуступчивых. О посещениях Толстого запомнился один комичный, но характерный эпизод. Однажды к бабушке приехал Лев Николаевич. Бабушка, сидя на диване, заметила около кресла, на котором сидел Толстой, какую-то тряпку. Бабушка решила, что, убирая гостиную, прислуга ее уронила, и была очень смущена. Был летний жаркий день, и Толстой был в своей обычной холщовой рубашке не первой свежести. Каково же было ее удивление, когда, уходя, Лев Николаевич нагнулся и поднял тряпку, которая беспокоила так бабушку. Оказывается, это был его картуз.

«Русский архив» — один из крупнейших русских исторических журналов был основан в 1862 году, издавался вначале при Чертковской библиотеке библиотекарем Петром Бартевым.

«Русский архив» — обширнейшая русская историческая энциклопедия, без которой не может обойтись ни один исследователь, занимающийся русской историей XVII, XVIII и XIX веков. Это «Эйфелева башня» — по меткому выражению В. Я. Брюсова.

Сам Петр Иванович мало выступал в своем журнале с самостоятельными статьями, но его примечания, порой фактического, порой полемического характера, составляют богатейшее наследство нашей исторической науки. «Лукавые строки, помеченные буквами «П. Б.», в которых часто в форме едва уловимого намека скрываются целые откровения для истории нашей страны», — как характеризует их В. Я. Брюсов. «В них ярко высказывался весь Петр Иванович, — продолжает Брюсов, — с его громадными сведениями, со страстной любовью к России, со своеобразно насмешливым умом и тонким критическим талантом».

С первых лет своего появления «Русский архив» был встречен с большим одобрением. Привожу отзыв Плетнева в его письме к Петру Ивановичу от 9 февраля 1863 года: «Ничем не могли вы одолжить меня более, милый друг Петр Иванович, как присылкою прекрасного журнала вашего. Литературное благородство, всеобщая занимательность в выборе пьес, скромность и основательность суждений».

В наши дни, если просмотреть диссертации по истории России, особенно писанные диссертантами Военной академии, по целому ряду тем, например о войнах с Турцией в екатерининское время, встречаются постоянные ссылки на «Русский архив», а писатели исторических романов имеют в «Русском архиве» неиссякаемый источник разнообразнейших сведений. Вот как характеризуется в Большой Советской Энциклопедии роль П. И. Бартева в русской исторической науке: «Положительная роль Бартева в русской исторической науке заключалась в том, что он ввел в научный оборот новые документальные материалы, ранее не допущенные к печати, а потому недоступные для общества».

Кроме «Русского архива», Петр Иванович немало труда положил на публикацию разнообразнейших исторических материалов: «XVIII век», в 4 томах (М., 1868); «XIX век» в 2 томах (М., 1872); «Воспоминания статс-секретарей Екатерины II Грибовского и Храповицкого»; «Литературно-историческое исследование о Г. Р. Державине» (1860) и многие другие материалы. Некоторые публикации, например «Биография гр. Аркадия Ивановича Моркова» (М., 1875), находили отклики за границей.

Получив от князя Воронцова во второй половине 1860-х годов предложение обработать и издать его семейный архив, Петр Иванович едет сперва в Одессу, потом работает в Алупкинском дворце Воронцова, причем Вяземский его напутствует: «Купайтесь в Черном и чернильном морях и расспрашивайте княгиню, как она жила с Пушкиным». «Воронцовский архив» вышел в 40 томах.

В 1877 году состоялось избрание Петра Ивановича членом императорского Исторического общества.

Когда просматриваешь хронологию всех этих основательнейших публикаций, то просто не верится, что в такой короткий промежуток времени могло быть сделано так много одним человеком. Но Петр Иванович постоянно, не отвываясь, систематически работал; даже когда отдыхал, ездил на мор-

ские ванны в Ревель («Колывань», как он называл этот город), он не расставался со своими корректурами. Уже тяжело больной, дедушка работал, и смерть подкралась к нему в то время, когда он просил перенести его с постели к письменному столу.

В заключение этого краткого выступления — несколько характеристик, данных Петру Ивановичу некоторыми его современниками.

«Как о человеке исключительном, — пишет В. Я. Брюсов в своих воспоминаниях, озаглавленных «Обломки старых поколений», — о Бартеневе будут много говорить». «Характер оригинальный и самостоятельный, — продолжает Брюсов, — он многих привлекал к себе неодолимо, почти пленял, очаровывал, но во многих возбуждал чувства враждебные, почти ненависть...» Брюсов подчеркивает также, что «Мысль была основным свойством Бартенева и могла угаснуть в нем, как в любимом его поэте Тютчеве, только со смертью».

Известный пушкинист Н. Лернер в своем некрологе о дедушке пишет: «Как личность, Бартенев был чрезвычайно своеобразен, стиличен, так сказать «историчен» — живая историческая достопримечательность».

Перехожу теперь к моим личным воспоминаниям и рассказам о дедушке, слышанным мной от различных людей. Мне было 16 лет, когда умер дед. Мне хотелось бы не только рассказать и познакомиться наше поколение с этим осколком XIX века, человеком замечательным, интересным и оригинальным, но также сказать несколько слов о его семье и людях, его окружавших. Каждый имел свои особенности, но в каждом в какой-то мере отразилась эпоха, в которой они жили, чувствовали и творили.

Когда мы подросли, нас стали возить зимой к нему в Москву, и эти воспоминания отчетливо живы и до сих пор. Поезд приходил в Москву очень рано, и было еще темно. Хорошо помню ощущение холода при выходе из вагона. От Казанского вокзала до дедушкиного дома на Ермолаевской-Садовой далеко, но все было так интересно, ново, таинственно, что хотелось ехать еще и еще. Подъезжая к дому, были видны окна дедушкиного кабинета, а за окнами старческая голова с белой остренькой бородкой, склоненная над работой. Москва еще спала, а дедушка уже сидел за своим столом и писал. Я забираюсь в большое кресло и тихо сидела, слушая разговоры взрослых. Особенно я лю-

била слушать дедушкино чтение. Дедушка читал изумительно. Обожала я слушать «Смальгольмского барона» Жуковского. Мне было так страшно, что я не решалась спуститься с кресла.

Будучи совсем молодым, дедушка знакомится с А. С. Хомяковым и С. Т. Аксаковым. С годами это переходит в большую дружбу, которая продолжается до конца их жизни. Отношения столь близки, что мой отец Федор Петрович становится крестником Аксакова. Дедушка женился не очень молодым, имея уже известное имя и положение. Бабушка вышла за него замуж в 15 или 16 лет. Очевидно, по ставовству, так как дед был много старше, был хромой и ходил с костылями и вообще красотой не отличался. Разобраться же в его внутренних качествах и оценить его за это бабушка по молодости лет не могла. Бабушка, Софья Даниловна, как говорило предание, была очень хорошей, с чудесными белокурыми волосами. Ее называли «Душистый горошек», одно это название говорит за себя. Женившись, дедушка повез свою молодую жену к своим друзьям и знакомым. Однажды, будучи у Аксаковых или Хомякова, бабушка незаметно исчезла из гостиной. Ее нашли играющей в куклы с дочками хозяев. Конечно, в ее годы игра в куклы была ей понятнее и интереснее, чем умные разговоры дедушки и его друзей. Бабушка была моей крестной матерью, но между нами не было душевной близости и нежности, а после того, как я напугала ее мышами, которых она панически боялась, бабушка долго меня к себе не допускала. Дедушку, наоборот, мы все, внуки, нежно любили. Несмотря на свою занятость, он все же находил время нами заняться. Бабушка была очень своеобразна. Будучи образованной и культурной женщиной, она строго придерживалась старины и даже Новый год праздновала 1 сентября. Приглашался ее духовник, который на дому служил новгородный молебн. Все знакомые это знали и поздравляли ее в этот день. Врачей-аллопатов не признавала, лечилась только у гомеопатов. Петра Великого не любила и критиковала его реформы и новшества. Была очень религиозна и богословски образована. Соблюдала строго посты. Великий пост перед пасхой, т. е. 7 недель, кушала все постное. Бабушка была хрупкой и слабой, и тетя Надя, ее старшая дочь, очень ее любившая, чтобы поддержать ее силы, приказала варить ей грибные щи на крепком мясном бульоне. Щи, конечно, получа-



лись очень вкусные, а бабушка, не подозревая обмана, всем говорила, что никто не умеет варить таких вкусных постных щей, как ее повариха Станиславна. Все знавшие истину посмеивались между собой, но молчали.

После смерти Петра Ивановича бабушка, ставшая полновластной наследницей, передала Петрику, сыну Юрия Петровича, право на продолжение издания «Русского архива». Жили они в Денежном пер. (теперь ул. Веснина), д. 3. До самой революции издавался «Русский архив», за подписью «Петр Бартнев-младший». Такое решение бабушки очень обидело ее сына Сергея Петровича, который считал себя, может быть с большим основанием, и по годам, и по знаниям, и жизненному опыту более подходящим стать заместителем своего отца. Не берусь судить, кто из них был прав. Знаю только, что это внесло раздор в семью, и я это переживала болезненно. Мой отец открыто встал на сторону матери и сестер, и братья разошлись. Я встретила с дядей Сереей и его семьей много позже, в первые годы после революции, когда моего отца уже не было в живых. Дядя Сережа был профессором музыки. Он окончил Московскую консерваторию по классу роляя. Был учеником знаменитого Танеева и сохранил с ним дружбу до смерти последнего. Очень много путешествовал, давал концерты в разных странах и был знаком и связан более или менее близко со всеми музыкантами и композиторами своего времени. Уже после революции я встречала у него проф. Гольденвейзера, к которому он относился с большим уважением и симпатией. Помимо своей основной профессии, Сергей Петрович был историк и хранитель старины Кремля. Написал большой труд в двух томах «Описание Кремля». По занимаемой должности он имел прекрасную квартиру в Кремле в Кавалергардском корпусе. Я там не раз бывала с папой. После революции дяде Сереее предложено было выехать из Кремля, но Ленин, познакомившись с ним и с «Описанием Кремля», распорядился предоставить Сергею Петровичу и его семье хорошую квартиру, где бы он мог продолжить свою интересную и полезную работу.

Вот что вспоминает о дедушке другая его внучка, моя покойная двоюродная сестра Ирина Юрьевна Бартенева.

В доме моих родителей стены лестницы, ведущей на второй этаж, были увешаны гравюрами, портретами разнообразнейших

политических и государственных деятелей XVIII и XIX веков; с хвастовством, часто свойственным детям, я говорила своим маленьким приятелям, спускаясь с ними по лестнице: «Это все знакомые дедушки!» На это, если не изменяет память, маленький Коля Станкевич, сын библиотекаря Исторического музея, резонно отвечал: «Как же это так? Они в париках, они, значит, жили в XVIII веке?» — «Ну что же? Дедушка их так хорошо знал, как своих близких знакомых», — не смущаясь, возражала я, совершенно не подозревая, что этими словами я подчеркиваю сущность исторического метода исследования Петра Ивановича Бартенева, его удивительное умение из мелких черточек создавать факты большой исторической важности и знать массу подробностей жизни различнейших деятелей.

Исключительная осведомленность сочеталась у дедушки с удивительной исторической интуицией. Он сам рассказывал, что однажды увидел во сне Екатерину Вторую, которая, грозя ему пальцем, спросила: «Да как же ты об этом догадался?» — «А записочку, матушка, помнишь, написал!» — возразил он.

Петр Иванович исключительно хорошо знал век Екатерины. Уже после его смерти, разбирая какой-то вопрос, относящийся к ее царствованию, известный филолог академик А. И. Соболевский на замечание моего брата, что дедушка трактовал этот вопрос иначе, смеясь, сказал: «Ну, ему и книги в руки, кому же это и знать, как не ему, старому посмертному любовнику Екатерины».

У моей матери была кузина, рожденная Морсошникова. Узнав об этом, дед сразу вспомнил, что какого-то Морсошникова в молодых годах и чинах послали к царице известить об одержанной победе. Он доехал, отрапортовал и свалился без сил к ее ногам. Проснулся он по повелению царицы уже в большом чине — так он был вознагражден и отмечен ею за свое рвение и усердие по службе. Когда дед узнал, что это был прадед моей тетки, он был очень доволен и осыпал ее любезностями и комплиментами.

Память у Петра Ивановича была поистине феноменальна. У нас, внучат, было своеобразным спортом спрашивать у деда родословную самых различнейших деятелей. «Ну слушай! При Екатерине Второй жил некий помещик Пензенской губернии Петр Петрович В. Он был женат на девице Авдотье Петровне П. Род их записан в VI книгу; выходцы из Золотой Орды. Неоднократ-

но предки упоминаются в летописях. Сыновья его Семен Петрович и Алексей Петрович служили в гвардии. Алексей Петрович женился на богатейшей наследнице Павла Александровича Ш., Екатерине Павловне. От этого брака родилось два сына: Иван Алексеевич и Петр Алексеевич. — И после короткой паузы, тоном глубокого убеждения: — Оба величайшие мерзавцы!» При желании можно было от него узнать великое множество подробностей об упомянутых лицах.

Характеристики русских писателей были порой очень кратки, но изумительны по существу:

«Ах, батюшка, никто не хочет понять, что Иван Сергеевич — это же Анна Сергеевна!» — подчеркивая этим мягкость, даже некоторую сентиментальность Тургенева.

«Лев Николаевич Толстой — великий художник, но он часто утверждает нелепые вещи!» Покойный двоюродный брат Н. С. Бартенев рассказывал, что, будучи еще мальчиком, ехал однажды с дедушкой поездом: дед разговорился с соседом о Льве Николаевиче. Вдруг из соседнего купе слышится: «Петр Иванович, и опять-то вы меня ругаете», — и появляется фигура Льва Николаевича. Чем кончился этот случай — мне неизвестно.

Дедушка в молодости был хорошо знаком с А. С. Хомяковым и просиживал в его доме на Собачьей площадке до глубокой ночи, то есть был допущен во святая святых славянофильства.

«Вот в этом кресле сживал обычно ваш дедушка! — говорила мне Мария Алексеевна, когда мы бывали с мамой у нее. — А вот здесь на диванчике любил сидеть Сергей Тимофеевич Аксаков».

Дедушка очень ценил содержательную поэзию Алексея Степановича Хомякова. Как хорошо читал он нам, внучатам, «Навуходоносора»: «Пойте, други, песнь свободы. Пойте, снова потекут наши мирные беседы, закипит свободный труд!»

Дедушка рассказывал, что император Николай Павлович в стихотворении «Навуходоносор» усмотрел намек на себя, и А. С. Хомяков, да и вообще славянофилы, были на очень плохом счету у III отделения. В зале дедушки висела исключительно редкая гравюра: портрет императора Николая Павловича в сиянии несут ангелы, а на земле коленапреклоненно стоят люди, и архиерей, с лицом, сильно напоминающим московского митрополита Филарета Дроздова, кадит. «Вот ведь до чего могут

дойти льстецы!» — возмущенно говорил дедушка и тут же прибавлял, что Николай Павлович велел уничтожить эту гравюру, чем и объясняется ее большая редкость.

Дедушка знал величайшее множество подробностей о любом историческом событии, многое было тогда историческими секретами, о которых в печати и упоминать было невозможно. Иногда примечание Петра Ивановича к той или другой статье придавало смысл всему напечатанному документу и было, пожалуй, ценнее целой статьи. Это был до известной степени «эзопов язык». При громадной исторической насыщенности стиль «Русского архива» был очень выдержанным, строгим. «Русский архив» — это голос прошлого без всякого приспособления этого прошлого к текущему моменту, в чем впоследствии иногда и обвиняли Бартенева.

В своих отношениях к власти имущим дедушка не был угодлив: помню, мы, внуки, с тщеславием рассказывали друг другу, как дед отказал великому князю Николаю Михайловичу написать о трехсотлетии дома Романовых: «Ваше высочество отлично знает, что Романовых давно нет, как же я буду о них писать?» Это было крайне неприязненно, а так как «Русский архив» получал государственную субсидию, такой случай мог оказаться чреватым своими последствиями<sup>3</sup>.

О современных ему политических деятелях от 1905 до 1912 года дед избегал говорить. Если правительство делало какие-либо промахи, про которые можно было бы сказать словами известного Фуше: «Это больше чем преступление — это ошибка!», то мой отец Юрий Петрович, очень страстно относившийся к политике, разражался негодующими речами, дедушка же тихо говорил: «А Екатерина-то как умна была!» — и мудро умолкал.

Очень юмористически относился Петр Иванович к незрелому тщеславному хвастовству русским именем — kwasному патриотизму; часто повторял стихи из «Путешествия г-жи Курдюковой» И. П. Мятлева: «Надобно любить родное, даже, дескать, и такое, что не стоит ни гроша!» Так же насмешливо относился он к чванству своим родом и ссылкой на заслуги предков. «Посмотрим, посмотрим, как-то вы будете служить своей родине и что сумеете для

<sup>3</sup> П. И. Бартенев намекал на пресечение мужской линии Романовых в 1762 году, так как мемуары Екатерины II содержат откровенное свидетельство, что Павел I не был сыном Петра III.

нее сделать», — перебивал он внуков, толковавших о Даниле Бартеневе, упоминаемом в Волынской летописи XIII века, — а то помните в басне: «Наши предки Рим спасли!»

Дедушка глубоко уважал многие черты русского характера и сердечно радовался, когда читал или слышал о том, что возвеличивало Россию. Иной раз, покачивая головою, задумчиво повторял тютчевское стихотворение:

Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить,  
У ней особенная стать:  
В Россию можно только верить.

Весьма ревностно дедушка относился к чистоте русской речи. Называл себя — «Издатель и составитель «Русского архива», чтобы не писать «редактор». Иногда он так раздражался, что стучал костылем о пол. «Ах, батюшки, к чему эти иностранные словечки! Раз говоришь по-русски, то и говори. «Оригинальность», а почему бы не сказать «самобытность»? «Орфография» — это к чему? Не понятнее ли будет «правописание»?»

Нелюбовь дедушки к иностранным словам доходила порой до чудачества. Однажды в соседнем с дедушкиным домом владении произошел пожар, и, когда он был потушен, к деду разлетелся брандмайор и, желая блеснуть образованием, лихо начал: «Я явился, ваше превосходительство, констатировать факт пожара по соседству с вашим владением и о мерах ликвидации оно́го». Дед рассвирепел: «Что, что? Какие мерзости вы пришли мне тут рассказывать?» Родным стоило немало́го труда успокоить его и потушить его гнев. Кстати сказать, дед страшно сердился, когда его звали «ваше превосходительство». «Ах, батюшка, у меня имя есть!» Иногда дедушка нарочно говорил сугубо архаически. Так, однажды он, по болезни, не смог отдать визита. При встрече он сказал: «Не прогневайтесь, батюшка, что из-за хвори не мог взаимодействовать вам посещением».

Но обиходная речь его была очень четкой и ясной. Он подтрунивал над немецкими длинными фразами: «тянет, тянет, а на конце поставит *nicht*». Часто он обращал внимание нас, внучат, на изобразительную проникновенность русской речи. Так, однажды, когда я с ним занималась «правописанием» (о моих занятиях с ним я скажу ниже), дождик перестал и сияла радуга; дедушка вдруг воскликнул стихами Тютчева: «Как неожиданно и ярко во влажной неба

синеве воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве!» Вот, видишь ли разницу? Немец говорит «Rogenbogen», француз — *arc en ciel*, а по-русски «радуга», от слова «радость», ведь ты радуешься, что дождь прошел».

У нас в семье был обычай, что внучата учили по своему выбору стихотворение и декламировали его дедушке. Я в те времена (мне было лет 7—8) страшно увлекалась Лермонтовым и не создала еще нетленной гармонии пушкинского стиха.

Пушкина дедушка боготворил и часто варивал, что в одном Пушкине не только вся русская литература, но и вся русская культура. М. В. Бээр, внучку А. П. Елагиной, дедушка называл «Стих Пушкина», и высшей похвалы быть не могло в его устах. Мария Васильевна отнюдь не была красавицей, но все ее проявления, вся натура ее были глубоко гармоничны. Все в ней было просто, грациозно, умно и в меру.

Свои исследования о Пушкине дедушка писал, как он сам говорил, по «свежему следу». С возмущением вспоминал он, как на обертках свечей у П. В. Нащокина он находил «обрывки драгоценных писем его великого друга». Не всегда легко было достать тот или иной материал: так дедушка просидел однажды несколько дней, закрытый на ключ в комнате, выписывая из дневника Пушкина нужные ему данные, так как только при этом условии сын поэта Александр Александрович позволил ему ими воспользоваться. Но пламенное обожание великого поэта превозмогло все препятствия. Почти все первоисточники о Пушкине связаны с именем П. И. Бартенева. Хорошо иллюстрирует скрупулезное отношение к материалам о Пушкине тщательная работа Петра Ивановича по записям рассказов о великом нашем поэте П. В. Нащокина и редактирование этих рассказов Соболевским. Из переписки Петра Ивановича с князем П. А. Вяземским видно, как настойчиво П. И. добивался выяснения того или иного факта. Дедушка вспоминал, как ему было неприятно, когда он только начал заниматься Пушкиным и на него обиделся П. Я. Чаадаев. Петр Яковлевич считал, что в работе молодого Бартенева умалется его влияние на Пушкина, и подчеркивал, что Пушкин гордился его дружбой. Дедушка всегда сожалел, что излишняя скромность не позволила ему поговорить с графиней Елизаветой Ксавьерьевной Воронцовой о Пушкине в то время, когда он в Алупкинском дворце работал над архивом Воронцова.

Дедушка очень любил читать нам стихи Пушкина и великолепно читал «Анчар» (у меня, бывало, всегда мороз по коже пробегал). «Анчар» он ценил очень высоко и говорил, что «и Вергилий не лучше бы написал на эту тему». Кроме «Анчара», великолепно читал он нам «Медного всадника» и со словами: «За ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал!» — протягивал вперед руку наподобие фалькнетовского памятника. Читал он нам и другие произведения классической русской литературы. Во всю свою жизнь не забывала я чтения им державинской оды «Бог», так величественно и проникновенно оно было! «О ты в пространстве бесконечный, живой в движеньи вещества!» Читал он нам, детям, также баллады Жуковского. Все стихи читал он всегда наизусть, без книги и знал их великое множество.

В «Русском архиве» в виде приложения были изданы стихи Баратынского, Хомякова и Тютчева. Биография Федора Ивановича Тютчева, написанная И. С. Аксаковым, прежде чем выйти отдельной книгой, печаталась в «Русском архиве». Хорошо помню следующий случай. У бабушки Софьи Даниловны в гостиной сидела какая-то высокопоставленная старушка и еще какие-то две дамы. Я сидела около одной из них и отвечала на ее расспросы. У взрослых разговор шел о записках А. Ф. Аксаковой-Тютчевой. «Умница, дочь своего отца», — сказал дед.

«Ну да, ну да, Федор Иванович, конечно, очень умный, но это его увлечение на старости лет...»<sup>4</sup> — «Ne parlez pas de ces choses devant les jeunes filles (Не говорите такие вещи перед молодыми девушками)». Ну, мне было всего 10-11 лет, и под определение jeunes filles я не подходила. Это, по-видимому, относилось к моей двоюродной сестре Соне Бартеневой — дочери Сергея Петровича и Софьи Николаевны Гаевской.

«Предосудительный поступок камергера Тютчева...» — начала было с важностью высокопоставленная старушка. Дед молитвенно сложил руки: «Умоляю, графиня, не будем так говорить! Не случись бы с ним этого, не было бы и стихотворения «Я очи знал, о эти очи!» и множество других чудесных стихов, а ему, бедняжке, конечно, очень тяжело было; вспомните: «О этот Юг, о эта Ницца!», «О, как их блеск меня тревожит! Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может».

Дедушка был вообще очень добрым и от-

зывчивым. В письмах Плетнева просьбы и различные поручения — «к добрейшему Петру Ивановичу». Многочисленные дарственные надписи к книгам: «признательный», «благодарный» — все это характеризует доброе отношение Петра Ивановича к людям.

И в повседневной жизни Петр Иванович был очень участлив, внимателен и отзывчив.

«Добрейший был старик!» — говорила мне про него Елизавета Петровна Сперанская-Филатова, сестра известного академика Владимира Петровича Филатова, в молодые свои годы работавшая у дедушки в качестве технического секретаря.

Этой доброте и отзывчивости и я обязана самыми светлыми воспоминаниями моего печального отрочества. Произошло это так: меня отдали в закрытое учебное заведение сейчас же после смерти моего отца, 12 лет; училась я на казенный счет. Я горько переживала свое сиротство и много хворала в первый год учения. Очень много пропустила занятий и сажала ужаснейшие ошибки в диктантах и изложениях. Весной маме предложили: или чтобы я сдала пропущенное и, главное, подтянулась по правописанию, или надо было осенью сдавать переэкзаменовку по русскому языку. Маме была крайняя необходимость ехать в деревню: сеяли овес, сажали картофель, надо было выдавать семена, следить за работой. Оставаться в эту пору в Москве ради моей особы было крайне убыточно. Вот она о всех своих затруднениях и рассказала дедушке.

«Ну что, моя милая, подбросьте мне ее, я с ней позанимаюсь, думаю, что я ее подготовлю». — «Только вы, пожалуйста, по программе, Петр Иванович», — говорила мама, зная нелюбовь его к грамматике, «обмундированно языка». И вот я целых два месяца прожила у дедушки и имела счастье испытать его воспитательное влияние, оставившее глубокий след на всю жизнь и оградившее впоследствии от многих ошибок: я всю жизнь себя чувствовала внучкой Петра Ивановича! Нечего говорить, что я блестяще сдала свою переэкзаменовку.

Дедушка, который в 7 часов уже сидел за письменным столом и занимался, с меня не требовал раннего вставания. Я к нему являлась в 10 часов. «Как же это, моя

<sup>4</sup> Речь шла о трагической любви Ф. И. Тютчева к Е. А. Денисьевой (см.: Г. Чулков, Последняя любовь Тютчева. М., 1928 г.).

внучка Бартенева, и безграмотно пишет на своем родном языке?» Мне стало очень стыдно, и то, что я считала пустяком: «ну, не все ли равно — «собака» или «сабака», представилось мне чуть ли не как преступление. «Невнимательна, наверно, ворон считаешь? Ну-ка встань за поупитр и читай вслух мемуары Авдотьи Петровны Елагинной». Я начала. «Да у тебя, матушка, каша во рту! Как ты можешь правильно писать, когда так небрежно читаешь? Читай последние десять строчек внимательно, внимательно, потом их напишешь». Писала я сидя, а читала и правила корректуру по гранкам, стоя за поупитром. Каждую сделанную ошибку дедушка объяснял филологически: вот тут-то я перестала враждовать с буквой, которая до того времени была каким-то жупелом.

Украинский, церковнославянский, даже чешский и сербский показывались мне в порядке сравнительного языкознания; ошибки оживали, становились очень интересными, исправления легко запоминались. «Вот в XVI веке действительно писали так, как ты писала, а теперь так не пишут», — и далее следовали цитаты из летописей. Два часа проходили совершенно незаметно, и дедушка говорил: «Ну, теперь ступай, дай корма снегирю и полей цветы». У дедушки на балконе были «всякие сады Семирамиды», он для отдыха постоянно поливал, подрезывал, пересаживал, особенно любил финиковую пальму и «кбабы сплетни». Любил он также и животных: постоянно держал разных пташек или белку, которая без усталости гоняла в колесе. Обедали в один час. Заказывала обед я, так как бабушка с тетей Надей уехали в Марицино к тете Тане. «Слышал я, моя милая, что ты однажды потеряла все ключи от буфетов и кладовых, так что я тебе не доверяю, но, заказывая обед сама, кушай то, что тебе нравится». Не помню, кто стряпал обед, но отлично помню Аннушку «клопоистребительницу», которой дедушка за истребление клопов подарил золотую брошку с изображением клопа. С Аннушкой и Александром, дворником и рассыльным, «который умнее вас всех» (так говорил нам дедушка), дедушка снят в кресле, а они стоят по сторонам (фотография сдана покойной двоюродной сестрой С. С. Сидоровой-Бартеневой В. Д. Бонч-Бруевичу). После обеда я отправлялась в сопровождении Александра, который за руку меня переводил через улицу, а вообще шел сзади, по разным дедушкиным поручениям. «Сегодня ты снесешь вот этот пакет дяде Сереже. Ты помнишь,

где он живет?», и вечером: «Ну, моя милая, ты прекрасно выполнила возложенное на тебя поручение, но дядя Сережа пишет, что ты ему играла на рояле, почему же ты мне ничего не играешь? Будешь ежедневно играть один час до ужина». После ужина дедушка часто мне читал. Помню, начал он мне читать Мельникова-Печерского «В лесах». Но дочитали мы только до слов: «перевернул Потап Максимыч страницу, а на ней другая стихера: сизенький голубчик — армейский поручик». Любил дедушка читать Лескова и всегда говорил, что «это настоящий русский язык». Наша прекрасная, содержательная мирная жизнь, которая запечатлелась навсегда в моем сердце, разнообразилась посещением различных дедушкиных знакомых. Они приходили вечером и играли с дедушкой в вист. Когда дедушка жил еще в старом доме (Ермолаевская-Садовая, 175), к нему приходил регулярно по пятницам некто, известный у нас под именем «Леопарда Леопардовича», старичок, с которым дедушка играл в вист с «болваном» и рассуждал на немецком языке о восторжениях Гёте. Обычно же вечером до глубокой ночи дедушка работал. Навсегда осталась у меня в памяти: зеленая лампа под металлическим колпаком и сгорбленная старческая фигура над рукописями и корректурами. Да, это был великий труженик! Теперь трудно поверить что громадный 50-летний труд «Русского архива» был совершен одним человеком, с незначительной помощью технических секретарей. В мое время секретарствовала некая «Серна», как звал ее дедушка, бледная девица с громадными черными глазами — ни имени, ни фамилии ее я не помню. В 90-м году секретарствовал В. Я. Брюсов и сын, Юрий Петрович Бартенев. С Валерием Яковлевичем дедушка познакомился в Ревеле, куда ездил для морских ванн. Вместе с Валерием Яковлевичем была и его жена — скромная, милая Иоанна Матвеевна, которую дедушка очень любил. Жили оба очень скромно, очень дружно, в каком-то «скворечнике», как говаривал Валерий Яковлевич, не боявшийся ни крутых лестниц, ни дальних расстояний. Секретарствовать у дедушки, должно быть, было не так просто из-за его исключительной требовательности. «И что ты лезешь, когда корректуры не умеешь держать!» — кричал он на Юрия Петровича по поводу пропущенной ошибки, и тетя Надя, которая постоянно технически помогала отцу, не раз восклицала: «Папа прямо невозможно». Переводы с французского языка в мое время делала

старушка Грескина, жившая во «Вдовьем доме» на Кудринке. Дед часто посылал меня к ней с различными поручениями и настаивал, чтобы я говорила с ней только на французском: «настоящий французский язык — не современная трескотня!». Дед вообще не очень жаловал французский язык. «Облыжный язык, можно болтать долго, и ничего не сказать; недаром его в дипломатии употребляют», — говорил он. Не любил Петр Иванович излишней фразоватости и транжирства и всегда наставительно повторял: «Если имеешь десять рублей дохода, а тратишь девять рублей, ты богатый человек, но если имеешь сто тысяч, а тратишь сто одну, то ты на пути к разорению». Также не любил Петр Иванович излишней любезности: «Ах, батюшка, прекратите ваши милостивые телодвижения!» — сказал он однажды знакомым, которые нескончаемо долго и любезно расшаркивались перед дедом.

Я слышала от многих, что дедушка бывал в обществе исключительно приятным и любезным, — это ему, конечно, содействовало в приобретении материалов для «Архива». В последние годы дедушке не надо было искать и охотиться за материалами. Было лестно печатать в «Русском архиве» письма предков, мемуары, вообще какие-нибудь исторические документы. Но не так было в начале издания, когда дедушка, как некая неутомимая пчела, должен был по капелькам наполнять свой улей — «Русский архив» и строить соты исторических изысканий. Цепкость деда по отношению к интересным материалам была поразительна, и даже Салтыков-Щедрин иронизирует: «а еще больше боялся я, чтобы не узнал про эту историю Петр Иванович Бартенев и не утащил бы ее в свой «Архив». Часто ездил дедушка в Петербург, который не любил («город, построенный на русских костях»), и привозил интереснейшие материалы, которые никто другой не сумел бы раздобыть. Авторитет его и известность все возрастали, и скромный библиотекарь Чертковской библиотеки Петр Бартенев благодаря своим способностям, уму и трудолюбию превратился в весьма заметную фигуру, с его мнением считались такие известные историки, как С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, известный филолог А. И. Соболевский, а на заседаниях Исторического общества при дебатах его мнение оказывалось часто решающим.

Василия Осиповича Ключевского дедушка осуждал за пристрастное отношение к Екатерине Второй и не без ехидства гова-

ривал, что «профессор Ключевский очень интересовался, как проводила свои ночи Екатерина, но слишком мало интересовался тем, как проводила она свои дни».

Дедушка совершенно не был педантом. «Ах, батюшка, природа не терпит педантизма», — говорил он, и мы его хотя очень уважали, совершенно не боялись, а бабушку поопасывались, и шуметь при ней было нельзя... Соберутся, бывало, на первый день рождества или пасхи в «Архив» родные, а внуки пристают: «Ну, деда, ну, дедушка, ну, миленький, ну расскажи что-нибудь веселенькое!» Откинет свой костыль, усядется поглубже, поуютнее в кресло и начинает... Много передавал он эпиграмм: «Оконная летунья, эпиграмма-ма-хохотунья, эпиграмма-егоза вьется, третясь среди народа. И завидит лишь урода — разом вцепится в глаза» (Е. Баратынский). Много было эпиграмм на Вяземского. «Князь Вяземский острый, чудит невпопад, ему кажут зад парнасские сестры». Ужасно казалось мне выразительным: «Счастлив дом, а с ним и флигель, где, дубинки не щадя, о, Филипп Филиппыч Вигель, в шею выставят тебя». К каждой эпиграмме давались подробнейшие объяснения, но, к сожалению, я ничего из них не помню. Запомнились мне стихи Соболевского из его «Путешествия»: «Доволен я Европою — прекраснейший трактир! Хозяйка с толстой...» Отчаянные вопли из дамского уголка: «Петр Иванович, пошадите детские уши! Избавьте их от ваших гадостей!» — «Ах, батюшка, какие же это гадости? Это русская литература! От кого же они это услышат, если не от меня». Самозабвенный вопль внучат: «Деда, дедушка, дальше!» Иной раз дедушка насмешничал. Меня он звал «губошлепом» и серьезно сообщал, что он выпсал из Парижа машинку для укорочения моей нижней губы. Этого я, признаться, боялась (мне было тогда лет 6) и поджимала губы. Сообщал также, что в Москве одна улица названа в честь тети Тани. «Какая же улица, дедушка?» — «Ленивка».

В атмосфере всеобщего уважения и известности дедушка дожил до 83 лет и умер от воспаления легких, простудившись около открытой форточки (22 октября 1912 года). И всего четырех месяцев не дожил до 50-летнего юбилея своего детища — «Русского архива».

В этой работе я использовала всю доступную мне библиографию о П. И. Бартенеve и постаралась нарисовать его образ, каким он живет в моей памяти и сердце.



Рудольф Целмс

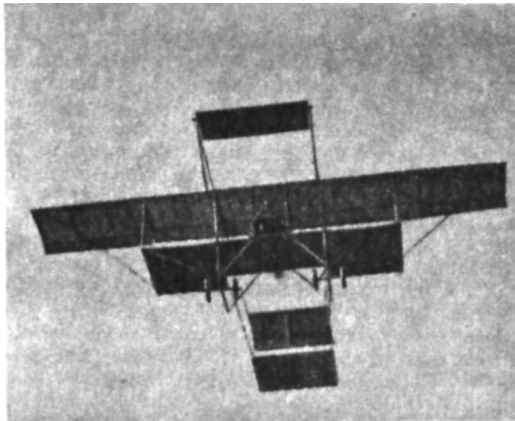
(Рига)

## Так сказал Уточкин

Рудольф Целмс — один из старейших летчиков нашей страны. В 1914 году он поступил добровольцем в русскую армию и окончил курсы авиатористов. С 1915 года был на фронте, участвовал в боевых вылетах, награжден боевыми отличиями. Во время гражданской войны учился в отделе Гатчинской авиашколы в Петрограде, на Средней Рогатке, в Самаре и Спасске (Дальний Восток). Вернувшись в 1921 году в Латвию, он летал на пассажирских линиях, был спортивным летчиком, газетным репортером.

Сейчас Рудольф Целмс — пенсионер, ему 73 года. Недавно он закончил книгу воспоминаний «Летчик остался жив». На страницах этой книги Р. Целмс вспоминает о своих товарищах, русских летчиках времен первой мировой войны, многие из которых стали впоследствии видными советскими летчиками, описывает боевые полеты 1915—1916 годов, рассказывает случаи из практики пассажирского летчика периода начала воздушного сообщения и из истории латвийской спортивной авиации. По мнению латвийского писателя В. А. Берце, книга Рудольфа Целмса «принадлежит к числу тех документальных книг, созданных бывалыми людьми, которые ныне справедливо вызывают интерес читателей».

Ниже публикуется одна из начальных глав книги Рудольфа Целмса, в которой он рассказывает о событии, определившем выбор его жизненного пути!



Мне было шестнадцать лет, учился я плохо, и весь смысл жизни для меня сосредоточивался в футболе. Но вдруг произошло одно событие, которое пробудило во мне другие интересы.

Однажды я заметил, что возле перекрестка толпятся люди, читают какую-то афишу. Я тоже не поленился, подошел:

«Внимание! Новость! — прочел я. — В воскресенье 21 августа 1911 года на рижском ипподроме состоятся публичные полеты по воздуху известного русского авиатора СЕРГЕЯ УТОЧКИНА!!! Авиатор совершит воздушный полет на специальном летательном приборе тяжелее воздуха — АЭРОПЛАН системы ФАРМАН (французской фирмы!)»

Авиатор УТОЧКИН исполнит на нем следующие номера:

1. Подъем с площадки ипподрома.
2. Полет над почтенной публикой.
3. Полет на высоту.
4. Крутой вираж.
5. Воль планэ.
6. Спуск на землю (атеррисаж).

По окончании полной программы авиатор будет возить по воздуху пассажиров (сто рублей за полет).

Полеты состоятся при любой погоде и под официальным наблюдением особой комиссии Рижского отдела императорского Всероссийского аэроклуба.

Плата за вход: место в ложе 1 р. 50 к., на трибунах — 1 руб. Стоячие места — 50 коп. Учащиеся в форме — 25 коп.

Будет играть усиленный военный оркестр 116-го Вяземского пех. полка под управлением капельмейстера капитана Логинова...

К сведению гг. зрителей. Дирекция про-



С. Уточкин.

Самолет типа «Фарман».

Рижский ипподром в день полета  
Уточкина. Фото автора. 1911 г.

сит не пугаться шума мотора. В случае аварии уважаемую публику просят оставаться на своих местах.

Антрепренер Ксидопулос».

Дочитав афишу, я протер глаза и прочел вторично — все верно, ошибки нет: человек будет летать по воздуху! Интересно. В прошлом году какой-то приезжий авиатор тоже пробовал подняться, но не смог: чуть приподнялся — треснулся о забор, упал. Уточкин, конечно, забор перелетит. Про него я слышал — известный одесский спортсмен, на автомобиле съехал вниз по лестнице на Приморском бульваре.

Я уже кое-что смыслил в авиации, знал рекорды. Вот в прошлом месяце авиатор Ньюпор на самодельном аппарате летал 138 километров в час; авиатор Лоридан поднялся на высоту 3170 метров. Но то — иностранцы. Меня раздражало, что русские отстают. Почему авиатор Макеев поднялся только на 1570 метров? Почему не выше? Почему?

Страдало мое ограниченное честолюбие русского патриота — мне хотелось, чтобы русские и в футбол играли лучше всех и чтобы русские авиаторы летали быстрее и выше всех. Я тогда еще не понимал, что царская Россия — отсталая страна, мне и в голову не приходило, что нашим государством управляют безмозглые бюрократы.

Прибжав домой, я заявил отцу:

— Русский авиатор будет летать по воздуху!

Отец не казался чрезмерно удивленным. Усмехнулся.

— Полетит? А как он сядет?

Отец имел привычку иронизировать над

моими увлечениями. Я вспыльчиво ответил:

— Сесть — это не штука, главное — полететь!

Отец закурил трубку и, подумав, сказал:

— Легкомыслие все это. Ты сам подумай: зачем человеку летать? Подумай и отвечай.

Я не знал, что ответить. Действительно — зачем? Для чего? Мог ли я, шестнадцатилетний паренек, понимать великие задачи воздухоплавания? Могли я в 1911 году предвидеть, что именно на нашей улице откроется контора «Аэрофлота»? Но уже тогда я был смышленным хлопцем и нашелся-таки:

— Для чего? А с аэроплана хорошо бросать бомбы!

Отец взглянул на меня поверх очков и вынул изо рта трубку.

— Вот как? Чтобы бросать бомбы? — Он ударил кулаком по столу. — Этого не будет! Вот увидишь — начальство запретит летать!

— А я полечу и буду бросать бомбы! — дразнил я отца. — Это так интересно — треск, дым,

— Не болтай чепуху, уж ты, во всяком случае, не полетишь.

— Нет, полечу! — воскликнул я с юношеским пылом, не подозревая, что произнес пророческие слова.

...Пошли смотреть на полеты вдвоем — со мной пошел мой одноклассник Вилис, прилежный ученик, умный, сильный парень. У него было злое выражение лица, но он был добряк. Он любил меня за мою



предприимчивость и за то, что я не подчинялся его воле. Ранним утром мы бодро шагали по улице, ведущей на ипподром. Он спросил:

— А ты полетел бы? — И, точно зная, что ответу утвердительно, он не стал ждать ответа и рассмеялся. — Ты-то не полетишь, ты слабей меня...

Вилис не подозревал, что причинил мне боль, упоминая о моей худощавости. Но я промолчал. Я знал, что худоба еще не слабость.

Возле входа в ипподром стояла очередь людей, но нам и в голову не приходило покупать входные билеты — это маменькины сынки и взрослые дяди тратятся на билеты. Кроме того, если авиатор действительно поднимется в воздух, то это будет видно и за забором, а если он не поднимется выше забора, то тогда вообще нет смысла покупать билет.

На лугу возле ипподрома уже собралось много людей, и все прибывали новые партии. Все оживленно судачили, спорили, гадали — перелетит ли через забор или рухнет, не долетев.

Я вскарабкался на высокий столб забора, острый, как заточенный карандаш. Вилис залез на соседний столб. Сидеть на острие столба было совершенно невозможно, и мы кое-как держались за верхушку.

Я взглянул вниз и чуть не свалился со столба от изумления — почти возле самого забора я увидел такое, от чего зарябило в глазах и захватило дыхание: я увидел аэроплан!

Да, это был аэроплан, летательный аппарат тяжелей воздуха, «величайшее изобретение XX века», как писалось в газетах.

Не раз я видел в журналах изображение аэроплана, но там он выглядел изящно, на рисунках крылья казались почти прозрачными. Но вид этого аэроплана сперва разочаровал меня — какой-то обшарпанный, в пятнах, с заплатками. Верхнее и нижнее крылья были вкривь и вкось перетянуты проволокой, чтоб не распались. Хвостовые жерди и задние рули забрызганы смазочным маслом, грязью. Словом, французский аэроплан системы Фарман выглядел весьма непрезентабельно. Но вдруг я почувствовал должное уважение к этому чуду техники, я понял, что заплатки — это зашитые раны на крыльях этой птицы. Это немые свидетели перенесенных авиатором и его машины страшных бурь, а перевязанные жерди хвоста — это доказательство пережитых катастроф. Теперь я

смотрел на машину с чувством глубокого благоговения.

Трибуны полны народа. С высоты столба я сразу узнал многих высокопоставленных зрителей: вот сам господин вице-губернатор в белом вицмундире; вот генерал, командир XXX армейского корпуса; далее господин полицмейстер с супругой и взрослой дочерью; вот усатый брандмейстер — все господа, господа. И сколько великолепных дам в модных широкополых шляпах, сколько франтов в стоячих крахмальных воротничках, в черных блестящих котелках на голове.

И над всем этим светским великолепием сверкало яркое осеннее солнце. Легкий ветерок чуть шевелил трехцветные национальные флаги.

Трибуны многоголосо гудели. На громадном городском лугу много тысяч горожан с семьями. В этот день, 21 августа 1911 года, почти все население города пришло сюда убедиться: умеет ли человек летать, или авиация — это сплошной обман. Пока никто ни на лугу, ни на трибунах еще точно не знал, взлетит ли авиатор Уточкин или сразу же, с ходу треснется об забор, и публика ринется к кассам требовать возврата денег, как это было в прошлом году, когда другому покорительно воздуха не удалось преодолеть забора.

В ожидании полета я рассматривал диковинное сооружение из тонких планок и дощечек и гадал, где там подвесить бомбу. Все так тесно, ненадежно и убого, что возникло сомнение в пригодности аэроплана для сбрасывания бомб. А если бомбы нельзя брать с собою, то какой тогда толк в авиации?

Внезапно грянул оркестр, ударили в барабаны. Могучие басы сотрясли воздух: откинув назад голову, трубачи швыряли вверх пронзительные, словно сверкающие звуки.

Оркестр играл марш в честь русской авиации!

В честь известного авиатора Уточкина! Сейчас его выход. Оркестр прибавил жару. Зрители на трибунах приподнялись, чтобы лучше увидеть авиатора. Одной рукой держась за столб, другой я снял кепку.

Гром оркестра внезапно замолк. На трибунах воцарилась тишина. Только чуть слышно полощутся флаги. Тише! Сейчас он выйдет! Люди увидят авиатора! Прошла напряженная минута. Вот открылась калитка и на беговой дорожке появился он — авиатор Уточкин!

Рукоплескания, клики. Опять гром орке-

стра, буханье барабанов, визг флейт. Молодежь на заборе грянула «ура» — они увидели авиатора!

Уточкин проходит мимо трибун, приближается. Он улыбается, кому-то приветливо машет рукой. Он небольшого роста, в белом свитере, на голове красная вязаная шапочка, похожая на тюбетейку.

Он проходит мимо трибун. Оркестр играет всюю. Пареньки на заборе ревут, кричат «ура». И я кричу изо всех сил: ведь он король авиаторов, он самый смелый; это он сбросит бомбу, первую бомбу!

Он совсем близко, у него красное лицо, рыжеватые волосы, он вовсе не похож на короля, скорее на борца, на борца за победу авиации. Кричали люди на лугу. Многоголосое «ура-а-а-а!» катится над лугом, эхом отражается от стен каменных домов.

Уточкин вдруг поднял руку, крики затихли, оркестр мгновенно замолк, а я один восхищенно продолжал орать «ура-а-а-а!».

Уточкин заметил паренька, судорожно цепляющегося за столб и орущего «ура». Он показал пальцем на меня, и я явственно слышал, как он, заикаясь, сказал сопровождающему его господину.

— Смотрите, этот м-мальчик по-полетит!

Эти слова так ошеломили меня, что я едва не «полетел» со столба. Я чувствовал, что краснею. Но Уточкин уже не обращал на меня внимания, он подошел к аэроплану, подергал за проволоки, издавшие звук расстроеного пианино, затем ударил ногой по колесу и, по-видимому, остался доволен осмотром своего аэроплана.

Авиатор осторожно поднялся на крыло; чтобы не запутаться в проволоках и не провалиться тонкое полотно, он ступал осмотрительно и, наконец, уселся на узенький стульчик. При этом аэроплан закрипел, но, по-видимому, ничего не сломалось. Еле дыша, я следил за приготовлениями к полету, оказалось, это совсем не так просто — сел и полетел!

Авиатор сперва подергал железную палку — при этом задвигались передний и задний рули высоты, — значит, это была не простая палка, а ручка руля. Потом он подрыгал ногами — тогда зашевелились рули поворота. «Как гениально все устроено», — подумал я и покачал головой.

В это время усатый механик в засаленном пиджаке подлез под хвост и начал крутить пропеллер, прикрепленный прямо на моторе с звездообразно расположенными цилиндрами, которые вращались вместе с пропеллером. Пока механик крутил, мотор

издавал комические шумы — хрюкал, хлюпал, сопел. Наконец механик крикнул: «Контакт!» — и энергично рванул за пропеллер. Мотор дал выстрел, выбросил облачко дыма и, поперхнувшись, заглох. Механик рванул вторично — мотор сперва чуть зацокал, но потом сразу затараторил, зарокотал. Хвост скрылся в вихре дыма сиреневого цвета. Запахло ладаном, как на православных похоронах.

Уточкин махнул рукой. Механик выскочил из-под хвоста и метнулся в сторону. Аэроплан, покачиваясь, покатился вперед, сперва не очень шибко, казалось, он и до забора не доедет. Потом, подпрыгивая, понесся все быстрее и быстрее. На секунды отрывался от земли, которая словно тянула его назад. А мотор тянул вверх. Кто кого пересилит? Мотор землю или земля мотор? В этом вся проблема летания.

Я глубоко переживал эту борьбу: «Ну, ну, тяни! — шептал я. — Поднимись же!» И гляди — оторвался-таки от земли! Устремился вперед. Но прямо на забор! «Господи! Ведь он треснется об столб!» Но авиатор не растерялся — он чуть притянул руль, и аэроплан как ни в чем не бывало перемахнул через высокий забор, нисколько его не задев!

Музыка грянула победный марш — человек перелетел через забор! Зрители трибун во главе с вице-губернатором дружно зааплодировали. Люди на поле, увидя показавшийся над забором аэроплан, закричали «ура». По всему лугу неслось «ра-а-а-а!». От этого рева становилось жутко, по спине пробегали мурашки, как бывает, когда присутствуешь на грандиозной манифестации.

Я видел, как человек перелетел через забор! Ничего смешного тут нет. Если такие, как Уточкин, в свое время не решились бы перелететь через забор, то сегодня вряд ли мы запросто летели бы через океан. Слава Уточкину! Почет!

Оркестр безумствовал, трубачи надрывались, барабанщик, словно обезумев, от восторга, бил в барабан, не соблюдая такта. Тем временем аэроплан Уточкина, подобно выпорхнувшей на волю птице, кудахтая, летел над лугом. Какая красота! Какой восторг! Человек летает! Я охрип и только тянул: «а-а-а-а».

Пролетев над окраинами, авиатор медленно повернул назад. Теперь он был на высоте 300 метров. Он первый достиг такой высоты! Это было баснословно, изумительно; главное, он летал уже шесть минут и еще не упал! Шесть минут! Скоро люди

будут летать шестьдесят минут, настанет время — и шесть часов будут летать!

Вдруг аэроплан накренился, блеснуло ниже крыло, сверкнул мотор. Люди в испуге закричали: «Падает, падает!», но, к счастью, они ошиблись: он не падал, это был «крутой вираж» — самый эффектный номер программы. Это было поразительно красивое зрелище, когда аэроплан, наклонив крыло, облетел круг. «Какая отвага, — думал я, — какие нервы у этого Уточкина!» В эту минуту у меня мелькнула мысль: «А что, если я попробую? Чем я хуже?»

Замкнув круг, аэроплан внезапно клюнул носом. Мотор заглох. Ай! Падает! Женщины на лугу в испуге завизжали. На трибунах люди встали с мест. Оркестр перестал играть. Неужели падение? Но я быстро спохватился — не падение, а «воль план», как сказано в программе — авиатор начал планирующий спуск с остановленным мотором. Это был восхитительный номер — аэроплан скользил вниз почти бесшумно — чуть-чуть шуршали крылья и звенели проволоки.

Но это что такое? Авиатор несется вниз, прямо на забор. Мне казалось, он прицелился прямо на меня... «Господи! Что он, ослеп?» Аэроплан все ближе и ближе, уже слышен свист. Какой-то паренек швырнул в аэроплан палкой, не попал... еще секунда — он заденет меня, придавит, произойдет небывалая катастрофа. «Не доживу я до триумфа авиации, не увижу, как с аэроплана сбросят первую бомбу».

Увидев прямо над собой подошвы сапог Уточкина, я прыгнул на кучу свежего конского навоза, с меня слетела кепка. Тем временем аэроплан уже спустился на ипподром.

Публика на лугу закричала «ура». Все ликовали: авиатор не обманул! Оркестр играл торжественный туш. Аэроплан Уточкина окружила большая толпа привилегированных любителей авиации, имевших доступ на полетную площадку. Я тоже вообразил себя привилегированным и бросился туда, чтобы поздравить авиатора с блестящей победой. Но меня на ходу поймал полицейский. Крепко держа за локоть, он провел меня мимо хохочущих над мной зрителей трибун и затем вытолкнул вон. Потрясенный всем виденным, я сел на кучу каких-то бревен.

Это было какое-то душевное оцепенение, состояние, похожее на полусон. Я старался не двигаться, чтобы не растерять чудесное состояние, охватившее меня. В ушах еще шумел мотор, казалось, кругом пахло

смазочным маслом. Действительно, это был полусон; я грезил о полете, во мне зародилась безумная идея, как у композитора, вероятно, зарождается тема гениального произведения.

Я повторял про себя: если летает Уточкин, то и я могу летать. От этой мысли у меня закружилась голова, я отогнал ее — ведь Уточкин бесстрашен, он не боится упасть. А я? Черт возьми, и я не трус, только молод еще. Зато я упрям — тогда я еще не понимал, что мое упрямство — это честолюбие. Мою внутреннюю борьбу прервал рокот мотора — Уточкин полетел с пассажиром. Облетев круг, он спустился. На трибунах рукоплескали уже значительно слабей, вовсе не кричали «ура». Я еще подумал, как быстро люди привыкают к чуду, как быстро гаснет их восторг.

Пусть, но мой восторг все пылал, я горел, сидя на бревне, я крикнул «ура!». Я был покороен авиацией. Пропавший человек!

Полеты кончились. Начался разъезд публики. Первым уехал вице-губернатор на собственном рысаке, затем полицмейстер, потом остальные свидетели победы авиации.

Гремя инструментами, ушли музыканты. Спустили флаги. Ипподром опустел. Ворота закрылись.

Я чувствовал голод, но не побежал домой. Я был в плену пережитого, очарован полетом Уточкина. Так после чтения фантастического романа еще долго пребываешь в другом, волшебном мире.

Неожиданно ворота открылись. Показался парный извозчик. В щеголеватой карете сидели трое: городской брендмейстер, редактор немецкой газеты и... Уточкин! Сам Уточкин!

Ошеломленный, я встал и хотел обнажить голову. Но кепка осталась на куче навоза...

Карета покатила. Кучер стеганул кнутом, кони побежали. Я бросился за ней: «Постойте! Подождите!» Кричал не я, а то, другое существо, которое только что родилось во мне. «Подождите-е-е-е!»

Кучер осадил лошадей. Уточкин встал, обернулся. Запыхавшись, с растрепанными волосами, без шапки, я подбежал к карете и схватился за никелированные поручни. От возбуждения я не мог произнести ни слова, да и не знал, что сказать, чем объяснить свой странный поступок. Уточкин приветливо улыбался.

— Что скажете, мо-молодой ч-ч-человек? — Он заикался, от него шел запах

свежего ветра высот, аромат смазочного масла.

Я восхищенно смотрел в его узкие, немножко лукавые, но добродушные глаза.

— Ну, ну, го-говорите же! — Уточкин дотронулся до моей руки, не выпуская поручень.

Брандмейстер насупился — чего там болтать с этим растрепанным пареньком!

— Прошу... извините меня, — начал я заплетающимся языком, — хочу узнать... скажите мне, пожалуйста...

— Ну, ну? — Уточкин подбадривал меня.

— Простите, я сейчас... когда я сидел на заборе, вы сказали, что я полечу... это вы... в шутку?

Уточкин весело засмеялся.

— Ах это вы? Да, да, узнаю. Я сказал, что вы полетите, — это я серьезно... если у вас есть желание.

Я очень смутился — мне показалось, что он смеется надо мной. Хотя вряд ли — зачем ему подшучивать над юношей — энтузиастом авиации? Я осмелел:

— Можно научиться летать так, как вы?

— Что значит — как я? — Уточкин улыбнулся.

— Это значит — вы полетели и не упали! Это ж трудно?

Уточкин засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Научиться этому нельзя — кто летает, тот падает. А кто боится падать — пусть не летает.

— Я не боюсь падать, честное слово!

Уточкин погасил свою улыбку и взглянул на меня неожиданно строго:

— Это хорошо, что не боитесь падать, молодой человек, но это не все — авиацию нужно любить, очень сильно любить, иначе ничего не получится.

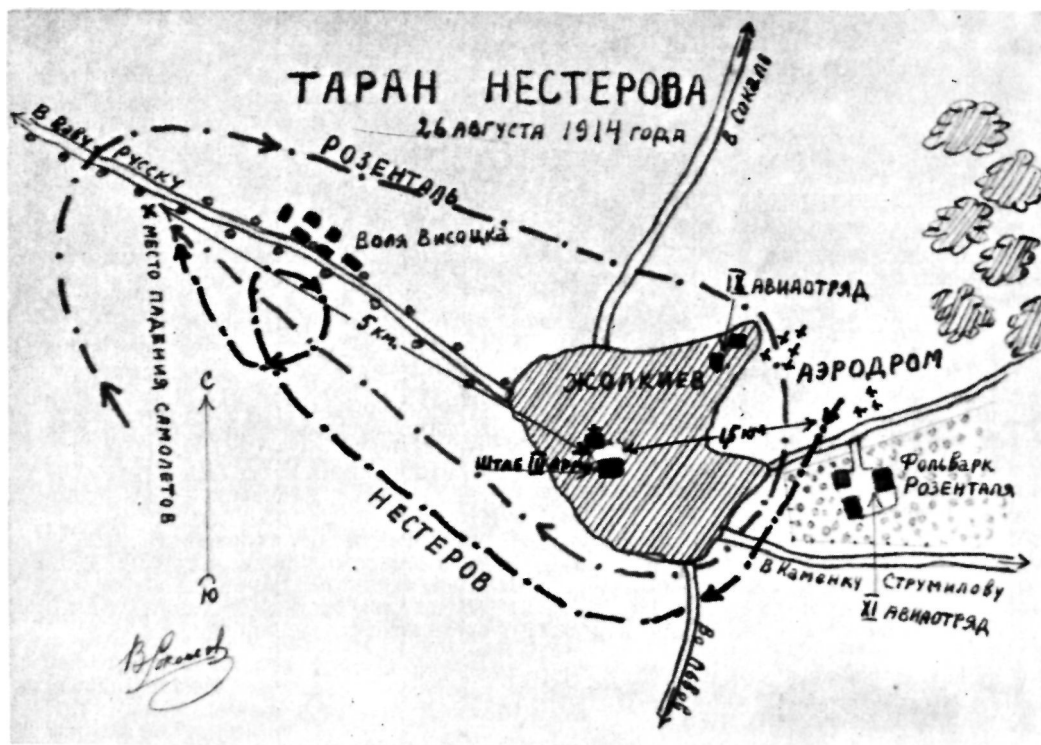
— Да, да! Буду любить! Очень сильно! — Я воскликнул чересчур громко, так, что даже извозчик обернулся. — Вот увидите!

Уточкин опять засмеялся.

— Теперь я вам верю — вы будете летать!

Он кивнул мне головой. В знак уважения я приложил руку к сердцу. Извозчик щелкнул кнутом. Карета тронулась.

Я остался посреди улицы и ждал, когда карета исчезнет из виду.



Трудно назвать в истории отечественной, да и мировой авиации личность более яркую, чем летчик Петр Николаевич Нестеров.

Он пролетал (включая время обучения в школе) всего два года — с 1912 по 1914 год. Сегодня мы смотрим на летчика с двухлетним стажем почти как на новичка, едва успевшего войти в строй. Нестеров же за этот более чем короткий срок сумел несколько раз сказать новое слово в искусстве полета.

Первая петля, то есть, в сущности, вообще первая фигура высшего пилотажа, долгое время эффектно именовавшаяся «мертвой петлей», а затем получившая имя своего первого исполнителя... Первые виражи и развороты с креном, единственно безопасные и неизменно применяющиеся по сей день на всех без исключения самолетах, летающих по белу свету... Первые иллы, во всяком случае, одни из первых в нашей стране перелеты из города в город — с отрывом от родного аэродрома... Наконец, первый в истории мировой военной авиации воздушный таран — отчаянно рискованный прием воздушного боя, стоивший Нестерову жизни, но многократно повторенный впоследствии советскими летчиками, которые

оказывались в таком же положении: сбить врага обычными средствами поражения по тем или иным причинам не удастся, а упускать его нельзя!

Первый... первый... еще раз первый...

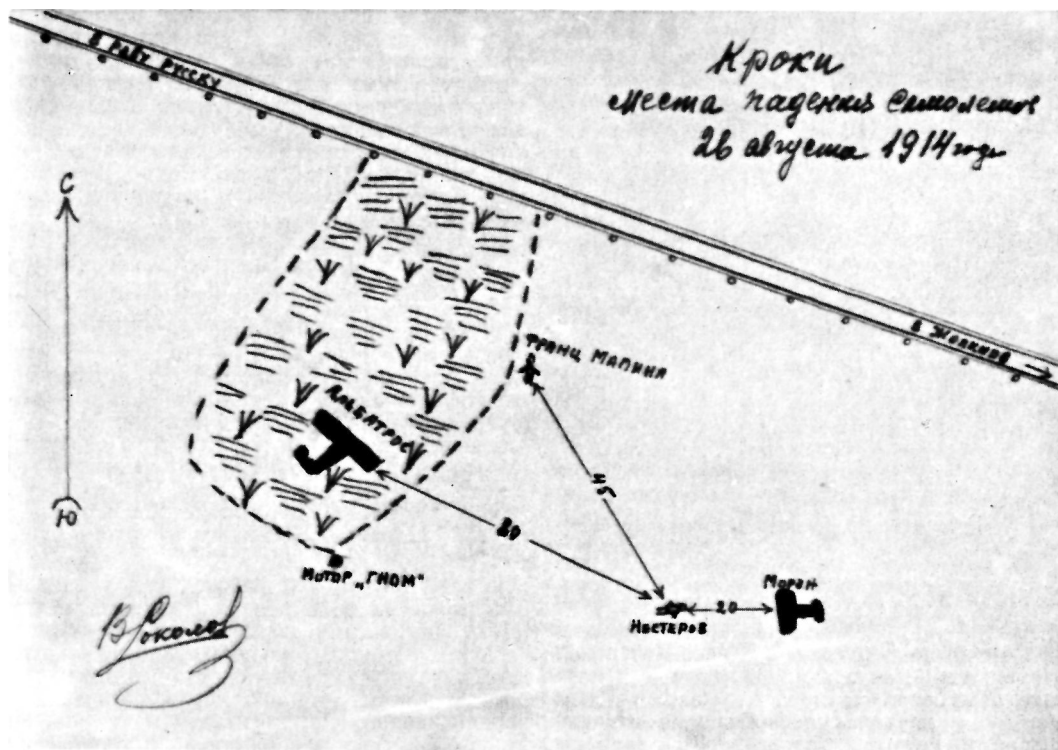
Причем, в отличие от некоторых иных, первый не «по слухам», а по вполне достоверным, документально подтвержденным данным.

Любого из этих свершений, взятого в отдельности, было бы достаточно, чтобы имя Нестерова осталось навсегда в истории авиации. А он их сделал несколько!

Естествен поэтому тот интерес, с которым мы воспринимаем каждое новое сообщение о каких-то ранее неизвестных подробностях жизни и деятельности этого замечательного человека, каждое дополнение или уточнение того, к сожалению, в общем немногого, что мы знаем о нем.

Автор предлагаемых вниманию читателя воспоминаний Виктор Георгиевич Соколов — один из старейших русских летчиков, участник воздушных боев первой мировой войны, друг и сослуживец Петра Николаевича Нестерова, очевидец его последнего боя и героической гибели.

М. Галлай



Кроки, выполненные автором воспоминаний, показывают маршрут полета самолетов Нестерова и Розенталя и место их падения.

В. Соколов  
(г. Ташкент)

## Таран Нестерова

(Воспоминания очевидца)

Петр Николаевич Нестеров, наш народный герой, окончил Гатчинскую авиационную школу в марте 1913 года, а в августе 1914 года его уже не стало, и за этот короткий промежуток времени — менее по-

лутора лет — он выполнил столь громадную и значительную работу, что она оставила неизгладимый след как в отечественной, так и в мировой авиации.

Волею судеб я был сослуживцем и другом Петра Николаевича Нестерова. Вся его авиационная деятельность протекала на моих глазах, и в настоящее время я последний оставшийся в живых из числа военных летчиков, свидетелей первого в мире воздушного боя, закончившегося первым в мире воздушным тараном и гибелью нашего национального героя.

Первые русские авиационные части формировались в 1913 году. Это были авиационные роты: 1-я — в Петербурге, 2-я — в Севастополе, 3-я — в Киеве и отдельный авиационный отряд — в Чите.

Мы, военные летчики, окончившие Се-

вастопольскую авиационную школу и получившие назначение в Киев, прибыли туда зимой 1912 года. В конце января и весь февраль месяц 1913 года мы были заняты оборудованием аэродрома на западной Украине Киева, около полустанка Святошино. Затем мы собирали самолеты, и к середине марта они закружились над аэродромом.

В первых числах марта прибыли военные летчики, окончившие Гатчинскую авиационную школу, в их числе был и поручик Нестеров.

Вначале он ничем не отличался от других гатчинцев, усердно собиравших свои «Ньюпоры-IV», тогда как мы, вастопольцы, были уже в воздухе, но первый же его взлет привлек наше внимание и вызвал оживленные споры. В то время как мы согласно указаниям наших школьных инструкторов делали повороты, как мы говорили, «блинчиком», то есть с большим радиусом и не давая крена, Нестеров, взлетев, смело «загнул» большой вираж, сильно нас испугавший. А затем его крены в последующих полетах уже вызвали всеобщий восторг.

Вскоре и в нашем офицерском собрании на Печерске (рядом с Киево-Печерской лаврой, где стояла 3-я авиарота) и в комнате дежурного офицера на Святошинском аэродроме начались нескончаемые горячие споры, в которых затрагивались вопросы теории и практики полета. Нестеров, сделав из бумаги модель самолета, доказывал нам, что в авиашколах нас обучали неправильно и что для резкого, крутого поворота надо делать большой крен. Если же крен перейдет 45 градусов, то рули поворота и высоты меняют свое назначение. Многим из нас эти высказывания первое время казались непозволительной ересью.

— Военный летчик должен владеть своим аэропланом в совершенстве, — горячо говорил Петр Николаевич. — Ему во время войны, может быть, придется вести воздушный бой, а для этого он должен уметь выходить из любого положения. В воздухе везде опора!

Вскоре мы узнали от гатчинцев, что еще в авиашколе Нестеров говорил об этом и даже утверждал, что на аэроплане можно сделать «мертвую петлю». В школе его подняли на смех. Нужно сказать, что первое время мы также не верили тому, что говорил Нестеров о «мертвой петле», и многие открыто насмехались над ним. Но когда нам стало известно, что профессор

Николай Егорович Жуковский, ученый с мировым именем, «отец русской авиации», как впоследствии назвал его Ленин, также считает выполнение «мертвой петли» вполне возможным делом, голоса оппонентов Нестерова смолкли.

И 27 августа 1913 года в Киеве, на Святошинском аэродроме, Петр Николаевич Нестеров выполнил первую в мире «мертвую петлю».

В совершенстве овладев искусством пилотирования, Петр Николаевич совершает ряд блестящих полетов, из которых следует отметить перелет без посадки Киев — Одесса (во время снежной метели) и перелет за один день Киев — Петербург. Для того времени они являлись рекордными. В этих перелетах, пользуясь сильным попутным ветром, а иногда и штормом, Нестеров увеличивал в полтора раза скорость своего самолета, то есть его «Ньюпор-IV» вместо нормальной скорости 100 километров в час давал 150 километров в час.

Так летать осмеливался только один Нестеров.

Своей неустанной работой над техникой пилотажа, своими рекордными перелетами Петр Николаевич давал блестящий пример другим летчикам авиароты. Многие из нас признавали его руководство, подражали ему, и вскоре 3-я авиационная рота заняла среди авиарот России первое место как по числу залетных часов, так и по количеству дальних перелетов.

Нестеров также ни на минуту не забывал об ответственности, лежавшей на нас, молодых военных летчиках, которым приходилось самим думать о применении авиации в будущей войне. Отношение же генерального штаба царской армии к этому вопросу было более чем легкомысленным. Я хорошо помню одну горячую речь Петра Николаевича в нашем офицерском собрании.

— Мы видим, что нас предоставили самим себе, — волнуясь, говорил он. — Никаких инструкций, никаких указаний мы не получаем. Как будет применяться авиация в будущей войне, приближение которой ясно чувствуется, точно никто не знает и никого это не беспокоит. Но если об авиации не думают те, кому об этом думать надлежит, то ответственность за подготовку к войне падает на нас. Мы не имеем права сидеть сложа руки.

И Нестеров тренирует личный состав своего 11-го корпусного авиационного отряда, создавая по возможности условия военной обстановки. Он разрабатывает пра-

вила корректирования артиллерийского огня с самолета и работает над тактикой воздушного боя.

Перед войной 1914 года и в первый период этой войны летчики и наблюдатели были вооружены только пистолетами Маузера, и это было все наше оружие: не было ни пулеметов, ни бомб.

Нестеров усиленно ищет способы использования самолета как боевого оружия. Он думает о бомбе, подвешенной на длинном тросе и предназначенной для уничтожения дирижаблей противника. Он спускает с хвоста самолета тонкую медную проволоку с грузом, чтобы, перерезав дорогу вражескому самолету, разбить ему винт. Он приспособливает к хвосту самолета пилообразный нож и думает им вспарывать оболочку дирижаблей и привязанных наблюдательных воздушных шаров. Он пробует бросать вместо бомб артиллерийские снаряды. Наконец, его мысль останавливается на таране как на наиболее надежном оружии в воздушном бою того времени.

— Смелость, верный глаз, твердая рука — и победа твоя! — говорил Петр Николаевич.

Когда он погиб, в некоторых газетных заметках, в особенности в зарубежных, его охарактеризовали как отчаянного человека — *tête brûlée* (бесшабашная голова), готового на что угодно, только бы прославиться. Характеристика не соответствующая действительности. Нестеров каждое свое новое начинание всегда выносил на обсуждение товарищей и в критике коллектива летчиков искал окончательное решение. Он принадлежал к числу тех расудительных русских людей-героев, которые каждое свое начинание раньше обдумывают во всех деталях, а потом уже выполняют его, не дрогнув перед любой опасностью.

Мысль о таране возникла у Нестерова задолго до войны: во время осенних маневров в 1913 году.

Когда в районе города Гадяча, где стоял 11-й авиационный отряд, появился «неприятельский» самолет («Фарман-VII», на котором летел поручик Гартман), Петр Николаевич, поднявшись в воздух, «атаковал» его. Пользуясь преимуществом в скорости («Ньюпор-IV» давал 100 километров в час, а «семерка» — 80), Нестеров начал раз за разом перерезать путь «противнику», заставляя его сворачивать с дороги. После четвертой атаки Гартман по-



Нестеров среди офицеров 11-го авиаотряда. Публикуется впервые.

грозил кулаком Нестерову и полетел обратно, не выполнив разведку.

Когда Петр Николаевич приземлился, ему кто-то сказал, что его атака была возможна только в условиях мирного времени, а на войне такие маневры вряд ли действуют на противника. Нестеров задумался и потом убежденно ответил:

— Его можно будет ударить сверху колесами.

Впоследствии Петр Николаевич неоднократно возвращался во время наших бесед к вопросу о таране. Он доказывал его возможность и допускал два варианта. Первый — надо подняться выше вражеского аэроплана, а потом, круто пикируя, ударить колесами по концу крыла противника: вражеский аэроплан будет сбит, а самому можно благополучно спланировать. Второй — врезаться винтом в хвост противника и раздробить ему рули. Винт, конечно, разлетится вдребезги, но благополучное планирование не исключено. Следует не забывать, что в то время парашютов у нас не было.



Разразившаяся война давала возможность проверить теорию на практике, и мы не сомневались, что Нестеров, как всегда, доведет свою мысль до конца и, выбрав удобный момент, таранит противника. Такой момент, как мы знаем, наступил 26 августа 1914 года.

Хотя война только начиналась — прошел всего месяц с небольшим, — Петр Николаевич уже сильно устал от той напряженной работы, которую он вел. Крепким здоровьем он похвастаться не мог, а летать нам приходилось много, так как летчиков было мало. Летали мы на двух фронтах: на главном, который тянулся от Балтийского моря до Румынии, и на Кавказском. А нас, военных летчиков, было всего лишь двести человек.

В 3-й армии, которую обслуживали 9-й корпусный авиационный отряд, где служил я, и 11-й корпусный авиационный отряд Нестерова, числилось 10 летчиков. Разбил самолет — значит выбыл из строя. В бытность нашу в Жолкиеве в отряде Нестерова уже недоставало двух летчиков, уехавших раздобывать новые самолеты, что, кстати сказать, было довольно трудным делом. Из этих двух летчиков поручик Гавин сел в неприятельском расположении, сжег самолет и вернулся, а поручик Мрачковский с наблюдателем генерального штаба капитаном Лазаревым были сбиты во время разведки в глубоком тылу противника. Они вернулись на третьи сутки и привели с собой пленного австрийца. Этот подвиг какой-то корреспондент по ошибке приписал Нестерову, что дало повод некоторым его биографам повторить эту ошибку.

На всю русскую армию запасной самолет был только у Нестерова. Он его получил как награду за «мертвую петлю» и ряд блестящих перелетов перед войной, причем второй, новый самолет «Моран» давал скорость 135 километров в час, то есть на 35 километров больше, чем наши «Ньюпоры»; по тому времени это было уже достижение.

Так как у Нестерова было два самолета, то он считал своим долгом выполнять работу за двух летчиков и летал утром и вечером. Долетался до того, что 12 августа вечером, когда мы стояли в местечке Броды, возвратившись с разведки, он упал в обморок. В этот день он летал три раза. Несмотря на требование врача перестать летать минимум на месяц, Петр Николаевич после двух дней отдыха снова был в воздухе.

В Жолкиев, куда перешел после взятия Львова штаб 3-й армии, наши отряды перелетели 21 августа.

И вот каждый день утром над Жолкиевом стал появляться австрийский биплан. Он делал над городом круг и уходил обратно. В штабе нервничали, мы, летчики, тоже. Но чем же можно было остановить эти регулярные полеты австрийца? Оружия ведь у нас никакого не было. Но тем не менее некоторые офицеры генерального штаба, служившие в штабе 3-й армии, считали, что мы должны сделать невозможное: прекратить полеты австрийского летчика. Особенно настаивал на этом генерал-квартирмейстер армии генерал-майор Бонч-Бруевич, ведавший разведкой и контрразведкой и по роду службы стоявший близко к летчикам.

В 1957 году вышла книга М. Д. Бонч-Бруевича «Вся власть Советам», в которой автор, говоря о гибели Нестерова, пишет: «Мы давно знали друг друга, и мне этот авиатор, которого явно связывало офицерское звание, был больше чем симпатичен» (стр. 37).

Не берусь судить со стороны о степени симпатии Бонч-Бруевича к Нестерову, но позволю себе заметить, что офицерское звание Петра Николаевича не тяготило никогда. Кто-кто, а мы, его сослуживцы и друзья, заметили бы это раньше кого бы то ни было.

Я особенно четко запомнил разговор Бонч-Бруевича с группой летчиков вечером 25 августа 1914 года в вестибюле Жолкиевского замка, где помещался в то время штаб 3-й армии. Из летчиков присутствовали: 11-го отряда — Нестеров, Передков и Кованько, накануне прибывший в отряд; 9-го отряда — Войткевич и я.

Мы выходили из отдела разведки и в вестибюле встретили Бонч-Бруевича, оставившего нас. Начавшийся разговор быстро принял обычное направление: Бонч-Бруевич стал нас упрекать в недобросовестном отношении к нашей работе, в том, что мы выдумываем всевозможные предлоги, чтобы не летать, в то время как австрийцы летают ежедневно. Мы, зная, что командующий армией генерал Рузский нашей работой доволен, — о чем он неоднократно говорил, — отмалчивались, но Петр Николаевич не выдержал и стал возражать. Во время спора генерал Бонч-Бруевич, указывая на регулярные полеты австрийца — это был Розенталь, — сказал:



Нестеров с группой офицеров.  
Публикуется впервые.

— Вот летает, а вы только ушами хлопаете и на него смотрите.

— А что же мы можем сделать?

— Напасть на него!.. Дать бой!.. Мы на войне, не на маневрах!

— Но у нас нет оружия, что сделаешь с одними пистолетами Маузера?

— Это все отговорки!.. Надо придумать способ атаки. А вы просто боитесь! Не хотите рискнуть!

Нестеров вспыхнул:

— Хорошо! Мы примем меры и оставим полеты австрийца.

— Какие же это вы меры примете? — насмешливо спросил Бонч-Бруевич. — Ведь это одни слова и втирание очков. Так л вам и поверил!

— Я даю вам честное слово русского офицера, ваше превосходительство, что

этот австриец перестанет летать! — воскликнул глубоко оскорбленный Нестеров.

— Это как же? Что же вы думаете предпринять?.. Помните, капитан, честным словом русского офицера нельзя бросаться легкомысленно!

— Я, ваше превосходительство, никогда не давал повода обвинять меня в легкомыслии. Разрешите идти?

— Ну, ну, посмотрим... Хорошо. Можете идти!

Конечно, текстуально за каждое слово этого разговора я ручаться не могу, но содержание его помню твердо, а фраза Бонч-Бруевича: «Это одни слова и втирание очков. Так я вам и поверил!», гордый ответ Нестерова: «Я даю вам честное слово русского офицера, что этот австриец перестанет летать!» и весь конец разговора

врезались мне в память по вполне понятным причинам.

Мы вышли из замка и сразу набросились на Нестерова. Особенно сильно напирал на него «Еж» — Кованько.

— Как ты мог давать такое слово?! Я ведь знаю, что ты хочешь таранить австрийца. Ведь погибнешь... Знаешь что? Мы его атакуем вдвоем. Будем делать вид, что хотим таранить его сверху, прибьем к земле и заставим сесть!

Мы все дружно поддержали Кованько. Петр Николаевич спорил, утверждая, что можно, набрав над австрийцем высоту, круто на него спикировать и ударом шасси по концу крыла его обломать. Но в конце концов под нашим напором Нестеров сдался и сказал:

— Ну хорошо, Саша, полетим вместе.

На следующий день австрийский аэроплан появился над Жолкиевом рано утром. Нестеров и Кованько поднялись за ним в погоню, но у Нестерова при подъеме оборвался трос с грузом, которым он хотел попытаться разбить винт у австрийца, а затем в воздухе мотор стал давать перебои, и Петр Николаевич сел. Вслед за ним опустился и Кованько. Нестеров приказал спешно отремонтировать мотор, а сам сел в автомобиль и поехал в казначейство армии, где он получил деньги для нужд 11-го отряда.

Когда он возвращался в канцелярию отряда, расположенного рядом с аэродромом, в воздухе показался австрийский самолет, производивший вторичную разведку. Нестеров подъехал на автомобиле прямо к «Морану», около которого уже стоял Кованько, и спешно сел в самолет. Кованько хотел занять место наблюдателя, но Петр Николаевич сказал ему:

— Не надо, Саша, я полечу один.

— Но что же ты будешь делать? Возьми по крайней мере хоть браунинг, — сказал Кованько.

— Ничего, я как-нибудь обойдусь, — ответил Нестеров и поднялся в воздух.

(Этот эпизод я передаю со слов А. А. Кованько.)

Около 11 часов утра, когда появился австрийский аэроплан, я был в штабе армии. Услышав звук мотора и крики: «Летит! Летит!» — я выскочил на площадь перед замком. Австриец сделал круг над городом на высоте 900—1000 метров и стал делать второй. В городе поднялась беспорядочная винтовочная трескотня.

Когда я услышал знакомый шум мотора

«Гном» и увидел маленький моноплан Нестерова, я решил, что Петр Николаевич хочет только испугать австрийца, так как ни в коем случае не мог предположить, что Нестеров пойдет сразу же на таран.

Австриец же в это время, сделав круг, шел над городом прямо на запад, слегка набирая высоту. Очевидно, он увидел все, что ему было нужно. А Нестеров обходил город с южной стороны и, быстро поднимаясь, шел наперерез противнику, заметно догоняя его. Было ясно, что скорость «Морана» намного выше скорости «Альбатроса» австрийца.

Вот они уже на одной высоте. Вот Нестеров уже выше противника и делает над ним круг.

Австриец заметил появление страшного врага, видно было, как его аэроплан начал снижаться на полном газу. Но уйти от быстрого «Морана» было нельзя. Нестеров зашел сзади, догнал врага и как сокол бьет неуклюжую цаплю, так и он ударил противника. Сверкнули на солнце серебристые крылья «Марана», и он врезался в австрийский аэроплан.

После удара «Моран» на мгновение как бы остановился в воздухе, а потом начал падать носом вниз, медленно кружась вокруг продольной оси.

— Планирует! — крикнул кто-то.

Но для меня было ясно, что аэроплан не управляется и это падение смертельно.

Австриец же после удара некоторый момент еще держался в воздухе и летел прямо.

«Неужели напрасная жертва?!» — мелькнуло у меня в голове.

Но вот и громоздкий «Альбатрос» медленно повалился на левый бок, потом повернулся носом вниз и стал стремительно падать. Более тяжелый, чем «Моран», он быстро обогнал его в воздухе и упал на землю первым.

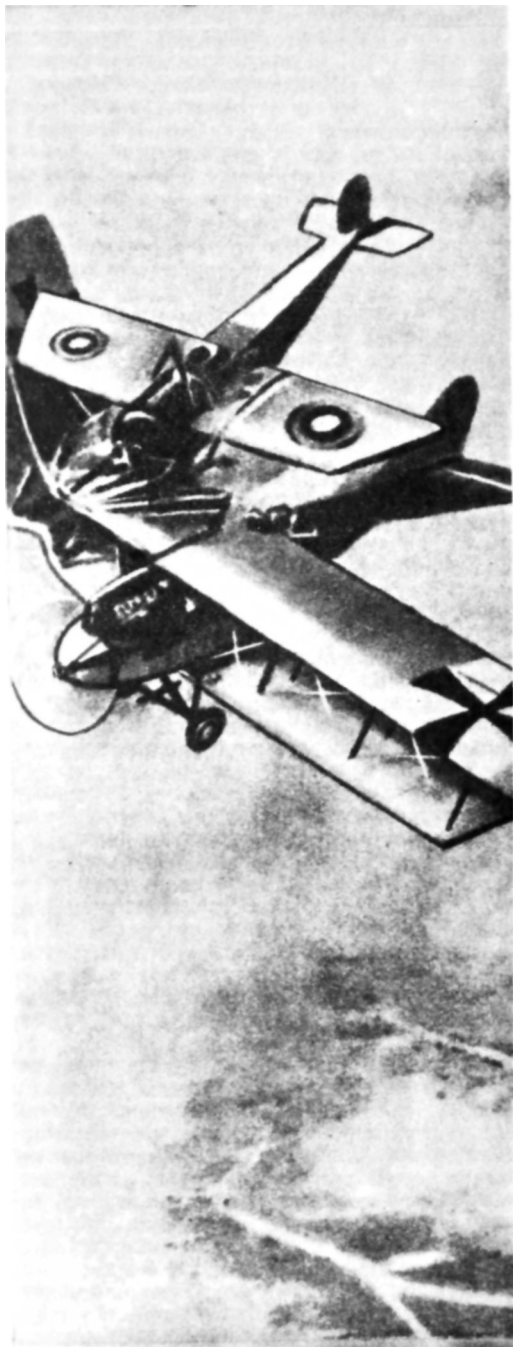
Стоявшая на площади толпа, тихо и напряженно следившая за воздушным боем, вдруг задвигалась и закричала. Из окна второго этажа замка выглянул командующий армией генерал Рузский и, увидев меня, спросил:

— Что случилось, поручик Соколов?

(Командующий всегда требовал личный доклад летчиков о результате разведки и всех нас знал.)

— Капитан Нестеров таранил австрийский аэроплан, сбил его, но и сам упал, — ответил я.

Командующий схватился за голову.



— Зачем он это сделал?! — воскликнул он.

Я вскочил в уже отъезжавший штабной автомобиль и помчался с несколькими офицерами к месту катастрофы.

Когда мы выехали из города, то увидели, что все поле было покрыто людьми, бежавшими к месту падения самолетов. Они упали километрах в пяти от Жолкиева, с левой стороны шоссе, ведущего в Раву-Русскую. Никаких строений поблизости не было, но повсюду виднелись палатки военных лагерей: километрах в двух, около леса, стояли казаки; в километре от «Морана», за дорогой, разместился большой обоз; а ближе к Жолкиеву, около села Воля Висоцкая, виднелись большие палатки походного госпиталя.

Около разбитых самолетов уже толпилось человек двадцать солдат и казаков.

«Моран» Нестерова лежал шагах в тридцати от дороги, на невспаханном поле. Шасси у него было разбито, крылья сложились, мотора не было, рули погнуты.

Перед самолетом шагах в двадцати лежал Нестеров. Его уже кто-то прибрал как покойника, сложив ему руки на груди. Его тело, руки и ноги были целы, даже одежда нигде не была порвана. Крови нигде не было видно. Только на правом виске виднелась вмятина с капелькой крови.

Мне сразу бросилось в глаза, что на голове у Петра Николаевича не было шлема, а на ногах ботинок: он лежал в шерстяных чулках.

Шагах в пятидесяти от «Морана» было небольшое болото, упирившееся в дорогу. Часть его была покрыта камышами, среди которых был виден «Альбатрос» с задраным кверху отломанным хвостом. На берегу болота в луже крови лежал разбившийся вдребезги австрийский солдат. Он, очевидно, выпал с падающего австрийского самолета.

Минут через пять после нас приехал автомобиль 11-го отряда с летчиками Кованько и Передковым, и с летчиком-наблюдателем генерального штаба Лазаревым. Они наблюдали бой с аэродрома. Вскоре подъехал автомобиль и нашего отряда с летчиками. Мы молча, со слезами на глазах смотрели на лежавшего перед нами

Таран Нестерова по рисунку летчика К. К. Арцеулова.

Нестерова. Он был нашим другом и учителем, которому мы подражали и которым мы гордились.

После нескольких минут молчания я спросил у Кованько, который после смерти Нестерова вступал в командование 11-м отрядом:

— Александр Александрович, почему Петр Николаевич без ботинок?

Кованько пришел в себя.

— Действительно... Странно... Улетал он в ботинках.

— А где его шлем? — спросил Передков.

— Непонятно... Я хорошо помню, что он, улетая, застегнул шлем, — сказал, вытирая слезы, Кованько. — Надо посмотреть документы.

Он начал осматривать карманы куртки. Нашел записную книжку, носовой платок, перочинный нож, но бумажника не было.

— Его обокрали! Обокрали сволочи мародеры! — кричал Александр Александрович. — Ведь Петр Николаевич приехал на аэродром прямо из казначейства, где он получил деньги для отряда... Кто первым подбежал к аэроплану? — обратился он к толпе солдат.

Из расспросов солдат выяснилось, что первые подбегали к «Морану» четыре обозных солдата, но они не прикасались к Нестерову, который лежал в том же положении, как и сейчас. Издалека они видели двух человек, которые были около погибшего летчика, а потому побежали по направлению к казачьему лагерю. Но когда обозники подбегали близко и увидели аккуратно уложенное тело с сложенными на груди руками, то они подумали, что те двое, которые были около летчика, прибрали его как покойника. Поэтому они и не смотрели, куда девались те люди. Это показание подтвердили другие солдаты, подбегавшие тотчас же после четырех обозников. Некоторые из них также заметили убежавших мародеров.

— Ну ладно. Потом разберемся, — решил Кованько. — Давайте осмотрим австрийца.

Разбившегося австрийца стали обыскивать и нашли у него легитимационную карточку.

— Унтер-офицер Франц Малина, — прочитал громко Кованько.

— Наш брат славянин, — тихонько отозвался стоящий рядом со мной солдат.

— В легитимации указано, что он механик, — сообщил нам прочитавший легитимацию Передков.

Пришел грузовик 11-го отряда. На нем приехали мотористы. Нелидов подошел к телу Нестерова и горько заплакал. Остальные мотористы, постояв около «Морана», пошли к болоту осматривать «Альбатрос» и нашли в грязи мотор «Гном»; во время тарана он оторвался от аэроплана Нестерова. Его уложили в грузовик. После на привезенный ковер туда же положили Нестерова.

Солдаты и казаки, которых набежало уже больше сотни, полезли в болото, чтобы вытащить «Альбатрос». Он так увяз в болоте, что его долго не могли сдвинуть с места. Наконец аэроплан сдвинулся, и в тот же момент кто-то из солдат закричал:

— Стойте, стойте! Тут человек лежит!

Из болота вытащили австрийца. У него также нашли легитимацию: «Лейтенант барон Розенталь, летчик». В карманах у него обнаружили бумажник с крупной суммой денег и фотографией, где были сняты он сам, молодой и красивый, жена-красавица и две очаровательные девочки-дочки. Семья производила чарующее впечатление. В кармане брюк нашли небольшой кожаный мешочек с золотыми монетами.

— Это на случай вынужденной посадки в нашем расположении, — заметил кто-то.

Вдруг один местный житель, стоявший в толпе солдат, закричал:

— Так это же наш барон Розенталь! Наш помещик! Его имение рядом с вашим аэродромом.

Действительно, впоследствии, к нашему глубокому изумлению, выяснилось необычайное совпадение. Оказалось, что 11-й авиаотряд стоял в имении Розенталя, Нестеров жил в его доме и спал на его постели. Розенталь был богатым помещиком, раньше служил в кавалерии, затем перешел в авиацию и стал известным летчиком. Летал он на собственном самолете, для которого у себя в имении построил ангар, где Нестеров поместил походную мастерскую отряда.

Толпа вокруг самолетов беспрерывно увеличивалась. Многие начали бродить по полю и искать обломки самолетов. Были найдены небольшой обломок от «Альбатроса» и стеклянный козырек «Морана», защищавший летчика от ветра. Было высказано предположение, что во время тарана Нестеров ударился виском об этот козырек, сорвал его, и это было причиной его смерти.

Какой-то военный врач нашел шлем приблизительно в километре от «Морана», по направлению к казачьему лагерю.

Шлем был мягкий, на обезьяньем меху. Очевидно, мародер сообразил, что такая редкая вещь легко может послужить вещественным доказательством мародерства, и выбросил шлем.

Тем временем к нам подъехала пароконная повозка 11-го авиаотряда. Механик Нелидов решил погрузить на нее свой разбитый аэроплан. Так как исковерканное шасси мешало положить «Моран» на повозку, то механики отряда и помогавшие им солдаты перевернули его вверх колесами и хотели так грузить его. Но Кованько решил ни «Моран», ни «Альбатрос» не брать, а приказал положить на повозку двух разбившихся австрийцев. «Моран» положили на землю вверх колесами, и мы поехали в Жолкиев.

Тело Нестерова решили спешно отправить в Киев, но не находился подходящий гроб. Так как Петра Николаевича в Киеве должны были переложить в другой гроб, то временно его с трудом уложили в узкий и короткий. Для этого пришлось слегка подвернуть ему голову. Это дало повод Бонч-Бруевичу в его книге «Вся власть Советам» написать, что у Нестерова «шейные позвонки ушли от страшного удара внутрь головы», чего в действительности не было.

Тело Нестерова было отправлено в Киев в сопровождении казначея 3-й авиационной роты поручика Микоса. По дороге, на одной из станций, их встретила жена Нестерова Надежда Рафаиловна. С ней в товарном вагоне был металлический гроб. Туда переложили Петра Николаевича, привезли в Киев и там похоронили в Киево-Печерской лавре, на Аскольдовой могиле.

Как же Нестеров таранил австрийский самолет?

Он промахнулся и не ударил по краю несущей плоскости, как он собирался это сделать. Удар пришелся в середину «Альбатроса», причем колеса попали под верхнюю плоскость, а винт и мотор ударили ее сверху. Удар был настолько сильным, что тонкостенный вал, на котором держался ротативный мотор «Гном», переломился. Мотор оторвался и упал отдельно.

Удар же шасси был сравнительно слабым, так как разница в скоростях самолетов была небольшая и «Моран» ударил «Альбатроса» в направлении движения. Он толкнул биплан австрийца, остановился и начал падать, а «Альбатрос» некоторое время продолжал лететь прямо.

«Моран» без мотора стал легким, как планер, и поэтому падал очень медленно.

Невольно возникает вопрос: почему же Нестеров, непревзойденный мастер полета, в этом бою нанес неверный удар?

На этот вопрос трудно ответить, он до сих пор не решен. Я думаю, что здесь сыграло роль крайнее переутомление.

Известие о таране Нестерова громким эхом отозвалось по всей нашей планете, но никто — в том числе и у нас — правильно не оценил геройский поступок Нестерова, давшего новое оружие воздушного боя отважным летчикам нашей авиации. И только через несколько месяцев, когда ротмистр Казаков 19/III 1915 года на аэроплане «Моран-Ж» (того же типа, что был и у Нестерова) повторил таран, стали осознавать ценность подвига нашего национального героя. Казаков ударил своим шасси по краю крыла вражеского самолета, и тот рухнул камнем в немецкие окопы, а герой-летчик благополучно спланировал в наше расположение.

Следует сразу же отметить, что авиационный таран является боевым приемом только летчиков нашей, отечественной авиации. Единичные случаи таранов в других странах — редчайшие исключения.

Вначале шли на таран, потому что на самолете не было никакого оружия, впоследствии, когда самолеты получили оружие, наши летчики все же шли на таран, когда кончались боеприпасы.

Первые советские тараны имели место в 1939 году, когда японцы напали на дружественную нам Монгольскую Народную Республику и мы пришли к ней на помощь. Тогда в боях на реке Халхин-Гол таран применили три советских летчика: Скобарихин, Машнин и Кустов.

Великая Отечественная война полностью показала значение нестеровского оружия.

Честь первого тарана в Отечественной войне, по опубликованным до сего дня данным, принадлежит младшему лейтенанту Леониду Бутелину, уничтожившему немецкий самолет в первый же предательский налет гитлеровской авиации — утром 22 июня 1941 года.

Затем тараны следуют один за другим. Достаточно указать на то, что только до 1 января 1942 года наши отважные летчики, защищая Ленинград, таранили 17 фашистских самолетов. И за тот же срок защитники Москвы таранили 23 немецких самолета. Причем Виктор Талалихин осуществил таран в ночном бою.

Появляются летчики, совершающие таран дважды. И наконец, наши летчики-герои начинают осуществлять два тарана за один бой.

Нестеровское оружие воздушного боя в определенной степени способствовало завоеванию воздуха нашими летчиками в Великой Отечественной войне.

Для царского правительства таран Нестерова прошел незаметно, но правительство Советского Союза оценило подвиг нашего национального героя и увековечило его имя, переименовав город Жолкиев, у которого произошел исторический воздушный бой, в город Нестеров.

Авторы многих статей и книг, дающих описание этого исторического боя, в большинстве случаев Нестерова не знали, писали о нем спустя 30 или 40 лет после боя, часто пользовались случайными, непроверенными свидетельствами и документами, которые не всегда точно устанавливали детали тарана. Кроме того, все эти авторы без исключения дополняли скудность документации фантазией.

Для установления точной картины исторического боя мы имеем следующие документы и свидетельства:

1) «Акт расследования по обстоятельствам геройской кончины начальника 11-го корпусного авиационного отряда штабс-капитана Нестерова», подписанный председателем комиссии, летчиком-наблюдателем 11-го авиаотряда генерального штаба капитаном Лазаревым и членами комиссии, военными летчиками 11-го авиаотряда поручиком Передковым и поручиком Кованько, вступившим после смерти Нестерова во временное командование отрядом. Акт составлен 26 августа 1914 года, немедленно после боя.

2) Письмо поручика Кованько к Надежде Рафаиловне Нестеровой. Письмо написано 27 августа 1914 года, на следующий день после боя.

3) Удостоверение, выданное старшим ординатором 363-го полевого передвижного госпиталя от 31 августа 1914 года, о травматических повреждениях, полученных штабс-капитаном Нестеровым во время боя. (Смерть от удара в голову — других повреждений не обнаружено. — В. С.)

4) Моя заметка о подвиге Нестерова, опубликованная в газете «Русские ведомости» № 211, от 14 сентября 1914 года.

Заметка была передана мной 8 сентября 1914 года сотруднику «Русских ведомостей» профессору Кременецкому и поме-

щена им в газете с его введением и заключением, но без подписи.

Указанные четыре свидетельства увидели свет непосредственно после тарана Нестерова, имеют бесспорную достоверность, дают одну и ту же картину боя и дополняют друг друга.

И все же даже эти свидетельства четырех летчиков, товарищей Нестерова, имеют существенный пробел: в них нигде не говорится об ограблении Нестерова. Произошло это потому, что начальник разведывательного отделения армии полковник Духонин (будущий верховный главнокомандующий) приказал нам молчать об этом происшествии, так как оно «позорит русскую армию», хотя совершенно непонятно, кому пришло бы в голову судить о целой армии по поведению двух негодаев.

Кроме того, параграф 9 акта утверждает, что «штабс-капитан Нестеров вылетел из аппарата и упал на землю отдельно от машины, метрах в 25 от нее». Но на следующий после боя день мне пришлось присутствовать при разговоре, который заставил меня усомниться в справедливости этого утверждения.

Летчик нашего отряда поручик Войткевич, прочитав копию акта, уже отосланного в штаб армии, сказал Кованько:

— Как же вы указываете, что Нестеров выпал из аэроплана? Ведь этого никто не видел. Свидетелей нет.

— Так ты же сам его видел выпавшим из машины.

— Извини, Александр Александрович, я его видел лежащим на земле недалеко от аппарата, причем он не только не разбился, но даже одежда на нем была целая, нигде не была порвана. Лицо и руки его были совершенно чистыми. Я что-то еще не видел выпавших из аппарата такими чистенькими. А как ты можешь доказать, что Нестеров выпал из аэроплана? Может, его оттуда вытащили уже на земле?

— Ты фантазируешь, этого не могло быть.

— Почему не могло быть?.. А ты представь. Идут два негодяя по дороге или сидят под деревьями у дороги и смотрят воздушный бой. И вдруг один аэроплан врезается в другой и начинает падать, а на этих двух мерзавцев неожиданно посыпались с неба: первый мотор «Гном», незамедлительно за ним австриец, а потом «Альбатрос» плюхнулся в болото, а затем, совсем рядом, упал «Моран», и в нем эти жулики видят летчика. Они бросаются

к нему. Летчик без памяти, он еще теплый. Умер летчик или живой, мародеры не знают. Они моментально вытаскивают летчика из аппарата и несут к дороге, чтобы остановить какую-нибудь повозку и отправить его в госпиталь. Но они видят, что летчик мертв. Тогда они кладут его на землю и складывают руки на груди. Один из мародеров запускает руку в внутренний карман кожаной куртки и вытаскивает бумажник, набитый деньгами. Затем они моментально снимают с ног ботинки, с головы шлем и спешно драпают, так как люди, бегущие к упавшим аэропланам, уже недалеко. Ну что? Скажешь, что не могло так быть?

— Но какие у тебя доказательства, что именно так и было?

— А какие у тебя доказательства, что это было не так?

Я слушаю Мишу Войткевича и убеждаюсь, что он прав: не надо было в акте так категорически утверждать, что Нестеров выпал из аэроплана в воздухе.

В штабе армии сразу же стало известно, что Петр Николаевич был найден без ботинок, но случай мародерства Духонин от всех скрыл. Он, очевидно, не доложил о нем даже своему прямому начальнику, генерал-квартирмейстеру армии Бонч-Бруевичу, и тот в своей книге «Вся власть Советам» так объясняет отсутствие ботинок: «Потом рассказывали, что штабс-капитан, услышав гул австрийского самолета, выскочил из своей палатки (которой не было: Нестеров жил в доме Розенталя. — В. С.) и как был, в одних чулках, забрался в самолет и полетел на врага, даже не привязав себя ремнями к сиденью» (никто из нас к сиденью не привязывался. — В. С.).

Неточных и просто неверных свидетельств о таране Нестерова очень много. Есть свидетельства, которые даны много позже гибели Петра Николаевича и, искаженные в памяти свидетельствующего принимают фантастическую окраску, вызывающую улыбку. Так, тов. Ванштейн,

служивший санитаром в полевом госпитале, который стоял у Воли Висоцкой, утверждает, что Нестеров, перед тем как таранить австрийца, сделал над ним «мертвую петлю».

В номере 3-м «Огонька» за 1961 год была помещена фотография, на которой группа офицеров и солдат стоит около двух погибших летчиков. В статье, находящейся под снимком и озаглавленной «Таран летчика Нестерова», сказано, что на нем изображены «два мертвых летчика: П. Н. Нестеров и сбитый им в воздушном бою австрийский ас». Я немедленно уведомил «Огонек», что на фотоснимке Нестерова нет. Вскоре было установлено, что на опубликованной фотографии сняты два погибших летчика 4-го корпусного авиационного отряда: военный летчик старший унтер-офицер Храмин и летчик-наблюдатель поручик Бекли. К сожалению, «Огонек» соответствующее разъяснение не опубликовал. Настоящим исправляю это упущение.

Наконец, в книге Федорова «Он первый» автор заявляет, что он летчик, товарищ Петра Николаевича (стр. 58), много беседовавший с ним о русской армии (стр. 61), служил вместе с ним на войне 1914—1918 годов и был свидетелем первого в мире воздушного боя-тарана (предисловие). Все это неправда.

В 3-й авиационной роте, где служили Нестеров и я, такого летчика ни в мирное время, ни на войне не было.

А вот картину самого боя автор изобразил почти правильно. Он нашел в «Русских ведомостях» мою заметку и использовал ее, не указав источник, причем большей частью не потрудился даже изменить текст. Но решил добавить немного и своего, чем испортил точность описания.

Таких неточных свидетельств имеется, повторяю, достаточное количество, и я смею надеяться, что опубликование настоящей статьи будет способствовать внесению достаточной ясности в историю тарана П. Н. Нестерова.





А. Шлихтер

## У колыбели молодой гвардии

Публикуемые ниже воспоминания принадлежат одному из первых русских марксистов, видному деятелю Коммунистической партии и Советского государства, соратнику В. И. Ленина, члену КПСС с 1891 года Александру Григорьевичу Шлихтеру.

Началом его революционного пути стало участие в организации политической забастовки в гимназии, за что он был арестован и исключен без права поступления в учебные заведения. За этим последовали новые аресты, тюрьмы и ссылки, в которых Александр Григорьевич провел в общей сложности 17 лет.

Накануне и во время революции 1905 года А. Г. Шлихтер уже признанный руководитель революционного движения в Киеве. После событий 1905 года он переходит на нелегальное положение и вскоре впервые встречается и работает с В. И. Лениным.

А. Г. Шлихтер активно участвует в подготовке Октябрьской революции в Москве, где в дни Октября является членом Военно-революционного комитета. Вызванный вслед за тем Лениным в Петроград, он назначается наркомом земледелия, затем наркомом продовольствия. С именем Шлихтера связан пер-

вый период борьбы Советского государства с голодом, когда вопрос о хлебе был решающим для судьбы революции.

Все дальнейшее время А. Г. Шлихтер был на руководящей государственной и партийной работе. В последние годы он был вице-президентом Академии наук УССР.

А. Г. Шлихтер опубликовал много экономических, историко-партийных и других трудов, а также мемуары. Настоящий очерк написан им по просьбе редакции журнала «Молодая гвардия» и опубликован в № 2, 4—5 за 1923 год. В 1931 году автор опубликовал очерк на украинском языке под названием «Во тьме реакції». При этом он внес некоторые исправления, что учтено при подготовке настоящей публикации.

Б. А. Шлихтер

Это было давно. Вся Россия, окутанная мраком глухой полночи, лежала ниц под сапогом самодержавия, победившего первые проблески революционной зари. Уже был введен новый университетский устав, превращающий былую вольность студенчества в казарменный уклад застенка. Был разработан в тайниках самодержавных канцелярий закон о земских начальниках, в лице которых правительство поистине «великого городского» всей Руси императора Александра III возвращало отменное 25 лет тому назад крепостное право помещика над мужиком. А кругом так мирно и спокойно плескалось море пошлой и затхлой обывательщины, поглощенной заботами о куске хлеба и планами накопления своих избытков, чтобы наизавтра подняться на возможно высшую ступень, поближе к столу привилегированной «белой» касты, «милостью божией отчески» управляющей «невежественным стадом» мужицких масс, этим удобрительным «навозом» для процветания «великой и мощной России».

В такой среде безмятежной обывательщины и повседневных забот о накоплении, среди мелких радостей и мелких же горестей на пути к повышению собственных материальных благ рос и я. Не знаю, не умею сказать, как и откуда пошли первые истоки пробуждения моей юношеской мысли, как и что именно заставило меня впервые заняться окружающей обстановкой, заставило задуматься и искать собственными поисками

ми веры в какую-то новую правду, которой не понимал и я, но, не понимая, — искал. Может быть, эти истоки отчасти начинаются от тех первых впечатлений о какой-то неведомой, но неизбежной грядущей «правде Христа», которые незаметно воспитывала во мне религиозная среда моей семьи. Не стану сейчас останавливаться на том процессе моей мысли, который в течение двух-трех лет привел меня от размышлений о неведомой правде к жгучей ненависти к той неправде, свидетелем которой я бывал каждый день, которая бросалась мне в глаза своими будничными, мелкими, но конкретно существующими фактами издевательства человека над человеком и в особенности «хозяина» над «работником».

Во всяком случае, в тот момент, о котором я сейчас хочу рассказать нашей советской молодежи, момент, с которым связан факт моего первого общественного выступления, с которого начался бесповоротный уклон моей работы в сторону подготовки себя к грядущей революционной борьбе, — в этот момент я знал уже, жил и волновался жгучей ненавистью к царским чиновникам, как насильникам над свободой и личностью человека.

Я был в этот момент учеником 8-го класса Прилукской гимназии Полтавской губернии. Казалось, ничто не могло всколыхнуть нашей тихой и безмятежно корпящей над своими тетрадками ученической среды. Ученики двух старших классов, 7-го и 8-го, среди которых было немало так называемых «великовозрастных», знали, правда, и другие интересы, кроме интересов удовлетворительно выученного на завтра урока. Но это были почти исключительно интересы смакования того близкого и «величайшего» для всякого гимназиста того времени «счастья», которое представлялось ему в получении аттестата зрелости, освобождавшего его от неприятностей и тяжестей ученической дисциплины и открывающего перед ним заветные и полные манящей таинственности двери «храма науки». Ни чтение газет, ни чтение литературы вообще учеников не занимало и не волновало... В это время в старших двух классах было всего лишь несколько человек, из них двое-трое моих ближайших товарищей, которые не только знали, что есть какая-то нелегальная литература, но и читали ее. Я не помню, что именно из нелегальной литературы в это время попадало в наши руки, но, несомненно, это были старые номера «Вестника «Народной воли» или гектографические перепечатки каких-нибудь прокламаций

народовольческого характера. Революционное движение нам представлялось в тех народнических формах, в которые оно вылилось в России на первых этапах его истории, в семидесятые и первую половину восьмидесятых годов. Мы не разбирались в то время в идеологии народничества. Для нас было в то время недоступно понимание ни экономических, ни политических основ народничества. Нас увлекала и захватывала больше всего лишь та конкретная форма, в которую народничество вылилось в жизни: это подвиг борьбы за освобождение России от царского ига, святость этого подвига и восторженный энтузиазм предстоящего служения темным, забитым массам спящего крестьянства. Именно крестьянства и деревни. Этим энтузиазмом определялись все наши планы о предстоящей нам профессиональной специализации в университете. Я лично в то время уже определенно остановился на решении поступить сначала на естественный факультет, а по окончании его перейти на медицинский, чтобы потом, в качестве земского врача, пойти с революционной пропагандой в самую гущу мужицких масс. Как чеховские «сестры», мы на заре уже приближавшейся в тот момент эпохи так называемого «легального марксизма» жили одной мечтой:

«Туда, туда, в деревню...»

О марксизме в это время мы не имели ни малейшего понятия, но уже тогда нам было известно имя Карла Маркса. К сожалению, в моей памяти не встает ни одного более или менее определенного воспоминания о том, каким образом и какими путями в нашу глухую, заброшенную и оторванную от центра провинцию проникло имя нашего великого учителя. Мне помнится лишь, что это имя связывалось в нашем представлении с характеристикой Маркса, как «необычайно ученого» человека, автора большого и «весьма интересного» труда «Капитала». Мне кажется, что я не ошибаюсь и еще в одном воспоминании, небезынтересном для освещения зачатков марксистской мысли в эпоху еще господствовавшего тогда в учащейся среде влияния народовольчества. В связи с этим именем в обиходе наших революционных дискуссий появился термин «капитализм» — как противоположение «общине» и «пролетариату» — как противоположение «крестьянству». Нам представлялось, что с капитализмом Маркса связывается какая-то отсрочка в необходи-

мости революционных подвигов и революционной борьбы, как она понималась в результате нашего знакомства с народовольческой литературой. Для нас — энтузиастов революционного подвига — в этой отсрочке была причина того отрицательного отношения к каким-то «новым», революционным задачам, которых мы не знали, но слухи о которых к нам уже доходили, но против которых тем не менее поднималось наше революционное чувство. В этом отрицательном отношении, однако, была для нас и положительная сторона: с этого момента зарождается стремление поскорее ознакомиться с этим таинственным «Капиталом». Это стремление лично для меня сделалось осуществимым лишь спустя несколько лет после этого, уже в университете.

Я упоминал уже о наших дискуссиях, но это были дискуссии одиночек, не спаянных никакой кружковой организацией, не представлявших собой какой-нибудь группы с теми или иными определенными, конкретными задачами. Это не был кружок самообразования, тем паче кружок для каких бы то ни было революционных действий, в виде, например, сбора денег для политических заключенных или на приобретение нелегальной литературы.

И вот в эту пору наших дискуссий случился факт, до дна всколыхнувший тихое болото нашей ученической жизни. В далекой Москве, в «чуждом», манящем нас прелестью научных откровений старом Московском университете, раздалась звонкая пощечина студента Брызгалова университетскому жандарму, чиновнику нового университетского устава инспектору Сиявскому.

Словно освежающая гроза долетела до нас эта звонкая пощечина. У нас, нескольких юношей, вместе с этой пощечиной затеплилась какая-то еще вчера казавшаяся такой недостижимой надежда и уверенность в том, что мы не одни, что там, где-то далеко, есть наши неведомые нам единомышленники, которые с открытой решимостью вступают в борьбу с царящей кругом реакцией. Сколько незабываемых моментов наивной, но такой чистой и почему-то горделивой радости пережито нами, 18—19-летними юношами, в первые дни после получения известия из Москвы!

Но когда до нас вслед за тем дошли вести, что открытый протест одного студента поддержан был немедленно общестуденческой забастовкой Московского университета, а затем студенческая забастовка стала перекапываться стихийной волной от одного университета к другому, наши ра-

дости сменились впервые поставленным перед нами самой жизнью вопросом о нашем личном гражданском долге. В эти дни мы, еще вчера юноши, пожалуй, даже детимечтатели, впервые прикоснулись к революционной купели и превратились в граждан.

«Что делать? Как помочь нашим старшим товарищам-студентам? Чем откликнуться на их бурный протест против того режима, который превратил университеты в полицейские застенки, а из студентов имел целью воспитать бесловесных прислужников самодержавного режима?» — вот те мысли, которые привели нас к необходимости перейти от бесформенных мечтаний о будущей работе к вопросу о необходимости прикоснуться к этой работе сейчас же.

Организация политической забастовки протеста среди старших классов средних учебных заведений в Прилуках и ближайших других городах (Лубны, Хорол, Кременчуг, Полтава, Глухов, Чернигов и Нежин) — такова была конкретная ближайшая задача, естественно возникавшая перед нами в те дни.

Для исполнения этой задачи мы, разрозненные до того момента одиночки, решили образовать кружок для содействия политическому протесту студентов и привлекли для этой цели еще несколько товарищей. Вскоре была выработана и программа наших подготовительных действий. Мы решили ограничиться в выборе средних учебных заведений лишь теми городами, из которых были ученики, вошедшие в наш кружок Прилуцкой гимназии. В забастовку мы решили вовлекать лишь учеников и учениц двух старших классов. Агитационные поручения мы давали лишь тем товарищам, которые спустя несколько недель от момента, о котором идет речь, собирались и должны были поехать к своим родным на рождественские каникулы. Из намеченных нами агитационных пунктов, насколько помню, в нашем распоряжении не было агитаторов-попутчиков только для двух-трех городов: это были, кажется, Глухов, Кременчуг и Хорол. В эти города мы постановили послать специальных гонцов на наши собственные средства.

Теперь странно вспоминать о тех необыч-

<sup>1</sup> Возможно, что я перепутываю фамилии, то есть что фамилия инспектора была в действительности Брызгалов, а студента — Сиявский. (Прим. автора.)

Действительно, фамилия студента была Сиявский, а инженера — Брызгалов. Случай произошел 22 ноября 1887 года. (История Московского университета, т. I, стр. 356.)

ных трудностях, с какими для нас была тогда связана материальная сторона дела. Для посылки этих специальных гонцов нужны были средства, которые в сравнении с нынешними бюджетами нашей молодой гвардии представляются до смехотворности микроскопическими, но для нас изыскание этих средств было нелегкой задачей. Почти все мы в то время учились на свои средства, то есть жили заработком от частных уроков. Заработки эти были не велики, урезывать что-нибудь от этих заработков для «общественной работы» было не легко, но это нас не останавливало, и мы решили до рождения сколотить во что бы то ни стало сумму, нужную для посылки трех агитаторов.

Весело зажил наш кружок в ожидании захватившего нас целиком «большого», «революционного» дела. Но оживление нашего настроения не мирилось с ограничением наших работ только этой конкретной задачей предстоящей политической забастовки. Наш кружок немедленно начал усиленно присматриваться к ученикам двух старших классов, уже с определенной целью незаметного привлечения их к вспыхнувшему студенческому движению. Товарищей, которые, на наш взгляд, были способны заинтересоваться вопросами, выходящими за круг обыденной гимназической жизни, мы приглашали на конспиративные дискуссионные собрания, где, по скудным данным нашей легальной периодической прессы, мы знакомили их с революционной сущностью студенческих требований, освещая попутно эти требования теми скудными же фактами из истории революционного движения, которыми мы сами располагали.

Наибольшим влиянием на этих наших конспиративных собраниях пользовался поступивший к нам из Нежинской гимназии в 8-й класс ученик Локоть. Тот самый Локоть, который потом в качестве профессора Локтя был членом Государственной думы первого созыва, числился официально в группе трудящихся, но официально же на одном из своих выступлений в думе заявил себя сторонником марксизма, тот профессор Локоть, который спустя несколько лет после этого сделался сотрудником «Нового времени», сотрудничает в этом органе и теперь (в Сербии), будучи в контрреволюционной эмиграции, и представляет собою тип гнуснейшего и бесстыднейшего ренегата, какого когда-либо знала наша страна. Хочется вспомнить, но уже добрым словом, еще одного участника нашего кружка — ныне покойного тов. Яновского. В университе-

те он сделался социал-демократом, занявшим после раскола в 1903 году позицию меньшевиков, никогда потом не прозревшим контрреволюционной сущности этой партии, но оставшимся незаметным, но искренне революционным человеком до смерти.

На наших дискуссионных собраниях члены нашего кружка выступали или с коротенькими докладами по поводу каких-нибудь статей из газет и журналов, или с собственными рефератами, имевшими целью связать наши гимназические нужды с общественными интересами текущей жизни. Два реферата были написаны Локтем, и один, первый в моей жизни, был написан мною.

Но вот пришли и прошли рождественские вакации. Возвратившиеся к нам наши разведчики-агитаторы принесли печальную весть: лишь в двух гимназиях, если не ошибаюсь — Лубенской и Черниговской, можно было иметь некоторые, хотя и очень неуверенные, шансы на поддержку забастовки Прилукской гимназии. При таких условиях мы, хотя и будучи уверены в возможности осуществить забастовку в нашей гимназии, но не усматривая никакого политического значения в забастовке лишь одной гимназии, отказались от мысли о поддержке студенческого забастовочного движения.

Но неоправдавшиеся надежды на возможность нашего первого выступления не расхоладили нас, а лишь побудили искать выхода нашему накопившемуся к тому времени революционному порыву на чем-либо другом. Найти это что-либо другое нам было нетрудно. За год до описываемого мною момента Прилукская гимназия еще пользовалась упраздненными уже к тому времени в других гимназиях льготами прежнего гимназического режима: гимназисты могли получать в гимназии письма без вскрытия их гимназической администрацией, выписывать на свое имя периодические журналы и газеты и пользовались правом выхода на улицу до десяти часов вечера. Эти льготы были отняты у учеников после увольнения из гимназии чрезвычайно интересного и весьма редкого по тем временам директора Ф. Я. Вороного. Вороной был одной из последних жертв оголтелой и жесточайшей реакции министерства народного просвещения, «расчистившего» к концу восьмидесятих годов Киевский учебный округ от гимназических администраторов, не стяжавших себе до этого времени репутации «держиморд» и «мракобесов».

Назначенный к нам незадолго до того инспектором некто Ружицкий, жалкий, глу-

пый и бездарный педагог, но усердный администратор, быстро начал подтягивать учеников. В течение нескольких месяцев после увольнения Вороного все наши льготы исчезли: письма распечатывались, выписка газет и журналов была запрещена, выходить из квартиры можно было лишь до захода солнца, с точным занесением каждый раз в квартирный журнал цели и времени выхода, и, наконец, в довершение всего, на квартиру начали вламываться по ночам гимназические надзиратели и учителя для проверки, все ли находятся на месте, и для производства внезапных обысков в вещах гимназистов в погоне за нахождением какой-либо книжки, взятой не из гимназической библиотеки.

Вот в эту сторону и направилась наша назревшая потребность в протесте. По инициативе членов кружка — гимназистов 8-го класса и по уговору их с некоторыми другими, лучшими из восьмиклассников, было задумано задержать в один прекрасный день Ружицкого после его урока в 8-м классе и предъявить ему ультимативные требования вернуть нам все прежние льготы.

Задумано — сделано. Как только пробило звонком по окончании урока и Ружицкий собрался уходить, два ученика стали у дверей, и наша группа обратилась к классу с указанием на необходимость положить конец тем безобразиям, которые были введены режимом Ружицкого. Весь класс нас шумно поддержал. Ружицкий смертельно перепугался, пробовал звать к нашему благоразумию, напоминал, что мы через несколько месяцев будем студентами и что мы таким своим поведением губим свою будущность, но в конце концов дрожащей рукой подписал приготовленное нами заранее обязательство об отмене введенных им ограничений наших прав и о восстановлении всех прежних льгот.

Но недолго длилось наше торжество. Месяца два спустя после эпизода с Ружицким в нашу гимназию был назначен на место директора инспектор Лубенской гимназии Васильев. Этот Васильев за четыре года перед этим был прислан из округа в Лубны для того, чтобы подтянуть и «вывести крамолу» из Лубенской гимназии. Гимназия эта за истекшие перед этим десять-пятнадцать лет дала несколько революционеров, фигурировавших потом на народольческих процессах. По делу 1 марта 1881 года было арестовано в Лубенской гимназии несколько че-

ловек, и этот арест, между прочим, врезался в моей памяти первым, чрезвычайно поразившим мое воображение событием. В 1887 году по делу о покушении на Александра III был арестован также один питомец Лубенской гимназии — Канчер, приобретший потом бесславную известность предателя. Вот подтянуть расшатанные устои самодержавного режима среди учеников Лубенской гимназии и был послан Васильев. И подтянул так, что за четыре года его работы гимназия, имевшая 500 учеников в среднем, едва насчитывала около 200 воспитанников. Приехавши в Прилуки, Васильев не только отменил все уступки Ружицкого, но с необычайной свирепостью начал вводить свой режим, испробованный в Лубенской гимназии.

Старшие классы гимназии насторожились и замерли в ожидании неизбежных столкновений с палачом, как мы его называли, Васильевым. Столкновение не заставило себя долго ждать. Однажды ученик 6-го класса, живший на общей квартире вблизи гимназии, вышел из квартиры без пальто и без шапки на улицу для того, чтобы купить себе в рядном находившейся лавочке ужин. Было еще светло, но солнце уже зашло, и выходить из квартиры гимназистам уже воспрещалось. Точно нарочно ученик этот попался на глаза вышедшему из гимназии Васильеву, который, не входя ни в какие рассуждения, послал гимназиста прямо из лавочки в гимназию в карцер на всю ночь. Часа через два после этого два старших класса гимназии были оповещены обо всем происшедшем. Не знаю, кто был инициатором созыва нас в гимназию, но, прибывав поздно вечером на гимназический двор к квартире директора, я застал уже толпу учеников, кто с палкой, а кто и с бревном, с криком, свистом и гиком стучащих в двери квартиры, требуя немедленного выхода Васильева во двор. Бледный, но решительный и сдержанный вышел Васильев к нам и спокойным голосом убеждал нас разойтись по домам. На наши требования немедленно освободить арестованного он ответил категорическим отказом. Тогда мы ворвались в гимназию, выломали двери карцера и освободили товарища сами. Только радостью нашей победы, отвлекшей наше внимание от ненавистного Васильева, я объясняю то, что Васильев остался в живых. Злоба сгрудившихся в кучу гимназистов была так велика, что стоило кому-нибудь первому ударить Васильева палкой, и все мы, как это всегда

в таких случаях бывает с толпой, занялись бы его избиванием, не думая и не раскусывая о последствиях.

Через несколько дней мне и еще нескольким товарищам было запрещено являться в гимназию впредь до решения нашей учasti педагогическим советом. Это снова подлило масла в огонь. На нескольких конспиративных собраниях было решено избить Васильева в гимназии вечером, после окончания всенощной (при гимназии была домовая церковь). Васильев имел обыкновение следить в коридоре за тем, как одеваются ученики, вообще выполняют ли они все правила «благопристойности» при выходе из гимназии. Вот этим моментом мы и решили воспользоваться. Были назначены три товарища, из которых один должен был потушить лампу в коридоре, а другой накинуть пальто на Васильева, третий нанести ему первый удар, а затем рекомендовалось его бить каждому, кто захочет, как и чем попало. Снова Васильеву грозила смертельная опасность, снова каждый из нас мог превратиться в убийцу, хотя у нас и не было намерения его убивать, и снова Васильева спасли его спокойствие и решительность. Он заметил момент, когда хотели потушить лампу, и сейчас же позвал к себе сторожей, не говоря им ни слова, зачем и почему. Момент был упущен, и мы, растерянные и обескураженные, должны были проходить мимо Васильева, оглядывавшего каждого из нас в упор своими холодными и злыми глазами.

В ту же ночь был создан педагогический совет, на котором было вынесено постановление об исключении из гимназии четырех учеников 8-го класса и двух 7-го. В числе исключенных был и я, причем исключен я был по так называемому «волчьему паспорту», то есть с лишением права поступить в какое-либо учебное заведение.

Это был тяжелый удар. Мы, восьмиклассники, в этот момент уже были отпущены для подготовки к окончательному экзамену на аттестат зрелости. Я лично имел удовлетворительные годовые отметки по всем предметам, и получение аттестата зрелости для меня было обеспечено. Но этот удар не сломил нашей воли. Мы решили не считаться с запрещением нам входа в гимназию и в первое же воскресенье явились к обедне и стали в рядах своего класса на обычных местах. Нашептывание нам на ухо перепуганными учителями распоряжения директора немедленно

выйти из церкви не помогло. Тогда был удален из церкви весь 8-й класс. Вместе с другими вышли и мы и, проходя по коридорам, запели какую-то революционную песню, мне кажется, «Вы жертвою пали». Это была необычайная, неожиданная дерзость, и сбжавшиеся учителя и сторожа, в ужасе и оцепенении, молча проводили нас до дверей. В тот же вечер на нашей первой массовке в поле, за городом, было решено прекратить занятия в четырех старших классах и подать директору прошения об увольнении из гимназии.

Я живо помню эту необычайную для того времени картину яркого протеста бесильных, но горящих энтузиазмом детей против растерявшейся камарильи самодержавного режима. Сначала было Васильев каждого из нас уговаривал опомниться, а потом молча стоял и безропотно принимал от каждого из учеников написанное по всем правилам прошение об увольнении. Так, спустя несколько месяцев, была осуществлена оставшаяся неизвестной в истории революционного движения наша идея поддержать своим активным участием первый после длительного затишья взрыв общестуденческого движения.

На следующий день гимназия охранялась караулом местной конвойной команды. Занятия были прекращены. А еще через несколько дней наш волнующийся от этого небывалого происшествия глухой городок облетела молва, что для расследования дела приехал из Киевского учебного округа окружной инспектор Ростовцев. Спустя немного я и еще несколько товарищей были вызваны Ростовцевым в гимназию для дачи показаний о всем происшедшем. С любопытством, волнением и без тайных надежд на то, что может восторжествовать наша правда, подходили мы к заветной двери директорского кабинета.

Вот и моя очередь. Открываю дверь и — передо мной сухой, маленький, тщедушный старичок вливается в меня пытливым взглядом своих маленьких, глубоко сидящих глаз. Мне кажется, что в этих глазах нет ни злобы, ни раздражения, что они на меня глядят с какой-то грустью. Мне кажется, что мне надо сказать ему все-все... я говорю ему не только о тех порядках, какие у нас были раньше и какие есть теперь, но и о том, что мы, ученики, — люди, что Васильев оскорбляет наше человеческое достоинство, что мы не можем ограничиваться только учением уроков и хотим знать,

что делается на белом свете, а потому мы не можем обходиться без журналов и газет. Долго я говорил Ростовцеву, и вдруг мой маленький, жалкий, тщедушный старикашка, молча все время слушавший меня, делает кошачий прыжок по направлению ко мне и, подняв палец к моему носу, злобно выкрикивает:

«Да знаете ли вы, что это называется государственным преступлением? Ступайте!».

Так закончилась моя первая и последняя иллюзия о возможности найти путь к здравому смыслу у царского чиновника. Ростовцев уехал, а наш взбудораженный муравейник еще в течение нескольких дней продолжал жить своим забастовочным настроением, и «дети»-ученики не поддавались увещаниям гимназического начальства и не брали обратно своих прошений об увольнении.

Тогда для усмирения взбунтовавшихся «государственных преступников» была применена последняя мера: одним прекрасным утром из Киева от генерал-губернатора пришел по телеграфу приказ об административной высылке всех исключенных по постановлению педагогического совета учеников на родину в распоряжение родителей. Приказ был выполнен с обычной в таких случаях суровостью: за каждым из нас приходил городской и немедленно отводил

с вещами в полицию для того, чтобы от туда через два-три часа быть посаженным на казенную тройку и отправленным по месту назначения.

Много было передумано и пережито в эти несколько дней. Это первое испытание было необычайно тяжело. Впереди оторванность от товарищей, одиночество и потеря тех перспектив, которые были связаны с университетом. И счастливы были те из нас, кто вышел из этих испытаний с еще большей ненавистью к царизму и посвятил свою жизнь революционной борьбе за освобождение труда от векового угнетения и рабства.

Но стократ счастливее те, кто дожил до дней великих побед пролетарской революции, когда в ее недрах уже заняла свое место наша смена, организованная армия нашей славной молодой гвардии — строителей нового мира.

И хочется пожелать нашей молодежи, нашей молодой гвардии, чтобы ее любовь к этому новому, грядущему миру была полна такого же вдохновенного энтузиазма, каким была полна наша ненависть к царизму и к старому миру «голодных и рабов». И тогда мы, уходящие со сцены старики, сможем радостно и удовлетворенно сказать себе:

«Эй, старики, дорогу молодой гвардии: на ее плечах коммунизм идет!»

В. А. Дьяков

## Глазами царского агента

Донесения А. Балашевича-Потоцкого  
о русских и польских революционерах,  
связанных с К. Марксом



Лондон, 1860-е годы.

«Карл Маркс среднего роста, лет 60-ти, с седою бородою и темными усами» — так начинается описание внешности основоположника марксизма в одном из секретных дел, заведенных в 1872 году царскими жандармско-полицейскими органами. Хорошо известно, что эти органы очень интересовались последователями Маркса в России, в частности В. И. Лениным и его соратниками. Но почему они занялись самим Марксом задолго до того, как его последователи стали в стране серьезной политической силой, зачем им понадобились его «приметы», кем они были составлены, что предшествовало и что сопутствовало их составлению?

Заграничная агентура царской политической полиции во времена Маркса только еще формировалась и была значительно слабее той, с которой пришлось иметь дело ровесникам Ленина. Однако еще в 40-х годах под видом «корреспондента Министерства народного просвещения» в Париже обосновался посланный А. Х. Бенкендорфом царский агент Я. Н. Толстой. Объектами его наблюдения наряду с русскими и польскими эмигрантами являлись также деятели международного освободительного движения, в том числе немцы<sup>1</sup>. В 1856 году выяснилось, что статьи Маркса и Энгельса, посылавшиеся в «Нью-Йорк Дейли Трибюн», проходили иногда через руки некоего Гуровского — поляка, состоявшего на службе у царизма. Сообщая об этом Энгельсу, Маркс писал: «Итак, мы удостоены той чести, что наши статьи подвергаются — или вернее подвергались — наблюдению и цензуре непосредственно со стороны русского посольства»<sup>2</sup>. В после-

дующие годы сеть заграничной агентуры быстро росла. К 1867 году только наместник в Царстве Польском Ф. Ф. Берг имел 25 секретных агентов, находившихся в Берлине, Дрездене, Париже, Женеве и т. д.

Автором единственного в своем роде полицейского описания внешности Маркса, которое было упомянуто выше, является один из опытных заграничных агентов учреждения, официально называвшегося «III отделением собственной его императорского величества канцелярии». Этот орган политической полиции переживал период расцвета при Николае I, но сохранил значительную часть своих охранительных функций и в «либеральное» царствование его преемника Александра II. Военное ведомство, в котором будущий агент начинал свою карьеру, по запросу III отделения от декабря 1861 года сообщило о нем следующее: Александр-Юлиус Фабианов сын Балашевич родился в 1831 году, из дворян Виленской губернии, католик, вступил на военную службу в 1850 году унтер-офицером, но в 1852 году вышел в отставку по болезни, а затем в 1854 году был снова определен в Отдельный гренадерский корпус, где в ноябре 1855 года получил чин прапорщика Ростовского гренадерского полка; в марте 1858 года снова, и на этот раз окончательно, вышел в отставку, будучи произведен при этом в чин подпоручика. Формально отставка мотивировалась «домашними обстоятельствами»; однако настоящая причина заключалась в том, что непосредственное начальство признало Балашевича «мало усердным по фронту», «вследствие чего по приказанию г. корпус-



ного командира офицеру этому предложено было оставить службу»<sup>4</sup>.

После этого Балашевич, обосновавшись в Москве, попытался жить литературным трудом, писал что-то для периодических изданий, а в 1860 году издал даже книжку стихов на польском языке. Одновременно он увлекался коллекционированием археологических редкостей, старых монет и антикварных вещей, причём не только стал специалистом в этой области, но и научился извлекать из своего хобби денежные выгоды. Россия переживала тогда период первого демократического подъёма, и немало сверстников Балашевича, происходивших, как и он, из неумирующей шляхты западных губерний, вливалось в ряды участников революционного движения. Он же избрал совершенно иной путь, предложив свои услуги жандармским органам, ведущим борьбу с русскими и польскими революционерами.

Уменье прикинуться свободомыслящим и войти в доверие к оппозиционно настроенным лицам, большая изворотливость в отношениях с людьми, знание иностранных языков и даже обличье помещанного на древностях чудака — все пошло на пользу новоиспеченному агенту. Получив документы на имя графа Альберта Потоцкого, Балашевич был отправлен за границу. О поставленных перед ним задачах и методах «конспирации» можно судить по донесению Я. Н. Толстого, который в сентябре 1861 года писал в III отделение: «...Полезнее г-ну Балашевичу сослаться с польскими выходцами под предлогом исторических занятий, — предмет ему совершенно знакомый, — и под видом ученого археолога осведомляться о всем происходящем в возмутительных комитетах и между главнейшими коноводами эмиграции»<sup>5</sup>.

Приехав в Париж, а затем поселившись в Лондоне, А. Балашевич-Потоцкий в начале 60-х годов шпионил главным образом за А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, за польской революционной эмиграцией, внимательно изучал их контакты друг с другом, их связи с Д. Мадзини, Д. Гарибальди и с другими видными общественными деятелями Западной Европы<sup>6</sup>. Маскировка под активного участника польского освободительного движения, получаемые из III отделения денежные суммы и содействие французской полиции позволили царскому агенту перехватывать часть конспиративной переписки и добывать некоторых, правда, незначительных, успехов в своих интригах, направленных на раскол польской эмигра-

ции и создание препятствий на пути ее сближения с русскими революционерами. После переезда А. И. Герцена на континент встал вопрос о перемещении агента вслед за его «подопечным». Однако Балашевич, который имел в Лондоне антикварный магазин, не только прикрывавший его шпионскую деятельность, но и дававший доход, попросил начальство, чтобы оно не принуждало его покидать Англию; в мае 1866 года просьба была удовлетворена, но ежемесячно выплачивавшаяся ему сумма была снижена с 40 до 20 фунтов стерлингов (д. 562, л. 76). Соответственно круг наблюдений Балашевича заметно сузился, доставляемые им в Петербург сведения стали менее ценными. Но с 1870 года положение постепенно изменилось. Этому способствовали два обстоятельства: во-первых, заметная активизация общественного движения в Российской империи; во-вторых, все возрастающее влияние возглавляемого Марксом I Интернационала как в странах Западной Европы, так и в России.

Даже беглое знакомство с произведениями и перепиской основоположников марксизма за этот год показывает, что их интерес к освободительному движению в России быстро растет. Из справочника о датах жизни и деятельности Маркса явствует, что он на протяжении 1870 года читал А. И. Герцена и В. В. Берви (Н. Флеровского), ознакомился со многими номерами «Колокола» и просматривал только что вышедший в свет русский перевод «Коммунистического манифеста», получил приглашение участвовать во вновь создаваемом русском научном и критико-библиографическом журнале «Знание», встречался с Г. А. Лопатиным и Е. Л. Дмитриевой (Томановой)<sup>7</sup>. В переписке Маркса с Энгельсом за 1870 год много раз упоминается С. Г. Нечаев<sup>8</sup>.

Царский агент также очень интересовался всем тем, что было связано с делом Нечаева. К январю — февралю 1870 года относятся несколько донесений Балашевича, так или иначе связанных с этим делом. В одном из них он писал: «Эмиграция сильно вдохновилась слухами из России»; в другом сообщал об уверенности эмигрантов, «что нигилисты и адепты «Молодой России» весьма сильны и что революция рано или поздно неизбежна» (д. 566, л. 8). Отмечая усилившиеся стремления к сближению русских и польских революционеров, Балашевич заявлял: «Задачею нашою — не допускать слияния польской эмиграции с русскими демагогами. Герцен,

в бытность свою в Лондоне и Женеве, всегда старался соединить эти две партии, и если бы обстоятельства способствовали ему, тогда смуты могли бы возникнуть в центре России» (д. 566, л. 12). В мае Балашевич донес: «Из всех источников, сколько нам удалось узнать, Нечаев находится в Лондоне. Здешние демократы потеряли его след, Булевский и Зенкович, наверное, знают [место] его пребывания, вернее в Женеве узнать можно» (д. 566, л. 24). Декабром датировано донесение, сообщающее несколько иные данные: «По всем справкам, принятым через польских эмигрантов, Нечаев не находится в Лондоне, но его ожидают» (д. 566, лл. 93—94). В донесениях 1871 года Нечаев также упоминается неоднократно, причем однажды Балашевич сообщил даже, что видел его в ресторане, и описал его внешность (д. 567, лл. 1, 26, 41 и др.).

Слежка за русскими и польскими эмигрантами естественно и неизбежно привела Балашевича к Генеральному совету I Интернационала и лично к Марксу. С мая 1870 года и до отъезда царского агента из Лондона в 1875 году важнейшими объектами его шпионских усилий становится I Интернационал и деятельность связанных с ним участников революционного движения. Не имея ни возможности, ни намерения исчерпать сведения, которые содержатся в донесениях Балашевича, приведем несколько примеров, подтверждающих определенную ценность и новизну того, что в них сообщается<sup>9</sup>.

Начнем с одной персоналии, весьма любопытной, но почти неизвестной у нас даже самым осведомленным специалистам. В переписке Маркса за 1871 год дважды упоминается наш соотечественник Давыдов, который занимался устройством на работу польского эмигранта Ю. Розвадовского — активного деятеля польской секции I Интернационала, и внес 4 фунта стерлингов в фонд помощи парижским коммунарам<sup>10</sup>. В донесениях Балашевича за 1870—1873 годы эта фамилия повторяется многократно. Собранные царским агентом сведения не дают точного представления о том, входил ли Давыдов в какую-либо из народнических организаций, но они позволяют видеть, что речь идет о русском революционере, который поддерживал тесные контакты с многими деятелями I Интернационала, с польскими и русскими эмигрантами, а также и с революционным подпольем на территории Российской империи.

Одно из первых сообщений Балашевича

о Давыдове, датированное 16 ноября 1870 года, гласит: «Русский, о котором я имел честь уведомить, находится в постоянных сношениях с Воловичем, Шмидтом и др.<sup>11</sup> Его называют Давыдовым, офицер р[усского] флота, родственник Шебальского в Малороссии [...]. Отчаянный республиканец и говорит часто о какой-то партии в России, готовящей революцию. По многим данным он, как видно, член этого общества и говорит о неизбежном перевороте в России» (д. 566, л. 50). Последующие донесения содержат сведения о служебном и имущественном положении Давыдова, его политических убеждениях, революционных связях и общественной деятельности.

Судя по донесениям Балашевича, Анатолий Давыдов находился в Лондоне по служебным делам, являясь представителем то ли Одесского общества пароходства (д. 567, л. 231), то ли Русского общества пароходства и торговли (д. 568, л. 5). Жил он вместе с братом, о котором царский агент сообщал: «лет 50-ти», «отъявленный социалист и противник монархии» (д. 569, лл. 57, 59). Свое служебное положение Давыдов использовал для маскировки революционной деятельности. «Дом его в Лондоне, — доносил Балашевич, — был постоянным вертепом коммунистов и интернационалов, а находясь в управлении Одесского пароходства, он имел возможность сноситься с единомышленниками и сообщать все новости противникам» (д. 569, л. 66). Занимаемое Давыдовым служебное положение являлось в то же время причиной не раз распространявшихся в эмигрантской среде слухов о том, что он — осведомитель русского посольства. Балашевич в связи с этим делал даже специальные запросы в Петербург, но слухи не подтвердились (д. 567, лл. 204, 224—225; д. 568, л. 5; д. 569, л. 38).

Политические воззрения Давыдова выглядят в донесениях Балашевича весьма радикальными и вполне соответствующими народнической доктрине первой половины 70-х годов. «Сегодня вечером, — доносит царский агент 28 июля 1871 года, — имел свидание с Давыдовым, мы обедали вместе и до 12 часов провели на моей квартире». И далее сообщает, что его собеседник высказался за изменение общественного устройства России, причем заявил: «Это не будет кровавый мятеж, но нравственный переворот и низвержение правительства». Для подготовки переворота Давыдов считал необходимой широкую пропаганду, прежде всего вдали от Петербурга, среди

крестьян, среди угнетенных национальностей — поляков, татар, евреев и т. д. (д. 567, лл. 173—174).

Вот несколько штрихов, характеризующих взгляды Давыдова, из последующих донесений Балашевича: встречается с русскими и поляками, предсказывает гибель немецкой и русской монархии (д. 567, л. 5); «Давыдов здесь, но в глубоком унынии по поводу гибели Французской республики» (февраль 1871 г., д. 567, л. 15); Давыдов связан с традициями «Колокола», от Бакунина отказался, «имея в виду лучшие силы в России» (там же, л. 29). В июле 1873 года, после разговора с Лавровым и Давыдовым, Балашевич писал: «Они говорят, что социалистическая революция будет иметь место в университетах и в рабочем сословии» (д. 569, л. 58). Сообщая через месяц об отъезде братьев Давыдовых на родину в Курскую губернию и требуя, чтобы за ними там был учрежден полицейский надзор, царский агент заявлял: «Оба брата до крайности демагоги и веруют в неизбежность республики в России. Они предполагают путем печатной пропаганды и развития естественных наук о природе вроде Дарвина достигнуть цели» (д. 569, л. 66).

Давыдов, судя по донесениям Балашевича, поддерживал постоянные и тесные контакты с русской и польской революционной эмиграцией, в особенности с П. Л. Лавровым, С. Г. Нечаевым, В. Врублевским, Т. Домбровским, Ю. Розвадовским и др. Он несколько раз бывал на континенте (Париж, Брюссель), ездил в Одессу и каждый раз вместе со служебными делами выполнял те или иные конспиративные поручения. По сведениям царского агента, Давыдов одновременно был тесно связан с рядом руководящих деятелей I Интернационала, в частности с Марксом. Сообщая об одном из заседаний «членов и агентов Internationale», Балашевич в июне 1871 года писал: «Давыдов, как видно, имеет сношение со всеми заговорщиками и вербует новых» (д. 567, л. 117). Донесение от 17 июля сообщало, что «Давыдов и Лавров за городом. Они оба действуют с Международ[ным] общ[еством]» (д. 567, л. 158), а донесение от 18 октября того же года гласило, что он «состоит членом «Международ[увки] и сообщает все подробности Карлу Марксу и пр.» (д. 567, л. 231). «А. Давыдов в Лондоне, — доносил Балашевич в январе 1872 года, — и постоянно находится в сношениях с Марксом и др. Мы его видели на днях, он сильно хлопочет о раз-

витии Международ[одного] общ[ества] в России» (д. 568, л. 4). К марту 1872 года относятся два донесения, в первом из которых царский агент сообщает, что на днях Маркс «со своим секретарем был на вечере у Давыдова» (там же, л. 34), а в другом есть следующая многозначительная фраза: «Вечер мы провели с Давыдовым, который бесспорно самый усердный поборник революции и ревностный слуга Маркса; он занимает секретное место в Совете «Международ[увки] для России» (там же, л. 34 а). Наконец в апреле 1872 года Балашевич доносил: «Теперь положительно могу уверить, что все сведения относительно нашего правительства и управления русской секцией «Международ[увки]» принадлежат Давыдову, он постоянно сносится с Марксом и принимает его у себя по вечерам» (д. 568, л. 37).

Любопытно, что Балашевич разработал хитроумный план изъятия у Давыдова его конспиративного архива. 2 ноября 1872 года он писал в Петербург: «А. Давыдов выехал в Одессу, но его вещи и бумаги остались в Лондоне. Всего лучше оставить его покойно до весны; он намерен возвратиться в Лондон в мае и взять с собою бумаги в Одессу; тогда легко будет сделать домашний обыск» (д. 568, л. 103). Однако топорная работа русской полиции испортила дело. Вот что писал об этом возмущенный царский агент в донесении от 17 мая 1873 года: «С Ан. Давыдовым мы видели неоднократно. Он объявил, что на границе его осматривали до рубашки, но он принял свои предосторожности. Он обвиняет польскую эмиграцию в доносе и на будущее время прервал с ними сношения<sup>12</sup>. Жалко, что полиция своим усердием все испортила, ибо у него в Лондоне громада важных документов от Герцена, Маркса, Лаврова. Он желал в следующем году перевезти [их] в Россию, но после сделанного обыска навряд ли решится» (д. 569, лл. 41—42).

Донесения Балашевича содержат много сведений о контактах Маркса с другими деятелями польского и русского освободительного движения.

П. А. Лаврова царский агент характеризует как одного из крупнейших представителей русского революционного движения, ненавидящего царизм, ведущего антиправительственную пропаганду, поддерживающего тесные связи с польской революционной эмиграцией, с Генеральным советом I Интернационала и лично с Марксом<sup>13</sup>.

О Валерии Врублевском, который 10 октября 1871 года был избран членом Генсовета I Интернационала и секретарем-корреспондентом для Польши, Балашевич отзывается как об активном и последовательном стороннике Маркса. Сообщив 4 октября 1871 года о том, что «Врублевский, член Коммуны, здесь», царский агент упоминает эту фамилию чуть ли не в каждом своем послании начальству, в частности в донесениях от 27 и 30 ноября, 6 и 8 декабря 1871 года. 12 декабря этого года он донес: «...что касается Врублевского, то он [...] беспредельно предан Марксу и живет на его счет» (д. 567, лл. 228, 284)<sup>14</sup>. В январе 1872 года, сообщая о полученных Генсоветом через Врублевского известиях относительно сочувствия Интернационалу на польских землях<sup>15</sup>, Балашевич следующим образом комментировал дошедшие до него сведения: «...Маркс обратил внимание на Россию, где надеется иметь обильную жатву»; «Теперь делают обширные плантации в Галиции, дабы оттуда пересадить в Южную Россию. Это главная идея Врублевского; в Малороссии они надеются иметь много adeptов»; «Маркс объявил Врублевскому, что как скоро сотня поляков в Лондоне приступит к обществу, он намерен образовать секцию и отправить эмиссаров в Галицию и Россию. В Познанском уже образованы две секции исключительно среди рабочих»; «...Врублевский [...] переслал докладную записку о быстром развитии секций в Кракове, Лемберге и Величке, а равно в Познанском» (д. 568, лл. 4, 7, 13).

В 1872 году по инициативе Врублевского демократическое крыло польской эмиграции в Англии объединилось в организацию под названием «Люд польский», которая по составу и задачам почти совпадала с польской секцией Интернационала, и именно поэтому членами ее могли быть выходцы из всех славянских стран. Ряд донесений Балашевича затрагивает этот вопрос (д. 568, лл. 32, 37—38, 81—82).

В 1874 году Лондон посетил русский царь Александр II, и многие бывшие подданные Российской империи, находившиеся в эмиграции, вместе с англичанами собирались публично выразить свои далеко не дружественные чувства к его особе. Царская дипломатия между тем сумела инспирировать унижительную петицию части эмигрантов к царю с просьбой об амнистии. «Люд польский» срочно подготовил и размножил на английском языке подписанное В. Врублевским и Я. Крынским обра-

щение к английскому народу, просмотренное предварительно Энгельсом. В письме к Л. Кугельману от 18 мая 1874 года Маркс изложил суть происшедшего следующим образом: «Так называемая петиция здешних поляков об амнистии является делом рук русского посольства; здешние поляки выпустили против него обращение к англичанам воззвание, которое составлено и подписано Врублевским; оно широко распространялось на воскресных митингах в Гайд-парке. Английская пресса (за совсем незначительным исключением) вилает хвостом: царь ведь — «наш гость»; но, несмотря на все это, действительное настроение по отношению к России более враждебное, чем когда-либо со времени Крымской войны...»<sup>16</sup>.

Как же изображены все эти события у Балашевича?

Узнав о поездке царя, он в донесение от 18 января 1874 года поспешил включить такую фразу: «С моей стороны, пользуясь огромным влиянием, я употреблю все средства и ручаюсь, что со стороны польской эмиграции не будет никакой демонстрации». Хвастовство царского агента было настолько беспардонным, что непосредственный его начальник в III отделении не удержался и написал на полях донесения: «Гигант, нечего сказать!» «Известие о намерении нашего государя побывать в Лондоне, — сообщал Балашевич через месяц, — вызвало в эмиграции сильное волнение. Партия демагогов желает устроить враждебную демонстрацию, в том числе Врублевский, Розвадовский, Яворский и несколько других» (д. 570, лл. 1—2, 14—15). В марте, стараясь успокоить начальство, он доносил: «Вся демонстрация по случаю приезда государя, кажется, ограничится печатной прокламацией к английскому народу». 10 апреля были отправлены в III отделение пригласительные билеты, созывавшие эмигрантов в таверну «White Horse» («Белая лошадь»), где состоялось обсуждение прокламации. Через три дня Балашевич сообщил в Петербург: «Принят протест, составленный Врублевским, который отличается довольно умеренным изображением участи Польши», и одновременно послал экземпляр воззвания начальнику лондонской полиции с рекомендацией организовать слежку за возможными распространителями протеста. Наконец в нескольких последующих донесениях царский агент доносил, что всячески пытается помешать размножению воззвания и поддерживает контакт с лон-

донской полицией (д. 570, лл. 26—27, 46, 51—52, 61—66).

Маркс, Энгельс и Генсовет I Интернационала, как известно, очень внимательно следили за событиями, связанными с Парижской коммуной, а после ее разгрома стали организаторами самой разнообразной помощи коммунарам. Маркс, в частности, неоднократно передавал в Париж добытые им «чистые» документы. 12 июня 1871 года он, например, писал Э.-С. Бизли: «Одна моя приятельница через три или четыре дня едет в Париж. Я даю ей оформленные по всем правилам паспорта, чтобы она отвезла их некоторым членам Коммуны, которые сейчас еще скрываются в Париже»<sup>17</sup>. Одним из помощников Маркса в указанном деле был русский эмигрант П. Л. Лавров, находившийся во время боев в Париже, связанный с руководящими деятелями Коммуны и ездивший позже во Францию для оказания помощи коммунарам.

В донесении, помеченном «2 июня 1871 г. Пятница. 12 ч. ночи», Балашевич сообщал в Петербург: «Сюда прибыл из Парижа полковник Лавров, и сегодня мы обедали с ним в отеле L'Etoile [...] Сегодня вечером на квартире Давыдова было значительное собрание членов и агентов Internationale. Бланки и Лавров, оба принимавшие участие в устройстве Центрального Парижского комитета, а впоследствии Коммуны, бежали 18 числа и через С.-Дени пробрались в Гавр, а оттуда в Лондон». В тот же день царский агент, сообщая о подавленном настроении прибывающих из Парижа, подчеркнул, что «один только Лавров не отчаивается и надеется, что дела поправятся» (д. 567, лл. 117, 118). Через две недели в донесении снова упоминался Лавров, причем сообщалось, что он постоянно посещает собрания лиц, связанных с I Интернационалом (д. 567, л. 130). Эти сведения подтверждаются сохранившейся перепиской Маркса и Энгельса, показывающей, что Лавров бывал у них и вместе с ними помогал коммунарам. В письме к дочерям от 13 июня 1871 года Маркс, сообщая о своих первых впечатлениях, писал, что Лавров «довольно хороший малый»; а 12 июня, приглашая Лаврова обедать, добавлял: «Вы встретите у нас некоторых из наших парижских друзей»<sup>18</sup>. Вскоре Балашевич донес: «Лавров 24 июля уехал в Париж, где намерен пробыть три месяца для поддержания организации Internationale и корреспонденции в русские газеты, куда по-

стоянно отправляет статьи под псевдонимами» (д. 567, л. 173).

В литературе не раз упоминалось о том, что одним из спасшихся с помощью паспорта, переданного Марксом через Лаврова, был генерал Парижской коммуны Валерий Врублевский. Из донесений Балашевича явствует, что через Маркса, Лаврова, Давыдова I Интернационал оказал помощь родным погибшего генерала Коммуны Ярослава Домбровского — его жене, оставшейся с двумя маленькими детьми и на последнем месяце беременности, а также его брату Теофилю, сражавшемуся в рядах коммунаров. Вот что сообщил по этому поводу царский агент 28 июля 1871 года: «Сочево уехал в Шотландию, но за ним Давыдов послал приглашение прибыть в Лондон, где имеет быть при разрешении [от бремени] жены известного бандита Домбровского. Брат убитого Домбровского в Лондоне и получил пособие от Давыдова, который, как видно по его расходам, состоит агентом революционной партии И получает от них деньги». Как будто бы для того, чтобы не было сомнений о том, какой смысл имеют последние из процитированных слов, в донесении говорится, что Давыдов «особенно старается об успехах Internationale» (д. 567, лл. 173—174).

В июне 1871 года, желая угодить начальству, Балашевич доносил: «Жена известного Ярослава Домбровского с детьми прибыла сюда и находится в последнем месяце беременности без средств к жизни; обращалась к нам, но мы отказали по поводу участия ее мужа в Коммуне» (д. 567, л. 146). В октябре следующего года под давлением общественного мнения ему пришлось поступить по-иному. «Жена Домбровского с детьми, — доносил он, — оставила Лондон, и мы снабдили [ее] деньгами на проезд, хотя это стоило нам довольно значительной суммы. Но это не останется внакладе и влияние наше увеличилось...» (д. 568, л. 100). Гнусность поведения Балашевича станет еще более очевидной, если учесть, что примерно в то же время он разными ухищрениями старался расстроить попытку Т. Домбровского опубликовать документы своего погибшего брата, а раздобытую как-то редчайшую фотографию, на которой генерал Коммуны запечатлен сразу же после смерти, поспешил отослать в III отделение (д. 568, л. 39).

В сентябре 1871 года в Лондоне состоялась закрытая конференция представителей секций Международного товари-

щества рабочих, на которой в числе других обсуждался вопрос о том, как противодействовать волне реакции, последовавшей за разгромом Парижской коммуны. Дочь Маркса Женни в своем письме к Л. Кугельману от 3 октября 1871 года писала: «Ваши опасения насчет ввоза из Франции шпионов весьма и весьма обоснованны. К счастью, Совет принял свои меры. Для доказательства успешности этих мер достаточно сказать, что с 17 по 23 сентября Интернационал проводил конференцию и ни одна газета о ней не знала. 24-го конференция завершилась банкетом. Мавра заставили председательствовать на этом празднестве (совершенно против его воли, как Вы можете себе представить), и он имел честь быть соседом героического польского генерала Врублевского, сидевшего справа от него. С другой стороны Мавра сидел брат Домбровский. Присутствовало много членов Коммуны»<sup>20</sup>.

Меры конспирации, принятые Генсоветом при подготовке и проведении Лондонской конференции, оказались действительными не только по отношению к шпионам, которые ожидалась из Франции, но и применительно к находившемуся поблизости царскому агенту. В донесениях Балашевича есть упоминание о конференции, но сообщаемые им сведения настолько баснословны, что показывают полную его неосведомленность о времени проведения, задачах и решениях конференции. 28 августа 1871 года Балашевич донес: «Из Бельгии, Швейцарии и Германии прибыли депутаты Интернационального общества для устройства нового статута и принятия решительных мер» (д. 567, л. 203). В донесении от 15 сентября агент сообщает о принятии Генсоветом новой программы и пытается ее изложить; по поводу не очень удачно сочиненных им домыслов в Петербурге кто-то из читавших донесение сделал пометку: «Как ни бестолкова эта программа, но агент ручается за ее достоверность» (д. 567, лл. 220—223). Даже в донесениях от 18 и 23 октября, когда Генсовет уже не имел нужды делать тайны из конференции, Балашевич не сообщил ничего определенного о ее основных целях. В первом из указанных донесений, он, между прочим, писал: «В исходе сентября было общее собрание членов под руководством Маркса, на котором решено: устроить секции в России — следующие: в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Казани, в Витебске, Вильне и Гродно, в Киеве, Одессе и на Кавказе, в

Варшаве, Сувалках и Плоцке» (д. 567, л. 231).

С июня 1871 года месячное жалованье Балашевичу было увеличено с 20 до 30 фунтов стерлингов: так начальство отметило появление в его шпионской зоне нового крупного объекта — I Интернационала. Однако царскому агенту показалось, что этого мало.

Обобщив добытые им за последние годы сведения о польской эмиграции в «Кратком очерке развития, цели и настоящего положения Польского Центрального комитета в Лондоне», Балашевич вместе с приложениями вручил свое сочинение приезжавшему в Лондон великому князю Константину Николаевичу и потребовал от начальства награду: маленькое поместье в Виленской губернии для отца, материальную помощь для двух младших братьев. Хотя агент подобострастно заявил, что награда даст ему «новые силы продолжать трудное поприще для блага и спокойствия нашего благословенного императора», непосредственное начальство осталось непреклонным: возле пометы «получает больше 2500 руб. в год» появилась резолюция: «...Оставить это ходатайство без последствий» (д. 567, лл. 176—187).

Балашевич, однако, не утратил надежд. Хорошо понимая, чем именно можно добиться награды, он еще внимательнее стал следить за Марксом и его окружением, еще настойчивее плести свои иезуитские интриги. Нельзя сказать, чтобы ему сопутствовал полный успех, но кое-чего царскому агенту удалось добиться.

Еще в предшествующие годы Балашевич создал и некоторое время возглавлял польскую эмигрантскую организацию под названием «Союз братской помощи». Довольно неопределенная в политическом смысле, эта организация была, однако, сравнительно многочисленной, что придавало ее руководителю определенный общественный вес<sup>21</sup>. Пользуясь этим, Балашевич, с одной стороны, всячески старался помешать сплочению польской эмиграции на основе радикальной политической платформы, а с другой — пытался при всяком удобном случае выдавать себя за представителя польских революционеров в их сношениях с русскими революционными эмигрантами или с Генсоветом I Интернационала.

Парижская коммуна и польские эмигранты, перебравшиеся после ее разгрома в Англию, стимулировали новые попытки объединения польской демократической

эмиграции, новые усилия во имя оживления деятельности польской секции Интернационала. Сделав вид, что он заинтересован в такого рода переменах, Балашевич использовал сложившуюся ситуацию, чтобы установить личные контакты с Марксом и получить доступ к конспиративным тайнам польской и русской секций Интернационала, а может быть, и его Генсовета. 3 ноября 1871 года царский агент донес своим хозяевам в Петербург: «...Получено письмо от Гарибальди, в котором он приглашает польскую эмиграцию действовать единодушно с «Международ[увкой]» и образовать секции в Польше по образцу Лондонской. В будущий вторник назначено свидание с Марксом, и, если мое здоровье поправится, приму участие» (д. 567, л. 237). Девятью днями позже он писал: «Большинство эмиграции в пользу слияния, и не подлежит сомнению, что это совершится. Оливер<sup>22</sup> — секретарь Международного Центрального комитета был у меня два раза с приглашением для свидания с Марксом и др. членами, но по поводу грудной болезни свидание мое отсрочено» (д. 567, л. 241). Трудно сказать, была ли у Балашевича «грудная болезнь», но он воспользовался предлогом, чтобы начать с Марксом переписку.

В ответ на письма с предложением своих услуг и просьбой о высылке программных документов Интернационала для распространения в Польше и других славянских странах царский агент получил от Маркса экземпляры устава Международного товарищества рабочих и два коротких письма. «Все прочие сообщения, имеющие отношение к Интернационалу, — говорилось в одном из писем — адресуйте, пожалуйста, на имя генерала Врублевского (22, Vincent Terrace, Islington), который является секретарем Генерального Совета для Польши»<sup>23</sup>. Свой весьма скромный успех Балашевич попытался выдать за полную победу и вместе с оригиналами писем Маркса послал в III отделение смехотворное предложение о захвате руководства не только в польской секции, но и в Генсовете Интернационала. Совершенно потеряв чувство реальности от предвкушения похвал начальства и больших наград, он писал: «Вместо коммуниста, бежавшего из Парижа Валерьяна Врублевского, я могу избрать более преданного нам человека и понемногу захватить власть. Конечно, это требует трудов и расходов, но в успехе я уверен [...]. При моем влиянии, я не только могу достигнуть цели, но даже

могу вытеснить Маркса и взять управление «Международ[увкой]» в мои руки, так как члены Совета почти все мне известны и не имеют достаточной проницательности» (д. 567, лл. 248—249).

Не без оснований считая переправленные им в III отделение письма Маркса ценной добычей, царский агент поспешил снова поставить вопрос о вознаграждении. На сей раз это было сделано в завуалированной форме: Балашевич просил содействия своего петербургского начальства в продаже Александру II редкой антикварной вещи — креста, который якобы принадлежал когда-то императорам византийским, а затем — киевскому князю Владимиру Святому (д. 567, лл. 278—280). В Петербурге очередная претензия агента не вызвала энтузиазма; чем в конце концов завершилась история, неизвестно.

О полной беспочвенности обещаний царского агента насчет «вытеснения» Маркса можно судить хотя бы по митингу в честь годовщины ноябрьского восстания 1830 года, состоявшемуся через день после отправки процитированного донесения. По словам самого же Балашевича, Врублевский весьма успешно выступал на этом митинге от имени Маркса, призывая польских эмигрантов присоединиться к Международному товариществу рабочих. «Большинство, — сообщил Балашевич, — объявило желание соединиться с Internationale, и во вторник 5 декабря мы по желанию общества будем иметь свидание с Марксом, о чем сейчас известил. Делегатом избран Костецкий. До вашего ответа на наши письма мы не станем действовать, ибо это весьма важное дело» (д. 567, л. 254). В указанный день никакой встречи не состоялось, а в донесении от 6 декабря, перечисляя десятки фамилий поляков, выступивших вопреки его усилиям за поддержку Интернационала, Балашевич настоятельно рекомендовал начальству усилить борьбу с этой организацией, пользоваться любыми методами, в частности посылкой в ее ряды тайных агентов. «Если же теперь не принять деятельных мер, — заявлял он, — то за несколько лет будет красная республика в Англии, и тогда увидит Европа последствие этого события» (д. 567, лл. 262—263).

Число приверженцев Интернационала среди поляков росло, но немало было и активных эмигрантских деятелей, установивших связи с буржуазно-пацифистской Всеобщей лигой мира и свободы либо увлекшихся пропагандой бакунистского Альянса

социальной демократии. Поосмотревшись немного и понимая, что от ширококвещательных заявлений нужно переходить к делу, царский агент несколько поубавил свой пыл и решил играть на возникающих противоречиях. Свой скорректированный план он изложил следующим образом: «Вытеснить Врублевского и занять его место мне не составит труда. Но обсудив последствия, я отклонил это предложение польской эмиграции [...]. Гораздо удобнее и полезнее действовать за ширмами [...]. Мы поручили Домбровскому<sup>24</sup> приготовить статью, в которой будет поднята оппозиция против Маркса, дабы удалить его от управления польскими и русскими делами [...]. Если затем нам удастся вытеснить Маркса из Совета [как представителя] на Польшу и Россию (ибо Врублевский это его alter ego), тогда дела примут другой оборот и главные сети будут нам известны» (д. 567, лл. 284—285).

«Действовать за ширмами» оказалось тоже не так-то просто. Об этом свидетельствует, например, провал попытки Балашевича воспользоваться доверчивостью польского эмигранта Я. Костецкого, чтобы через него получить сведения о революционном подполье в России и Польше. «Ян Костецкий, — доносил Балашевич 28 декабря 1871 года, — окончательно избран Марксом агентом в Галицию и бывшее Царство Польское. Высылка его отсрочена к будущему году» (д. 567, лл. 307—308). 15 марта 1872 года соглаדתай III отделения сообщил о том, что отъезд Костецкого назначен на следующий день. «Он, — говорилось в этом донесении, — имел неоднократные совещания с К. Марксом и назначен его агентом для образования секций в южных губерниях России. Я ему тоже дал денег на дорогу и небольшое золотое кольцо с резным гранатом, изображающим голову Августа-императора. Прилагаю рисунок кольца, по этой метке будет легче обличить его, притом его портрет вам известен» (д. 568, л. 33). 4 апреля Балашевич донес: «К. Маркс задержал Костецкого до исхода апреля, ему поручено видеться с Парижским комитетом «Международ[увки]», после отправиться в Женеву и Цюрих, а оттуда в Австрию и Россию». Затем последовало донесение: «...Костецкий получил деньги от Маркса и уезжает 25 июня в Париж и далее» (д. 568, лл. 35, 54). В июне, июле и августе 1872 года Балашевич получал письма от Костецкого из Парижа и немедленно переправлял их в III отделение (д. 568, лл. 60—61, 73—80). Затем он потерял его из виду до



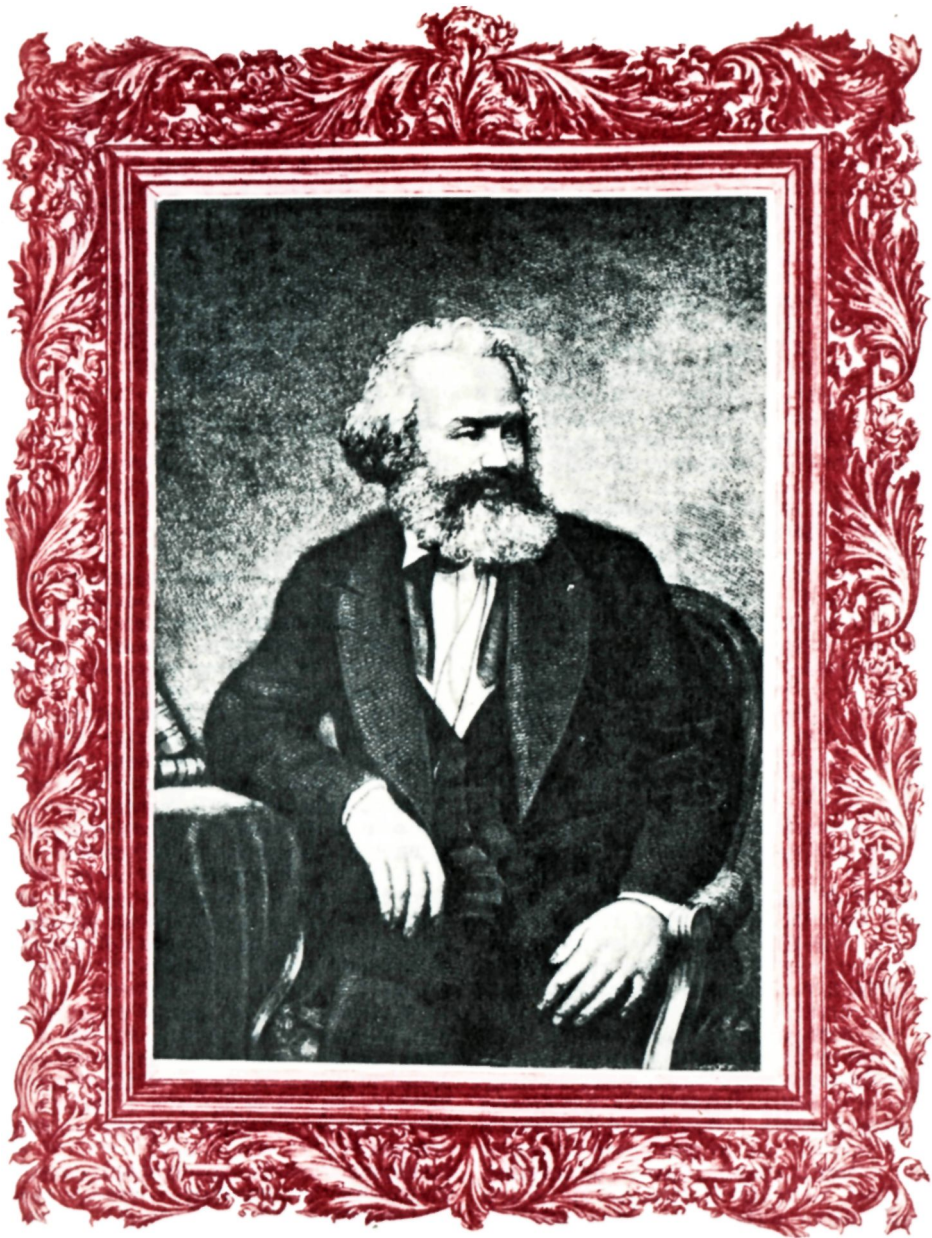
Ярослав Домбровский на смертном одре.

1874 года и никаких сведений от него не имел. Следовательно, вопреки его сложным расчетам денежки царского агента, как говорится, плакали, а кольцо с императором Августом не сыграло отведенной ему роли.

В одном из своих писем И. Ф. Бекеру (от 11 февраля 1872 г.) Маркс довольно подробно описал историю с Я. Костецким. Оказывается, первоначально отъезд Костецкого задерживался из-за отсутствия денег в кассе Генсовета<sup>25</sup>, а затем обстоятельства заставили вообще изменить первоначальное решение. Маркс писал: «Все это случилось задолго до Гаагского конгресса. Костецкий простился со мной, но еще долгое время после этого я встречал его на улицах Лондона, а затем больше ничего не слышал о нем. С тех пор все изменилось. С Галицией, куда за это время переселилось отсюда много поляков, так же как и с другими частями Польши, у нас теперь живые и регулярные связи. Следовательно, в новом эмиссаре нужды нет. К тому же Врублевский критически настроен по отношению к Костецкому, которого наши поляки вообще мало ценят»<sup>26</sup>.

Несколько более существенные плоды принесло, по-видимому, другое шпионское предприятие Балашевича, неоднократно упоминаемое в его донесениях за 1872 год. Вот как описывается это предприятие им самим. Донесение от 10 июля: «По предложению Врублевского и прочих меня избрали полномочным делегатом для образо-

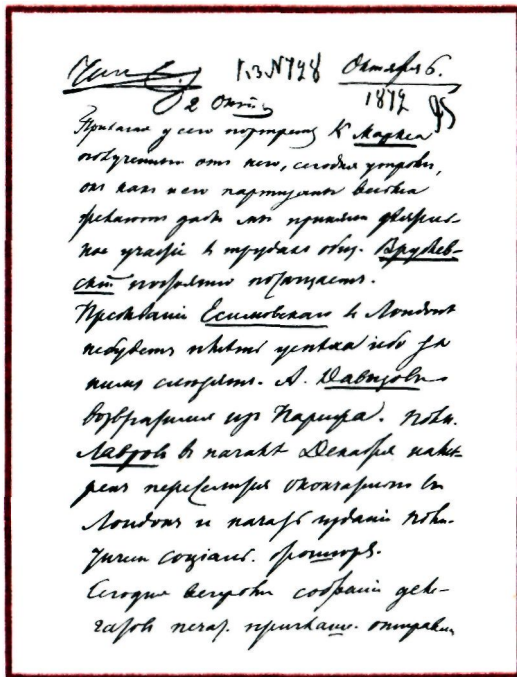




вания унии между Лондонским, Парижским и Брюссельским польскими комитетами. Дело это конфиденциальное, и мне поручено действовать весьма осторожно. Из 3-х кандидатов на меня пал жребий, чему я очень рад, ибо приму надлежащие меры, дабы разрушить их планы. Поездку и прочие расходы я взял на свой счет, что более всего содействовало моему выбору» (д. 568, лл. 60—61). Донесение от 14 августа: «Сегодня возвратился и 16 числа передам отчет комитету. Предприятие мое увенчалось, слияние обществ невозможное. Женева, Цюрих, Париж и Брюссель намерены образовать один комитет под названием швейцарского, но и этот план не состоится. Здешние демократы будут недовольны этим результатом, но я действовал так осторожно, что они не доберутся [до] источника. В ожидании будущих событий они все устремляют взоры на Международное общество, надеясь найти пособие [...]. Здесь я нашел все в порядке, одно, что Осборн и Маркс стараются привлечь эмиграцию на свою сторону» (д. 568, лл. 68—69).

Последние слова хвастливой и, разумеется, преувеличенной реляции Балашевича позволяют связать его поездку с теми событиями в истории I Интернационала, которые были отчасти неизвестны, а отчасти непонятны царскому агенту. В это время Маркс и его сторонники вели энергичную подготовку к Гаагскому конгрессу, на котором предстояло дать генеральное сражение мелкобуржуазному сектантству и раскольническим действиям анархистов<sup>27</sup>. Стремление установить контакты с максимальным числом организаций на континенте, отсутствие денег на поездку более подходящих лиц могли заставить Генсовет воспользоваться услугами Балашевича, выразившего согласие взять на себя все расходы.

Как бы то ни было, но именно этой случайности мы обязаны тем, что Маркс посетил квартиру царского агента, который поспешил послать в III отделение описание его примет. Вот что он писал в донесении от 17 июля 1872 года: «Сегодня были у нас Врублевский и Карл Маркс; они провели около двух часов в обозрении событий и советовали употребить все усилия, дабы соединить все общества эмиграции с Лондонским комитетом, Карл Маркс среднего роста, лет 60, с седою бородою и темными усами, плотного сложения, нос толстый, черты лица грубые. Врублевский среднего роста, худощавый, ослепатый, с небольшими усами. Они ожидают скорой войны между Пруссией и Россией и на этих мечтах соз-



Страница одного из донесений Балашевича-Потоцкого.

дают свои надежды. Их план — развитие «Международ[увки]» среди всех классов и взятие управления рабочим классом. Они весьма недовольны участием русских либералов и желают приискать способных людей для высылки в Россию. Мне поручено исследовать всю эмиграцию и представить подробное обозрение. 19-го числа отправляюсь в Париж, оттуда в Бельгию, Германию и Швейцарию; им весьма понравилось, что я не требую на путевые издержки. Мне сообщены адреса польских членов «Международ[увки]», к которым следует обращаться. Иосиф Квятковский умер, Иван Амборский отправился в Галицию, остался только Николай Акелевич в Париже из шайки. Путешествие мое продлится до 15 августа; со мной отправляется тоже член английского общества рабочих для подобной цели; так как он не знает польского языка, то подобный спутник не опасен» (д. 568, лл. 64—65). Конечно, домислов в приведенном тексте немало, но думается, что общее содержание состоявшегося разговора по это-

му тексту восстановить можно, особенно если не обращать внимания на сугубо шпионскую фразеологию, а вдуматься в суть дела.

Отлично зная, что для нужд III отделения хорошим дополнением к словесному описанию внешности Маркса явился бы фотоснимок, Балашевич всячески старается заполучить его. В феврале 1872 года он доносил: «Мы старались получить портрет Маркса, но он положительно уведомил, что не имеет, или, правильнее, боится. Быть может, со временем нам удастся заставить его снять портрет» (д. 568, л. 29). Донесение от 6 октября того же года содержит следующую победную репликацию: «Прилагаю у сего портрет К. Маркса, полученный от него сегодня утром; он, как и его партизаны, весьма желают, дабы мы приняли деятельное участие в трудах Общества» (д. 568, л. 95). Рядом действительно подшит портрет Маркса с надписью «весьма похожий», сделанной рукой царского агента (там же, л. 96). Однако это не фотография, а типографский оттиск, по-видимому вырванный из какого-либо недавно появившегося издания. В донесении, отправленном двумя неделями позже, Балашевич снова писал: «Прилагаю у сего портрет Маркса и адрес Врублевского, как автограф его руки». На этот раз агенту удалось заполучить фотоснимок, чем он и поспешил похвастаться: «Вчера Врублевский доставил нам от имени К. Маркса его фотографический портрет. Это особенное внимание доказывает, насколько они в нас нуждаются» (там же, л. 100).

III отделение и Балашевич интересовались не только внешностью Маркса, но и по-своему «беспокоились» о его здоровье: появившиеся в газетах сообщения и дошедшие иными путями сведения об этом тщательно суммировались и представлялись

в соответствующие инстанции, сопровождаемые иногда весьма курьезными рассуждениями. Так, в агентурной сводке на 1 сентября 1871 года, составленной главным образом на основании присланных Балашевичем материалов, есть следующее место: «Английские газеты извещают об опасной болезни представителя «Международного Общества» в Лондоне известного Карла Маркса и говорят, что в случае его смерти предполагается назначить на его место Бакунина» (д. 567, л. 215). В июне 1873 года Балашевич доносил III отделению: «Карл Маркс болен опасно, его друзья встревожены, и совещания членов «Международ[у]вки» бывают ежедневно» (д. 569, л. 50).

Все сказанное выше показывает, что органы политической полиции царизма, заинтересовавшиеся Марксом еще в 40-х годах XIX века, впоследствии старались держать его под постоянным наблюдением, которое было особенно тщательным в годы деятельности I Интернационала. Донесения царского агента А. Балашевича-Потоцкого, находившегося в эти годы в Лондоне, содержат немало сведений о Марксе и о связанных с ним русских и польских революционерах, причем особенно хорошо освещены, пожалуй, события 1871—1872 годов. В том, что сообщал агент, как и в других такого рода источниках, действительные факты соседствуют и причудливо переплетаются с домыслами, обусловленными недостаточной осведомленностью их автора либо его желанием прихвастнуть, возвеличить свои заслуги, чтобы добиться увеличения шпионского «гонорара». Тем не менее донесения Балашевича-Потоцкого содержат немало ценного фактического материала, который при умелом использовании, несомненно, может быть весьма полезным как для биографов Маркса, так и для тех, кто интересуется целым рядом смежных вопросов.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Подробнее см.: Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов. Пг., 1918.

<sup>2</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 29, стр. 64.

<sup>3</sup> Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 110и, оп. 24, д. 335, лл. 113—115.

<sup>4</sup> Центральный государственный военно-исторический архив СССР (ШВИА), ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., д. 16, лл. 73—75, 82.

<sup>5</sup> Р. М. Кантор. Два письма Карла Маркса. «Красный архив», 1924, № 6, стр. 253.

<sup>6</sup> Донесения А. Балашевича-Потоцкого в III отделение за 1861—1865 гг., см.: ЦГАОР, ф. 109и, I экспед. — 1861 г., д. 154. Более поздние материалы, охватывающие десятилетие с 1866 по 1875 г., хранятся отдельно в десяти папках, из которых каждая содержит донесения за один год: ЦГАОР, ф. 109и, секретный архив, оп. 2, лл. 562—571. В дальнейшем ссылки на донесения этой последней серии будут делаться непосредственно в тексте с указанием только номера дела и соответствующих листов.

<sup>7</sup> Карл Маркс. Даты жизни и деятельности. 1818—1883. Партиздат, 1934, стр. 275—286.

<sup>8</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 59 и др.

<sup>9</sup> Наиболее раннее обращение к донесениям Балашевича в имеющейся литературе относится к началу 20-х годов (см. упоминавшуюся выше заметку Р. М. Кантор в «Красном архиве» и статью того же автора «П. Л. Лавров и А. Балашевич-Потоцкий» в сб. «П. Л. Лавров. Статьи и материалы», Пг., 1922). Впоследствии донесения эти использовались очень редко и только по отдельным частным вопросам. Небольшую,

но содержательную статью о Балашевиче опубликовал польский историк Р. Гербер, намеревавшийся подготовить к печати его донесения. (R. Gerber, Carska prowokacja polskim zyciu politycznym. polowy XIX w., „Polityka”, № 48, 29. XI) 1958, str. 4—5.)

Другой польский историк, Е. Борејша, использовал ряд донесений Балашевича в своих книжках о польской эмиграции и ее связях с Марксом. (J. W. Borejsz, W kregu wielkich wygnanco, 1848—1895. Warszawa, 1963; Emigracja polska po powstaniu styczniowym. Warszawa, 1966.)

<sup>10</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 58, 239, 624.

<sup>11</sup> Речь идет об активных деятелях польской революционной эмиграции.

<sup>12</sup> «Доносчиком», как видно из сказанного выше, был Балашевич-Потоцкий.

<sup>13</sup> См. Р. М. Кантор, П. Л. Лавров и А. Балашевич-Потоцкий, указ. сб., Пг., 1922.

<sup>14</sup> Маркс действительно оказывал некоторую материальную помощь генералу Коммуны и помогал ему найти работу. «Живет за его счет» — это домыслы Балашевича.

<sup>15</sup> См. Генсовет Первого Интернационала 1871—1872. Протоколы. М., 1965, стр. 36.

<sup>16</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 527—528.

<sup>17</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 190.

<sup>18</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 194, 207.

<sup>19</sup> По сведениям Балашевича, эту фамилию носил связанный с революционной эмиграцией харьковский врач, доктор медицины и акушерства, секретарь медицинского общества в Харькове (д. 567, лл. 175, 190).

<sup>20</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 554. Между прочим, 25 августа того же 1871 года Маркс писал в Нью-Йорк Ф. Больте: «На следующей неделе Вы получите Обращение Генерального Совета о помощи коммунарам-эмигрантам.

Основная масса их (80—90 человек) находится в Лондоне. Генеральный совет до сих пор спасал их от гибели, но за последние две недели наши денежные ресурсы настолько иссякли, в то время, как число вновь прибывающих возрастает с каждым днем, что последние оказались в плачевном состоянии» (там же, стр. 238)

<sup>21</sup> К одному из своих донесений за 1871 год он, между прочим, приложил полный список членов организации, включавший 442 фамилии (д. 567, лл. 132—135).

<sup>22</sup> Фамилия явно искажена; возможно, речь идет о Дж. Оджере.

<sup>23</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 296.

<sup>24</sup> Речь идет о Конраде Домбровском, который был в то время связан с Лигой мира и свободы.

<sup>25</sup> По-видимому, зная об этом, Балашевич, в донесении от 4 февраля 1872 г., упоминая о намерении Маркса и Врублевского направить эмиссаров Интернационала в Россию, писал: «...Многие изъявили желание отправиться туда, но Маркс еще не имеет достаточных сумм для их высылки» (д. 568, л. 16).

<sup>26</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 33, стр. 471. В «Секретном деле» III отделения за 1872 год, более известном исследователям, чем донесения Балашевича, сохранилась агентурная сводка от 5 апреля, в которой сообщается об отъезде Костецкого, «как агента Карла Маркса» из Лондона в Париж, затем в Галицию, Варшаву и южные губернии России (ЦГАОР, ф. 109и, с. а, оп. 1, д. 428, л. 34). Пользуясь этим сообщением, необходимо иметь в виду все приводившиеся выше сведения, а также и то, что Костецкий попал только в Краков, причем лишь в 1874 году, и без каких-либо полномочий Интернационала.

<sup>27</sup> Более подробно см.: Первый Интернационал. Под ред. И. А. Баха и др. Часть 2-я. 1870—1876. М., 1965, стр. 174—216; А. Е. Коростеева. Гаагский конгресс I Интернационала. М., 1963.

## В. Корецкий

## Юрьев день

Вот — Юрьев день задумал  
уничтожить

А легче ли народу?  
Спроси его. Попробуй  
самозванец  
Им посулить старинный  
Юрьев день.  
Так и пойдет потеха.

(А. С. Пушкин,  
Борис Годунов)

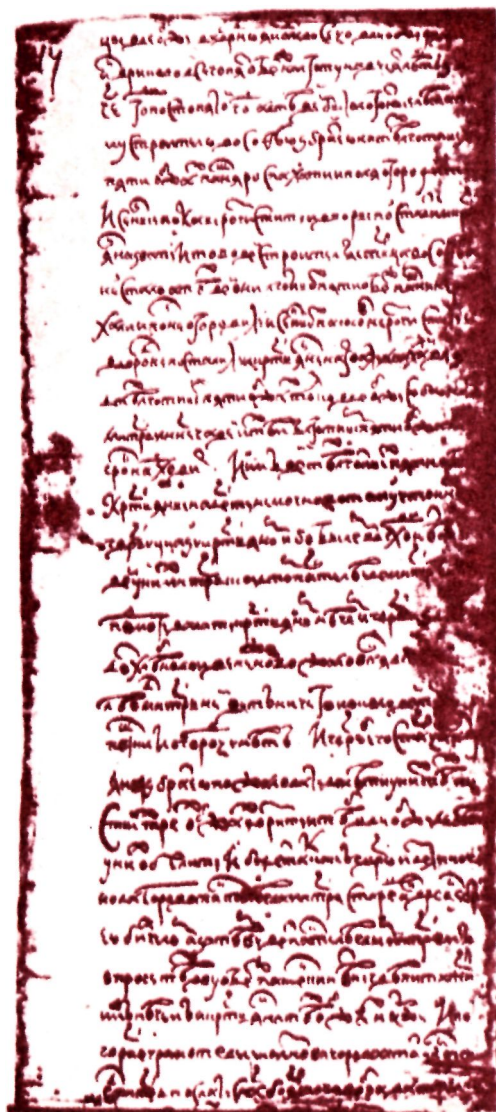
Московские пожары 1571, 1612 и 1626 годов, хозяйничанье в Москве в начале XVII века польских интервентов нанесли непоправимый урон русским архивам. Погибли многие важные документы, погибли и указы о крестьянах. Часть документов из московских архивов была вывезена в Польшу. Из всего закрепостительного законодательства конца XVI века сохранился полный текст лишь одного указа от 24 ноября 1597 года — о пятилетнем сроке сыска беглых.

Между тем исследователи уже давно заметили, что в истории крестьянства на рубеже XVI—XVII веков произошли изменения принципиального порядка: крестьяне повсеместно потеряли право выхода в Юрьев день. Горькая память об утраченных правах жила и в народной среде в виде известной поговорки: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Отмена Юрьева дня знаменовала собой коренной перелом не только в исторических судьбах русского крестьянства, она отрицательно сказалась на ходе русской истории в целом.

Когда и как это произошло? Какие законы были изданы или право крестьянского выхода умерло без законодательной его отмены?

Эти вопросы неизбежно вставали перед всеми, кто изучал русскую историю.

Дворянский историк первой половины XVIII века В. Н. Татищев, родоначальник русской исторической науки, был страстным собирателем древних рукописей. Он разыскивал старинные «манускрипты» по всей стране, приобретал их, делал с них списки сам или «за немощью» просил ско-



пировать заинтересовавшие его документы других. Его стараниями были спасены многие драгоценные памятники русской старины, и среди них Соборное уложение царя Василия Шуйского от 9 марта 1607 года, во вступительной части которого сказано, что при Иване Грозном «крестьяне выход имели волный; а царь Федор Иванович, по наговору Бориса Годунова, не слушая советов старейших бояр, выход крестьяном заказал и... книги учинил».

Ознакомившись с уложением и дав ему высокую оценку, В. Н. Татищев решил: Юрьев день был отменен особым на этот счет государственным указом. В руках Татищева имелся и другой важный документ — указ 1597 года о пятилетнем сроке сыска беглых. Механически отсчитывая 5 лет от 1597 года, В. Н. Татищев отнес законодательную отмену Юрьева дня к 1592 году.

Долгое время историки полагали, что список Соборного уложения 1607 года Татищев получил от казанского губернатора князя С. Д. Голицына. А поскольку два других документа, присланных Голицыным, — «письмо» Ивана Грозного казанскому архиепископу Гурию и уложение Бориса Годунова о борьбе с Самозванцем — вызвали серьезные сомнения, то тень недоверия падала и на уложение о крестьянах царя Василия Шуйского. Только сравнительно недавно ленинградский исследователь И. И. Смирнов, опубликовав другой список уложения 1607 года, также сохранившийся в бумагах Татищева, рассеял это недоразумение. Оказывается, к Татищеву список уложения поступил не от Сергея Голицына, а из «Чердынской архивы». Так назывался архив пермского воеводы, резиденцией которого в XVII веке являлась Чердынь. В 1792 году богатый архив в Чердыни сгорел. Очевидно, тогда же погиб и оригинал уложения 1607 года.

Первым, кто усомнился в подлинности уложения 1607 года, был Н. М. Карамзин. Его знаменитая «История государства Российского» делится, по сути, на две части: основной текст и примечания. В первой развертывается увлекательное, исполненное драматизма, психологически-захватывающее повествование о «днях минувших», во второй собраны выдержки из архивных документов и сделаны сухие замечания источниковедческого порядка.

Богатство собранных Н. М. Карамзиным в примечаниях архивных материалов огромно. Ими восхищался А. С. Пушкин. Работая над «Борисом Годуновым», он чер-

пал оттуда многие факты. Еще и сейчас историки обращаются к примечаниям Карамзина, чтобы использовать документы, известные ему и позднее утраченные. В одном из своих примечаний Карамзин, указывая на некоторые несообразности стиля того списка уложения, которым он располагал (в новом списке, опубликованном И. И. Смирновым, они в какой-то мере устранены), высказал сомнения в подлинности уложения 1607 года, но в очень осторожной форме: «Оставляю будущим розыскателям древностей решить вопрос об истине или подлоге Татищевского списка: пусть найдут другой!»

При этом надо сказать, что Карамзин продолжал разделять точку зрения В. Н. Татищева о лишении крестьян права выхода государственным указом, который также относил к 1592 году. Другими словами, Карамзин был сторонником так называемой концепции «указного» прикрепления крестьян.

В 1858 году, когда был снят официальный запрет на печатание статей по крестьянскому вопросу (дело шло к реформе 1861 года!), в книге IV «Русской беседы» была напечатана нашумевшая статья М. П. Погодина «Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права?». Настаивая на подложности уложения 1607 года, по крайней мере во вступительной его части, М. П. Погодин решительно отрицал существование указа о закреплении крестьянского выхода. Он ставил вопрос: «Кто же был основателем у нас крепостного права?» — и отвечал: «Никто». Спрашивал: «Кого же надо винить в его развитии?» — и отвечал: «Обстоятельства». Среди этих «обстоятельств», приведших к установлению в России крепостного права, М. П. Погодин на первое место выдвигал «народный характер»: «Рабство закралось к нам исподтишка: виноват не Борис Годунов, не Иоанн Грозный, не Петр Великий, а больше всего народный характер, кроткий, смиренный и терпеливый до крайности».

М. П. Погодину резко возражал Н. И. Костомаров. Между ними вспыхнула полемика.

В том же 1858 году в солидном научном издании — «Чтениях общества истории и древностей российских» («Чтения ОИДР»), во 2-м томе, появились материалы, которые, казалось бы, могли способствовать окончательному решению дискуссионного вопроса. В напечатанном здесь «Дипломатическом донесении Сигизмунду III,

королю польскому. Перевод с латинского» сказано, что при избрании Бориса Годунова в 1598 году на царский престол якобы говорилось «о крестьянах, с некоторого времени придавленных железною рукою хитреца (Бориса Годунова. — В. К.) к земле, ими возделываемой». Но вот что настораживало. Обычно при опубликовании новых документов сообщается, где находится рукопись подлинника и какова она. В том же томе «Чтений ОИДР» за 1858 год О. Бодянский опубликован «розыск» о государеве дьяке Иване Михайловиче Висковатом, главе Посольского приказа при Иване Грозном, обвиненном церковными деятелями в «богохульных словах» и сомнениях относительно икон. О. Бодянский указывает, что публикуемые им материалы извлечены из рукописи Иосифо-Волоколамского монастыря за № 404, в четвертку, состоящей из 110 листов, что рукопись эта писана полууставом, ветха, сильно попорчена водой, местами истлела.

В случае с «Дипломатическим донесением» ничего подобного не сделано. Осталось неизвестным, кто обнаружил рукопись, где она находится, что она собой представляет, не был даже указан переводчик. И уже совсем озадачивало то, что литовский канцлер Лев Сапега, которому приписывалось авторство «донесения», посетил Москву в 1584 и 1600 годах, а в 1598 году в русской столице не был. Обращение к тексту «донесения» также обнаруживало подделку. Подделка эта вела к Булгарину и Гречу. Эти издатели, достаточно скомпрометировавшие себя и по другим поводам, уже успели опубликовать «донесение» дважды до того, как оно было напечатано в «Чтениях ОИДР». Первый раз в «Северном архиве» (№ 21 за 1825 год), второй — в «Сыне Отечества» (т. XI—XII за 1834 год). Но приписали его авторство польскому шляхтичу Голяту Гримовскому. Кстати сказать, в Польше на рубеже XVI—XVII веков Голят Гримовский неизвестен, а известен Елиаш Пельгржимовский, который действительно посетил с Львом Сапегой Москву и вел дневник посольства, только было это не в 1598-м, а в 1600 году. Те же поляки, которые были в 1598 году в Москве, — там в это время находились польские купцы, — как свидетельствуют источники, были задержаны и никуда с посольского двора выйти не могли.

Неспособность найти в архивах долгое время текст указа о запрещении крестьянского выхода или хотя бы ссылок на него,

разнобой в определении времени его издания, неумение подкрепить подлинность уложения Василия Шуйского новыми доводами, наконец, появление рассмотренной выше подделки — все это ослабляло позицию тех, кто придерживался взгляда о прикреплении крестьян государственным указом. Если добавить сюда, что защитником и пропагандистом провозглашенной М. П. Погодиным концепции «безуказного» приращения стал такой блестящий историк-полемист, как В. О. Ключевский, указавший на крестьянскую задолженность как причину закрепощения, то станет понятным, почему она на некоторое время получила преобладание в исторической литературе.

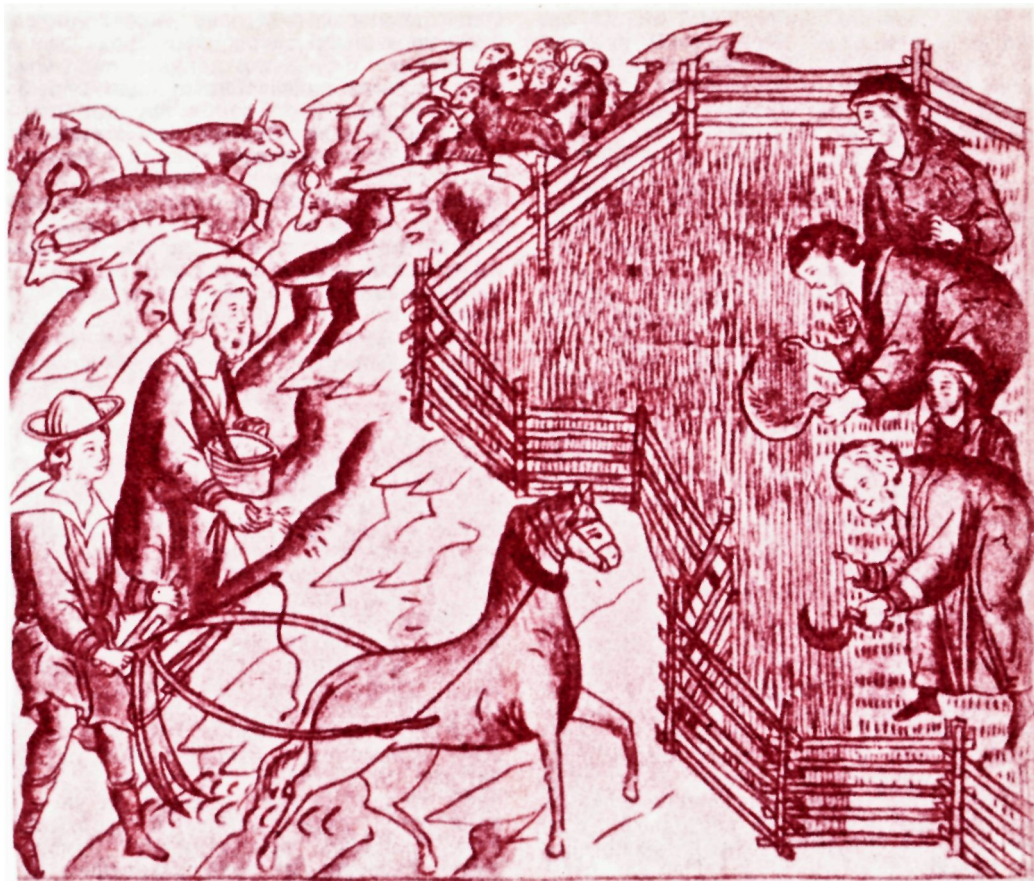
В 1895 году С. Адрианов, один из сторонников этой концепции, с торжеством заключал: «Однако гипотеза об указе 7101 (1592—1593) и 7093 (1584—1585) (к этому времени относили издание указа С. М. Соловьев и В. И. Сергеевич. — В. К.) года подобна смоковнице, у корня которой лежит уже секира. Мощные удары Аксакова, Погодина, Ключевского и Дьяконова настолько подрубили ее, что теперь достаточно небольшого усилия, и все дерево с шумом рухнет».

По иронии судьбы все это писалось в статье, посвященной анализу царской грамоты 1592 года в Корельский Никольский монастырь, где впервые встречались загадочные и тогда еще во многом непонятные слова «заповедные лета», которым суждено было надолго стать в центре внимания историков, занимавшихся изучением вопроса о закрепощении крестьян в России в конце XVI века.

В 1902 году в печати появился второй документ с известием о заповедных годах — Торопецкая уставная грамота 1590—1591 годов. А затем в 1909 году Д. Я. Самоквасовым было опубликовано сразу семь актов, относящихся к Деревской пятине Новгородского уезда, в которых кратко сообщалось, что крестьяне вышли из тех или иных поместий в «заповедные годы» и подлежат поэтому возврату назад.

На основании этих новых известий Д. М. Одинец и Д. Я. Самоквасов уже в 1908—1909 годах сделали вывод о запрещении крестьянского выхода в России посредством издания в 1581 году общегосударственного указа о заповедных годах. Вывод этот был принят и советскими исследователями академиками Б. Д. Грековым, С. Б. Веселовским и др.

Однако В. О. Ключевский, несмотря на



Полевые работы. Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI века.

находку в архивах известий о заповедных годах, не изменил своего отрицательного отношения к указу о прикреплении крестьян. В своем широко известном «Курсе русской истории» он, решительно отвергая надежды И. Д. Беляева на находку в будущем в архивах указа о прикреплении крестьян, писал: «Можно с уверенностью сказать, что никогда не найдется ни того, ни другого указа, ни 1590 (И. Д. Беляев относил издание указа о запрещении выхода к этому году. — В. К.), ни 1592 года, потому что ни тот, ни другой указ не был издан».

Но были исследователи, которые не теряли надежды найти исчезнувший указ, отменивший Юрьев день. Он представлялся им уже в виде указа о «заповедных летах», изданного в 1581 году при Иване Грозном. Академик С. Ф. Платонов в 1922 году писал: «Как Татищев и его продолжатели искали закон об общем прикреплении крестьян к земле, так и мы теперь должны искать «государеву заповедь» о невыходе и невывозе крестьян в «урочные» и «заповедные годы».

Неустанно, с большим знанием дела искал указ о «заповедных годах» академик



С. Б. Веселовский, прекрасный знаток старинных документов. Веселовский расценивал упорство В. О. Ключевского в отстаивании концепции о безуказном закреплении крестьян, как пример «самоослепления во имя предвзятой идеи».

Веселовский шел к цели наиболее правильным путем и ближе других подошел к тому, чтобы разгадать двухсотлетнюю загадку. Он работал над столбцами Поместного приказа, таящими неисчерпаемые возможности для самых неожиданных открытий. И если он все-таки потерпел неудачу в своих попытках найти «государеву заповедь» о невыходе крестьян, то лишь потому, что тогда еще архив Поместного приказа был не разобран и оставался практически недоступен для подобных поисков.

Историк, стоявший перед собой задачу розыска загадочного указа или упоминаний о нем, должен был идти на определенный риск. Могли быть безрезультатно затрачены многие годы.

Прежде всего надо было определить, где искать. Центральные архивы пострадали очень сильно в начале XVII века; естественно, возникала мысль искать в местных, провинциальных архивах, пострадавших меньше. И действительно, к В. Н. Татищеву, как известно, список Соборного уложения 1607 года попал из архива пермского воеводы. Д. Я. Самоквасов обнаружил данные о «заповедных годах» в архиве Новгородской приказной избы, лишь позднее, в XIX веке, поступившем в Архив министерства юстиции (в настоящее время Центральный государственный архив древних актов).

В архиве Новгородской приказной избы хранились документы в основном двух типов: рукописные книги (сборники) и свитки (столбцы). Д. Я. Самоквасов, директор Архива министерства юстиции, на которого работал целый штат очень опытных архивариусов, обследовал и те и другие. В книгах им были обнаружены отрывки делопроизводства о крестьянах и среди них документы о «заповедных летах». Обследование столбцов привело к негативным результатам: обнаружить там какие-либо материалы о крестьянах конца XVI века не удалось.

Предстояло прежде всего проверить этот отрицательный вывод Д. Я. Самоквасова.

Некоторые основания для сомнений, правда, очень небольшие, имелись. В 1915 году С. Б. Веселовский опубликовал арзамасские поместные акты, извлеченные из столбцов Поместного приказа.

Они попали в Москву после пожара 1626 года, были затребованы сюда для выполнения сгоревших документов. Среди них оказался напечатанным один отрывок, где речь шла о владении крестьянином в конце XVI века. Значит, Д. Я. Самоквасов был не совсем прав, когда утверждал, что в столбцах ничего о крестьянах XVI века нет. Но, может быть, то, что в арзамасских столбцах оказался отрывок дела о владении крестьянином конца XVI века, было исключительным явлением, вовсе не характерным для Новгорода и других городов?

Ответ на этот вопрос можно было дать, лишь подвергнув тщательному изучению приказное делопроизводство XVI—XVII веков.

Приказное делопроизводство в XVI—XVII веках велось таким образом, что один из листов дела подклеивался к другому и по склейкам скреплялся дьячьей подписью, чтобы нельзя было впоследствии изъять из дела какой-либо лист или заменить его другим, как тогда говорили, «разрознить» дело. В результате знаменитой московской волокиты, когда одно и то же дело вершилось по нескольку раз, число подклеенных листов возрастало до огромных размеров. Дело свертывалось в большой свиток (столбец), достигавший подчас трехсот, а то и более метров длины. Работать над такими делами было очень трудно. Исследователю приходилось затрачивать многие часы присутственного времени на чисто механическое развертывание и свертывание этих длинных, неподатливых бумажных лент. Развернутые, они завивались чудовищными спиралями.

В последние годы советскими архивистами проделана огромная работа по развертыванию столбцов Поместного приказа и склеиванию их на части. Столбцы заключены теперь в картонные. Вынутые из них, они образуют на столе исследователя безбидную и вполне обозримую гармошку. Но это только на первый взгляд. И сейчас столбцы продолжают оставаться для исследователей труднодоступными материалами. В них таятся опасности, сходные с засасывающей трясиной. Дело в том, что они в своей совокупности, а их десятки тысяч, необозримы. Нет описей, раскрывающих содержание заключенных в них дел. Поэтому исследователю ничего не остается, как пускаться в путь наудачу, вслепую, не имея никаких ориентиров. Ему грозит опасность надолго увязнуть в уныло-однообразных поземельных делах об отделах и пере-

делах поместий, о выдаче ввозных грамот и т. п., составляющих основную массу дел этого фонда.

Нужно проявить большую изобретательность, выдумку и не терять надежды ни при каких условиях, чтобы получить результаты, соразмеренные затраченному времени и вложенному труду.

Прочитывая изо дня в день в течение долгих месяцев многие и многие тысячи листов, исписанных выцветшими от времени чернилами, неразборчивыми почерками, неоднократно зачеркнутые и перечеркнутые, испещренные многочисленными вставками и поправками, листов, рассыпающихся подчас от ветхости в руках исследователя, удалось, наконец, напасть на след загадочного закона о запрещении крестьянского выхода.

Однажды на глаза попала драгоценная строчка. Игумен новгородского Пантелеймонова монастыря Андреян в своем челобитье, поданном на имя царя в 1595 году, просил освободить монастырскую вотчину от податей, ссылаясь на изданный прежде царский указ о запрещении выхода в Юрьев день. Игумен Андреян писал, что монахам «крестьян навести немочно, потому что ныне по нашему указу (изложение челобития дано в ответной царской грамоте. — В. К.) крестьянам и бобылям выходу нет».

В первом прочитанном мною документе вместо слова «выход» уцелела лишь первая буква — остальные выцвели от времени. Зато в других документах, приобщенных к делу, это слово читалось полностью.

Так было получено неопровержимое свидетельство существования указа о запрещении крестьянского выхода, изданного во времена Федора Ивановича, когда страной вместо слабоумного царя управлял Борис Годунов.

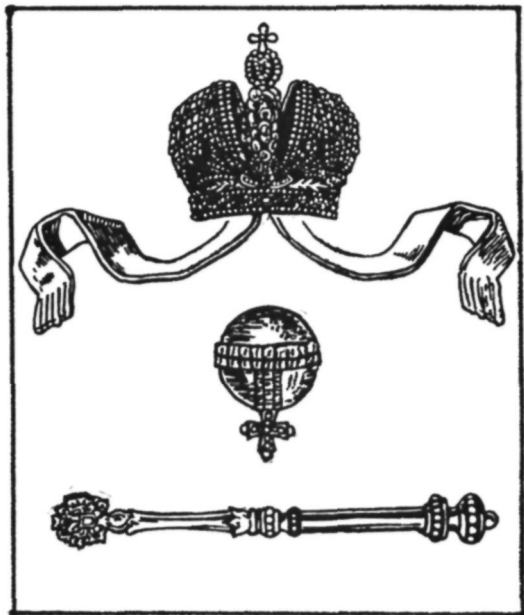
Всего в процессе работы было обнаружено около двадцати дел и отрывков дел по различным спорным случаям владения крестьянами, в том числе и о беглых и вывезенных крестьянах, и среди них указ, о существовании которого исследователи даже и не подозревали. Между тем в мае 1594 года действовал указ о пятилетнем сроке сыска в крестьянском владении и

вывозе. На него ссылался в обосновании своих владельческих прав один из новгородских помещиков: «А ныне твой государев указ: старее пяти лет во владенье и в вывозе суда не давать и не сыскивати. А яз, холоп твой, теми крестьянишками и бобылишками владею одиннатцать лет, а иными десять, а иными девять».

Ни в одном известном до сих пор летописном или публицистическом памятнике «смутного» времени не говорилось о законодательстве, отменившем крестьянский выход. Закрепощение трактовалось в них в бытовом плане как ряд насилий помещиков над крестьянами и холопами. Недавно мною были обнаружены уникальные летописные свидетельства о запрещении крестьянского выхода при Иване Грозном («заклятые блаженные памяти царя Ивана Васильевича») и о последующем закрепостительном законодательстве Бориса Годунова. Теперь исследователи получают возможность судить о сложном и во многом противоречивом процессе закрепощения, основываясь не только на отдельных законах, актах и судопроизводственных материалах, но и на показаниях современника-летописца. Оказывается, первые шаги по запрещению выхода были сделаны уже Иваном Грозным, издавшим в 1581 году указ о «заповедных летах», но они получили свое завершение лишь в указе царя Федора 1592—1593 годов, не только запретившем повсеместно выход, но и объявившем новые писцовые книги юридическим основанием крестьянской крепости.

Итак, найдены ссылки как на указ царя Ивана Грозного о «заповедных летах», так и на указ царя Федора о запрещении крестьянского выхода и учреждении писцовых книг. Теперь факт их существования не вызывает сомнений, но полный текст указов еще не обнаружен. Их еще предстоит разыскать.

<sup>1</sup> Летопись, содержащая, кроме того, ценные известия о восстании И. И. Болотникова и национально-освободительной борьбе русского народа против польско-шведских интервентов, публикуется частично в журнале «Вопросы истории» и полностью в «Археологическом ежегоднике».



Слева — царь Александр III.

Справа — В. В. Верещагин.  
Фрагмент картины «Шипка — Шейново».

Генерал М. Д. Скобелев.

**В. Б. Вилинбахов**

## Генерал «от пронунсименто»

Я в этом твердо уверен:  
в политике, как на войне,  
только невозможное — действительно возможно!

М. Д. Скобелев

26 июня 1882 года Москва была возбуждена молниеносно распространившимся известием: ночью в гостинице «Англия» скоропостижно умер генерал Скобелев.

Народ день и ночь толпился у отеля

Дюссо, куда было перевезено тело покойного. Когда гроб был поставлен в церковь Трех святителей на Арбате, мимо него в течение двух дней прошло более шестидесяти тысяч человек. В день выноса от церкви до вокзала весь путь, по которому следовала похоронная процессия, покрывали лавровые и дубовые листья. Улицы были переполнены народом. «Это шествие триумфатора, а не похороны генерала», — заметил один из очевидцев.

Такая же картина отмечалась и по всему пути следования траурного поезда от Москвы до Рязани. «Это было что-то до тех пор неслыханное, — пишет Немирович-Данченко. — Крестьяне кидали свои полевые работы, фабричные оставляли свои заводы — и все это валило к станциям, а то и так, к полотну дороги... За Москвой на несколь-



ко верст стояла густая масса народа... За городом сейчас же мост. Тут по обе стороны его не видно было окрестностей за людьми... Под мостом, где можно, тоже столпились они. У самого полотна многие стояли на коленях... Все это под жаркими лучами солнца, натомившись от долгого ожидания... Уже с первой версты поезду пришлось поминутно останавливаться. Каждое село являлось со своим причтом, со своими иконами. Крестьяне служили по пути сотни панихид... Большая часть сел вышла навстречу с хоругвями — совершенно исключительное и небывалое явление».

Михаил Дмитриевич Скобелев родился в 1843 году. Несмотря на то, что отец и дед его были генералами, род Скобелевых не принадлежал к числу знатных и вел свое

начало от однодворца Никиты Скобелева, который в XVIII веке дослужился до сержанта. Окончив Академию Генерального штаба, М. Д. Скобелев был направлен в Среднюю Азию, где сделал блестящую карьеру. Приехав туда в 1869 году капитаном Генерального штаба, через восемь лет он уехал в чине генерал-майора, генерал-адъютантом, награжденным золотым оружием и орденами св. Георгия 4-й и 3-й степеней.

Во время войны за освобождение Болгарии в 1877—1878 годах Скобелев прославился в боях под Плевной, во время форсирования Дуная и в особенности при переходе через Балканы и сражении Шип-

<sup>1</sup> В. И. Немирович-Данченко, Скобелев, ч. II. Спб., 1903, стр. 126—127.

ка — Шейново. Под именем «белого генерала» он был чрезвычайно широко известен в России и Болгарии.

Вскоре М. Д. Скобелев вновь был направлен в Среднюю Азию, где шли военные действия и его боевой талант мог найти себе применение. Кроме того, среди придворных кругов у молодого героя было достаточно много врагов, создавать которых он отлично умел, и его предпочитали держать подальше от столицы.

Во время Хивинского похода, когда войска Скобелева осаждали Геок-Тепе, произошло событие, на которое следует обратить внимание, как на первое звено в цепи таинственных обстоятельств, закончившихся трагедией в московской гостинице.

Летом 1880 года в столицу Восточной Румелии Филиппополь приехала мать Скобелева — Ольга Николаевна. Это была ее не первая поездка на Балканы. На этот раз она приехала, имея с собой громадную по тем временам сумму денег, что-то около миллиона рублей, нужных ей якобы для того, чтобы купить в Болгарии участок земли, на котором она хотела построить усадьбу и основать монастырь.

Ольга Николаевна разъезжала по стране, всюду восторженно встречаемая населением, чествовавшим ее, как мать национального героя. Она побывала в Карлово, Нову-Загоре, Казанлыке, Сливно и других городах. Во всех этих поездках ее постоянно сопровождал поручик Узатис.

Узатис родился в Нижнем Новгороде, в хорошо обеспеченной семье. Получил хорошее домашнее воспитание, свободно владел несколькими иностранными языками. Учился в Николаевском инженерном училище, из которого был исключен за какую-то юношескую шалость. В 1876 году добровольцем отправился в Черногорию и принял участие в военных действиях против турок. Во время войны за освобождение Болгарии поступил в русскую армию и служил в 16-й дивизии, которой командовал М. Д. Скобелев. В боях под Плевной обратил на себя внимание генерала. За храбрость был награжден несколькими боевыми орденами, включая высшую награду — орден св. Георгия 4-й степени, произведен в следующий чин и стал адъютантом Скобелева, очень ценившего храброго и исполнительного офицера. После окончания войны Узатис остался служить в частях русской армии, расквартированных на территории Болгарии. Здесь он принял деятельное участие в подготовке вооруженного восстания против турок в Македонии.

К моменту приезда О. Н. Скобелевой дело подготовки восстания зашло достаточно далеко. Узатис пользовался большим влиянием среди болгар и русских. Он славился своей честностью. Русский консул князь Церетелев настолько доверял ему, что неоднократно говорил: «Если бы у меня в консульстве было несколько миллионов денег, то в случае экстренной отлучки куда-нибудь я попросил бы Узатиса переселиться ко мне и быть на время моего отсутствия хранителем сокровища».

Однажды О. Н. Скобелева решила поехать в городок Чирпан и, как обычно, пригласила Узатиса сопровождать ее. Однако на этот раз поручик, сославшись на неотложные дела, отказался. Скобелева отправилась в путь в сопровождении горничной и унтер-офицера Иванова, взяв с собой для чего-то 46 тысяч рублей. Имея на руках такую крупную сумму, она почему-то поехала ночью, словно поездку нельзя было отложить на другой день.

Все это выглядит более чем странно. Создается определенное впечатление, что покупка земли под монастырь, ради которой якобы О. Н. Скобелева путешествовала по Болгарии, была лишь ширмой, скрывавшей истинные цели ее поездки. Скорее, пожалуй, эта поездка могла иметь отношение к деятельности тайных балканских организаций.

Однако это только предположения...

Недалеко от Филиппополя коляску Скобелевой неожиданно встретил Узатис, сопровождаемый двумя верными ему стражниками-черногорцами.

Ольга Николаевна остановила коляску. Узатис выхватил саблю и нанес удар.

Скобелева, горничная и кучер были убиты. Раненому Иванову, пользуясь темнотой, удалось скрыться. Добравшись до города, он поднял тревогу...

Погоня настигла Узатиса у мельницы на реке Дермен-дере. Окруженный со всех сторон, поручик застрелился, унося в могилу тайну своего преступления<sup>2</sup>.

М. Д. Скобелев, судя по всему, знал об истинных целях поездки матери в Болгарию, которые были связаны с какими-то далеко идущими планами. Один из биографов генерала пишет о том, что «носились даже слухи, будто Скобелев метит в болгарские князья. Слухи эти имели некоторое основание. О возможности своей кандида-

<sup>2</sup> См.: Н. Р. Овсяный, Русское правление в Болгарии в 1887—78—79 гг., т. III. Спб., 1907, стр. 95—98.

туры Скобелев сам говорил многим близким, и весьма вероятно, что его мать, Ольга<sup>3</sup> Николаевна, поддерживала этот план».

В какой-то степени был Скобелев связан и с македонскими националистами. Известно, например, что он предлагал образовать «болгарские четы» и бросить их в Македонию, чтобы вызвать турок на новую резню, которая могла бы послужить поводом для военного вмешательства России<sup>4</sup>.

Сохранилось, правда, письмо «белого генерала», в котором он неодобрительно отзывается о поездке своей матери. «...Матушка поехала в Болгарию, — пишет он, — я ей, впрочем, послал на днях телеграмму, чтобы она вернулась. Чего она там лазает по парламентам — только раздражает моих врагов, когда ей в парламенте кричат ура — как матери известного русского генерала»<sup>5</sup>.

Однако недовольство Скобелева, видимо, было вызвано не фактом поездки, которая, безусловно, предпринималась с его согласия, а какими-то неверными шагами, сделанными в Болгарии Ольгой Николаевной.

Скобелев был потрясен известием о смерти матери. Забыв о своих обязанностях главнокомандующего, он даже «просился на похороны». Александр II отказал в этой просьбе. И Скобелев поспешил отправить своему дяде, министру двора графу Адлербергу, покаянное письмо. «Он хорошо понял, — пишет генерал об императоре, — что мне нельзя было отлучаться, мне же теперь стыдно, что скорбь хоть на минуту смогла во мне заглушить чувство долга. Увы, случившегося не поправишь. Я чрезвычайно озадачен тем впечатлением, которое сделала на государя моя неуместная просьба, — если будет возможно, успокой меня».

Вскоре поход успешно закончился штурмом Геок-Тепе, и Скобелев вернулся в Россию.

Встреча победителей в Москве носила триумфальный характер. Свидетель этой манифестации московский генерал-губернатор князь В. А. Долгорукий язвительно отметил: «Я видел Бонапарта, возвращавшегося из Египта».

Удивительно, что эта реплика великолепно переключается с записью в дневнике, сделанной Мельхиором де Воюэ, который видел Скобелева перед его отъездом в Среднюю Азию. На обеде у М. Анненкова де Воюэ познакомился с представителями «элиты русского либерализма», среди которых был и «белый генерал». Отмечая

это, француз записал, что Скобелев «или будет убит, или возвратится из Азии, как Наполеон из Египта».

Случайно ли это совпадение?..

Иной была встреча «белого генерала» в Петербурге.

Несмотря на полученные им награды, чиновная столица отнеслась к победителю холодно. Пример подал новый самодержец Александр III, только что вступивший на престол после смерти убитого народовольцами отца — императора Александра II.

Он встретил генерала крайне сухо и даже не поинтересовался действиями экспедиционного корпуса. Вместо этого он высказал свое неудовольствие тем, что Скобелев не сберег жизнь молодого графа Орлова, убитого во время штурма Геок-Тепе, и презрительно спросил: «А какова была у вас, генерал, дисциплина в отряде?»

Прием получил широкую огласку.

«Об этом теперь говорят, — писал императору обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев, — и на эту тему поют все недовольные последними переменами. Я слышал об этом от людей серьезных, от старика Строгонова, который очень озабочен этим. Сегодня гр. Игнатьев сказывал мне, что Д. А. Милютин говорил об этом впечатлении Скобелева с некоторым злодством»<sup>6</sup>.

Вполне вероятно, что неприветливый прием в какой-то степени был связан с осложнениями между М. Д. Скобелевым и Петербургом, последовавшими сразу же после смерти Александра II, когда генерал имел намерение под предлогом болезни покинуть действующую армию и вернуться в Россию. Слухи об этом в то время упорно ходили по столице, и им по неизвестным нам причинам придавали большое значение. Так, английский посол Дюфферинг поторопился донести об этом в Лондон, а некоторые русские сановники уделяли данному обстоятельству значительное внимание в своей переписке и дневниковых записях.

<sup>3</sup> М. М. Филиппов, М. Д. Скобелев, Спб., 1894, стр. 71—72.

<sup>4</sup> См.: Ю. Карцев, Семь лет на Ближнем Востоке. 1879—86 гг. Спб., 1906, стр. 41.

<sup>5</sup> И. А. Чанцев, Скобелев как полководец. 1880—1881 гг. Спб., стр. 126.

<sup>6</sup> К. П. Победоносцев, Письма и заметки. М.—Пг., 1923, стр. 233.

Обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев, как мы уже видели, был чрезвычайно обеспокоен взаимоотношениями Скобелева с императором, которому он настойчиво советовал постараться привлечь на свою сторону «белого генерала». Его письмо Александру III, отрывок из которого цитировался нами выше, полно недомолвок и каких-то весьма странных намеков, скрывающих, судя по всему, за собой многое.

Вот что пишет Победоносцев:

«Я считаю этот предмет настолько важным (разрядка наша. — В. В.), что, рискуя навлечь на себя недовольство Вашего Величества, возвращаясь к нему, смею повторить снова, что Вашему Величеству необходимо привлечь Скобелева **сердечно**. Время таково, что требует крайней осторожности в приемах... Теперь время критическое для Вас лично: теперь — или никогда — привлечете Вы к себе и на свою сторону лучшие силы в России, людей, способных не только говорить, но самое главное — способных **действовать** в решительные минуты... Вот теперь, будто бы некоторые, нерасположенные к Вашему Величеству и считающие себя обиженными, шепчут Скобелеву: «Посмотрите, ведь мы говорили, что он не ценит прежних заслуг и достоинств». Надобно сделать так, чтобы это лукавое слово оказалось ложью, и не только к Скобелеву, но и ко всем, кто заявил себя действительным умением вести дело и подвигами в минувшую войну... Пускай Скобелев, как говорят, человек безнравственный... Скобелев, опять скажу, стал великой силой и приобрел на массу громадное нравственное влияние, (разрядка наша. — В. В.), то есть **люди ему верят и за ним следуют!** Это ужасно важно, и теперь важнее, чем когда-нибудь... Но Скобелев **ВПРАВЕ** ожидать, что все интересуются делом, которое он сделал, и что им прежде и более всех интересуется русский государь. Итак, если правда, что Ваше Величество не высказали в кратком разговоре с ним интереса этому делу, желание знать подробности его... Скобелев мог вынести из этого приема горькое чувство... Могу себе представить, что Вам неловко, несвободно, неспокойно со Скобелевым (разрядка наша. — В. В.) и что Вы старались сократить свидание. Мне понятно это чувство неловкости, соединенное с нерасположением видеть человека, и происходящая от

него неуверенность (разрядка наша. — В. В.)...»

Так Победоносцев никогда до и после этого не осмеливался писать Александру III. Каждая строчка письма наполнена страхом, заставляющим обер-прокурора забыть о почтительности, забыть о предосторожности придворного и настойчиво поучать императора хотя бы внешне изменить свое отношение к Скобелеву.

Не приходится сомневаться в том, что для этого должны были существовать весьма серьезные причины, поскольку в чем, в чем, а в неосторожности и опрометчивости Победоносцева обвинить никак нельзя. Это был осмотнительный человек, и идти на риск, обращаясь к императору с настойчивыми призывами вести себя благоразумно, могли заставить его только обстоятельства чрезвычайной важности.

Судя по некоторым воспоминаниям, М. Д. Скобелев «презирал и ненавидел» Александра III, а последний отвечал ему тем же. Уже летом 1881 года генерал был сильно настроен против нового императора и вынашивал в душе антиправительственные планы.

Встретив Скобелева в Париже вскоре после петербургских неприятностей, де Воюэ отметил, что тот был «пессимистом до последней степени» и способен выступить в роли Бонапарта. Он называет генерала «опасным сумасшедшим», который может наделать много бед, если обстоятельства будут ему благоприятствовать. При этом, пишет де Воюэ, «популярность «белого генерала» в России, безусловно, неизмеримо выше популярности царя».

Настроения М. Д. Скобелева, видимо, были хорошо известны и в правящих сферах Петербурга. Во всяком случае, 30 июля 1881 года граф П. А. Валуев делает в своем дневнике следующую запись: «Одно средство, по его (Скобелева. — В. В.) мнению, поправит наше экономическое (sic) и политическое положение. Даже — династический вопрос — немедленная война против Германии»<sup>8-9</sup>.

Позиция Скобелева в то время достаточно хорошо характеризуется рассказом барона Н. Врангеля, встретившегося с ним в Петербурге летом 1881 года. В один из вечеров, вспоминает Врангель, в домашнем кабинете генерала Дохтурова собралась до-

<sup>7</sup> M. de Vaugue, Journal, p. 256, 286, 294.

<sup>8-9</sup> П. А. Валуев, Дневник, 1877—1884 гг. Пг., 1919. стр. 170.

вольно большая компания. Здесь были Воронцов-Дашков, Черевин, Драгомиров, Щербатов, Скобелев и некоторые другие. Разговор, между прочим, зашел об Александре III. О «хозяине» отзывались не особенно лестно. Затем заговорили «о современном положении». Всем мало-мальски вдумчивым людям, по словам Врангеля, «уже тогда стало ясно, что самодержавие роет себе могилу». Воронцов оказался настроенным оптимистически, но можно было понять, что говорит он одно, а в душе не уверен, что все действительно обстоит благополучно.

Когда большинство гостей разъехалось, Скобелев, шагая по комнате и расправляя свои баки, возмущенно сказал: «Пускай себе толкуют! Слыхали уже эту песнь. А все-таки в конце концов вся их лавочка полетит тормашками вверх... Полетит, — смакуя каждый слог, повторил он. — И скатертью дорога. Я по крайней мере ничего против этого лично иметь не буду».

«Полетят, полетят, — ответил Дохтуров, — но радоваться этому едва ли придется. Что мы с тобой полетим вместе с ними, еще полбеды, а того смотри, и Россия полетит...»

«Вздор, — прервал Скобелев, — династии меняются или исчезают, а нации бессмертны».

«Бывали и нации, которые как таковые распадались, — заметил Дохтуров. — Но не об этом речь. Дело в том, что, если Россия и уцелеет, мне лично совсем полететь не хочется».

«И не летай, никто не велит».

«Как не велит?! Во-первых, я враг всяких революций, верю только в эволюцию и, конечно, против революции буду бороться, и, кроме того, я солдат и как таковой буду руководствоваться не моими симпатиями, а долгом, как и ты, полагаю».

«Я?! — почти крикнул Скобелев, но одумался и спокойно, посмеиваясь в усы, сказал: — В революциях, дружже, стратегическую обстановку подготавливают политики, а нам, военным, в случае чего, предстоит будет одна тактическая задача. А вопросы тактики, как ты сам знаешь, не предрешаются, а решаются во время самого боя, и предрешать их нельзя».

Во время поездки в Париж летом 1881 года «белый генерал» предпринял некоторые шаги для воплощения в жизнь своих внешнеполитических планов, направленных против Германии, в лице которой он видел наиболее вероятного противника Рос-



Гамбетта.

сии. Скобелев установил контакт с лидером французских республиканцев Гамбеттой, настроенным в пользу военного франко-русского союза. Переговоры имели сугубо частный характер, и подробности их остались неизвестными.

Однако они имели важные последствия для событий, которые развернулись позднее.

В январе 1882 года в Россию приехала Жюльета Адам, политический эмиссар французских республиканцев и близкий друг Гамбетты. Ее встреча со Скобелевым произошла в доме вождя московских славянофилов И. С. Аксакова, на которого эта политическая деятельница произвела «самое лестное» впечатление.

По словам Ж. Адам, Скобелев совершенно четко сформулировал свое впечатление от Парижа, где нет «настоящих патриотов», где, как и в России, все опасаются Бисмарка и подчиняются ему. В ответ на это она будто бы предложила генералу приехать во французскую столицу и открыто заявить, что враг — это немец. Скобелев



же якобы ответил, что он «боится Парижа, парижских газет».

В это же время, возможно даже, что в тот же день, М. Д. Скобелев сказал И. С. Аксакову, что «12-го в Петербурге состоится банкет для ознаменования взятия Геок-Тепе», что он, Скобелев, «намерен произнести речь и воззвать к патриотическому чувству России в пользу славян, против которых вооружаются в настоящее время мадьяры», и что он «хочет открыть подписку в пользу кривошиев»<sup>10</sup>.

Действительно, 12 января 1882 года на банкете в ресторане Бореля в Петербурге, устроенном в честь первой годовщины со дня штурма Геок-Тепе, М. Д. Скобелев произнес горячую речь, носившую открытый панславистский характер и направленную против Австро-Венгрии.

«...Мне, — сказал генерал, — остается сказать вам несколько слов; но здесь позвольте мне заменить бокал с вином стаканом с водою и попросить вас быть свидетелями, что ни я, да и никто из нас не говорил и не может говорить под влиянием ненормального возбуждения. Мы живем в такое время, когда даже кабинетные тайны плохо сохраняются, а сказанное в таком собрании, как нынешнее, так или иначе будет обнаружено, а потому предосторожность — дело не лишнее. Опыт последних лет убедил нас, что если русский человек случайно вспомнит, что он благодаря своей истории все-таки принадлежит к народу великому и сильному, если, боже сохрани, тот же русский человек случайно вспомнит, что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, ныне терзаемым и попираемым, тогда в среде доморожденных и заграничных иноплемеников поднимаются вопли негодования, и этот русский человек, по мнению этих господ, находится лишь под влиянием причин ненормальных, под влиянием каких-нибудь вакханалий. Вот почему, повторяю, прошу позволение опустить стакан с вином и поднять стакан с водою. И в самом деле, господа, престранное это дело, и почему нашим обществом и отдельными людьми овладевает какая-то странная робость, когда мы коснемся вопроса, для русского сердца вполне законного, являющегося результатом всей нашей тысячелетней истории. Причин к этому очень много, и здесь не место и не время их касаться; но одна из главных — та прискорбная рознь, которая существует между известною частью общества, так называемой интеллигенцией, и русским народом. Господа,

всякий раз, когда державный хозяин Русской земли обращался к своему народу, народ оказывался на высоте его призвания и исторических потребностей минуты; с интеллигенцией же не всегда было то же, и если в трудные минуты кто-либо банкротился перед царем, то, конечно, та же интеллигенция. Полагаю, что это явление вполне объяснимо: космополитический европеизм не есть источник силы и может быть лишь признаком слабости. Силы не может быть вне народа, и сама интеллигенция есть сила только в неразрывной связи с народом. Господа, сегодня, в день падения Геок-Тепе, вспоминая о павших товарищах, о доблести войск, неволью проситесь наружу чувство доброе, святое. Один из славнейших ветеранов великой эпохи наполеоновских войн, маршал Бюжо, имел обыкновение говорить, что на войне убивают одних и тех же. Мое солдатское сердце и недавний опыт подсказывают мне, что здесь собрались именно такие, о которых говорил маститый маршал. Вот почему в солдатской среде мои слова будут приняты только посолдатски, как не имеющие ничего общего с политикой в данную минуту.

Господа, в то самое время, когда мы здесь радостно собрались, там, на берегах Адриатического моря, наших единоплеменников, отстаивающих свою веру и народность, именуют разбойниками и поступают с ними как с таковыми! Там, в родной нам славянской земле, немецко-мадьярские винтовки направлены в единоеверные нам груди...

Я не договариваю, господа... Сердце болезненно щемится. Но великим утешением для нас — вера и сила исторического признания России...»<sup>11</sup>.

Речь вызвала широкую огласку, и правительство Австро-Венгрии высказало свое неудовольствие, расценивая слова Скобелева как вмешательство во внутренние дела империи. Александр III также крайне неодобрительно отнесся к высказываниям «белого генерала». Управляющий министерством иностранных дел Гирс принес австрийскому правительству «изъявления своего сожаления по поводу этой застольной речи Скобелева». В «Правительственном вестнике»

<sup>10</sup> А. Ф. Тютчева, При дворе двух императоров, т. II. М., 1929, стр. 231.

<sup>11</sup> Д. Д. Кашкарев, Взгляды на политику, войну, военное дело и военных М. Д. Скобелева. СПб., 1893, стр. 243—245.

было опубликовано соответствующее разъяснение, а генералу было предложено незамедлительно взять заграничный отпуск.

Выступление в ресторане Бореля было, вне сомнений, заранее обдуманым демаршем. Об этом свидетельствуют не только воспоминания А. Ф. Тютчевой, приведенные выше, но и другие данные. В руках Н. Н. Кнорринга, автора интересной работы о Скобелеве, был черновик речи, написанный рукой генерала. В нем были набросаны тезисы и сформулированы наиболее острые места и даже сделаны указания на то, когда следует взять в руку вместо бокала с вином стакан с водой<sup>12</sup>.

Вполне вероятно, наконец, что к этой речи, так же как и к последующей парижской, приложил руку граф Игнатьев, вдохновитель либерального направления. Во всяком случае, в дневнике военного министра Д. А. Милютина можно найти такую запись: «Наконец, третий рассказ — будто бы после смерти Скобелева при разборке бумаг, оставшихся в его кабинете в Минске (где корпусные квартиры 4-го корпуса), нашли черновые политических речей, произнесенных Скобелевым в Петербурге и Париже, с пометками рукою Игнатьева. Все это странно, но не лишено вероятия»<sup>13</sup>.

В речи, произнесенной в Петербурге, конечно, кажутся странными резкие нападки на интеллигенцию, противопоставление ее русскому народу. Особенно странными представляются они в устах человека такой высокой культуры, каким был Скобелев, прекрасно владевший почти всеми основными европейскими языками, великолепно знавший литературу, искусство и т. п. Однако внутренний смысл этих нападок вполне объясним. С одной стороны, здесь проявилось отрицательное отношение Скобелева к революционному движению. С другой стороны, его слова были явно обращены к простому народу, популярность в глазах которого он стремился прежде всего завоевать, видя в нем главную опору для своих планов.

Речь была выдержана в откровенных славянофильских тонах, и это тоже не должно вызывать удивления, так как известно, насколько близок к московским славянофилам был М. Д. Скобелев.

Однако верить всему тому, что говорил Скобелев, нет никаких оснований. Это был человек, который придерживался широко известной поговорки Галейрана: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». Недаром его друг, известный

художник-баталист В. В. Верещагин, в своем письме к брату 30 мая 1881 года писал: «Скобелев говорит так, как дельфийский оракул, не скоро поймешь, что он хочет сказать»<sup>14</sup>.

Обращает внимание, что речь была произнесена в тот момент, когда в высших сферах группой либерально настроенных сановников был поднят вопрос о Земском соборе<sup>15</sup>. Действия либералов одобряли славянофилы, мнения которых в печати выражал И. С. Аксаков. Против рьяно выступала группа ближайших приближенных императора во главе с К. П. Победоносцевым<sup>16</sup>.

Судя по всему, М. Д. Скобелев был тесно связан с либеральным политическим направлением и, возможно, являлся сторонником самых крайних мер. Так, П. Кропоткин в своих воспоминаниях пишет: «Из посмертных бумаг Лорис-Меликова, часть которых обнаружена в Лондоне другом покойного, видно, что когда Александр III вступил на престол и не решился созвать земских выборов, Скобелев предлагал даже Лорис-Меликову и графу Игнатьеву («Лгунпаше», как прозвали его константинопольские дипломаты) арестовать Александра III и заставить его подписать манифест о конституции. Как говорят, Игнатьев донес об этом царю и, таким образом, добился назначения министром внутренних дел»<sup>17</sup>.

При этом Кропоткин ссылается на книгу «Конституция Лорис-Меликова», изданную Лондонским фондом в 1893 году. Правда, если мы познакомимся с этим сочинением, то, к своему удивлению, не обнаружим в нем никаких материалов о предложении Скобелева Лорис-Меликову организовать государственный переворот. Но откуда Кропоткин почерпнул свои сведения и почему

<sup>12</sup> Н. Н. Кнорринг, Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, ч. II. Париж, 1939, стр. 223—224.

<sup>13</sup> Д. А. Милютин, Дневник, т. IV. М., 1950, стр. 249.

<sup>14</sup> ЛПБ, рукописный отдел, ф. 137, В. В. Верещагин, л. 22.

<sup>15</sup> Земский собор — центральное сословно-представительное учреждение Руси XVI—XVII веков. В конце прошлого века русская либерально настроенная общественность надеялась с помощью сословно-представительного собора заменить характер самодержавного строя.

<sup>16</sup> См.: С. Г. Сватиков. Из эпохи реакции (1880—1895 гг.). М., 1917, стр. 52—53.

<sup>17</sup> П. Кропоткин, Записки революционера. Спб., 1906, стр. 400.

он ссылается на вполне конкретное издание? Нет оснований предполагать, что он умышленно приводит неверные данные. Материалы Лорис-Меликова изданы русским эмигрантским революционным издательством, к деятельности которого был близок и П. Кропоткин. Возможно, что он видел документы еще до их появления в свет и записал в своем дневнике об обратившем на себя внимание предложении Скобелева. При окончательном же редактировании книги эти документы по каким-то соображениям были изъяты.

Такой вариант тем более мог быть возможным, что в рассказе самого Лорис-Меликова о свидании со Скобелевым, переданном А. Ф. Кони, содержатся определенные намеки на решительное настроение генерала.

Летом 1881 года, рассказывал Лорис-Меликов, Скобелев телеграфировал в Элису о желании встретиться. Местом свидания был назначен Кельн. Здесь генерал встретил Лорис-Меликова в специально подготовленном вагон-салоне.

«Встретил на дебаркадере с напускной скромностью, окруженный все какими-то неизвестными, — продолжает Лорис-Меликов. — Умел играть роль!.. Когда мы остались одни в вагоне вдвоем со Скобелевым, я ему говорю: «Что, Миша? Что тебе?» — он стал волноваться, плакать, негодовать: «Он (то есть Александр III, принимая Скобелева после Ахал-Теке) меня даже не посадил!» — и затем пошел, пошел нести какую-то нервную ахинею, которую совершенно неожиданно закончил словами: «Михаил Тариелович, вы знаете, когда поляки пришли просить Бакланова о большей мягкости, он им сказал: господа, я аптекарь и отпускаю лишь те лекарства, которые предпишет доктор (Муравьев); обращайтесь к нему. То же говорю и я! Дальше так идти нельзя, и я ваш аптекарь. Все, что прикажете, я буду делать беспрекословно и пойду на все. Я не сдам корпуса, а там все млеют, смотря на меня, и пойдут за мной всюду. Я ему устрою так, что если он придет смотреть 4-й корпус, то на его «здорово, ребята» будет ответом гробовое молчание. Я готов на всякие жертвы, располагайте мною, приказывайте. Я ваш аптекарь...»

Я отвечаю ему, что он дурит, что все это вздор, что он служит России, а не лицу, что он должен честно и прямодушно работать и что его способности и влияние еще понадобятся на нормальной службе и т. д. Внушал ему, что он напрасно расчи-

тывает на меня, но он горячился, плакал и развивал свои планы крайне неопределенно очень долго. Таков он был в июле 1881 года. Ну, и я не поручусь, что под влиянием каких-нибудь других впечатлений он через месяц или два не предложил бы себя в аптекари против меня. Это мог быть роковой человек для России — умный, хитрый и отважный до безумия, но совершенно без убеждений».

Следовательно, летом 1881 года М. Д. Скобелев, видимо, действительно вынашивал какие-то планы насильственного принуждения Александра III пойти на либеральные реформы и ограничение самодержавной власти. С Лорис-Меликовым он, конечно, не был откровенным до конца, именно поэтому планы его, по словам министра, были неопределенными. Зная Скобелева, можно с полной уверенностью утверждать, что он великолепно понимал то, что хотел. Его же поведение во время разговора в Кельне было всего-навсего хорошо разыгранным спектаклем, целью которого прежде всего была проверка взглядов и настроений либерального министра.

Отрицательное отношение М. Д. Скобелева ко всему, что происходило в стране, как мы уже видели, было хорошо известно, и он не делал из этого большой тайны. К этому можно добавить еще несколько характерных высказываний генерала. В одном из разговоров со своим начальником штаба, генералом М. Л. Духониним, он говорил: «А внутри у нас! Что делается внутри — ведь это ужас! Мы еще отвоевываем независимость другим племенам, даруем им свободу, а сами! Разве вы и я — не рабы? Настоящие рабы — бесправные парии, бессильные, разобщенные, вечно подозреваемые...»

У Скобелева, судя по всему, была собственная детально разработанная программа перестройки всех сторон жизни в России. Над этой программой он много думал, работал, оттачивал ее в мельчайших деталях. В одном из своих писем И. С. Аксакову Скобелев писал: «Для вас, конечно, не осталось незамеченным, что я оставил все, более, чем когда-либо, проникнутый сознанием необходимости служить активно нашему общему святому делу, которое для меня, как и для вас, тесно связано с возрождением пришибленного ныне русского самосознания. Более, чем прежде, ознакомься с нашей эмиграцией, я убедился, что основанием общественного недуга в значительной мере является отсутствие всякого доверия к положению наших дел. Доверие

это мыслимо будет лишь тогда, когда правительстве даст серьезные гарантии, что оно бесповоротно ступило на путь народный, как внешней, так и внутренней политики, в чем пока и друзья и недруги имеют полное основание болезненно сомневаться».

В другом письме Скобелев писал: «Эта будничная жизнь тяготит. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Совсем нет ощущений. У нас все замерло. Опять мы начинаем переливать из пустого в порожнее. Угасло недавнее возбуждение. Да и как его требовать от людей, переживших позор Берлинского конгресса<sup>18</sup>. Теперь пока нам лучше всего молчать — осрамились вконец».

Скобелев считал, что только подъем национализма и православия может укрепить русское государство и даст ему новые силы. «История нас учит, — указывал он, — что самосознанием, проявлением народной инициативы, поклонением народному прошлому, народной славе, в особенности же усиленным уважением, воскрешением в массе народа веры отцов во всей ее чистоте и неприкосновенности можно воспламенить угасшее народное чувство, вновь создать силу в распадающемся государстве»<sup>20</sup>.

Его взгляды и настроения становились известными многим и, видимо, часто служили предметом оживленных обсуждений. Так, почти сразу же после речи на обеде в ресторане Бореля граф Валуев записал в своем дневнике: «Генерал Скобелев произнес на ахалтекинском обеде невозможную речь. Он начинает походить на испанского генерала, с будущим pronuncients в карма-не»<sup>21</sup>. Любопытно, что примерно таким же образом именовали Скобелева и в кругу его ближайших друзей, о чем Валуев, конечно, знать не мог. Друзья часто как бы в шутку называли «бедого генерала» «господин первый консул»<sup>22</sup> или «генерал от пронунсименто». Такое совпадение говорит о многом, и, вероятно, сам М. Д. Скобелев был уверен, что история предназначает ему соответствующую политическую роль.

Вскоре после своего выступления в Петербурге Скобелев по распоряжению императора должен был взять заграничный отпуск и отправиться в Париж. По дороге туда он встретился со своим старым приятелем В. В. Верещагиным. Вспоминая об этой встрече, тот писал:

«Последний раз виделся я с дорогим Михаилом Дмитриевичем в Берлине, куда он приехал после известных слов в защиту братьев-герцеговинцев, сказанных в Петербурге. Мы стояли в одной гостинице, хозя-

ин которой сбился с ног, доставляя ему различные газеты с отрывками. Кроме переборки газет, у Скобелева была еще другая забота: надобно было купить готовое пальто, так как заказывать не было времени; масса этого добра была принесена из магазина, и приходилось выбирать по росту, виду и цвету.

— Да посмотрите же, Василий Васильевич! — говорил он, поворачиваясь перед зеркалом. — Ну как? Какая это все немецкая дрянь, черт знает!

С грехом пополам остановился он, с одобрения моего и еще старого приятеля его Жиранде, который с ним вместе приехал, на каком-то гороховом облачении: признаюсь, однако, после, на улице, я покался — до того несчастно выглядела в нем красивая и представительная фигура Скобелева.

Во время этого последнего свидания я крепко журил его за несвоевременный, по мнению моему, вызов австрийцам; он защищался так и сяк и, наконец, как теперь помню, это было в здании панорамы, что около Генерального штаба, осмотревшись и уверившись, что кругом нет «любопытных», выговорил:

— Ну, так я тебе скажу, Василий Васильевич, правду — они меня заставили, кто они, я, конечно, помолчу.

Во всяком случае, он дал мне честное слово, что более таких речей не будет говорить...»<sup>23</sup>.

Однако можно совершенно точно сказать, что, произнося свое покаяние, Скобелев явно кривил душой. Во-первых, совершенно невозможно представить, чтобы такого храброго и волевого человека, каким был он, кто-то мог заставить говорить то, что ему не нравилось. Ну, а во-вторых, очень скоро генерал нарушил данное Верещагину

<sup>18</sup> Берлинский конгресс был созван в июне—июле 1878 года для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Турцией. Подписанный 13 июля великими державами Берлинский трактат изменил условия Сан-Стефанского договора в ущерб России и славянским народам, что вызвало сильное возмущение русской общественности.

<sup>19</sup> Б. Эсзаде, Памяти М. Д. Скобелева. «Скобелевский сборник», 1908, № 1, стр. 58.

<sup>20</sup> «Русская старина», 1882, июль, стр. 229.

<sup>21</sup> В. П. Валуев, ук. соч., стр. 181.

<sup>22</sup> См. Ю. Карцев, ук. соч., стр. 95.

<sup>23</sup> В. В. Верещагин, Воспоминания о М. Д. Скобелеве. «Русская старина», 1889, май, стр. 410.

слово и выступил с новым, еще более резким заявлением.

Знаменитый художник, видимо, забыл, что имеет дело с «дельфийским оракулом».

В Париж Скобелев приехал во второй половине января 1882 года, в дни падения министерства Гамбетты. Он сразу же понял политическую ситуацию и отметил в письме к Маслову, что «падение министерства произвело переполох, но значение Гамбетты, как передового деятеля в государстве, не поколеблено, и думаю, что было бы близоруко нам, русским, теперь в особенности от него отворачиваться».

При этом он все-таки, видимо, боялся, что возможности политического характера значительно уменьшились. Так в письме тому же Маслову от 2 февраля генерал пишет, что «несметно скучает» и что, «не будь крайняя необходимость окончательно выяснить счета покойной матушки, думал бы о возвращении в 4-й корпус... Невмоготу бездействовать, а с последними правительственными переменами во Франции круг доступного для меня стал уже».

Последнее письмо определенно свидетельствует о том, что Скобелев приехал во Францию с конкретными политическими планами, невозможность немедленно осуществить которые нервировала его.

Несмотря на первоначальную неуверенность, генерал вскоре взял себя в руки и, видимо, принял решение действовать. Возможно, что этому способствовала Ж. Адам, дом которой он постоянно посещал, встречаясь здесь с французскими националистами.

В начале февраля произошла восторженная встреча М. Д. Скобелева с жившими в Париже сербскими студентами, которые 5 (17) числа преподнесли ему благодарственный адрес. Обращаясь к ним с ответной речью, «белый генерал» заявил:

«Мне незачем говорить вам, друзья мои, как я взволнован, как я глубоко тронут вашим горячим приветствием. Клянусь вам, я подлинно счастлив, находясь среди юных представителей сербского народа, который первый развернул на славянском востоке знамя славянской вольности. Я должен откровенно высказаться перед вами, — я это делаю.

Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще и своей славянской миссии в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости от

иностранного влияния. **У себя мы не у себя.** Да! Чужестранец проник нас своей политикой, мы — жертва его интриг, рабы его могущества. Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным, гибельным влиянием, что, если когда-нибудь, рано или поздно, мы освободимся от него, — на что я надеюсь, — мы сможем это сделать не иначе, как **с оружием в руках!**

Если вы хотите, чтобы я назвал вам этого чужака, этого самозванца, этого интригана, этого врага, столь опасного для России и для славян... я назову вам его.

Это автор «натиска на Восток» — он всем вам знаком — это Германия. Повторяю вам и прошу не забыть этого: враг — это Германия. Борьба между славянством и тевтонами неизбежна...

Она даже очень близка.

Она будет длительна, кровава, ужасна, но я верю, что она завершится победой славян...

Что касается вас, то естественно, что вы жаждете узнать, как должно вам поступить, ибо кровь у вас уже льется. Я не буду много говорить об этом, но могу вас заверить, что если будут задеты государства, признанные европейскими договорами, будь то Сербия или Черногория... одним словом, вы... вы не будете биться в одиночку. Еще раз благодарю, и, если то будет угодно судьбе, до свидания на поле битвы плечом к плечу против общего врага»<sup>24</sup>.

Как видно, в этой речи с предельной ясностью была сформулирована внешнеполитическая программа М. Д. Скобелева — Германия основной враг России и славянства, военное столкновение между ними неизбежно, и к этому надо готовиться во всех отношениях. Он поистине не зря именовался оракулом, ясно видя предстоящую кровавую грозу двух мировых войн.

На другой день Скобелев принял в своей квартире на улице Пентьвер, 2 корреспондента «Le Voltaire» Поля Фрешнэ, в беседе с которым вновь подтвердил свою политическую позицию, сказав: «Я действительно произнес речь, вызвавшую некоторую сенсацию, и вот я только что получил от моего адъютанта следующую выдержку из газеты: «Государь император только что дал

<sup>24</sup> «Речь ген. Скобелева в Париже, 1882 г.», «Красный архив», т. XXVII, 1928, стр. 219—220.

одному из строящихся на Каспийском море судов имя «Генерал Скобелев». Оказание мне этой чести, крайне редкой, доказывает, что я отнюдь не в милости и что, следовательно, я нахожусь здесь по своей доброй воле. Но если бы моя откровенность и сопровождалась неприятными для меня последствиями, я все-таки продолжал бы высказывать то, что я думаю. Я занимаю независимое положение, — пусть меня только призовут, если возникнет война, остальное мне безразлично. Да, я сказал, что враг — это Германия, я это повторяю. Да, я думаю, что спасение в союзе славян — заметьте, я говорю: славян — с Францией. Надо достигнуть этого. Надо достичь равновесия, но уже не в том виде, как это понимал г. Тьер, потому что в том виде, в каком оно существовало, оно уже нарушено. Надо его восстановить.

Германия — великая пожирательница, это нам известно, и вы сами, вы особенно, вы, увь! слишком хорошо это знаете. Восточный вопрос имеет большое, огромное значение. Именно через разрешение этого вопроса и может быть восстановлено то равновесие, о котором я говорил, — в противном случае, останется лишь одна держава — Германия. Я сказал и повторяю, что я верю в благополучное разрешение, которого я страстно хочу. Я особенно верю в то, что, наконец, поймут истину — что между Францией и славянами должен быть заключен союз. Для нас — это средство восстановить нашу независимость. Для вас же — это средство занять то положение, которое вами утрачено.

Вот подлинно, что я думаю, — сказал в заключение генерал, — вы можете рассказать об этом, но все же в интересах того большого дела, осуществление коего я всегда буду добиваться, не надо создавать вокруг меня много шума»<sup>25</sup>.

Все эти высказывания не были импровизацией, а явились следствием долгих размышлений и как бы явились завершением разработанной Скобелевым политической программы.

На Германию, как на врага номер один, он указывал неоднократно, задолго до того, правда, указывал в частных беседах и письмах. Во время одного из разговоров с А. Ф. Тютчевой Скобелев вспоминал о том, что: «Когда в прошлом году при вступлении на престол государя мы присягали в верности самодержавию, мы делали это в надежде и с твердым убеждением, что новое царствование откроет эру национальной политики и что правительство не будет

больше продавать Германии интересов России. И что же, — с жаром говорил он, — вот мы опять на том же скользком пути и накануне того, чтобы принести в жертву Пруссии и Австрии Россию и ее интересы в славянских землях»<sup>26</sup>.

В августе 1881 года Скобелев писал М. Н. Каткову: «До сих пор наше отечественное несчастье главным образом, как мне кажется, происходило не от ширины замыслов, а от неопределенности и изменчивости нашего политического идеального предмета действий. Эта неопределенность об руку с денежной недобросовестностью тяжелым бременем легла на всем строе государства...»<sup>27</sup>.

«Меня больше всего бесит наша уступчивость этим колбасникам, — вспоминает адъютант Скобелева Дукмасов его слова. — Даже у нас в России мы позволяем им безнаказанно делать все что угодно. Даем им во всем привилегии, а отчего же и не брать, когда наши добровольно все им уступают, считая их более способными... А они своею аккуратностью и терпением, которых у нас мало, много выигрывают и постепенно подбирают все в свои руки... А все-таки нельзя не отдать им справедливости, нельзя не уважать их, как умных и ловких патриотов. Они не останавливаются ни перед какими препятствиями, ни перед какими мерами, если только видят пользу своего фатерланда. Наша нация этим истинным и глубоким патриотизмом не может похвалиться! Нег у нас таких патриотов, как, например, Бисмарк, который высоко держит знамя своего отечества и в то же время ведет на буксире государственных людей чуть не всей Европы... Самостоятельности у нас мало в политике!»<sup>28</sup>.

Речь к сербским студентам вызвала отклик во всей Европе, быстро докатившийся до берегов Невы.

Сразу же после появления речи в печати русский посол в Париже князь Орлов отправил донесение о ней министру иностранных дел Гирсу. «Посылаю вам почтой речь генерала Скобелева с кратким донесением, — писал посол. — Генерал этот в сво-

<sup>25</sup> «Речь ген. Скобелева в Париже, 1882 г.», стр. 221.

<sup>26</sup> А. Ф. Тютчева, ук. соч., т. 2, стр. 230.

<sup>27</sup> Д. Д. Кашкарев, ук. соч., стр. 27.

<sup>28</sup> П. Дукмасов. Воспоминания о русско-турецкой войне 1877—78 гг. и М. Д. Скобелева. СПб., 1889, стр. 455.

их выступлениях открыто изображает из себя Гарибальди. Необходимо строго воздействие, доказать, что за пределами России генерал не может безнаказанно произносить подобные речи и что один лишь государь волен вести войну или сохранять мир. Двойная игра во всех отношениях была бы гибельна. Московская (тут явная ошибка, надо «Петербургская». — В. В.) его речь не была столь определена, как обращение к сербским студентам в Париже»<sup>29</sup>.

Германская печать тем временем подняла невообразимый шум.

Находившийся в Крыму бывший военный министр Д. А. Милютин отмечал в эти дни в своем дневнике: «Газеты всей Европы наполнены толками по поводу неудачных и странных речей Скобелева — петербургской и парижской. Не могу себе объяснить, что побудило нашего героя к такой выходке. Трудно допустить, чтобы тут была простая невоздержанность на язык, необдуманная, безрассудная болтовня; с другой стороны, неужели он намеренно поднял такой переполох во всей Европе только ради ребяческого желания занять собою внимание на несколько дней? Конечно, подобная эксцентрическая выходка не может встревожить ни берлинское, ни венское правительства при существующих отношениях между тремя империями; тем не менее самое возбуждение общественного мнения такими речами, какие произнесены Скобелевым, вызывает болное место в настоящем политическом положении Европы и те черные точки, которых надобно опасаться в будущем. Любопытно знать, как отнесутся к выходкам Скобелева в Петербурге»<sup>30</sup>.

Официальный Петербург был чрезвычайно встревожен парижскими событиями, или, вернее говоря, откликом на них в Германии и Австро-Венгрии. 8 (20) февраля 1882 года государственный статс-секретарь Е. А. Перетц отмечал, что: «Речь Скобелева к парижским студентам, произнесенная против Германии, волнует петербургское общество»<sup>31</sup>. Примерно в эти же дни граф Валуев записал в своем дневнике: «Невозможное множится... После речи здесь ген. Скобелев сервировал новую поджигательную речь в Париже, выбрав слушателями сербских студентов»<sup>32</sup>. Александр III был в страшном гневе. Его дядя, председатель Государственного совета великий князь Константин Николаевич, сочувственно относившийся к Скобелеву, даже не решался заговорить с ним на эту тему. В «Правительственном вестнике» было опубликовано специальное заявление, в ко-

тором русское правительство осуждало выступление Скобелева.

«По поводу слов, сказанных генерал-адъютантом Скобелевым в Париже посетившим его студентам, — говорится в заявлении, — распространяются тревожные слухи, лишенные всякого основания. Подобные частные заявления от лица, не уполномоченного правительством, не могут, конечно, ни влиять на общий ход нашей политики, ни изменить наших добрых отношений с соседними государствами, основанных столь же на дружественных узах венценосцев, сколько и на ясном понимании народных интересов, а также и на взаимном строгом выполнении существующих трактатов»<sup>33</sup>.

В Париж было послано распоряжение, приказывающее Скобелеву немедленно вернуться в Россию. 10 (22) февраля граф Орлов докладывал: «Я сообщил генералу Скобелеву высочайшее повеление возвратиться в Петербург. Несмотря на лихорадку, которой он болен, он выедет завтра и поедет, минуя Берлин, о чем я предупредил нашего посланника». Через два дня последовало новое донесение: «Генерал Скобелев выехал вчера вечером. Ему указана дорога через Голландию и Швецию, дабы избежать проезда через Германию».

Опасения русских дипломатов имели основание, поскольку общественное мнение Германии было сильно возмущено Скобелевым. Беспристрастный наблюдатель, англичанин Марвин, посетивший в эти дни Петербург и бывший проездом в Берлине, свидетельствует, что: «По всему пути в разговорах только и слышалось, что имя Скобелева. В Берлине имя его повторялось в речах и беседах всех классов общества».

Иным, естественно, было отношение французской общественности, многие представители которой были чрезвычайно обрадованы смелыми словами «белого генерала».

Вскоре после обращения к сербским студентам Скобелев посетил Ж. Адам. Нечего и говорить, что ее восторженное отношение

<sup>29</sup> «Речь ген. Скобелева в Париже, 1882 т.», стр. 218.

<sup>30</sup> «Дневник Д. А. Милютина», т. IV, стр. 127.

<sup>31</sup> «Дневник Е. А. Перетца». М.—Л., 1927, стр. 125.

<sup>32</sup> «П. А. Валуев, Дневник», Пг., 1919, стр. 183.

<sup>33</sup> «Правительственный вестник», 1882, № 29.

к нему после всего происшедшего удвоилось.

По словам Ж. Адам, незадолго до этого свидания она получила из России письмо, в котором было сказано: «Не доверяйте Скобелеву. Он желает сделать Европу казацкой и господствовать в ней». Сверх того, ей писали, что Скобелев деятельно готовится свою кандидатуру на болгарский престол.

Ж. Адам, недолго думая, показала письмо генералу.

Он был смущен, огорчен и удручен этим сообщением.

«— Неужели подобные глупости могут вас печалить? — спросила Ж. Адам.

— Да! — серьезно и задумчиво ответил Скобелев. — Бывают подозрения, которых можно избежать одним путем — путем смерти. Бывают минуты, когда я готов на самоубийство.

— Какие ужасные слова!

— Мне отвратительны эти подозрения! — сказал генерал».

Разговор, безусловно, любопытный, но весьма сомнительный, чтобы он был открытым. В нем интереснее всего то, что Скобелев, видимо чувствуя опасность избранного пути, впервые заговорил о смерти, к мысли о которой, как мы увидим дальше, он возвращается неоднократно.

Скобелев несколько раз уверял, что происшедшее не входило в его планы, что он стал жертвой газетной сенсации, что якобы, когда утром он прочитал свою речь в газете, то немедленно пошел в редакцию «Нувель ревю», но там его встретили словами: «Простите, но умоляем вас: не отказывайтесь от ваших слов», — потому что такая речь, такие слова о Германии сейчас крайне важны для Франции, потому что никто из французов не решился бы сейчас сказать этих слов по адресу своего врага.

Примерно так же смотрел на это и Гамбетта, признавший Скобелеву во время их встречи 20 февраля, что эта речь «уже оказала им, французам, великую пользу, воспламенив сердца патриотическим жаром и возбудив надежды на союз с Россией». При этом он отметил, что в своей газете был вынужден ради политической осторожности «осуждать бестактность генерала».

Разговор касался большего круга политических проблем, интересовавших обе стороны. М. Д. Скобелев с обычной для него актуальностью записал вкратце эту беседу: «Моя речь сербским студентам со слов Г. возбудила большое патриотическое воодушевление. Необходимо как нам, так и

французам работать над разрушением в воображении людей страха германской легенды... Гамбетта говорил, — продолжает Скобелев, — о том, что государь окружен людьми неспособными за исключением Игнатьева, который для него загадка. Игнатевист ли он или патриот? Говорил о необходимости к коронации стать на почву Земского собора...»

По словам И. С. Аксакова, Скобелев перед отъездом из Парижа еще раз виделся с Гамбеттой и обедал у него вместе с генералом Галиффе. Речь шла опять о сближении России и Франции. По возвращении в Россию Скобелев сделал для Аксакова запись своих парижских впечатлений на шести страницах, но напечатаны они были только в отрывках<sup>34</sup>.

Вполне вероятно, что Гамбетта готов был использовать Скобелева в своей политической игре для возбуждения военного конфликта с Германией. По крайней мере де Вюгюэ, посетивший 28 февраля Гамбетту, высказывает твердое убеждение, что тот хотел войны, надеясь втянуть в нее Россию.

Однако Скобелева провести было не просто, да и сам он, произнося речь, вполне определенно преследовал конкретные цели. За это свидетельствует хотя бы его версия всей этой истории. Мы уж говорили, что Скобелев неоднократно пытался отрицать преднамеренность своего выступления перед сербскими студентами. Он пытался внушить это даже своим единомышленникам и друзьям. Так, например, И. С. Аксакову он писал: «Ее я, собственно, никогда не произносил. Да и вообще никакой речи не говорил. Пришла ко мне сербская молодежь на квартиру, говорили по душе и, конечно, не для печати. Фар напечатал то, что ему показалось интересным для пробуждения французского общества и со слов студентов, меня не спрося».

Я бы мог формально отказаться от мне приписываемой речи, но переубедили меня и Гамбетта и мадам Адам. Первый особенно настаивал на ее полезном впечатлении в молодежи, армии и флоте; так как в конце концов все сказанное в газете «Франция» сущая правда и, по-моему, могло повести не к войне, а к миру, доказав, что мы — сила, — то я и решился не обращать внимания на последствия лично для меня и молчанием дать развиваться полезно, т. е. пробуждению как у нас, так и

<sup>31</sup> «Русь», 1883, № 1.



во Франции законного и естественного недоверия к немцу».

Спустя некоторое время, вспоминая парижскую речь, М. Д. Скобелев говорил уже совершенно иным образом: «Я сказал ее по своему убеждению и не каюсь... Слишком мы уж малодушничаем. И поверьте, что если бы мы заговорили таким языком, то Европа, несомненно, с большим вниманием отнеслась бы к нам».

Наконец, заканчивая рассказ о событиях в Париже, следует привести письмо графа Капниста русскому министру иностранных дел Гирсу, написанное примерно через месяц после отъезда Скобелева. «Теперь, когда улеглось первоначальное волнение, вызванное выступлением генерала Скобелева, — пишет Капнист, — можно уже определенно утверждать, не боясь впасть в преувеличение, что его речь наделала много шума во Франции и приняла размеры подлинного политического события. Необходимо также отметить, что инцидент этот был встречен во Франции с чувством полнейшего удовлетворения... Разговаривая однажды с моим другом военным, поэтом Полем Дерулендом, сказала мне г-жа Адам, мы должны были себе признаться, в нашей интимной беседе с глазу на глаз, что в настоящее время во Франции только мы двое и составляем всю партию реванша. Несколько времени спустя та же дама говорила мне по поводу речи генерала Скобелева: «Вы понимаете, что я, с точки зрения французских интересов, могла лишь поддержать генерала в предпринятой им кампании. Франция от всего этого может лишь оказаться в выигрыше. Пусть Россия сама судит о том, насколько это в ее интересах»<sup>35</sup>.

Политические друзья Скобелева в России, совершенно определенно замешанные в этой истории, Игнатъев и Аксаков, искренне или притворно, поспешили отказаться от своего участия в предпринятых генералом демаршах. Каждый из них счел за благо обратиться с письмом к всеильному обер-прокурору Святейшего синода Победоносцеву с заверениями о своем неучастии и отрицательном отношении к происшедшим во Франции событиям.

«Душевно уважаемый Константин Петрович, — писал граф Игнатъев, — Скобелев меня глубоко огорчил, сказав невозможную речь в Париже каким-то сербским студентам. Он ставит правительство в затруднение своим бестактным поведением»<sup>36</sup>.

«Спасибо тебе за письмо, которое дышит искреннею патриотическою тревогою, — вторит ему Аксаков, — но ты

напрасно тревожишься. Я вовсе не одобряю парижской речи или нескольких слов, сказанных Скобелевым в Париже студентам, и, как ты увидишь, перепечатав их вместе с телеграммой корреспондента «Кельнской газеты» (что сделали и «Моск. ведомости»), воздержался от всякой оценки. Но я в то же время не понимаю и не разделяю того испуга, который овладел Петербургом, отчасти и тобою. Даже показывать вид, что мы боимся шумихи, поднятой иностранными газетами, — это плохая политика»<sup>37</sup>.

Между тем политическая деятельность М. Д. Скобелева в Париже не ограничилась произнесением речи, интервью и переговорами с французскими республиканцами. Им была предпринята также вполне определенная попытка установить связь с руководителями русской революционной эмиграции.

Дело происходило таким образом. «Вскоре по приезде Скобелева в Париж к П. Л. Лаврову явился спутник Скобелева, состоявший при нем в звании официального или частного адъютанта, и передал Лаврову следующее от имени своего патрона: генералу Скобелеву крайне нужно повидаться с Петром Лавровичем для переговоров о некоторых важных вопросах. Но ввиду служебного и общественного положения Скобелева ему очень неудобно прибыть самолично к Лаврову. Это слишком афишировало бы их свидание, укрыть которое при подобной обстановке было бы очень трудно от многочисленных глаз, наблюдающих за ними обоими. Ввиду этого он просит Лаврова назначить ему свидание в укромном нейтральном месте, где они могли бы обсудить на свободе все то, что имеет сказать ему Скобелев. Петр Лавров, этот крупный философский ум и теоретик революции, в делах практики и революционной политики оказывался очень часто настоящим ребенком. Он наотрез отказался от предлагавшегося ему свидания, и, так как в ту минуту в Париже не оказалось никого из достаточно компетентных и осведомленных революционеров (народовольцев), которым он мог бы сообщить о полученном им предложении, на этом и кончилось де-

<sup>35</sup> «Речь ген. Скобелева в Париже, 1882 г.», стр. 223—225.

<sup>36</sup> К. П. Победоносцев. Письма и заметки. М.—Пг., 1923, стр. 83.

<sup>37</sup> Там же, стр. 275.



Граф М. Т. Лорис-Меликов.



Генерал М. И. Драгомиров.

ло. Впоследствии, в 1885 году, мне, — вспоминает С. Иванов, — пришлось говорить с Петром Лавровичем об этом инциденте и выразить сожаление, что Лавров отклонил подобное свидание и не использовал такой благоприятный случай.

— Да помилуйте! — воскликнул Лавров с искренним, неподдельным изумлением. — Ну об чем бы стал я говорить с генералом Скобелевым!»<sup>38</sup>

Эта попытка Скобелева установить контакт с одним из вождей народолюбцев, видимо, в какой-то степени была связана с теми отношениями, которые в это время стали устанавливаться у некоторых генералов с членами военной организации партии «Народная воля». Известно, в частности, что в 1882 году «майором Тихоцким велись в Петербурге беседы на политические темы с генералом Драгомировым, занимавшим тогда пост начальника Николаевской академии Генерального штаба. Разговоры эти, которые касались, между прочим, вопроса о задачах военной революционной организации, Драгомиров заключил, по словам Тихоцкого, следующей до-

словную фразу: «Что же, господа, если будете иметь успех — я ваш»<sup>39</sup>.

Э. А. Серебряков в своих мемуарах пишет: «Буцевич завел связи с некоторыми из высокопоставленных лиц. Не могу теперь вспомнить, каким образом и под каким предлогом он заручился обещанием известного генерала Драгомирова дать статью о русской армии для нелегального издания»<sup>40</sup>.

Но ведь Драгомиров, как это хорошо известно, был еще со времен русско-турецкой войны одним из наиболее близких к Скобелеву из числа высших руководителей армии. Жена Драгомирова вспоминала: «Мне всегда казалось, что М. Д. Скобелев ощущал нравственную моральную силу Михаила Ивановича, уважал и любил его, насколько мог уважать и любить кого-ли-

<sup>38</sup> С. Иванов, К характеристике общественных настроений в России в начале 80-х годов. «Былое», 1907, № 9/21, стр. 199.

<sup>39</sup> С. Иванов, ук. соч., стр. 199.

<sup>40</sup> Э. А. Серебряков, Революционеры во флоте. «Беседа», 1907, № 4, стр. 198—199.

бо»<sup>41</sup>. Поэтому вполне естественно сделать предположение, что предпринятые «белым генералом» шаги в отношении Лаврова в значительной степени связаны с теми переговорами, которые велись Драгомировым в Петербурге.

Скобелев, конечно, не был революционером и, безусловно, ни в коей мере не сочувствовал идеалам «Народной воли». Его попытки установить связь с подпольем диктовались совершенно иными соображениями. В связи с этим целесообразно привести письмо «известного писателя» (мы думаем, что речь идет о В. И. Немировиче-Данченко, бывшем в близких отношениях со Скобелевым), которое было опубликовано в книге В. Я. Богучарского о политическом движении в России конца прошлого века<sup>42</sup>.

Вот что говорится в этом письме: «Я только из вашей статьи узнал, что в 1882 г. Скобелев искал в Париже свидания с Лавровым. В половине 80-х годов я, однако, слышал в Петербурге, что он через... (идет имя одного в то время считавшегося большим «либералом», но впоследствии таким вовсе не оказавшегося) генерала (похоже, что речь идет о М. И. Драгомирове. — В. В.) пробовал закинуть ниточку в революционные кружки. Это тогда меня не особенно удивило. Чтобы понять Скобелева, надо помнить, что это был не только человек огромного честолюбия, но, когда надо было, и политик — политик даже в тех случаях, когда могло казаться, что он совершает политические безтактности. В последние годы он, несомненно, создал себе такое *sredo*: правительство (в смысле старого режима) отжило свой век, оно бессильно извне, оно также бессильно и внутри. Что может его низвергнуть? Конституционалисты? Они слишком слабы. Революционеры? Они тоже не имеют корней в широких массах. В России есть только одна организованная сила — это армия, и в ее руках судьбы России. Но армия может подняться лишь как масса, и на это может ее подвинуть лишь такая личность, которая известна всякому солдату, которая окружена славой сверхгероя. Но одной популярной личности мало, нужен лозунг, понятный не только армии, но и широкому массам. Таким лозунгом может быть провозглашение войны немцам за освобождение и объединение славян. Этот лозунг делает войну популярною в обществе. Но как ни слабы революционные элементы, и их, однако, игнорировать не следует, — по меньшей мере как отрицатель-

ная сила они могут создать известные затруднения, а это нежелательно. В известных случаях Скобелев мог говорить о борьбе с «нигилизмом», но на самом деле вряд ли он об этом думал. Движущая и важнейшая цель у него была другая, и она всегда поглощала его»<sup>43</sup>.

Такова скорее всего была истинная причина всех этих странностей на первый взгляд событий. «Цель оправдывает средства!» — лозунг вполне приемлемый для «белого генерала», любившего повторять: «Всякая гадина может когда-нибудь пригодиться. Гадину держи в решпекте, не давай ей много артачиться, а придет момент — пусти ее в дело и воспользуйся ею в полной мере... Потом, коли она не упорядочилась, выбрось ее за борт!.. И пускай себе захлебывается в собственной мерзости... Лишь бы дело сделала!»

Ожесточенный шум на всю Европу и грозный окрик разгневанного самодержца, судя по всему, не испугали М. Д. Скобелева, а может быть, это и было то, чего он усиленно добивался. Правда, в Петербург он ехал готовый ко всему. По дороге из Вильно генерал писал одному из своих друзей: «Наскоро пишу несколько слов, вероятно, до очень скорого свидания, так как меня известили, что меня ожидает неудовольствие государя и отставка. Какую пользу в отставке я смогу принести отечеству, об этом поговорим позже».

Несколькими днями раньше, из Варшавы, он обращался к И. С. Аксакову со следующим посланием: «Спокойно вглядываясь в положение дел, я предвижу отставку. Пруссаки давно этого добиваются, как я знаю с того дня, когда перед Геоктепинским походом я отказался наотрез допустить к войскам племянника графа Мольтке, причем прямо высказал мнение, что позорно на прусской крови и деньгах учить будущего неприятельского офицера. Моя патриотическая совесть мне и теперь подсказывает, что я был прав, но в Берлине к этому не привыкли, да и не любят».

Следует отметить, что в это время «немец» стал для Скобелева и его друзей своеобразным защитным цветом. Все не-

<sup>41</sup> С. А. Драгомирова, Скобелев, «Исторический вестник», 1915, март, стр. 797.

<sup>42</sup> В. Я. Богучарский, Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века. М., 1912.

<sup>43</sup> В. Я. Богучарский. ук. соч., стр. 164.

приятности объяснялись только одним — немецкими происками. Вся «травля», по выражению Скобелева, после возвращения в Россию, выражавшаяся, например, в запрещении «офицерам конногвардейского полка принять от него обед в ответ на два обеда, которыми был удостоен»; запрет «послать свой портрет для помещения в дежурной комнате Австрийского полка, как того просили офицеры», рассматривались им как якобы «иллюстрация силы немецкой партии».

Друзья Скобелева придерживались подобного же мнения. В. Чичерин в одном из своих писем к нему даже опасался, как бы «какой-нибудь проклятый немец его не подстрелил».

Все это необычайно усиливало популярность «белого генерала», то есть происходило именно то, к чему он так стремился и чего он так упорно добивался. Речь в Париже сработала в этом отношении отлично.

«Какое назначение может возвысить вас, — пишет ему О. А. Новикова, — разве вы уже не стоите выше всевозможных чиновников и министров?»

«Ради бога, береги себя, — беспокоится В. Чичерин, — ты теперь принадлежишь еще более, чем когда-либо, России. Я, как старая нянька, пишу тебе, не сердись за глупые слова, но ты знаешь, что люблю тебя —

И вашей славою и вами,  
Как нянька старая горжусь».

Действительно, народная популярность Скобелева в последние месяцы жизни достигала невиданного до сих пор масштаба, часто принимая совершенно необычные для России того времени формы. Если возвращение из Туркестана было триумфальным шествием полководца, то поистине царские встречи Скобелева населением во время маневров 4-го корпуса не имели прецедентов.

Народ встречал «белого генерала» с хлебом-солью, а в Могилеве, где стояла 16-я дивизия, команда которой он проделал Балканский поход, въезд Скобелева в город поздно вечером происходил при свете факелов, среди стоявших шпалерами войск. Выйдя из экипажа, генерал шел с непокрытой головой по улицам, запруженным людьми. Весьма своеобразной была и встреча в Бобруйске, где навстречу вышло все духовенство, возглавляемое каноником Сенчиковским.

Преклонение перед Скобелевым принимало в некоторых случаях мистический характер, доходя порой до курьезов. «В июле приехал в Москву государь Александр III с государыней, — вспоминает В. Ф. Духовская, — делая смотр войскам на Ходынском поле... После смотра государь пригласил всех начальников частей на завтрак в Петровский дворец. Весь двор дворца был запружен экипажами, многие из свиты государя заходили к нам, в том числе и Скобелев, который поцеловал мне руку, на что моя мама воскликнула: «Какая ты счастливая», а другая восторженная дама стала осматривать мою руку, не оказалась ли на ней звезды после прикосновения губ героя»<sup>44</sup>.

Вернемся, однако, в Петербург.

Военный министр генерал Ванновский встретил М. Д. Скобелева выговором, но последний, «как высокопревосходительный (Ванновский только превосходительный), принял это очень фамильярно и сказал, что он сам сожалеет»<sup>45</sup>. Столь же благополучно обошлась и встреча с императором, во время которой Скобелеву каким-то образом удалось отвести от себя его гнев.

Предоставим слово генералу Витмеру, которому об этой встрече рассказывал дежурный свитский генерал. Император, «когда доложили о приезде Скобелева, — вспоминает Витмер, — очень сердито приказал позвать приехавшего в кабинет. Скобелев вошел туда крайне сконфуженным и — по прошествии двух часов вышел веселым и довольным». Витмер добавляет (передавая быстро распространившееся тогда общее мнение): «Нетрудно сообразить, что если суровый император, не любивший шутить, принял Скобелева недружелюбно, то не мог же он распекать целых два часа! Очевидно, талантливый честолюбец успел заразить миролюбивого государя своими взглядами на нашу политику в отношении Германии и других соседей»<sup>46</sup>.

В. И. Немирович-Данченко пишет об этом свидании: «В высшей степени интересен рассказ его (Скобелева. — В. В.) о приеме в Петербурге. К сожалению, его нельзя еще передать в печати. Можно сказать только одно — что он выехал отсюда

<sup>44</sup> В. Ф. Духовская. Из моих воспоминаний. Спб., 1900, стр. 132.

<sup>45</sup> Г. А. де Воллан, Очерки прошлого (дневник за 1882 г.). «Голос минувшего», 1914, № 6, стр. 143.

<sup>46</sup> «Русская старина», 1908, т. XXXVI, стр. 696.

полный надежд и ожидания на лучшее для России будущее»<sup>47</sup>.

Но в действительности не все было столь хорошо и гладко. Правительство запретило военным служащим произнесение публичных речей. Это решение произвело на Скобелева отрицательное впечатление, и в один момент он даже собирался подать в отставку. Его от этого решения отговорил генерал Обручев, сказавший, что этим он поставит императора в затруднительное положение. Обозленный Скобелев на это ответил: «Неужели вы ожидаете чего-нибудь от ...?»

Во время своего пребывания в Петербурге Скобелев стремился усыпить подозрения не только самого Александра III, но и других влиятельных государственных деятелей. Известно, что он специально заводил разговоры о своих речах с таким, например, министром, как граф П. А. Валуев. У них произошло два «случайных» разговора в Английском клубе. Инициатором оба раза был генерал, к которому Валуев относился с большим подозрением. Скобелев, не жалея красноречия, внушал министру, что его речи, а также поездка в Париж, Женеву и Цюрих были продиктованы лучшими побуждениями — поднять воинственный патриотизм для того, чтобы с помощью его содействовать успеху борьбы с нигилизмом и тем самым укрепить положение царствующей династии.

Результатом этих разговоров было то, что недоверчивый и осторожный Валуев, которому никак нельзя отказать в уме, поддался красноречивым заверениям Скобелева и поверил в то, что основными мотивами его поступков действительно была только ненависть к радикализму. Настолько обаятельным и прямодушным, когда это было надо, мог казаться «белый генерал».

После внешних успехов в Петербурге настроение Скобелева стало еще более тревожным. Он, вероятно, понимал, что идет по ниточке и каждую минуту может сорваться. Его мучали дурные предчувствия.

Примечательным в этом плане представляется его разговор с Дукмасовым, любимым адъютантом, во время Балканской кампании. «Это постоянное напоминание о смерти Михаилом Дмитриевичем, — пишет тот, — крайне дурно действовало на меня, и я даже несколько рассердился на генерала.

— Что это вы все говорите о смерти! — сказал я недовольным голосом. — Положим, это участь каждого из нас, но вам

еще слишком рано думать о могиле... Только напрасно смущаете других. Ведь никто вам не угрожает смертью!

— А почему вы знаете? Впрочем все это чепуха! — прибавил он быстро.

— Конечно, чепуха! — согласился я»<sup>48</sup>.

Не менее характерны и воспоминания В. И. Немировича-Данченко, в которых находим следующий рассказ: «Смерть неожиданная... неожиданная для других, но никак не для него... Я уже говорил о том, как он не раз выражал предчувствия близкой кончины друзьям и интимным знакомым. Весною прошлого года (то есть 1882-го. — В. В.), прощаясь с доктором Щербаком, он опять повторил то же самое.

— Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!..

Приехав к себе в Спасское, он заказал паныхиду по генералу Кауфману.

В церкви он все время был задумчив, потом отошел в сторону, к тому месту, которое выбрал сам для своей могилы и где лежит он теперь, непонятный в самой смерти.

Священник, о. Андрей, подошел к нему и взял его за руку.

— Пойдемте, пойдемте... Ранно еще думать об этом!..

Скобелев очнулся, заставил себя улыбнуться.

— Ранно?... Да, конечно, ранно... Повоюем, а потом и умирать будем!..

Прощаясь с одним из своих друзей, он был полон тяжелых предчувствий.

— Прощайте!

— До свидания!..

— Нет, прощайте, прощайте... Каждый день моей жизни — отсрочка, данная мне судьбой. Я знаю, что мне не позволят жить (подчеркнуто нами. — В. В.). Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну, так я вам скажу: судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди и кончают всегда роковым образом... Бог пошадил меня в бою... А люди... Что же, может быть, в этом искушение. Почему знать, может быть, мы ошибаемся во всем и за наши ошибки расправляются другие!..

И часто, и многим повторял он, что смерть уже сторожит его, что судьба готовит ему неожиданный удар».

<sup>47</sup> В. И. Немирович-Данченко, ук. соч., ч. 2, стр. 146.

<sup>48</sup> П. Дукмасов, ук. соч., стр. 457.

Согласитесь, что все эти разговоры кажутся весьма странными. Создается впечатление, что речь идет не о предчувствии, а о каких-то вполне конкретных подозрениях, основанных на точных и имеющих основание данных.

За это свидетельствует и то, что М. Д. Скобелев, видимо, предполагал, что его переписка служит предметом пристального внимания со стороны соответствующих органов. Так, в письме от 21 мая 1882 года И. С. Аксаков жалуется генералу: «Хотел бы вам писать по почте, но к этому способу корреспонденции при чудовищном развитии праздного любопытства в почтовом ведомстве прибегаю неохотно».

В мае 1882 года Скобелев последний раз посетил Париж. Здесь он, по словам де Вогиюэ, продолжал фрондировать по отношению к Александру III, открыто высказывая свое неодобрение внутренней и внешней политикой правительства и весьма пессимистически высказываясь о будущей судьбе России.

Вернувшись из Франции, М. Д. Скобелев начал лихорадочно готовиться к чему-то. Посетившему его князю С. С. Оболенскому «белый генерал» заявил, что собирается ехать в Болгарию, где вскоре начнется настоящая война. «Но надо взять с собою много денег, — добавил он, — я все процентные бумаги свои реализую, все продам. У меня на всякий случай будет миллион денег с собою. Это очень важно — не быть связанным деньгами, а иметь их свободными. И это у меня будет: я все процентные бумаги обращаю в деньги...»<sup>49</sup>

Через несколько дней после этого С. С. Оболенский вновь навестил Скобелева в Петербурге. Тот отдавал распоряжения о продаже бумаг, облигаций, золота, акций и т. п.

«Все взято из государственного банка, все продано, и собирается около миллиона, — сказал Михаил Дмитриевич, — да из Спасского хлеб продается — он в цене, будет и весь миллион».

Когда к нему обратились с просьбой дать займы 5000 рублей, обычно исключительно щедрый и добрый, Скобелев отказал.

«Не могу дать никаким образом, — ответил он, — я реализовал ровно миллион и дал себе слово до войны самому не трогать ни копейки из этого миллиона. Кроме жалованья, я ничего не проживаю, а миллион у меня наготове, на случай — будет надобность ехать в Болгарию».

Разговоры о Болгарии, конечно, не стоили и выведенного яйца, это была обычная маскировка «дельфийского оракула». Деньги нужны были для чего-то совершенно иного. Речь шла не о войне, а какой-то политической комбинации, для которой необходимо было иметь на руках совершенно свободные наличные деньги.

Для чего?

Об этом можно только гадать.

Получив месячный отпуск, 22 июня 1882 года М. Д. Скобелев выехал из Минска, где стоял штаб 4-го корпуса, в Москву. Его сопровождали несколько штабных офицеров и командир одного из полков барон Розен. По обыкновению он остановился в гостинице «Дюссо», предполагая, как, во всяком случае, говорилось, 25-го выехать в Спасское, где генерал думал пробыть «до больших маневров» и куда он приглашал приехать погостить генерала Гродекова.

В день своего приезда в Москву, 25-го числа, Скобелев встретился с князем С. С. Оболенским. По словам последнего, генерал был не в духе, не отвечал на вопросы, а если и отвечал, то как-то отрывисто. По всему было видно, что его что-то тревожило.

«Да что с вами, наконец? — спросил Оболенский. — Сердитесь из-за пустяков. Вам, должно быть, нездоровится?»

Скобелев ответил не сразу.

«Да что, — задумчиво протянул он, меряя шагами небольшой кабинет «Славянского Базара», — мои деньги пропали...»

«Какие деньги? — удивился князь. — Бумажник украли у вас?»

«Какой бумажник! Мой миллион... Весь миллион пропал бесследно».

«Как? Где?»

«Да и сам ничего не знаю, не могу ни до чего добраться... Вообразите себе, что Иван Ильич (Маслов, крестный отец Скобелева, очень близкий к нему человек. — В. В.) реализовал по моему приказанию все бумаги, продал золото, хлеб и... сошел с ума на этих днях. Я и не знаю, где теперь деньги. Сам он невеняем, ничего не понимает. Я несколько раз упорно допрашивал его, где деньги. Он в ответ чуть не лает на меня из-под дивана. Впал в полное сумасшествие... Я не знаю, что делать...»

<sup>49</sup> С. С. Оболенский. Наброски из прошлого. «Исторический вестник», 1895, январь, стр. 102.

Однако весь этот рассказ не внушает большого доверия, и история с миллионом продолжает оставаться и по сей день одной из многочисленных тайн, окружающих имя «белого генерала».

24 июня Скобелев был у И. С. Аксакова и оставался у него до 11 часов вечера. Он принес с собой связку каких-то документов и просил сохранить их, сказав при этом: «Боюсь, что у меня их украдут. С некоторых пор я стал подозрителен».

На другой день состоялся обед, устроенный бароном Розеном в честь получения очередной награды. За столом находилось шесть-семь человек. В том числе, кроме Скобелева и Розена, адъютант генерала Эрдели, военный доктор Вернадский, личный врач Михаила Дмитриевича, бывший адъютант полковник Баранок и еще кто-то<sup>50</sup>.

Скобелева во время обеда не покидало мрачное настроение.

«А помнишь, Алексей Никитич, — обратился он к Баранку, — как на похоронах в Геок-Тепе поп сказал — слава человеческая, аки дым преходящий... подгулял поп, а... хорошо сказал».

После обеда М. Д. Скобелев отправился в гостиницу «Англия»...

Около полуночи здесь начался переполох.

М. Д. Скобелев ужинал в отдельном кабинете с одной или двумя дамами полусвета.

Внезапно ему стало дурно.

Пока бегали за врачом, «белый генерал» умер.

Вскрытие производил прозектор Московского университета профессор Нейдинг. В протоколе было сказано: «Скончался от паралича сердца и легких, воспалением которых он страдал еще так недавно».

Никогда раньше на свое сердце Скобелев не жаловался, хотя его врач во время Туркестанского похода, О. Ф. Гейфельдер, и находил у генерала признак сердечной недостаточности. «Сравнительно с ростом и летами, — говорит он, — пульс у Скобелева был слабоват и мелкий, и соответственно тому деятельность сердца слаба, и звуки сердца, хотя и частые, но глухие. Этот результат аускультации и пальпации, состояние всех вен и артерий, насколько они доступны наружному осмотру, вместе с патологическим состоянием вен, дали мне основание заключить о слабо развитой сосудистой системе вообще и в особенности о слабой мускулатуре сердца»<sup>51</sup>.

Однако при этом, в известной степени

опровергая свое заключение, Гейфельдер отмечает совершенно необыкновенную выносливость и энергию Скобелева, который мог сутками находиться на коне, совершать длительные переходы, сохраняя бодрость и способность после этого не спать по нескольку суток. Это не вяжется со сделанным заключением и позволяет предполагать, что в действительности сердечная система Скобелева не была в столь плохом состоянии, чтобы стать причиной преждевременной смерти.

Мало верили в официальную версию и большинство современников Скобелева. Характерно брошенное вскользь замечание В. И. Немировича-Данченко: «Не тогда ли у него стала развиваться болезнь сердца, сведшая его в раннюю могилу, если только эта болезнь у него была?» (Подчеркнуто нами. — В. В.)<sup>52</sup>.

Клубок легенд и слухов вокруг трагедии в московской гостинице стал расти, как только распространилась весть о случившемся. Высказывались самые различные, взаимоисключающие друг друга предположения, но все они в конечном итоге сводились к одному — смерть М. Д. Скобелева не была естественной, а связана с таинственными обстоятельствами, имевшими прямое отношение к высокой политике.

Одни говорили об убийстве, другие о самоубийстве.

Передавая широко муссируемый в России слух, одна из европейских газет писала, что «генерал совершил этот акт отчаяния, чтобы избежать угрожавшего ему бесчестия вследствие разоблачений, удостоверяющих его в деятельности нигилистов»<sup>53</sup>.

Большинство, однако, склонялось к тому, что Скобелев был убит.

Наиболее распространенным было мнение, что «белый генерал» пал жертвой германской ненависти. Присутствие при его смерти немки Ванды придавало этим слухам, казалось, большую достоверность<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> П. Агапеев, Из воспоминаний о генерале М. Д. Скобелеве. «Русская старина», 1914, № 10, стр. 85.

<sup>51</sup> О. Ф. Гейфельдер, Воспоминания врача о М. Д. Скобелеве, 1880—1881 гг. «Русская старина», 1886, № 10, стр. 398.

<sup>52</sup> В. И. Немирович-Данченко, ук. соч., ч. 1, стр. 41.

<sup>53</sup> «Gaulois», 10 juillet, 1882 г.

<sup>54</sup> Вл. Марков, Из воспоминаний о белом генерале. «Русская старина», 1913, февраль. стр. 436.

Особенно отстаивала данную версию Ж. Адам. Она утверждала, что в ее распоряжении имеются бесспорные доказательства в виде соответствующих документов, из которых следует, что М. Д. Скобелев был отравлен двумя кокотками, специально подосланными из Берлина. Однако все попытки Н. Н. Кнорринга познакомиться с этими документами окончились безрезультатно. Наследники Ж. Адам сказали, «что в ее архиве никаких следов о ген. Скобелеве вообще не обнаружено»<sup>55</sup>. Это весьма странно, поскольку сама Ж. Адам много писала об этих материалах, якобы хранящихся у нее.

«Замечательно, — отмечает Е. Толбухов, — что и в интеллигентных кругах держалось такое же мнение. Здесь оно выражалось даже более определенно: назывались лица, которые могли участвовать в этом преступлении, направленном будто бы Бисмарком... Этим же сообщением Бисмарка приписывалась пропража плана войны с немцами, разработанного Скобелевым и выкраденного тотчас после смерти М. Д. из его имения»<sup>56</sup>.

Поддерживал эту версию и личный друг царя, один из вдохновителей реакции, князь Н. Мещерский, писавший в 1887 году Победоносцеву: «Со дня на день Германия могла наброситься на Францию, раздавить ее. Но вдруг благодаря смелому шагу Скобелева сказались впервые общность интересов Франции и России, неожиданно для всех и к ужасу Бисмарка. Ни Россия, ни Франция не были уже изолированы. Скобелев пал жертвою своих убеждений, и русские люди в этом не сомневаются. Цели еще многие, но дело было сделано»<sup>57</sup>.

Интересно здесь не то, что спустя пять лет после смерти Скобелева Мещерский намекает на германскую разведку, а то, что этот весьма осведомленный человек признает, что Михаил Дмитриевич умер неестественной смертью.

По другой версии, М. Д. Скобелев был отравлен бокалом вина, присланным ему из соседнего номера какой-то подгулявшей компанией, пившей за здоровье «белого генерала». В этом случае дело объясняется уже не немцами, а происками самого императора Александра III.

Дюбок передавал впоследствии, что буд-то бы в связи с антиправительственной деятельностью Скобелева был учрежден особый тайный суд под председательством великого князя Владимира Александровича, который большинством 33 голосов из 40 приговорил генерала к смерти, причем ис-

полнение приговора было поручено полицейскому чиновнику»<sup>58</sup>.

В. И. Немирович-Данченко, глубоко убежденный в том, что Скобелев был убит агентами «священной дружины», утверждает, что убийство было совершено по приговору, подписанному одним из великих князей и графом Б. Шуваловым, личным другом императора и влиятельным руководителем «дружины»<sup>59</sup>.

Ю. Карцев сообщает в своих воспоминаниях другой вариант. «По другой версии, — пишет он, — Скобелев убит ординарцем своим М. и по наущению священной дружины. Этот офицер занимал при нем амплуа *intendant des menus plaisirs* и не пользовался уважением других приближенных. М. А. Хитрово мне рассказывал, как, возвращаясь с похорон Скобелева, он был свидетелем следующей сцены. На одной из станций Баранок (впоследствии известный ревизор военного хозяйства) по какому-то поводу подошел к М. и сбил с него фуражку. М. обратился к Хитрово с вопросом, должен ли он поступок Баранка счесть за оскорбление или нет, на что Хитрово ответил: «Ничего не могу вам посоветовать. Это зависит от взгляда». Оргию в *Hotel d'Angleterre* устраивал М. и часа за два приехал предупредить Михаила Дмитриевича: все, дескать, готово. Что М. был негодяй, это более чем вероятно, но отсюда до обвинения его в убийстве еще далеко. Деятели священной дружины, насколько мне случалось их наблюдать, более помышляли о чинах и придворных отличиях: взять на себя деяние кровавое и ответственное они бы не решились...»

И вот тут стоит усомниться в высказываниях, вернее, соображениях Карцева. «Священная дружина» была куда более решительной и страшной организацией, нежели это представляется ему.

После убийства народовольцами Александра II в состоянии полной растерянности

<sup>55</sup> Н. Н. Кнорринг, ук. соч., стр. 274.

<sup>56</sup> Е. Толбухов, Скобелев в Туркестане. «Исторический вестник», 1916, октябрь, стр. 108.

<sup>57</sup> К. П. Победоносцев, Письма и заметки, стр. 727.

<sup>58</sup> «Голос минувшего», 1917, № 5—6, стр. 102.

<sup>59</sup> «На кладбищах. Воспоминания». Ревель, 1921, стр. 69.

<sup>60</sup> Ю. Карцев, ук. соч., стр. 95—96.



находилась не только императорская семья, но и весь правящий мир. Петербург был полон слухов о новых готовящихся покушениях. Террористов искали даже в великокняжеских дворцах. Победоносцев, один из немногих не потерявших голову, указывал на Мраморный дворец великого князя Константина Константиновича как на главный источник «крамолы» и писал, что не успокоится до тех пор, пока не будет выслана из России княгиня Юрьевская, морганатическая супруга покойного императора. Грубейшее суеверие усиливало панику в придворных кругах. Распространялись слухи, что покойный Александр II бродит по Казанскому собору и предвещает своему сыну близкую смерть.

В этой атмосфере панического страха перед революцией и отчаянной борьбой за власть и родилась идея «священной дружины». Идея заключалась в образовании особого тайного общества убежденных монархистов, которые повели бы в подполье контрреволюционную террористическую борьбу, выслеживали бы революционеро-народовольцев, узнавали тайны и убивали наиболее опасных заговорщиков.

«Священная дружина» совмещала в себе черты Третьего отделения, масонских лож и подпольных организаций. Состав центрального комитета этой организации до сих пор не известен полностью. Вероятно, в него входили и сам император и великий князь Владимир Александрович, бывший начальник Петербургского военного округа. Руководители вербовались из высшего дворянства, преимущественно из придворной аристократии. Все они значились под цифрами, а не под именами. Для непосредственной работы в Петербурге и Москве были образованы «попечительства», в которые привлекались и представители финансовой и промышленной буржуазии. Дальше шли «пятерки», куда могли ходить и люди более простого происхождения. В провинции были организованы «инспектуры», ведавшие, в свою очередь, системой тайных «пятерок». Все вступавшие в «священную дружину» приносили очень пространную и торжественную присягу, в которой ради спасения царя обязывались даже отречься в случае необходимости от семьи. Была организована и шпионская служба в виде бригад сыщиков и заграничной агентуры<sup>61</sup>.

Конспирация в «дружине» была налажена настолько хорошо, что ее история вплоть до сегодняшнего дня остается в значительной степени неизвестной. Деятельность «дружины» одно время приобрела довольно

значительный размах и привела к определенным результатам. Среди членов были «смертники», поклявшиеся «разыскать революционеров князя Кропоткина, Гартмана и убить их»<sup>62</sup>.

У М. Д. Скобелева с самого начала с членами «священной дружины» сложились весьма натянутые отношения. Он отказался вступить в ее ряды и не скрывал своего отрицательного и даже презрительного отношения к этой организации. «Рассказывают, — пишет руководитель тайного ссыла «дружины» генерал Смельский, — что когда Скобелев, известный герой, приехал в Петербург и, желая получить в гостинице, где остановился, поболее комнат и ульяхав, что более того, что ему дали, не могут отвести и других номеров, так как они заняты офицерами-кавалергардами, Скобелев проговорил иронически: «Экс-дружинниками», — то слова эти были доведены до сведения великого князя Владимира Александровича и государя, и вследствие этого Скобелев был приглашен к военному министру Ванновскому. Ванновский спросил его: правда, что он это сказал? И Скобелев ответил: «Да, это правда, и скажу при этом, что, если бы я имел хоть одного офицера в моем корпусе, который бы состоял членом тайного общества, то я его тотчас удалил бы со службы. Мы все приняли присягу на верность государю, и потому нет надобности вступать в тайное общество, в охрану».

Этого, конечно, недостаточно, чтобы стать жертвой тайной организации. Гораздо более существенными представляются доводы, связанные с той политической деятельностью, которую развивал Скобелев в последний год своей жизни и которая, естественно, совершенно противоречила тому, что поклялись защищать члены «священной дружины». Деятельность Скобелева представляла непосредственную угрозу самому самодержцу, который никогда не был расположен к «белому генералу» и относился к нему с большим предубеждением. Для этого были причины. Царь, бесспорно, знал о тех слухах, которые ходили в народе, а в некоторых из них усиленно будировалось предположение, что во время коронации будет совершен дворцовый переворот и Скобелев займет императорский трон под

<sup>61</sup> См.: Д. Заславский. Взволнованные лоботрясы. М., 1931, стр. 12—15.

<sup>62</sup> В. Н. Смельский, Священная дружина. «Голос минувшего», 1916, № 1, стр. 231.

именем Михаила III. Невозможно сказать, насколько это соответствовало действительности, но энергичная деятельность Скобелева, конечно, давала повод для подозрений.

Судить «белого генерала», даже в том случае, если в распоряжении правительства и были неопровержимые документы, не представлялось возможным. Слишком популярен в России, среди самых широких масс народа и, конечно, в армии, был Скобелев. Велика была его популярность и у зарубежных славян. Это было знамя! Избавиться от него можно было только тайным, по возможности незаметным путем.

«Священная дружина» для этого была самым подходящим инструментом.

Все это, конечно, одни предположения. Тайна смерти М. Д. Скобелева до сего времени остается нераскрытой, и пока нет никаких оснований для того, чтобы она была выяснена.

Ясно только одно — вся деятельность М. Д. Скобелева в 1881—1882 годах, двусмысленные свидетельства современников, странные совпадения и обстоятельства дают полное право сомневаться в том, что трагедия в «Англии» не была связана с преступлением. Все это дает основания полагать, что здесь произошло политическое убийство, имевшее прямое отношение к той борьбе самодержавия с противостоящими ему силами, которая развернулась в России в конце прошлого века.

В пользу этого предположения в известной степени свидетельствует и тот факт, что, по рассказам очевидцев, лицо покойного Скобелева имело необычайно желтый цвет и на нем очень быстро стали выступать странные синие пятна. Известно, что подобное может иметь место при отравлении некоторыми сильнодействующими ядами.

Весьма примечательна и судьба личного архива Скобелева, также наводящая на размышления и показывающая, что его osoba чрезвычайно интересовала тайную полицию.

Сейчас же после смерти генерала все документы и материалы, находившиеся в его квартире в Минске, «всего по описи 28 июня 1882 г. 36 номеров всевозможных пакетов, папок, свертков и т. д., десять записных книжек», все эти бумаги, найденные на столе и в шкафу, «опечатаны в деревянном сундуке, соломенном ящике и отдельном тюке» и, по словам начальника штаба 4-го корпуса генерала Духонина, отправлены в Петербург (об этом имеется письмо генерала Духонина к графу Адлербергу, хранящееся в личном архиве князя Белосельского-Белозерского в Лондоне). Туда же были отправлены и документы, затребованные от редактора «Руси» И. С. Аксакова, редактора «Московских ведомостей» М. Н. Каткова, графа А. В. Адлерберга и некоторых других лиц<sup>63</sup>.

Это неоспоримо свидетельствует о том, что на Скобелева велось специальное дело и его документы представляли большую государственную ценность.

Расставив множество вопросительных знаков и, по сути дела, не решив ни одного из вопросов, связанных с загадочной судьбой Михаила Дмитриевича Скобелева, нам остается только одно — выразить надежду, что в будущем благодаря совместным усилиям многих специалистов удастся сдернуть покров тайны, по сей день окружающей колоритную фигуру «белого генерала». В характере этого сложного человека тесно переплелись патриотизм и честолюбие, доходившее до авантюризма; либеральные настроения и шовинизм; вера в славянскую идею и мечты о бонапартизме.

Разобраться во всем этом трудно, в некоторых случаях невозможно. Однако бесспорно, что 26 июня 1882 года из жизни ушел человек громадного ума и блестящих способностей, наложивший большой отпечаток на общественное настроение России 70—80-х годов прошлого века.

---

<sup>63</sup> Н. Н. Кнорринг, ук. соч., т. 1, стр. 5—6.

Борис Бродский

## Трагедия смельчака



Гравированный портрет  
Д. П. Джонса. 1780. Художник  
Ж. М. Моро-младший.

## I

Неизвестно точно, ни откуда родом Поль Джонс, ни кем были его родители. Имеются сведения, что будущий «Пенитель моря» родился около 1747 года в Шотландии, в графстве Селькирк, в устроенном на новомодный лад поместье, где его отец служил садовником. Возможно, что владельцем поместья был сам граф Селькирк, с которым у Поля Джонса, видимо, были какие-то личные счеты. Неизвестно, когда и почему Поль Джонс воспылал к Англии и британской короне ненавистью, ставшей страстью всей его жизни. Быть может, это связано с тем, что в середине XVIII века многие шотландцы еще не примирились с утратой независимости, возможно, что на Джонса повлияли ужасы службы на английском работорговом бриге, на котором он плывал юнгой, начав морскую карьеру в возрасте 13—14 лет. Как бы то ни было, молодой моряк не скрывал своих убеждений, и его отношения с родными, соседями и местными землевладельцами были весьма неприязненными.

В то время его еще звали Джон Поль.

В юности во времена его службы шкипером на английском коммерческом судне Джон Поль не раз плывал в американские колонии Англии и знал побережье, его за-

ливы и бухты не хуже берегов своей родной Шотландии. Один из его родственников владел землей в Виргинии, и молодой шкипер имел возможность узнать страну и ее людей. В 1773 году имение в Виргинии достается ему по наследству. Джон Поль без колебаний оставляет морскую службу, меняет не только профессию и образ жизни, но даже и имя; он становится 25-летним американским плантатором Полем Джонсом, подчеркивая этим свой разрыв с прошлым.

Переезд Джонса в Америку по времени совпадает с освободительным движением в североамериканских колониях. Одним из наиболее радикальных центров борьбы за независимость было законодательное собрание Виргинии, заседавшее в Джеймстауне. В 1774 году жизнь Джонса протекает в обстановке пламенных речей о свободе, об английской тирании, в обстановке патриотического подъема и формирования первых добровольческих отрядов. Страстно ненавидящий Англию, Джонс вскоре присоединяется к виргинскому землевладельцу полковнику Георгу Вашингтону, которого он хорошо знал.

## II

22 декабря 1775 года Поль Джонс в возрасте около 28 лет в чине лейтенанта

начинает службу на флагманском корабле американской эскадры. Джонсу посчастливилось первым в истории командовать подъем звездно-полосатого флага, который незадолго до этого был принят конгрессом как символ независимости Соединенных Штатов Америки, сбросившей власть англичан. Историческая роль эскадры поднятием флага, по-видимому, и ограничилась. Ее командир капитан Гопкинс избегал встречи с противником, справедливо полагая, что ни по вооружению, ни по выучке американцы не могут сравниться с английскими кадровыми моряками. Вынужденное бездействие Гопкинса сделало его вскоре предметом всеобщих насмешек, что уязвило самолюбие Джонса, но роптать или осуждать начальника дисциплинированный лейтенант себе не позволял.

В середине 1776 года эскадра была расформирована, а лейтенант Поль Джонс получил маленькое, наскоро вооруженное суденышко «Провидение».

В это время (в сентябре — октябре 1776 года) Вашингтон с основными силами повстанцев укрепился в устье реки Гудзон. Расположенный на острове с обрывистыми берегами городок Нью-Йорк был природной крепостью, но, когда английский флот вошел в Гудзон, блокированные в Нью-Йорке отряды Вашингтона вскоре оказались без боеприпасов и провианта. Кольцо блокады было настолько плотным, что пробиться сквозь него казалось невыполнимым, поэтому появление в нью-йоркской гавани «Провидения» с бочками пороха было подлинным чудом.

Узнав о первом рейде Джонса, англичане усилили патрулирование, тем не менее, пройдя в тумане под самым носом английских крейсеров, Поль Джонс вторично пришел в Нью-Йорк. Джонс оказался идеальным лоцманом, он не только знал фарватер, но отлично ориентировался в тумане и темноте, непостижимо предвидел каждый маневр противника. Он привел с собой целую эскадру рыбацких судов, сумевших эвакуировать раненых.

Безвестный лейтенант сделался одним из самых знаменитых моряков Америки и первым в истории США получил чин капитана американского флота, хотя, практически своего флота у Америки тогда еще не было.

### III

На постройку кораблей и содержание команд денег не хватало, и по обычаю того времени США прибегали к каперству.

Еще в средние века, во время бесчисленных войн, которые велись не только на суше, но и на море, папы, князья, короли продавали рыцарям наживы свитки пергамента, которые закрепляли за ними право захватывать и грабить чужие суда. Лица, получившие такое свидетельство, назывались каперами. Каперы строили корабли на собственные деньги, сами набирали и сами за счет добычи оплачивали команду. Судно противника, захваченное капером, считалось «правильным призом» и переходило в его собственность. Судно невоющей страны, направляющееся в порт противника, тоже считалось законной добычей капера. Корабль, побывавший во вражеском порту или перевозящий груз, хотя бы малая часть которого произведена на территории противника, или имеющий часть груза, принадлежащую противнику, тоже считался «правильным призом» капера. Поэтому грань между пиратом и капером была весьма туманна. Поль Джонс стал одним из первых каперов США.

Для этого были особые причины. Получив первым капитанский диплом, Поль Джонс тем самым признавался самым старшим морским офицером страны, так как адмиралов в США еще не было. Однако в официальном списке капитанов США умышленно или ошибочно его имя оказалось под номером 13. Поль Джонс в категорической и даже высокомерной форме потребовал от конгресса исправить ошибку. Письмо ответа не возымело, и тогда капитан торжественно поклялся никогда не служить под командой людей, несправедливо получивших над ним старшинство. По законам военного времени такое заявление равносильно бунту. Конгресс, однако, сделал вид, что ничего об этом не знает, но с той поры никогда не назначал строптивого Джонса под чье-либо начало.

Поль Джонс продал часть своей земли, чтобы вооружить небольшой корабль «Альфред», который в короткое время привел в американские гавани шестнадцать захваченных им английских кораблей. Вопреки обычаю каперов Поль Джонс не продал свои «призы» с торгов. Трофейные корабли, отремонтированные и вооруженные, должны были составить ядро военного флота США, основателем которого по праву считал себя сын садовника из Селькирка.

Авторитет Джонса возрастал. Благодаря его смелости и бескорыстию он олицетворял собой идеал капитана-патриота. Молодые офицеры мечтали плавать только под командованием капитана Джонса. Однако

популярность в сочетании со строптивым характером и невозможностью подчинить моряка другому командиру никак не способствовали дисциплине на флоте. В конце концов Вашингтон вынужден был хотя бы на время удалить Джонса из Америки. Предлог для этого подвернулся самый почетный. На амстердамских верфях строился фрегат «Индеец», предназначенный для того, чтобы стать флагманом американского флота. Джонсу поручалось принять и отвести в Америку новый и, видимо, лучший военный корабль США.

#### IV

В 1775 году во французский порт Брест пришел небольшой военный корабль «Разбойник» под звездно-полосатым флагом на грот-матче. На капитанском мостике в черной треугольной шляпе, в парике с напудренной косой стоял капитан Джонс. Ему довелось первым в истории собственноручно поднять этот флаг на корабле Гопкинса, ему же выпала честь первым привести этот флаг в Европу на собственном корабле. Собственным кораблем Джонса «Разбойник» был в прямом смысле этого слова, на его вооружение он истратил полторы тысячи фунтов, остаток своего состояния.

Сразу по прибытии в Брест капитан Джонс отправился в Париж, где находилась американская миссия во главе с Бенжаменом Франклином. Здесь ему должны были быть переданы документы, необходимые для того, чтобы вступить в командование фрегатом. Но увы... американское правительство уступило «Индейца» своему союзнику — Франции. Полно Джонсу предлагалось вернуться в Брест и ждать там указаний от заседавшего в далекой Филадельфии континентального конгресса США.

Боевой капитан обрекался на бездействие вдали от родных берегов.

Несколько свободных месяцев Поль Джонс использовал для напряженной работы. Под руководством адмирала Ла-Мотт-Пике он изучал французскую морскую тактику. Джонс считал тактику французского военного флота в теории выше английской тактики, и его не смущало то, что в морских сражениях англичане чаще побеждали французам, нежели терпели от них поражение. Поль Джонс объяснял это численным и техническим превосходством английских кораблей. В то же время он пытался составить себе ясное представление о фактическом положении дел на море. Пользуясь явными и тайными источни-

ками, Джонс составил полный и подробный список всех военных кораблей противника с указанием размеров, парусности, года и места постройки, числа матросов и даже с характеристикой капитана. Объяснялось это тем, что Поль Джонс задумал на «Разбойнике», о котором Франклин писал, что это корабль «слабый, гнилой, с медленным ходом», с 18 старинными пушками и 130 человеками команды, один на один сразиться с могучим английским флотом. 22 апреля 1778 года портовый городок Уайтгевен в Кумберленде проснулся от пальбы.

На рассвете две лодки с тридцатью двумя матросами во главе с Полем Джонсом вошли в порт, где стояло до ста небольших судов. Часовые не успели опомниться, как были связаны, а пушки охранявшего гавань форта заклепаны. Это произошло так стремительно, что вахтенные на кораблях ничего не заметили. Только тогда, когда люди Джонса подожгли несколько кораблей и обрубили у них якорные канаты, зазвучали сигналы тревоги. На горящих кораблях начали рваться бочки с порохом. Гонимые ветром плавающие костры распространили огонь по всему порту. Нельзя было понять, что происходит и откуда опасность. Когда с береговых батарей открыли огонь, Джонс уже успел без потерь вернуться на свой корабль.

«Я поджег английские коммерческие суда, — писал в донесении Поль Джонс, — чтобы отомстить за весь вред, нанесенный англичанами американскому флоту, и был очень доволен тем, что в этом деле не было ни убитых, ни раненых с обеих сторон».

Вскоре «Разбойник» высадил десант на родине своего капитана. Джонс атаковал замок графа Селькирка, чтобы захватить знатного вельможу и выменять его на американских пленных. Граф Селькирк случайно находился в отлучке, и дома никого, кроме кучки перепуганных слуг, не оказалось, тем не менее высадка американцев в Шотландии, их смелый рейд в глубь страны произвели огромное впечатление.

Вместо легкой и быстрой победы англичанам грозила теперь опасность в собственных домах. В английских газетах американского патриота, поскольку он родился не в Виргинии, а в Шотландии, называли изменником и пиратом. Ему грозили виселицей без суда, если он будет пойман. Любопытно, что Вашингтона, который был полковником английских королевских

войск, а потом стал во главе восставших, никто в измене не обвинял, не обвиняли и других английских офицеров, воевавших на стороне конгресса. Изменником и пиратом называли только одного человека — бывшего шкипера английского купеческого корабля, ставшего капитаном флота США Джонса, так велика была досада, вызванная его успехами.

Против Джонса был направлен двадцатипушечный корабль «Дрейк». Капитан «Дрейка» считал, что Джонс попытается уйти от преследования. Полагаясь на быстрходность своего корабля, он собирался догнать Джонса и атаковать его с тыла. Меньше всего он ожидал, что Джонс первым атакует более сильного противника.

Самоуверенность погубила англичанина. По словам самого Джонса, бой был «горячий, тесный и упорный». Он продолжался час и четыре минуты, после чего англичане спустили флаг. «Разбойник», потерявший значительную часть своих парусов, с трудом дотянулся до порта Лориан, ведя на буксире обезображенный английский фрегат.

Имя Джонса, известное до тех пор только за океаном, становится известным всей Европе. Французское правительство, которое тоже находилось в состоянии войны с Англией, обратилось к Америке с просьбой оставить Джонса во Франции и обещало предоставить ему один из лучших кораблей своего флота. Сын садовника из Селькирка наравне с родовитыми вельможами был приглашен ко двору, и сама королева Мария-Антуанетта сделала ему комплименты. Тем не менее он отклонил предложение короля перейти на французскую службу; Джонс не хотел спускать с мачты американский флаг, но в качестве союзника Франции решил продолжать сражаться близ берегов Великобритании.

Когда это известие пришло в Лондон, Англию охватила паника: торговые суда перестали выходить из английских гаваней и неделями дожидались эскорта военных кораблей. На лондонской бирже начали падать акции, отражая неуверенность английского купечества. Ставки страховых компаний стремительно поднялись, что вызвало повышение цен на привозные товары

На нью-йоркском рейде. 1772.  
Художник Ж. де Баррес.



и больно ударило по английской экономике. В истории «владычицы морей» вряд ли можно назвать человека, который вызвал у нее такой страх, как Поль Джонс.

## V

Тем временем Поль Джонс сформировал англо-французскую эскадру, если так можно назвать пять разношерстных кораблей разных типов и времени постройки.

Флагманским кораблем служило перестроенное наспех коммерческое судно «Добряк Ришар». Сорок пушек на нем были такими старыми, что две из них разорвались при первых же выстрелах. Несколько лучшим был фрегат «Союз» с тридцатью пушками. «Союзом» командовал капитан Ландэ, служивший долго во Франции, но отставленный из-за подозрения в сумасшествии. В эскадру входило также три небольших французских корабля: «Паллада», «Олень» и «Месть».

23 сентября 1779 года произошло событие, вписавшее имя Поля Джонса в историю морских сражений. В полдень дозорный сообщил о приближении двух военных кораблей. Одним из них был новенький фрегат «Серапис» с пятьюдесятью пушками и четырьмястами матросами, другой — военный фрегат «Графиня Скарборо» меньших размеров. Видя намерения своего командира вступить в бой с явно превосходящим противником, капитаны «Союза», «Оленя» и «Мести» отошли на безопасное расстояние и предоставили «Добряку Ришара» и «Палладу» судьбе. Замешательством, которое вызвал неожиданный уход трех кораблей, воспользовался «Серапис». Английский корабль развернулся и дал залп из всех пушек правого борта. Первого залпа было достаточно, чтобы корабль Джонса дал течь. При ответном залпе разорвалась пушка, и на борту «Добряка Ришара» начался пожар. Через несколько минут после начала боя гибель корабля стала неминуемой.

Но и в эту трагическую минуту находчивость и хладнокровие не оставили Поля Джонса. Молниеносным маневром он успел столкнуть горящего «Добряка Ришара» с «Сераписом» так, что у обоих кораблей перепутались снасти. Американцы во главе со своим капитаном, не теряя секунды, бросились на палубу «Сераписа». Началась рукопашная. Англичан было больше, но команда Джонса, которой нечего было терять, начала отгеснять их к корме. В это время неожиданно вернулся «Союз», и победа американцев была обеспечена.

Но увя, «Союз» дал несколько залпов, не разбирая, где свои, где враги. Не причинив ущерба англичанам, выстрелы «Союза» лишили Джонса лучших из оставшихся в живых матросов. Полоумный Ландэ счел на этом свой долг выполненным, поднял паруса и вскоре скрылся за горизонтом.

Обстановка переменилась, теперь положение моряков с «Добряка Ришара» стало критическим. Английский офицер крикнул Джонсу, что сопротивление бесполезно и что его помилюют, если он спустит американский флаг. «Рано, — ответил Джонс, — я только еще начал бой». И он победил.

Один из американских матросов, набрав брезентовое ведро гранат, взобрался на мачту. Прячась за рею от пистолетных пуль, он начал сверху бросать гранаты в противника. Англичане поддались панике, и это решило исход боя. Английский флаг медленно сполз с грот-мачты «Сераписа».

Праздновать победу времени не было. Пожар с «Добряка Ришара» тем временем перебросился на «Серапис». Нужно было тушить огонь и рубить перепутанные снасти. Поль Джонс салютовал с «Сераписа» «Добряку Ришару» в тот момент, когда его корабль опустился под воду. Никогда до этого корабль меньший, хуже вооруженный и обреченный на гибель, не одерживал победу над сильнеешим, менее пострадавшим кораблем.

Сдача «Сераписа» послужила сигналом капитану «Графини Скарборо», он также спустил английский флаг и вручил свою шпагу капитану «Паллады».

## VI

Раненый Поль Джонс отвел свои «призы» в голландский порт. Голландия не имела еще дипломатических отношений с Соединенными Штатами, и власти оказались в крайнем затруднении, когда английский посланник потребовал от голландского правительства возратить «Сераписа» и «Графиню Скарборо».

Будучи нейтральной страной, голландцы признать право Джонса поднять на английском корабле американский флаг не могли. Однако ссориться с Америкой они тоже не хотели. Поскольку раненый Джонс должен был оставаться на берегу, ему предложили либо поднять на «Сераписе» французский флаг (эскадра формировалась во Франции), либо немедленно отправить корабли в Штаты. Понимая, что препирательство с голландцами кончится не в его

пользу, и зная, что потрепанные «Серапис» и «Графиня Скарборо» пересечь океан не в состоянии, гордый моряк не захотел спускать флаг, под которым он прибыл в Европу, и отправил захваченные английские корабли в подарок королю Франции от Соединенных Штатов Америки.

«В продолжение нескольких дней в Париже и Версале ни о чем столько не говорили, как о Вашем подвиге и Вашей храбрости», — писал Полю Джонсу в Голландию Бенжамен Франклин. Через три месяца прибытие самого героя вызвало в Париже всеобщее ликование. Король Людовик XVI принял его в знаменитом зале Марса в королевском дворце в Версале. Моряк преклонил колено перед французским монархом, который трижды ударил его между лопаток шпагой с золотым эфесом. Этим символическим жестом сын шотландского садовника возводился в рыцарское достоинство. Затем Джонс поцеловал золотую шпагу, на которой было выгравировано по-латыни: «Победителю моря — Людовик X V I», — и вложил ее в ножны вместо своего выдавшего виды клинка.

В тот же вечер в опере Поля Джонса пригласили в королевскую ложу, честь, которой обычно удостоивались только принцы крови и высшие прелаты католической церкви. Зал стоя рукоплескал моряку. Когда он сел в кресло рядом с креслом королевы, в потолке раскрылся люк. На золоченых шнурах медленно опустился лавровый венок, подобный тем, каким венчали римских триумфаторов.

## VII

В начале 1782 года Поль Джонс вернулся в Соединенные Штаты. «Конгресс постановляет, чтобы была выражена Соединенными Штатами благодарность капитану Полю Джонсу за ревность, осторожность и храбрость, с которыми он поддерживал честь американского флага». Выражая благодарность всего американского народа, конгресс признал Джонса старшим офицером флота и поручил ему достроить и принять семидесятипушечный корабль «Америка».

«Америка» — первый линейный корабль США — была заложена на портсмутской верфи как флагман американского военного флота. Капитан этого корабля должен был командовать военно-морскими силами страны. Мечта Джонса была близка к осуществлению: дело явно шло к производству в адмиралы военного флота США.

Почти два года отдал Поль Джонс своему детищу. Он браковал и отбирал корабельный лес, канаты и парусину, ссорился с подрядчиками, заключал договоры с поставщиками, рядился с плотниками. Рука, привыкшая к шпаге, приучилась к рейсфедеру и циркулю: он собственноручно чертил отдельные детали корабля и рисовал на огромных листах бумаги шаблоны для плотников.

В конце лета 1783 года самая красивая девушка Портсмута разбила о борт корабля бутылку шампанского. «Америка» под ликующие крики медленно сползла со ступеней, слегка накренилась и выпрямилась уже на плаву. Стройный ее корпус отличался устойчивостью. Корабль идеально слушался руля, был одним из самых быстроходных и, вероятно, самым красивым во всем флоте. Поль Джонс перебрался в отделанную красным деревом капитанскую каюту: настало время заняться вооружением корабля и комплектованием команды.

## VIII

3 сентября 1783 года Великобритания признала независимость своих бывших колоний в Америке. Мир был заключен. Дразнить англичан, назначая адмиралом ненавистного для них Джонса, Соединенным Штатам уже не имело смысла. Лично Вашингтону, который, будучи президентом США, был одновременно и главнокомандующим вооруженных сил, мало улыбалось иметь во главе флота человека, который и в военное время не соглашался подчиняться другим начальникам. Но и отказать самому знаменитому моряку страны в его беспорных правах было невозможно.

Командир «Америки» уже заканчивал набор матросов, когда ему сообщили, что конгресс преподнес корабль своему французскому союзнику в качестве компенсации убытков, вызванных тем, что американское правительство заключило с Англией мир сепаратно.

А вскоре, чтобы не назначать Джонса адмиралом, конгресс вообще распустил военный флот США.

Рассчитывая позолотить пилюлю, конгресс постановил в честь Джонса выбить бронзовую медаль, что и было исполнено. Но оскорбленного моряка нельзя было купить побрякушкой. Он решил порвать со второй родиной так же, как с первой, и уехать в Париж, где король Людовик XVI оказал ему недавно высшие военные почести. Франция продолжала войну с Англией



нуждалась в его услугах, и благородные французские аристократы, разумеется, не могли поступить так, как лавочники и мясники из конгресса США. Из Портсмута Поль Джонс уехал на «Америке». Французский адмирал уступил ему в знак уважения отделанную красным деревом каюту командира. Но именно здесь, где каждая панель, каждая рейка были прибиты по его указаниям, по его вкусу, Джонс особенно болезненно почувствовал унижительность своего положения.

Когда «Америка» бросила якорь в Бресте, между Францией и Англией уже был подписан мирный трактат. Пребывание Джонса во Франции и тем более принятие его на французскую службу, от которой он в свое время отказался, англичане неминуемо восприняли бы как недружелюбный акт: для Англии он по-прежнему оставался пиратом.

Полю Джонсу вежливо намекнули, что его пребывание во владениях Людовика XVI и Марии-Антуанетты нежелательно.

Имения своего он давно лишился, от продажи «призов» ничем не воспользовался. Поль Джонс оказался без средств в чужой

стране, где не мог оставаться, а путь назад был навсегда отрезан.

Незадолго до того «Серапис» был продан в Копенгагене. Как капитан, захвативший этот корабль у врага, Поль Джонс имел право на часть вырученной суммы, и Джонс отправился в Данию. Но поскольку «Серапис» был им подарен Франции и продан уже от имени французских владельцев, датские власти не признали американского моряка правомочным даже вести переговоры о деньгах.

## IX

Случайно в это время русский посланник в Копенгагене сообщил Джонсу, что Екатерина II приглашает на службу опытных иностранных моряков. Но в Россию нужно было добраться, а Джонсу нечем было заплатить за дорогу. И вот тогда на последние деньги он нанимает небольшой прогулочный бот и, выйдя в открытое море, заставляет лодочника взять курс на Финский залив. За четыре дня, не заходя ни в один порт, Джонс пересек на боте Балтийское море и пришел в Выборг. Отсюда сухим путем он направился в Петербург.

Переход через Гудзон, 9 октября  
1776 г. Художник Д. Серрес.



«Друг мой, князь Григорий Александрович, — писала Екатерина II своему любимцу Потемкину, — в американской войне именитый английский подданный Паул Жонес, который, служа американским колониям, с весьма малыми силами сделался самым англичанам страшным, ныне желает войти на мою службу. Я, ни минуты не мешкая, приказала его принять и велю ему ехать прямо к Вам, не теряя времени; сей человек весьма способен в неприятеле умножать страх и трепет; его имя, чаю, вам известно; когда он к Вам приедет, то Вы сами лучше разберете, таков ли он, как об нем слух повсюду».

Письмо это помечено 13 февраля 1788 года, но выехать, «не теряя времени», Полю Джонсу не удалось. Английский посол в Петербурге имел союзников среди влиятельных придворных, и они начали препятствовать принятию Поля Джонса на русский флот. Дело затягивалось.

Все же Екатерина, не любившая, чтобы ей перечили, 15 апреля 1788 года произвела Джонса в контр-адмиралы. «Императрица приняла меня с самым лестным вниманием, которым может похвастаться иностранец, поступающий на русскую службу», — писал сам Джонс. То, чего знаменитый моряк добивался в конгрессе США в награду за подвиги, он получил от русской императрицы, которая знала его лишь понаслышке. «Друг мой, князь Григорий Александрович, вручителю сего письма, контр-адмиралу и кавалеру Паулу Жонесу я долженствую отдать справедливость, что он показывает великую охоту показать свое усердие на службе под Вашим предводительством», — писала царица Потемкину 7 мая 1788 года, в день выезда Джонса из Петербурга.

25 мая того же года Джонс встретился впервые с Суворовым, «как столетние знакомцы», по выражению последнего.

17 (28) июня, то есть всего три недели спустя, на Черном море гребная флотилия под предводительством принца Нассау-Зигена и парусная эскадра в составе трех линейных кораблей, пяти фрегатов и шести мелких судов под командой Поля Джонса нанесли поражение турецкому флоту в днепровском лимане у крепости Очаков. Немногословно пишет об этой битве старинный автор:

«Русская флотилия, построенная на новой херсонской верфи, находилась уже в Лимане близ Очакова. Здесь напали на нее 7 июня 60 турецких судов, отделенных от флота капитан-паши, стоявшего в откры-



Гравированный портрет Поля Джонса. 1782. Художник К. Ноттэ.

том море неподалеку от Очакова. Неприятель были отражены с потерей трех судов, взорванных на воздух. Капитан-паша, горя нетерпением отомстить за сию трату, вошел с флотом в Лиман и атаковал там 17 (28) июня Российскую флотилию под командою принца Нассау-Зигена. Сражение было ужасно; победа русских решительна. Неприятель потерял 2 линейных корабля, 5 фрегатов и 5 других судов».

А вот что рассказал старый запорожец Ивак, которому Поль Джонс подарил в 1788 году кортик с надписью «Иваку — Джонс». По словам Ивака, Поль Джонс 16 июня со своим переводчиком явился ночью к запорожцам, поужинал с ними и распил бутылку водки. Потом он выбрал лодку, приказал обернуть тряпками весла, надел на себя казацкую свитку и, встав за руль, взял направление вниз по течению, туда, где стоял флот капитан-паши. Поль Джонс спокойно осмотрел все турецкие корабли, и на одном из них, самом крупном, написал мелом: «Сечь — Поль Джонс». Наутро этот корабль действительно взлетел на воздух первым.

Стремясь уйти в открытое море, турецкие суда попали под огонь русских батарей, установленных на Кинбурнской косе А. В. Суворовым. В сумятице турецкие суда расстроили боевой порядок, многие из них сели на мель и были захвачены гробными судами Нассау-Зигена, другие стали жертвой огня. Екатерина поздравила Джонса с успехом и пожаловала ему одну из высших военных наград — орден Анны I степени.

Но Поль Джонс был уже не тот. Он продал имение в Виргинии, чтобы на море защищать свою вторую родину. Он боролся за независимость Соединенных Штатов, символом которой для него был флаг на грот-мачте «Провидения», «Разбойника», «Добряка Ришара». Он отказался сменить звездно-полосатый флаг США на французский флаг с лилиями, чтобы не превратиться в наемника.

Кем же он оказался теперь? Наемным офицером в стране, языка которой он не знал, о которой прежде слышал лишь полудантастические рассказы. Республиканец и борец за свободу теперь сражался за интересы монархии. Прежде он воевал против англичан, которых искренне ненавидел, теперь его противником были турки, к которым он не питал неприязни. Поль Джонс присягнул царице и готов был положить голову согласно данной присяге, но приказать своему сердцу человек не властен.

Рассказ запорожца Ивака свидетельствует еще раз, что ни храбрость, ни хладнокровие не покинули Поля Джонса. Но рассказ этот не объясняет, во имя чего капитан, прославивший себя не только отвагой, но и осторожностью, неожиданно решил riskнуть головой. Имел ли право контр-адмирал, сознающий свою ответственность перед подчиненными, отправиться в распоряжение неприятеля в ночь перед боем? Кто знает, как и чем могло бы кончиться сражение, потеряй эскадра своего командующего?

Подвиг Поля Джонса, его бесшабашное удайство восхитили русских, но мало кто понял, что двигали моряком уже не долг, не патриотизм, а равнодушие к собственной судьбе.

Но долго незамеченным оставаться это не могло.

## X

Спустя всего месяц после победы над турками один из русских генералов записал в своем дневнике: «...У Поля Джонса офицеры не хотели быть в команде, шли в от-

ставку...» Одни считали его слишком легкомысленным, готовым ради показного удайства на неоправданный риск, другие величали «сонным контр-адмиралом». Увы... и те и другие, видимо, были правы, хотя сам Поль Джонс высоко ценил русских морских офицеров и энергично протестовал против того, что моряки его эскадры получили меньше наград за очаковское дело, нежели подчиненные Нассау-Зигена.

«Как корсар, он был знаменит, а во главе эскадры он не на своем месте», — жаловался Нассау-Зиген. Служака и придворный интриган терпеть не мог талантливого, но необузданного моряка, подвергавшего язвительной критике каждое его распоряжение. И в самом деле, результатом этой критики было лишь падение дисциплины.

Словно подтверждая жалобы своих недругов, контр-адмирал почти не покидал своей каюты. Но он не спал, а чертил и писал. Поль Джонс по-прежнему мечтал воевать не с турецким капитан-пашой, а с лордами адмиралтейства. Опираясь на свой опыт кораблестроителя, он разрабатывал корабли новой, еще небывалой конструкции, на которых в случае войны русские могли бы под его командой разгромить англичан у берегов самой Индии. Но Россия не воевала с Англией, и планы Джонса вызывали лишь недоумение. Об этих планах Екатерина писала Гримму: «Индия далеко, пока до нее доберешься, уже будет заключен мир», или: «Конечно, я первая не стану применять новой конструкции судов, о которой говорит Поль Джонс...»

Потемкин поначалу поддерживал Поля Джонса, но затем между русским вельможей и неуживчивым американским моряком, вероятно не без участия Нассау-Зигена, произошел какой-то конфликт, и Джонс лишился последнего покровителя. «Никто под его начальством быть не хочет, и они ни к кому под команду не идет, а потому решено отправить его в Петербург, под видом особой экспедиции на север», — писал Нассау-Зиген.

Жалобы на Джонса долго не могли поколебать Екатерину. «Если ты его сюда возвратишь, сыщем ему другое место», — написала она Потемкину.

Но другого места Джонсу не сыскали. Слух о том, что Екатерина II дает Полю Джонсу корабль на Балтике, произвел действие самое непредвиденное. Английские купцы в Петербурге закрыли свои магазины, английские банкиры пригрозили расторгнуть заключенные с Россией сделки, ан-

глийские офицеры на русской службе — а их было тогда немало — подали заявления об отставке в знак протеста против назначения ненавистного им моряка.

Запугать Екатерину II было нелегко, но на этот раз она решила излишним настаивать на своем.

Интриги английского посла доконали некогда непобедимого капитана. Несколько месяцев он обивает пороги петербургских канцелярий. Он выдвигает новый проект посылки в Средиземное море эскадры, чтобы прервать коммуникации Турции, агитирует за заключение союза между Россией и США. Но результат оказался самый неожиданный. Джонсу предложили взять двухгодичный отпуск «для поправления здоровья». В военное время это было равносильно отставке.

В 1789 году оскорбленный моряк отправился из Петербурга в Лондон, где у него были какие-то денежные дела. На другой день после приезда его чуть не растерзала разъяренная толпа! Унижения, которым он некогда подверг англичан, не были забыты, его по-прежнему ненавидели и считали изменником. Чудом спасшись, Джонс перебрался во Францию, где тогда начиналась революция. Здесь его имя, имя борца за независимость и свободу, было по-прежнему окружено почетом, он мог спокойно жить.

18 июля 1792 года Поль Джонс умер в Париже в глубокой бедности. Ему было всего 45 лет. Узнав о его смерти, нацио-

нальное собрание прервало заседание, чтобы избрать депутацию из двенадцати своих членов. Депутации было поручено «воздание чести Полю Джонсу, адмиралу Соединенных Штатов и человеку, хорошо послужившему делу свободы». Все же он стал адмиралом США, пусть после смерти и по недоразумению, но стал. Впрочем, это недоразумение красноречиво: в Париже никому не могло прийти даже в голову, что прославленный моряк не имеет звания, соответствующего его заслугам. Исключением был, вероятно, американский посланник Моррис, который не считал нужным присутствовать на похоронах.

Но Джонс был адмиралом русской службы, и революционные похороны не могли не вызвать реакции в Петербурге. «Этот Поль Джонс обладал очень вздорным умом и совершенно заслуженно чувствовался презренным сбродом», — писала Екатерина в конце августа 1792 года.

Спустя пятьдесят девять лет, в 1851 году, конгресс направил во Францию корабль, чтобы перевезти за океан останки основателя военного флота, национального героя США. По иронии судьбы корабль назывался «Америка». Прах Поля Джонса найти не удалось. Поэтому когда в 1912 году в церкви военно-морской академии США в Бостоне был установлен великолепный саркофаг с именем Поля Джонса, многие пожимали плечами, не зная, кто же в действительности похоронен под нагробием из мрамора.

Тит Ливий

## Сицилийская смута



Бронзовый шлем римского воина

В 31 году до новой эры приемный сын Гая Юлия Цезаря, Октавиан, будущий император Август, разгромил последнего из своих соперников в борьбе за власть и сделался единовластным хозяином Римской державы. Римская республика погибла. Родилась империя.

И примерно в том же году тридцатилетний Тит Ливий из Патавия (ныне Падуа) в северной Италии написал первые строки громадного сочинения, которому последующие времена всего более обязаны своими представлениями о республиканском Риме, своим почтительным изумлением перед теми, кто превратил ничем не приметный городок на Тибре в столицу сильнейшего в древнем мире государства.

О жизни Ливия известно немного. Он смолоду жил в Риме, был прекрасно образован, государственным делами и военной службой никогда не занимался, целиком отдался литературе. Ему принадлежали рассуждения на отвлеченные философские темы в форме бесед между двумя или несколькими лицами, но ни одно из них до нас не дошло. Главным же трудом Ливия была гигантская история Рима — от его основания до событий 9 года до н. э. Произведения античной литературы делятся на «книги»: каждая «книга» — это столько слов и фраз, сколько помещалось на папирусном свитке, изготовленном руками древних издателей-переписчиков. «Книг» в сочинении Ливия было сто сорок две. Но до наших дней из ста сорока двух «книг» сохранилось всего тридцать пять, остальные пропали еще до начала средних веков.

«Книги» Ливия объединялись в десятикнижия — декады (по-видимому, тоже древними издателями): четырнадцать полных декад и начало пятнадцатой. Сохранились декады первая, третья, четвертая и половина пятой. Здесь пересказан отрывок из третьей декады. Полностью пересказ этой декады будет выпущен в свет издательством «Детская литература» и озаглавлен «Война с Ганнибалом».

Заглавие это выбрано автором пересказа — у Ливия ни декады, ни отдельные «книги», ни части «книг» не озаглавлены вовсе. Как называл Ливий свою работу в целом, мы точно не знаем, но скорее всего «Летопись». И правда, события излагаются в строгой последовательности, год за годом.

У современников Тит Ливий пользовался славою самой громкой. Его знали не только в столице, но и на отдаленных окраинах империи. Рассказывали, будто один почитатель его таланта приехал в Рим из Гадеса (ныне Кадис в Испании) с единственной целью — увидеть Ливия. Император Август был его покровителем и даже другом. Но уже через двадцать лет после его смерти (он умер в 17 году н. э.) император Калигула приказал изъять все написанное Ливием из общественных библиотек — за утомительное многословие и небрежное отношение к фактам. Еще строже судили Ливия христианские властители: римский папа Григорий I (VI век) предал его труд сожжению за «идольские суеверия», которыми он пропитан. Вполне возможно, что эти гонения помогли пропасть бесследно многим декадам.

Новые времена относились к Ливию по-разному. Сокрушались об исчезающих частях его истории, особенно о тех, где описывалось близкое к Ливию I столетие до н. э., полное гражданских смут и междоусобиц. Подобно Калигуле, упрекали его в многословии и напыщенности, в исторических небрежностях, в незнании военного дела и географии, в незнании тех стран и государств, которые сталкивались с Римом в войнах (в том числе и Карфагена). Восхищались его мастерством оратора, красотой его слога, чистотой и возвышенностью его убеждений. В прошлом веке его владели на школьной скамье любому гимназисту, и редко кто уносил за стены гимназии иные чувства, кроме скуки, а порою и отвращения. В наш век, когда латынь вышла из моды окончательно, его почти не читают вообще и знают только понаслышке.

Так надо ли возвращаться к Титу Ливию? Зачем он нам? Для того лишь, чтобы познакомиться с подробностями Второй Пунической войны? Так ли уж нам необходимы эти подробности? Ведь в прошлом есть столько событий, волнующих нас куда больше и сильнее, чем войны Рима с Карфагеном.

Но, читая «Летопись» Ливия, мы убеждаемся, что это не столько наука, сколько литература. Главное у Ливия — описание человека, попытка четко разглядеть его и понять, а после и дать оценку тому, на что способен человек и какое употребление находит он своим способностям.

Античная наука была неотделима от искусства. Грек Геродот (V столетие до н. э.) не только «отец истории», как его величали еще в древности, но и отец греческой прозы, изумительный рассказчик. Платон (V—IV столетия до н. э.) — крупнейший мыслитель древней Греции, но греческую и мировую литературу он одарил и обогатил ничуть не меньше, чем философию. В Риме в век Ливия считали, что историк должен быть так же красноречив, как лучший оратор, и это в век, когда римское красноречие достигло самой своей вершины, самой полной силы и на площади Народного собрания и в сенате. От истории ждали и требовали того же воздействия на чувства, какое оказывает поэзия.

Всего заметнее литературное мастерство обнаруживает себя в речах. Дошедшие до нас книги «Летописи» заключают больше четырех сотен речей. Конечно, все они принадлежат самому Ливию, хотя какими-то сведениями о содержании подлинных высказываний своих героев он, вероятно, располагал. Вымышленные или наполненные вымышленные речи подлинных исторических лиц не открытие Ливия; их сочиняли все античные историки, начиная с Геродота. Но нет большего мастера подобных речей, чем Тит Ливий, — таково мнение древних, и оно подтверждается учеными и читателями наших дней. Никогда речь у Ливия не бывает просто упражнением в ораторском искусстве или средством блеснуть собственным красноречием, действительно прекрасным, могучим и блестящим. Никогда не обращается к ней автор и для того, чтобы просто сообщить о каком-нибудь событии. Любая речь у Ливия — это образ и зеркало души того, кто ее произносит. В речах Ливия люди раскрываются, будто герои пьесы на сцене театра: кто раскрывается сразу и целиком, кто — медленно, исподволь, кто — лишь отчасти, так что мы (да, наверное, и автор) до конца остаемся в некотором недоумении.

В нашем отрывке больших речей нет, и читателю придется поверить нам на слово. Но еще лучше, если он обратится к книге, уже названной выше.

А здесь, в рассказе о событиях в Сицилии, Ливий показывает себя мастером драматического, полного напряжения, силы и динамики повествования. Кровавая неразбериха, анархия, пришедшая за смену «просвещенной тирании», трагическая неопытность народа, его неспособность достойно воспользоваться своими завоеваниями, своекорыстие, изворотливость, наглость демагогов, которые «вертят» толпою, словно огромным мощным и опасным, но непроницаемым туземным зверем, — вся эта картина, страшная и величественная, стройная и обозримая, несмотря на дестроту и гигантский масштаб. Но что в ней, в этой картине, вызывает у Ливия сочувствие и что осуждение? Тут мы подходим к вопросу, быть может, самому важному и для самого Ливия и для нашего к нему

отношения: к вопросу о моральных и политических критериях римского летописца.

Все любимые Ливием герои его истории часто во всех своих рассуждениях ссылаются на «общее благо», на «благо государства». Ливий — очень искренний и очень горячий патриот. Проветание и могущество Рима — вот высшее для него благо. Что же, ведь и каждый из нас желает счастья и силы своей стране. Но как это надо понимать и толковать — «благо государства»?

Все, что приносит пользу Риму, прекрасно и справедливо, все без исключения. Все, что Риму во вред, безобразно и несправедливо. Вряд ли нужно доказывать, что такая точка зрения бесчеловечна. Она идет от глубокой и мрачной древности, от дикарства, для которого существовало лишь одно деление на «хорошо» и «плохо»: хорошо — это если я ограбил соседа, плохо — если сосед ограбил меня.

Когда союзники римского народа предпочитают спалить свое добро в огне, лишь бы оно не досталось врагу, и погибнуть самим, лишь бы не попасть в плен и в рабство, Ливий это, по-видимому, одобряет и уж, во всяком случае, ни словом не осуждает. Когда таким же образом поступают противники римлян, Ливий называет их ненависть к Риму «ничем не объяснимой, бессмысленной и лютой».

Если бы, проклиная коварство противника, Ливий повсюду одобрял коварство и жестокость своих соотечественников, если бы дикарская точка зрения, дикарская мораль торжествовали безраздельно в его летописи, то ни красоты слога, ни занимательности и напряженности повествования, ни умение читать в человеческой душе не приблизили бы его к нам. Но он уже вырвался из дремучего дикарства, он шагает к нам навстречу, и потому мы тоже можем шагнуть навстречу к нему.

Рассказав о подлой бойне, которую римляне под началом Луция Пинария учинили в сицилийском городе Хенна, Ливий спрашивает себя: как это назвать — злодеянием или необходимой мерой защиты? И видно по всему, что Пинарий для него скорее преступник, чем радатель об «общем благе».

Да и вообще он далеко не во всем согласен со своими и далеко не всегда хулит и поносит чужих. Он отдает должное и военному таланту, и мужеству, и силе духа карфагенских полководцев Ганнибала и Гасдрубала. Он не шадит наглецов, корыстолюбцев, хищников, к какому бы из сословий римского общества они ни принадлежали, не пытается умолчать об их гнусностях, наоборот, говорит о них громко, в полный голос, не скрывая подробностей. И потому идеал Ливия — Римская республика — представляется достойным уважения и нам, в наши времена.

Не надо упускать из виду, что свой республиканский идеал, свои убеждения — любовь к свободе, ненависть к тирании, уважение к законам, требование подчинять личные интересы общим — Ливий отстаивал в ту пору, когда республике уже не было и Римом правил Август. С Августом у Ливия, как уже сказано раньше, были добрые, дружеские отношения, и, однако же, Ливий прославлял Помпея, главного врага Юлия Цезаря (Помпей выступал в роли защитника сената и республиканских свобод от тирана). Более того, даже убийц Цезаря он нигде не порицал и писал о них сочувственно и почтительно.

Писатель, художник заслоняет в Ливии ученого, но это не значит, что его труд не имеет значения для науки истории. И дело не в том лишь, что часто Ливий оказывается единствен-

ным источником наших знаний о событиях прошлого, но и в том, как сам он понимал и как исполнял долг историка. Лучший оратор Рима и крупный государственный деятель I века до н. э. Марк Туллий Цицерон назвал историю «свидетельницей времен, светочем истины, живою жизнью памяти, наставницей жизни». Так же смотрел на историю и Ливий.

Он не был исследователем, не искал старинных документов, не ездил по полям бывших сражений. Все его знания заимствованы из трудов его предшественников, и, наталкиваясь в них на противоречащие одно другому суждения, он часто не в силах решить, какому из них надо следовать. Но никогда не извращает он правды в угоду собственным вкусам и пристрастиям.

Пересказ, который мы предлагаем читателю, очень близок к своему оригиналу: он воспроизводит стилистические особенности латинского подлинника, сохраняет характерные художественные приемы Ливия и ничего не привносит от себя. Нашей задачей было сделать древнего писателя более доступным для чтения, сокращая утомительные иной раз длинные, меняя кое-где порядок повествования, но ничего не «исправляя» и не «улучшая».

### С. Маркиш

## Перемены в Сицилии

В том же году<sup>1</sup> умер Сиракузский царь Гиерон, верный союзник римского народа, и положение римлян в Сицилии резко переменялось. Царство перешло к внуку Гиерона, Гиерониму, еще совсем мальчику и вдобавок безнадежно испорченному дурными друзьями, а потому неспособному правильно распорядиться не только ничем не ограниченной властью, но даже самим собою. Гиерон предвидел, что в руках внука Сиракузское государство легко может погибнуть, но лучшего наследника у него не было, и, уже незадолго до смерти, он решил даровать Сиракузам свободу. Этому, однако же, из всех сил воспротивились его дочери, которые рассчитывали, что Гиероним будет правителем только по имени, а на деле править станут они и их мужья — Адранодор и Зоипп. Нелегко было девяностолетнему старику спорить с любимыми дочерьми, не покидавшими его ни днем, ни ночью. Кончилось тем, что он назначил

внуку пятнадцать опекунов и до последней минуты умолял их хранить верность союзу с римским народом, тому союзу, который сам Гиерон соблюдал нерушимо целых пятьдесят лет.

Адранодор сумел быстро устранить всех прочих опекунов под тем предлогом, что Гиероним уже достаточно взрослый и вообще не нуждается в опеке, и остался при юноше единственным советником.

В правление Гиерона царь никакими знаками отличия, возносившими его над прочими сиракузянами, не обладал. Гиероним с первых же дней облачился в пурпурное одеяние, голову украсил золотой короной и появлялся на людях в сопровождении вооруженных телохранителей. Видели даже, как он выезжает из дворца на колеснице, заложенной четверкою белых коней<sup>2</sup>. И сиракузяне все чаще вспоминали умершего Гиерона и вздыхали все тяжелее.

Нрав нового правителя обнаруживал себя не только во внешнем его облике, но и в том, как презрительно и грубо он со всеми обходился, как надменно выслушивал просьбы, как редко допускал к себе не только чужих, но даже опекунов, в неслышанной его распушенности и жестокости. Очень скоро такой овладел всеми страх, что иные из опекунов, опасаясь мучительной казни, покончили с собой, иные бежали. Доступ к царю сохранили только трое — Адранодор, Зоипп и некий Трасон. Адранодор и Зоипп держали сторону Карфагена, Трасон стоял за дружбу с Римом, и они часто ссорились между собой, а Гиеронима их споры и столкновения развлекали.

Но случилось так, что друг и сверстник царя узнал о заговоре, который составился против Гиеронима. Известен был только один из заговорщиков, его арестовали и начали пытать, чтобы он выдал соучастников. Человек этот отличался и мужеством и преданностью товарищам и потому, когда муки сделались нестерпимы, решил солгать и вместо виновных назвал людей, совершенно к заговору непричастных, и первого — Трасона. Гиероним поверил и немедленно казнил Трасона. Таким образом, единственная дружеская связь между Сиракузами и Римом распалась, и уже никто не помешал друзьям карфагенян отрядить посольство к Ганнибалу. Пуниец прислал ответное по-

<sup>1</sup> В 215 году до н. э. — на четвертом году Второй Пунической войны.

<sup>2</sup> Это считалось почестью, подобающей не людям, но богам.

сошество, и союз был заключен. Двое послов — к большому удовольствию Ганнибала — остались при Гиерониме. Они родились в Карфагене, но происходили от грека, сиракузского изгнанника. Звали их Гиппократ и Эпикид.

Прибыли посланцы и от римского правителя Сицилии<sup>3</sup>, претора Аппия Клавдия. Они заявили, что хотят возобновить союз, который был у Рима с Гиероном. Гиероним не дал им никакого ответа и только спросил насмешливо:

— Чем там у вас кончилась битва при Каннах?<sup>4</sup> Послы Ганнибала такое рассказывают, что и поверить трудно. А я бы хотел знать точно — иначе не поймешь, чего можно ждать от вас и чего от них.

Римляне предупредили царя — не просили, а именно предупредили, — чтобы он не торопился с изменою, и удалились, а приближенные Гиеронима выехали в Карфаген. Там составляются условия договора: пунийцы высадутся в Сицилии и вместе с сиракузянами прогонят римлян, а затем новые друзья и союзники поделят остров пополам, так что границею между их владениями будет река Гимера.

Но пока обсуждались и принимались эти условия, Гиероним успел передумать: он потребовал у карфагенян всю Сицилию, а им советовал искать владычества над Италией. Легкомыслие сумасбродного мальчишки не удивило и не смутило пунийцев. Они готовы были поддакивать ему во всем, лишь бы только оторвать Сиракузы от Рима.

Впрочем, все внезапно расстроилось.

Царь с войском явился в город Леонтины<sup>5</sup>, и там возник новый заговор — среди солдат и младших начальников. Заговорщики заняли под постой свободный дом на узкой улочке, по которой Гиероним каждый день ходил на городскую площадь. Все засели там, держа оружие наготове, а одному, по имени Диномен, велели стать у дверей и, как только царь пройдет мимо, загорить под каким-нибудь предлогом дорогу

<sup>3</sup> Римляне владели тремя четвертями Сицилии. Остальная часть острова находилась под контролем сиракузских властителей.

<sup>4</sup> Речь идет о знаменитой битве при Каннах (216 г. до н. э.), в которой Ганнибал нанес римлянам жестокое поражение.

<sup>5</sup> Он находился к северо-западу от Сиракуз.

Деталь барельефа на саркофаге.



Римские воины. Фрагмент барельефа.





свите: Диномен и сам принадлежал к царским телохранителям, а потому мог вызвать меньше подозрений, чем любой другой. Диномен сделал вид, будто хочет ослабить слишком туго затянутый узел на сандалиии, и поднял ногу, свита замешкалась, и Гиероним оказался в одиночестве, без провожатых. Сразу несколько мечей вонзилось в него, и он упал. Тут уже притворство Диномена открылось, телохранители метнули копья, и он получил две раны, но все-таки ушел живым. А царь был мертв, и, убедившись в этом, телохранители мигом разбежались.

Часть убийц бросилась на площадь к народу, который ликовал, узнав о случившемся, часть поспешила в Сиракузы, чтобы захватить врасплох царских приверженцев...

### Свобода в Сиракузах

В Сицилии между тем<sup>6</sup> становилось так тревожно, что было решено направить туда одного из консулов — Марка Марцелла.

В Леонтинах сразу после смерти Гиеронима едва не вспыхнул мятеж среди солдат, которые грозилась омыть тело убитого в крови убийц. Но сладкое для слуха слово «свобода», а еще более — надежда на щедрые раздачи из царской казны и, наконец, перечень гнусных злодеяний тирана изменили настроение умов до такой степени, что царя, которого еще минуту назад горько оплакивали, теперь бросили без погребения.

Пока большая часть заговорщиков умирала и успокаивала солдат, двое взяли коней из царской конюшни и помчались в Сиракузы. Однако же они опоздали: их опередила не только молва, с которою никому не сравниться в быстроте, — кто-то из царских слуг успел обо всем предупредить Адранодора, и тот занял Остров и Крепость. Заговорщики добрались до города уже в сумерках. Потрясаю окровавленным платьем царя и его короной, они проехали через Тиху<sup>8</sup> и всех встречных призывали к оружию и к свободе. Люди высыпали на улицы, толпились в дверях домов, смотрели с крыш, выглядывали из окон, спрашивали, что случилось. Повсюду загораются огни, все шумит и гудит. Вооруженные собираются на площадях и пустырях, у кого оружия нет, бегут в храм Зевса и снимают со стен доспехи,<sup>9</sup> подаренные римским народом Гиерону,<sup>9</sup> затем они присоединяются к постам и караулам, которые уже успели расставить старейшины кварталов. Даже на Острове у Адранодо-

ра отбиты общественные амбары — место, обнесенное мощной стеной и больше похожее на крепость, чем на хлебные склады.

Едва рассвело, весь народ сошелся в Ахрадину<sup>10</sup>, к зданию Совета. Один из первых и самых влиятельных граждан, по имени Полиен, сказал речь, разом и откровенную и сдержанную. Мерзость рабства, сказал он, хорошо известна и ненавистна сиракузянам, но существуют еще гражданские раздоры, и они тоже ужасны, хотя знакомы нам только понаслышке. Хорошо, что мы так проворно взялись за оружие, но будет еще лучше, если мы воспользуемся им лишь в крайней необходимости. Адранодор должен подчиниться Совету и народу, и только если он замыслил сам сделаться царем, только тогда надо начать с ним борьбу всеми силами и всеми средствами.

К Адранодору тут же отряжают послов. Сам он был испуган единодушием народа, но супруга его недаром была дочерью царя и всю жизнь провела в царском дворце. Она отвела мужа в сторону и напомнила ему знаменитые слова древнего тирана Дионисия<sup>11</sup>, что с властью нужно расставаться только тогда, когда тебя поволочут за ноги, а не когда сидишь верхом на коне.

— Возьми у них сроку на размышление, — шептала она, — а тем временем придут солдаты из Леонтин, ты посулишь им денег — и все будет тебе покорно.

Адранодор, однако ж, не принял совета жены; он считал, что пока лучше уступить, и просил послов передать Совету и народу, что он выполнит их волю. На другой день,

<sup>6</sup> Ливий готовится приступить к рассказу о событиях следующего, пятого года войны с Ганнибалом (214 год до н. э.).

<sup>7</sup> Сиракузы слагались из нескольких кварталов, отделенных один от другого стенами. Остров (точнее — полуостров) Ортигия был старейшей частью города. Крепость стояла на узком и коротком перешейке, соединявшем Ортигию с сушей.

<sup>8</sup> Тиха (по-гречески — судьба) — северный квартал Сиракуз; именовался так по стоявшему в нем храму богини Судьбы.

<sup>9</sup> Это была часть добычи, взятой римлянами в войнах с соседями (разумеется, еще до начала Второй Пунической войны).

<sup>10</sup> Ахрадина — восточный квартал города с главным рыночного площадью. На этой площади и находился Совет.

<sup>11</sup> Тиран Дионисий Старший правил Сиракузами в 405—367 годах до н. э.

рано утром, ворота Острова распахнулись и пропустили Адранодора. Он вышел на площадь, стал на том же месте, с которого накануне говорил Полиен, и начал с того, что просил у сограждан прощения за свою нерешительность и робость. Он утверждал, что запер ворота из одного только страха: раз мечи обнажены, кто может сказать, где наступит конец убийствам и не пострадают ли за чужую вину люди, ни в чем не повинные? Но теперь он видит, что Сиракузам поистине возвращена свобода, и, в свою очередь, возвращает родному городу все, что поручил его заботам и попечению убитый Гиероним.

С этими словами он положил к ногам заговорщиков ключи от ворот и от царской сокровищницы. Все разошлись, довольные и счастливые, а на завтра собрались снова, чтобы выбрать правителей города. В числе первых избранным оказался Адранодор, а также убийцы Гиеронима, некоторые из них — те, что оставались в Леонтинах, — заочно. Царскую казну с

Острова перенесли в Ахрадину, и часть укреплений, закрывавших и загороживавших Остров от остальных кварталов, была, ко всеобщей радости, срыта.

Гипократ и Эпикид, посланцы Ганнибала, опасались, как бы их не заподозрили в намерении устроить переворот, и потому сами пришли к новым правителям, а те представили их Совету. Здесь карфагеняне объяснили, что они повиновались Гиерониму, исполняя приказ своего командующего, который затем их и прислал. Теперь они хотят вернуться к Ганнибалу, но Сицилия полна римлян, и они опасаются за свою жизнь. Пусть им дадут охрану и проведут — малой этой услугою Сиракузы заслужат большую благодарность Ганнибала.

#### **Заговор. Расправа над виновными и невинными**

Совет без спора согласился: он очень желал поскорее избавиться от этих цар-

Этрусский рельеф с батальной сценой.  
Палермо, Национальный музей.



ских приближенных — во-первых, опытных вояк, а во-вторых, людей неимущих и наглых. Но необходимой в таком деле расторопности сиракузяне не обнаружили, а между тем Гиппократ и Эпикид исподволь сеяли обвинения против Совета и лучших граждан. Знатные — так они утверждали повсюду, где только могли, — мечтают подавить простой народ и ради этого задумали привести в Сиракузы римлян.

Их охотно слушали, и с каждым днем слушателей находилось все больше, город волновался, и уже не только Гиппократ с Эпикидом, но и более осторожный Адранодор начинал склоняться к мысли о мятеже. Теперь он поддавался настояниям супруги, которая твердила ему, что нельзя упустить удобного случая, и вступил вговор с карфагенскими посланцами и еще одним свойственником Гиерона — Фемистом.

Но все сгубила болтливость Адранодора. Он открыл свои планы актеру Аристону. У греков ремесло актера не считается постыдным, и то был человек хорошего происхождения, всеми уважаемый, так что дружба с ним царского зятя никого не изумляла. Но Аристон, который верность отечеству ставил выше дружбы, донес обо всем, что услышал, правителям. Те нарядили тайное расследование, донос актера подтвердился, и было определено действовать без отлагательств. С одобрения старейшин правители поставили стражу у дверей Совета, и, как только Фемист и Адранодор вошли, их тотчас умертвили. Все прочие советники, кроме старейшин, понятия ни о чем не имели, и в Совете началось отчаянное смятение, но правители, водворив кое-как тишину, вывели вперед Аристона, и он рассказал все по порядку и очень подробно. Оказалось, что африканские и испанские наемники должны были перебить городских правителей и других именитых граждан, получив в награду их имущество, и что верный Адранодору отряд готовился снова занять Аостров.

Тут Совет успокоился окончательно, но на площади бушевала толпа, которая еще не знала, что произошло, и только чувствовала перемены. Звучали уже и проклятия и угрозы, однако, когда двери Совета распахнулись и все увидели трупы заговорщиков, народ онемел от ужаса и молча выслушал речь, которую произнес один из правителей. Он обвинял убитых во всех злодеяниях, совершавшихся в Сиракузах после смерти Гиерона: на что, в самом деле, был бы годен мальчишка Гиероним без дурных опекунов и советников? Он обви-

нял Адранодора в черной неблагодарности: ведь народ не только простил ему его преступление, но даже избрал в правители. Впрочем, истинною причиною всему — не сами заговорщики, а их жены, царское отродье, неспособное проститься с мыслью о тиранической власти!

Со всех концов площади понеслись крики, что надо казнить обоих, что нельзя оставлять в живых никого из рода тиранов. Толпа всегда такова: она либо рабски пресмыкается, либо свирепо властвует, свободы же, которая лежит посредине между тем и другим, не может ни принять, ни воспользоваться ею. И всегда находятся прислужники злобы и гнева, которые подстрекают к кровопролитию души, безудержно жаждущие крови. Вот и тогда правители немедленно предложили закон: весь царский дом предать смерти. И он был немедленно принят народом, и Дамарата, дочь Гиерона и супруга Адранодора, и Гармония, внучка Гиерона, и супруга Фемиста были убиты.

Была у Гиерона еще одна дочь, Гераклия. Ее мужа, Зоиппа, Гиероним отправил послом к египетскому царю Птолемею, и Зоипп, ненавидевший тирана, остался в Египте в добровольном изгнании. Узнав заранее, что убийцы идут и к ней, Гераклия вместе с двумя совсем юными дочерьми припала к алтарю домашних богов. Распустив волосы, заливаясь слезами, она заклинала убийц богами и памятью отца, Гиерона, не обращать справедливую ненависть к Гиерониму против них, ни в чем не виноватых.

— Под пятою Гиеронима я лишилась супруга, а мои дочери — отца! Под пятою Адранодора — если бы надежды его сбылись — я стала бы рабою наравне со всеми прочими! А теперь мы должны погибнуть! За что? Какою опасностью грозят отечеству, свободе или законам три беспомощные, одинокие женщины? А если не мы вам опасны, но царский род, так вышлите нас прочь, дайте уехать в Александрию — жене к мужу и дочерям к отцу!

Убийцы были словно глухи. Кто-то крикнул, что нечего терять время попусту, кто-то обнажил меч. Тогда Гераклия взмолилась, чтобы пощадили хотя бы девочек — они в тех летах, на которые даже у врагов на войне не поднимается рука! И тут она умолкла, потому что палачи оттащили ее от алтаря и перерезали ей горло. Потом они бросаются на дочерей, обрызганных материнскою кровью. Обезумев от страха и горя, девочки вырвались и заметались

по дому, и убийцы долго гонялись за ними, без толку размахивая мечами. Наконец испустили дух и они. Гибель их была тем более ужасна и жалостна, что почти сразу вслед за тем явился гонец с приказом остановить казнь: ярость народа уже успела иссякнуть и смениться состраданием. Но из сострадания снова вырос гнев, когда гонец вернулся и сообщил, что все кончено. Толпа грозно редела и разошлась не прежде, чем был назначен день для выборов новых правителей — взамен Адранодора и Фемиста.

### Конец недолгой свободы

Когда день этот настал, кто-то из задних рядов неожиданно для всех выкрикнул имя Гиппократ, кто-то еще — Эпикида, и скоро чуть ли не вся площадь дружно повторяла их имена. Остальные правители сперва пытались делать вид, будто не слышат этих криков, но в конце концов были вынуждены признать и утвердить выбор народа. Дело же заключалось в том, что на площади собрались не только граждане Сиракуз, но и немалое число наемных солдат, а главное — римских перебежчиков, нашедших пристанище в Сицилии, и они боялись союза с Римом и сочувствовали Ганнибаловым посланцам.

И однако к Марцеллу — он уже прибыл в Сицилию — выехали послы с предложением возобновить прежний договор: Гиппократ с Эпикидом не смогли этому воспрепятствовать. Марцелл выслушал сиракузян и отправил ответное посольство, но положение тем временем переменилось. Карфагенский флот подошел к Пахину<sup>12</sup>, Эпикид и Гиппократ набрались прежней самоуверенности и, не таясь, заявляли, что знают предаст Сиракузы Риму. А тут еще, совсем некстати, у входа в гавань бросили якорь римские суда — это римляне хотели одобрить своих приверженцев, — и толпа кинулась к берегу моря, чтобы помешать высадке незваных гостей.

Раздоры между карфагенской и римской партиями достигли такой остроты, что казалось, вот-вот всыхнет мятеж. Снова созвали народное собрание, и один из первых в городе людей, по имени Аполлонид, произнес в высшей степени уместную и разумную речь.

— Если все мы единодушно примем сторону римлян или карфагенян, не сыскать в мире государства счастливее и благополучнее нашего. Но если всяк будет настаивать на своем, то между сиракузя-

нами разгорится война еще свирепее той, какая уже идет меж Карфагеном и Римом. Наша главная задача — взаимное согласие, а с кем именно заключить союз — вопрос особый и гораздо менее важный. Впрочем, я бы все-таки предложил идти дорогою Гиерона, а не Гиеронима. Мало того, что римляне — союзники давние и испытанные; не забывайте и того, что расторгнуть дружбу с ними безнаказанно невозможно. А если мы отклоним дружбу карфагенян, это нам немедленной войною не грозит.

Своим беспристрастием речь Аполлониды произвела большое впечатление на обе партии, и после новых, очень долгих и очень горячих споров постановили сохранить с римлянами мир, о чем и известили Марцелла.

Немного дней спустя прибыли послы леонтинцев просить военной силы для охраны своих границ. В Леонтины выступил Гиппократ с отрядом римских перебежчиков, к которым по собственному желанию присоединились и наемники. Походу радовались и городские власти и Гиппократ с братом: одни — освобождая и очищая Сиракузы от самых худших подонков, другие — предвкушая давно замышлявшийся переворот.

Гиппократ несколько раз делал набеги на римские владения, правда, украдкой, а когда Аппий Клавдий, легат Марцелла, выставил вооруженный караул, карфагенянин напал открыто и многих поубивал. Марцелл тут же посылает в Сиракузы заявить, что мир нарушен и не будет восстановлен до тех пор, пока Гиппократ и Эпикид не оставят пределы Сицилии. Эпикид не был склонен держать ответ за брата и поспешно бежал к нему в Леонтины. Увидев, что против римлян жители этого города восстановлены вполне достаточно, он принялся подстрекать их против сиракузян.

— Они хотят сохранить владычество над всеми городами, какие прежде подчинялись царю, — говорил он, — на этих условиях они и заключили мир с римлянами. Им мало собственной свободы — им непременно надо распоряжаться судьбою других! Но у леонтинцев не меньше прав быть свободными, чем у сиракузян. Ведь это на вашей земле пал тиран, на ваших улицах раздались первые призывы к освобождению. Либо они должны признать вашу не-

<sup>12</sup> Мыс Пахин — южная оконечность Сицилии.

зависимость, либо вы не признавайте их договора!

Подстрекательские речи оказали свое действие, и когда пришли сиракузские послы с требованием, чтобы Гиппократ и Эпикид, виновники избиения римского караула, удалились из Леонтин и вообще из Сицилии, им дерзко ответили, что леонтинцы не поручали сиракузянам заключать за них мир и союз с кем бы то ни было, а чужие договоры соблюдать не обязаны. Тогда сиракузяне дали знать римлянам, что леонтинцы вышли из повиновения, пусть римляне идут на них войною.

Марцелл и Аппий подступили к Леонтинам с двух сторон, и воины, которых вело желание отомстить за убитых товарищей, захватили город с первого же натиска. Гиппократ и Эпикид заперлись в крепости, а ночью тайно бежали в ближний городок Гербес. Сиракузяне восьмьютысячным отрядом двинулись к Гербесу и дороною повстречали гонца из Леонтин, который, мешая правду с ложью, рассказал им, что римляне истребили без разбора и воинов и взрослых граждан — всех до одного! — а город разграбили. (В действительности они высекли розгами и обезглавили перебежчиков — около двух тысяч человек, но ни наемники, ни горожане, ни их имущество нисколько после взятия Леонтин не пострадали.) Отряд остановился, и никакими силами его нельзя было заставить ни двинуться дальше, ни подождать более достоверных известий. Воины обвиняли римлян в вероломстве, а своих начальников в предательстве, и те, опасаясь прямого бунта, почли за лучшее расположиться на ночлег в соседней Мегаре.

Попутру войско снова двинулось к Гербесу. Гиппократ и Эпикид, понимая, что положение их безнадежно, отважились на крайнее средство — отдаться на милость сиракузских воинов, которые хорошо их знали и вдобавок были потрясены вестью о гибели товарищей. И вот они вышли навстречу отряду. А в голове колонны по случайности оказались шестьсот критских лучников, прежде служивших у римлян и обязанных своею жизнью Ганнибалу: они попали в плен при Тразименском озере, и Ганнибал их отпустил. Простирая к ним руки и размахивая ветвями оливы — как подобает молящим о помощи, — Гиппократ и Эпикид кричали, чтобы те приняли их под защиту и не выдавали сиракузянам, которые всех своих наемников готовы выдать на расправу римскому народу.

Критяне в один голос отвечали:

— Мужайтесь! Ваша судьба — это наша судьба!

Знаменосцы, а за ними и весь передовой отряд остановились. Начальники были в хвосте колонны и не знали, в чем причина задержки, но вот от воина к воину побежал слух, что Гиппократ и Эпикид в их рядах, и шеренги радостно загудели. Начальники пришпорили коней и поскакали вперед. Они обрушились на критянах с упреками (что это, дескать, за правило, что за распушенность — заводить дружеские разговоры с врагами?) и приказали арестовать братьев, а Гиппократа тут же заключить в оковы. Критяне встретили приказ насмешками и угрозами, их поддержало все войско, и начальники увидели, что настаивать не только бесполезно, но и опасно. В страхе и растерянности они отводят своих непокорных подчиненных назад в Мегару и посылают в Сиракузы нарочного с докладом.

Гиппократ между тем громоздит обман на обман. Он велит нескольким критянам засесть у дороги и перехватить гонца, а затем громко читает письмо, якобы у того отобранное, на самом же деле сочиненное им, Гиппократором:

«Начальники сиракузян приветствуют консула Марцелла.

Ты поступил совершенно правильно, не дав пощады никому в Леонтинах. Но все наемники одинаковы, и в Сиракузах не будет спокойствия, пока хоть один из них останется в нашем городе или войске. Постарайся же захватить и тех, что расположились лагерем под Мегарою, казни их и освободи, наконец, Сиракузы».

Выслушав письмо, солдаты кинулись к оружию с таким бешеным ревом, что начальники, даже не пытаясь объяснить, бежали в Сиракузы. Но и бегство их не успокоило наемников, они напали на воинов из числа сиракузских граждан и перебили бы всех до последнего, если бы не Гиппократ и Эпикид. Они сумели унять их ярость — разумеется, не из человечности, не из чувства сострадания, а лишь для того, чтобы не закрыть себе дорогу в Сиракузы. Последние сутки особенно ясно показали Ганнибаловым посланцам, как легковерна и вспылчива толпа, и они подкупают одного солдата, который был в Леонтинах во время приступа, чтобы он по праву и по долгу очевидца рассказал в Сиракузах о «зверствах» римлян.

Их расчет был верен. «Очевидец» тронул и взволновал не только народ, но и Совет. Даже люди вполне основательные го-

ворили: как хорошо, что римская алчность и жестокость разоблачили себя в Леонтинах — в Сиракузах наверняка случилось бы то же или еще того хуже, потому что здесь для алчности больше простора и богаче награда. Все согласилось, что надо запереть ворота и тщательно оберегать город. Но от кого? Солдаты и большая часть народа считали, что от римлян, а городские правители и немногие из народа — что не следует впускать и Гиппократа с Эпикидом, которые уже стояли у Гексапила<sup>13</sup>. Но родичи тех сиракузских воинов, которые были спасены их заступничеством, отворили одни из ворот Гексапила, чтобы — так они восклицали — общими усилиями защищать общее для всех отечество. Городские правители вмешались, однако же ни приказы, ни угрозы не помогали, и тогда они, забыв о своем достоинстве, со слезами на глазах молили граждан не выдавать Сиракузы бывшим прислужникам тирана и нынешним растлителям войска. Толпа ничего не слышала и не желала слушать. Ворота взламывают изнутри с такою же яростью, как снаружи, и через

все шесть проемов отряд Эпикиды и Гиппократа вливается в город.

Правители бежали в Ахрадину. Наемники соединились с римскими перебежчиками и остатками царской охраны, ворвались в Ахрадину и перебили почти всех правителей: Конец резне положила лишь ночная темнота.

На другой день была объявлена свобода рабам и преступники выпущены из тюрем, и пестрый этот сброд, сойдясь на площадь, избрал в городские правители Гиппократа и Эпикиду. Так после недолгой свободы Сиракузы снова погрузились во мрак прежнего рабства.

Римляне, не теряя времени, выступили из Леонтин к Сиракузам и разбили лагерь у храма Зевса Олимпийского, в двух с небольшим километрах от города. Отсюда Марцелл еще раз — в последний раз —

<sup>13</sup> Гексапил (по-гречески — «шестивратие», то есть ворота с шестью проемами) — главные городские ворота в северной стене Сиракуз. Здесь начиналась дорога на Леонтины.



Марцелл. Римская монета.

отправил посольство к бывшим союзникам. Но Гиппократ и Эпикид не хотели, чтобы послы появлялись перед народом, и вышли за стену, к ним навстречу. Глава посольства сказал:

— Мы несем сиракузянам не войну, а помощь — помощь и тем, кто спасся от гибели и нашел убежище в римских владениях, и тем, кто раздавлен страхом и терпит неволю, более горькую, чем изгнание, чем сама смерть. Итак, если беглецы получат возможность вернуться, если зачинщики убийств будут выданы, а свобода и право в Сиракузах возрождены, — мы уходим, не обнажив мечей. В противном случае нас не остановит ничто.

Эпикид отвечал кратко:

— Сиракузы — не Леонтины. Вы быстро в этом убедитесь.

### Штурм отбивает Архимед

Римляне штурмовали Сиракузы и с моря и с суши одновременно, не сомневаясь, что хоть в одном каком-то месте им удастся прорвать оборону и проникнуть в громадный, широко раскинувшийся город. Они подвели к стенам все осадные машины и орудия, какие только удалось разыскать и построить, и, вероятно, добились бы своего, если бы не было в ту пору в Сиракузах человека по имени Архимед.

Архимед обладал несравненными познаниями в астрономии, но еще больше славы приобрел сооружением военных машин, которые и разбили вдребезги все надежды осаждающих, свели на нет все их усилия.

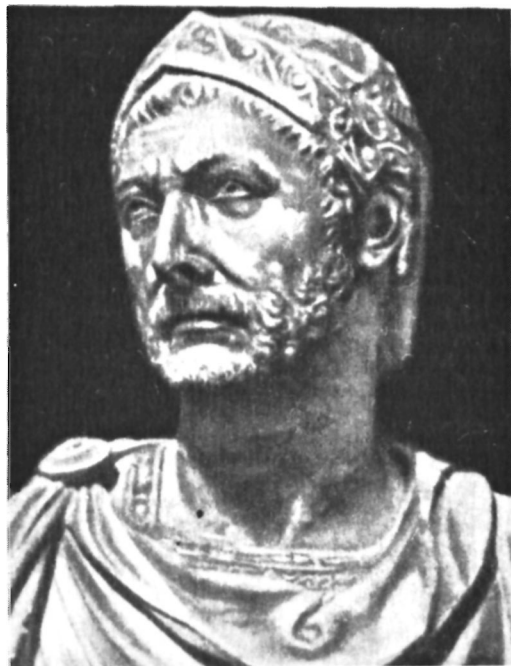
Укрепления Ахрадины омываются морем. Сюда подошли шестьдесят кораблей о пяти рядах весел, и легкая пехота — лучники, прашники и метатели дротиков — осыпала защитников города смертоносным градом и смела их со стены. Суда с пехотой на борту держались на некотором расстоянии от берега, потому что метательным снарядам необходимо пространство для разлета; другие корабли были подведены к берегу почти вплотную — их соединили по двое, борт к борту, сверху воздвигли башни в несколько этажей и в башнях установили тараны.

Но Архимед заблаговременно разместил на стенах всевозможной величины машины. В дальние суда полетели громадные и на редкость тяжелые камни, в ближние — камни полегче, зато с гораздо большею частотою. Чтобы прикрыть своих от вражеских снарядов, Архимед про-

делал на разной высоте бойницы шириною менее полуметра, и сиракузяне, сами оставаясь невидимыми, стреляли в неприятеля из луков и малых скорпионов. Если судно подплывало совсем близко, туда, где камни уже не могли его достать, со стены спускали на толстой цепи железный крюк и захватывали нос корабля, а потом с помощью рычагов и свинцового противовеса вытягивали корабль высоко в воздух кормою вниз и снова отпускали. И судно падало и либо сразу тонуло, либо зачерпывало столько воды, что едва держалось на поверхности.

Когда морской приступ был отражен, Марцелл все силы сосредоточил на суше, у Гексапила. Но и здесь римлян встретили те же машины, и ничуть не в меньшем числе: их строили еще при Гиероне, в течение долгих лет, расходами и заботами царя и дивным искусством Архимеда. К тому же основания стены поднимались над очень крутыми скалами, на которые и в мирное-то время и безоружному

Ганнибал.



вскарабкаться было не так просто. И, созвав военный совет, Марцелл принял решение перейти от бесплодных попыток штурма к правильной осаде.

### Борьба за Сицилию

Оставив две трети войска в лагере под Сиракузами, Марцелл с остальной третью обходил города, которые изменили союзу с Римом. Из них иные покорились сами, а Мегару он взял силою, разграбил и разрушил, главным образом чтобы запугать сиракузян. Но примерно в это же время на южном берегу Сицилии высадились карфагеняне во главе с Гимильконом — двадцать пять тысяч пехоты, три тысячи конницы и двенадцать боевых слонов. (Когда Гиппократ захватил власть в Сиракузах, Гимилькон, который в ту пору стоял с флотом у Пахина, отправился в Карфаген и убедил сенат послать в Сицилию побольше вооруженной силы, обещая в недалгом времени завоевать весь

остров.) Уже через несколько дней после высадки он взял Агригент<sup>14</sup>. Все города, сочувствовавшие пунийцам, загорелись надеждою изгнать римлян из Сицилии.

Подняли головы и осажденные в Сиракузах. Гиппократ и Эпикид поделили войско, и Эпикид остался продолжать оборону, а Гиппократ с десятью тысячами пехотинцев и пятьюстами конниками вышел ночью из города, без труда миновав редкие караульные посты врага; он имел в виду соединиться с Гимильконом. После долгого и утомительного перехода люди Гиппократа начали устраивать лагерь, как вдруг показался Марцелл, возвращавшийся в Сиракузы после неудачной попытки овладеть Агригентом. Шел он очень осторожно, в полной боевой готовности, потому что опасался нечаянного столкновения с карфагенянами. Теперь эта осторожность сослужила ему добрую службу. Римляне

<sup>14</sup> Агригент — большой портовый город на юге Сицилии.

Римский флот у стен Сиракуз.  
Гравюра XVII века.





мгновенно напали на сицилийцев, беспечно хлопотавших вокруг своих палаток, и окружили всю пехоту врага. Гиппократ с конницей бежал и спустя немного разыскал Гимилькона. Вместе с карфагенянами он стал лагерем в двенадцати километрах от Сиракуз.

И Рим и Карфаген продолжали посылать в Сицилию подкрепления, как будто главный театр военных действий переместился из Италии сюда. Пятьдесят пять пунийских боевых кораблей вошли в сиракузскую Большую Гавань. Прибыл еще один римский легион и берегом, под охраною флота, добрался до лагеря Аппия Клавдия, благополучно избегнув встречи с Гимильконом, пытавшимся поймать неприятеля в пути.

Под Сиракузами карфагеняне пробыли недолго. Начальник флота Бомилькар узнал, что у римлян судов вдвое больше, чем у него, и, чтобы не тратить времени впустую, вернулся в Африку. А Гимилькон

решил действовать примерно так, как незадолго до того Марцелл: обходить город за городом, склоняя их к измене Риму. Затея была удачной: во многих местах жители изгоняли римские отряды или коварно выдавали их врагу.

### Преступление или необходимая мера защиты?

Город Хенна расположен на высоком, обрывистом холме и отлично укреплен самой природою. Но неприступным делала его не только выгодная позиция, а в первую очередь сильный гарнизон в крепости и начальник гарнизона Луций Пинарий. Он и вообще был проницателен и решителен и всегда больше полагался на своих солдат, чем на верность сицилийцев, а теперь тревожные вести, доносившиеся с разных сторон, удвоили его обычную осмотрительность. Днем и ночью повсюду стояла стража, караульные ни на миг не покидали

Убийство Архимеда. Римская мозаика.



своих постов и не расставались с оружием. Когда городские власти, уже вступившие в сговор с Гимильконом, убедились, что хитростью римлян не возьмешь, они стали действовать открыто. Они заявили Пинарию, что и город и крепость должны находиться в их власти — ведь они союзники римского народа, а не пленники у него под охраной. А стало быть, и ключи от ворот пусть будут у них.

На это римлянин возразил, что и крепость и ключи от нее ему поручил главнокомандующий, консул Марцелл, и он никак не может распорядиться ни тем, ни другим по собственному усмотрению или по усмотрению граждан Хенны. Но консул неподалеку: пусть граждане отправят к нему словес, и он все решит сам.

— Нет, — отвечали ему, — никого и куда посылать мы не будем. Либо соглашайся по-хорошему, либо мы найдем иное средство защитить свою свободу.

На это Пинарий сказал им так:

— Ну что ж, созовите хотя бы Народное собрание и дайте мне выступить. Я хочу узнать, чье это требование — всего ли города или только немногих недобрых.

Возвратившись затем в крепость, Пинарий обратился к воинам с речью.

— Вы, конечно, слышали, — начал он, — что происходит теперь в Сицилии. Если вы до сих пор целы и невредимы, то прежде всего по милости богов, а затем благодаря собственному мужеству и выносливости. Ах, если бы так могло продолжаться и дальше! Но городские власти прямо и дерзко потребовали выдать им ключи от крепости. Стоит нам подчиниться — и карфагеняне тут же будут в Хенне, а мы все будем мертвы. Я едва выговорил у горожан ночь на размышления. Завтра поутру они соберутся в театре<sup>15</sup>, и власти станут подбивать народ против нас. Завтра Хенна умоется либо нашею кровью, либо кровью своих граждан. Кто первый обнажит меч, тот спасен, кто опоздает — погиб.

Итак, завтра утром будьте готовы и ждите моего знака. Я подам сигнал краем тоги, и вы сразу бросайтесь в толпу и убивайте всех подряд. Смотрите, чтобы не остался в живых никто из смутьянов или вообще людей подозрительных. Бессмертные боги, будьте свидетелями, что мы прибегам к коварству лишь ради того, чтобы самим не пасть жертвами коварства!

На другой день римляне закрыли сторожевыми постами все выходы из Хенны,

перерезали все дороги, а основная часть отряда засела на склоне, повыше театра<sup>16</sup>. Никто не обратил на это внимания, потому что гарнизонные солдаты любопытства ради часто смотрели сверху, как заседает и совещается народ. Открылось собрание. Вышел Пинарий и повторил все, что накануне говорил властям. Не успел он кончить, как кто-то крикнул:

— Верни ключи!

Крик тут же повторился, стал громче, дружнее, и скоро уже весь театр кричал в один голос:

— Верни ключи! Верни ключи!

Римский начальник медлил, отвечал неопределенно и невнятно, а граждане вскакивали с мест, злобно грозились, и было ясно, что вот-вот от слов они перейдут к делу. Тут Пинарий взмахнул краем тоги, и воины, не сводившие с него глаз, ринулись вниз и ударили собравшимся в спину. Началась дикая бойня. Люди пытались бежать, спотыкались, падали друг на друга, и тела громоздились грудами, где мертвые были перемешаны с живыми, раненые с невредимыми. Резня перекинулась в город, и римляне избивали безоружную толпу с такой яростью, точно одинаковая опасность грозила в этот миг и палачам и их жертвам. Как назвать это — преступлением или необходимою мерою защиты? Но как бы мы это ни назвали, а Хенна осталась за римлянами, и Марцелл ничем не выразил своего недовольствия или неодобрения и позволил солдатам разграбить имущество убитых.

Консул считал, что на будущее время страх удержит сицилийцев от предательства. Но расчет его не оправдался. Слух о событиях в Хенне, которая лежит как раз посредине острова и освящена следами похищения Прозерпины<sup>17</sup>, в один день разнесся по всей Сицилии. И все повторяли, что это гнусное кровопролитие — вызов не только людям, но и богам, что это осквернение святыни, и даже те, кто прежде сомневался, на чью сторону встать, теперь решительно склонялись на сторону карфагенян.

<sup>15</sup> В греческих городах театр был обычным местом Народного собрания.

<sup>16</sup> Скамьи для зрителей в древнегреческом театре вырубались полукругом в склоне холма или горы.

<sup>17</sup> Древние верили, что бог подземного царства Плутон похитил свою будущую супругу Прозерпину (дочь Деметры, богини земледелия и хлебных злаков) в Сицилии, на лужайках пониже Хенны.

Юрий Домбровский

## Арест

Вскоре же после получения на Кавказе первых известий о декабрьских событиях в Петербурге в крепости Грозный арестовали и Грибоедова.

В комнатах наместнического дома в ту пору уже было порядком темно, и в залах пришлось зажечь свечи.

Ермолов, большой, желтый, слегка одутловатый, сидел за ломберным столом и раскладывал новый пасьянс. Карты были цветастые, блестящие, и, разбросанные по



столу, они походили на перья райской птицы.

Рядом стояла свита.

— Эту вот сюда, эту сюда, — методично говорил Ермолов и вдруг задумался с картой в руке. — А эту вот... — Он озабоченно смотрел на пасьянс.

Грибоедов сзади с трубкой во рту разглядывал его руки. Почему-то всегда случалось так, что, когда он смотрел на наме-стника, больше всего ему запоминались

именно его руки с белыми, тонкими, покрытыми рыжеватой шерстью пальцами.

— Ну, а эту вот... — беспокойно повторил Ермолов, обернулся, чтобы поискать взгляд Грибоедова. — Куда же эту-то девать? Червонную даму-то куда? Нет, видно, я чего-то тут напутал! Александр Сергеевич, а Александр Сергеевич?

Вот в это время и доложили ему о приезде фельдъегеря с секретным пакетом от военного министра.



— Так пускай он проходит сюда, — громоздко зашевелился в кресле Ермолов. — Из Петербурга? Сейчас же пусть идет сюда.

И он снова стал рассматривать карты.

— Ну, где же я все-таки тут напу-тал? — спросил он раздумчиво.

Полминуты еще, упрямо наклонив голо-ву, он смотрел на карты, а потом с доса-дой бросил колоду, и она легко рассыпа-лась по столу.

Фельдгегерь подходил к нему чеканной военной поступью. Не доходя шага три до наместника, он вдруг остановился, резко, отточенным, острым движением отдал честь, потом так же резко, четко и отчетливо по-лез в черную фельдгегерскую сумку на по-ясе, выхватил двумя пальцами тонкий пер-гаментный конверт и, сделав еще шаг, на вытянутой руке протянул его наместнику. Ермолов взял пакет, обернулся, посмотрел черные сургучные печати и быстро разо-рвал конверт наискось.

Грибоедов по-прежнему стоял сзади не-го, только трубку изо рта вынул. Текст бу-маги ему был виден ясно. Его собственная фамилия вдруг бросилась ему в глаза. На-писанная незнакомым писарским почерком, она показалась ему чужой и к нему вовсе не относящейся. Тогда он слегка приблизил голову к руке наместника, сощурил бли-

зорукие глаза и прочел первые две строчки.

«Прошу Ваше Высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при Вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами».

Это было так разительно, что он даже не испугался. Конечно, этого приходилось ждать. И все-таки все это он представлял себе совсем иначе. С секунду простоял он неподвижно, чувствуя, как у него заломило под ногтями и пересеклось дыхание, потом быстро взглянул на Ермолова. А тот уже кончил читать, аккуратно сложил бумагу вчетверо, не торопясь сунул ее в конверт, конверт положил в карман.

— Ну, так, — сказал он, обращаясь к фельдгегерю. — А доехали как? В доро-ге были долго?

Фельдгегерь начал что-то рассказывать, и Грибоедов, как при свете молнии, вдруг очень точно и ясно увидел его. Заметил, что он молод и вместе с тем не по летам плешив, худощав, с длинным носом и отто-пыренными негритянскими губами. Под ле-вой бровью белел длинный шрам.

«Били его, что ли...» — подумал Грибо-едов тускло. Ответ фельдгегеря он не слышал.

— Нет, это недолго, — раздался впе-реді него голос Ермолова. — Две недели — это совсем по-нашему недолго. Ну ладно. Коли говорите, не устали, расскажите нам, что же произошло в Петербурге.

Он поднял большую львиную голову, и на мгновение его взгляд встретился с гла-зами Грибоедова. Ничто не дрогнуло на его одутловатом лице, и даже глаза остались неподвижными и далекими. Правда, он сей-час же соскользнул взглядом мимо, наклони-лся к столу и начал собирать карты. Только собирал он их, пожалуй, слишком долго.

Фельдгегерь о чем-то рассказывал.

Грибоедов отошел от наместника, сел на кресло и положил руки на подлокотники. Потом сейчас же вскочил.

«Немедленно взять под арест служаще-го при Вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами» — послед-ние слова, на которые он не обратил спер-ва было внимания, сейчас снова всплыли в его памяти. Да, да, бумаги! Вот что глав-ное — суметь уничтожить бумаги. Как он был глуп, ах как он был глуп, что не по-думал об этом раньше!

Он стоял вытянувшись у стены и усме-хался.



И вдруг до него опять дошел голос фельдъегеря:

— Якубович, ранее разжалованный приказом его императорского величества в солдаты, ходил по площади от одной стороны к другой и предлагал свою помощь государю. После он был тоже арестован, так как оказался злоумышленником.

— Бывший чиновник архива министерства иностранных дел Кюхельбекер с заряженным пистолетом искал повсюду его императорское высочество великого князя Михаила Павловича.

— Вы слышали, господа? Кюхельбекер! — охнул Ермолов так громко и искренно, что Грибоедов опять усмехнулся. — Это ведь наш Вильгельм Карлович. Он же у меня в канцелярии лет пять тому назад работал. Вы помните его, господа?

Он стал было с креслом поворачиваться к Грибоедову, но вдруг дотронулся до подлокотников и вскочил так быстро и легко, что под ним забушевали пружины.

— Ну, спасибо за рассказ, — сказал он любезно и величественно. — Спасибо, голубчик. Очень хорошо все рассказали. Вы, чай, устали с дороги, так я вас больше и не держу, а вот вы, господа, — он обернулся к свите, — вечером прошу пожаловать ко мне на обед.

Он пошел из комнаты и, проходя мимо Грибоедова, не задерживаясь, показал глазами на дверь.

— Так вот, господа, милости прошу всех ко мне сегодня на обед, — повторил он с порога и вышел из комнаты.

Друг перед другом они стояли в маленькой, узкой комнате, такой маленькой и такой узкой, что в ней умещалась только одна жесткая деревянная кровать (верно, тут спал кто-то из прислуги) да табурет из некрашеного дерева. Ермолов говорил:

— Ну вот и допрыгались, сударь мой, и допрыгались. Сказано вот: «со всеми принадлежностями ему бумагами». Что, хорошо разве? А ведь я знаю, какие у вас там бумаги.

Грибоедов стоял перед ним по-прежнему прямой и неподвижный, чем-то неуловимо напоминая Робеспьера. Страха уже не было. Стойкое, спокойное чувство безнадёжности охватывало его целиком. Он усмехался, глядя на Ермолова.

— Двум смертям не бывать, Алексей Петрович, — ответил он устало, называя Ермолова по имени и отчеству, как всегда, когда они были только вдвоем.

— Ага, вот-вот! — чему-то неожиданно обрадовался Ермолов. — Уже и о смерти заговорили. Двум смертям! — Он фыркнул, как рассердившийся кот. — Подумаешь, четыре поэта — вы, Саша Одоевский, да Вильгельм Карлович, да еще Рылеев начали бунт противу всего государственного быта Российской империи. Эх, — он с омерзением сплюнул, — сочини-тели! Разве этак такие дела делаются? А теперь вот: «одной не миновать».

Он сердито прошелся по комнате (а в ней-то всего было два шага) и снова остановился перед Грибоедовым. А тот очень медленно снял стекла, протер их кусочком кожи (это заняло у него с полминуты), снова надел их и полез в карман за трубкой.

— Двум смертям! — сердито повторил Ермолов, иронически смотря на него. — Смертям! Рано, рано, сударь, о смерти думаете! Под пулями стоять научился, а вот когда... — он не окончил и сердито махнул рукой с рыжеватыми пальцами. — Смертям! — фыркнул он и полез в карман за пакетом. — Ты видишь, что мне Чернышев-то пишет: «взять со всеми бумагами». Бу-ма-гами! Ведь вот оно что. Ну так слушай: я тебе могу дать не более двух часов или даже того менее на сборы. А после этого не обессудь, приду арестовывать со всей сворой. Так ты пригтовься. — Он помолчал и спросил: — Слышишь?

— Слышу, Алексей Петрович, — тихо ответил Грибоедов. Вынул из кармана трубку, повертел в руках и опять сунул в карман. — Слышу.

— Иди! — скомандовал отрывисто, как на плацу, Ермолов. — Торопись! Видишь, уже смеркается.

Грибоедов пошел, и тут Ермолов окликнул его снова.

— Стой, слушай, — сказал он каким-то совершенно новым тоном, таким, какого Грибоедов никогда от него не слышал. — Ты иди там, почистись хорошенько, а о прочем не беспокойся. Здесь они, — он ткнул на дверь, — ничем у меня не поживятся. Не на такого напали! Я тебе аттестат дам наипохвальнейший, а если кого сюда о тебе пришлют разведывать, так ты сам знаешь, все через мои руки проходит. Так, что ли?

— Так, Алексей Петрович, — тихо ответил Грибоедов.

— Ну вот. А голову-то не вешай, не вешай. Не надо голову-то вешать. Я, брат, сам при Павле в ссылках побывал. А вот видишь, — он слегка пожал плечами с ге-

неральскими погонами. — Ничего еще не видно! Они там, в Санкт-Петербурге, от страха все с ума сошли. Ну и хватают всех без разбору. Не чаю, чтоб ты чего-нибудь особого наболтал или того паче наделал. А все остальное чепуха! Как пристали, так и отстанут. На следствии-то много не болтай и никому не верь. Они одно слово сказали, десять соврали. Ихнее дело такое. Ну да ты и сам знаешь. Ученого учить... есть такая поговорка, — он положил ему руку на плечо. — Обнимемся, что ли, на прощанье? — спросил он грубо и конфузливо.

Он взял Грибоедова обеими ладонями за виски, поглядел ему в глаза и несколько раз крепко, по-солдатски поцеловал в самые губы. Потом резко ладонью оттолкнул его голову.

— Ну, иди, иди, — сказал он торопливо, с трудом переводя жесткое дыхание. — Иди, делай, что тебе надо. — И, не удержавшись, добавил: — Рес-пу-бли-ка-нец.

Грибоедов сидел на полу над чемоданом и жег бумаги. Его казачок Александр Грибов стоял рядом. Дверь комнаты они не заперли. Кроме Грибоедова, здесь квартирвало еще пять или шесть человек из свиты, но он не боялся, что им помешают. Конечно, старик не отпустит от себя никого весь вечер. Грибоедов вытащил из чемодана большую синюю тетрадь, со всех сторон исписанную незнакомым ему почерком, — сборник стихотворений вольнолюбивых, — слегка перелистал ее и сунул в огонь.

Пламя охватило рукопись всю сразу, и она зашумела, как ветвь под ветром.

И на торжественной могиле  
Горит без надписи кинжал, —

вспомнил он неожиданно для самого себя. — Что-с? — спросил Сашка Грибов с полу.

— Ничего, — недовольно ответил ему Грибоедов. — А чего ты тут расселся, как лягушка? Смотри, вон пепел из печи на пол падает.

— Никак нет-с, — сказал Сашка беззаботно и принялся сгребать его с пола прямо ладонями.

Стоя над огнем, Грибоедов думал. «...Рылеев, Кюхельбекер, Одоевский, Якубович, а кто еще? Может быть, Пушкин? Странно, однако, что Уклонский (так, кажется, зовут этого лысача) не назвал его фамилии. А вот Кюхля-то, Кюхля-то... —

Грибоедов усмехнулся. — И тут ведь остался верен себе. Как это рассказывали: выбежал на площадь во всем штатском, без шубы, в каком-то лапсердачке да еще, кажется, в мягкой шляпе с загнутыми краями — это в декабре-то месяце! — и стрелял в великого князя. Или нет, не стрелял, только хотел стрелять, в дуло набился снег, так, что ли, рассказывал Уклонский? А вот Каховский, тот выстрелил в петербургского генерал-губернатора, когда тот подкакал к мятежникам, и убил его. Лошадь пронесла по Сенатской площади его мотающееся в седле тело. Что теперь сделают с ним и с Кюхлей?

А с Рылеевым, с Сашей Одоевским?»

А с ним что? Вот он сидит на полу с Сашкой Грибовым, жжет бумаги и ждет, когда за ним придут.

— Сашка, что ж ты смотришь, тетья? — сказал он сердито и подбросил новую пачку. — Кидай, кидай их в огонь!

Пламя охватило всю кипу и бурно ли стало страницы. Он стиснул голову. Голова у него слегка кружилась. Он чувствовал себя, как после стакана хорошего вина.

Сашка пугливо смотрел на него.

— Ничего, ничего, Сашенька, — сказал Грибоедов, — ничего, милый. Твое дело нехитрое: знай подкладывай. — Он выхватил из чемодана рукопись, просмотрел ее, и рука его задержалась с секунду над огнем. — В огонь, в огонь все!

«Что не берет железо, то берет огонь», — так учили его в детстве. Пусть торит и эта его тетрадь, недописанная трагедия о 1812 году. Он встал с полу, отряхнулся всем телом и зашагал по комнате. Сашка на короточках сидел около пеньки и перемешивал пепел. Желтые отблески плясали по его лицу.

И внезапно он всхлипнул. Грибоедов обернулся к нему. Сашка плакал. Крупная слеза стыдливо и медленно ползла по его щеке.

Грибоедов подошел и поверх стекол заглянул ему в лицо.

— Что это ты, Александр? — спросил он озадаченно.

— Ничего-с! — грубым голосом ответил Сашка, отвернулся от Грибоедова и вдруг не выдержал: — Как же-с, Александр Сергеевич? Писали, писали, ночи при огне сидели, и все вот куды! — он кивнул головой на пылающую печку.

Грибоедов сверху вниз посмотрел на его лицо.

— Ничего, Сашенька, — сказал он, медленно подыскивая слова. — Пусть горят.

Вот видишь ли, Саша, есть такая птица. То есть, я говорю, в сказке есть такая птица...

Ему вдруг ужасно захотелось рассказать Сашке о Фениксе — чудесной птице, которая сжигает сама себя, чтоб потом опять молодой и сильной возродиться из пепла, но он сейчас же подумал, что, пожалуй, не подберет подходящих слов, усмехнулся и ничего не сказал больше.

— А что нам эта птица? — сказал натуженно Сашка с полу. — Нам эта птица вовсе ни к чему-с даже. Грех вам, Александр Сергеевич, так со мной разговаривать. Ведь не маленький. Вон сколько с вами езжу. Маменька-то, маменька-то что скажут, — продолжал он, размазывая слезы кулаками.

Грибоедов сморщился, как от зубной боли, и, стараясь больше не слушать ничего, что говорит ему Сашка, и ни о чем не думать, сунул в печку все, что осталось на полу, и пошел в угол.

— А меня увезут, Сашенька, — сказал он оттуда.

— Мы это понимаем, Александр Сергеевич, — ответил Сашка и вдруг ожесточенно зачастил: — Вот вас остерегали хорошие господа не водиться с этим хлебопекарем (так Сашка за глаза называл Кюхельбекера), вы не слушались, а вот теперь, ну что же, очень просто: и увезут и посадят. Вон про Питер небось какие страсти рассказывают: из пушек по людям палили. Ведь это что такое!

— Ты прибери, Сашенька, комнату, — сказал миролюбиво Грибоедов из угла. — Сейчас они... — он вынул часы и посмотрел на них, ему оставалось минут пять-десять, не больше, — сейчас они придут.

Он подошел к окну и прильнул к нему лицом. Прикосновение чистого холодного стекла было как глоток ключевой воды.

Горы стояли за окном синие и далекие. Воздух был лиловым и густым. Кусты, деревья, большие круглые камни около дома казались погруженными в него, как в густой сироп. Где-то вдалеке на склоне неподвижно стояло два тусклых желтых пятна.

Горели костры.

Грибоедов вздохнул и провел рукой по волосам.

В дверь постучали, сначала тихо, одним пальцем, а потом, секунду спустя, еще раз, уже громко и требовательно.

— Войдите, — сказал громко и спокойно Грибоедов, не отходя от окна.

Вошел знакомый офицер Мищенко с бу-

магой в руках, и позади него два солдата с примкнутыми штыками.

Грибоедов стоял не двигаясь и ждал, когда он заговорит.

### Ермолов — Дибичу

Имею честь препроводить господина Грибоедова к Вашему превосходительству. Он взят таким образом, что не мог истребить находившихся бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются.

28 января 1826 года.

### ИЛЛЮСТРАЦИИ:

Стр. 394 — А. П. Ермолов на Кавказе.

Стр. 395 — Александр Сергеевич Грибоедов. Репродукция гравюры Н. Утина.

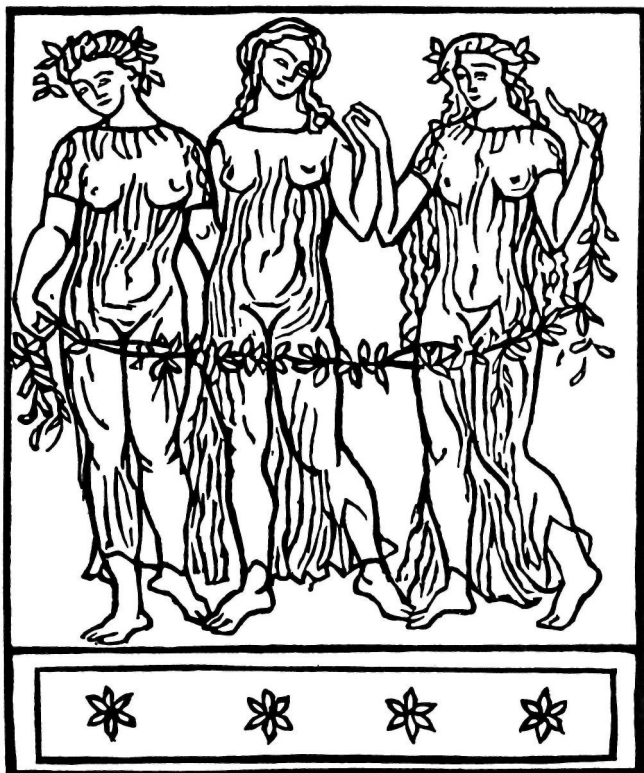
Стр. 396 — Генерал от артиллерии А. П. Ермолов.





Портрет больного Рэмбо работы  
Изабеллы Рэмбо. Марсель, 1891.

Майоль. «Три грации». Из серии  
«Пастушьи рисунки».



Франц Эллес

## Два рассказа

### СОН АРТЮРА РЭМБО

А что, если наша дневная жизнь, когда мы воображаем, что бодрствуем, тоже сон? И так ли уж она отличается от нашей ночной жизни, когда, бодрствуя, мы воображаем, что спим?

Паскаль

Узнав из газет, что Рэмбо обосновался в Париже и есть возможность свидеться с ним, Артюр покинул свои Арденны.

В обширной оранжерее, где было множество всевозможных растений и сверху свисали кисти винограда и глициний, Рэмбо диктовал своему секретарю.

В куртке маляра, перепачканной, плотной, но не грузной, с лицом землистого цвета, изрезанным мелкими морщинками, с чуть раскосыми глазами, нежными и мечтательными, с тонко очерченным носом, чувственным, грустным ртом, Рэмбо был поразительно не похож на своего гостя, казав-



Артю́р Рэмбо́ в молодости.

Майоль. «Две грации». Из серии «Пастушьи рисунки».

шегося намного выше благодаря тесному костюму и тощим длинным рукам. Поредевшие волосы Рэмбо были тщательно зачесаны, у Артюра же они свисали в беспорядке; в таком же беспорядке был и узел большого банта, торчавшего из-под пристежного мятого воротничка.

Все же, несмотря на эти детали, было в них что-то родственное: почти те же глаза, вернее, один и тот же взгляд, только взгляд Артюра был тревожный, лихорадочный. Весь его облик был пронизан печалью и одержимостью, какая-то тайная забота удручала, прожигала его насквозь, казалось, он старается поскорее от нее избавиться. Кажущееся спокойствие Рэмбо было не чем иным, как выдержкой заносчивой натуры, он всегда ощущал себя на острие ножа, боясь выдать себя.

Рэмбо рассеянно встретил Артюра; шагая из угла в угол, заложив руки за спину, он продолжал диктовать. Хромота его не удивила Артюра — он уже слышал, что Рэмбо лишился ноги после болезни, пере-

несенной где-то в Африке. Он не придал этому значения: глаза поэта все еще горели таким пламенем!..

По временам Рэмбо прерывал себя, обращаясь не то к секретарю, не то к гостю: доходит ли смысл его слов? И немного погодя, повернувшись к Артюру, тревожно спросил, достаточно ли ясно выражает он свои мысли.

Артюр облокотился на стол, и секретарь, поднявшись, принял ту же позу. Оба склонились над исписанными листами. Артюр не нашелся что ответить. Его можно простить: он слегка глуховат, глухота чаще всего неожиданно обрушивается на него. Но тут же овладел собой: разумеется, ему все ясно, у него очень тонкий слух. Просто слова, фразы, в особенности когда они на бумаге, мешают ему.

— Я слушаю нутром, — добавил он, чуть смущаясь, и, вскипев от досады, почувствовал, что ему уже безразлично, понял ли его, в свою очередь, Рэмбо.

Поэт, видимо, тоже разволновался, одна-

ко сдержал себя, тряхнул головой, как бы желая сказать: «Довольно», — и снова зашагал по оранжеее.

В это мгновение Артюр увидел у застекленных дверей трех молодых женщин. Они не отличались особой красотой, но были очень милы. Одна была русая, две другие темноволосые; они пришли из сада с охапкой цветов; краснея, кокетливо-угловатым жестом, молча, словно извиняясь за беспорядочность, они протянули поэту цветы. Прекрасные глаза светились испугом и восторгом. Поэт любезно и все так же рассеянно принял цветы. И Артюра потрясло, что поэт не увидел ни маяющих огоньков этих глаз, ни улыбки розовых губ. Девушки тут же распрощались; видно было, как они бегом пустились по аллее сада и скрылись за стеной.

— Они меня любят, потому что считают безумным, — прошептал Рэмбо.

— Все люди безумны, — ответил Артюр.

Когда девушки находились еще в оранжеее, секретарь пробормотал на ухо гостю:

— Какая мука работать с ним! Когда не понимаешь его, он злится. Когда молчу, он переспрашивает. Я изо всех сил стараюсь вникнуть в ход его мыслей.

У этого человека и впрямь был сокрушенный и утомленный вид.

— На его месте, — ответил Артюр, — я бы не стал обременять себя секретарем.

Они возобновили работу. Артюр испытывал гуще желание не уходить, побыть с ним еще, может быть, даже никогда не расставаться, и в то же время ему было страшно, что этот человек никогда не поймет его; к тому же ему хотелось поскорее выйти на свежий воздух.

— Простите, — произнес он, — пожалуй, мне пора, надо торопиться, чтобы не опоздать на поезд.

Артюру наплевать было на поезд, но эта ложь развеселила его; показалось, что поэт поглядел на него уже не так рассеянно, как раньше. Не успел Артюр пройти несколько шагов, как Рэмбо окликнул его:

— Если не возражаете, пойдем вместе.

Теперь они шли в ногу, бок о бок, как будто Рэмбо и не хромал никогда. Артюр не находил нужных слов, и это приводило его в отчаяние. Наконец он тупо спросил:

— Вы собираетесь что-нибудь издавать?

— Да, конечно, — ответил Рэмбо, пораженный невежеством своего спутника. — Разве вы не знаете? Полное собрание моих

сочинений и то, что до сих пор было не издано.

— Простите меня, — продолжал Артюр, — я живу замкнуто, не читаю газет. Вчера случайно прочел статью о вас, потому я и пришел к вам.

— Я ждал этого посещения, — сказал Рэмбо, — и, признаюсь, опасался встречи. Сколько воды утекло за это время!

— Не понимаю, что заставило меня уйти, когда мне так хотелось узнать...

— Узнать?

— Узнать, каким вы стали.

— Каким я стал? Вы же видите: я пережил самого себя.

— Значит, я уже мертвец?

Время от времени одно обстоятельство терзало Артюра и вызывало в нем чувство враждебности к своему спутнику; каждый раз, когда он обращался к нему или отвечал на вопросы, ему казалось, что он говорит с самим собой; точно звук его голоса ударяется о каменную стену и, как эхо, возвращается к нему.

Они вышли на узкую улочку. Заметив открытую дверь, Артюр поспешно вбежал и бросился, перепрыгивая через ступеньки, по винтовой лестнице. Он очутился на чердаке, забитом пыльным хламом. Было темно, отблеск света, точно из отдушины, проникал сквозь чердачное оконце. Артюр тут же пожалел о своем бегстве. Почему он убежал? К чему такое ребячество? Он пошел к окну. Рэмбо стоял внизу и ждал. Артюра охватило желание позвать его. Но как это сделать? Разве его услышат? Кто может помочь, если даже само небо не слышит его? Да разве можно назвать небом эти грязно-серые клочья ваты?

Артюр бросился к лестнице и, перепрыгивая через ступеньки, с той же быстротой стал спускаться вниз, с какой взбежал сюда. Рэмбо все еще стоял и ждал. Артюр растерянно забормотал слова извинения.

— Так не поступают, — ответил Рэмбо, не глядя на него. — Еще минута-другая, и я бы исчез. Почему вы убежали?

Рэмбо был разгневан и грустен. Его мощные плечи согнулись под невидимым грузом. Артюр снова принялся просить прощения; он задыхался от слез и ненависти.

— Прощайте, — проговорил Артюр, — я рад, что увиделся с вами, но нам не ужиться вдвоем; мы и вместе всегда будем в разлуке. Вы стали чрезмерно добропорядочны, вы принимаете посетитель, о вас пишут журналы. Молодые девушки преподносят вам цветы, и вы собираетесь изда-

вать полное собрание ваших сочинений. Со мной вы только потеряете время. Возвращайтесь к вашему секретарю.

Артур круто повернулся, прошел несколько шагов и тут же вернулся назад. Губы его дрожали.

— Вы терзаетесь, ищете смысла в своих словах, — продолжал он. — Я тоже бьюсь над решением одной загадки. И это жестокая мука. Долго ли мне еще быть в этом аду? Нет, никогда мне не выкарабкаться отсюда. Где же выход, скажите?

— Выход?.. Пуститься в путь, в неизведанные страны... — начал Рэмбо, подыскивая слова, — в ожидании...

— Славы? Разве ее у вас было мало?

— Нет. В ожидании смерти.

Артур, пораженный, замолк, взглянул на Рэмбо и вымолвил наконец:

— Неужели надо было дважды умереть, чтобы...

Артур бросился бежать по улице — скорее, скорее, только бы не оглянуться, уйти от искушения, исчезнуть за поворотом улицы, чтобы больше не возвращаться.

Рэмбо стоял сгорбленный, склонив голову, не сводя глаз с левой, обутой в толстый башмак ноги. Ветер раздувал штанину на правой — деревяшке. Затем, вздохнув, побрел к оранжерее. Шаги его странно раздавались вдали: то мягкие, то гулкие, то он шаркал подошвой, то деревяшка выстукивала дробь по мостовой.



Портрет Франца Элленса работы Модильяни.

## ЯСНОВИДЕЦ

Некогда в Ницце мне довелось встретиться с художником, о котором мало говорили в те времена; впрочем, в ограниченном кругу людей о нем говорили как о непризнанном гении — торговцы картин да некоторые любители, падкие на всякую новизну. Кто не знает эту породу людей, рыскающих в потемках, по следам «добычи, дающей золото»!

Двумя годами позже молодой художник умер почти трагической смертью, оставив в наследие группе шакалов свои творения, доставшиеся им задарма; со дня на день они повышались в цене, принося не сто, а тысячу процентов прибыли, между тем как жена художника, доведенная до отчаяния, выбросилась из окна с ребенком на руках.

Он был ясновидец. Я выяснил это однажды, сидя с ним на скамейке, в начале Английского бульвара, у заброшенного моста, где обычно отдыхают бедняки или влюбленные в море люди. То были тяжкие для нас обоих времена. Я жил на скудные средства, кое-как перебиваясь; художнику помогали друзья, бедствующие, как и он, а один торговец картин, тронутый его нищетой и беспомощностью и к тому же вдохновленный пророчествами неких прорицателей, обеспечил ему каждодневный стол в обмен на его работы, разрешив вре-

<sup>1</sup> Франц Элленс явно ошибается, описывая события сорокалетней давности. Жена Модильяни — Жанна Эбютерн на шестом месяце беременности (она ждала второго ребенка) выбросилась из окна на второй день после кончины горячо любимого ею мужа, смерть которого друзья хотели временно скрыть от нее. (Прим. пер.).

мя от времени писать портреты на покупку вина и другие непредвиденные фантазии.

Я знал его по внешнему облику, как знали все, хотя внешность его не была уж столь примечательна. Худой, небольшого роста, с непокрытой головой, почти никогда не останавливаясь, он быстро шагал, явно никого не видя, ни на кого не глядя. Нос — короткий, губы — тонкие; и только глаза под густыми, черными бровями выдавали душевные глубины художника, таким, каким он был. Даже будучи нетрезв, он держался необычайно прямо; опьянение сказывалось лишь в глазах, поразительно сияющих, и еще когда он говорил, но не в словах, а в тембре голоса. Возможно, я заблуждался, но я отчетливо помню: будучи совершенно трезвым, он казался и безумнее и хмельнее, чем сидя в баре за стаканом вина; точнее сказать: вино совсем не усугубляло и не углубляло духовного опьянения, в котором он постоянно пребывал. Вино его разжигало, подбадривало, подстегивало к работе, к живописи, которая была для него единственным способом выражения, его насущной потребностью, постоянной тоской, самоутверждением.

Я не стану излагать разговоров, которые мы вели. Он был существом безмолвным, исключительно замкнутым. За внешней неряшливостью его облика: изношенного, истрепанного костюма, пыльных ботинок, мятого белья, копны развевающихся по ветру волос — скрывалась натура удивительно изысканная. Речь его была скованной, он изредка, порою невпопад, вставлял короткие фразы необычайно мелодичным голосом. И если бы я постарался вспомнить что-либо сказанное им и сумел бы воспроизвести его слова в данном рассказе, все равно я не передал бы ни их звучания, ни их подлинного смысла. И мне было бы стыдно за себя в равной степени, как и за него.

Он был ясновидцем, как я уже сказал. Это станет понятным в конце моего рассказа, мне же дар его открылся в самом начале нашего короткого знакомства, в тот день, когда он спросил, нет ли у меня при себе письма кого-либо из моих друзей. Вопрос был задан шуточно, и я также шуточно протянул в ответ недавно полученное мною письмо. Оно было от женщины, причем почерк у нее был абсолютно мужской.

— Вы разрешите прочесть первые две строки?

Я кивнул головой. Он тотчас вернул мне листок и нарисовал — я хочу сказать,

начертил — набросок моей корреспондентки, не колеблясь ни минуты в отношении пола. Эскиз настолько похожий, правдивый, живой, что я был потрясен. И хотя он явно развлекался — меня охватил страх — его сверхъестественное виденье испугало меня. Казалось, что и я насквозь пробуравлен его взором — стою, освещенный внутри и снаружи, перед экраном рентгенолога. Преследовала мысль, что художник разоблачил меня и я уже не загадка для него, — я испытывал одновременно тягостное чувство неловкости, растерянности, оказавшись как бы нагим перед его взором.

Я ощутил это еще острее в тот день, когда художник начал мой портрет.

Он ни разу не высказывал желания писать меня, да и я постарался бы уклониться: у меня не было денег, которые я мог бы предложить ему. Кроме того, я продолжал испытывать страх перед ним. Я попросту убежал от него, сгорая со стыда за свое поведение; однажды, избегая встречи, я сделал длинный крюк; в другой раз притворился, будто не заметил, что он идет навстречу мне по тротуару; движение мое было чисто интуитивным, однако я долго и мучительно вспоминал о нем, обвиняя себя в трусости и глупости.

Вскоре одна из моих приятельниц спросила меня: не хоч ли я заказать художнику портрет? За работу надо уплатить двадцать франков, она-де знает, он очень нуждается в них, и я окажу ему услугу, если соглашусь. Он недавно писал ее — и приятельница показала мне отличный, очень похожий эскиз.

Я был в тупике, терзаясь между желанием помочь художнику и боязнью оказаться в его глазах одним из тех шакалов, о которых уже упоминал, жаждавших содрать с него шкуру. К тому же двадцать франков в те времена составляли третью часть моего бюджета. Кончилось тем, что я согласился, утешая себя, что оставшиеся до конца месяца десять дней вынужденного поста искупят мой грех. Художник о том не узнает, но совесть моя будет чиста.

Встреча была назначена у меня. День и час по выбору художника. Я также был предупрежден, что, помимо указанной суммы, художник просит (сомневаюсь, чтобы эти слова исходили от него) «на стол два литра вина для бодрости во время работы».

В условленный день и час два литра и стакан украшали единственный стол моего жилья. Я ждал его прихода в состоянии вполне понятного смятения: я не виделся

с ним в течение нескольких недель, и на моей совести тяжелым камнем легли три встречи, когда я так низко и трусливо бежал от него. Он, который все видит своим отсутствующим взором, не мог не заметить мои нелепые проделки, за которые я себя корил.

Как же я буду выглядеть в его глазах?

Он опоздал, пришел в три часа пополудни, в тот момент, когда я, уверенный, что он позавыл о встрече, собирался уже уходить. Пожав мне руку, извинившись учтиво, но сдержанно, он бросил быстрый взгляд на стол с вином.

— Нам нельзя терять ни минуты, — проговорил я, пытаясь сохранить самообладание. — Время зимнее, час-другой — и напоздот сумерки.

Он не ответил. Вынул холст, мольберт, ящик с красками, перенес бутылки и стакан со стола на пол, возле стула, на котором сидел. Вид у него был озабоченный, движенья усталые, когда он натягивал холст на подрамник. Однако он тотчас приступил к работе, не выбирая мне позы.

Я горько упрекал себя за то, что сел в фас, напротив него, и теперь вынужден испытывать его взор на себе всякий раз, когда он, отрываясь от холста, поднимал глаза. Под напором этого настойчивого взгляда во мне нарастало раздражение, чувство протеста, как если бы я сидел лицом к лицу с гипнотизером. Его взгляд поразил меня несоразмерно больше, чем в тот день, когда он по почерку отгадал характер моей корреспондентки. У меня не было ощущения, что я сижу перед живописцем; я видел перед собой только его глаза. Они молча, расчетливо пожирали меня; зрачки, впиваясь орлиным клювом, разрывали, высасывали кровь, осушали мою душу; какими преувеличенными ни кажутся эти сравнения, они еще мало выражают то, что я переживал в действительности. Казалось, этот взгляд хотел расквитаться со мной за мои прежние уловки. Впрочем, я уже не видел его глаз. Я ощутил сиянье, укол, два острия, вонзаясь, залили меня светом, и внезапно бурный, сверкающий поток воды затопил, заполнил все мое существо; а вслед затем, после этого страшного вторжения, с той же внезапностью настал момент наивысшего покоя, будто все покрылось прохладной, ласковой, снежной пеленой.

Таково было ощущение, испытанное мной в первые полчаса сеанса, ощущение ничем не объяснимое, ибо поведение художника не давало повода к нему. Словно это вторжение произошло где-то внутри

меня, овладев моей мыслью, моей душой, если хотите. И вскоре я сидел уже свободно, спокойно, наблюдая за художником, боясь пропустить малейший его жест, и думал, как думал бы всякий на моем месте: «Посмотрим, чем выдаст себя этот странный художник в минуты своего творческого вдохновения. Не пропустить бы ничего». Тщетные надежды. Из моих наблюдений я вынес лишь уверенность: этот человек работал так же, как и все остальные художники, которых мне доводилось видеть у станка. Я не обнаружил у него особого приема и лишь изумлялся, с каким спокойствием он водит кистью по холсту. Нет никаких порывов, напротив, его равнодушный вид ошеломил меня, как я припоминаю, больше всего: точно работа, приносящая мизерное вознаграждение, не казалась ему столь уж значительной.

Работая, он пил медленно, не торопясь, положив кисть на палитру, наливал в стакан вино. Я обратил внимание, с каким поистине благородным жестом он подносил стакан к губам.

Затем он поднялся, отложил кисть и палитру в сторону, совершенно безучастный к тому, что завершил.

Я, в свою очередь, тоже поднялся, к немалому моему удивлению, не почувствовав ни тяжести, ни оцепенения в теле, с душой спокойной и ясной, словно она и впрямь была омыта водой.

Художник не торопясь, как рабочий, надел блузу и предложил подышать свежим воздухом, прежде чем мы продолжим сеанс. Ему оставалось совсем немного для того, чтобы закончить портрет. Он даже не взглянул на него, и я также удержался, несмотря на то, что сгорал от желания поглядеть.

Мой спутник шагал рядом со мной в отличном расположении духа; его лицо сияло. Меня всегда поражал контраст этого здорового лица с мрачным, пламенным взором и худобой тела. По дороге он говорил непринужденно, перескакивая с предмета на предмет, дружеским тоном, которого я ранее не замечал у него. Прежде в его отношении я ощущал всегда некоторое недоверие к себе, теперь же от прежней настроенности не осталось и следа, точно работа над портретом окончательно завершила наше знакомство. Мне казалось, что я читаю в его веселом взоре, когда он обращался ко мне: «Теперь-то я узнал тебя таким, какой ты есть, до кончиков твоих ногтей. Ты уже не тайна для меня». Странно, я уже не испытывал ни малейшей неловкости от этого вторжения, а как чест-

ный противник после поединка протягивал руку своему победителю.

— Зайдем-ка выпьем, — сказал он, ука-зывая на дверь в кафе.

Я согласился, хотя пить мне не хотелось и судьба портрета тревожила меня. Приближались сумерки. После того как художник подряд выпил три кальвадоса, я поспешил уплатить. Сеанс пришлось бы отложить на следующий день, возможно, и на более отдаленный срок, если бы я, взяв его под руку, не вытащил из кафе. Он покорно шел со мной, погрузившись в мечты, не замечая моего присутствия. Усевшись возле мольберта, он нагнулся и взглянул на бутылки; налив в стакан оставшееся вино, он осушил его залпом и тотчас устремил свой взгляд на холст. Сумерки вторгались в комнату. Прошло несколько минут ожидания. По его отсутствующему виду было похоже, что он не собирается брать кисть и палитру в руки, и я заметил: «Не лучше ли перенести сеанс на завтра?» Мне показалось, что в данной ситуации не стоит продолжать работу.

Возможно, внимание художника было поглощено холстом — мольберт заслонял его от меня. Одно совершенно очевидно: моя фраза послужила толчком. «Нет, нет, — запротестовал он и закашлялся. — Осталось совсем немного. Я скоро закончу».

Отодвинув стул, он схватил кисть и вскинул голову. В полумраке неистовый блеск его глаз ударил меня, как электрический ток. К счастью, это длилось недолго, и он уже вскоре не обращал внимания на свою модель. Я слышал постукивание кисти по холсту, гораздо более внятное, чем когда она просто скользит; равномерные, повторные удары мощной руки, с уверенностью профессионала, создающего чудо за несколько мгновений.

— Все, — промолвил он, поднимаясь. — Надеюсь, я вас не слишком измутил. Вполне похоже, — добавил он, рассматривая холст и тотчас перенеся взор на меня. — Правду говоря, мне казалось, что портрет не вышел. Да, мне здорово помогли сумерки. Что вы скажете?

Художник рассмеялся, и я решил, что он шутит; и сейчас, вспоминая тот вечер, мне по-прежнему кажется, что он упомянул о сумерках, даже не заметив, что они заполнили комнату. На этот раз и я подошел к мольберту робко, как человек, боящийся совершить бестактность. И действительно я чуть было не совершил ее, — разумеется, трудно судить впотымах, но я увидел

перед собой совершенно чужое лицо. Сила и тонкость живописи были достойны восхищения, но это был не я. Я ждал, что увижу свое изображение, каким видишь его в зеркале, а увидел лицо человека, с которым у меня не было ни одной общей черты. «Простите, пожалуйста», — едва не вырвалось у меня, но я вовремя запнулся, забормотав что-то нечленораздельное.

Дождавшись ухода художника, я зажег свет и после тщательного осмотра пришел к выводу, что лицо на портрете не имеет ничего общего с моим. Собственно говоря, размышляя я, нет причины удивляться, ведь мне хорошо известна манера художника деформировать лица.

На другой день, при дневном свете, я стал беспристрастно изучать портрет; вопрос о сходстве с оригиналом был окончательно позабыт: я увидел не этюд, а законченное произведение, завершенное во всех своих деталях. Лоб, глаза, рот, подбородок были тщательно выписаны. Маски кисти нанесены небрежно и одновременно любовно, что всегда поражает в японской живописи. Портрет был вдохновенный, одухотворенный, «говорящий», как выражаются просвещенные любители. Что касается сходства, то, право же, сходства не было.

Что ж, говорил я себе по дороге к мастеру, чтобы заказать раму, пусть это не портрет, тем не менее это замечательная живопись. Да и смеем ли мы требовать от портрета точного сходства, когда его нет даже на фотографии? Разве недостаточно, что именно так воплотил художник свой замысел?

Вскоре я женился и немного спустя покинул Ниццу.

— Кто это? — спросила жена, обнаружив портрет на стене.

— Ты что, не узнаешь?

— Нет, не узнаю, — ответила она, пытаясь в памяти и на холсте найти намек, наводящий на след.

— Да ну же, — настаивал я, — ты просто шутишь, ты отлично знаешь оригинал.

Мне хотелось довести опыт до конца.

— Не могу отгадать, уверяю тебя... помоги мне... — И внезапно, подняв на меня глаза: — Не может быть... неужто это ты?!

Она казалась удивленной и слегка обиженной. Надо сказать, что художник вовсе не пытался польстить человеку, на которого мы оба смотрели.

Торс человека на портрете был причудливо вытянут, удлинненный овал, несомнен-

но, усугубляя своеобразную худобу лица, отнюдь мне не свойственную; плечи были начисто упразднены художником, точно для того, чтобы этой бедной плотью изобличить свою модель еще и в бессилии, в чем объект совсем не был повинен. Также и две-три морщинки, намечавшиеся на моем лице, указывая на невзгоды, уже пережитые мной, были сильно преувеличены. Сочетание физической и духовной усталости, с чем-то юным и даже ребяческим в этом облике казалось парадоксальным, быть может потому, что выражение это как-то не вязалось с решением внутреннего образа и с чем-то еще другим, с чем именно, я не мог себе уяснить.

— Можно подумать, — заметила жена, — что художник видел твоё отражение в кривом зеркале. Нет, нет, я не хочу видеть тебя ни таким юным, ни таким хилым. Постарайся избавиться от этого неприятного портрета или запрети его в шкаф.

— Если портрет тебя так волнует, — ответил я, — не значит ли, что он более правдив, чем тебе кажется?

Она упорствовала, а я, в свою очередь, настаивал, что художник мог изобразить меня таким, каким видел в своем воображении. Я напомнил ей слова Самуэля Батлера<sup>1</sup>: «Хороший портрет, большей частью портрет самого автора, чем того, кого он изобразил». Тем не менее что-то подсознательно говорило мне, что художник уловил и передал на полотне те сокровенные черты, которые лишь он один мог угадать. Под конец я стал находить в нем что-то общее с собой: игра ли света или просто иллюзия — я не пытался уточнять.

Тягостное чувство, которое вызывал портрет у жены, учитывая состояние, в котором она находилась (она ждала ребенка), вынудило меня принять решение: продать портрет и тем самым вычеркнуть всякое воспоминание о нем. Будь художник жив, я отослал бы ему деньги, вырученные с продажи, но к тому времени он уже покинул этот мир, а вслед за ним последовала и жена; о ее трагической смерти я упоминал в начале моего рассказа. Я написал одному из своих друзей, проживавшему в Англии, любителю современной живописи. Цена, предложенная им, не показалась мне преувеличенной, хотя и не имела ничего общего с той, что я уплатил художнику. Однако я принял деньги, они дали мне возможность вернуться с женой в Париж, где мне была предоставлена новая должность.

Прошло пятнадцать лет; первые годы я следил за судьбой портрета; знал, что он был перепродан не то в десять, не то в двенадцать раз больше того, что я получил от моего друга.

Совсем недавно я случайно прочел в хронике искусства, что эта картина, оцененная очень высоко, выставлена на продажу. Я не обратил бы внимания на этот факт, не будь у меня связано с ней нечто гораздо большее, чем просто воспоминание.

Перед тем как расстаться с портретом, я без ведома жены отдал его сфотографировать и запрятал на дно самого дальнего ящика единственный оставшийся у меня снимок. Куда он девался, где обрел убежище после наших бесчисленных переездов?

Всякая вещь, какова бы она ни была, имеет свою судьбу, неожиданную, порою причудливую; а судьба вещей, именуемых пренебрежительно «бумагами», исписанных, истрепанных, истлевших, всегда казалась мне особенно таинственной. Как часто эти бумаги, как будто ничего не значащие, приобретали вновь свое значение после терпеливого пребывания в одной из книг, в любом другом тайничке, еще более позабытом, куда, попав неведомо как, они лежат, притаившись, пока их не обнаружат.

У меня возникло неодолимое желание разыскать портрет, вернее снимок. Но как его найти после стольких лет? Я начал с того, что обшарил все ящики, просмотрел бесконечное количество конвертов, проверил бювары, папки, куда по обыкновению складывал репродукции, фотографии, накопившиеся гравюры, обыскал все углы квартиры, вплоть до чердака.

Не знаю, чем истолковать такое упорство, ведь я с самого начала был убежден, что не найду снимка, — несомненно, он затерялся, подобно остальным вещам такого же рода, которым присущи всякие приключения.

После трех дней бесплодной работы жена заметила, что со мной творится что-то неладное. На мгновение у меня мелькнула мысль — не привлечь ли ее к розыскам, но тогда бы пришлось открыть причину моего волнения, что было совершенно невозможно. Я продолжал поиски, стараясь изо всех сил скрыть томившее меня беспокойство. Отчаявшись, я перелистал все рукописи в библиотеке, но и эти усилия ни к чему не привели. С того дня, как я при-

<sup>1</sup> Английский писатель.



ступил к обходу моих владений, я ничего не добился.

— Пропустил какой-то тайничок, — утешал я себя, — отдохни-ка, голубчик, денька два-три, а потом начинай заново свою экспедицию.

На следующий день, во время разбора корреспонденции, у меня вдруг возникла потребность проверить одно выражение, смысл которого был мне не совсем ясен. Не могу истолковать это побуждение иначе, как отклик на скрытый призыв, на полусознанную мысль, ибо на самом деле справка не была столь уж существенна. Я не успел раскрыть словарь, как в глаза мне бросилась фотография, которую я искал. Не скрою, я ощутил удар прямо в сердце: так близко от меня, на расстоянии руки от полки с книгами, которыми я пользовался ежедневно! Как могло случиться, что я не наткнулся на нее во время моей повседневной работы? Эти вопросы кружились в моей голове, пока я не поглядел на фотографию, свергнувшую меня в оцепенение.

Рука моя задрожала, на секунду я закрыл глаза, сраженный неожиданностью того, что увидел. Снимок был превосходный, безукоризненно четкий, отпечатанный на блестящей бумаге, отчего казался особенно живым. Совершенно очевидно, ни я, ни жена, ни друзья не заблуждались в оценке сходства, думал я, подойдя к зеркалу. Но разве возможно в этом зеркальном стекле найти схожие черты... или, точнее говоря, припомнить свой прежний

облик? Нет, он был потерян навсегда, и пятнадцать минувших лет с той поры, когда художник писал этот портрет, не могли навести на след. Есть работы, где время служит ключом, в данном случае этого не было. Нет, время ничего не добавило, не подало знака, не помогло мне; я не мог также решить, был ли я прав в свое время, предполагая, что художник, взяв мое лицо условно, воплотил самого себя.

И вдруг словно свет блеснул, озарение было молниеносным, неоспоримо точным. Я увидел того, кто создал этот образ. На одно мгновение я ощутил его присутствие более осязаемо, чем если бы он предстал передо мной в действительности. Я увидел только глаза, взгляд, который, вторгаясь, захватывал, покорял, поглощал меня, и взгляд этот, в полном смысле слова, был пророческим.

— Да ведь это же Серж! — вскричала сразу жена, как только взглянула на фотографию. — Где ты нашел снимок? — Ни на одну секунду ей не пришло в голову, что то был снимок с портрета, созданного некогда в Ницце.

Тут не могло быть никаких сомнений: на снимке, который я нашел, был наш сын.

Но это был также снимок и с моего портрета; портрет того вечного ребенка, который живет в каждом человеке: смутное сходство в глубине помутневшего зеркала, где прячется таинственный источник, неподзреваемый облик того, кем мы были и чей образ с непрерывной последовательностью повторяет всегда сама жизнь.

Перевод с французского Л. Большинцовой.

### Несколько слов о Франце Эллэнсе

Франц Эллэнс (род. в 1881 г.) принадлежит к числу бельгийских писателей, пишущих на французском языке, распространенном в Бельгии почти так же, как и фламандский.

Уже первый роман Эллэнса «Мертвый город» привлек внимание читателей к молодому автору. Стало ясно, что в литературе (по крайней мере бельгийской) возникает новый угол зрения на давно знакомые, привычные вещи. Последовавшие за этим сборники рассказов и особенно роман «Мелузина» только укрепили это впечатление. Критик писал: «Родился новый талант, в котором фантастическое и реальное приходят в равновесие, то словно вступают в спор, как мы это видим на картинах фламандских примитивистов». Эти слова очень точно определяют творческую манеру Эллэнса.

Еще до того, как Европу охватило увлечение Фрейдом и фрейдизмом, до того, как в живописи и литературе выступили сюрреалисты, Эллэнс заинтересовался проблемой иррационального, подсознательного. Поэтому большое место в его творчестве заняли сны, та область,

которая недоступна контролю сознания. Анализируя в своей «Второй жизни» истоки и механизм сновидений, Эллэнс пишет, что «истинной жизнью человека является сон», что «если бы не сон, не существовало бы ни любви, ни поэзии».

Но наряду с этим интересом к ирреальному, сверхчувственному не умирала в творчестве Эллэнса и тяга к трезвому реализму, та крепкая, народная, чисто фламандская основа, которую не сумели вытеснить соблазнительные влияния «парижской школы». Разочаровавшись в какой-то момент в своих исканиях, Эллэнс, уже зрелый мастер, обратился вновь к литературному ученичеству. «Каждый день, чтобы набить руку, я стараюсь что-нибудь описать: пейзаж, фигуру, простой предмет. Описать словами самыми простыми, краткими, самыми действительными».

И это ученичество принесло желанные плоды. Сборником новелл «Фантастические реальности», целым рядом реалистических романов: «Простаки», «Дочери желания», «Фредерик», «Разделенная женщина», Эллэнс выдвинулся в первые ряды французской литературы последних десятилетий.



Эллэнс всегда живо интересовался Советским Союзом и советской литературой. Через свою первую жену Марию Милославскую он сблизился с русской колонией во Франции, подружился со скульптором Архипенко, жившим в Париже. Сильное впечатление осталось у него от встреч с Есениным и Маяковским во время их поездки за границу. Вместе с Марией Милославской Эллэнс перевел ряд стихотворений Есенина. Предисловие к переводу «Исповеди хулигана» принадлежит к числу критических шедевров Эллэнса. С огромной симпатией говорит он здесь о столице Советского Союза, где «революция пробудила небывалый интерес к поэзии» и где «почти в каждом кафе можно услышать только что написанные или недавно опубликованные стихи, читаемые публично». Кроме Есенина, Эллэнс перевел на французский язык произведения Маяковского, Цветаёвой, Эренбурга.

Но особенно сердечная дружба установилась у Эллэнса с Максимом Горьким во время их встречи в 1925 году в Сорренто. «Дорогой учитель и друг», «дорогой и великий друг» — таковы обращения Эллэнса к Горькому. Горький, по словам Эллэнса, был «одним из тех писа-

телей, которые больше всего волновали меня в юности; писателем, которого я любил все больше по мере того, как развивалось его творчество, вселяющее бодрость, исполненное столь человеческой жизненной силой».

Помещенные здесь новеллы «Сон Артура Рембо» и «Ясновидец» дают ясное представление о двух манерах Эллэнса. Одна из этих новелл посвящена поэту, писавшему стихи всего четыре года, уже в восемнадцать лет отказавшемуся от поэтического творчества, но сумевшему за этот короткий срок сломать все поэтические традиции, наметить новые пути для европейской поэзии. Эта новелла уводит нас в мир подсознательного, полный намеков, иносказаний, символов.

Другая посвящена гениальному художнику, отвергнутому общественным вкусом при жизни, трагически погибшему и получившему всемирное признание на следующий день после смерти. Эта новелла написана с большим психологическим мастерством, и только неожиданный, хотя и вполне оправданный, конец говорит о любви автора к иррациональному.

## Под знаменем интернационализма

А. С. Кудрявцев,  
Л. Л. Муравьева,  
И. И. Сиволап-Кафтано-  
ва, Ленин в Женеве.  
Женевские адреса Ленина.  
М., Изд-во политической ли-  
тературы, 1967, 200 стр.

Около 175 изданий и почти 12 миллионов экземпляров... Эти две цифры, по еще не полным, быть может, подсчетам, характеризуют советскую Лениниану 1967 года — научную, публицистическую и художественную литературу о Ленине. Первое место в ней, естественно, принадлежит трудам самого Владимира Ильича. В 1967 году вышли заключительные 43—45-й тома четвертого издания его Сочинений. Трехтомник его избранных работ. Новые издания книг «Что делать?», «Две тактики...», «Материализм и эмпириокритицизм», «Государство и революция», «Очередные задачи Советской власти», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»... Изданы за этот год и новые тематические сборники ленинских высказываний об Октябрьской революции и мировом рабочем и коммунистическом движении. Культурной революции и дисциплине. Социалистической демократии и борьбе против догматизма и сектанства. Науке и высшему образованию. Литературе и искусству...

Заметно пополнилась и биографическая литература об основоположнике ленинизма. Всед за уже третьим по счету изданием его научной биографии, подготовленной коллективом историков Коммунистической партии, появилось более десяти исследований и очерков. Они посвящены внешнеполитической и юридической деятельности

Ленина. Его философским, историческим и экономическим трудам. Взаимосвязям с коммунистами и трудящимися Средней Азии и Башкирии, Урала и Закавказья. Жизни и борьбе в Поволжье и Петербурге. Дореволюционной Сибири и послеоктябрьской Москве. Ссылке и эмиграции.

Среди последних изданий заметно выделяется основательностью разработки завершившая — по времени ее выхода — Лениниану 1967 года книга «Ленин в Женеве». На ней-то мы и остановимся в этих кратких заметках.

На площади Молар, в самом центре Женевы, высится башня. На ее фасаде еще в 1921 году скульптор Поль Бо установил барельеф с лаконичной надписью: «Женева — город изгнанников». На барельефе древнейший город Швейцарии символизирует женщина-мать. Она склоняется над фигурой изгнанника. А его крутой сократовский лоб, небольшая бородка, сильные плечи и руки, по смелому замыслу художника, чем-то напоминают того, кто велел за Герценом и Плехановым провел в Швейцарии около семи лет своего революционного пути. 1895, 1903—1905, 1908 и частично 1914—1917 годы связывают этого изгнанника, чье имя знает ныне весь мир, с Женевой.

О Ленине в Швейцарии еще десятилетие тому назад рассказали читателям немецки и по-французски Конрад Фарнер и Морис Пианзола. Они собрали немалый документальный, мемуарный и иллюстративный материал.

Работы швейцарских авторов фундаментально дополнили и тщательно уточнили советские исследователи: Анатолий Кудрявцев, Людмила Муравьева, Инесса Сиволап-Кафтанова. Около десятилетия провели они в Швейцарии, побывали во всех ее ленинских местах, а свою монографию «Ленин в Женеве» сопроводили скромным подзаголовком: «Женевские адреса Ленина».

Книга и впрямь построенная, так сказать, топографически. О событиях или подчас чем-либо примечательных эпизодах жизни Владимира Ильича авторы, изучив обширную биографическую и мемуарную литературу о Ленине, рассказывают

лишь в связи с разнообразными зданиями города.

Первое из них — деревянный дом 29 по улице Маланью. Здесь летом 1895 года жила семья самарских и петербургских друзей Ленина — Шухтов. Младшая из них — Анна стала еще в Царском Селе, под Петербургом, крестной дочерью «помощника присяжного поверенного Владимира Ульянова», как именовался в то время Ленин по многоступенчатой царской «табели о рангах». Это о ней и ее родителях — участниках русской революционной партии «Народная Воля» Владимир Ильич пишет 8 мая 1895 года матери:

«Видел крестницу и ее фамилию».

Сообщив читателям, что отец «крестницы» — полковник «Аполлон Шухт — в 1917 году стал русским коммунистом, а его дочь Юлия вышла замуж за основателя Коммунистической партии Италии Антонио Грамши, одного из самых выдающихся мыслителей и публицистов марксизма.

С помощью Бюро регистрации жителей Женевы исследователи установили и точный адрес еще одного примечательного дома — на этот раз 6-го по улице Кандоль. Здесь Ленин впервые встретился с Плехановым.

Весной 1903 года издание ленинской газеты «Искра» переносится из Лондона в Женеву. Ленин и Крупская поселяются сначала на авеню дю Май в пансионе мадам Рене Морар, гостеприимно встречавшей русских революционных эмигрантов. Авторы исправляют невольную ошибку памяти Надежды Константиновны, которая ссылалась на пансион «Борхардт». И в этом, как и во всех других аналогичных случаях, они опираются на несопоримые документальные первоисточники — так называемые «Коммерческие книги Женевы» начала века.

Факсимильно публикуют исследователи и найденную ими выписку из книги жильцов дома № 10 по улице с многосложным названием Шмен приве дю Фуайе. 13 июня 1903 года в ней появилась такая запись:

«Ульянов Владимир литератор... 550 Россия»

Именно об этой квартире, съезной всего лишь за 550 франков в год, Крупская и пишет в своих «Воспоминаниях о Ленине»:

— В Женеве мы поселились в пригороде, в рабочем поселке Sèchepon, — целый домиком заняли: внизу большая кухня с каменным полом, наверху три маленькие комнатки. Кухня была у нас и приемной. Недостаток мебели пополнялся ящиками из-под книг и посуды. Игнат (Красиков) в шутку называл как-то нашу кухню «притомом контрабандистов». Толчая у нас сразу образовалась непролеченная. Когда надо было с кем потолковать в особичку, уходили в рядом расположенный парк или на берег озера.

Парк, на который ссылается Крупская, — это Ботанический сад Женевского университета. За год, прожитый в домике по улице Фуайе, Ленин подготовил всю так подробно разработанную им программу Второго съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Составил проекты множества его резолюций. Всесторонне продумал Устав партии, в связи с важнейшими положениями которого и произошел на съезде раскол между большевиками и меньшевиками. Здесь же в числе других работ написаны книга «Шаг вперед, два шага назад», «Ответ на критику нашего проекта Программы», «Рассказ о II съезде РСДРП», письмо «Задачи революционной молодежи», статьи «Национальный вопрос в нашей программе», «Эра реформ», «Максимум беззастенчивости и минимум логики», «Народническая буржуазия и растерянное народничество». А лишь частично дошедшие до нас ленинские письма товарищам по партии и ее политическим противникам составляют почти целый том.

Дом, где так плодотворно трудился Ленин (как, впрочем, и все остальные дома по улице Фуайе!), снесен еще в 1963 году. Опубликованная авторами книги фотография показывает, как выглядело это здание летом 1903 года, когда в него въехал «литератор из России» — Владимир Ульянов.

По обстановке или, пожалуй, атмосфере квартиры, ее, иносказательно выражаясь, «микроклимату», можно безошибочно судить о характере ее хозяев, их интересах, вкусах, образе жизни. Современники, бывавшие у Ильичей в Сешероне, рассказывают, что не-

прихотливая «меблировка» комнат ушек состояла, как сообщает старая коммунистка Цецилия Зеликсон-Бобровская, «из простых столов, заваленных журналами, рукописями, газетными вырезками. По стенам полки с книгами... В центре стола Владимира Ильича красовались русские счеты, при помощи которых он, наверное, подсчитывал свои «однолошадные», «четвертьлошадные» и т. п. крестьянские хозяйства».

Вот за этим-то столом и написаны стремительным, молниеподобным ленинским почерком строки, которые и сегодня — в дни нескончаемой «грязной войны» во Вьетнаме — обязуют честных людей планеты «бороться против всякой попытки путем насилия или какой бы то ни было несправедливости извне влиять на национальное самоопределение». Узнают себя в ленинских статьях того времени и новоявленные великодержавные шовинисты наших дней, которые, как и 65 лет тому назад — только уже не в Европе, а в Азии, — забывают, что «кто сказал «А», должен сказать и «Б» — кто встал на точку зрения национализма, тот, естественно, доходит до желания окружить китайской стеной свою национальность...»

Столь же живо и непосредственно как бы отзываются на события современности и многие другие «швейцарские» ленинские высказывания. Они, как и неисчислимые факты жизни и деятельности Владимира Ильича, показывают в действии его социалистический интернационализм. Он-то прежде всего и отличает коммунистические от других политических партий, как правило, националистических, чуждых идеям международной солидарности рабочего класса.

Ленинская «Искра» в Женеве печаталась в одной из русских эмигрантских типографий — в доме № 27 по улице Кулувренье. Авторы книги установили, что в том же здании тогда помещалась «Типография женевских рабочих». Они, сообщается в книге, решили «потесниться, чтобы дать возможность выпустить литературу для рабочих далекой России. Швейцарские и русские наборщики работали дружно, бок о бок». Годом ранее точно так же по-

ступили пролетарии Лондона. Вспоминая в 1913 году Гарри Квелче, Ленин рассказывал, как английские социалисты «с полной готовностью предоставили свою типографию» для издания «Искры».

«Самому Квелчу, — говорил тогда Владимир Ильич, — пришлось для этого «потесниться»: ему отгорожен был в типографии тонкой дощатой перегородкой уголок вместо редакторской комнаты. В уголке помещался совсем маленький письменный стол с полкой книг над ним и стул. Когда пишущий эти строки посещал Квелча в этом «редакторском кабинете», то для другого стула места уже не находилось...»

Еще скромнее был по тем временам «кабинет» главного редактора «Искры» как в Лондоне, так и в Женеве. Но скромность не помешала, как известно, политическому триумфу ленинской «Искры», ставшей «Колоколом» XX века. «Искру» помогли набирать и печатать женевские наборщики. А в транспортировке газеты по общедным путям через страны Скандинавии, Центральной и Восточной Европы Ленину содействовали болгарские, немецкие, румынские, французские и шведские революционеры. Издание и распространение ленинских газет и книг всегда становилось интернациональным делом пролетариата.

Обстоятельно рассказано в книге и о своеобразном партийном клубе большевиков Женевы. Им стала столовая для русских эмигрантов, открытая друзьями Ленина по сибирской ссылке — Ольгой и Пантелеймоном Лепешинскими в доме 93 по улице Каруж. Эту столовую, вспоминает болгарка Елена Кырклийская, вместе с ее соотечественниками «посещали также поляки, чехи...». Здесь Владимир Ильич читал лекции и вел занятия по изучению Программы и Устава созданной им партии, трудов основоположников марксизма, истории западноевропейского революционного и рабочего движения.

Рассказывая про эти встречи с молодыми революционерами не только России, но и Болгарии, Польши, Чехословакии и других стран Европы, мемуаристка пишет о памятных ей ленинских беседах:

— Когда я слушала его, то

чувствовала какую-то невидимую силу, захватывающую и направляющую мое внимание... Я испытывала такое чувство, как будто какой-то невидимый молоточек нажимает на мозговые струны и обостряет способность человека мыслить.

Да, Ленини прежде всего учил своих слушателей и собеседников самостоятельно мыслить. Он замечает Елена Кырклийская, «учил нас быть искренними, честными, бороться против интриганства. Именно так, говорил Ленин, мы завоюем сердца рабочих».

Ровно шесть десятилетий назад — 18 марта 1908 года — в женевском клубе «Международного рабочего союза», помещавшемся, как установили авторы, в доме 44 по улице Террасьер, Ленин выступил с речью о всемирно-историческом значении Парижской коммуны 1871 года. На этом «в полном смысле слова интернациональном собрании» присутствовали, по свидетельству одного из его участников, вместе с русскими большевиками австрийцы, датчане, итальянцы, немцы, швейцарцы. Судя по опубликованной вскоре женевской «Заграничной Газетой» записи речи Ленина, он видел в Коммуне «величайший образец величайшего пролетарского движения XIX века». За девять лет до победы Октябрьской революции оратор предсказал «новое восстание, перед которым слабыми окажутся силы врагов пролетариата, из которого с полной победой выйдет социалистический пролетариат».

Есть глубокий исторический смысл в том, что это предвидение Ленина прозвучало в зале, где за четыре десятилетия до его речи заседал Женевский конгресс I Интернационала.

Незادолго до речи о Коммуне Ленин выступил в доме 99 по улице Каруж в Клубе польской социал-демократической эмиграции. В своей речи Владимир Ильич охарактеризовал контрреволюционную роль националистической буржуазии, приспособившейся к режиму угнетателей, и противопоставил ей интернационализм рабочего класса.

«Да здравствует пролетарская, рабоче-крестьянская Польша!» — такими словами Владимир Ильич закончил речь.

Неизвестный ранее адрес

клуба помог отыскать сотрудник польского представительства при Европейском отделении ООН в Женеве Феликс Немира. Факты интернационалистской деятельности Ленина устанавливаются или уточняются ныне поистине интернациональными средствами...

Конечно, тщательный, многолетний труд авторов не свободен от погрешностей, заслуживающих устраниения в последующих изданиях или хотя бы поправок на страницах печати. Так, к примеру, широко известный портрет Владимира Ильича, сделанный петербургским фотографом Везенбергом между 13—17 февраля 1897 года, датирован 1895 годом, к которому относятся совсем иные тюремные фотографии. Слишком лаконичны авторы и на стр. 160 сообщая, что в апреле 1908 года Ленин из Женевы «ездил на Капри к А. М. Горькому, с которым договорился о более тесном сотрудничестве в газете «Пролетарий». Однако сам Владимир Ильич пишет в середине августа 1909 года, имея в виду ближайших тогда единомышленников Горького — Александра Богданова, Владимира Базарова и Анатолия Луначарского:

«Я был на о[строве] Капри в апреле 1908 [года] и объявил всем этим 3-м товарищам о безусловном расхождении с ними по философии».

Ленин предложил тогда организаторам Каприйской школы «употребить общие средства и силы на большевистскую историю революции» 1905—1907 годов, но «каприйцы» отвергли это предложение, «пожелав заняться не общебольшевистским делом, а пропагандой своих философских взглядов».

Как отмечал Владимир Ильич, отрицать, что остров Капри — «литераторский центр богостроительства, значило бы издеваться над фактами». Как же мог, следовательно, он договориться тогда с Горьким «о более тесном сотрудничестве» в большевистском «Пролетарии», непримиримо борвшемся против реакционной философской проповеди каприйцев, в которой великий писатель ошибочно видел импонирующую ему «философию активности»? Авторы книги невольно выдали желаемое за действительное.

Вель после каприйской встречи переписка между Лениным и Горьким возобновилась только полтора года спустя. Их содружество отнюдь не нуждается в замалчивании идейных противоречий и споров, в которых историческая и научная правда, по признанию самого Горького, была на стороне Ленина, его, как сказал впоследствии художник, «строгого учителя и доброго заботливого друга...».

Эти и другие хронологические и фактические описки и обмолвки книги объясняются, как кажется пишущему эти строки, лишь тем, что по так любимой Лениным русской пословице, «не ошибается только тот, кто ничего не делает».

Авторы книги «Ленин в Женеве» сделали много, очень много. Неизмеримо больше всех тех, кто до них обращался к этому периоду жизни. Потому-то мы и выделили эту книгу, достойно завершившую — по времени ее выхода — в свет — многообразную Лениниану 1967 года.

Эта заметка уже была набрана, когда появились новые книги о Ленине, содержащие впервые публикуемые данные о его революционной деятельности. Так, к примеру, Н. В. Нелидов и П. В. Барчугов в брошюре «Ленинская школа в Лонжюмо» приводят в числе других свидетельств современников выразительное замечание Н. К. Крупской о слушателях школы. Последние произвели на нее и Владимира Ильича «впечатление людей глубоко партийных, которые 10 раз еще подумают, прежде чем начать бить партийную посуду». А П. Якушина в очерке «Заграничные организации РСДРП (1905—1917 гг.)» ссылается на хранящиеся в Центральном партийном архиве письмо Инессы Арманд о ленинской речи, посвященной итогам Пражской конференции 1912 года. Владимир Ильич заявил тогда, что меньшевики-ликвидаторы и другие раскольники «умеют кричать и учинять склоку». Однако «объединить что-либо или вообще что-либо создать они не умеют». Лучшие книги современной Ленинианы рассказывают о самом главном в большевистской партии — ее созидательной работе...

## Репортаж из оккупированного Парижа

Vassili Soukhomline, Les Hitliriens à Paris, traduit du russe par Lili Deinis. Avant propos de Lili Dein. Preface de Jean-Maurice Hermann. Paris, 1967.

«В июне 1940 года создано поистине удивительное положение: журналисты, обычно столь падкие на всевозможные происшествия, покинули столицу накануне вступления в нее первых германских отрядов... Весьма незavidно выглядели тогда те, кто впоследствии упрекал Илью Эренбурга за то, что он сделал из всего этого роман «Падение Парижа»! Но это уж, во всяком случае, не «роман» — небольшая книжка на ту же тему, которая пришла к нам также из Советского Союза.

«Гитлеровцы в Париже» Василия Сухомлина представляет собою не что иное, как свидетельство человека, который остался в те дни на своем месте. И, оставшись, он, говоря словами его друга Жана-Мориса Эрмана, записал пережитое народом потрясение... наблюдал как неприкрытую подлость и предательство, так и рождение в стране духа Сопротивления».

Имя Василия Васильевича Сухомлина, автора книги, о которой пишет известный французский журналист левого направления Ренэ Бурдьё, знакомо читателям «Прометейя». В третьем томе альманаха была напечатана первая часть мемуаров Сухомлина — «Детство на Каре», где воскрешаются годы героической борьбы и страданий русской революционной интеллигенции 80-х годов. Сам автор воспоминаний, сын каторжанина-народовольца, вырос и воспитывался в среде этих замечательных людей, чьи высокие нравственные качества

имели для дела революции не меньшее значение, нежели их революционная деятельность.

Книга В. Сухомлина «Гитлеровцы в Париже» написана по дневникам, которые автор вел в оккупированной немцами французской столице, где он оставался около девяти месяцев, ежеминутно подвергаясь опасности быть схваченным гестапо. Напечатанная в журнале «Новый мир» (1965, № 11, 12), эта книга появилась в 1967 году во Франции в блестящем переводе Лили Дени. Она сразу же произвела большое впечатление и вызвала ряд откликов прогрессивной прессы. Это не удивительно: французы получили первый профессиональный репортаж о событиях 1940 года.

«Гитлеровцы в Париже», — пишет Андре Вюрмсер, — это свидетельство человека, не столько обладавшего большей осведомленностью, нежели остальные его современники... сколько сделавшего своей профессией видеть и рассказывать о том, что он видит, и потому рассказ его ясне и квалифицированнее, чем у всяких очевидцев-любителей». «Я вышел на улицу, чтобы почувствовать температуру в своем квартале», — говорил Сухомлин на завтра после вступления в Париж нацистов.

Именно благодаря этому высокому качеству наблюдения и ясного политическому уму Василий Васильевич Сухомлин сумел отобрать на каких-нибудь двухстах страничках самое существенное.

В великолепной главе «Парижская пресса при немцах» нарисован блестящий портрет «старого газетного пирата» Юно-Варилли на фоне общего разложения прессы времен оккупации. Всего несколько слов сказано о происшедшем 10 июля заседании Национального собрания, из которого были уже изгнаны коммунисты и которое приняло закон о «Новой конституции французского государства» с равнением на Германию и Италию. «Никто не выступил в защиту демократического режима. Молчали лидеры социалистической партии Леон Блюм, Жюль Мок, Андрэ Филипп и другие». Кстати сказать, это не спасло их в дальнейшем от нацист-

ской тюрьмы!.. И тут же образ старого социалиста Амедэ Дюнуа, издававшего подпольную газету в оккупированной зоне, участника Сопротивления, умершего затем в лагере Берген-Бельзен...

Первые указы о евреях. Знаменитый философ Анри Бергсон, 82-летний старец, идет в префектуру, не желая скрывать свое еврейское происхождение. Гильфердинг и Брейтшайд, лидеры германской социал-демократии, выданные нацистам Петеном и погибшие затем в газовых камерах... Это тот самый Рудольф Брейтшайд, в память которого на социалистическом кладбище Берлина лежит теперь могильная плита рядом с такой же плитой в память Тельмана...

Приказ о заключении в концлагеря всех проживающих во Франции англичан старше десяти лет... Русская поэтесса Лиза Кузьмина-Караваева — «мать Мария», — пошедшая на смерть в газовой камере вместо другой женщины, матери с ребенком...

...И первые, отчетанные на мимеографе нелегальные номера «Юманите», призывающие французский народ к Сопротивлению, которые Василий Сухомлин держал в руках 30 июля. А за несколько дней до того, 22 июля, им записано о первых арестах коммунистов.

По замечанию Ренэ Бурдьё, исторические мемуары всегда бывают фрагментарными, поскольку одному человеку, да еще вынужденному скрываться от гестапо, невозможно получить всеобъемлющую картину происходящего вокруг. Такие мемуары, кроме того, всегда субъективны. Здесь главное значение имеет, конечно, сама личность автора, степень доверия к нему. «Чистейшим из чистых» называет французский журналист своего русского собрата, рассказывая о его опасных встречах с различными представителями коллаборационистской прессы с целью их разоблачения.

<sup>1</sup> René Bourdier, Un témoin de juin 40. Les lettres françaises", 1968, № 1218.

<sup>2</sup> André Wurmser, Le livre de mon ami. Les lettres françaises", 1967, № 1201.

«Именно благодаря подобной... неосторожности, порой граничащей с безумием (ведь он был предупрежден, что его ищет гестапо!), автор «Гитлеровцев в Париже» получил завидное преимущество перед остальными свидетелями — он открыл нам правду о людях, которых мы часто расценивали неверно» в ту или иную сторону... Здесь Ренэ

Бурдые ошибается — безоглядная неосторожность отнюдь не была свойственна умному и рассудительному человеку, каким знали Василия Сухомлина все, кто с ним сталкивался. Поведением его в оккупированном нацистами Париже руководило совсем другое: темперамент бойца, активная ненависть антифашиста, профессиональный долг работника подлинной социалистической печати. Как выражается Вюрмсер, Сухомлин «был журналист, социалист и патриот...».

Зимой 41-го года, чудом избежав лап гестапо, он был вынужден покинуть Францию и оказался в Нью-Йорке, где, по свидетельству Жана-Мориса Эрмана, «вел жестокую борьбу против горе-социалистов, ставших излюбленными экспертами — «кремлевцами» Вашингтона». Сам Сухомлин работал тогда в редакции еженедельника «France—Amérique», органа французского Сопротивления, выходящего в Нью-Йорке. Отличаясь большой скромностью, Сухомлин в своей книжке называет себя простым свидетелем. «Но как бы ни были субъективны показания свидетеля, я считаю своим нравственным долгом именно сегодня эти показания дать», — говорит он.

Почему же «именно сегодня»? На этот вопрос ответила Лили Дени во вступительном слове к книге: «Пусть этот сдержанный голос напоминает нам о том, что мы обязаны строить плотину с таким же упорством, с каким разливается сейчас вновь мутный поток антигуманизма».

Мне хотелось бы закончить словами Андраэ Вюрмсера: «Даже выбыв из своей эпохи, Василий Сухомлин человек великой честности продолжает служить тому, во что он неизменно верил: Человеку социалистического будущего».

**Б. Невская**

## «Как это было...»

Вера Панова, Лики на заре. Исторические повести. М.—Л., «Советский писатель», 1966.

Вручая Томасу Манну перепечатанную рукопись первой части романа «Иосиф и его братья», машинистка сказала: «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было на самом деле!» Эти слова показали писателю лестным комплиментом. В них выразилось простодушное доверие к воображению художника, дерзнувшего оживить для современников своим изощренным мастерством всемирно известный библейский сюжет. Это была, можно сказать, первая читательская награда смелому замыслу.

Читая исторические повести Веры Пановой, хочется с улыбкой повторить слова немецкой машинистки. То, о чем знаешь с первых шагов приобщения к отечественной культуре, но до сих пор представлял себе лишь в обобщенных контурах, свойственных мифу, вдруг увидел глазами и услышал ушами: и как именно княгиня Ольга мстила древлянам за убитого мужа, и как принимал надменный и просвещенный Константинополь северную язычницу, и как высокое призвание привело юного Нестора-летописца в Печерскую лавру, и как увез из Киева во Владимир Андрей Боголюбский образ божьей матери, и как умел этот владыка, подобно другим владыкам, вовремя отречься от того, кого недавно миловал, и при каких обстоятельствах осиротел малолетний Иван IV, еще совсем не Грозный.

Четыре сюжета о событиях седой старины, из самых начал российской истории, переложила Вера Панова в четыре короткие повести, бережно сохраняя факты, почерпнутые из летописей, житийной литературы и других источников, но одновременно смело и свободно обогащая эти скупые сведения воображением мастера реалистической детали,

юмором современного человека, поэтическим ощущением движения времени и неразрывной связи веков.

Легко можно представить себе, что исторические повести В. Пановой воспринимались далеко не всеми читателями с одинаковым удовольствием и одобрением, а у многих вызывают даже эстетический протест. Дело в том, что при всей своей внешней простоте, хрестоматийной доступности, да и в каком-то смысле хрестоматийной задаче (помочь вообразить и запомнить то, что должен знать каждый) исторические повести, как и почти все, что писала когда-либо В. Панова, по своей форме экспериментальны и полемичны для русской литературы. Так об истории у нас еще не писали. Нравится или не нравится — это другой вопрос, но новизну повествовательной манеры в применении к столь почтенному материалу признает и заметит каждый.

Вероятно, можно догадаться уже по началу этой рецензии, что автор ее не только поклонник «Ликов на заре», благодарный писателю за поэтическое оживление национальных мифов, но и принципиальный сторонник манеры, в которой написаны исторические повести. Его отнюдь не шокирует, как может быть, иных читателей, а радостно забывает, когда скажем в религиозном споре с греком-священником, склоняющим Ольгу креститься ввиду явных преимуществ единоначальной власти христианского бога, ведающего всем сразу и в том числе дождями и грозами, княгиня сомневается и колеблется: «Ох, тут нет ли ошибки... Не Перун ли все же, сдается мне, обеспечивает поливку полям».

В подчеркнuto простой, лишенный каких-либо стилистических украшений строй повествования вкрапливаются на равных правах отдельные словечки, взятые непосредственно из «Повести временных лет» (например, полюбившийся Пановой глагол «примучивать»: «Си же обри воеваху на словенехе, и примучиша дуле бы...»), выражения из газетного жаргона середины двадцатого века (наподобие вышеприведенного Перуна, «обеспечивающего поливку»), а также обороты сугубо разговорного обиходного языка наших дней: «Чего,

лада, хочешь? — спрашивает Игорь. — Дворец каменный, — сказала Ольга. — А что ж, — сказал Игорь».

Такого рода не очень многочисленные, но очень выразительные разговорные «а что ж» кратчайшим путем приближают легендарную старину к нам, делая ее понятной и близкой. Причем язык повествователя и язык героя равны здесь своей принципиальной простотой и современностью. Рассказывая, например, о взятии Олегом Царьграда, повествователь обращается к читателям-слушателям: «Каменное строение, думаете, хуже горит? Worse деревянного, само собой. Но всякое дело спорится, коли взяться уметь». В этих фразах сложился, так сказать, наш опыт взятия Царьграда с нашим опытом Ленинграда и Сталинграда. Во всяком случае, здесь присутствует доля личного, непосредственного опыта. Ну, конечно, с поправкой на расстояния в одиннадцать истекших веков, допускающих и о такого рода опыте говорить с известной легкостью и юмором, которые были бы неуместны по отношению к более близким событиям: строения, как деревянные, так и каменные, горят одинаково во все времена, но в каждый данный момент далеко не все равно, когда именно они горели.

Вот в этом все дело — в дальности расстояния. Как передать ее и как одновременно приблизить к нам людей такой седой старины? Как сохранить ощущение легенды, уже бывшей на устах десятка поколений, и в то же время дать почувствовать в персонажах привычного мифа людей из плоти — может быть, несколько более наивных, более цельных, но в общем живших по тем же психологическим законам, что и читатели исторических повестей? Язык древнерусской летописи мы едва понимаем, даже обладая некоторой филологической подготовкой. Язык былин, которые мы «проходим» в шестом классе, для нас в высшей степени литературный язык. Натуралистическое воспроизведение, вернее, приближение стиля столь давних времен неизбежно поставит на высокие ходули и героя и автора. Говорить же о мифических временах просто литературным языком современности — это значит

столь же неизбежно и убедительно модернизировать древность и сделать легенду прозаичной. Где же выход?

В. Панова находит его в открытом обнажении безвыходности каждого из этих двух путей в отдельности, в их смелом, подчас рискованном сочетании, в юмористическом подчеркивании условности такого приема, дающего возможность и автору и читателю легко и сознательно перешагнуть через внешнее к существенному.

Конечно, княгиня Ольга не говорила, как говорит секретарь райкома: «обеспечивать поливку», и, как именно она говорила, мы не знаем, да и не узнаем. Но деловитый газетный штамп путем внутренней мгновенной ассоциации без лишних слов убеждает вас, современного читателя, что вопрос о Христе и Перуне, кто из них лучше и выгоднее для хозяйства, был в девятом веке не менее серьезным и актуальным, чем вопросы кибернетики, автоматки, социологии, статистики и т. д. сегодня. У вас вызывает это улыбку? Ну что ж, порадитесь своему превосходству. Только не очень задавайтесь. Ведь это не ваше личное превосходство, а лишь одиннадцатый век цивилизации. Даст бог, когда-нибудь и мы со всеми нашими проблемами будем вызывать такую же, может быть, и не лишнюю умиления улыбку. Поляне девятого века тоже чувствовали свое превосходство над древлянами, которые «принесли богам человечьи жертвы... и не то что при тяжких бедствиях, когда кроме этого уж ничем, как известно, не поможешь горю, а просто так, походя»... И древнерусские паломники, отправляясь в своем XI веке ко гробу господню, уверяют, что без этого они не будут сами себя уважать: «Чай, не одна цена — тому, кто был в Иерусалиме, и тому, кто не был!» Еще бы! Ведь каждый понимает: одно дело — видел ты живого Евтушенку, а совсем другое — не видел.

Чувство собственного достоинства, тщеславие, предрассудки, моральные представления — все, что составляет постоянные компоненты человеческой психологии, — это продукты идеологии и моды времени.

Их относительность, их движение в веках, близкое соседство самых высоких идейных побуждений и самых низменных устремлений В. Панова легко обнаруживает неожиданными юмористическими сопоставлениями с современностью, заложенными в самом языке ее исторических повестей.

Но если бы сопоставления и сближения мифа с современностью строились в повестях В. Пановой только на юмористической основе, мы имели бы дело с произведением смешного жанра, сатирического характера, с чем-то вроде «Энеиды» Котляревского. А здесь перед нами явно поэтические истории, не лишённые патетики и, несмотря на постоянное присутствие авторской иронии, серьезно трогающие в нас какие-то глубинные общечеловеческие и национальные чувства.

Ощущение громадности истекшего времени достигается здесь подчеркнутой общностью исторического опыта и национальных форм жизни. Автор-повествователь берет на себя смелость употребить время от времени в своем рассказе местоимение «мы», объединяя в этом «мы» и тех, кто брал Царьград в IX веке, и тех, кто сейчас вместе с ним вспоминает об этом давнем событии: «Мы их смелой поливали, чтоб бойчей горело... После того пошли в город посты Олеговы, и договор был написан на русском языке, чтоб греки не могли нас обмануть...» И на тех же правах это обобщающее «мы» переходит в XI век, в рассказе о битвах Андрея Боголюбского с немцами: «Другой раз... еще жесточе было сражение и коня его ранили в ноздри... и Андрея крючьими тащили с седла, а он держался... Так-то мы стояли». Это «мы» произносится от имени всех XI веков отечественной истории, но — и в этом принципиальная позиция писателя — без позы величия XI веков, не возвышая над нами предание и легенду, а приближая ее к нам.

Поэтичность исторических повестей В. Пановой, как и вообще всех ее книг, неотделима от органического демократизма, свойственного самой живописной палитре писательницы и ее цепкому взгляду художника. В древ-



ности, даже в мифе, как и в современности, В. Панова ценит прежде всего поэзию обыкновенной, рядовой жизни. Ее герои — легендарные личности: князья, цари, прославленные святые, основатели из основателей и основоположники из основоположников, — но это и простые смертные, живущие и умирающие в мире устойчивого национального быта, живописные подробности которого В. Панова передает с чувственной осязаемостью. В доме княгини Ольги («как белый шелк были новенькие липовые лавки»). А Феодосий, будущий святой, предпочитает спать не на лавке, на полу, на таком же сбитом войлоке, какой и теперь могут тебе гостеприимно постелить в чистой горнице в какой-нибудь северной деревне. И собаку в доме его матери, в доме XI века, зовут просто Жучка. «Он выглянул в окно. Пустой двор бел от месяца. Черная тень амбара. Черная Жучка. Жучка увидела, что он выглянул, — замотался черной хвост». Как сегодня, так и тогда. «А Ольгу мать одевала тепло и выпускала на улицу играть с детьми. Вот идет Ольга по снежной улице меж высокими тынами и дымящимися кучками навоза, укутанная в платок. Вот она втаскивает салазки на горку, чтобы скатиться вниз... Она идет, и задки ее ваденок вскидывают подол. Задки эти похожи на пятки медвежонка». Так было одиннадцать веков назад, так было вчера, так и сегодня где-нибудь в маленьком городке. Только конского навоза почти не видно, но снег, но теплый платок до носа, но валенки с задками, похожими на «пятки медвежонка». — это то, что прошло нетронутым через века, что оказалось стойче, чем самые стойкие византийские притязания, потому что за всем этим постоянные данности — природа, климат, основы языка. Легендарная Ольга согласно обычаям своего времени варварски живописно мстит бедным древлянам — В. Панова изображает эти эпизоды в полном согласии с летописным преданием, и с пластичностью, свойственной ее перу, — но в то же время ее Ольга не избежала ни одного из обычных этапов обычной женской судьбы: вот совсем недавно каталась она на салазках, как и мы с вами в детстве, вот

только что юной женой вошла в дом Игоря, а вот уж и поездка в Константинополь позади, и сын уже возмужал, и не дожدهшься его в пустом доме, и старость на пороге, и никакие каменные палаты и некогда вожделенные почести греческого императора не заглушат горечи сначала уходящей женственности, потом — и самой жизни. Но горечь поэзии не противопоставлена.

Где же тут история как борьба общественных формаций, как смена идеологий? Ну, а как же: еще недавно на Днестре шли споры о Перуне, но не прошло и двух веков — и христианство приобрело и здесь своих идейных мучеников и изумверствующих ревнителей. Но меркнет слава и Печерской лавры, и далеко на севере, за дремучими лесами, возникают новые святые, притязающие на первородство. А вот уже и юная Москва назвала себя третьим Римом, Палеологи и Гедиимины влили свою благородную кровь в генеалогическое древо Рюриковичей... Все сильнее разгорается наша заря, все дальше виден ее свет, все причудливее лики в этом свете. Четыре разных повести — четыре разных века. И от одной повести к другой движению времени отмечается не только отдельными выразительными штрихами, но и заметным усложнением форм жизни.

В «Сказании об Ольге» на Днестре светло и просторно. Толкуются на перевозе люди, моют женщины белье вальками, а из окон княжеской башни-смотрильни видна степь, а дружины вольно и вдруг решают, идти ли им «примучивать» древлян, пугать ли Царьград или податься на Балканы. И перстни, награбленные Олегом, видятся Ольге связкой сухеных грибов: псковская девчонка, рачительная хозяйка, она, наверное, сама их и сушит — мать причула.

А Феодосий с трудом находит уединение, необходимое для спасения души. В материнском доме толпы слуг, на дорогах паломники. В монастырях тесно. Да и не так просто туда поехать: имущественный ценз. «Так-таки ничего не имеет?» — спросил игумен. — В таком случае вам следует избрать другой монастырь. Наш же основан богоугод-

ным князем Ярославом, при котором Киев стал тем, что видите — градом, величеством сияющим, ведомым и слышимым во всех концах земли, и размах наших дел соответствует нраву и желаниям основателя, а на размах требуется немало, сами понимаете должны при всей вашей серости». Ищущий опрощения, с юности бегущий земной славы, неподвластный искусам плоти, Феодосий законами человеческого общежития и исторического хода вещей оказывается накопителем монастырских богатств, безгласным участником княжеских пиров. Это он, с детства мечтавший о вольном отшельничестве, вводит строгий устав для своих монахов, силой понуждая к тому, что недавно еще было душевной потребностью.

В. Панова удивительно умеет соединить легкость и серьезность, простоту и сложность. В забавном изложении подвигов святого Феодосия, в бытовых сценах, в пересказе наивных летописных преданий, не упуская случая заставить нас лишней раз улынуться, писательница на элементарно простых примерах показывает путь от чистой идеи к ее историческому воплощению, трансформации максимализма высочайших нравственных помыслов в отвлеченно-бездухный общественный институт.

В. Панова — диалектик и оптимист. Не в смысле какой-то особой философичности, а в самом художественном взгляде на мир и человека, в своем воображении реалиста. И на последних страницах «Сказания о Феодосии» светлым обнадеживающим пятном появляется юный летописец Нестор, как свидетельство нового цветения жизни, хотя и на скупой, чертовой почве принудительного аскетизма и смиренного тщеславия. Подчинив живую наивную веру эпохи своей молодости строгому регламенту устава и слепого повиновения, Феодосий в своих гордых храмах создал условия для первых ростков национального самосознания. Книги, они ведь не в пещерах пишущая. «Не забудь написать, — говорит Феодосий, — как приходишь к нам этот варяг и какое ему было сновидение... — «Я все напишу, отче», — отвечает Нестор». Иметь воз-

можность все написать — это тоже много стоит...

Свойственное В. Пановой артистическое приятие диалектики живой жизни, чуждое морализму и нравоучительным проповедям, в третьей повести «Феодорец, Белый клубочок» оказывается на опасной грани. То, за что ненавидят другие попы духовного наставника Андрея Боголюбского отца Федора («слишком уж дышал мужеством и преуспеянием»), делает читателя повести сочувствующим соучастником этой рискованной судьбы. Безграничное жизнелюбие, жажда всех радостей земного существования, неумение отказаться ни от одной из них, вера в свои возможности совместить несовместимое — все это составляет цельный до мельчайшей черточки характер героя повести, и все это находит в ней логическое кровавое завершение как в числе жертв епископа-самозванца, так и в его собственной гибели. Историческую и нравственную закономерность такого пути лучше всех, конечно, понимает автор, утверждающий словами

евангелия справедливость драматического конца своего героя: «Ни в одном сердце не найдешь ты милосердия — и как просить тебе о милосердии? Скажут: какою мерой меришь, возмеришь и тебе. Суд без милости не сотворившему милости». Но... В. Панова не была бы самой собой, если бы эта высокая моралистическая формула стала итогом ее повести. Справедливость формулы она-то знает, однако, произнесла ее, не удерживается от непосредственного, из души идущего сочувственного предостережения своему герою, мчащемуся в легких санях по зимней дороге из Владимира в Киев на расправу к тамошним попам: «Ой, куда ты скачешь, Белый клубочок!»

Тут ведь даже в самих словах происходит двойная игра смыслов. Феодорец, Белый клубочок — так прозвал народ несправедливого иерея, ибо в древнерусском языке эти уменьшительные суффиксы несли в себе прежде всего значение пренебрежения и презрения. В тексте повести объясняется, как появилось прозвище у епископа, присвоившего монашеский сан, но не отказавшегося от брака со своей голубоглазой попадь-

ей. И как же не восхититься этой безумной для XI века рыцарской храбростью? Кровь личных врагов в застенках — это, конечно, нехорошо... Но вот эта бесшабашная беспечность? Это обаяние покоряющего жизнелюбия? И то, что в древнем нашем языке звучало как презрение, в современном слуховом восприятии приобретает оттенок ласкового, сочувствующего предупреждения: «Ой, куда ты скачешь, Белый клубочок!»

Диалектика исторического процесса как части самого процесса жизни в четвертой повести В. Пановой «Кто умирает» обретает еще более отчетливые очертания определенной идеи и благодаря самому построению повести.

Умирает московский князь Василий III. Два хора голосов его современников, перебывая друг друга, спорят о том, кто же уходит из жизни. Одни годоса утверждают, что это был властелин, какому еще не было равного по величии на русской земле, великий строитель, дальновидный политик, покровитель просвещения, прекраснейший семьянин: «Слава мудрому кормчому, стателю о государстве, столету твердости. Пусть с миром закроет свои светлые очи». Но другие голоса опровергают и снижают каждое положение славословящих верноподанных. Величие потомка знаменитых родов? А умирает от какой-то мерзкой болезни! Прозорливый политик? А что он сделал с вековой вольностью Искова? Просветитель? А в каких застенках сгинул писатель Максим Грек? Семьянин? А кто заточил в монастырь первую жену, чтобы жениться на молоденькой Елене Глинской?

Кто же умирает? Тиранили великий муж? В ответ слышится примиряющие слова (автора? самого князя?): «Что сделано — сделано... Какое ни есть, оно совершлось именно так, а не иначе. С этим уже ничего не поделаешь. Что есть, то и перейдет к сыну».

Но не здесь, не в этих сомнительных словах подлинный ответ В. Пановой. Есть в повести и другой ответ, ответ художника. Он вроде бы и не противоречит первому, но насколько же он значительней!

В то время как в душевной комнате, плывущей в «громкость» будущего с гру-

зом традиций, идей, начинаний и заблуждений, умирает князь, где-то рядом на площади плещется и переливается волнами единственно бессмертная жизнь — народная жизнь.

Народ В. Пановой вовсе не безмолвствует. Он говорит громко, не стесняясь и не умолкая, но говорит о своем: о соседке Агафье, которая не может разродиться вторые сутки, о каких-то спорках какой-то бабки, о любви, о выгоде. Ни одного описания или портрета — только короткие отрывки разговоров массы разноликого люда, того древнего люда, что торговал и покупал, радовался и горевал, развлекался и просвещался на этой площади, когда белокаменные стены Кремля были совсем молодыми, а храма Василия Блаженного и в помине не было, а Иван Великий еще не увенчался золотым куполом. «Великий князь, что ли, болеет, говорят. — Говорят. — Тоже ведь помереть может, а? — Другой найдется. — За этим не станет». И на вопрос, кто же умирает, с площади слышится ответ: «А никто не умирает». Ведь Агафья благополучно родила, «исть» попросила, и ребеночек «такой ровнецький, тяжельный». Бабьей присказкой кончается повесть о смерти московского властелина:

«Спеку передечку, снесу на ребеночка». Кто бы ни умер, а пока рождаются дети, а старики говорят таким языком, жизнь продолжается.

Устроила бы читателя подобная истина как историческая концепция и такое безразличие при оценке какой-нибудь более близкой к нам исторической личности? Наверяд ли. Но речь идет об очень далеких временах и фигурах. За давностью лет они стали неотъемимой принадлежностью национальной культуры. И перед нами не ученое сочинение, претендующее на провозглашение конечной истины, а художественные картины, написанные с артистизмом и оригинальностью. У художника же есть право на воссоздание хотя бы части истины, лишь бы она была действительно истинной, лишь бы она убеждала и доставляла эстетическое наслаждение. За ним это право хотя бы потому, что у него нет другого выхода.

Е. Старикова

## Норберт Винер перед лицом моральных проблем

Норберт Винер, Я — математик. Изд. второе, стереотипное. М., изд-во «Наука», 1967, 356 стр., 100 000 экз.

В появлении литературных штампов прежде всего виноваты талантливые писатели. В создании галереи героев сильных, порой жестоких, однако всегда привлекательных, принимали участие такие гиганты, как Киплинг, Лондон. Всякому успеху стремятся подражать. Если автор — эпитон, то он наверняка менее талантлив, чем первооткрыватель. Прежде всего герои писателей — последователей теряют самое главное — привлекательность, приобретая такие черты, как неразборчивость в средствах, стремление к насилию.

И сейчас можно сказать, что эти злые люди нашли последний (последний ли?) оплот в фантастической литературе, конечно, не самого высокого качества, основными действующими лицами которой являются ученые. Светло-серые стальные глаза этих героев внимательно смотрят на читателей со страниц книг, мелькают оловянные подбородки и торсы суперменов. Они управляют кибернетическими устройствами и мечтают о завоевании мира.

«...Такого рода литература возбуждает инстинкты насилия и жестокости...» — подчеркивал основоположник кибернетики Норберт Винер Читателя, который ждёт от автобиографической книги Н. Винера «Я — математик» рассказа о человеке, привыкшем легкомысленно и свободно «играть с идеями всеразрушающих сил иных миров и ракетных пу-

тешествий», ждёт глубокое разочарование. Начиная с портрета, воспроизведенного на фронтисписе: полное лицо, борода, глаза с лаванкой, безукоризненный костюм. Вид этакого эпикурейца, ждущего от жизни только блаженств. Наличие симпатичного небольшого брюшка, обтянутого жилетом, наводит на мысль о том, что этому человеку не чужды радости вкусовых ощущений. Может быть, он гурман или гастроном? Нет, он не гурман и не гастроном. Норберт Винер — вегетарианец. Вегетарианец из соображений, аналогичных соображениям Шелли, Шоу, Швейцера, Толстого.

Не ел «мяса убитых животных» и отец Норберта — Лео Винер, пытавшийся в молодости основать в Центральной Америке «колонию вегетарианцев и жить в соответствии со своими гуманистическими принципами».

Гуманистические идеалы, независимость (Лео Винер, будучи профессором-славистом Гарвардского университета, «занимался теми исследованиями, которые нравились ему самому»), огромная работоспособность (за два года перевел 24 тома Л. Н. Толстого и знал около 40 языков), дисциплина ученого (в смысле подчинения, посвящения себя поискам научной истины) — все это Лео Винер стремился передать своему сыну. Влияние отца велико. Даже тогда, когда Норберт обрел некоторую свободу, именно — свободу ошибаться и испытывать горечь поражений, он рассматривал поездки за границу на математические конгрессы главным образом как освобождение от воспитательного гнета отца. Уже здесь проявилась внушаемая отцом независимость. Дисциплина же гарантировала «от настаивания на ошибке, когда уже ясно и отчетливо видно, что это действительно ошибка», что позволяло терпимо относиться к мнениям других ученых. А это, в свою очередь, вело к плодотворному сотрудничеству Винера со многими математиками.

Однако вернемся к портрету Н. Винера. Если взглянуть повнимательнее, то можно заметить, что глаза, увеличенные поблескивающими стеклами очков, непропорциональны лицу. Очень сильные линзы. Действительно, Норберт Винер

был близорук. Этот недостаток лишал его «возможности принимать участие в обычных забавах», которыми увлекались ребята — сверстники Винера. Это рождало психическую неустойчивость (то сомнение, то самомнение), постоянное одиночество, помноженное на систему воспитания, изобретенную отцом. Но это также и помогло Норберту Винеру впоследствии сосредоточиться на своих научных интересах, предав забвению мелочную суету человеческих противоречий и посадить свое дерево — секвойю — в огромной роше науки. Кстати, «Я — математик» — это вторая автобиографическая книга Н. Винера, первая — «Бывший вундеркинд» — вышла в США в 1951 году. Она повествует о детских и юношеских годах Н. Винера.

Обычно к словам «вегетарианец» и «близорукий» подходят другие два слова — «рассеянный» и «чуждак». И не случайно Л. Инфельд, известный польский физик, в своих воспоминаниях приводит такие эпизоды:

«Винер встретил своего ассистента и завел с ним разговор. Они кружили возле места их встречи, а на прощание Винер спросил: — Где мы с вами встретились? В каком направлении я тогда шел?»

— Почему вы спрашиваете, профессору?»

— Потому что тогда я смогу сделать вывод — шел ли я обедать или я уже победал...

Как-то мы попросили его прочесть лекцию в Торонтском университете... Я немного опоздал и сел на последней скамье, где еще нашлось свободное место. Винер подошел к моей скамье и всю лекцию шептал мне на ухо, совершенно не считаясь с публикой».

Следует сразу же оговориться, что рассеянный чуждак ученый — это тоже литературный штамп, гораздо более приятный, чем злой ученый-маньяк.

Однако первый факт, как пишет сам Л. Инфельд, — анекдот, а второй... Может быть, Винеру было лестно сыграть роль забывчивого и поглощенного в себя человека. Однако сам Н. Винер не считал себя чудачком. Раннее развитие вело к знакомствам с людьми, «обладающими выдающимся интеллектом», отсутствие контак-

тов с ними превратило бы его в «беспомощного чудака». Но и другое обстоятельство вело Винера к сотрудничеству с большим количеством людей — это его интернационализм. Он сотрудничал с французами Адамом и Фреше, с датчанами Нильсом и Харальдом Борами, с китайцем Ли и т. д. Особенности формирования характера, врожденные или благоприобретенные, плюс жизненный опыт помогли Винеру сформулировать свое человеческое кредо:

«...Каждый творчески работающий ученый (читай человек. — А. Е.) волен ломать любые перегородки...»

Вот один из примеров кардинальной ломки перегородок: «С точки зрения науки это событие (работа над приборами для прогноза и счетными машинами. — А. Е.) ...открывало огромные возможности причинить обществу добро и зло». Винер мог умолчать о своих открытиях, но он не был гарантирован от того, что на параллельном курсе не идет другой ученый, который был бы ближе, может быть и невольно, ко злу. И еще работы Винера были, во-первых, лишь начальными шагами в новом направлении, а во-вторых, имели и военное значение. Тем ценнее и поступок Винера: «Я решил отказаться от политики величайшей секретности и перейти к политике самой широкой гласности...»

Далее: «Наука должна создаваться объединенными усилиями многих людей». Эти глубоко человеколюбивые принципы дади возможность Норберту Винеру побороть собственную неуравновешенность и сделать выдающиеся открытия.

Норберт Винер мог в трудные годы — годы войны — отодвинуть свои научные заботы на второй план и заняться в первую очередь устройством ученых, «вынужденных волей обстоятельств покинуть свою родину». Подразумеваются страны, пораженные гитлеровцами. Чувство истинного гуманизма помогало ему разбираться и в политике. Норберт Винер умел ненавидеть. Он ненавидел фашистские тоталитарные режимы.

А вот что он сказал членам советской делегации в Индии, где Норберт Винер был в 1953 году, в самый разгар «холодной войны»:

«Послушайте, нам предстоит провести вместе несколько недель, и я не хотел бы поставить в неловкое положение ни вас, ни себя. Давайте относиться друг к другу по-дружески и без стеснения беседовать о любых вопросах, не связанных ни с техникой (секретностью. — А. Е.), ни с политикой». Мое (Н. Винера. — А. Е.) предложение было с готовностью принято».

Леопольд Инфельд указывал, что в годы войны Н. Винер в Торонто «сделал интересный доклад о советской математике». Необходимо добавить, что в 1960 году он посетил СССР.

Он был человеком, наделенным большим чувством юмора. С иронией Норберт Винер писал о кастовости немецких ученых, снобизме английских: «Профессора английских университетов считают дурным тоном ходить на профессиональных ученых... Истинно гарвардский профессор действительно считает дурным тоном слишком много говорить и слишком много размышлять о науке. Стремление вести себя по-джентльменски требует от него такой затраты энергии, что ни на что другое у него уже просто не хватает сил».

Здесь специально не уделяется места рассказу о собственно математике, а подчеркиваются нравственные идеалы Норберта Винера, которые помогли ему достойно разрешить серьезные моральные проблемы: с ними неизбежно сталкивается каждый ученый нашего времени. Норберт Винер «не проявлял особого энтузиазма», когда его пытались привлечь к работе «Манхэттен проект» (исследования, ставившие целью создание атомной бомбы), и его оставили в покое.

А вот взволнованные слова Норберта Винера, произнесенные после атомной бомбардировки Хиросимы: «Сообщение об этом страшном нападении на меня... Начиная с этого момента все человечество будет жить под страхом полного уничтожения».

Винер, естественно, понимал, чем грозны для человечества кибернетические машины: создание их породит не только безработицу, но (это самое главное) отодвинет многих людей от участия в создании духовных и материальных ценностей. Он все время преду-

ждал об этом и сам искал решения этих серьезных проблем. Он до конца своих дней оставался верен своей главной линии жизни — все способности, все достижения на службе людям. В последней книге — «Творец и робот» Н. Винер писал:

«...До тех пор, пока мы, хотя бы в малейшей степени, сохраним наше нравственное чутье, которое позволяет различать добро и зло, применение великих сил нашего века в низменных целях будет в морально-этическом отношении равнозначно колдовству...» Там же он обличает тип технического руководителя, называемого им машинопоклонником: «Помимо того, что машинопоклонник преклоняется перед машиной за то, что она свободна от человеческих ограничений и точности, существует еще один мотив в его поведении, который труднее выявить в каждом конкретном случае... Мотив этот выражается в стремлении уйти от личной ответственности за опасное или гибельное решение...» Побуждения эти основываются на якобы бесспорной объективности механического устройства. «Несомненно, что подобными же уловками будет пытаться успокаивать свою совесть то высокопоставленное должностное лицо, которое осмелится нажать кнопку первой (и последней) атомной войны».

Несомненно и другое — Н. Винер обладал очень обостренным чувством социальной ответственности: «Нет — будущее оставляет мало надежд для тех, кто ожидает, что наши новые механические рабы создадут для нас мир, в котором мы будем освобождены от необходимости мыслить. Помочь они нам могут, но при условии, что наша честь и разум будут удовлетворять требованиям самой высокой морали». Да, это книга не о герое с волевым подбородком и не о рассеянном чудачке, а об умном близоруким человеке, человеке в лучшем понимании этого слова, великом гуманисте и — между прочим — отце кибернетики.

**А. Ефимов**

## Лаборатория МЫСЛИ

W. Irvin, Apes, Angels and victorians. London, 1955<sup>1</sup>.

Нужна была большая смелость, чтобы снова, после многих предшественников, писать биографии Дарвина и Гексли, ныне известных всем, гениев, совершивших в XIX веке «революцию в кабинете ученого».

Автор биографии, Уильям Ирвин, профессор Стенфордского университета, создал себе имя как специальными исследованиями, так и фундаментальными трудами по истории науки. Книга «Обезьяны, ангелы и викторианцы» — драгоценный опыт яркого и увлекательного описания творческой деятельности ученых, без ущерба точности. По этому признаку «Обезьяны, ангелы и викторианцы», несомненно, стоит выше книги Моруа о Флеминге, а также книги «Мартин Эрроусмит» Синклера Льюиса. В ней больше объективности, но столько же красок и вдохновения.

Ирвин опирается не только на главные произведения Дарвина и Гексли и многих их современников — биологов, философов, историков, физиков, юристов, писателей. Он тщательно изучает все эпистолярное наследие Дарвина и Гексли, в том числе неопубликованное, цитирует или излагает содержание ранее не изученных документов, рукописей, стремясь проникнуть в «лабораторию мысли» ученых.

Ирвин объективно резюмирует содержание всех глав «Происхождения видов» и других главных произведений Дарвина, сопровождая их оригинальными комментариями, фактическими и гносеологическими.

Может показаться странным, что текст, который опирается на 850 детальных ссылок (18 страниц, набранных непарелю), куда бо-

лее тщательно документирующих все сколько-нибудь ответственные утверждения, чем это делается в хороших диссертациях, окажется увлекательным не только для специалиста, но для читателя, далекого от поставленной в нем проблем. Однако Ирвином это достигается, и его книга будет, мы надеемся, с увлечением прочитана естественниками, инженерами, историками и всем кругом читателей без особых биологических запросов,

способных отозваться на живое описание обстановки и духа другой страны столет назад.

Вокруг двух главных действующих лиц вскрывается историческая и социальная обстановка, перипетии идейной борьбы в конкретных ситуациях. Много примеров частного быта Англии в эпоху Виктории, дающих порой лучшие представления о вещах, чем книги по истории и географии, перемежаются с точными формулировками по содержанию теории естественного отбора и резонансу, вызванному ее появлением. Четко излагаются убеждения Тиндаля, Карлейля, Лайеля, другие научные теории, а рядом тонкий, сдержанный юмор.

Книга Ирвина относится к числу учащих, как надо искать и думать, чтобы приходиться к самостоятельным оценкам. Она хорошо освещает и убеждает в споре, воспроизводит достойные того основные дискуссии прошлого во всей их остроте. В ней справедливо оценивается общее научное наследие не только Дарвина и Гексли, но их ближайших единомышленников, с частыми отступлениями к общим проблемам и философии. Она свободна от апологетики и прямо указывает немало непоследовательного в наследии и общественной жизни двух английских биологов. Но это правда, и два героя борьбы с островными пуританскими псевдодобродетелями предстают не юбилейно, не в монументах, а живыми. Поэтому и детали семейной обстановки непохожи на шаблон — титаны у домашнего очага... Поражает полное отсутствие мелочей, как правило, переполняющих биографии великих и канонически мудрых. Вместо этого возвращаются к жизни десятки и десятки имен, незаслуженно (как это упрямо делают время и

потомки) преданных забвению, притом не в порядке беглого описания, а как положено драматургу, который окружен действующими лицами, а не статистами.

Главное в «фабуле» от первой до последней страницы — наблюдение и описание творчества вообще. Не так специально, как это делается в эстетике о творениях искусства или в гносеологии о путях познания, и совсем не как в оде. Первый план занят панорамой черновой работы — тщательным, усидчивым изучением отдельных, порой однообразных деталей, но эта «мастерская» освещена гармонией возникающих обобщений, первыми мгновениями рождающихся новых понятий, эмпирических рабочих подходов. Не умалчиваются ни разочарования, ни ошибки, ни минуты, когда ученые узнают, что их открытия или мысли уже имеют предшественников и надо отказываться от первоинства.

Именно в этом Дарвин и Гексли показали образцы справедливости и благородства, расставаясь с приоритетами или щедро их разделяя. Так было не только в «коллизии» Дарвин — Уоллес, но и в других случаях постепенного вынашивания сделавших эпоху обобщений, без торопливости и преждевременных публикаций. Такая программа не пропагандирует объективность и терпимость, а делает их элементарными.

Нет ни одного заметного произведения Дарвина и Гексли, мимо которого прошел бы Ирвин: он не отделяется простым упоминанием, а ищет генезис поиска, логику аргументацию и основные реакции на новые естественнонаучные воззрения. Можно не сомневаться в том, что даже специалисты, хорошо знающие Дарвина, вновь найдут повод перечитать отдельные страницы его произведений, которые уже были у них в руках. Что еще важнее, некоторые будут переведены те, которые неизвестны рус-

<sup>1</sup> У. Ирвин, Обезьяны, ангелы и викторианцы. (Объединенная биография Дарвина и Гексли.) Лондон, 1955.

<sup>2</sup> Книга готовится к изданию в серии «Жизнь замечательных людей».

скому читателю статьи и книги Гексли.

Гексли не только второй после Дарвина творец теории видообразования, но, без преувеличения, английский народный герой, притом не только для своих современников. Мало того, что он вел с демократических позиций острейшие споры по политическим проблемам со всеми главами и самыми видными членами кабинетов тори и вигов — Гладстоном, Бальфуром, Дизраэли, герцогом Арчилльским, лордом Салисбюри, — он специально пользовался для этой цели трибуной самых торжественных и официальных академических актов. Гексли боролся за коренную перестройку среднего и высшего образования своей страны, где в его время было гораздо больше классических гуманитарных и религиозно-схоластических предметов, чем на континенте. Его главным врагом было викторианство. Дарвин повторял, что считает Гексли талантливее себя. Цена яркие победы своего друга и оруженосца в диспутах, где оппонентами теорий естественного отбора были не только епископы, но и биологи с мировыми именами, например Оуэн, Дарвин гораздо выше ставил собственный вклад Гексли в теорию видообразования. Материальный фундамент жизни находится в поле зрения Гексли больше, чем у каких-либо других исследователей дарвиновской школы. Рационально, как подобает почитателю Декарта, критически, как ученик английских индуктивистов, и смело — это его собственное качество — Гексли сопоставляет упорядоченные явления жизни с уже познанным материальным. В этом нет ничего общего ни с натурфилософией, ни с беспардонностью вульгарного материализма. Все ссылки на протоплазму и ее части, вплоть до молекул, делаются им обоснованно, точно, как это дано редким талантам, наделенным беспримерной интуицией, стоящим на уровне науки своего времени, черпающим из открытого раньше ориентацию в еще неизвестном.

Дарвина и Гексли объединяет деятельный скептицизм, причем у второго из них этот термин в девяти случаях из десяти употреб-

ляется для обозначения атеизма. Собственные программы исследований Дарвина и Гексли более всего навеяны Фрэнсисом Бэконом. На первом месте у них стоит достоверность эмпирического описания и опыт, причем их индуктивизм не имеет ничего общего с позитивизмом.

К сожалению, по сей день поверхностные философы не устают упрекать Гексли в агностицизме. По их вине Гексли гораздо меньше знаком многим, чем он того заслуживает. Слова из песни не выкинуть — Гексли и Дарвин знали английских эмпириков Бэкона и Юма больше, чем других философов. Ведь Гексли написал обстоятельную и блестящую монографию о Юме, авторитетно писал о Декарте, о Беркли. Но насколько надо быть легкомысленным, чтобы похоронить Гексли в агностиках. Разве достаточно при этом сослаться на то, что он себя именовал агностиком? Как легко забыть, что по адресу самой авторитетной позитивистской школы своего времени — контингентства Гексли говорит: «Учение Конта — это католицизм без христианства». Среди естествоиспытателей, современников Гексли, немало агностиков — среди них и Гельмгольц, и Дюбуа Реймон, и Роменс, но мало у кого вес агностических убеждений оказывается таким малым в конкретных натуралистических изысканиях, как у Гексли.

Гексли в своей книге о Юме дорожит главным образом детерминистской стороной учения Юма, не говоря уже о том, что он показал способность биологов понимать философов и писать о них лучше, чем это сейчас стали делать философы, когда они пишут о биологах. Под совсем новым и, безусловно, материалистическим углом зрения им рассмотрены многие пункты учения Локка, Гоббса и Декарта.

Можно удивляться, как могут некоторые современные материалисты сначала привычно переписывать из Ленина признание дани философскому эмпиризму, а затем искать во всем, связанном с Юмом, Локком и т. д., лишь агностицизм, идеализм и субъективный идеализм. Как будто философские течения со всеми

полезными их естественнонаучными резонансами кончат свой век внезапно, как листки отрывных календарей, и идея причинности, красной чертой проходящая через философское направление, не способна служить натуралистам, критически разбирающимся в предмете. Как будто исследователям природы не дано развивать дальше некоторые тезисы аподиктически или, наоборот, неуверенно сформулированные философами. Гексли опирался именно на сильные стороны Юма и Локка. Его агностицизм очень часто всего лишь façon de parler, выражающий насущно необходимые при подлинном изучении природы колебания, сомнения и критику, с пользой гиперрофированные для предупреждения опасной самоуверенности, иногда доходящей до мании. Кто не знает примеров, когда отдельные лица диктовали природе и обществу совсем произвольно и безответственно то, что им вздумалось, и заведомо не считали себя агностиками. Из двух этих вариантов «авторитарного гностицизма» много хуже.

Гексли и у Юма заметил то, что сейчас опускается даже новейшими учебниками философии, а именно — глубокую и острую антирелигиозную направленность. Право, полезно в целях пропаганды свободомыслия печатать многое из Юма, писавшего 300 лет назад.

Ближайшее интеллектуальное окружение Гексли составляли далеко не агностики: Тиндаль, Гукер, Грей. Обычно очень последовательный, хотя в других сферах нетерпеливый, Гексли взял лучшее от английской философии, чтобы пойти своей дорогой.

В книге дается тонкий и конкретный анализ влияния Лайеля на Дарвина не только в период подготовки «Происхождения видов», но на протяжении всей жизни Дарвина, причем фигура Лайеля при этом поднимается во весь рост, занимая место между Ламарком и Дарвином. Английский геолог сыграл большую роль в дарвиновской переоценке замечательных для своего времени взглядов Ламарка — истории естествознания часто пренебрегают влиянием Ламарка на Лайеля. Отдавая должное принципу исторического преоб-

разования Ламарка, Дарвин пишет, например: «господь, храни меня от ламарковской чепухи с «тенденцией» к прогрессу и т. п.»...

В конечном счете по радикальности Лайель уступает Дарвину, ни разу не упомянувшему о боге в первом издании «Происхождения видов». Лайель патетически просит в одном из писем ввести ссылку на бога, по-видимому для совмещения высокого научного полета с дипломатическим благочестием.

Отладим должное смелости Дарвина, который писал Лайелю о том, что «бог не более участвует в создании видов, чем в определении траектории планет», а в другом месте — что в его исследованиях «божество оказалось лишним», и особенно активной атеистической деятельности Гексли, способствовавшей широкому распространению атеизма.

Коллебуясь прочтут в книге Ирвина о том, что Дарвин в студенческие годы стал сомневаться (стр. 46); во время путешествия на корабле «Бигль», когда он уже делал первые шаги самостоятельных заключений в биологии, он ведет споры о религии и отказывается от многих ее положений, а несколько позднее он пишет: «Ветхий завет заслуживает доверия не больше, чем священные книги индусов»: «В атрибутах бога воплощены чувства мстительного тирана»: «В Новом завете субъективные интерпретации смешаны с метафорами и аллегориями». Наконец, он рассказывал в 1879 году Гальтону о своем пути от веры к атеизму: «Я собственным размышлением почти самостоятельно отказался от религии».

Кстати, на этот счет в русской литературе нет указаний, так как даже в своей «Автобиографии» Дарвин высказывается о вере не без уклончивости. Заслуга Ирвина — в сообщении многих неизвестных раньше данных из писем Дарвина и Гексли, где они обосновывают научный атеизм, но не мирятся с атеизмом вульгарным.

Пример теории пангенезиса, подготовляемой Дарвином так же долго, как теорию естественного отбора, но, к сожалению, не достигшей ее совершенства, несмотря на беспорочную необходимость материальной по-

доплеки теории естественного отбора, очень иллюстративен. В пангенезисе первая схема подмалювок современной генетики, и не удивительно, что Гексли — автор выдержавшей сотни изданий книги «Материальные основы жизни», по идее предшествующей «Материальной теории наследственности» Т. Моргана, — знакомится с пангенезисом прямо по письмам Дарвина и справедливо указывает на отдельные ее части, предвосхищенные Бюффоном, о чем Дарвин не знал. В конце концов Гексли говорит в ответ на вопрос Дарвина об опубликовании теории пангенезиса (которое потом последовало): «Я не хочу, чтобы потомство сказало, что старый осел Гексли мешал Дарвину опубликовать другое великое произведение».

Фактически Дарвин обогатил биологию двумя первоклассными по смыслу статистическими идеями: одной — в теории естественного отбора, где роль случайности очевидна, и другой — в своей теории наследственности — пангенезисе, принимающей существование массовых дискретных процессов; в конце концов не так уж важно, что эти дискретные процессы протекают в иных координатах, чем открытые в генетическом опыте на столетия позже. Весьма возможно, что дарвиновские оценки случайности и дискретности повлияли на некоторые естественные науки вне биологии.

Хотя Уоллес, соперник-друг Дарвина, независимо открывший закон естественного отбора, авторитетно поддерживал опубликование принципа пангенезиса и сравнил значение последнего со сменой геоцентрической концепции на гелиоцентрическую в астрономии, теория пангенезиса подвергалась нападкам с разных сторон и в целом не была справедливо оценена современниками. Дарвин, правда, не подвергался такому давлению, как более ранний создатель теории корпускулярной наследственности — Бюффон, вынужденный Сорбонной, несмотря на некоторые его маневры, к признанию ошибочности своей теории. Однако активное нераположение некоторых корреспондентов к идее материального аппарата наследственности в переписке

с Дарвином до ее опубликования и печатная критика многими сторонниками естественного отбора потом, — помешали ее развитию. Поэтому, вероятно, Дарвин не познакомился с работой Менделя о законах расщепления гибридов.

Важна, однако, обратная реакция чешского генетика на теорию пангенезиса. В 1965 году, во время симпозиума, посвященного столетию открытия Менделя, мне было разрешено познакомиться с книгами Дарвина из личной библиотеки Менделя. Я мог убедиться в том, что в «Происхождениях домашних животных и растений» обе большие главы, посвященные пангенезису, испещрены бесчисленными подчеркиваниями и пометками, сделанными рукой Менделя. Более детальное ознакомление с их характером, которое я затем осуществил со сделанных фотокопий, ясно показывает, что Мендель с большим сочувствием отнесся к высказанным Дарвином взглядам на материальность и дискретность наследственности и, возможно, не исключал в широком плане их согласование с законом расщепления гибридов.

Более того, подчеркнутые абзацы и пометки, сделанные рукой Менделя на принадлежавшем ему экземпляре «Происхождения видов», с которым он ознакомился до опубликования собственного трактата, а может быть, и до осуществления части экспериментов по скрещиванию, свидетельствует о чрезвычайном внимании Менделя ко всем высказываниям Дарвина, связанным с наследственностью в «Происхождении видов». Без преувеличения, Менделем были найдены все строки, посвященные генетической проблеме английским ученым. Это позволяет думать, что и в подготовляемом и в завершеном виде пангенезис стимулировал экспериментальные и теоретические исследования уже очень рано, и де Фриз, на которого влияние Дарвина общезвестно, далеко не был первым.

В связи с упреками, сделанными Дарвину, в трудах которого отсутствует примат мутационной концепции, как она выглядит в наше время, очень полезно познакомиться со взглядом Гексли, согласным на этот счет с Дар-

вином. По Гексли, это «прерывистый переход при сохранении целого», близкий к такому замещению в химической молекуле, при котором она сохраняет свое единство. Лагидарно этот механизм обозначен как „stansmutation without transition“ то есть мутации без «перерождения». Этот вывод освещает расхождение между дарвиновским и ламарковским представлениями о наследственном переходе, причем первое несравненно ближе к идеям современной генетики.

Дарвин гораздо меньше, чем Гексли, участвует в политической жизни, не откликается на войны, не реагирует на грубые личные нападки. Поэтому до сих пор оставались в тайне многие движения его души. Громадная переписка и заметки для себя, публикуемые в книге Ирвина, показывают, что Дарвин не только был сторонником освобождения негров и противником конфедератов; он также отвечал на многие другие события, происходившие за границей, и занял мужественную гражданскую позицию в ответ на расстрелы восставших негров губернатором английской колонии Ямайки. Здесь Дарвин выступил сразу против тори, деятелей англиканской церкви и поклонниц «героизма» колонизаторов. Среди его оппонентов был Карлейль, а Дарвин и Гексли (вместе с Лайелем и Миллем) не просто участвовали в Ямайском комитете, но внесли деньги для его деятельности. Из-за расхождения со сторонниками викторианского колониализма Дарвин, как и Гексли, разорвал не одну тесную дружбу.

По книге Ирвина можно проследить, какие связи, к сожалению, еще не раскрыты до конца, объединяют школу Дарвина с ведущими деятелями I Интернационала. Известно, что близким личным другом самых левых политических деятелей был Рей Ланкестер, профессор зоологии Лондонского университета, член Королевского общества. Рей Ланкестер был сначала учеником и ассистентом, а затем товарищем Гексли, а также Дарвина. Можно пожалеть о том, что пока ни у кого не хватает любознательности изучить личный архив и письма Рея Ланкестера.

Фигуры Дарвина и Гексли не идеализированы, Ирвин не скрывает, в чем убеждения их были ошибочны, в чем они оставались на среднем уровне викторианского времени. Гексли, как антрополог, делает некоторые ошибки в расовой проблеме, а по поводу участия своего американского племянника в войне на стороне конфедератов пишет сестре: «Головой я» «на стороне северян, но, сердцем с южанами». Он не свободен от предрассудков по вопросу о женском образовании, и от этого очень пострадала его дочери. У Дарвина в переписке иногда встречаются слишком резкие характеристики отдельных современников, которые совсем того не заслуживают, и т. д.

В становлении биологических идей Дарвина и Гексли сыграла большую роль суровая жизненная школа, которую они прошли в раннюю творческую пору жизни при длительных плаваниях по южным морям далеко друг от друга. Обстоятельства многолетних исследовательских путешествий того времени, с их опасностями, требовали большой самостоятельности и точности в решениях. Это, может быть, содействовало оригинальности обоих врачей-биологов и в их ответах на теоретические вопросы. Полученная зарядка оказалась настолько сильной, что Дарвин, как он говорит, «боялся еще ботаников», но не боялся богословов».

Зависимость между оригинальностью в суждениях и самостоятельностью заставляет задуматься: не мешают ли позднее приобретение последней подавляющим большинством ученых нашего времени — к возрасту на 10 или 20 лет старше Дарвина и Гексли в период их путешествий — формированию личности в науке и открытию собственных «стартовых площадок» исследования?

В книге Ирвина портретов немного, иконография не перегружена, карикатуры подобраны со вкусом.

Можно надеяться, что она будет стимулировать издание избранных научных философских и политических сочинений Гексли, который, кажется, не переведился на русский язык более 60 лет.

И. А. Рапопорт

## Смотреть и видеть

Владимир Солоухин, Письма из Русского музея. Издательство «Советская Россия». М., 1967. Тираж 100 000 экз., 131 стр.

Вышедшая недавно книга Владимира Солоухина «Письма из Русского музея» привлекла внимание читателей уже тем фактом, что известный прозаик и поэт заговорил об искусстве.

Книга посвящена в первую очередь путям развития русской живописи, ее прошлому и будущему, пересмотру эстетических оценок ее направлений и школ.

«Искусство нужно воспринимать дилетантски, так, как его воспринимает большинство людей, тех людей, для кого оно, собственно, и создается» (стр. 82). — справедливо говорит Солоухин. Но одно дело воспринимать искусство, другое — писать исторический обзор, делать широкие обобщения. И писатель это хорошо сознает. Пренебрегая элементарными законами эпистолярного жанра, он уснащает свои «Письма» обилием цитат из Кнута Гамсуна, Максима Горького, различных монографий о художниках. Создается впечатление, что «Письма» писались не из Русского музея и не из номера гостиницы «Европейская», а из библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

Прежде, чем перейти к главной теме разговора, надо сказать, что все мысли и чувства автора «Писем» о заботливом отношении к памятникам старого русского зодчества и его любовь к русскому народному искусству, которому посвящены несколько прекрасных страниц, я полностью разделяю.

Но с первых же страниц, посвященных живописи, осведомленность автора обнаруживает разительные пробелы. Автор начинает рассказывать о красоте



древних икон, но останавливается в испуге. Читатель его не поймет, так как «...мы совсем не репродуцируем древнюю русскую живопись». Даже Рублев, даже в то время, когда весь мир недавно отмечал его 600-летие, не нашел себе места хотя бы на одной открытке» (стр. 45).

Странно. Неужели В. Солоухину никогда не попадались книги или альбомы о Рублеве и древнерусской живописи, которых у нас за последние годы издано столько, что перечень их занял бы страницу? Или это просто литературный прием, примененный для того, чтобы заострить, актуализировать проблему, поднимаемую автором?

Разумеется, привлечь интерес читателей к древнерусской живописи никогда нелишне, но какими средствами это достигается? Вот, например, символический эпизод. Когда автор благоговейно созерцал икону «Ангел златые власы», он услышал за своей спиной возгласы неких молодых людей: «Ерунда, золотых волос не бывает», и еще в том же духе. Это навело его на грустные размышления:

«Вот придут эти двое в отдел передвижников, где не будет золотых волос и коротеньких ручек, и останутся довольны. Уж если нос — то красный от употребления водки, если рука — то вздувшийся синие жилы, если штаны — то бахрама по обветшалым краям» (стр. 70). Ну хорошо. «Эти двое» не воспринимают очарования древней иконописи. Но, казалось бы, при чем тут передвижники? Очень даже при чем. Икона, по Солоухину, — для понимающих истинное искусство, где «нет еще этих перемешиваний до того, что получается, будто разводишь в воде куриный помет с некоторой примесью сажи либо пачкаешь на пыльном полу растаявшим шоколадом» (стр. 71). Передвижники же — для профанов. Допустим, что это так, но тогда хотелось бы узнать: в чем же секрет древней живописи?

«Чаще всего мне думается, что древние мастера писали просто молитву, — объясняет Солоухин. — ...В этом-то и заключалась вся сила воздействия древней живописи. В этом-то и состоит то ее загадочное подчас нечто, что пытаются

разгадать искусствоведы всех стран» (стр. 71). Что в иконе выражено душевное состояние молящегося, было написано еще основоположником истории русского искусства как науки Федором Ивановичем Буславым сто лет назад и во всех серьезных книгах, вышедших в последние годы. Как видим, то, что «думается» автору «Писем» и что, по его мнению, лишь пытаются разгадать искусствоведы, давно уже разгадано и никем не оспаривается.

«Нам остается мерить их (иконописцев. — В. П.) искусство единственно возможной мерой: насколько успешно они воплотили в живопись то, что задумано было воплотить» (стр. 72). Золотые слова, хоть тоже давно известные. Недоумение вызывает только полное отсутствие логики в их применении к делу. Почему древняя икона мерится «единственно возможной мерой», а полотна других художников каким-то особым аршином?

О древних иконах мы узнаем еще, что «для всех школ характерно одно, и от этого нигуда не денешься: постепенное мелчание творческого духа, а с ним и живописи, если считать вершиной XIV и XV века» (стр. 78).

Стало быть, упадок живописи — следствие мелчания творческого духа. Не верится даже, что такое мог написать человек, так искренне ратовавший за бережное отношение к сокровищам древней русской архитектуры. Неужели Солоухин уверен, что храм Вознесения в Коломенском (1532 г.), собор Василия Блаженного (1555—1560 гг.), церковь Покрова в Филях (1693—1694 гг.) — примеры мелчания творческого духа по сравнению с храмами XV века, например Благовещенским собором в Кремле?

Разложение высокого стиля иконописи после XV века действительно происходило, но объясняется оно изменением миропонимания древнего художника: «стремление к небу», присущее, по мнению Солоухина, человеку «изначала», вытеснялось интересом к земной жизни. Об этом свидетельствует история древнерусской литературы, которую писатель почему-то счел нужным забыть. Может быть, и стиль Пушкина не

высокий, как у Ломоносова, но что это не подлинное искусство, я не согласен.

Возникновение светской живописи в России, по уверениям автора «Писем», имело сугубо материальные причины. Оказывается, олифа, которой покрывали икону, чернела через восемьдесят лет, и потому XVI век уже не знал XV века, а XVII век — XVI и к началу XVIII столетия «приходилось начинать на пустом месте. Всякая пустота, всякий, говоря современно, вакуум стремится втянуть, засосать в себя извне то, что ближе лежит... Да если бы даже не вакуум, то Петр все равно силой насадил бы западноевропейскую живопись. Так или иначе, на русский национальный

ствол, — говорит Солоухин, — были привиты привезенные из Парижа, Италии и Германии привои» (стр. 80—81).

Употребление слова «вакуум» не делает эти воззрения современными. Идея о насильственном насаждении у нас западноевропейской культуры и ее отрицательном влиянии на исконно русскую особенно яростно проповедовалась более ста лет назад славянофилами, объективные истории всех направлений давно от нее отказались. Что касается собственно живописи, то теория, составленная из олифы и вакуума, не соответствует фактам. Олифа действительно чернела, но XVI век не дождался, пока потемнеет XV, и не начинал все сначала. Сопоставление датированных икон и фресковых росписей (иконописцы обычно не подписывали свои произведения, они датируются по письменным источникам) показывает постепенное изменение

стиля. У каждого нового поколения были новые вкусы, хотя не почерневшие образцы стояли у них перед глазами. Кроме того, фрески никогда олифой не покрывали, они темнели от пыли и копоти. Их «подновляли», записывая темперой и маслом. Всякому, кто знает технологию стеновых росписей, известно, что записывать настоящую фреску (живопись по сырой штукатурке водными красками) без предварительной подготовки нельзя. Прежде всего стену нужно очистить от слоя грязи. Таким образом, живописцы XVIII века видели, что творят, и писа-

ли «по живой красоте» потому, что не понимали ее и не ценили. Сильнейственно насаждать западноевропейскую живопись Петру I не было необходимости, так как она, если подразумевать под этим термином реализм восприятия природы, к тому времени сформировалась в России. Иван Никитин, которого Солоухин зачислил в окружение Рокотова, годился последнему в дедушки, и уже в 1716 году, когда поехал за границу совершенствоваться, Петр очень гордился перед иностранцами государями тем, «что есть и из нашего народа добрые мастера».

Пропустив многогранное похвальное слово великим портретистам и биографию А. Г. Венецианова, знакомые из обыкновенных путеводителей, обращаю внимание на собственные оценки В. Солоухина. Венецианов, оказывается, в тридцатые годы своротил с истинного пути и — «из песни слова не выкинешь» — повинен в том, что положил начало бытовому жанру. «Литература и чаще всего фельетон (самое заманчивое и легкое чтение) начали главенствовать во всякой картине настолько, что подчас забывали о том, что должна быть еще и живопись, и совсем примирились с отсутствием того, что называется словом «дух». Завбавное положение, смешной случай, в лучшем случае трогательная сценка — вот и пиши картину. Хорошим тоном сделалось все бранить, над всем подсмеиваться и плохим тоном стало что-либо утверждать, а тем более (боже сохрани!) возводить в идеал. Жанр сделался той средой, которая диктовала и предписывала очень часто помимо сознания и воли художника. Воля нужна была для другого, а именно для того, чтобы вырваться и преодолеть» (стр. 95—96).

По мнению Солоухина, все преодолел героическим усилием воли Нестеров и «его религиозный романтизм». «А ведь все началось с обыкновенного перовского жанра. Есть над чем подумать всякому художнику во всякие времена» (стр. 99). Попробуем подумать как над словами Солоухина, так и над тем, что писал о Перове и жанре сам М. В. Нестеров.

«Переживая лучшие свои создания сердцем, он не

мог не волновать... И Перов почтительно, своим талантом, горячим сердцем достигал неотразимого впечатления, давал то, что позднее давал великодушный живописец Суриков в своих исторических драмах. ...Все «бытовое» в его картинах было необходимой ему внешней, возможно, реальной оболочкой «внутренней» драмы, кроющейся в недрах, в глубинах изображаемого «быта». Великий живописец Нестеров прекрасно сознает свое превосходство над бывшим учителем, но он мерит его искусство «единственно возможной мерой» и до старости хранит искреннее уважение к «его глубокой, безысходной скорби», пусть и выраженной «старомодными красками». Не такой уж он обыкновенный — этот «перовский жанр»...

Среди противников жанровой живописи находился, по мнению Солоухина, и Виктор Михайлович Васнецов, у которого «был в биографии переломный момент, когда с не своей, ложной для него дороги — жанра — он резко своротил в область эпоса и сказки, где и нашел свое подлинное лицо, где и стал художником Васнецовым» (стр. 13). Стало быть, Васнецов-жанрист — не художник.

Не уважает Солоухин «титана кисти» Васнецова, коли не нашел время прочитать: «Противоположения жанра и истории в душе моей никогда не было, а стало быть, и перелома или какой-либо переходной борьбы во мне не происходило», «я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах, статуях... в сказке, песне, бытине, драме сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим».

Как видите, внутренний облик народа выражается и в жанровых картинах и в драме на современную тему. Так думал сам Васнецов, а Солоухин изображает какого-то вымышленного художника, насильственно переломленного пополам.

Что касается живописи в профессиональном смысле, то Солоухин об этом пишет так: «Когда рассказывают про целую эпоху негодными живописными средствами — плохо, то есть даже ноль, если живопись — без живописи, какая бы эпоха ни

была. Когда рассказывают про селедку прекрасными живописными средствами — хорошо. Допустим даже, что прекрасно, ибо живопись должна быть живописью и ничем иным» (стр. 113).

Разумеется, живопись должна быть живописью, а литература литературой. Кто спорит об этом с Солоухиным? Оказывается... сам Солоухин. Презируя жанристов за литературность их картин, Солоухин восхищается только литературной стороной васнецовских сюжетов, предвзительно оговарившись: «Признаться ли вам, что я трезво смотрю на чисто живописные достоинства картин этого удивительного человека?» (стр. 100). И после длинных рассуждений пытается нас убедить в истинности кем-то брошенного афоризма: «Может быть, все картины Васнецова со временем умрут, но не умрет Васнецов» (стр. 100). «Национальный дух» его, оказывается, так силен, что все может превозмочь. Значит, можно быть великим художником и без живописных достоинств и даже без картин.

Уже не предвзятость, а полное равнодушие к живописи как искусству, проявляет Солоухин при описании картины Поленова «Христос и грешница». Собственно, никакого рассказа о картине, кроме пренебрежительной фразы, что она «не бог весть что с живописной точки зрения», нет. Зато на двух страницах пересказывается евангельский эпизод, послуживший сюжетом для поленовской картины, учение Христа о любви и вопрошание и морализирование на тему «не осуждай блудницу, сам блудней». Но этого на картине-то нет!

Так же поступает автор «Писем» и с картиной Н. Н. Ге «Гайная вечеря». Сообщив, что современная художнику критика упрекала его за бытовизм трактовки сюжета (подразумевается Ф. М. Достоевский), он пишет: «Но из картины явствует, что Иуда ушел не ради тридцати серебряных монет, не из мелкой и жал-

<sup>1</sup> М. В. Нестеров, Давние дни. М., 1959, стр. 41.

<sup>2</sup> Цит. по книге В. Лобанова Дом-музей художника В. М. Васнецова. М., 1957, стр. 28.

кой корысти, но — принципиально» (стр. 120). Принципиальность столкновения Солоухин видит в том, что Христос проповедовал подставлять правую ладуну, когда ударяют по левой, а мужественный Иуда считал, что занесенную на тебя руку надо успеть откусить.

Художник, однако, хотел выразить в картине нечто иное, так как лицо Христа написано им с дагерротипного портрета А. И. Герцена, который, как известно, противилемцем не был. Из рассуждений Солоухина яствует, что он картину смотрел невнимательно, но зато читал книги Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса» и «Апостолы». Замысловатое отсюда истолкование причин предательства Иуды к произведению Н. Н. Ге никакого отношения не имеет.

Наконец, в тринадцатом письме Солоухин подводит итоги. Как надо писать об искусстве?

«Вот вам две крайности: мимолетный взгляд и перечень имен или доскональное профессиональное изучение. По первому пути я пойти не мог, потому что слишком многое и слишком сильно люблю в искусстве. Второй путь не подходит для меня по той причине, что я в живописи вовсе не разбираюсь. Но все же я живой человек и что-нибудь да вижу, что-нибудь да чувствую, стоя перед картиной. Пусть то, что я вижу и чувствую, ужасно с точки зрения специалиста, пусть это проявление слепоты и невежества, пусть. Не для одних специалистов пишутся произведения искусства» (стр. 127).

Если бы поэт В. Солоухин писал о том, что он видит и чувствует, стоя перед картиной! Ей-богу, специалисты были бы ему за это только благодарны. Но смотреть и видеть — это, по словам Александра Блока, вещи разные и редко совпадающие.

Живопись Солоухин любит не бескорыстно, а чисто утилитарно, как иллюстрацию к разговору на заданную тему.

В том-то и беда, что «Письма из Русского музея» писал не поэт Владимир Солоухин, который — мы это знаем по другим его произведениям — умеет видеть и чувствовать, а ослепленный предвзятостью проповедник, обложившийся устарев-

шими и часто случайно подобранными монографиями.

Увидеть в древних иконах только молитву, значит не увидеть ровным счетом ничего. Молился Андрей Рублев, молился, и очень пламенно, Боровиковский и тоже писал иконы, а получались портреты натурщи в молитвенной позе. Молитва? Да, но молитва человека. Если смотреть на иконы не с намерением бросить в передвижников куринным навозом, а просто и непосредственно, нельзя не увидеть, что это часто тоже литература и даже очень занимательная, хотя и богословская. Посмотрите, например, «Шестоднев» и «Митрополита Алексея» Дионисия в Третьяковской галерее. Да и сама «Троица» Рублева. И все же это живопись прежде всего.

В свое время под предлогом борьбы за правдивое, понятное народу искусство требовали максимального правдоподобия и удобопонятной формы. Тогда и возвели на недостижимый пьедестал скромных передвижников и объявили их образцом для подражания на вечные времена. Тогда же приучали в искусстве прошлого выискивать сходство с реализмом второй половины XIX века: достоинство Рублева находили в национально-крестьянских типах ликов святых, Нестерова — только в портретах тридцатых годов, у Врубеля и Константина Коровина не находили ничего, кроме таланта, заблудившегося в дедрах антиобщественно-

го декадентства и импрессионизма.

Догмы отменили, но образ мышления остался. Образовавшийся в голове и сердце «вакуум» некоторые стремятся поскорее заполнить другими догмами, отличными от старых только тем, что они вывернуты наизнанку. На живопись надо смотреть «и просто и мудро, как дети» (Блок). А чтобы искать законы ее развития, нужны знание фактов, бескорыстие анализа, логика выводов, а не полужанья, прикрытые простячеством и самомнением. «В несчастном и безотрадном положении — писал в свое время А. И. Герцен, — находятся люди, попавшие в промежуток между естественной простотой масс и разумной простотой науки». «Они до того поверхностны, что им

кажется все ужасно легким, на всякий вопрос они знают разрешение <...>. У них свой алькоран, они верят в него и цитируют места как последнее доказательство». «Нужно решить раз и навсегда, — требует Солоухин, — к волнующей выразительности или к занимательному правдоподобию должно стремиться высокое подлинное искусство» (стр. 79). И он «раз и навсегда» втискивает русскую живопись в очень простую и прямолинейную схему.

У могучего многоветвистого и вечнозеленого родословного древа русского искусства он обшипал крону и пообрубал многие сучья; остался голый ствол, на котором торчат кое-где почернелые отростки сектантского «духа».

Сейчас постепенно встают на свое заслуженное место и романтик Врубель, и реалист Перов, и мудрый философ Рублев, и искатель новых путей Симон Ушаков — все они гранили алмаз, называемый русским искусством, одна грань ярче и больше, другая — поскромнее. Кому какая сторона сотворенного ими бриллианта ближе — в ту и смотри. Если же колотить по нему сектантской кувалдой, бриллиант разобьется, а осколки годятся только для инструмента стекольщика, все равно казенная на нем униформа или овчинный полушубок.

Не надо этого делать.

**В. Познанский**

<sup>1</sup> А. И. Герцен, Собр. соч., т. III, стр. 9.

<sup>2</sup> Там же, стр. 8.

И. В. Шауров

## В годы реакции

С начала 1908 года стало очевидным, что революционное движение в России пошло на убыль. Председатель совета министров Столыпин заявил, что до конца искоренит революцию в России. Он считал, что ему путем жестокого террора удастся удушить борьбу русского народа за свободу. Характерным показателем этой политики является следующий эпизод. Известный в то время депутат Государственной думы от партии кадетов А. И. Шингарев обратился к Столыпину с просьбой о помиловании 5 или 6 воронежских крестьян, приговоренных военно-окружным судом к смертной казни за участие в аграрном движении. Столыпин ему ответил: «Эх, Андрей Иванович! Вы сами не знаете, за кого вы просите. Дай им свободу, и они разорвут на части и меня, и вас, и всякого, кто в пиджаке. Единственный способ их удержать — это страх».

Петербургский комитет РСДРП, членом которого я тогда состоял, прилагал все усилия к продолжению массовой пропагандистской и организационной работы. Владимир Ильич Ленин говорил нам, что теперь именно в Петербурге должно чувствоваться, что мы по-прежнему являемся руководителями и вдохновителями всей борьбы рабочего класса, и потому в первую

Автор этих коротких воспоминаний Иван Васильевич Шауров человек уже не молодой. Ему исполнился 81 год. Он родился в Воронеже, где началась его революционная деятельность. Семья И. В. Шаурова принадлежала к среде прогрессивной интеллигенции, проникнутой передовыми идеями. Поэтому не удивительно, что еще в гимназии, в 1904 году, Иван Васильевич вступил в РСДРП.

И. В. Шауров — один из деятелей большевистского подполья, участник революции 1905—1907 годов. Ему довелось встречаться с В. И. Лениным. Он был в числе делегатов Лондонского съезда РСДРП в 1907 году. До этого был делегатом и членом Президиума 1-й Конференции военных и боевых организаций РСДРП в 1906 году в Таммерфорсе. Работал продолжительное время в подпольных организациях РСДРП в Воронеже и Петербурге.

Память И. В. Шаурова сохранила многие события, факты и образы революционных борцов тех дней. В 1965 году издательством «Мысль» издана книга его воспоминаний «1905 год». Он работает сейчас над книгой воспоминаний, относящихся к периоду 1908—1917 годов, отрывок из которой мы публикуем.

очередь именно сюда следует бросить имеющиеся у нас силы.

Весной начались жестокие репрессии. Стало очевидно, что охранка лишь поджидает удобного момента для ареста всего комитета РСДРП. Члены Центрального Комитета, состоявшие также членами Петербургского комитета, вынуждены были выехать за границу.

В июне я уехал из Петербурга в Воронеж, а через некоторое время в Турцию.

Летом 1908 года в Турции возникло революционное движение, начавшееся в армии, стоявшей у границ, на Балканском полуострове, а затем охватившее всю страну. Руководители движения не стремились к глубоким социальным преобразованиям. Их целью было ограничение власти султана конституционным законодательством. Этой цели они достигли: султан, поняв всю безнадежность своего положения и опасаясь более радикальных перемен, согласился на предъявленные ему условия.

Меня всегда интересовал Восток, и в частности Турция. Мне казалось, что революционные события в ней создадут условия, при которых можно будет использовать турецкие границы России в революционных целях, то есть для переброски оружия и литературы. Русско-турецкая гра-

ница в районе Черного моря никогда не была прочной, и контрабанда там процветала. Мне лично приходилось в этом районе иметь связи с контрабандистами.

После подпольной работы летом 1908 года в Воронеже я приехал в Петербург, где встретился с членом Петербургского комитета РСДРП, хорошо мне известной по совместной работе Верой Слуцкой. Она заинтересовалась проблемой возможности использования турецких границ и считала, что для партии весьма важно иметь свою информацию о турецких событиях. Она предложила мне обсудить этот вопрос с товарищем Демьяном, который в это время являлся представителем Центрального Комитета РСДРП в России и находился в Петербурге. Мы встретились и совместно обсудили этот вопрос. Так как, по данным тов. Демьяна, Центральный Комитет не имел связей с Турцией, но, конечно, интересовался информацией оттуда, то было решено, что я немедленно поеду туда и буду посылать информации в Женеву по данному мне адресу. При этом было учтено и то обстоятельство, что секретарем русского посольства в Константинополе был друг моего брата Н. Н. Ген И я мог рассчитывать на теплый прием и даже помощь с его стороны. Н. Н. Ген знал о моем образе мыслей и о моей революционной деятельности, но это не нарушало наших добрых отношений.

Приехав в Константинополь, я поселился в верхней части города — Пере.

Естественно, что я не стал объяснять Н. Н. Гену истинную причину своего приезда. Он же, зная о моей любви к Востоку, ничего не заподозрил. Н. Н. Ген интересно и подробно рассказывал о жизни страны, о последних революционных событиях, о руководящих деятелях восстания, о том, что тревожило все посольства в Турции и особенно русское.

За время моего пребывания в Константинополе я познакомился с самыми разными людьми из многих слоев общества, что помогло лучше ориентироваться в событиях. Одним из моих знакомых был Ибрагим Седек, педагог, человек высокой культуры. Мы с ним часто бродили по городу, оживленно беседуя. Седек много бывал в странах Западной Европы, интересовался политикой, экономикой и многое знал о русской революции. Он казался мне пожилым человеком, хотя ему, вероятно, было не более пятидесяти лет. Он стремился к широким социальным реформам, к полной демократизации Турции, хотя слабо верил

в возможность осуществления глубоких социальных преобразований.

Седек говорил, что русская революция 1905 года дала толчок турецкому революционному движению, «мы последовали вашему примеру». Так, впрочем, полагали и многие другие из моих турецких знакомых.

Седек активно участвовал в подготовке турецкой революции и был близко связан с видными ее деятелями. Он познакомил меня с некоторыми офицерами, членами революционной организации младотурок, и с ним я даже заходил в помещение комитета «Единение и прогресс» — руководящего органа революционного движения Турции.

Как для России, так и для других европейских государств переворот в Турции оказался неожиданным. Было известно, что в Турции возникло общественное движение против абсолютизма, против бюрократии и казнокрадства, но во что это движение могло вылиться, никто толком не знал. Никто не знал, что к началу восстания 1908 года существовала уже могучая офицерская организация младотурок, называвшаяся «Единение и прогресс»; что организация эта была конспиративной. Даже в самой Турции до начала восстания немногим были известны имена руководителей движения.

Организация «Единение и прогресс» возникла в девятых годах. Основателями ее были прогрессивные и образованные офицеры. Они скрывали от солдатских масс существование своей организации, но вместе с тем вели среди них политическую агитацию и воспитательную работу. Популярность младотурок росла с каждым годом.

Восстание вспыхнуло во второй половине июля 1908 года, и во главе его встали два офицера — Ниязи-бей и Энвер-бей. Солдаты стали на сторону восставших. Войска, отправленные на подавление мятежа, присоединились к восстанию. Восставшие требовали ограничения султанской власти конституцией, причем полномочным органом государственного управления должен был стать сенат, две трети которого избирались народом, а одна треть назначалась султаном. И, как я уже говорил, султан сделал вид, что поступает

Уличное шествие в Стамбуле.



так добровольно, объявил в Турции конституцию и публично заявил о своих добрых чувствах к «Единению и прогрессу». Младотурки не посягали на жизнь султана, боясь народного возмущения, так как авторитет его в стране был высок и народ смотрел на него не только как на светского государя, но и как на религиозного вождя. Но, создав новое правительство, комитет «Единения и прогресса» фактически свел власть султана к нулю.

Конечно, происшедшее в Турции не могло бы произойти в России, так как в каждой стране есть специфические особенности. Наблюдая за турецкими событиями, я пытался извлечь из них пользу для нашей революционной практики. Я не упускал случая поговорить с простыми людьми Константинополя. Однако никто из моих собеседников не высказывал сколько-нибудь точно сформулированных требований. У них не было ни политической программы, ни нужной организованности, чтобы успешно завершить революцию.

Несколько раз мне довелось быть свидетелем уличных демонстраций. Демонстранты сочувствовали младотуркам и протестовали против попыток Австро-Венгрии и Болгарии вмешаться во внутренние дела страны. В это время Австро-Венгрия объявила об аннексии Боснии и Герцеговины, двух областей Турции в северной части Балканского полуострова, а Болгария, считавшаяся автономным княжеством, объявила себя самостоятельным королевством. И это не могло не вызвать протеста в Турции. Демонстрации перешли в настолько бурные волнения, что в Европе стали опасаться войны.

От Н. Н. Гена я узнал, что в Константинополе существует общество «Кауказия», ставившее своей целью присоединение Кавказа к Турции. Н. Н. Ген охарактеризовал это общество как крайне реакционное и националистическое. Во главе «Кауказии» стоял директор одной из константинопольских газет Мурад-бей. Движимый любопытством, я познакомился и с ним. Он долго и убежденно говорил со мною, но все его довольно своеобразные высказывания, пропитанные исламистским духом, были далеки от жизни. Я вежливо распрощался с Мурад-беем и ушел с мыслями о том, как могут быть далеки от жизни люди, берущие на себя смелость выступать в роли активных политических руководителей.

Мне очень хотелось встретиться и поговорить с главным героем турецкой револю-

ции, с героем константинопольской толпы Энвер-беем. Однако добиться свидания с ним мне не удалось. Несколько раз я видел Энвер-бея на улице и в кафе «Люксембург» на Гранд Рю де Пера, которое в то время представляло собою своеобразный политический клуб, куда он приходил, окруженный толпой поклонников. Этот человек, вскоре ставший фактическим властелином Турции, оказался ее злым гением. Он отдал свою страну в руки Германии, поднял ее на войну с Россией и бесславно окончил жизнь во главе шайки басмачей в Средней Азии.

Наряду с партией «Единение и прогресс» существовала и другая политическая организация во главе с принцем Саббахэдином. Эта партия также выступала за конституцию и свободу. Требования Энвер-бея и Саббахэдина, по существу, были одинаковы. Обе партии не имели четливой классовой программы и защищали, в сущности, интересы мелкой буржуазии. Разница между ними заключалась в том, что младотурки стремились к централизованному государственному началу, а сторонники принца Саббахэдина — к максимальной личной свободе. Вражды между этими партиями не было.

Установив, что я располагаю достаточным материалом по интересовавшему Центральный Комитет вопросу, я написал в Женеву Центральному Комитету подробное письмо, в котором изложил положение в Турции, а затем еще два письма с подробной информацией, в которых сообщил, что не вижу реальной возможности для транспортировки через турецкую границу нелегальной литературы в данное время, и в конце ноября покинул Турцию.

Я возвратился прямо в Воронеж, где к этому времени оживилась революционная деятельность. Было организовано легальное чтение лекций для рабочих по социальным наукам при Обществе народных университетов. Я решил принять участие в этой работе и прочитать на курсах цикл лекций по государственному праву. Однако губернатор Голиков запретил мои выступления, предупредив, что в случае нарушения вообще закроет всю эту просветительную деятельность общества.

В течение довольно долгого времени мы никак не могли установить связь с Московским областным бюро РСДРП. Но вот, насколько я помню, в начале весны 1909 года к нам в Воронеж приехал товарищ Никита (Б. С. Розенберг), с кото-

рым я раньше был близко знаком. Этот опытный подпольный работник, начавший свою революционную деятельность с 1900 года, связал нас с Москвой через О. Н. Басовскую. Эта связь продержалась почти год, до нового провала в Москве.

28 февраля 1910 года у меня дома был произведен обыск Воронежским жандармским управлением по указанию Московского охранного отделения. Вахмистр, руководивший обыском, держал себя так, как будто заранее хотел подчеркнуть бесполезность всего происходящего. Найдя у меня револьвер, он даже не спросил на него официального разрешения. Когда же я сказал ему, что у моего отца есть разрешение на этот револьвер, он с хитрой улыбкой ответил: «Да. Я знаю, что вы социал-демократ, и если у вас только один револьвер, то это не важно». Через день меня вызвали на допрос. Я понял, что охранка напала на наши связи с Москвой. К счастью, никаких документальных доказательств у полиции не имелось, и после допроса меня оставили в покое.

В эти дни в Воронеже находился штаб 5-го корпуса и входившие в его состав Смоленский и Могилевский пехотные полки, Ново-Архангельский и Ново-Миргородский кавалерийские полки. Весь состав воронежского гарнизона был полностью сменин, и установить новые связи с армией оказалось чрезвычайно трудно. Открытая широкая пропаганда среди солдат по условиям того времени стала невозможной.

Для работы в армии я использовал другую возможность и стал завязывать знакомства с молодыми офицерами гарнизона. Это удавалось мне с легкостью. Разговаривая с ними о политике, я понял, что новое поколение военных неплохо разбирается в современной политической ситуации. Я увидел, что молодым офицерам чуждо слепое верноподданничество, они по-настоящему любят свой народ и стремятся к прогрессивным преобразованиям.

Я часто встречался в то время в студенческой компании со своим знакомым, поручиком Ново-Архангельского полка, полковым адъютантом Шукевичем. Время там проходило за бутылкой вина и в беседах на политические темы. Когда я подал заявление о зачислении меня в полк вольноопределяющимся для отбытия воинской повинности, Шукевич, отлично зная о моих

политических взглядах и о моем участии в революционном движении, сознательно рекомендовал меня своему начальству. Меня зачислили в полк, не ожидая ответа на посланные обо мне запросы, только по одной рекомендации Шукевича. Через несколько дней от воронежского губернатора пришел ответ самого убийственного содержания, где даже что-то говорилось о моей близости к военно-боевому центру и о моей полной политической неблагонадежности. Помощник командира полка вызвал меня к себе и в ужасе, дрожащими руками возвращая мои документы, сказал: «Ну, батенька, и подвели же вы нас! Удивляюсь, как вас еще не повесили. Забирайте ваши документы и, ради бога, никому не говорите, что мы вас зачисляли в полк». Так, можно сказать, печально окончилась моя военная карьера.

Расскажу еще случай с другим офицером, Эмериком, человеком свободомыслящим и внутренне подготовленным принять революцию. Однажды к Эмерику с доносом на солдата-пропагандиста пришел подчиненный ему вахмистр и сообщил, что собирается подать на этого солдата рапорт начальству. Ситуация оказалась сложной. Но Эмерик нашел выход из положения и ответил приблизительно так: «Да, ты прав. Мы должны бороться с революцией. Но также в наши обязанности входит бороться и с воровством, с расхищением государственной собственности, солдатского питания». Вахмистр был нечист на руку, и в данном случае это пришлось к стати. «Так, хорошо, — продолжал Эмерик, — значит, ты подавай рапорт о том, что известно тебе, а я подам, что известно мне». Вахмистр сообразил, что дела его плохи. С тех пор он уже более не заикался о своих доносах.

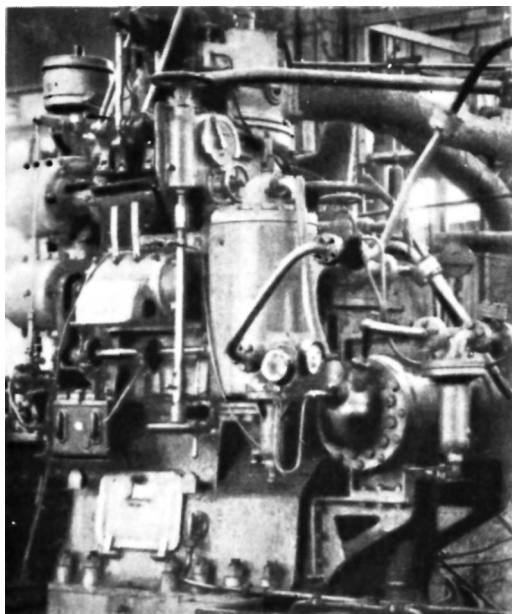
Было очевидно, что к 1910 году сознательная революционность в военной среде значительно повысилась в сравнении с 1905 годом.

Заканчивая свои короткие воспоминания о годах наибольшего затишья революционного движения в России, я хочу сказать, что наблюдавший тогда спад вовсе не означал отказа от борьбы. Это были годы мрачных сумерек, но первые признаки нового рассвета уже тогда чувствовались во всем происходящем. И самое главное, что все мы твердо верили в успех нашего дела.



П. А. Шелест

## Рождение изобретения



В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма хранится блокнот с короткими записями В. И. Ленина. На одной из страниц читаем:

«Шелест  
(изобретатель тепловоза)  
(работа на просмотре акад. Лазарева)»<sup>1</sup>.

Петр Петрович Лазарев — один из крупнейших ученых, с первых же дней революции активно сотрудничавший в советских учреждениях. Он работал в Комитете по делам изобретений ВСНХ, и поэтому не удивительно, что именно его мнение хотел знать Ильич об изобретении неизвестного ему инженера А. Н. Шелеста.

Кто же такой этот инженер, какова судьба его изобретения?

Рабочий в депо Конотопа, ученик железнодорожного училища, техник, техник-конструктор, заведующий техническим отделом Люберецкого (крупнейшего по тем временам) транспортного завода — таков нелегкий путь в науку сына отставного николаевского солдата.

В 30 лет Шелест сдал экстерном экзамены за среднюю школу и поступил в Московское высшее техническое училище.



Жизнь его к этому времени была уже навсегда связана с железнодорожным транспортом.

Единственным локомотивом на железных дорогах в то время был паровоз. Господствовавший на стальных магистралях уже почти сто лет и постоянно совершенствуемый, паровоз к тому времени был почти доведен до предела своих возможностей.

Инженеры мечтали создать новую машину, основанную на более прогрессивном принципе.

За решение такой задачи взялся и сту-

<sup>1</sup> ЦПА ИМЛ, фонд 2, опись 1, ед. хр. 27717. Опубликована в журнале «Изобретатель и рационализатор», № 6, 1968.

дент Алексей Нестерович Шелест. Он сконструировал локомотив, вобравший в себя все лучшие качества паровоза, но не с паровым, а с дизельным двигателем. Свой проект Шелест защитил в МВТУ в качестве диплома. Руководитель дипломанта профессор Василий Игнатьевич Гринецкий в своем отзыве написал:

«С осени 1913 года Алексей Нестерович Шелест приступил к специальному проекту, выбрав тепловоз, то есть локомотив большой мощности с двигателем внутреннего сгорания...



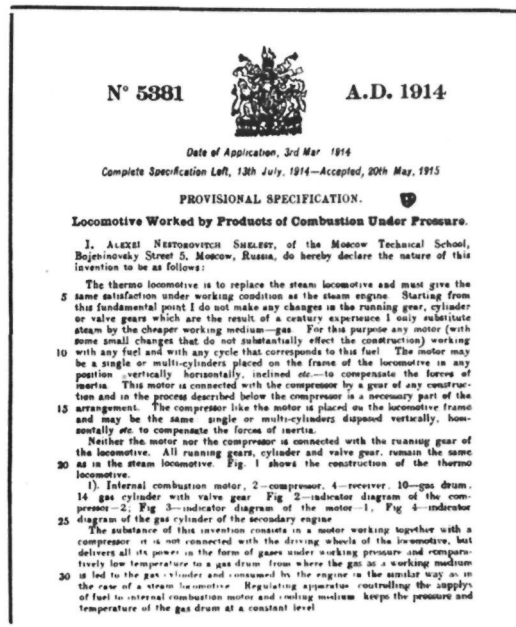
На свое изобретение Алексей Нестерович Шелест заявил, по совету руководителя, привилегии в России и Англии и получил их почти без возражений, что подтверждает новизну его идеи. Разработанный им тепловоз и почти полный его проект имеет все данные для практического осуществления этой труднейшей задачи, над которой бесплодно бились до сих пор крупнейшие технические силы Запада...

Эта работа характеризует Алексея Нестеровича Шелеста как весьма крупную техническую силу, как инженера вполне зрелого и способного к исключительно оригинальной и в то же время научно вполне продуманной и конструктивно совершенно самостоятельной технической

работе. Работа Алексея Нестеровича обратила на себя серьезное внимание в железнодорожных кругах и имеет серьезные шансы на практическое осуществление».

Алексей Нестерович добивается в министерстве путей сообщения средств на практическую реализацию изобретения. Однако империалистическая война и начавшаяся вслед за ней революция, казалось, надолго откладывали изготовление тепловоза...

С весны 1918 года началось строительство советского народного хозяйства.



«Без новейшей техники, без новых научных открытий мы коммунизм не построим. Одна хорошо работающая лаборатория важнее десятка наших советских учреждений»<sup>2</sup>, — говорил Владимир Ильич Ленин.

При содействии Владимира Ильича в тяжелых условиях 1918 года создается ряд крупнейших научно-исследовательских институтов, и в числе их Экспериментальный институт путей сообщения.

Алексей Нестерович становится одним из организаторов института и возглавляет в нем отдел теплотехники и силовых установок.

<sup>2</sup> «В. И. Ленин во главе великого строительства». Госполитиздат. 1960, стр. 176.

1919 год. Государства Антанты бросили крупные военные силы против молодого Советского государства. Весной армия Колчака дошла из Сибири до Волги.

В эти дни особенно тяжелым было положение с транспортом.

«Транспорт в опасности!», «Все силы на борьбу с топливным кризисом!» — такими заголовками пестрели газеты молодой республики.

«Раз нет каменного угля, надо топить паровозы торфом», — решает Алексей Нестерович. Переоборудовав паровоз для работы на торфе, он на Савеловской железной дороге ставит опыты. Опыты дают положительный результат, и Шелест разрабатывает инструкцию по отоплению паровозов торфом. Инструкцию срочно издают и рассылают по железным дорогам. Она становится и первым научным трудом нового Экспериментального института путей сообщения...

После разгрома Колчака и Деникина страна получила передышку. В январе 1920 года Англия, Франция и Италия вынуждены были прекратить блокаду Советской России.

Но железнодорожный транспорт оставался в катастрофическом состоянии. Если в начале 1919 года лозунг «Транспорт в опасности!» означал нехватку топлива, то весной 1920 года главным стал вопрос о вышедших из строя паровозах.

Владимир Ильич Ленин призывал партию, рабочих и крестьян направить всю энергию «на восстановление хозяйства страны, в первую очередь — восстановление транспорта, и во вторую очередь на восстановление продовольственного положения»<sup>3</sup>.

По настоянию Владимира Ильича Совнарком принимает решение заказать для советских железных дорог паровозы за границей<sup>4</sup>.

В марте 1920 года Ленин направляет за границу правительственную комиссию во главе с народным комиссаром внешней торговли Леонидом Борисовичем Красиным<sup>5</sup>. В Стокгольме и Копенгагене комиссия начала переговоры о постройке 1000 паровозов для России. Одновременно обсуждался вопрос о закупке 2000 паровозов в Германии. Заключив договор со шведской фирмой «Нидквист и Гольм», Леонид Борисович Красин телеграфировал в Москву о необходимости прислать специалистов для приемки паровозов.

В состав русской железнодорожной миссии вошел и Алексей Нестерович Шелест.

Перед отъездом из Москвы ему были отпущены специальные средства для оформления патентов на тепловоз за границей и на научно-техническую пропаганду нового локомотива.

В Ревеле возникло непредвиденное затруднение: шведский консул категорически отказался визировать паспорта членов миссии, заявив, что не имеет никаких инструкций от своего правительства, хотя нарком иностранных дел Г. В. Чичерин заблаговременно известил министерство иностранных дел Швеции о выезде миссии.

Через полторы недели шведский консул сообщил, что миссия получит въездные визы только после того, как арестованная в Сибири шведская подданная Эльза Брандстрем прибудет в Нарву.

В Москву была послана телеграмма с описанием событий. Ответ получили неутешительный: ждать в Ревеле до выяснения обстоятельств.

Наконец из Москвы сообщили, что Эльза Брандстрем не была арестована, а благополучно выехала из России в Германию. Представив соответствующие справки, миссия, наконец, прибыла в Швецию.

Первые заказы, сделанные русской железнодорожной миссией за границей, требовалось оплатить. Положение в России было тревожное: в марте 1921 года в Кронштадте вспыхнул мятеж. Газеты Берлина и Стокгольма писали, что Тверь и Тосно захвачены восставшими, Москва вот-вот падет.

— Заплатят ли большевики?

Этот вопрос интересовал всех. На определенные часы был откуплен телеграфный провод с Ревелем.

— Поезд с золотом вышел из Москвы.

— Прошел Тверь.

— Вышел из Бологого.

— Прибыл в Нарву.

Большевики заплатили на три дня раньше срока!

Всему миру было показано, что сотрудничать с Советской Россией можно.

Несмотря на напряженную работу в железнодорожной миссии, Алексей Нестеро-

<sup>3</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 128.

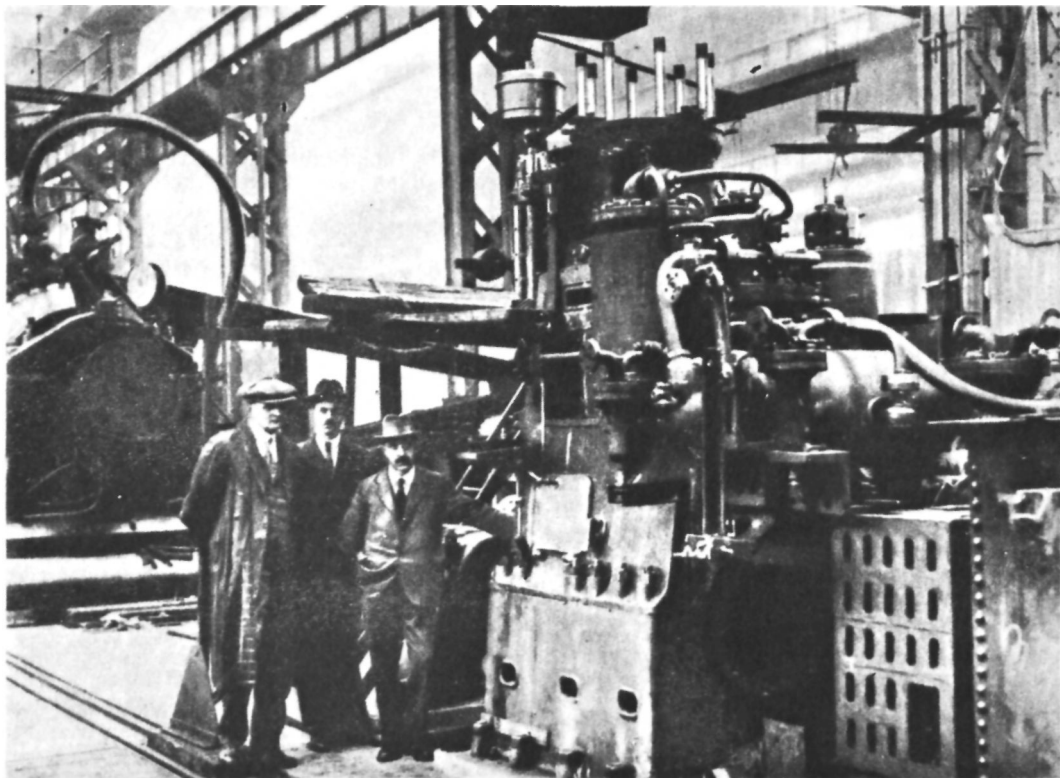
<sup>4</sup> «Встречи с Лениным. Воспоминания железнодорожников». Трансжелдориздат, 1958, стр. 166—209.

<sup>5</sup> «Воспоминания о В. И. Ленине», т. 2. М., 1957, стр. 679—686.

вич упорно совершенствовал свой тепловоз. Одновременно он изобрел другой локомотив — газотурбовоз. На новые изобретения он получает патенты в Англии, Франции, Бельгии, Швейцарии и Эстонии. Что же строить — газотурбовоз или теп-

писал изобретателю другой профессор, основоположник технической термодинамики Вильгельм Шюле.

В немецком журнале «Глазерс аннален» появилась статья о книге А. Н. Шелеста «Проблемы экономичных локомотивов»:



ловоз? Ученый делает расчеты и приходит к выводу, что создать совершенный газотурбовоз не по силам технике того времени. Он стремится установить оптимальные условия работы той и другой машины. Свои теоретические исследования он публикует в трех отдельных книгах на немецком языке, и они становятся важным шагом в развитии теории тепловых машин.

Крупнейший швейцарский теплотехник профессор П. Остергаг писал Алексею Нестеровичу: «...спешу выразить Вам мою сердечную благодарность и поздравление с высокоинтересным содержанием».

«Я рад, что познакомился здесь недавно с Вами лично, и желаю Вам наилучших успехов в Ваших дальнейших работах», —

«Очень обстоятельная работа представляет собой много интересного и полезного для конструкторов и лиц, изучающих локомотивное дело».

Положительные отклики были напечатаны и в других машиностроительных журналах.

Все эти отзывы относятся к концу 1922 года. Но еще 27 января, получив положительный отзыв от академика П. П. Лазарева, В. И. Ленин писал в директиве Наркомату путей сообщения: «Крайне желательно не упустить время для использования сумм, могущих оказаться свободными по ходу исполнения заказов на паровоз-

зы, для получения гораздо более целесообразных для нас тепловозов»<sup>6</sup>.

Совещание НКПС под председательством наркома Ф. Э. Дзержинского постановило:

«...НКПС считает целесообразным и практичным немедленно приступить к сооружению взамен трех паровозов трех тепловозов: первого по типу Шелеста, второго — с электрической передачей и третьего — автомобильного типа с автоматической передачей»<sup>7</sup>.

30 января Алексей Нестерович, находившийся в то время в Вене, получил телеграмму:

«Председатель Совнаркома приказал принять все меры к скорейшей постройке вашего тепловоза. Телеграфируйте Берлин и Москва Наркомпути ваши предложения по этому поводу»<sup>8</sup>.

И наконец, Алексей Нестерович получил телеграмму от заместителя наркома путей сообщения:

«Шелеста откомандируйте в Москву; с собой он должен привезти все материалы о своем изобретении. Дайте следующее распоряжение: патентные дела по изобретению Шелеста должны остаться в распоряжении Шелеста и не подлежат сдаче миссии.

Фомин».

Алексея Нестеровича принял нарком путей сообщения Ф. Э. Дзержинский. Он подробно расспросил об особенностях тепловоза и о тех перспективах, которые сулит его применение.

18 февраля Ф. Э. Дзержинский писал Г. М. Кржижановскому, что уверен в возможности постройки тепловоза системы А. Н. Шелеста в России. Дзержинский указывал, что этот вопрос должен стать заботой «всего Госплана, всего НКПС, всего ВСНХ и всей нашей партии изо дня в день».

Однако нарком внешней торговли Л. Б. Красин считал, что постройку тепловоза лучше поручить английской фирме «Армстронг-Витворт», которая выполняла для Советского правительства ряд заказов.

В конце апреля 1923 года Совет Народных Комиссаров принял постановление о строительстве тепловоза системы А. Н. Шелеста за границей.

Алексей Нестерович выехал в Англию. Теперь постройка его тепловоза стала реальностью, что подтверждало специальное удостоверение.

Р.С.Ф.С.Р.

Народный Комиссар  
Путей Сообщения  
5 мая 1923 г.  
№ 511119

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

Согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров от 30/IV—23 г. № 564/6 инженер А. ШЕЛЕСТ командируется за границу для постройки тепловоза его системы.

Ввиду исключительной важности этого изобретения для транспорта Совет Народных Комиссаров возложил на А. Шелеста всю ответственность за проведение тепловоза в жизнь.

Всем учреждениям СССР как в пределах Республики, так и за границей надлежит оказывать А. Шелесту всемерное содействие.

Зам. Народного Комиссара Путей  
Сообщения  
В. Фомин.

Ньюкасл-он-Тайн — это крупный порт и важный промышленный центр северо-восточной Англии. В 1899 году здесь был спущен на воду ледокол «Ермак» — первое в мире судно, способное активно действовать и проводить корабли в тяжелых льдах. Он строился по идее и заданию русского адмирала Степана Осиповича Макарова.

Теперь, через 24 года, советскому инженеру Алексею Нестеровичу Шелесту предстояло построить здесь же оригинальный тепловоз.

Директор завода Эльсуик мистер Ли оказался хорошим инженером. Он с полуслова понимал Алексея Нестеровича, и в первую же встречу они наметили двадцатимесячный срок изготовления машины. За это время необходимо было изготовить рабочие чертежи, модели, отлить по ним детали, обработать их в механических цехах и передать на сборку. На постройку всего тепловоза установили срок в три года, включая проверку всех узлов.

Вскоре работа над тепловозом шла пол-

<sup>6</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 54, стр. 144—145.

<sup>7</sup> «Труды Института истории естествознания и техники», т. 21. АН СССР, 1959, стр. 183.

<sup>8</sup> «Тепловозостроение». Труды МВТУ, вып. 9. МАШГИЗ, 1950, стр. 6.

ным ходом. Над созданием машины трудились пять английских инженеров и восемь техников. Три русских инженера были приглашены Алексеем Нестеровичем и зачислены сотрудниками НКПС. Всего вместе с изобретателем работало 17 человек.

Для контроля за выполнением работ Алексей Нестерович составил подробный календарный план. Разрисованный лист ватмана был вывешен в конструкторском бюро завода и представлял собой один из первых графиков сетевого планирования. Для основных 56 деталей и узлов сетевой график предусматривал время изготовления чертежей, моделей, литья, обработку деталей в механических цехах и в кузнице. Все было рассчитано таким образом, чтобы на сборку машины детали попали одновременно. График помог найти наиболее трудоемкие узлы и сконцентрировать на них особые усилия.

Все чертежи корректировались Алексеем Нестеровичем, а чертежи основных деталей выполнялись по его черновикам. Он же производил расчеты на прочность.

К осени 1925 года важнейшие детали были изготовлены и частично испытаны на заводских стендах. В течение января 1926 года происходила сборка генератора и наладка новых деталей взамен поломавшихся. Особенно неприятна была поломка шестерни вертикального распределительного вала. Шестерня, конечно, деталь не сложная, но для ее смены приходилось разбирать весь генератор.

С каждой новой поломкой настроение людей портилось. Алексей Нестерович чувствовал, что даже те рабочие и инженеры, которые в первое время были полны энтузиазма, после аварий потеряли веру в успех.

Последние дни были для Шелеста тяжелым испытанием. Приходилось напрягать все силы, чтобы скрыть от окружающих свое собственное состояние. Весь день он был на глазах у своих подчиненных и своим видом должен был показать, что верит в успех дела.

Наконец машина готова к пуску. По манометру видно, что давление в баллонах соответствует норме. В масляные трубопроводы подана смазка, охлаждающая вода пущена, распределительный вал установлен в пусковое положение.

Алексей Нестерович дал сигнал.

Английский механик мистер Гибсон включил подачу сжатого воздуха. Маховик

генератора начал вращаться. Первый запуск удался.

Машину остановили и решили повторить пуск. Он тоже прошел успешно. Все было готово для перевода генератора на самостоятельную работу.

...4 февраля Алексей Нестерович пришел на завод раньше обычного. У генератора газов уже находились почти все участники испытаний. Ждали только мистера Ли. Наконец и он подошел.

Алексей Нестерович ударил в гонг. Мистер Гибсон включил сжатый воздух, и маховик генератора начал вращаться. При достижении максимального числа оборотов Алексей Нестерович дал второй сигнал. Немедленно был включен топливный насос. Одновременно механик открыл вентиль для охлаждения установки проточной водой. Подачу сжатого воздуха прекратили. Наступил решающий момент. Все взоры были обращены на машину. Через мгновение стали слышны равномерные звуки вспыхев топлива. Прошла минута, вторая, третья... Ровный ход машины не нарушался. Давление газов в выпускном резервуаре постепенно поднималось до расчетной величины. Затем стрелка манометра замерла. Машина стала работать на номинальном режиме.

Алексей Нестерович почувствовал облегчение. Нервное напряжение последних дней мгновенно улетучилось. Через некоторое время он дал команду выключить подачу топлива. Машина стала замедлять ход и, наконец, остановилась. Наступила непривычная тишина.

Это была победа...

В августе 1960 года английский тепловозостроительный журнал писал:

«Конструкторская и исследовательская деятельность Алексея Нестеровича Шелеста имела выдающееся значение для России».

#### ИЛЛЮСТРАЦИИ:

Стр. 432 — Машина системы Шелеста на испытательном стенде в Англии.

Стр. 433 — А. Н. Шелест, Вена, 1922.

Стр. 435 — Шелест, Коллонтай и мистер Ли у стенда сборки машины.

Ф. Г. Рябов

## Энгельс, Шоу, Бебель и английские выборы 1892 года

В июле 1892 года в Англии состоялись очередные парламентские выборы, которые ознаменовались крупным успехом английского пролетариата. Независимые рабочие кандидаты собрали большое число голосов, и трое из них — Дж. К. Гарди, Дж. Бернс и Дж. Х. Уилсон — были избраны в парламент.

С другой стороны, реформистские организации, выставившие своих кандидатов совместно с буржуазными партиями, потерпели на выборах поражение.

Энгельс внимательно следил за избирательной борьбой, горячо поддерживал выдвижение самостоятельных рабочих кандидатур и придавал их успеху большое значение. По его мнению, успешное самостоятельное выступление рабочего класса на выборах означало шаг вперед в деле создания в Англии независимой от буржуазии политической партии пролетариата<sup>1</sup>.

С выборами 1892 года в Англии и борьбой в рабочем движении по вопросам тактики связан любопытный эпизод. 18 июня 1892 года Энгельс писал Зорге: «Во второй половине мая (то есть в разгар предвыборной агитации. — Ф. Р.) у меня гостил Бебель, одновременно с ним был и Зингер... Мы... обсудили все, что следовало обсудить в отношении немецкого движения»<sup>2</sup>. В Лондоне Бебель (вместе с Зингером) встречался и с одним из тогдашних руководителей Фабианского общества, в будущем знаменитым драматургом Д. Б. Шоу, и обсуждал с ним вопросы избирательной тактики рабочего класса в Англии и Германии.

29 мая Шоу направил Бебелю письмо,

в котором писал: «Наш единственный шанс заключается в том, чтобы вынудить либералов признать наших людей в качестве кандидатов своей партии». Эту точку зрения Шоу обосновывал слабым влиянием социализма среди английских рабочих и системой выборов в один тур: «в то время как вы всегда можете противопоставить своего социал-демократического кандидата и либералам и консерваторам... с уверенностью в победе во втором туре, если вы имеете большинство, скажем, против консерваторов, мы в Англии потерпели бы поражение в первом туре (то есть единственном. — Ф. Р.) благодаря разделению голосов рабочих между либералами и социал-демократами, причем те и другие были бы побеждены консерваторами...» «Вот почему мы, подобно POSSIBILISTам, оказываемся в настоящее время перед необходимостью либо навязывать наших кандидатов либералам, либо терпеть поражение и позориться на каждых выборах».

Бебель показал письмо Энгельсу, который счел эту апологетику соглашательства настолько заслуживающей внимания, что снял с нее копию<sup>3</sup>.

Ход событий доказал ошибочность взглядов Шоу. Либералы выставили рабочих кандидатов в заведомо безнадежных округах, то есть использовали их только в качестве своего орудия.

Уже после выборов Энгельс дважды возвращался к письму Шоу. В первый раз он глухо упомянул о нем в письме К. Каутскому от 4 сентября 1892 года<sup>4</sup>. В письме же Бебелю от 19 ноября Энгельс писал

<sup>1</sup> См., например, «Германским рабочим к Первому мая 1893 года». К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 22, стр. 416—417; письма Энгельса Бебелю от 5, 6, 7 и 23 июля 1892 г. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 38, стр. 329—331, 334, 336—338, 348; Каутскому от 5 июля 1892 г. (там же, стр. 333); Бернштейну от 14 июля 1892 г. (там же, стр. 343—344); Л. Лафаргу от 7 июля 1892 г. (там же, стр. 339—340).

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 38, стр. 317.

<sup>3</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 5123. По-видимому, письмо дошло до нас только в этой копии. Подчеркивания сделаны Энгельсом. Копия обнаружена при подготовке 38-го тома 2-го издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

<sup>4</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 38, стр. 379.

Mr. Harran Pabel 29 Mai 92.

3119

Our aims are, advanced interests of any other body of broadness in the English or in Germany from another one as like the German party methods and possible in view of the facts that we have no second ballot in England you have and Germany, still in the other hand on the part of C. has announced of the way, so that when we capture that we capture everything. The result is that whereas you can always see yourself D. Candidates against both Liberal & Tory, for we shall call them with the contents of forming at the 2<sup>d</sup> ballot if you have a majority as against the Tory, you England & be defended at the 1<sup>st</sup> ballot by the division of the Labour vote between the Liberal & the S.D., the being broken by the Tory. Therefore our only chance & the to vote as are completely organized is to force the Liberal to accept our own candidates, but the best C.C. should be the S.D. to run independent candidates & they are all Party broken, the J.V. are 6000 members as Progressives & they are all triumphantly successful. Here will be organizing for the introduction of the 2<sup>d</sup> ballot here, except the vote to organize themselves independently about 1000 for the Liberal. If you of these things were to take these instead of the 1<sup>st</sup> done, you'd find yourself compelled to take the same course & that if you make wonderful study of the work that has been done for some years back in Germany, the S.D. idea in this country, I am sure that you

Фотокопия письма Б. Шоу  
А. Бебелю от 29 мая 1892 года.  
Фрагмент.

более подробно: «После того как великий Шоу в мае всячески доказывал вам, что необходимо завести интриги с либералами и что вне этой политики возможны только поражение и позор, он признает теперь в речи, произнесенной в Демократическом клубе, что либералы подло обманули их, что на выборах пришлось позать только поражение и позор и что либералы собираются, теперь уже вместе с тори, обмануть рабочих! И эти люди хотят учить вас «практической политике!»»<sup>5</sup>

В этом письме Энгельс лишний раз хотел обратить внимание руководства германской социал-демократии на несостоятельность избирательной тактики фабианцев. Снятие копии с письма Шоу и последующее письмо Бебелю — небольшой, но интересный эпизод в истории борьбы Энгельса против реформизма и соглашательства.

<sup>5</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 38, стр. 443.



Л. Сидорова

## Летопись села Никольского в рисунках Егора Емельяновича Королева



Королевы в селе называли «ризники». Исстари шили они поповские ризы и искусно вышивали их золотом, жемчугом и бисером. Емельян Королев и два его сына, старший Егор и младший Константин, немало верст прошли пешком, по очереди неся на спине тяжелую швейную машину. Доходили даже до Киева. В родном селе Никольском Шарापовской волости Звенигородского уезда Московской губернии (в 4 километрах от Кубинки) объявлялись по большим праздникам да приходили осенью, чтобы помочь семье в полевых работах. В деревне в то время работали много и тяжело, а жили бедно: голод, грязь, эпидемии. Особенно много умирало детей, хорошо, если в семье из 13—14 человек выживало 3—4 ребенка. Какую-то тяжелую болезнь перенес в семилетнем возрасте и Егор. Какую? Никто не знает. Врача в те времена в селе и не видали никогда. Чудо еще, что выжил, только с тех пор стал глухонемым. После смерти отца братья продолжали дело вдвоем. Золотые руки были у Егора Емельяновича Королева, даже брат не мог

соперничать с ним в тонкости вышивки, в искусстве составления узоров. Любил он свою работу, вкладывал в нее всю душу и все силы. Человек он был наблюдательный и любознательный. Много подмечал во время своих странствий по России, о многом узнавал из книг, которые читал в долгие зимние вечера. Жена, бывало, ругает его — слишком много свечей жег. Он погасит свечу, посидит немного в темноте, а потом опять потихоньку зажжет и читает. И еще одна страсть была у него, может, главная в жизни — с детства рисовать любил. Никто не учил его этому, как никто не учил читать. В родном селе считался чем-то вроде сельского фотографа. Обвенчаются молодые, а после церкви прямо к Королевым и просят: «Нарисуй, Егор Емельянович, на память». А тот присядет к столу и в несколько минут набросает портрет молодых. Сходство, говорят, было поразительное.

Умер Егор Емельянович в 1910 году от туберкулеза на 51-м году жизни, почти ослепнув от своего ремесла. Во время последней



Свободное время Егоръ Емельяновъ  
Королевъ съ женою Федосья сидятъ на  
завалинке

войны сгорел дом Королевых и вместе с ним сгорело то, что осталось после Егора Емельяновича: большой сундук, где хранились все его рисунки и любимые книги. Остались только три небольшие тетрадки, взятые когда-то давно попадью, так как в них среди рисунков было несколько изображений ее мужа. Дочь Егора Емельяновича Матрена Егоровна Захарова и внучка

Антонина Александровна бережно переплели их в одну общую толстую тетрадь, которую передали на хранение в отдел рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина. В своих рисунках (их уцелело около 700) оставил нам Егор Емельянович Королев летопись родного села почти за полвека (С 1870-х по 1900-е годы). Ниже публикуются некоторые из них.



Романъ Иванов  
Молчановъ.  
Иванъ Ивановъ  
Молчановъ.  
Арсенъ Петровъ  
Свинепковъ.  
Семёнъ Егоровъ  
Торывакъ —  
Афанасиъ Гавриловъ  
Могучковъ.  
Яковъ Яковлевъ Уршовъ.



Алексейъ Симоновъ  
Куркузай.  
Иванъ Акафоновъ  
Туркинъ.  
Василій Коновъ  
Камавъ.  
Фролъ Ильинъ  
Кузнецъ.  
Романъ Сергеевъ  
Бодрай.



Гаврилъ Нестировъ  
Емельянъ Андреевъ  
Зенинъ.  
Петръ Николаевъ  
Авгениковъ.  
Андрейъ Николаевъ.  
Авгениковъ.  
Иванъ Дмитревъ  
Куражковъ.



Прогулка Собаке в селе Дмитровском  
15 Января 1894 г.



Михайла Егоровъ Еришовъ не покладая  
съ матерью. 17 апр 1892 г.



Золотовки вербы на празднике  
воробьяного воскресенья в селе  
Никольском



В Деревне обусова Рязвейского  
уезда девки Налижская Евдота  
въ лесъ Грова рубить



Раиса Молчанова со женой Несуте кося  
из лесу.



Андрей Афанасьевич Портанов  
Шорнижест





Звона на колокольне в  
селе Никольском.



На Шупонских Картинах в  
Церковноприходской Школе при  
деревне Тиховне показывается Стая



Мельница Николаевского Сельского Совета  
в Ново (1892)



Отправка бумаж в Вологду.

Г. А. Остроухов

## Катастрофа на Ходынском поле

Мой дядя врач Алексей Михайлович Остроухов — ординатор 2-й Московской городской больницы — оставил интересные воспоминания. Среди них выделяются заметки о знаменитой ходынской катастрофе, которые я расшифровал, сократил и отредактировал. Вот каким предстало это событие перед глазами очевидца:

«За несколько дней до празднеств (по случаю коронации Николая II<sup>1</sup>) полиция ходила по предприятиям и приказывала отпустить служащих с вечера.

Появились громадные афиши от князя<sup>2</sup> — «хозяина» Москвы с приглашением на праздник. Ожидалось громадное стечение народа.

Не без труда мне удалось уговорить приятеля отправиться на Ходынку накануне вечером, чтобы познакомиться с настроением толпы.

Народу было мало. Настроение казалось хорошим. Всюду слышался смех, кое-где скрипели гармоника. Закусочные торговали бойко. Пьяных не было заметно. Люди жгли костры и держались небольшими группами.

Бродя меж ними, мы натолкнулись на канавы и возвышения — остатки железнодорожного полотна. Здесь когда-то на выставку подвозили товары, должно быть, с Брестского вокзала.

Преодолевая препятствия, мы с приятелем говорили о возможных несчастьях при движении толпы, не подозревая, что эти канавы через несколько часов будут заполнены трупами.

Место, где было назначено гулянье и где находилось несколько эстрад, было

огорожено. Входами туда служили узенькие, в толщину полного человека, промежутки между будками. Проходы эти имели вид воронок, обращенных широким концом наружу. Будки наполняли «лакомства», «гостинцы», которые предполагалось выдавать из окошек, обращенных к входу. Между прочим, были приготовлены тоненькие с рисунками платочки, в которых были завернуты орехи, пряники самых низких сортов.

Предназначенная для гулянья несметной толпы бугристая местность с длинными канавами и будки с острыми углами и узкими воронкообразными проходами между ними произвела на нас удручающее впечатление.

Утро 14 мая было хорошее, ясное, теплое. С балкона нашего дома в Леонтьевском переулке видна была Тверская. По ней народ валил, как говорится, валом, но не к заставе, а от нее. Выйдя на улицу, я увидел, что люди шли группами с серьезными, не праздничными лицами. Да как шли — чуть не бежали. У многих узелки подарочные, а больше свои платки с неиспользованной провизией.

Насилу уяснили себе из отрывистых ответов, что случилось то, «что не дай бог»; «передали народищу этого», — и рассказчик, передергиваясь, спешил дальше. Большинство же давали обрывистые советы: «И не ходите туда».

Вижу, бежит наш дворник — в руках платок с гостинцами. Говорит, что передавали народу много.

— А сколько же?

— Да, почитай, человек сорок, а то шестьдесят.

Потом оказалось, что он там не был, а гостинец купил. Эти гостинцы многие бросали уже на Тверской. Бегство этих смущенных людей производило такое впечатление, как будто они боялись быть причастными к свершению чего-то ужасного, показаться участниками какого-то преступления. Именно преступления, одного из тех, за которые платится теперешняя династия.

Ехать было далеко, и я успел наглядеться на это бегство тех, которые легкомысленно шли на приманку из гнилых орехов, тухлой колбасы и дрянного платка. Впрочем, могли идти и ради новизны картины.

<sup>1</sup> 14 мая 1896 года.

<sup>2</sup> Сергей Александрович — великий князь, московский генерал-губернатор с 1891 по 1905 год.



Я глядел на бегство рабочих, школьников, торговцев; их вид не гармонировал с видом нарядной улицы, украшенной разноцветными тряпочками и кое-где зеленью.

Мы с извозчиком только удивлялись — какая же была уйма народу там, на Ходынке, когда оттуда, как из бездны, народ валил, закрудил Тверскую и сворачивал на всех перекрестках. Наконец вот то место, где вчера поскрипывали гармоники и вспыхивали костры. Странная, однако, картина. Травы уже не видно: вся выбита, серо и пыльно. Здесь топтались сотни тысяч ног. Одни нетерпеливо стремились к гостинцам, другие топтались от бессилия, будучи зажаты в тиски со всех сторон, другие бились от безумия, ужаса и боли. В иных местах порой так тискали, что рвалась одежда.

И вот результат — груды тел по сто, по полтора; груд меньше 50—60 трупов я не видел. На первых порах глаз не различал подробностей, а видел только ноги, руки, лица, подобие лиц, но все в таком положении, что нельзя было сразу ориентироваться, чья эта или эти руки, чьи те ноги.

Первое впечатление, что это все «хитровцы»<sup>3</sup>, все в пыли, в клочьях. Вот черное платье, но серо-грязного цвета. Вот видно заголенное грязное бедро женщины, на другой ноге белье; но странно, хорошие высокие ботинки — роскошь, недоступная «хитровцам».

Вот мужчина, на нем одной штанины нет, осталась только часть белья. Здесь торчат ноги без сапог.

Раскинулся худенький господин — лицо в пыли, борода набита песком, на жилетке золотая цепочка. Оказалось, что в дикой давке рвалось все; падавшие хватались за брюки стоявших, обрывали их, и в окоченевших руках несчастных оставался один какой-нибудь клоч. Упавшего втапывали в землю. Вот почему многие трупы приняли вид оборванцев.

Но почему же из груды трупов образовались отдельные кучи, да и в стороне от их ловушек — будок? Оказалось, что обезумевший народ, когда давка прекратилась, стал собирать трупы и сваливать их в ку-

<sup>3</sup> Обитатели Хитрова рынка, где обычно в ночлежках ютились нищие, бродяги и т. п.



чи. При этом многие погибли, так как оживший, будучи сдавленный другими трупами, должен был задохнуться. А что многие были в обмороке, это видно из того, что я с тремя пожарными привел в чувство из этой груды 28 человек; были слухи, что оживали покойники в полицейских мертвецких.

Иду к будкам — там валяются одиночные трупы; сами будки частью опрокинуты, частью раскрыты. При продавливании крыш между окон спасались артельщики, которые были обязаны раздавать узелки.

Предательские воронки обратились в ловушки; втиснутые в них 5—6 человек не могли проскользнуть в суженное выходное отверстие, запруживали ход и раздавливались, как мухи. Давились люди и будки.

Очевидец рассказывал, что некоторых ребят спасали тем, что подымали их кверху, и те по сплошным плечам бежали назад, спотыкались и падали на головы и плечи, благо ниже упасть нельзя было и яблоку.

Раздавивши свой авангард, толпа обезумела от ужаса.

Неимоверным усилием, давя середину, шарахнулись назад, в то время когда задние напирали, боясь не получить орехов, пирогов и колбасы.

Когда хлынули назад, то из-за невозможности повернуться спотыкались, падали и моментально растаптывались. Вот здесь-то выемка вдоль бывшего полотна дороги и обратилась в ловушку.

На пир звали, а канавы не засыпали, а сухой колодец прикрыли досочками. Они лопнули и... колодец наполнился людьми. Из нескольких десятков извлеченных оттуда один, случайно упавший на ноги, оказался живым. Кто-то вздумал «пошарить» багром в очищенном колодце, и снова начали извлекать трупы.

Около трупов кольцом стояла публика: кто смотрел в немом ужасе, кто рассуждал вслух, кто повторял приметы тех, кого

искал. Кое-где снова сортировали тела. Трех мальчиков-братьев из одной мастерской положили рядышком: один в визитке, двое в рубашках; их лица не выражали испуга.

Здесь же лежал мужчина со странно сжатыми челюстями — щеки как-то ушли внутрь, точно прилипли к зубам. На нем платье было чистое, что странно было видеть среди грязных трупов.

Это их отец. Он прибежал увидеть сыновей и не вынес. Должно быть, сердце было слабое. Товарищи по мастерской сложили всех вместе рядышком.

А вот мать лет сорока — сорока двух, нашедшая своего сынишку лет четырнадцать мертвым. Мальчик лежал среди груды трупов. Его славное личико с беленькими волосами выражало какую-то жалобу — как будто мальчик готов был заплакать. Мать сидела рядом и все гладила и гладила его руку, ласково причитая что-то вроде колыбельной песни. Эта картина превзошла все виденные мной ужасы.

Я рылся вместе с пожарными, вытаскивая тех, кто был еще жив. Мы приводили их в чувство, тащили под навесы пяти уцелевших будок, кое-чем кормили и сажали на извозчиков, которых приходилось приводить силой. Кто-нибудь из публики ехал с очнувшимся несчастным.

Солнце страшно жгло. От многих куч шел нестерпимый запах.

Среди публики виднелись бегавшие, искавшие своих близких. Но едва ли многие из них не проходили мимо своих, не узнавая близких черт в массе нагроможденных да еще так загрязненных и изуродованных тел.

К полудню пожарные стали взваливать на носилки покойников, один на другого. Их покрывали брезентом и развозили по покойничкам.

Так кончилась эта трагедия, ознаменовавшая вступление на престол последнего российского императора».

Жужанна Зельдхейн

(Будапешт)

## Венгерский роман о Пушкине и декабристах

В Венгрии выходит в свет первое академическое издание сочинений Мора Йокаи. Главные его редакторы Милош Надь и Денеш Лендель возглавляют группу исследователей, занимающихся подготовкой к печати произведений М. Йокаи. Литературное наследство самого плодovitого и самого популярного венгерского прозаика исключительно велико: только одни романы М. Йокаи займут не менее пятидесяти пяти томов (из них до сих пор появилось сорок девять), готовятся к печати его рассказы (около двадцати пяти томов), появятся два тома его публицистических статей. В общей сложности все это составит свыше ста томов. Издание должно быть закончено к 1975 году.

Только что вышел один из интереснейших томов академического издания Йокаи — его роман «Свобода под снегом, или Зеленая книга», в центре которого стоят декабристы и Пушкин. Написанный в 1878—1879 годах, роман имел несколько изданий, но сейчас он впервые опубликован с научными комментариями.

Долгое время считалось, что в своем романе из русской жизни Йокаи опирался прежде всего на свою фантазию. Хотя в конце романа «Свобода под снегом» писателем приложен был длинный список его источников, никто до сих пор не сравнил их с текстом произведения. Было принято считать, что список этот скорее художественный прием, что Йокаи таким образом хотел создать видимость достоверности своего повествования. Однако тщательное изучение неизданных записных книжек писателя, так же как и сравнение указанных

им источников с текстом романа, свидетельствуют о другом: Йокаи в очень большой мере использовал те многочисленные, написанные на французском и немецком языках книги, на которые он ссылается в приложении. В научных комментариях к роману дается характеристика каждого из источников, а также анализ того, как пользовался писатель этими объемистыми трудами. Подробно указываются мотивы, взятые писателем из источников, прослеживаются, до какой степени образы и события романа соответствуют действительным историческим событиям, какие моменты являются вымышленными, как произошло творческое переосмысление материала.

Из источников Йокаи следует выделить труды Дюпре де Сен-Мора<sup>1</sup>, маркиза де Кюстина<sup>2</sup>, Ф. Лакруа<sup>3</sup>, Шницлера<sup>4</sup>, М. Я. фон Крузенштольпе<sup>5</sup>, биографию Александра I,<sup>6</sup> написанную Д. Ллойдом<sup>7</sup>, книгу Диксона<sup>8</sup>, П. Артамова.

Йокаи, который никогда не был в России и русским языком не владел, при изображении Петербурга и крымских пейзажей использовал книги Лакруа и Артамова; характеризуя движение декабристов, он довольно строго придерживался материала книг Лакруа, Крузенштольпе и Шницлера. В то же время в оценке общественных событий писатель всегда сохранял полную самостоятельность и руководствовался прежде всего своими взглядами на венгерскую действительность. Для него в 70-е годы уже неприемлема картина «гармонического русского общества», нарисованная в книге Дюпре. У Лакруа Йокаи берет массу фактических данных, но его мнение о декабристах складывается совершенно независимо от французского публициста. Лакруа смот-

<sup>1</sup> Pétersbourg, Moscou et les provinces ou observations sur les mœurs et les usages russes au commencement du XIX siècle. Paris, 1830. I—II.

<sup>2</sup> La Russie en 1839. Bruxelles, 1843, I—IV.

<sup>3</sup> Les mystères de la Russie. Paris, 1845.

<sup>4</sup> Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas. Paris, 1847.

<sup>5</sup> Der russische Hof von Peter I bis auf Nicolaus I. Hamburg, 1855—1860. I—IV.

<sup>6</sup> Alexandre der Erste, Kaiser von Russland, oder Skizze seines Lebens und der wichtigsten Begelenheiten seiner Regierung. Stuttgart, 1826.

<sup>7</sup> La Russie libre. Paris, 1873.

<sup>8</sup> La Russie historique, monumentale et pittoresque. Paris, 1862, I—II.

рит на декабристов исключительно как на представителей дворянской ограниченности и непоследовательности и пишет о них очень несправедливо, высокомерно. Йокаи, наоборот, изображает большинство из них с симпатией, правда, наделяя всех положительных героев своего романа, включая и Пушкина, своими собственными либеральными взглядами. Некоторых же декабристов (например, Каховского, Якубовича) он осуждает, но в отличие от Лакруа не потому, что они слишком умеренны, а потому, что они, по мнению Йокаи, слишком радикальны. Группе положительных героев в романе противопоставляются, с одной стороны, сторонники «насильственных методов», а с другой — представитель самого необузданного деспотизма Аракчеев.

В научных комментариях к роману обращается внимание читателей на своеобразное переплетение исторических мотивов, взятых из относительно достоверных источников, с мотивами вымышленными, созданными фантазией автора. Наряду с историческими лицами (Рылеев, Пестель, Кржижановский, Александр I и многие другие) среди персонажей романа фигурируют и вымышленные герои, например князь Гедимин, в котором отчасти можно угадать Трубецкого, финляндская певица Зенеида Ильмеринен и другие.

Особое положение в системе образов романа занимает Пушкин. Он, как ни странно, принадлежит к полусторическим, полувывмышленным лицам. Образ Пушкина в романе Йокаи был настоящим открытием для венгерской литературы. Несмотря на большую популярность в Венгрии «Евгения Онегина», другие произведения Пушкина почти не переводились, а о связях Пушкина с политической жизнью России ничего не писалось. Такие стихотворения, как ода «Вольность» или послание «В Сибирь», не были напечатаны на венгерском языке до 1945 года. В романе Йокаи Пушкин впервые предстал перед венгерским читателем как поэт свободы, как автор «Вольности», как единомышленник декабристов. Йокаи сравнил его с венгерским поэтом-революционером Шандором Петефи, что означало высшую степень признания. В творчестве Пушкина Йокаи больше всего привлекают романтические поэмы, отвечавшие его собственным эстетическим вкусам. Персонажи романа с большим восхищением отзываются о поэме «Цыганы». Явно под влиянием этой поэмы в роман вводится романтический образ цыганки, помогающей Пушкину и декабристам. Полный текст поэмы был на-

печатан в собственном переводе Йокаи как приложение к роману. Основные данные о жизни Пушкина были взяты писателем из предисловия Боденштедта к немецкому изданию произведений Пушкина. В то же время Йокаи связывает с образом поэта совершенно вымышленные события: он показывает Пушкина, который в 1824 году не находился в Петербурге, в центре петербургской общественности, описывает вымышленную историю помолвки Пушкина с дочерью царя Софией Нарышкиной, а затем, после смерти Софии, брак поэта с грузинской княжной.

Роман «Свобода под снегом» был напечатан на немецком, английском, французском, датском, чешском и русском языках. О его особой популярности в Англии и в США свидетельствуют следующие друг за другом пять изданий романа, так же как и многочисленные и в целом очень положительные рецензии на него.

Русский перевод романа был напечатан под заглавием «В стране снегов» в петербургском журнале «Полярная звезда» (1881, № 1—6). Тексту романа редактор журнала предпослал краткое введение, в котором обращал внимание читателей на некоторые странности этого произведения, но в то же время подчеркивал те его особенности, которые вполне оправдывают интерес к роману Йокаи: «Печатаю этот исторический роман из русской жизни знаменитого и маститого венгерского беллетриста М. Йокаи, редакция считает необходимым оговориться. <...> Читатель не должен искать в этом произведении правды исторической, а еще меньше бытовой. Автор мало знаком со «страной снегов», которую рисует. <...> Тем не менее роман этот <...> так оригинален, <...> написан с таким талантом, изобилует такими яркими красками и такими забавными промахами, что поневоле читается с особым интересом. <...> Надо многое простить автору за то искреннее, теплое, даже восторженное чувство, с которым он относится к двум личностям, им выводимым в романе: к императору, Александру и к великому Пушкину».

Перевод романа, опубликованный в «Полярной звезде», далеко не полон. Как указано в статье Л. Шаргиной<sup>9</sup>, посвященной этому переводу, в русском журнале были

<sup>9</sup> „Полярная звезда“, 1881, № 1, стр. 153.

<sup>10</sup> Сборник „Tanulmányok a magyar — orosz irodalmi közelebről“ (Исследования из области венгеро-русских литературных связей). Budapest, т. 2, стр. 200—231.

пропущены страницы, в которых автор с сочувствием писал о борьбе польского и финского народов за национальную независимость, глава о военных поселениях и т. д. Даже с такими сокращениями появились только две трети романа — печатание его было прервано в связи с тем, что журнал прекратил свое существование.

В этом году выйдет в свет в Венгрии, в рамках академического издания, «Роман грядущего века» Мора Йокаи, действие которого отчасти тоже разыгрывается в России; в ближайшие же годы ожидается выход его многочисленных рассказов на русскую тему.

Несмотря на то, что в этих произведениях немало противоречивых моментов, а историческая достоверность порою подменяется в них вымыслом, все же как показатель интереса одного из самых популярных венгерских писателей к жизни России они сохраняют свое значение и в наши дни. Все это особенно относится к роману «Свобода под снегом», в котором венгерский писатель в атмосфере антирусской пропаганды в Австрийской империи 70-х годов впервые рассказал о Пушкине и о декабристах, засвидетельствовав свое большое уважение к их самоотверженным подвигам.

Л. Ельницкий

## Геракл и миф о Христе

Геракл, убивающий лернейскую гидру. Фреска в катакомбах на Латинской дороге в Риме.



Недавние сенсационные находки кумранских рукописей, по распространенному мнению, усилили позиции историков, которые видят чуть ли не все истоки христианства в теологии иудейских сект. Однако вывод этот вызывает известные сомнения. Кум-

ранские рукописи показали не только близость этих сект к христианству, но и всю разделяющую их пропасть. Новые источники дают интересный материал для познания роли иудейства в христианстве, однако раннее христианство не может быть по-

Оранта.  
Қатакомбы Каллиста.  
2-я половина 3 века н. э. Рим.



нято, если ограничиваться библейскими текстами и документами существовавших в Палестине сект. Нельзя преувеличивать роль иудейского элемента в возникновении христианства. Заметим, что на еврейском языке не было создано ни одного подлинно христианского сочинения.

Чтобы правильно понять раннее христианство, необходимо вспомнить античные мистерии, религиозный смысл и обрядность простонародных празднеств типа греческих кроний и римских сатурналий, нужно вникнуть в социально-утопическую литературу, связанную с философией Стои и киников, нужно, наконец, присмотреться к таким широко распространенным в Римской империи культам, как культ героя Геракла.

Отчасти это было сделано в ряде специальных работ по истории античных религий и социально-философских течений, но в литературу о раннем христианстве все это еще проникло в самой минимальной степени.

Лет семьдесят назад Пауль Вендланд обратил внимание на то, что евангельское описание казни Христа весьма напоминает обряд разоблачения и убийства, то есть принесения в жертву римского «царя сатурналий». Воспользовавшись этой идеей, английский этнолог Джемс Фрезер на рубеже XX столетия опубликовал многоотное исследование «Золотая ветвь», где убедительно показал, что корни христианской обрядности и вероучения — в древних религиях народов Средиземноморья и Ближнего Востока. Выводы Фрезера, столь опасные для христианских богословов, были встречены ими в штыки. К сожалению, очень важные и интересные наблюдения Фрезера не стали краеугольным камнем дальнейших исследований.

Историки давно уже отметили, что подробности изложенной в евангелиях «биографии» Иисуса не соответствуют не только географии и историко-бытовым условиям тогдашней Палестины, но и фактам, известным о ее религиозной жизни. Однако лишь в редких случаях мы встретим книги, где бы говорилось о действительных совпадениях и реальных параллелях, которые находят те или иные детали «биографии» Христа. Это вызывает тем большее недоумение, что еще в 30-х годах немецкий ученый Ф. Пфистер необыкновенно наглядно показал, что евангельское жизнеописание Иисуса во многих существенных чертах совпадает с «биографией» мифического Геракла.

Среди греческих героев-полубогов, родившихся от небожителей и смертных женщин, Геракл, сын Зевса и аргивянки Алкмены, занимает особое место. Древнейшие мифы изображают его благодетелем эллинского племени. Он ловит немецкого льва и эримантского вепря, побеждает кентавров, уничтожает хищных стимфалийских птиц и т. п. Ради блага людей он как бы очищает землю от всякой скверны.

Уже в V веке до н. э. философы-софисты подчеркивали эти цивилизаторские заслуги Геракла. В следующем столетии Антистен, основатель наиболее демократического течения в древней философии — школы киников, представлял жизнь Геракла в качестве образца для всякого человека и усматривал величайшую его доблесть в совершенных им трудовых подвигах. Помня, что в древности труд, особенно же труд тяжелый, считался презренным и достойным рабов, такое представление о Геракле как о герое-труженике, вычистившем даже Авгиевы конюшни, нельзя не признать крайне демократическим и прогрессивным.

Это обстоятельство повлияло, быть может, на дальнейшее формирование облика Геракла, который все более принимал черты героя, действующего по наущению своего небесного отца. Дион Хрисостом, философ-стоик и ритор I века н. э., восхвалял Геракла за его труды и высокую нравственность. За эти качества Зевс-де и сделал Геракла «царем всего человеческого рода», «спасителем земли и людей». В драме «Геракл Этейский» Сенека рассказывает о том, как Геракл, сын божий, берет на себя заботу о спасении человечества, побеждает смерть и сам за дела свои становится богом. Как тут не вспомнить другого «сына божьего» — Христа!

Если мы продолжим сравнение мифических биографий Геракла и Иисуса, то увидим совпадения не только общего, но и совершенно индивидуального характера, совпадения, которые трудно объяснить простым сходством религиозных идей греков и древних евреев.

Уже в эллинистические времена был широко распространен миф, многими своими чертами невольно напоминающий евангельские истории. Согласно этому мифу Амфитрион, «человеческий» отец Геракла, живет в Микенах, там же, где и юная Алкмена, будущая мать Геракла. Вспомним, что плотник Иосиф, «человеческий» отец Христа, тоже живет в одном городе с девой Марией, будущей матерью Христа.

Амфитрион пребывает в отдалении от Алкмены до зачатия ею Геракла от Зевса. Иосиф не приближается к Марии до зачатия ею Иисуса от святого духа. Амфитрион переселяется с Алкменой в Фивы — Иосиф переселяется с Марией в Вифлеем. Оба младенца рождаются там, куда переехали их родители, но тем не менее Геракл считается аргосцем по прежнему месту жительства отца, а Иисус — назаретянином.

Прежде чем приступить к свершению своих подвигов, Геракл уходит в пустыню,

из уст оракула Аполлона узнает в Дельфах о своем предназначении, Иисус в иерусалимском храме читает слова пророка Исайи о своей миссии. Земной путь обоих богочеловеков — это путь трудов и страданий, по завершении которого оба они возносятся на небо.

Даже знаменитое чудо, совершенное Христом, — хождение как посуху по водам Генисаретского озера, — принадлежит, оказывается, Гераклу — тот задолго до Христа расхаживал по морю!

Подобно Гераклу, Иисус спускается в



Геракл, укрощающий Кербера и выводящий из подземного царства Алкесту. Фреска в катакомбах на Латинской дороге в Риме.

где подвергается испытанию. Удаляется в пустыню и молодой Иисус. Бог Гермес ведет Геракла на высокую гору, показывает ему земли царей и тиранов. Точно так же Иисуситель ведет на гору Христа и показывает ему оттуда царства мира.

В поступках своих Иисус, как Геракл, покорен воле божественного отца. И тот и другой прямо говорят об исполнении ими отцовской воли. Подобно тому как Геракл

подземное царство и побеждает смерть. Геракл перед кончиной на костре обращается к своему небесному отцу со словами: «Возьми дух мой к звездам!» Иисус на кресте восклицает: «Отче, в руки твои предаю дух мой!» После смерти Геракла, как и Христа, наступает солнечное затмение и происходит землетрясение. Вознесение на небо Геракла, как и Христа, совершается с помощью охватившего их



облака. И тот и другой перед смертью утешают находящуюся рядом мать.

Геракл подверг себя самосожжению. Иисус был распят. Разница кажется весьма существенной. Однако есть свидетельства, которые сводят на нет это различие. В Малой Азии, то есть именно там, где, вероятнее всего, и сложился миф о Христе, был широко распространен культ Сандона — божества, отождествлявшегося с греческим Гераклом. Так вот, в мифе о Сандоне оба эти вида смерти как бы объединяются. Сандона сначала распинают, как Христа, а потом сжигают, как Геракла.

Эти сопоставления наводят на мысль, что миф о Христе, который, казалось бы, теснее всего связан с иудаизмом и библейской литературной традицией, развивался из мифа о Геракле, возникшего на греческой почве. В этих мифах много общих черт не только биографического, но и чисто теологического характера. Можно без преувеличения сказать, что основные элементы представлений о Христе, как о сыне бога и смертной женщины, обреченном ради спасения человечества на страдания и смерть, с последующим воскресением и вознесением на небо, относятся в равной мере и к Гераклу. Иными словами, многие важнейшие черты «биографии» Христа возникли скорее всего до его предполагаемого рождения!

«Жизнеописание» Геракла складывалось на протяжении многих столетий, хотя все его отмененные выше черты присутствуют в художественных и биографических сочинениях, написанных не позднее середины I века н. э. «Биография» же Христа сложилась значительно позднее. «Откровение» Иоанна, наиболее раннее из христианских сочинений, относится ко второй половине I века н. э. Иоанн ничего не знает о Христе-человеке. Для него он лишь «агнец божий» о семи рогах и семи очах, закланный от начала века. Рассказы же о земной жизни Иисуса Христа стали складываться позднее — лишь во II веке н. э. И если признать, что в обоих случаях речь идет об одном и том же костяке, лежащем в основе мифов, то это означает, что «биография» Иисуса Христа выросла из «биографии» Геракла. И не только биография. Необходимо признать, что сами представления о богочеловеке, искупителе грехов человеческих, защитнике обездоленных и угнетенных, совершенно чужды иудаизму и тоже заимствованы из культа Геракла — Сандона.

Иногда говорят, что древнеиудейские

представления о спасителе-мессии, породившие образ Христа, имя которого считается не более чем греческим переводом слова «мессия», гораздо древнее, чем миф о Геракле. Поэтому, мол, мессианские черты Геракла тоже могут быть древнеиудейского происхождения. Попал же у Гесиода в число греческих мифических персонажей библейский Иафет! Однако нельзя считать доказанным это мнение: Геракл и Христос — оба мыслятся как сыновья бога, божественные персонажи, тогда как мессия древних иудеев — лишь человек, грядущий избавитель.

Евангелисты, стремившиеся изобразить Иисуса Христа иудеем, рядили его под мессию, но согласовать гречко-римские и иудейские верования им так до конца и не удалось: в качестве «сына божьего» Иисус — фигура, совершенно чуждая иудаизму. У иудейского бога никогда не было сыновей. Иудейская религия понятия не имела о воскресении из мертвых. Не исключено даже, что само имя спасителя Христа Иисус (Иошуа) вовсе не иудейского, а гречко-малоазийского происхождения и только лишь созвучно иудейскому имени.

Христианство, возникшее в среде иудейского рассеяния, и скорее всего именно в Малой Азии, корнями своими уходило частично в местные верования. Там прежде был очень популярен бог-целитель Иазион, в одной своей ипостаси тоже богочеловек и герой, совершающий различные подвиги (Ясон). Некоторые ученые допускают, что имя бога Иисуса произошло от Иазиона. Это божественное имя было хорошо известно в широких слоях народа, тогда как Иошуа — имя очень редкое. В библии, например, оно встречается лишь однажды, как имя легендарного полководца Иисуса Навина.

Возможно также, что придание Христу имени Иазиона-Иисуса явление сравнительно позднее — не ранее II века н. э. Во всяком случае, в раннем христианстве повсеместное распространение имя это получило далеко не сразу. Среди западных христиан пользовалась известностью книга Гермы «Пастырь». Во II веке н. э. она входила в число канонических сочинений, признававшихся боговдохновенными. Там, что особенно интересно, спаситель именуется просто Пастырем и ни разу не назван Иисусом Христом.

Геракл, с другой стороны, был далеко не чужд древнейшему христианству. У историка церкви Евсевия и у римского сатирика и атеиста Лукиана сохранились сведения

об известном христианском деятеле середины II века н. э. — Перегрине, авторе ряда христианских сочинений. Перегрин закончил жизнь так же, как и Геракл, — подверг себя в Олимпии самосожжению. Многие историки думают, что Перегрин, исключенный из христианской общины за какие-то провинности, изменил христианству. Это мнение пытаются обосновать ссылками на Лукиана. Действительно, Перегрин, по свидетельству Лукиана, сблизился с киниками и гностиками. Вряд ли эти слова надо понимать как доказательство измены Перегриня христианству. Дело в том, что в раннем христианстве было множество сект и течений, враждовавших между собой. И киники и гностики были очень близки христианству. Можно прямо сказать, что они его во многих отношениях и породили, оказав существенное влияние на формирование христианского вероучения.

В этом смысле Геракл, как идеальное в духе киников божество, и послужил образцом для формирования представлений о христианском «сыне божьем». Долгое время Геракл оставался как бы его ипостасью и параллелью, подобно тому безыменному Пастырю, имя которого, впрочем, без труда угадывается в имени автора посвященного ему сочинения — Герма или Гермес. Бог Гермес как «пастырь человеков» (Poi-mandres) был не менее Геракла популярен в христианских и близких им сектах и являлся под именем Гермеса Трисмегиста одним из самых сильных «соперников» Христа.

Что же касается Геракла, то он еще очень долго пользовался большим почетом среди христиан. Правда, следы этого в христианской литературе уничтожены стараниями богословов, которые стремились во что бы то ни стало предать забвению все, что

говорило о возникновении христианства из древнего греко-римского язычества. Но сохранились монеты римских императоров-христиан, например Антемия Прокопия (467—472 гг. н. э.), с изображениями Геракла. Эти монеты — скромные свидетели былой славы Геракла, одного из предшественников и «родственников» Иисуса Христа.

Подобным же косвенным свидетельством того, что Геракл, как некоторая ипостась Христа, фигурировал и в самом христианском культе, могут служить фресковые изображения подвигов Геракла на стенах христианских катакомб в Риме. Так, в катакомбах на Виа Латина, открытых в 1956 году и относящихся ко второй половине IV века, находим Геракла в саду Гесперид, Геракла, убивающего лернейскую гидру, и Геракла, выводящего Алькесту из подземного царства.

Нередко эти и другие «нехристианские» изображения, обнаруживаемые в древнейших христианских катакомбах и храмах, истолковывались как образцы «светского» искусства, которого якобы не чуждалось раннее христианство. Однако, например, даже такие, казалось бы, чисто декоративные изображения, как панно с птицей в клетке, нередкие на древнехристианских храмовых мозаиках, понимаются теперь А. Грабарем в духе гностическо-христианской символики: птица — душа, заключенная в клетке — человеческом теле. Равным образом и изображения Геракла в христианском искусстве, после установления преемственной связи мифических «биографий» Геракла и Иисуса Христа, не могут считаться декоративными аксессуарами «светского» характера, а должны восприниматься как неотъемлемая принадлежность культовых представлений раннего христианства.

Г. А. Могилевский

## Крекшино



Среди многих памятных мест, связанных с именем Льва Николаевича Толстого, станция Крекшино известна сравнительно немногим. Она расположена в 45 километрах от Москвы по Киевской железной дороге. Здесь Лев Николаевич находился с 5 по 20 сентября 1909 года (то есть за год с небольшим до своей смерти). Он гостил в имении Иосифа Ивановича Пашкова, в кругу своих ближайших родственников и друзей.

Крекшинским дням Лев Николаевич посвятил немало теплых строк в своем дневнике. Он пишет о прогулках в большом парке и соседнем лесу, где он едва не заблудился, о поездках верхом со своим издателем и другом В. Г. Чертковым. О беседах с местными крестьянами, о слушании музыки. В Крекшино в эти дни приезжали многочисленные гости из Москвы.

За Л. Н. Толстым охотились фотографы и кинематографисты, присланные из Лондона Томасом Эдисоном. Они сумели заснять его в парке во время прогулки.

У нас в семье сохранилось несколько никогда не публиковавшихся фотографий, отображающих крекшинский период жизни Л. Н. Толстого, о которых хочется сказать несколько слов.

Мой отец виолончелист Абрам Ильич Могилевский в 1909 году вывез нас на дачу в деревню Крекшино. Мне тогда было пять лет. Кроме моей матери Софьи Владимировны, в семье были две дочери. Старшей, Соне (ныне детской писательнице) тогда было шесть лет, а младшей, Жене, — два года.

Мы жили на краю деревни, около господского двора и почти на берегу большого пруда, через который был проложен пеше-

ходный мостик. По другую сторону пруда возвышался теннисный парк с вековыми соснами, липами и елями.

Старая баня и конюшня были любимыми местами наших игр. Мы редко осмеливались перейти пешеходный мостик, чтобы побегать в господском парке или пройтись

а потом вместе с Гольденвейзером и Б. О. Сибором. Лев Николаевич был очень чувствителен к музыке и в знак своей признательности подарил отцу свой большой портрет с дарственной надписью и ряд безделушек, хранящихся в семье по сей день.



по широкой аллее, полого поднимавшейся к белому барскому дому — коттеджу с высокими кирпичными трубами и крутой узорчатой крышей.

От имения И. И. Пашкова и до самой станции простирался густой лес, в нем было много грибов и ягод. Хотя до станции было сравнительно близко (меньше двух километров), ездили туда обычно на тарантасе или пролетке.

Однажды отец взял нас с собой на станцию, и здесь мы впервые увидели Льва Николаевича Толстого, который подошел к нашему тарантасу и долго беседовал с отцом и шутил с нами, детьми. Потом мы были на станции и провожали поезд на Москву вместе с Л. Н. Толстым.

Лев Николаевич, узнав, что мой отец музыкант, пригласил его к себе. Отец несколько раз играл Толстому, сначала один,

После того как отец стал бывать у Толстого, нас, детей, познакомили с его внуками Соней и Ильюшкой, и мы стали встречаться с ними, вместе гуляли в парке. На ступеньках лестницы дома Пашкова нас вместе с отцом сфотографировал Чертков. Ему принадлежат и остальные фотографии, хорошо сохранившиеся, несмотря на несколько десятилетий, прошедших с тех пор.

Мой отец умер три года тому назад. Он играл во многих оркестрах и был преподавателем музыки в школах имени Гнесиных, имени Глазунова и в Московской государственной консерватории. Ему было присвоено звание заслуженного учителя РСФСР. Прекрасная виолончель итальянского мастера Гварнери, на которой он играл, теперь находится в квартете имени Комитаса.

В. Белобородов

## История одной акварели



В театральном музее имени А. А. Бажурина есть акварель под названием «Урок крепостной актрисы». Это копия с оригинала, который хранится в запасных фондах музея-усадьбы «Архангельское». Внимательное изучение подлинника (1) убеждает, что на картине даны портретные изображения совершенно конкретных людей, причем изображения карикатурные. Сатирическое жало художника направлено на стоящего справа мужчину в модном

для начала 20-х годов прошлого века фраке и пестром жилете. Он маленького роста, но с огромной для такой фигуры головой, увенчанной бутафорским театральным шлемом. На гребне шлема вместо воинственного гордого орла притулилась канарейка. Поза и жесты явно пародируют характерную для эпохи классицизма актерскую игру, о которой М. С. Щепкин писал: «Никто не говорил своим голосом... слова произносились как можно громче и почти

каждое слово сопровождалось жестами»<sup>1</sup>. Лицо главного персонажа чрезвычайно характерно: залысины на висках, прическа в мелких кудряшках на круглом, как арбуз, черепе, тонкие губы, очень короткая шея.

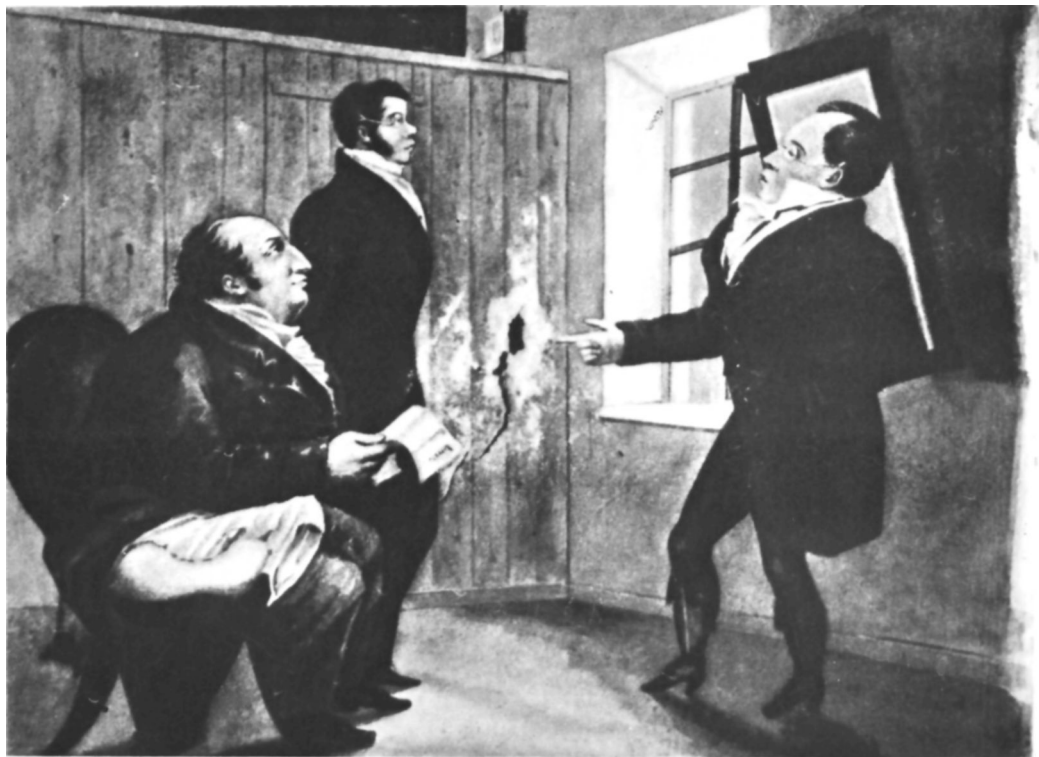
Кого же столь зло и насмешливо изобразил автор интересующей нас акварели? Определить личность этого деятеля помогла еще одна неизвестная акварель из запасников музея «Архангельское» (2). На ней он так же карикатурно изображен что-то декламирующим. На рукописи, ко-

театров<sup>2</sup>, слишком характерна и известна. В стихотворениях и переписке А. С. Пушкина упоминания о Шаховском можно встретить очень часто. Наиболее известное из них:

И вывел колкий Шаховской  
Своих комедий шумный рой, —

в «Евгении Онегине».

Автор же пьесы «Воспитание, или вот Приданое» директор Московского Императорского театра, соперник Шаховского Федор Федорович Кокоскин (1773—1838).



торую держит в руках сидящий напротив декламатора слушатель, удалось прочитать ее название: «Воспитание, или вот Приданое». Поза, в которой сидит этот персонаж, в кресле, напоминающем унитаз, не вызывает сомнений относительно того, какое употребление он нашел для рукописи. Узнать сидящего было нетрудно, так как наружность князя А. Шаховского, бывшего в течение многих лет фактическим директором Петербургских Императорских

Он окончил Московский университет и служил в гвардии, был прокурором в Москве. С 1818 года он — заведующий репер-

<sup>1</sup> Михаил Семенович Щепкин, Записки. Письма. М., 1952, стр. 114.

<sup>2</sup> В литературе о той эпохе иногда называют А. Шаховского директором Императорских театров. На самом деле он никогда этот пост не занимал, будучи лишь заведующим репертуарной частью.

туарной частью, а с 1823 по 1831 — директор Московского Императорского театра. Энтузиаст театрального дела, актер, драматург и режиссер, Кокошкин сам занимался обучением сценическому искусству воспитанников театральной школы.

Как литератор Кокошкин выступил впервые в 1806 году с комедией «Перегородка» (переделка с французского). Затем появились стихотворения «На бегство Наполеона» (1812), «Излияние чувств глубочайшей благодарности» (1814), перевод, или, вернее, переделка «Мизантропа» Мольера (1816), «Роман на один час» — комедия, перевод с французского (1820), «Излияние чувств верноподданного» — стихотворение на кончину императора Александра I (1826). Интересующая нас комедия в стихах «Воспитание, или вот Приданое» написана в 1824 году.

Не отличаясь даже средним талантом, Кокошкин считался все же видным представителем отживающего классицизма, который выразился и в его литературных пристрастиях. Кокошкин восстаёт против Шекспира, не желает читать Шиллера, не признает вовсе романтиков. Но любовь его к литературе и театру была безгранична и бескорыстна, и за это его уважали и даже любили.

У Кокошкина каждую неделю бывали литературные вечера и домашние спектакли. В его доме собирались известные литераторы и артисты. Близко знавший Кокошкина А. Милюков называет Щепкина, Мочалова, Загоскина и Вельтмана — все это близкие знакомые А. С. Пушкина. Да и сам Пушкин присылал сюда свои стихи, например поэму «Медный всадник», для прочтения в кругу ценителей. Таким образом, ныне забытый театральный деятель был очень характерной и выразительной фигурой своего времени.

Внешность и манера Кокошкина были оригинальны. По свидетельству А. Милюкова, в 30-е годы это был человек лет семидесяти, «но он молодился и франтил как двадцатилетний юноша. Каждый день в завитом парике, одетый по последней картинке, с модной тросточкой в руках, он гулял на Тверском бульваре, лорнировать знакомых и незнакомых дам»<sup>3</sup>. По свидетельству того же Милюкова, Кокошкин был «недурным актером в тогдашнем псевдоклассическом смысле и удачно играл на своем домашнем театре в комедиях Мольера, но едва ли в ряду разыгранных им ролей на сцене нашлось бы лицо столько комическое, как он сам был в действительной жизни»<sup>4</sup>.

Второго участника сценки, запечатленной на акварели (1), зная время и место (Москва 20-х годов), было не трудно определить по сохранившимся портретам. Это оказался князь Петр Иванович Шаликов (1768—1852). Он продолжал в русской литературе устаревшие традиции карамзинского сентиментализма.

Кажется, ни один русский писатель не вызвал к жизни такого количества эпитетов, как он. Батюшков, Воейков, Вяземский и сам Пушкин — вот неполный перечень русских поэтов, «прославивших» этого незадачливого стихотворца.

Одна из наиболее злых характеристик поэта принадлежала известному в то время, а сейчас также забытому А. Ф. Воейкову.

Вот на розовой цепочке  
Спичка Шаликов, в слезах,  
Разрумяненный, в веночке,  
В ярко-бланжевых чулках,  
Прижимает веник страстно,  
Кличет «граций здешних мест»  
И, мяуча сладострастно,<sup>5</sup>  
Размазную без масла ест<sup>5</sup>.

В 1823—1833 годах Шаликов издавал и редактировал «Дамский журнал», а в 1813—1838 руководил казенными «Московскими ведомостями». При ограниченности собственного таланта он умел ценить чужие, благоговел перед Пушкиным и неоднократно выражал ему свое восхищение в стихах и прозе. Впервые он напечатал стихотворное обращение «К портрету А. С. Пушкина» в 1822 году.

Талант и чувства в нем созрели  
прежде лет,  
Овидий наш, он стал ко славе муз  
поэт!

В последующие годы номера шаликовского «Дамского журнала» буквально были заполнены восторженными отзывами о произведениях Пушкина, посланиями, экспромтами и т. п.

В свою очередь, Пушкин, несмотря на ироническое отношение к талантам своего поклонника, относился к нему дружелюбно.

В первом издании стихотворения «Раз-

<sup>3</sup> А. Милюков, Литературные встречи и знакомства. М., 1879, стр. 2.

<sup>4</sup> Там же.

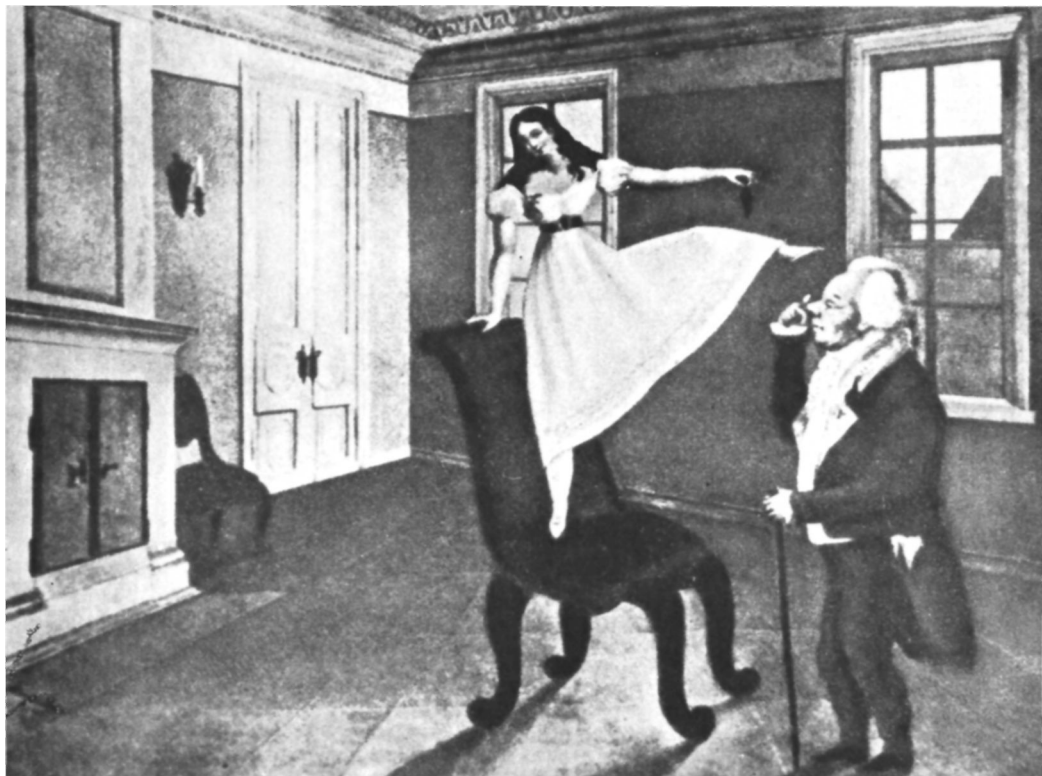
<sup>5</sup> А. Ф. Воейков, Дом умалишенных. Русская сатира. М.—Л., 1960, стр. 79.

говор книгопродавца с поэтом» о нем сказано:

Но полно! в жертву им свободы  
Мечтатель уж не принесет;  
Пускай их Шаликов поет,  
Любезный баловень природы...»<sup>6</sup>

В письме к П. А. Вяземскому он пишет: «Ты увидишь в «Разговоре поэта и книгопродавца» мадригал князю Шаликову. Он милый поэт, человек достойный уважения, и надеюсь, что искренняя и пол-

цах. На Тверском бульваре попадаются две-три салоппницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да кн. Шаликов»<sup>8</sup> Но знакомство их продолжалось. В 1836 году Пушкин даже стал бывать у Шаликова дома. Дело в том, что последний поддерживал в официальной газете «Московские ведомости» издание пушкинского «Современника», чем и заслужил благодарность и расположение великого своего коллеги. С «Современником» связан и неудачный визит Пушкина к Шаликову, о котором мы знаем из относящегося



ная похвала, с моей стороны не будет ему неприятна»<sup>7</sup>.

Лично Шаликов и Пушкин познакомились в 1827 году и часто встречались в доме Василия Львовича Пушкина (дяди поэта). Со временем ироническое отношение Пушкина к Шаликову-журналисту укреплялось. В 1833 году он писал жене: «Скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на ее скучных ули-

<sup>6</sup> А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. II, М., 1956, стр. 194. Прим., стр. 420. Первоначально строка читалась: «Пускай их Батюшков поет», затем появился Шаликов. В окончательной редакции фамилия исчезла. Стало: «Пускай их юноша поет».

<sup>7</sup> А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. X, М., 1958, стр. 125.

<sup>8</sup> Там же, стр. 441.

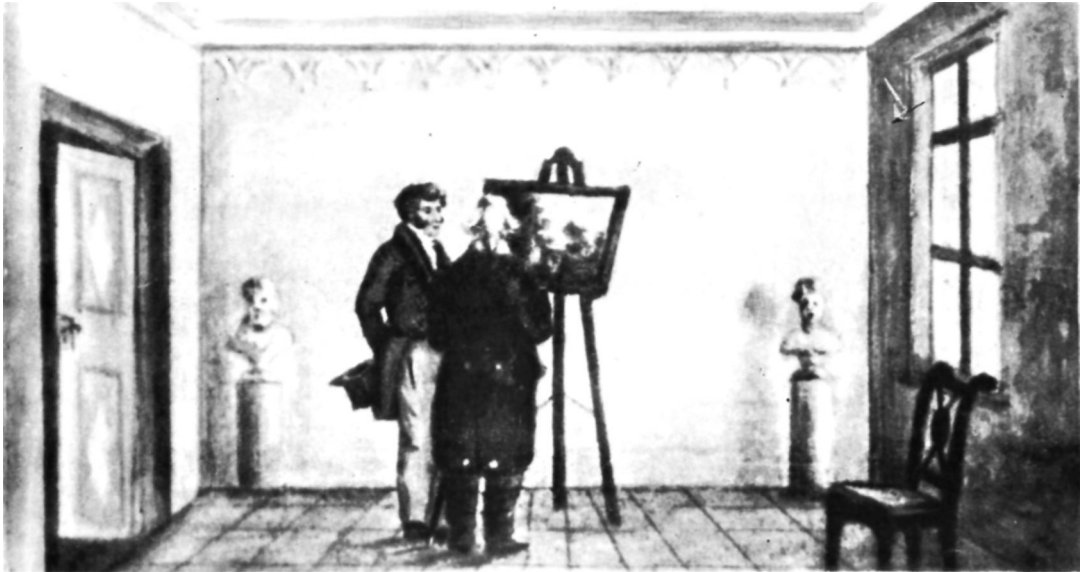


к 1836 году единственного сохранившегося письма Шаликова к Пушкину. Оно очень характерно для личности этого пушкинского современника и для взаимоотношений двух поэтов.

«Ах! как я жалел, жалею и буду жалеть, что поспешил вчера сойти с чердака своего, где мог бы принять бесценного гостя, и вместе с ним сойти в гостиную, где жена и дочь моя разделили бы живейшее удовольствие моего сердца, разделяя со мною все чувства относительно этого, повороту, бесценного и, присовокуплю,

На рисунке изображена неудачная попытка Кокошкина преподать урок драматического искусства какой-то достаточно известной широкой публике актрисе, которая по ходу действия надевает воинский доспех.

В воспоминаниях современников такой эпизод описан. Великая русская трагическая актриса Екатерина Семенова была дочерью крепостных смоленского помещика Лутяты Семена и Дарьи, которых владелец «в благодарность» подарил преподавателю кадетского корпуса Жданову. Став извест-



редкого для всех гостей... Ужасная груда газетной корректуры не допускает меня сказать любезнейшему Александру Сергеевичу изустно все, что хотелось бы сказать; но может статься как-нибудь удастся (к поэту рифмы так и рвутся... Ах ты! да вот и стих!..), удастся, говорю, видеть и слышать нового Петрова Историка; а между тем посылаю дань Карамзину, с просьбою поместить, аще достойна, в Современник, о котором также прошу и также аще можно: по крайней мере я возвещал о нем в своей газете: усердно значит же что-нибудь; но получить в подарок такой журнал от такого издателя... это не имеет термина — во всех отношениях»<sup>9</sup>.

Итак, на карикатуре известнейшие деятели театральной и литературной Москвы 20-х годов.

ной, Семенова не терпела никакой фамильярности в обращении со стороны лиц, стоящих выше ее по сословной иерархии. Актриса вполне осознавала свое достоинство художника, и отношение к ней как к бывшей крепостной «девке» ее глубоко оскорбляло. В течение многих лет она была фактической женой большого вельможи князя Гагарина, одного из вершителей судеб русского театра, и имела от него детей. Однако узаконить свой брак и детей она могла, только покинув сцену. Но и после церковного венчания она чувствовала враждебность к себе не только со стороны родственников мужа, но и со стороны всего его окружения.

<sup>9</sup> «Литературное наследство», 1934, № 16—18, стр. 602—603.



обучались рисовать, копировать, «иллюминовать» (писать красками). Изучению перспективы, как прикладной части начертательной геометрии, не уделялось должного внимания даже тогда, когда сам мастер владел ею хорошо. Дело в том, что в те времена, как, впрочем, и теперь, в профессиональной художественной школе перспективу преподавали не художники, а математики, знатоки этого раздела геометрии. У художников, работавших в «Архангельском», знания перспективы не совершенствовались, так как больше всего времени они уделяли росписи фарфоровой посуды, а не самостоятельной работе над композицией.

Наконец, происхождение этих любопытных художественных документов из среды юсуповских крепостных живописцев подтверждает и акварель из собрания музея творчества крепостных «Останкино», принадлежащая кисти того же мастера (3).

Полное совпадение приемов, те же ошибки в перспективном построении. Даже кривоногий стул, на котором стоит балерина, тот же, что на первой акварели. Но кто же на этот раз привлек внимание сатирика? Да не кто иной, как владелец «Архангельского» сам князь Юсупов. По сохранившемуся в музее «Архангельское» гипсовому бюсту работы французского художника Никола де Куртейля можно узнать и балерину. Это Софья Малинкина, танцовщица и наложница престарелого мецената.

Современники рассказывают, что около дома князя в Харитоньевском переулке находился другой, в котором жили его крепостные балерины. Он был окружен высоким забором и для посторонних недоступен. Но автор рисунка, видимо, был своим человеком в доме и хорошо знал его повседневный быт. За окном, у которого стоит Юсупов, виден сплошной забор, известный по описаниям. Таким своим человеком в княжеском серале мог быть только свой «служитель», как тогда говорили, то есть дворовый крепостной. Это подтверждается и еще одним любопытным обстоятельством. Рисунки с насмешками над руководителями Петербургского и Московского театров оказались в архиве Юсупова, да и задуманы, очевидно, не без его влияния. Третий же рисунок, на котором сам

князь изображен весьма скептически, едва ли мог доставить ему удовольствие, и он вряд ли пощадил бы автора карикатуры, если бы она попала ему в руки; и рисунок оказался вне сферы его досягаемости.

Кто же из крепостных художников Юсупова мог быть автором всех этих карикатур? С большой долей вероятности можно предположить, что им был уже упоминавшийся Федор Григорьевич Сотников. Известно, что князь нередко вызывал его из «Архангельского» в свой московский дворец с красками, инструментами и холстом для выполнения каких-то поручений. Еще один неизвестный рисунок в архиве «Архангельского» расшифровывается как автопортрет художника с Юсуповым (4). Н. Б. Юсупов, владелец «Архангельского», был среди доживавших свой век в Москве вельмож екатерининского времени фигурой характерной и очень колоритной. О нем писали Герцен, Белинский, Грибоедов и многие менее известные мемуаристы. Это ему посвящено пушкинское «Послание к вельможе», на которое ссылаются все пишущие о той эпохе. Сохранилось несколько портретов князя, исполненных известными художниками, но установить, что на публикуемом рисунке изображен именно он, помогли, не они, а пушкинский набросок пером на полях рукописи. Поэт обладал исключительной меткостью глаза и зрительной памятью. В этом с ним не мог сравниться ни один из современных художников-профессионалов, кроме, может быть, одного А. Орловского. На пушкинском рисунке, как и на нашей акварели, Юсупов изображен со спины, в обычном для него домашнем костюме: старомодном просторном фраке, напоминающем кафтан XVIII века, мягких козловых сапожках, в парике с косицей. Князь рассматривает выполненную для него картину, изображена не мастерская художника, а типичная комната в дворянском особняке. Исполнен рисунок без всяких намеков на карикатурность, но формальные приемы нам уже знакомы. Все четыре рисунка выполнены одним мастером.

Перед нами интересная страница театрального быта пушкинского времени и творчества крепостных художников.

## Виктор Хохлачев

(Якутская АССР, пос. Усть-Нера)

У истоков  
«Неравного брака»

В Третьяковской галерее хранится широко известная картина русского художника академика Василия Владимировича Пукирева, отображающая бесправное положение женщины в царской России. Это обличительное полотно, которое получило название «Неравный брак», создано в 1862 году. Но вряд ли те, кто подолгу простаивает возле этого холста в зале Третьяковки, знают, как родился замысел выходящего произведения.

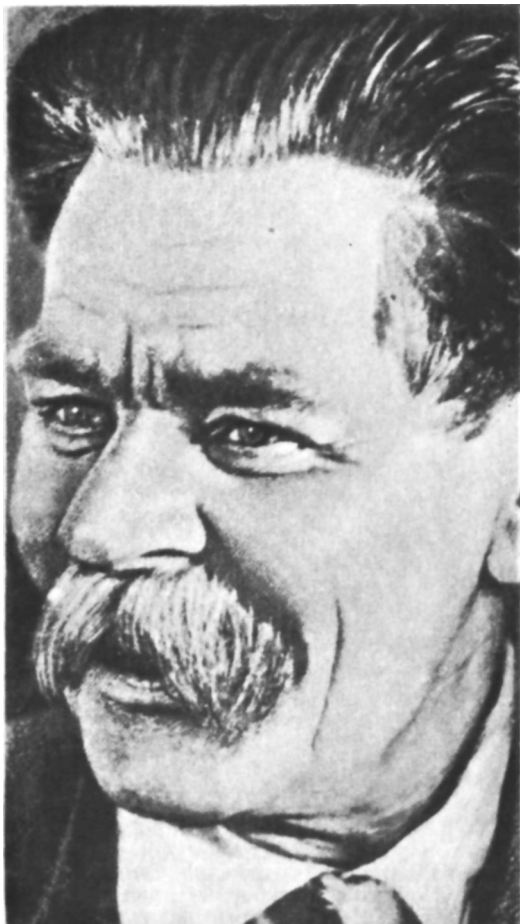
Литературовед Л. В. Селиванова, изучая картину, заметила, что она чем-то напоминает хорошо знакомый литературный сюжет: на полотне словно бы перекочевали герои одного из рассказов Евгения Гребенки. Своим открытием Л. Селиванова поделилась в статье «Из материалов к биографии Е. П. Гребенки», опубликованной в «Научных записках Харьковского педагогического института имени Г. С. Сковороды» («Филологическая серия», т. XXX, 1958 г., стр. 94). Действительно, кто знаком с творчеством Евгения Павловича Гребенки, не может не заметить, что картина В. В. Пукирева словно бы иллюстрирует одну из страниц рассказа украинского писателя «Лука Прохорович». И это вовсе не случайное совпадение.

Пукирев вместе с И. И. Шишкиным учился в Московском училище живописи, скульптуры и архитектуры у профессора А. Н. Мокрицкого, воспитанника Венецианова и Брюллова. Замечу кстати, что это был тот самый Мокрицкий, который явился инициатором выкупа из неволи Т. Г. Шевченко: это он уговорил Карла Брюллова взяться за освобождение крепостного художника, пригласил для позирования своему учителю поэта В. Жуковского, водил молодого Тараса в Эрмитаж, знакомил его с петрашевцами и помогал «проталкивать» его первые стихи — кирпичики будущего «Кобзаря».

Мокрицкий был близким другом Гребен-



ки. Оба они были родом из Пирятинского уезда Полтавской губернии, вместе жили и учились в Нежинской гимназии князя Безбородко. Художник даже нарисовал портрет своего родича, который и сейчас украшает интерьер Нежинского педагогического института имени Н. В. Гоголя. Мокрицкий, бывший постоянным членом петербургского литературного кружка Гребенки, хорошо знал произведения этого писателя, автора нашумевшего «цыганского» романа «Очи черные» и др. Кроме того, в московском училище учился родной брат Евгения Гребенки — Николай, будущий художник-архитектор и академик. Конечно же, Пукирев уже не мог устоять перед таким напором родственников-пирятинцев. Ему ничего не оставалось, как воплотить подсказанную ими тему в свое замечательное полотно. Так герои гребенковского «Луки Прохоровича» начали свою вторую жизнь в картине «Неравный брак».



К. В. Куракина

## «Копилка курьезов»

«Искусство стать нищимъ въ шесть уроковъ! Профессоръ Лазарусъ Рони имѣетъ честь сообщить почтеннѣйшей публикѣ, что имъ учреждена особая академія для практическаго и теоретическаго обученія нищенству. Каждый желающій обладать среднимъ умственнымъ развитіемъ, можетъ по прослушаніи шести уроковъ жить беззаботно и спокойно на средства населенія. Условія взноса платы за ученіе очень удобны. Одновременно академія принимаетъ къ себѣ на иждивеніе дѣтей, которыя за небольшое вознагражденіе будутъ обучены въ тѣмъ тонкостямъ нищенскаго искусства, и смогутъ прикидываться калѣками безъ вреда для собственнаго здоровья. Затѣмъ за небольшой дополнительной взносъ имъ будутъ указаны всѣ улицы, гдѣ они могутъ собирать обильную дань.»

Профессоръ Рони имѣетъ возможность выдавать всевозможные аттестаты и свидетельства о разныхъ уродствахъ, и великодушно дѣлаетъ на лицъ и другихъ частяхъ тѣла всевозможные нарывы и язвы. Интеллигентныя женщины и другія добрыя особы могутъ за дешевую плату получать на прокатъ двойней, способныхъ своимъ поразительнымъ сходствомъ растрогать самое черное сердце. Кроме того, профессоръ даетъ на прокатъ собакъ для слѣпыхъ, костью для увѣчныхъ, разныя повязки съ кровью и безъ оной, — словомъ всѣ принадлежности, необходимыя для успѣшнаго нищенскаго промысла. Всѣ заказы изъ провинціи выполняются точно и въ самый короткій срокъ».

В письмахъ А. М. Горького из Сорренто, адресованныхъ И. А. Груздеву, встречаются такие строчки:

«...и так как Вы мой биографъ, прилагаю вырезки...» (письмо от 23/1—28 г.) или «Пошлю еще несколько курьезовъ для Вашей копилки оныхъ» (письмо от 24/IV—28 г.).

Эти вырезки, характерные для буржуазной и эмигрантской прессы техъ летъ, сохранились. На некоторыхъ изъ нихъ имеются пометки Горького.

Вотъ, напримеръ, объявленіе в одной изъ лондонскихъ газетъ, на которой остановилъ свое вниманіе Алексѣй Максимовичъ (фотокопия воспроизведена на этой страницѣ).

Следующая заметка была напечатана в русской эмигрантской газете «Последние новости», издававшейся в Париже под редакцией профессора П. Н. Миллюкова.

## Небоскребы и самоубийства

П Н 14/ХИ

Нью-Йорк, 13 декабря

В Соединенных Штатах за последнее время самоубийцы все чаще начинают прыгать из верхних этажей небоскребов, предпочитая этот способ кончать с собой всякому другому. Прежде самоубийцы прибегали к револьверной пуле или к газу, теперь же, почти исключительно прыгают из окон небоскребов.

В связи с последними биржевыми крахами самоубийства в Нью-Йорке настолько участились, что в отелях иногда спрашивают людей, требующих комнату в верхнем этаже:

— Вы хотите переночевать или выбростись из окна?

Вот еще две заметки из той же газеты.

## Письмо к Господу Богу

«Кельнише Цайтунг» сообщают из Бухареста:

Крестьянин из Валахии Иван Крак был в большой беде: надвигался день уплаты по векселю, а необходимых для этого 6000 лей не было. Долго ломал себе голову Иван Крак и, наконец, придумал выход из положения. Ведь священники много раз учили, что в случае крайней беды надо обращаться к богу.

Иван Крак хоть и с большим трудом, но мог писать. Всю ночь просидел он над письмом к господу богу, вложил его в конверт, наклеил на него почтовую марку, написал адрес: «Многоуважаемому Господу Богу на небеса», — и опустил свое послание в ящик.

Письмо пошло своим путем. На конверте поставили печать: «Не доставлено за ненахождением адресата»; обратного адреса не было, и письмо отправили в центральный почтамт в Бухаресте. Здесь его вскрыли, прочитали, и содержание его так растрогало чиновников, что они устроили подписку

в пользу Ивана Крака и собрали 3000 лей. Деньги эти крестьянину отправили почтовым переводом.

Когда почтальон принес Ивану Краку деньги, крестьянин сразу сообразил, что это господь бог услышал его просьбу. Но денег оказалось мало: тремя тысячами лей нельзя выкупить вексель в 6000 лей. И Иван Крак написал богу второе, благодарственное письмо:

«Великий Бог, благодарю Тебя за то, что Ты для меня сделал. Но если Ты захочешь в другой раз помочь человеку, то не посылай своих подарков по почте. Почтовые чиновники украли у меня половину присланных Тобой денег».

Почтовые чиновники в бухарестском почтамте второго сбора в пользу крестьянина уже не производили».

## Кого „нельзя читать“.

В Лондоне издается мало кому известный журнал «Международный монархический вестник». Журнал выпускается на нескольких языках и имеет целью борьбу с революцией во всем мире.

В одном из последних номеров его напечатан курьезный список авторов, «произведения которых не следует читать». Приводим несколько выдержек из этого «индекса», с мотивировками:

Франс Анатоль. — Псевдоним писателя, любившего высмеивать монархию и религию. Опасен в силу искусности своих доводов и забавности своих шуток, впрочем, в большинстве случаев заимствованных у Вольтера.

Горький Максим. — Друг и ученик Ленина. Достоинство его повестей и рассказов спорно.

Роллан Ромен. — Французский поэт и драматург. Его произведения вызывают у слабых и впечатлительных людей безумие и страсть к разрушению.

Эйнштейн Альберт. — Профессор. Ученый, враждебный традиции, не ограничивающий предмет своих занятий математикой, но деятельно поддерживающий большевизм и прочие виды политической относительности во всем мире.

Далее в списке называются Бернард Шоу, «всем известный паяц»; Герберт Уэллс, «особенно вредно действующий на чистое воображение юношей»; Бласко Ибаньес, «сочувствующий коммунистам»; Эптон Синклер, «призывающий

рабочий класс к анархии»; Барбюс, «лидер антиимпериалистов».

Индекс не кончен. В следующих номерах журнала обещано его продолжение.

Стоит вспомнить, что писал Горький в статье «О безответственных людях и о детской книге наших дней», напечатанной 10/III 1930 года в газете «Правда»: «Необходимо, чтобы дети хорошо знали забавнейшую историю о том, как идиотизм людей, которые заботились навеки утвердить свое личное благополучие, затрудняя развитие общечеловеческой культуры, задерживал и личное культурное развитие командующих идиотов».

В русской эмигрантской газете «Руль», выходившей в Берлине, Горький обратил внимание на такую заметку:

### **ЗАБОТЛИВЫЙ**

**ОТЕЦ. Семейная драма? Но**

Въ Шанбери (Франція) банковскій служащій въ ужасѣ передъ мыслью, что онъ умретъ и оставитъ семью безъ средствъ, убилъ резиновой палкой жену, 18-лѣтняго сына и 11-лѣтнюю дочь. Послѣ этого онъ покончилъ съ собой. **Семьи-то нет!**

Алексей Максимович зачеркнул заглавие заметки «Семейная драма», поставил знак вопроса и чернилами написал:

### **ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ. НО СЕМЬИ-ТО НЕТ!**

Следующая заметка из парижской газеты «Последние новости», присланная Алексеем Максимовичем И. А. Груздеву, характерна для националистических настроений немецкой прессы того времени.

### **Неслыханный скандал**

Берлинская «Нахтаусгабе» рвет и мечет. Произошел неслыханный скандал, — утверждает националистическая газета. — Немецкая кобыла Зихоль отправлена для случки во Францию, где ей в супруги избран чистокровный французский жеребец «Мон Талисман».

«Нахтаусгабе» видит в этом факте оскорбление германского национального достоинства: немецкие кобылы — не для французских жеребцов.

Никакой приписки Алексей Максимович не сделал. Как видно, «комментарии излишни!»

Ратмир Тумановский

## Русские шуты

Шутами на Руси называли людей, которые, имея здравый смысл и тонкий, ехидный или просто остроумный склад ума, прикидывались дураками, чтобы безопасно говорить правду.

Шутовское занятие считали дьявольским, а самих шутов — слугителями дьявола. Отсюда и родилось дошедшее до наших дней выражение «шут его знает», в котором шут фигурирует вместо черта (чтобы невзначай не призвать проклятого).

В прошлом 1968-м году исполняется своеобразный юбилей — 900 лет со дня первого

письменного упоминания о русских шутах. В «Повести временных лет» под 1068 годом записано: «этими и иными способами вводит в обман дьявол, всякими хитростями отвращая нас от бога, трубами и скоморохами, гусями и русалиями. Видим ведь игрища утоптаные, с такими толпами людей на них, что они дают друг друга, являя зрелище бесом задуманного действия, — а церкви стоят пусты». Шут всегда был притягательной фигурой — ведь, кроме него, только бунтари и мятежники открыто обличали государственный строй, выявляли его пороки. К шутам, скоморохам, юродивым обращались многие писатели, стремясь через эти персонажи, через их речи, слова передать мятежный дух народа, — достаточно вспомнить юродивого из пушкинского «Бориса Годунова».

Шуты, кроме своего главного призвания — обличения, были еще по своей жизнерадостной натуре людьми веселыми. Поэтому нынешние сатирики и юмористы могут считать, что они развивают и поддерживают традиции старых русских шутов. Зорного в этом нет ничего.

Придворные шуты в России существовали до 1740 года, когда принцесса Анна, не желавшая смеяться над человеческими недостатками, а тем более над безобразиями (среди шутов были и такие), распустила всех шутов.

О русских шутах сохранилось мало сведений, и только о тех, кто жил в первой половине XVIII века, мы кое-что знаем. О них мы и рассказываем.





## ИВАН БАЛАКИРЕВ

Петр I держал при своем дворе много шутов — не столько для забавы, сколько как орудие насмешки над придворными. Любимцем Петра был Иван Емельянович Балакирев. О происхождении его сохранилось слишком мало сведений. Фамилия Балакиревых означена во второй части «Родословной книги российских дворян», но при этом сказано, что происхождение рода Балакиревых неизвестно (заметно, как же их внесли в эту книгу, если происхождение их неизвестно?).

Балакирев досаждал многим придворным, не страшась даже всевышних Меншикова и Бирона, высказывая о них то, о чем другие и думать не смели.

Честный и бескорыстный Балакирев во всю жизнь не нажил состояния, хотя и мог, пользуясь покровительством Петра I.

Бог знает кому пришло в голову шутить над Балакиревым после его смерти. Но в 1873 году книгоиздатель Мухин выпустил в Москве портрет с подписью «Знаменитый шут Балакирев», перепечатав его с портрета, вышедшего еще в 1858 году. На самом деле то был портрет живописца Ля-Тура, выдаваемый за портрет Балакирева.

## НЕ ВЕРЬ ИМ

Один царедворец, желая посмеяться над Балакиревым, спросил его:

— Правду ли говорят при дворе, что ты дурак?

— Не верь им, — отвечал Балакирев, — тут все врут, людей морочат. Вот и про тебя говорят, что ты умен. Да ты не верь им.

## ЛУЖА

Однажды Балакирев вез царя в одноколке. Вдруг лошадь остановилась посреди лужи для известной лошадиной надобности. Балакирев хлестнул ее и пробормотал:

— Ну, точь-в-точь ты, Алексеич!

— Кто? — переспросил Петр.

— Да вот эта кляча, как ты.

— Почему так? — вспыхнул Петр.

— Да так вот. Мало ли в этой луже дряни, а она еще подбавляет. Мало ли у Меншикова всякого богатства, а ты все еще ему пичкаешь.

## МОРЕ СУПОВ

Приглашенный на обед к одному иностранцу, Балакирев увидел стол, заставленный множеством мисок с супами. Когда их начали поочередно подавать, Балакирев после первого снял галстук, после второго — кафтан, после третьего — парик, затем — жилет, башмаки. Дамы, не ожидая дальнейшего обнажения, поспешили удалиться. Хозяин дома с негодованием закричал Балакиреву:

— Что это значит? Какая цель твоей глупости?

На что Балакирев, снимая чулки, невозмутимо ответил:



Портрет живописца Ля-Тура, принимаемый за портрет Ивана Балакирева



— Да ничего. Готовлюсь переплыть это страшное море супов.

### ГАУПТВАХТА

Однажды Балакирев, спрошенный о чем-то царем, ответил грубо, но правильно и был посажен на гауптвахту. Узнав вскоре, что шут был прав, царь велел освободить его. Спрошенный вскоре о похожем деле, Балакирев закричал находившимся тут же солдатам:

— Голубчики, ведите меня на гауптвахту, да поскорее!

Петр, поняв намерение, согласился с противоположным мнением.

### УТЕШЕНИЕ

Как-то при дворе говорили, что народ очень ропщет из-за новых налогов.

— Нельзя на это сердиться, — сказал Балакирев. — Надо же и народу иметь какое-нибудь утешение за свои деньги.

### ЛУКОШКО С ЯЙЦАМИ

Один из придворных, человек совершенно без способностей, пройсками своими достиг, однако же, того, что Петр пообещал ему крупную должность. Прознав об этом, Балакирев дождался, когда царь назначит придворному день, в который тот должен прийти за определением. В этот день спозаранку Балакирев явился в приемную, принес лукошко с яйцами и сел на него. Пришел и придворный, попро-

сил доложить о нем царю. Балакирев долго не соглашался, но потом с условием, чтобы проситель посидел за него на яйцах, отправился за государем и говорит ему:

— Посмотри-ка, Алексеич, какую я тебе наседку покажу!

Петр, выйдя в приемную и увидя просителя, сидящего на яйцах, покотился со смеху и сказал:

— Лучшего места тебе и искать не надо! Я было чуть не ошибся, да, спасибо, Балакирев выручил.

### КАРТЫ-РАЗОРИТЕЛЬНИЦЫ

Однажды спросили Балакирева:

— Отчего ты не играешь в карты?

— Мне некогда.

— Да чем же ты занят?

— А все бегаю да вас учу.

— Чему же ты можешь научить?

— Да тому, чему меня государь учил. Он мне сказал: ежели кто не играет, тот и дельный человек, а кто теряет на карты время, тот или хочет другого разорить, или не знает, куда ему от скуки деваться с пустой головой.

### ПО СВОЕЙ ЦЕНЕ

В одном деле Балакирев принес пользу царю, но пришлось заодно досадить царице. Петр рассудил так: дал Балакиреву 30 палок за царицыны переживания и подарил шубу за полезное дело. Вскоре один придворный стал



торговать у Балакирева шубу. Тот согласился, но — «за свою цену». Лишь только придворный изъявил согласие на «свою цену», как Балакирев схватил палку и стал его бить. Придворный пустился бежать и немедленно донес о происшествии царю. Петр призвал Балакирева и спрашивает:

— Как ты смел буяннить и драться во дворце?

— Я, ваше величество, не дрался, а продавал шубу по своей цене. Это добровольное соглашение. — Дальше Балакирев рассказал все, как было, и присутствовавшие расхохотались.

Петр велел отдать шубу пострадавшему, но Балакирев возмутился:

— Ты, государь, приказываешь исполнять законы, а сам первый нарушитель. Шубу я получил за тридцать палок, а должен отдать за двенадцать: себе в убыток. Прикажи ответить ему еще восемнадцать палок — и шуба его.

Но придворный отказался и от шубы и от палок.

### СПЯЩИЙ БАЛАКИРЕВ

Как-то Петр I сказал:

— Ты много спишь, Балакирев, это вредно.

— Напротив, государь, полезно.

— Почему же?

— А потому, что, бродя по белу свету, я могу надевать много беды, а во сне я ни тебе, ни твоим придворным не вреден.

### ЯН Д'АКОСТА

Среди шутов Петра Великого был и Ян д'Акоста, португалец, привезенный в Россию из Голландии одним из русских дипломатов. Д'Акоста был человек умный, очень образованный, знал несколько европейских языков. По натуре д'Акоста был ловок и хитер, умел втереться в доверие и всякому понравиться. Петр I очень любил заводить с д'Акостой богословские споры. Шут отвечал обычно умно, тонко, хотя и потешал всех своими странными выводами и умозаключениями.

В 1717 году д'Акоста был уже главным над царскими шутами, именовался среди них графом и даже носил титул «короля самоедского», а 1 апреля 1723 года д'Акосте был дарован остров Гюланд — дикий, необжитой и очень маленький.

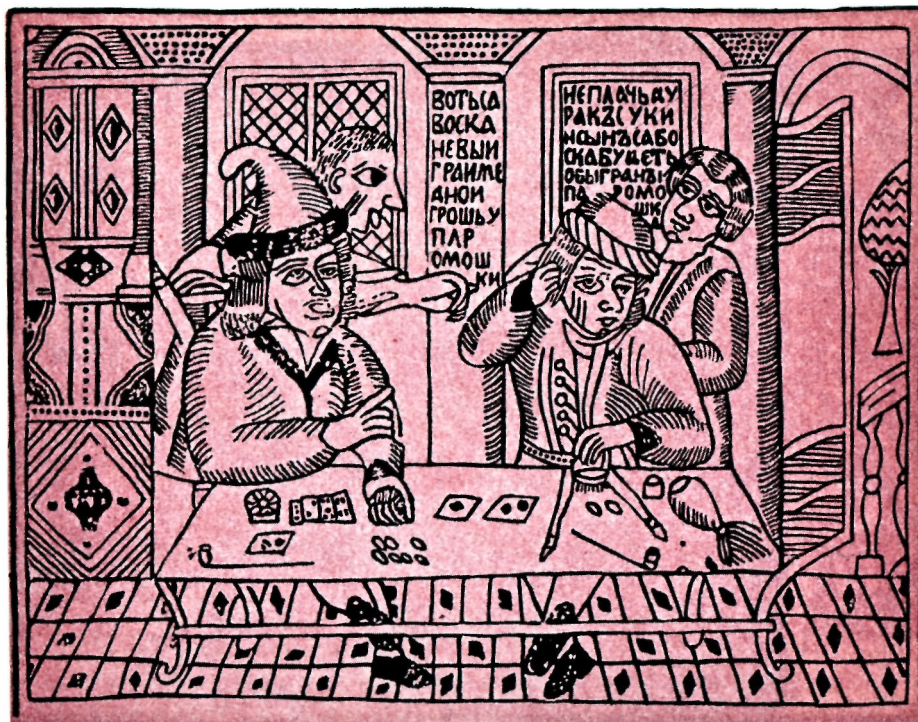
Однажды Петр угостил д'Акосту архикрепкой дистиллированной перцовкой. Д'Акоста принял ее в такой большой дозе, что стал кричать, будто он тут же умрет.

На самом деле он умер гораздо позднее.

### ДВЕ СВЕЧИ

Д'Акоста, будучи в церкви, поставил одну свечу перед образом Михаила-архангела, а другую — перед демоном, изображенным под стопами архангела. Дьячок, увидя это, сказал:

— Ах, сударь! Что вы сделали? Ведь эту свечу вы поставили дьяволу!



— Не мешай! Не худо иметь друзей везде — в раю и в аду. Ведь не знаем, куда попадем.

### ИЗВИНЕНИЕ

Одного известного плута д'Акоста назвал негодяем. Дело попало в суд, и мошенник выставил столько свидетелей, что судья был вынужден признать его честным человеком и присудить д'Акосту к извинению. Тут же на суде д'Акоста сказал:

— Это правда — он честный человек, — я солгал.

### ПОЛУГODOВАЛЫЙ МЛАДЕНЕЦ

Пожив в Петербурге, д'Акоста принял православие — разумеется, по расчету. Через полгода духовнику д'Акосты сообщили, что новообращенный не выполняет обрядов православия. Духовник призвал д'Акосту и спросил его о причине.

— Батюшка, — ответил шут. — Когда я сделался православным, не вы ли сказали, что я стал чист, словно переродился?

— Правда, — ответил священник.

— А так как всего полгода, как я переродился, то можно ли требовать что-нибудь серьезное от полугодовалого младенца?

### НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Один довольно глупый придворный спросил д'Акосту, почему он разыгрывает из себя дурака.

— Конечно, не по одной с вами причине, — отвечал шут, — ибо у меня недостаток в деньгах, а у вас — в уме.

### СУДЕЙСКИЕ ОЧКИ

По одному делу д'Акоста вел длительную тяжбу в суде. После многих хождений в суд, проволочек и разбирательств судья сказал д'Акосте:

— Из твоего дела я, признаться, не вижу хорошего конца.

— Так вот вам, сударь, хорошие очки, — ответил д'Акоста, подавая судье две золотые монеты.

### РАЗУМНЫЙ МЛАДЕНЕЦ

Кто-то спросил д'Акосту:

— Правда ли, что если дети бывают разумны в юности, то под старость они делаются великими глупцами?

— Не могу сказать наверное, — ответил шут. — Но ежели это правда, то вы были в младенчестве превосходный разумник.

### ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Когда д'Акосту спросили, почему он не справляет двадцатипятилетие свадьбы со своей женой, он ответил:

— Подожди, брат, еще пять лет, тогда будем праздновать тридцатилетнюю войну.



НУМЕЕМА МЫ  
 ДЪРАНИ ЗДЕЛАТЬ РОБЕНКА СТАНЕ ИЗ  
 ПОРМИТЬ СЕРОВА КОТЕНЬКА АВОЕ ПЪСТАРОЕ КИМЪ  
 СТАНЪ АОВИТЬ ЧЕРНОВА МЫШОНЬКА

## ДОЛЖНИК

На смертном одре д'Аоста сказал духовнику, когда тот спросил его о последнем желании:

— Прошу бога продлить мне жизнь хотя бы на то время, пока я выплачу долги.

Духовник, приняв это желание за чистую монету, отвечал:

— Желание твое похвально. Надейся, что господь услышит его и исполнит.

— Ах, ваше преподобие, господь-то ведь не дурак. Если б он и впрямь исполнил это желание, то я бы никогда не умер, — ведь я не отдаю долги.

## АНТОНИЙ ПЕДРИЛЛО

Флорентиец Педрилло приехал в Россию в начале царствования Петра и уже в 1700 году состоял придворным шутом. Педрилло исполнял при Петре одну важную должность — распоряжался неучами и бездельниками. Когда из-за границы возвращались дворянские дети, обучавшиеся там, Петр «сам в успехах их свидетельствовал и оказавшись достойными определял по способности каждого к должности; а нашедши между ними таких, кои или от небрежения, или от тупости своей почти ничему не научились, в досаде своей отдавал шуту Педриллу, а сей и распоряжался ими по своему усмотрению, определяя их в помощь истопникам и в другие низкие должности».

Говорят, будто Педрилло нажил большое состояние и уехал из России. Должно быть, все это неправда, так как Педрилло умер в России.

## ЗНАЙ МОЛЧИ!

Едучи морем из Италии в Россию, Педрилло со спутниками попал в ужасную бурю. Спутники Педрилло, большей частью отъявленные мошенники, прелюбодеи, картежники (то есть высший свет), зывали к небу о спасении.

— Знайте молчите, — сказал Педрилло. — Если господь вспомнит, что вы тут, всем нам конец.

## ЧЕСТЬ ХУЖЕ БЕСЧЕСТЬЯ

Однажды Педрилло имел неприятности от детей Сухоплутного шляхетского корпуса. Явившись с жалобой к директору корпуса барону Люберасу, Педрилло начал так:

— Ваше превосходительство! Меня обидели бездельники из корпуса, а ты у них главный.

## ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Педрилло недолюбливал В. К. Третьяковского. Однажды Третьяковский спросил Педриллу, который спорил о каком-то ученом предмете:

— Да знаешь ли ты, шут, что такое, например, знак вопросительный?



Язвительно оглядев малорослого и сутулого ТрEDIAKовского, Педрилло отвечал не задумываясь:

— Знак вопросительный — это маленькая горбатая фигурка, которая порой задает весьма глупые вопросы.

В другой раз Педрилло сказал одному собеседнику:

— ТрEDIAKовский весьма сходствует со своими сочинениями: как их, так и его самого весьма трудно сбрызнуть с рук.

## 6 И 9

Педрилло, между прочим, занимался ростовщичеством. Однажды, вскоре после царского запрещения брать больше 6 процентов, пришел занять у него денег гвардейский офицер. Когда стали договариваться о проценте, Педрилло молча написал на стене цифру 9.

— Бессовестный, боишься ли ты неба? — завопил офицер.

— Чего ж бояться? — отвечал Педрилло. — С неба видно только 6.

## ЛУЧШЕ ПОВЕСИТЬСЯ

Канцлер граф Остерман как-то пожаловался в присутствии Педрилло, что от подарка у него в костях такая ломота, что он не может ни стоять, ни сидеть, ни лежать.

— Вашему сиятельству остается только повеситься, — заметил Педрилло.



## ПО ВОПРОСУ И ОТВЕТ

Некто спросил Педрилло, бежавшего по улице:

— Откуда? куда? зачем?

— Из трактира, к друзьям, за деньгами, — на бегу прокричал шут.

## КУЛЬКОВСКИЙ

Под этим именем известен еще один шут — князь Михаил Алексеевич Голицын: иногда его называли Голицын-Квасник. Петр I отправил его учиться за море, но чему именно он выучился, неизвестно. Будучи много лет спустя в Италии, Голицын-Квасник-Кульковский принял католичество, целовал у папы римского туфлю, но по возвращении на родину скрывал свое отступничество от православия. Когда это дело раскрылось, Кульковский в наказание (и на потеху царскому двору) повелением императрицы женился на дворовой девке Евдокии Бужениновой. Свадьбу с невероятным шумом, гамом, фейерверками и весельем справили в специально построенном доме изо льда, о чем Иван Лажечников написал роман «Ледяной дом».

В отличие от других шутов Кульковский был более хвастлив, нежели остроумен, и более угодлив, нежели ехиден.

## ЖЕНЩИНЫ-СУДЬИ

Одна дама спросила Кульковского:

— Отчего женщин не выбирают в судьи?



— Оттого, — отвечал он, — что судьями могут быть или старые, или по крайности пожилые люди, а нет ни одной женщины, которой было бы более сорока лет, — так они все говорят.

### СКОРЫЙ ОТВЕТ

Одна девица сказала Кульковскому:  
— Кажется, я вас где-то видала.  
— Как же, сударыня, я ведь там часто бываю.

### ВОРЫ У КУЛЬКОВСКОГО

Однажды ночью к Кульковскому, который был очень беден, забрались воры. Проснувшись от шума, Кульковский, позевывая, сказал:  
— Не знаю, братцы, что вы можете найти здесь в потемках, когда я и днем-то почти ничего не нахожу.

### ЛЕСТЬ ВО СПАСЕНИЕ

Однажды могущественный Бирон прочел Кульковскому стихи и спросил, хороши ли они.  
— Весьма глупы! Какой дурень сочинил их? — ответил Кульковский.  
— Я сам, — сказал Бирон.  
— О, ваша светлость, вы нарочно захотели сделать плохо и в этом преуспели. Никто, кроме вас, не имеет дара творить так, как захочет.

### БОГИНЯ ЛЮБВИ

Кульковского спросили, отчего Венеру, богиню любви, всегда изображают нагою.  
— А это намек: она оставляет почти нагими всех тех, кто сверх меры пленяется ее веселостями.

### СВЕРХУГОДЛИВОСТЬ

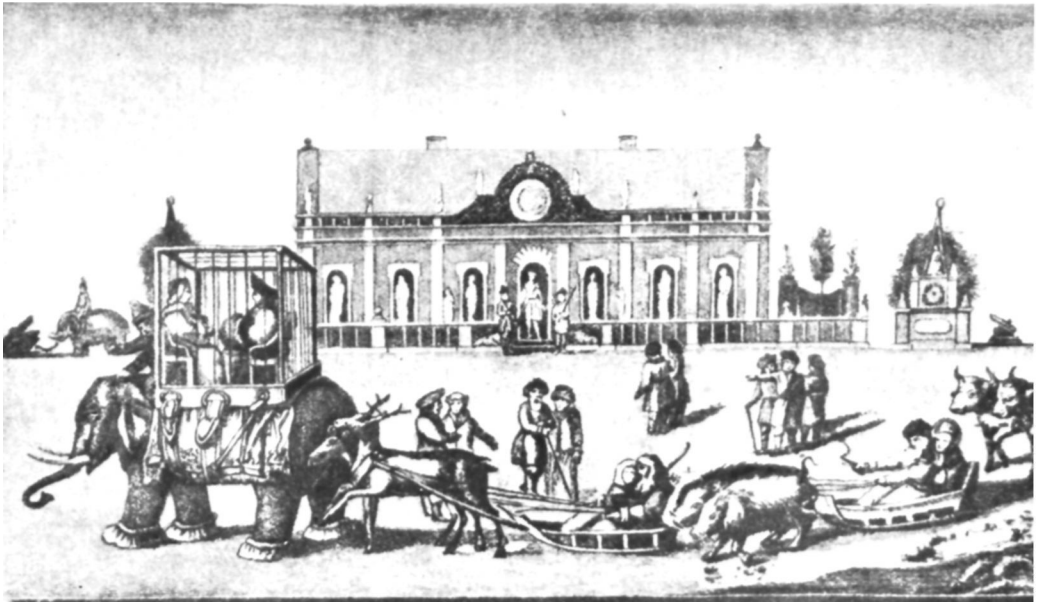
Бирон, собираясь однажды на охоту, приказал Кульковскому разбудить его в семь часов. Кульковский разбудил его в шесть:  
— Ваша светлость, извольте скорее выспаться, потому что вам осталось спать всего один час.

### О НАСЛЕДНИКАХ

Один генерал восьмидесяти лет от роду женился на молоденькой и хорошенькой девушке. Однажды он пожаловался Кульковскому:  
— Конечно, я уже не могу надеяться иметь наследников.  
— Конечно, не можете надеяться, — отвечал шут, — но всегда должны опасаться.

### НЕУДАЧА

В те времена почти все служебные должности вверяли иностранцам, часто весьма неискусным. Осмеивая этот обычай, Кульковский сказал однажды при гостях своему пуделю:



— Неудача нам с тобой. Аспид: родись ты за морем, был бы коли не генералом, так уж лейб-медиком.

**СЛЕПОЙ НИЩИЙ**

Под окном у Кульковского слепой нищий кричал:

— Сжальтесь над бедным человеком, лишенным светских веселостей!

— Уж не внух ли ты?

— Нет, сударь, я слепой.

— А я подумал было, что ты правду говоришь.

**КТО ПРЕЖДЕ**

Один из иностранцев расхвастался, говоря о превосходстве григорианского календаря над юлианским, существовавшим тогда в России,

— Нам же лучше, — возразил Кульковский, — потому что страшный суд будет у вас на одиннадцать дней раньше (в XVIII вене отставание юлианского календаря составляло 11 дней. — Р. Т.), нежели у нас, и когда до нас дойдет очередь, то ад вами будет уж полон, и нам не хватит места.





**ПРОМЕТЕЙ.**

Ист.-биогр. альманах серии «Жизнь замечательных людей». Т. 7. М., «Молодая гвардия», 1969.

480 с., с илл.

9

Сдано в набор 17/X 1967 г. Подписано к печати 28/II 1969 г. А04744. Формат 70x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага № 1. Печ. л. 30 (усл. 35,1). Уч.-изд. л. 48. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 61 к. Заказ 1801. Т. П. 1968 г., К» 454.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Суцевская, 21.

